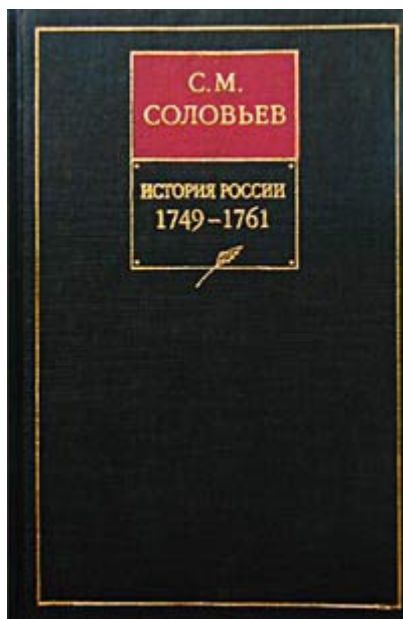


Сергей Михайлович Соловьев
История России с древнейших времен. Книга XII. 1749–1761

История России с древнейших времен – 12



Аннотация

В двенадцатую книгу сочинений С.М. Соловьева включены двадцать третий и двадцать четвертый тома «Истории России с древнейших времен», освещающие события последних тринадцати лет царствования императрицы Елизаветы Петровны – с 1749 г. вплоть до ее смерти в 1761 г.

Сергей Михайлович Соловьев
«История России с древнейших времен»
Книга XII. 1749–1761

Двадцать третий том

Глава первая

**Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1749 и 1750
годы**

Москва в 1749 году; заботы о ее восстановлении. – Распоряжения на случай опасности со стороны Швеции, распоряжения по флоту и армии. – Увеличение цены вина и соли. – Распоряжения о инородцах. – Призыв беглых. – Меры о сохранении народного здоровья. – Меры против разбоев. – Столкновения между частями городского населения. – Соппротивление беглых крестьян в Брянске. –

Магистраты. – Воеводы и полиция. – Положение фабрик и заводов. – Жалоба русских купцов на иностранных браковщиков. – Коллегии. – Столкновение членов Синода с обер-прокурором кн. Шаховским. – Издание Библии. – Жалобы Синода на дурное обращение светских лиц с духовенством. – Запрещение книг и вещей на религиозных основаниях. – Состояние Малороссии. – Восстановление гетманства в Малороссии. – Деятельность Неплюева в Оренбургском крае. – Борьба с инородцами в Северо-Восточной Сибири. – Отношения к европейским державам. – Положение канцлера Бестужева. – Прекращение дипломатических сношений с Пруссией. – Сношения с Австрией по поводу православных ее подданных. – Сношения с польско-саксонским двором. – Вопрос курляндский. – Неудачная попытка Морица Саксонского. – Действия Никиты Ив. Панина в Стокгольме, Корфа в Копенгагене, Неплюева в Константинополе.

Ломоносов имел право в своей оде представить старую, испепеленную, полуразрушенную Москву, ждущую восстановления от приезда Елисаветы. Действительно, пребывание императрицы в Москве в продолжение 1749 года было полезно для древней столицы, так сильно пострадавшей от пожаров. Москва больше всего страдала теснотою в самых населенных частях своих, что вело, с одной стороны, к частым истребительным пожарам, а с другой – заражало воздух. После Смутного времени, при новой династии, уже видим стремление царей высвободиться, хотя временно, из кремлевской тесноты на простор подгородных мест. При царе Михаиле таким царским местопребыванием становится село Покровское, при царе Алексее – Измайлово, потом Преображенское, которое при Петре так тесно соединяется с Немецкою слободою. Вследствие этого XVII и XVIII века видят новую Москву, Москву яузскую, в противоположность старой, омываемой Москвою-рекою и Неглинною. Но между тем в старой Москве становится просторнее как вследствие отъезда двора и выселения знати на новые приуазские места, так особенно вследствие пожаров; в Кремле становится возможным жить людям, привыкшим к петербургскому простору, которые в начале века не могли выносить кремлевской тесноты и зловония. Кроме того, старая Москва брала верх своими святыми и славными древностями, и с половины XVIII века начинают думать, как бы опять перенести царское местопребывание в Кремль.

Здесь становилось просторнее; но в торговом Китае-городе была сильная теснота. Камер-коллегии, Главному магистрату, Московской губернской и полицмейстерской канцеляриям с присоединением комиссии из купечества поручено было составить план для очищения Китая-города, и план был составлен в мае месяце 1749 года: скамьи, каменные приступки и другие загромождающие пространство постройки предположено сломать, препятствующие проезду погреба засыпать. Сенат велел привести этот план в исполнение. Сенату было представлено, что на Всесвятском мосту, единственном каменном в Москве, находятся лавки и палатки, в которых живут люди и которые стоят непокрыты, отчего этим лавкам и палаткам, да и мосту самому может быть не без повреждения; Сенат распорядился, чтоб покрыли их. Мост требовал починки; починку эту принял на себя крестьянин Кузнецов с торгов за 8120 рублей, с тем чтоб позволено было ему при мосту построить разные мельницы; оброка с них он

платить не будет, но будет в продолжение десяти лет содержать мост в исправности. Но приискали указ императрицы Анны, в котором говорилось, что мельницы вредят Всесвятскому мосту: ежегодно надобно его чинить, потому что для мельниц между быков сделана плотина, весною здесь лед спирается и ломает быки; особенно выше и ниже плотины год от году все более вырывает землю и насыпало остров, отчего небезопасно всему мосту, и потому велено все мельницы сломать. Кузнецова стали уговаривать взять починку моста безусловно; он согласился, но уже за 8700 рублей.

Петербургских гостей в Москве поразило явление, которое прежде оставалось незамеченным. Несмотря на указ Петра Великого 1722 года, запрещавший отпускать колодников на связках просить милостыню, Сенат усмотрел, что многие колодники, пытаные, в рубищах, до такой степени ветхих, что тело едва прикрыто лоскутьями, стоя, скованные, на Красной площади и по другим большим улицам, просят милостыню необыкновенно, нараспев, с криком, также ходят по рядам и по всей Москве по улицам. Сенат приказал колодников, которые сами себя прокормить не могут, отсылать на казенные работы и давать заработной платы по две копейки на день человеку, а которые содержатся в исках, тех кормить истцам. Замечено было и другое явление, более чем неприятное: до самой императрицы дошло, что господские люди не только ночью, но и днем проезжих бьют и грабят; дошло это потому, что прибит был и ограблен камердинер великого князя: лавочники и проезжие видели, но помощи никакой не подали, также и обывательский караул. Летом донесено было Сенату, что в Москве всякий хлеб продают очень высокими ценами, отчего народу немалая тягость, а Московский магистрат не только не старается об уменьшении таких чрезвычайных цен, но и не присылает в Главную полицию ведомостей о ценах: за март месяц прислана ведомость в половине апреля; в марте рожь продавалась по семи гривен, а в июне продают не меньше полутора рублей, муку – по 180 копеек, и скоро будет продаваться дороже двух рублей.

Императрица посещала и московские окрестности – село Софьино, забавный дом Перово – и оставалась там по несколько дней. Свои именины, 5 сентября, она провела в Воскресенском монастыре (Новый Иерусалим). 22 декабря она возвратилась в Петербург; но о Москве надобно было заботиться и по отъезде двора. В мае 1750 года узнали, что часть каменной стены Белого города упала и задавила несколько человек. Ветхости кремлевских стен и башен взялись исправить подрядчики в два года за 12950 рублей; а по Китаю и Белому городу, где стены и башни обвалились или грозят падением, велено чинить, не упуская летнего времени, с крайним осмотрением и бережением казны, без передачи из не положенных в штат доходов. При этих починках нашли клад особого рода: в угольном погребе у Тайнинских ворот нашли соль-бузун в ветхих кулях; спросили Дворцовую канцелярию и Соляную контору и получили ответ, что об этой соли у них никакого известия не имеется.

Хотели обмануть надежду тех, которые думали, что удаление двора в Москву на целый год помешает энергическим мерам России ввиду опасности, грозившей со стороны Швеции: военные приготовления, вооружение флота и движение сухопутных войск к финляндским границам шли усиленно и давали много забот Сенату в финансовом отношении. Адмиралтейская коллегия доносила в январе 1749 года, что велено вооружить некоторую часть корабельного флота и отправить

в море в мае месяце; а галерный флот, сколько есть наличных галер, все приготовить, и морских провизий на эти корабли и галеры заготовить на четыре месяца; затем и весь корабельный флот, сколько годных к службе кораблей и фрегатов находится, к будущей кампании велено исправить и вооружить, чтобы в нужном случае по первому указу могли выступить в море. Для этих приготовлений теперь самое удобное время, но коллегия в денежной казне имеет крайний недостаток и вследствие многочисленных доимок в сборах, определенных на Адмиралтейство с губерний и провинций, и надежды предвидеть не может, чем бы это вооружение флотов исправить. Необходимо иметь 361266 рублей; эта сумма должна быть употреблена прежде выхода флота в море, и то только на те корабли и фрегаты, которые должны выступать в мае; теперь в Адмиралтействе в наличности и 10000 рублей не будет, да и те деньги употребятся на жалованье служащим, которые за майскую треть 1748 года сполна еще не получили жалованья. Поступление денег с положенных на Адмиралтейство сборов начнется не ранее нескольких месяцев; на Штатс-конторе долгу за 1747 и 1748 годы 142218 рублей, но этого долга, несмотря на многократные требования, Штатс-контора не платит да еще доимку в 97984 рубля зачитает в счет других издержанных посторонних сборов; с 1740 по 1747 год в положенной сумме на Адмиралтейство продолжается до сих пор доимка больше миллиона, и об этой доимке коллегия не раз представляла Сенату и требовала ее; Сенат велел Штатс-конторе сделать счет, который и сочиняется, но по этому счету контора показывает немалые зачеты, о которых требуется обстоятельного рассмотрения; впрочем, и за теми зачетами, хотя бы они и справедливы были, все же в доимке остается до 450000 рублей.

Сенат приказал Штатс-конторе отпустить в Адмиралтейскую коллегия немедленно 71109 рублей, также как можно скорее окончить с нею все счета и, что явится в недосылке, отпустить сейчас же. В феврале новое доношение: баронам Строгановым и прочим соляным промышленникам для поставки соли за недостатком наемных работников оказывается немалое вспоможение особым нарядом уездных крестьян, в прошлом году было наряжено 4000 человек; а высочайший интерес требует, чтоб и флот был в исправном состоянии, и хотя коллегия заготовление лесов и не упускает, но доставка их за недостатком рабочих людей идет очень медленно, леса на пристанях остаются и теперь не иначе могут уместиться как на 112 судах, на которые рабочих надобно до 3000 человек, а по примеру найма рабочих прошлого года может отправиться из пристани только 29 судов, затем прочие леса останутся опять на пристанях; потому требует коллегия нарядить в Казанской, Нижегородской, Московской и Новгородской губерниях до 1500 человек; а чтоб были все 3000 человек, то позволить нанимать и с письменными паспортами. Сенат сначала не согласился, но потом должен был для возки дубового леса велеть нарядить до 1500 человек уездных людей, а 3000 остальных позволил нанимать с письменными паспортами. Наступил май месяц, когда флоту надобно было выходить в море, а Адмиралтейская коллегия снова объявляет, что для этого выхода нужно не менее 100000 рублей, у нее налицо только 17401 рубль, а Штатс-контора к платежу показывает невозможность, следовательно, флота выпустить не на что; несмотря на запрещения, Штатс-контора и Камер-коллегия посылают указы, по которым принадлежащие Адмиралтейству доходы употребляются на посторонние расходы; так, в

Нижегородской губернии Камер-коллегия употребила на свои расходы 11554 рубля; с Олонца определено получать Адмиралтейству по 21300 рублей, этой суммы за разными изнеможениями никогда в платеже сполна не бывает, и на 1748 год не заплачено 13018 рублей; с Киевской губернии назначенная сумма 10487 рублей почти всегда употребляется мимо Адмиралтейства в другие расходы. Сенат приказал: с монетных дворов из капитальной суммы отпустить в Адмиралтейство 50000 рублей, а возратить эту сумму из недосланных в Адмиралтейство сборов за прошлые годы. В мае 1750 года Адмиралтейская коллегия потребовала доимочной на Камер-коллегии и Штатс-конторе суммы – 155925 рублей – на покупку провианта и пеньки; Сенат велел доставить себе немедленно ведомости из присутственных мест, где сколько имеется наличной денежной казны. Относительно флота в это время было определено содержать: стопушечный корабль – один, осмидесятипушечных – 8, таким образом, первого ранга – 9 кораблей; второго ранга (66-пушечных) – 15; третьего ранга (54-пушечных) – три, всего 27 кораблей, то же число, какое было и в 1720 году; фрегатов 32-пушечных – шесть. При Петре Великом было шесть шнав, но теперь признали за лучшее оставить только две, а четыре заменить пакетботами, ибо последние в разные посылки удобны, и море терпеть могут надежнее, и строением в крепости лучше; кроме того, определено иметь два прама и три бомбардирских корабля.

В мае 1750 года Сенат был встревожен известием, что из сербского и венгерского гусарских полков 59 человек подали просьбы об увольнении. Сенат велел осведомиться, отчего это, нет ли им какого неудовольствия? Бригадир Виткович сообщил, что единственная причина неудовольствия заключается в несвоевременной выдаче порционных и рационных денег, ибо хотя окладное жалованье по шести рублей по третям всегда получают исправно, но этого жалованья стает только на нижнюю одежду и харчи; а лошадьми, ружьем, мундиром, амунициею, палатками должны содержать себя на порционные и рационные деньги, которые отпускаются по прошествии двух, а большею частию и трех третей, и в промежутках этих отпусков гусары впадают в немалые долги. В 1749 году из определенной на нерегулярные полки суммы из доходов Штатс-конторы больше 65000 рублей недослано, да на той же Штатс-конторе одного провиантского долга на 1747 год больше 240000 рублей. И теперь в Цесарскую область отправляются офицеры для вербования в гусарские полки, и хотя людей прибавится, но если опять так долго не будут платить им денег, то надежда вперед иметь оттуда гусар в здешней службе исчезнет; притом надобно опасаться, чтоб от нестерпимой скудости гусары не впали в своевольства и грабежи, о чем на них уже и жалобы были, или ударятся в побеги, как было в 1749 году. Получив это объяснение, Сенат приказал: чтоб удержать гусар в службе, удовлетворить их поскорее деньгами, для чего взять заимообразно у Военной коллегии, а вместо недосланной суммы в Военную коллегию отпустить прямо из Берг-конторы 100000 рублей из полученных за проданное железо денег, и Штатс-конторе крайнее старание иметь, чтоб впредь на гусарские полки деньги не задерживались.

Сенат велел Штатс-конторе отпустить в Артиллерийскую канцелярию 25000 рублей для укомплектования артиллерии; но Штатс-контора прислала только 8000 да еще зачитывала в ту же сумму деньги, отпущенные в Ригу на

фортификационные расходы. Военная коллегия просила Сенат по этому случаю рассмотреть и пресечь рассуждения и вошедшие в обычай отговорки Штатс-конторы, которая только по упрямству продолжает зачитывать 5000 на фортификационные работы, тогда как они к артиллерии вовсе не относятся; Сенат велел Штатс-конторе отпустить в Артиллерийскую канцелярию требуемые деньги без зачетов. Тогда же Провиантская канцелярия доносила, что в 1749 году подрядная цена в Риге за рожь (за куль в полосма пуда) была рубль 70 копеек, а теперь купцы не берут меньше рубля 99 копеек, за крупу – 2 р. 76 копеек; в Провиантской канцелярии денег почти ничего нет, а в Риге торги не состоялись, потому что там рожь стоит 2 р. 60 копеек. В июле 1750 года Штатс-контора доносила, что на лейб-компанию жалованья на сентябрьскую треть 1747 года и январскую 1748 – всего 54787 рублей – до сих пор не отпущено и отпустить не из чего. Сенат приказал отпустить деньги из первых приходов без всякой задержки.

В донесениях Военной коллегии слышали тон до сих пор небывалый. Так, в сентябре 1749 года она доносила, что на Штатс-конторе остается долгу 382853 рубля, и требовала, чтоб в Главную провиантскую канцелярию долг был отпущен как можно скорее, ибо в самых нужных делах крайняя остановка: хлебные поставщики за неполучением в свое время платы жалуются и от поставок провианта вперед будут отказываться; если же и после этого представления Провиантская канцелярия скоро удовлетворена не будет деньгами, вследствие чего войско потерпит нужду, то сам Прав. Сенат должен будет дать ответ пред ее величеством, потому что Военная коллегия по всеусиленным своим стараниям из общей воинской суммы помогала, а теперь больше помогать не в состоянии, и вперед Прав. Сенат на нее в этом надежды полагать не благоволил бы. Кроме того, по поданным от Главного комиссариата и Провиантской канцелярии ведомостям долгу на Штатс-конторе показано на неположенные на воинскую сумму выведенные из Персии, также гусарские и другие полки с 1742 года 2305013 рублей. Прав. Сенату велено по представлению Военной коллегии тотчас исполнять и помогать; несмотря на то, по многим и усиленным требованиям нет удовлетворения, все только делаются подтверждения Штатс-конторе, которая отвечает одно, что денег нет, а будут ли, не подает надежды, и способа, как помочь недостатку в деньгах, не изыскано. Военная коллегия требовала по крайней мере отпустить до 800000 рублей на войско, не содержащееся подушным сбором, а на заготовление провианта до 300000 рублей. Сенат отвечал, что, по показаниям Штатс-конторы, суммы на войска, содержащиеся неподушным сбором, отпущены, а Военная коллегия, не представив своих счетов с Штатс-конторою, полагает долг в 2305000; но за совершенным недостатком государственных доходов не только за прошлые годы всю эту сумму отпустить неоткуда и не из чего, но и на текущий год нельзя удовлетворить войска, не содержащиеся подушным сбором. Императрице Сенат определил доложить: по пятилетней сложности государственных доходов приходу в год должно быть 3965965 рублей, а в Штатс-конторе окладных ежегодных расходов состоит 3601534 рубля да на неокладные чрезвычайные дачи – 851473 рубля, итого 4453007 рублей, следовательно, в расход на каждый год недостает 487852 рубля; да велено отпускать на Измайловский полк в год по 176573 рубля из доходов Сибирского приказа, но за неимением в том приказе денежной казны отпускается эта сумма из Штатс-конторы, и за таким недостатком удовлетворить требованиям Военной и

Иностранной коллегий нельзя. До сих пор Сенат удовлетворял как мог из наличных денег с крайнею остановкою других расходов, а теперь из монетного капитала, которого уже очень мало остается и который за употреблением его в расход не даст надлежащей прибыли, 50000 рублей да из разных сборов, сколько где может набраться, определено отпустить; только такой большой суммы, какую требует Военная коллегия, взять неоткуда. Сенат определил просить конфирмации ее величества на прежде поданные доклады о изысканных способах к пополнению государственных доходов, ибо, кроме того, Сенат никаких других способов к удовлетворению означенных расходов изыскать не может.

Эти не конфирмованные с 1747 года доклады заключали в себе известное мнение графа Петра Ив. Шувалова о продаже соли и вина везде ровною ценою, которая должна быть увеличена. Теперь вследствие повторенной просьбы императрица согласилась употребить представленные способы умножения доходов, и в начале 1750 года наложено на ведро вина по 50 копеек во всем государстве ровно, кроме остзейских губерний, Малороссии, слободских полков и Сибири. Также и соль положено продавать по 35 копеек пуд, кроме Астрахани и Черного Яра, где цена определена вполтину; в Соляной конторе оставлять от этой продажи миллион рублей и употреблять их в расход по особливым указам императрицы, а что будет лишку в сборе, то отсылать в зачет подушных денег в Главный комиссариат. Сначала встретились затруднения: Главный магистрат донес, что в Казани винная продажа началась по новому положению с 1 марта и против прежнего сбор очень уменьшился: явилось 1229 рублей, а в 1749 году, в марте месяце, собрано было 2622 рубля; то же случилось и в Вятке. Комиссариат доносил также, что тамбовские откупщики под видом выемки корчемного вина, приезжая многочислом, забирают уездных обывателей и хотя вина не вынимают, однако бьют их смертно и разоряют, отчего эти обыватели могут прийти в несостояние платить подушный сбор и прочие подати. Такие же жалобы приходили из Псковской провинции. Сенат решил принять самые деятельные меры против того, чтоб изысканный способ увеличения доходов не оказался недействительным. Он заподозрил Казанский и Вятский магистраты в нерадении и послал освидетельствовать тамошние сборы; а в конце года во все губернии отправлены были особые чиновники для наблюдения за правильною продажею соли и вина по новому положению.

А между тем Сенат все еще не имел подробных ведомостей приходам и расходам: 13 апреля 1749 года Сенат рассуждал, что он велел накрепчайшим образом взыскивать на Камер-коллегии, чтоб немедленно сочинены были ведомости о доходах и расходах с 1743 по 1747 год, а, до тех пор пока они не будут поданы в Сенатскую контору, президента коллегии и членов, секретарей и приказных служителей держать в коллегии без выпуска, и смотреть за этим экзекутору; несмотря на то, ведомостей до сих пор не подано, и потому приставить сенатской роты унтер-офицера с солдатами, чтоб не выпускать президента и прочих. Но это была только угроза, чтоб заставить поспешить делом. Ведомости не подавались, и 19 сентября призван был в Сенат прокурор Камер-коллегии Философов и спрашиван, сочинены ль ведомости и для чего до сих пор не внесены в Сенат? Прокурор отвечал, что ведомости сочиняются и как скоро окончатся, то подадутся. На это ему приказано, чтоб коллегия в этом деле крайнее старание имела и для того бы присутствующие как до полудня, так и

после полудня в коллегии съезжались, а секретарей и приказных служителей держать в коллегии без выпуска; если же ведомости скоро не будут окончены, то прокурора и присутствующих держать будут без выпуска.

Последним прибежищем в финансовых нуждах был, как мы видели, Монетный двор, из которого брали необходимые суммы обыкновенно под видом займа; но свидетельство, что запасный капитал уже истощался, показывает, как Штатс-контора платила свои долги. Так и в конце 1750 года Штатс-контора потребовала, чтоб приказано было отпустить до 300000 рублей заимообразно с денежных дворов на счет отсылаемых туда пошлинных ефимков и серебра; а если отпущено не будет, то в расходах последует остановка. С 1746 по 1750 год на Монетном дворе было вычеканено 1467145 рублей, в том числе полуполтинников – 815645 рублей, гривенников – 651500 рублей; Сенат приказал сделать гривенников еще на 532855 рублей, чтобы в случае их недостатка в размене крупной монеты не могло последовать крайней нужды.

Надобно было обратить внимание на то, чтобы число плательщиков увеличивалось, а не уменьшалось и чтоб они могли платить. Постановление, что новообращенные в христианство жители восточных окраин освобождались на известный срок от податей, которые раскладывались на оставшихся в язычестве или магометанстве, это постановление должно было вести к большим затруднениям. В Казанской губернии всех инородцев в подушном окладе считалось 319085 душ, из этого числа к первому января 1749 года крестилось 170759 душ, из которых минула льгота 30153 душам, а льготы еще не минуло 140606 душам, осталось в неверии 148326 душ, следовательно, новокрещеных против иноверцев приходилось больше 22433 душами, и на этих оставшихся в неверии расположено на вторую половину 1748 года по 53 копейки, итого 79850 рублей, да доимок расположено 379581 рубль, всего должно было взыскать 459431 рубль, да с тех же оставшихся в неверии рекруты и лошади взысканы, да и еще следовало взыскать по последнему набору. Но Сенат получил донесение, что взыскание скоро произойти не может, многие от такого великого и строгого взыскания бегут в леса, о других неизвестно, где они, оставшиеся пришли в крайнее разорение.

Легко понять, что при таких обстоятельствах с особенным удовольствием был принят Сидор Тарасов Заграбский, явившийся в 1749 году поверенным от живущих в Польше и Молдавии русских людей. Он просил императрицу о прощении за побег и о позволении возвратиться и жить в Миргородском полку на пустых местах с обязательством служить береговую и пограничную службу, как служат донские козаки, или платить сорокаалтынный оклад, причем Заграбский объявил, что таких беглецов будет больше 25000. Императрица согласилась на их просьбу, но с тем, чтоб они поселились не в Миргородском полку, потому что земли принадлежат Малороссии, а отведутся им свободные земли в Великой России, в Белгородской или Воронежской губернии; которые из них захотят быть в купечестве, те будут положены в сорокаалтынный оклад, а кто захочет быть в козацкой или другой какой службе, довольствуясь отведенными им землями и угодьями, те будут определены по желанию. Киевский генерал-губернатор Леонтьев доносил о желании других находившихся в Польше беглых русских перейти в малороссийские Быковские и раскольничьи слободы; и относительно их последовало то же решение.

Перезывали беглых из-за границы, но принимались ли меры о сохранении жизни и здоровья оставшихся в России жителей? Лекарей было очень недостаточно, но Медицинская контора преследовала самозванных лекарей, и Сенат подтверждал ее права на это преследование. В Берг-коллегию прислана была из Медицинской коллегии промемория, что в Москве архангельский купец раскольник Прядунов, ходя по домам, лечит людей от разных болезней нефтью, которою он сам торгует в Китае-городе близ Сысского приказа у Троицы на Рву в казенных палатах, причем известно, что он своим искусным лечением некоторым людям нанес вред немалый, а иные и жизни лишились; лечит он не один подлый народ, но и знатных персон без ведома и свидетельства Медицинской канцелярии в противность указам, а говорит, что по данной ему от Берг-коллегии привилегии на нефть состоит в ведомстве этой коллегии и потому Берг-коллегия прислала бы его в Медицинскую контору. Прокурор Берг-коллегии Суворов настаивал, чтоб этого купца Прядунова немедленно отослать в Медицинскую контору, но коллегия отсылать не велела. Суворов представил дело в Сенат; тот велел отослать Прядунова в Медицинскую контору, а у Берг-коллегии запросить, для чего не отослала, презревши предложение прокурора. Берг-коллегия отвечала: не только в России, но и в других северных странах не слышно, чтобы нефть добывалась, только в Персии она есть, и великую прибыль от нее тамошняя нация получает; а в России нефть сыскана старанием и собственным капиталом Прядунова недавно; коллегия позволила ему построить нефтяной завод, дала привилегию и указ производить и продавать нефть, потом коллегия позволила ему ту нефть привезти в Москву для передвойки в лаборатории, которая устроена для минеральных и всяких материальных казенных и партикулярных проб, а нефть числится в тех же минеральных материалах, и в том заводчикам всякие способы показывать и наставления по силе привилегий и указов давать надобно, и хотя он, из лаборатории вынося, нефть продавал, и то не в противность указам, ибо от этого никакого казенного ущерба нет; какой же от прядуновской нефти последовал вред и даже смертные случаи и кого именно Прядунов лечил, о том Медицинская контора не объявила, и Берг-коллегия своего ведомства людей, прежде не осмотрясь и не опознав, не должна так по глухому и неосновательному требованию тотчас отдавать и послушать прокурора, как только он предложит, и прокурору вовсе не надлежало Правительствующему Сенату представлять и в напрасное затруднение приводить, ибо по усмотрении истины и перепискою между собою Берг-коллегия и Медицинская контора могли бы согласиться, постановить и публиковать, к какому употреблению та нефть пригодна. К сему же Берг-коллегия представляет, что мазаньем этою нефтью советник Берг-коллегии Чебышов получил разгибание перстов у руки, о чем он не раз коллегии представлял и прокурор знал; генерал-майор Засецкий в руках и ногах получил движение, о чем дал и письмо Прядунову, и от других слышно, что также получили пользу от нефти, и потому не повелено ль будет Медицинскому факультету эту нефть по искусству медицины и химии экспериментовать, а Прядунову объявлено, чтоб он ее до указа никому не продавал; притом Прядунов подал в Берг-коллегию доношение, что свою нефть он в Гамбург для пробы посылал и, какова она там по пробе явилась, о том приложил присланный ему неведомо от какого доктора Миллера аттестат, и просил, чтоб его для поправления завода отпустить и впредь позволить добываемую им нефть продавать. Сенат

решил дело так: Прядунова отослать в Медицинскую канцелярию и с нефтью относительно продажи конторе Берг-коллегии сноситься с Медицинской канцеляриею. Берг-коллегия в этом деле поступила очень непорядочно: допустила Прядунова жить в палате, где ее лаборатория, и он там нефть продавал; лаборатория не для того учреждена, а для свидетельства руд и минералов; коллегия не отсылала Прядунова в Медицинскую канцелярию и требовала от нее известия, кому Прядунов вред сделал, тогда как ей не подлежало в чужие дела вступаться, не обратила внимания на представление прокурора и дерзко об нем отозвалась, наконец, и сенатского указа не послушала. За такие непорядочные поступки наложен был на членов Берг-коллегии штраф вычетом из жалованья.

Меры правительства к охране народа от лихих людей по-прежнему оказывались недостаточными, по-прежнему разбои производились в широких размерах. Назначенный для сыску воров и разбойников премьер-майор Горбунов доносил в 1749 году, что в Брянском уезде злодеи появились, войско на них нападало в лесу и взяло несколько человек с атаманом и часть добычи, в собрании их было по выходе из-за польского рубежа 14 человек; в апреле месяце из-за границы прошло в Россию 17 числа – 30 человек, 29 числа – 15, 30 – около 50, и ходят по Брянскому уезду; немалое число таких же злодеев находится за границею, собираются идти в Россию. Это было подле границы; но скоро пришло известие от Московской губернской канцелярии, что в Московском уезде разбойники жгут обывателей в их домах и появились на Переяславской, Углицкой и Александрослободской дорогах; в 18 верстах от Москвы по Серпуховской дороге убили асессора Ладыженского в деревне его и дом его совершенно пограбили. Определенный в Вятской и Пермской провинциях для искоренения воров и разбойников секунд-майор Есипов уведомлял о появившейся на реке Вятке воровской компании и как он на нее напал и имел с нею немалую *суктицью*. Сенат приказал написать Есипову, чтоб в искоренении злодеев имел крайнее старание, а впредь в доношениях своих таких речей, что имел с ворами *суктицью*, отнюдь бы не писал, а писал российским диалектом. В Олонецком уезде поручик Глотов поймал немалое число разбойников, которые показали, что товарищи их живут в Каргопольском уезде в особом лесном разбойничьем стану; для поимки их Глотов послал партию, которая встретила в лесу двоих крестьян. Крестьяне эти рассказывали, что по лыжному следу дошли они до избы, из которой вышли три человека и начали звать их в избу, грозясь убить их, если не войдут; звероловы, войдя в избу, увидели ружья, рогатины, догадались, куда попали, и подслушали, что разбойники советуются их убить, чтоб не были на них языками (не донесли на них). Двое разбойников пошли в баню, а третий остался в избе; тогда один из крестьян напал на него и поколол ножом, после чего оба пошли к бане, заложили двери бревном накрепко, подошли к окну и одного моющегося разбойника застрелили из винтовки, другой начал ломиться в двери и когда вышел, то и его застрелили, переночевали в избе и утром, уходя, сожгли ее без остатка, чтоб другим ворам пристанища не было. Крестьянам этим было одному 20, другому 17 лет. Сенат приказал: сделать повальный обыск, и если миром одобряют крестьян, то отпустить их без всякого наказания. В Муромском уезде оказалось большое вооруженное собрание разбойников.

Приходили известия о разбоях особого рода. В 1749 году в Севскую провинциальную канцелярию подал прошение управляющий именьями графини

Чернышевой Суходольский: крестьяне госпожи его Башкирцев, Михайлов и Кислый с товарищами, крестьянами разных сел и деревень, человек до 3000, собравшись нарядным делом, с ружьями, шпагами, рогатинами и дубьем пришли на заводы госпожи своей Чернышевой – Летажский, Лупандинский и Крапивенский, пограбили хлеба четвертей до 1000 да вина более 800 ведер, целовальников побили и разогнали; потом, пришедши в слободу Бабинец в господский дом, управителя и людей били смертно и некоторых убили, дом пограбили; то же самое сделали в селе Радогоще. Шайки все усиливаются и, ходя по селам, бьют и грабят, старост и соцких от себя определяют. Рыльский помещик Поповкин собрался с разбойнической партией, с беспаспортными и беглыми рекрутами в числе 50 человек, пришел к помещику Нестерову в село Глиницы, произвел разбой и грабеж, причем двух человек убил до смерти. В 1750 году в Белгородской губернии была захвачена многолюдная разбойничья партия: воры и разбойники винулись во многих разбоях, воровствах, сожигании людей и показали на отставного прапорщика Сабельникова, что он держал разбойную пристань, отпускал их на разбои, брал долю из разбойных денег и сам ездил на разбои. Поручик Иван Мусин-Пушкин подал жалобу, что новгородская помещица девица Катерина Дирина вместе с родным братом своим Морской академии гардемаринном Ильею и родственниками дворянами Ефимом, Мелетьем, Тимофеем и Агафьею Дириными, с людьми и крестьянами в числе 50 человек приезжала в деревню его Кукино Новгородского уезда, произвела разорение и драку, причем убито было двое крестьян.

Так было в селах, преимущественно в отдаленных лесных местностях на севере и востоке и в Белгородской губернии, прежней московской уkraine, издавна известной беспокойным характером своих жителей. Обратимся к любопытным явлениям в городах. Здесь иногда происходили междоусобия между частями народонаселения. Кирпичники города Коломны Митяевской слободы, 21 человек, жаловались на обиды от коломенских купцов и выпросили, чтоб дело их было рассмотрено членом от Главного магистрата и членом от Московской губернии. Но прежде решения дела приписали их к купцам в посад и отдали в команду под магистрат. Ямщики обратились снова с жалобой, что в Коломенском магистрате, которому они теперь стали подведомственны, ратманы Добычин и Бочарников, которые к ним в Митяеву слободу приезжали и с прочими купцами дворы их разбивали, их смертельно били и мучили и едва не сожгли их всех в доме, куда они скрылись в числе 27 человек, и приезжали нарядным делом, скопом и заговором, с дрекольем и пожарными крючьями, у церкви били в набат, приезжало человек до 200 коломенского купечества. Потом привезли их в магистрат, и сторож, заковывая кирпичника Колчина в ножные железа, убил его до смерти; ратманы с смертными побоями начали от них требовать, чтоб показали, что купцы к ним не приезжали, разорения и пожара не производили и Колчин в магистрате не убит, а взят был больной и в магистрате умер от воли божией; и кирпичники, видя над собою бесчеловечное мучение, подписались.

Но и подобные столкновения в городах происходили преимущественно в прежней уkraine, в Белгородской губернии. Брянские купцы Григорий, Иван и Кузьма Кольцовы жаловались, что ночью напали на их брата Григория разбоем на большой Смоленской дороге брянского помещика Ивана Зиновьева люди и завезли его к помещику во двор в село Бежичи, где Зиновьев его бил и держал на

цепи в приворотной избе. По просьбе остальных братьев Григорий освобожден был оттуда посланными из Брянской воеводской канцелярии, и по суду здесь разбой Зиновьева был доказан; но он, избывая следствия, не подавая жалобы в Брянске, просил в Главном магистрате на двух братьев, Ивана и Кузьму, будто бы приезжали к нему в дом и бесчестили его. По его челобитью Главный магистрат определил исследовать дело Севскому провинциальному магистрату, и, однако, дело в Севск не передано, Главный магистрат потребовал Кольцовых на суд прямо к себе, и они принуждены выслать поверенного посадского Бадулина; а между тем в Главный магистрат определен обер-президентом близкий родственник Зиновьева Степан Зиновьев. Новый обер-президент судил суд по родству: поверенного Бадулина держали в цепи и железзах под караулом, и судные речи говорил он в цепи. Иван Зиновьев, сообщая с коллежским ассессором Афанасьем Гончаровым (который купил в Брянске верхние и нижние дворцовые слободы), начал действовать против Кольцовых: прикащик Гончарова и люди Зиновьева нападали на них в городе и хвалились убить до смерти; Зиновьев, захватя посадского Меренкова, который был поверенным Кольцовых в Брянской воеводской канцелярии, бил его немилостиво и грабил, а Гончаров жаловался на Кольцовых в Сенате, будто они приступали ко двору прапорщика Юшкова, где скрылись прикащик его и крестьяне; потом Гончаров подал в Главный магистрат прошение, что Кольцовы и с ними 700 человек купцов приступали к его конюшённому двору и стреляли из ружья по его крестьянам, вследствие чего Главный магистрат определил их забрать в Москву к следствию. Сенат велел сделать запрос в Главный магистрат обо всем деле и присутствовал ли обер-президент Зиновьев при разбирательстве дела своего родственника. Главный магистрат тянул время, отделяваясь всеми средствами от подачи ответа Сенату, и вдруг обвинил Кольцовых за беспорядки по брянской таможне. Но Сенат потребовал, чтоб прежде этого нового дела Главный магистрат дал ответ по старому; тогда Главный магистрат донес, что ответ надобно писать на гербовой бумаге, а Кольцовы не являются в Главный магистрат и бумаги не дают, следовательно, ответа за недачею гербовой бумаги писать не на чем. Сенат приказал подать ответ на гербовой бумаге, купив ее на деньги Главного магистрата, который взыщет потом их на Кольцовых.

Но в то время как Главный магистрат искал гербовой бумаги, дело разыгрывалось в Брянске. Гончаров жаловался, что у него ушли крестьяне – 21 человек; прикащик Гончарова Зайцев объявил, что беглые живут в городе и, стоя по переулкам днем, нападают на других крестьян господина его, бьют и режут их рогатинами, ножами и кинжалами, отчего крестьяне находятся при смерти. Брянская воеводская канцелярия, которой велено было сыскать беглых, доносила, что военная команда от этой поимки отказалась по недостатку людей; магистрат отказался под предлогом, что у него с Гончаровым приказные ссоры по поводу Зиновьева и Кольцовых; беглые крестьяне заперлись на одном дворе, и малою командою взять их никак нельзя, хотя канцелярия и оцепила двор караулом. Караульщики донесли, что к беглым приходил поп Максимов от Архангельской церкви с братом Егором и с брянским купцом Коростиным, который нес образ, и, побывши на дворе, ушли обратно. Только что эти ушли, смотрят – идет другой поп, Секиотов, с образом от Рождественской церкви, образ несут брянские купцы Коростин и Сериков. Канцелярия поручила схватить беглых прапорщику

Федосееву, назначенному для сыску воров и разбойников; прапорщик донес, что ходили к избе, но беглые, имея при себе огненное ружье, копыя и бердыши, взять себя не дали и объявили, что живы в руки не дадутся; в то же время и брянских посадских выбежало человек до ста умышленно с дубьем, а от полицмейстерской конторы определенные на карауле помощи не дают, должно быть по согласию; попы и монахи проходят к беглым беспрепятственно: еще прошел с образом поп Григорий от Николы Чудотворца и два монаха брянского Петропавловского монастыря.

Явился для поимки беглых Рязанского полка капитан Махов и сделал распоряжение, чтоб легче взять крестьян, разломать заборы соседних дворов; но посадские ломать заборов не дали, и посадский Коростин с товарищами кричал, что если сам полицмейстер или воевода придут ломать их заборы, то они их самих кольем побьют до смерти или животы распорят ножами, а если капитан Махов придет с командою и хотя один кол выломает, то сам на кол посажен будет; если же кто на двор их взойдет и овощи потопчет, то голову положит. Брянская полиция с своей стороны доносила, что она потребовала от магистрата, чтобы он собрал посадских для взятия злодеев и чтоб посадские ничем не ссужали последних; магистрат отмолчался, тогда полиция прямо обратилась ко всем обывателям, чтобы подписались в слушании и исполнении предписания, но никто подписываться не стал, а беглые натаскали большие кучи камня и песку, на крыши встали огромные колоды и повесили на веревках: если осаждающие подойдут близко, то станут метать камнями, сыпать в глаза песком и с изб опускать привязанные колоды. Махов послал к беглым крестьянам капрала Салкова для увещания их и с вопросом, будут ли слушать указ; крестьяне отвечали, что указ слушать будут, причем объявили, что приходил к ним брянский воевода и говорил: ступайте к Гончарову, он вас бить не будет и станете жить в домах своих; а не хотите идти к Гончарову, то разойдитесь куда-нибудь, и они ему отвечали, что идти им некуда. Махов, взявши всю свою команду, пошел ко двору беглых крестьян, и, не доходя сажен ста до двора, команду оставил, и один пошел к беглым; но они на двор его не пустили и сидят все на крышах и у заборов стоят на примощенных лавках, почему принужден был стоять на улице и увещевал, чтоб отдались, в противном случае поступит с ними, как с противниками указов, говорил более часа, но те никакой склонности не показали, а кричали страшно, зверским образом. Тогда он велел приступить команде и читать копию с сенатского указа; крестьяне выслушали и крикнули, что указ воровской, Сенат указ своровал и дал Гончарову за великие деньги и генерал команду дал за деньги же, взявши с Гончарова до 2000 рублей, да и он, капитан, взял до 100 рублей или и больше; и приступили они, крестьяне, к забору с ружьями, рогатинами и бердышами и кричали, что если команда будет их брать и хотя одного человека поворошит или забор велит ломать, то они всех перестреляют и переколют, а если силы их не будет, то сами себя перережут, а живыми в руки не дадутся.

Махов для устрашения беглых велел у соседних посадских обывателей разобрать заборы; но хозяева домов разбирать заборов не дали и таким же свирепым образом на Махова и команду его кричали, если хотя за одну заборню тронутся или по огородам их пойдут, то всех побьют до смерти. И, опасаясь, чтоб команды не побили до смерти, Махов разбирать заборов не велел. Беглых на дворе было человек 50 да позади их двора на огороде посадских с кольями и дубьем

человек до 300, а прочие, стоя на улицах и на кровлях домов своих, кричали необычайным образом, угрожая бить команду до смерти. Махов, увидав сообщение посадских с беглыми, принужден был с командою отступить и поставил по концам улицы с двух сторон двора, где сидели беглые, караул. Нужно было бы поставить караул на дворе Коростина, где колодезь, из которого беглые брали воду, но Коростин и посадский Мамонов с товарищами кричали, что, кто взойдет на двор Коростина, тот будет убит. 300 человек посадских не дали поставить караула и сзади двора, говоря, что пришли не команде помогать, но охранять свои огороды. Махов доносил, что находится с командою своею в превеликом страхе и ежеминутно ожидает нападения; крестьян можно взять целою ротою, и то если посадские не вступятся. Гончаров подал просьбу в Сенат на послабление Брянской воеводской канцелярии: она выпустила двоих его беглых крестьян, которые бежали за границу; канцелярия сделала это по злобе, ибо ей не велено ведать его вотчин; Брянский магистрат и жители Брянска беглых его крестьян держат у себя и не отдают; и оставшимся его крестьянам делают всякие обиды и разорения, нигде проходу и проезду не дают; беглые, засевшие в Коростине улице, называют свое воровское собрание комиссиею. Брянчане, по его словам, привыкли противиться указам и сами хвалятся: у нас многие комиссии и капитан Шпорейтер с командою если б в городке не отсиделся, то был бы без головы, и то дело так изволочилось, и многие комиссии, поволочась, отстали. Сенат по этим донесениям и жалобам велел Военной коллегии послать в Брянск штаб-офицера и если крестьяне не сдадутся, то поступить с ними как со злодеями, но только в самой крайней нужде.

Здесь представляется нам в обширных размерах столкновение между сословными частями городского народонаселения, в других местах встречалось такое столкновение в меньших размерах: так, в Серпухове титулярный советник Казаринов приходил многолюдством на двор купца Серебренникова, разломал забор, порубил садовые деревья, разломал баню и овладел огородною землею. В Белгороде мы видели сильное столкновение между купцами по поводу выборов в магистрат, причем Главный магистрат был обвинен Сенатом в неправильных действиях и штрафован. Скоро Главному магистрату представился случай привлечь к следствию враждебного ему президента Белгородского магистрата Андреева. Белгородский купец Степан Прокопов подал жалобу: вместе с купцом Есиповым требовал он в Белгородском магистрате установленного законом свидетельства к подряду на поставку провианта в днепровский магазин. Но президент Андреев с товарищами, злобясь на них за то, что они были в числе тех, которые не соглашались на избрание Андреева и товарищей его в магистратские чины, отrekliсь дать требуемое свидетельство, разве просители дадут им за него большую взятку; тогда они, Прокопов и Есипов, принуждены были дать пять векселей: на имя президента Андреева – в 500 рублей, бургомистра Денисова и троих ратманов – на каждого по 50 рублей. Давши взятку, Прокопов и Есипов донесли об этом в Главный магистрат и просили об исследовании. Главный магистрат жаловался также на Андреева, что он членов Главного магистрата называл государственными ворами. Сенат велел исследовать дело в комиссии о фальшивых векселях.

Мы видели, как недоставало в России рабочих сил, как они потому были дороги; казна и частные промышленники перебивали друг у друга рабочих, и по

этому случаю Нижегородский магистрат был изобличен в насильстве. Одного из работников, нанявшихся для отправления корабельных лесов, президент Нижегородского магистрата Жуков бил батожем нещадно, другого вытолкнул в шею из магистрата; когда били работника, то приговаривали: не нанимайтесь на лесные, нанимайтесь на промышленные суда! Чтоб застрашать посадских людей, отклонить их от найма на лесные суда, Жуков нанявшимся на последние давал паспорта с прописью, что им в работе быть только на лесных судах и никому другому их в работу не принимать. Жуков за это присужден был к уплате 180 рублей штрафа, бурмистр – 120 рублей, ратманы заплатили по 50, земские старосты – по 25.

Воеводам трудно было уладиться с полициею; две силы сталкивались. Симбирский полицмейстер жаловался, что воевода Колударов вступает в полицейские дела, приказывает полицмейстера и команду его ловить, грозитя его, полицмейстера, бить кошками и людей его ловить и в тюрьму сажать и платье с них велит обирать; рассыльщики Колударова полицейскую команду бьют без всякой причины, и он, полицмейстер, ездить для исправления своей должности боится, чтоб по старости его не изувечили; полицейской должности править некому, ибо осталось команды три человека, и те стары и дряхлы; а подьячий один, и тот престарел и слеп, копиистов и пищиков нет, а вольным ходить для письма в полицейскую контору воевода запретил. Полицмейстер терпел притеснение от воеводы, а воеводе доставалось иногда от другой силы. В Севске товарищ воеводы Борноволокков занимался в канцелярии делами, как вдруг присылает к нему генерал-майор Караулов, находившийся в городе для рекрутского приема, и велит явиться к себе; Борноволокков отвечает, что занят важными делами и потому благоволил бы генерал требовать по указному порядку от провинциальной канцелярии письменно или хотя и словесно, по чему надлежащее исполнение последовать непременно имеет. Тогда Караулов прислал за ним двоих унтер-офицеров с угрозою, что если не пойдет, то пришлет команду вытащить его под караулом. Борноволокков пошел и был встречен ругательствами, с него сняли шпагу и повели рынками и по улицам в торговый день, в пятницу, в батальонную канцелярию. Сенат велел судить Караулова военным судом.

От описываемого времени дошло до нас известие, в каких домах жили губернаторы и воеводы; из описания этих домов мы можем получить некоторое понятие об обширности и удобствах городских жилищ в России в половине XVIII века. В 1749 году Камер-коллегия подала мнение, что в губернских городах для губернаторов строить дома о 8 покоях и зал был бы между углов 10 аршин, а прочие покои – от 8 до 6 аршин, три или две избы людских, поварня, два погреба – сухой и ледник, баня, сарай для экипажей, конюшня о 12 стойлах, канцелярия о 8 покоях; в провинциальных городах воеводам дома строить о 5 покоях, а в приписных – о 4. Сенат согласился.

В описываемое время правительство должно было иметь дело с движением рабочих на одной из самых значительных фабрик. В 1749 году содержатель суконной фабрики Ефим Болотин с товарищами объявил, что рабочие в числе более 800 человек неизвестно с каким умыслом оставили суконное дело и работать не хотят. Мануфактур-коллегия спросила оставшихся при деле рабочих о причине; те объявили, что не знают: заработные деньги все получают по указу сполна, без удержания, и работу фабриканты дают непрерывно, на фабрике 170

станов, при них в работе находилось более 1000 человек. Коллегия всем присутствием отправилась на фабрику для увещания; но возмутители объявили, что они об обидах от фабрикантов и беспрестанных жестоких наказаниях подали прошение императрице и пока указа не последует, до тех пор на работу не пойдут. Все увещания остались тщетны. Тогда пятерых заводчиков мятежа высекли кнутом; но и после этого рабочие объявили, что в работу не пойдут; пошло только человек 20, потом вступило в работу еще 286 человек; но в бегах осталось 586. Сенат приказал: заводчиков смуты бить кнутом и сослать в Рогервик, других бить плетью и принудить к работе. Через несколько времени Болотины, ставившие в казну по 100000 аршин сукна, объявили, что теперь больше 80000 поставить не могут, ибо по причине московских пожаров долгое время работы не было, сгорел дом Суровщикова, где производилась часть суконного дела, да и на всей их суконной фабрике за уборкою материалов и припасов от пожара в кладовые палаты, и за разломанием некоторых деревянных строений, и вследствие того, что у многих мастеровых людей сгорели дома, работы не производились; кроме того, они терпят недостаток в людях, ибо после ревизии убыло у них по разным случаям более 200 человек. Они узнали, что в гарнизонных школах в Москве и по городам солдатских и зазорных детей немалое число, из которых многие не только к военной экзерции, но и к словесному учению непонятливы, а жалованье и содержание им производится; поэтому они, Болотины, требуют, чтоб повелено было из этих школ до 400 человек учеников начиная от 12 лет, которые еще для службы молоды, определить к их суконной мануфактуре; они будут получать здесь задельные книги, и, когда достигнут 25 лет и годны будут в военную службу, тогда их в нее определить. По справке оказалось в Московской гарнизонной школе (которая разделялась на словесную и письменную науку) 300 человек да сверхкомплектных 545, и от 400 человек, отданных на фабрику, будет казне прибыли ежегодно 2841 рубль. Сенат согласился.

В конце 1749 года императрица приказала Сенату взять ведомости от всех шелковых фабрикантов, могут ли они выделывать на своих фабриках достаточное количество товара, так что можно было бы обойтись без вывоза шелковых материй из-за границы, потребовать ведомости также о золотых и серебряных галунах. Сенат донес, что русские фабриканты обязываются делать бархатов травчатых и гладких – 4590, косматых – 1680 аршин, итого 6270; штофов цветных – 9000, гладких – 17080, грезетов – 49477, свистунов – 10500, тафт травчатых и гладких – 41267, гродетуров травчатых – 400, подкладок – 500, коноватов персидских – 1050, кутней персидских – 600, лент разных сортов – 196846 аршин, чулков – 100 пар, платков разных цветов – 49244, кружев персидских – 200 косяков. По справке обнаружилось, что таких шелковых иностранных товаров по всем российским гаваням в привозе было в 1746 году: бархатов гладких в кусках – 15722, следовательно, лишнего 9452 аршина, штофов – 28887, лишнего 2807 аршин; грезетов – 31492, меньше 17985; свистунов – 4880, меньше 5620; тафт – 47965, больше 6290; гродетуру – 17028, больше 16628; лент с золотом и серебром – 3 пуда 1/2 фунта; кружев – 16 кусков, многим меньше; платков – 14976 дюжин и 4 штуки да флеровых с золотом и серебром 79 платков, больше 10800, 72 дюжины и 4 штуки; чулок – 690 дюжин с половиною, больше 681 дюжина; в 1747 году в привозе эти шелковые товары были против 1746 года гораздо меньше, а именно: бархатов – 5655 аршин, штофов – 13846, грезетов – 15902, свистуну – 40 аршин,

тафт – 13889, гродетуру – 9106 аршин; лент только флерентовых – шесть кусков да цветных и флеровых – 7 фунтов 56 золотников, а платков и кружев в привозе уже не было, чулков – 63 дюжины. Фабриканты плащильного, волоченого и пряденого золота и серебра объявили, что могут удовлетворить Россию без привоза иностранных произведений. Сенат решил представить императрице эту ведомость с следующим своим мнением: запретить привоз тех продуктов, которых производится в России достаточное количество; остальные привозить к одному Петербургскому порту, чтоб узнать, сколько тех шелковых товаров еще надобно. Так как указ Петра Великого от 31 января 1724 года о присылке в Сенат ежегодных рапортов о состоянии фабрик и образцов делаемых на них товаров не исполняется, то послать в Мануфактур-коллегию указ о неотменном его исполнении и потребовать отзыва, для чего не исполнялся, для положения штрафа на Мануфактур-коллегию. По просьбе шелковых фабрикантов велеть Сибирскому приказу вывозить из Китая сырец при казенном караване и отдавать в Мануфактур-коллегию, которая должна отдавать его на русские фабрики за наличные деньги, а не в долг.

По поводу знаменитой ярославской фабрики Затрапезного вскрылось дело, любопытное по отношению к нравам времени. Фабрикою заведовал майор Лакостов, зять умершего фабриканта Ивана Затрапезного, и заведовал ею только до совершеннолетия малолетнего шурина своего Алексея Затрапезного, которого он, по его выражению, определил к наукам для немецкого языка и арифметики. Меньшая дочь покойного Ивана Затрапезного вышла замуж за шелкового фабриканта Данилу Земского, который вскоре после женитьбы своей начал подкапываться под Лакостова; тот подал жалобу в Мануфактур-коллегию, что Земский шурина своего Алексея Затрапезного от учителя Жилкина из школы украл, вместо честных наук купил ему голубей, держал его в доме своем в праздности и играх два месяца, возил его в Ярославль и, отлуча от наук, велел его там оставить без всякого призрения; юноша стал развращенным и непристойным, в самой пагубной праздности ходя по улицам в непристойной одежде, а иногда в балахоне, играл с фабричными ребятами в бабки. Тот же Земский в приезд свой в Ярославль на порученную Лакостову мануфактуру заводил между людьми смуту, чтоб мастера Лакостова не слушали, тещу свою Затрапезнову привел к тому, что она с того времени говорила: «Все Данилушкино»; а теща эта не в своем уме, что известно и Мануфактур-коллегии. В 1744 году по общему согласию другого свояка, Балашова, жены его и третьей свояченицы, вдовы Сусанны Болотиной, и по просьбе самого шурина Алексея Затрапезного Лакостов опять определил его к наукам, послал в Нарву, а в 1747 году перевел в Ригу. Земский отправлял нарочно человека своего в Нарву и Ригу, чтоб вторично украсть шурина или выманить, послал воровское письмо от имени тещи, которая писала, чтоб без благословения ее не ездил за море, куда хочет послать его Лакостов.

Относительно печального состояния тещи своей Лакостов ссылался на Мануфактур-коллегию. Действительно, в этой коллегии находился рапорт асессора ее Меженинова об осмотре фабрики Затрапезнова: на фабрике товаров и наготовленных для их производства материалов много, но покойного Затрапезного вдова в постоянном своем пьянстве сильно вредит фабрике: запрещает мастерам повиноваться зятям своим Лакостову и Балашову, называя их людьми посторонними и твердя, что настоящий господин фабрики – это ее малолетний

сын и потому она имеет над ними власть; мастера, заискивая ее милости, пьют постоянно с ней вместе и от этого не так исправно исполняют свои обязанности, а рабочие люди находятся в таком бесстрашии, что при нем случилось у них и смертное убийство; на приходящих для покупок на фабрику всяких людей вдова Затрапезного мечется как бешеная, потому что всегда пьяна, кусает, дерет, кидает ножами, вилками и всем, что попадет под руку, и таким образом мешает приходить на фабрику, да и сам он, Меженинов, спасен был от ее побоев только помощью зятя ее Балашова, ибо она удивительную имеет силу. При нем же приезжал на фабрику сын ее и разглашал, будто бы фабрика отдается третьему зятю, Даниле Земскому, и мать его от великой любви к этому зятю своему беспрестанно повторяет: «Все Данилушково!» А молодой Затрапезнов хотя по дурному воспитанию своему и по природе очень глуп, однако Лакостова и Балашова ругать и Земского хвалить твердо навык. Несмотря на это донесение Меженинова, Мануфактур-коллегия решила оставить без внимания жалобу Лакостова на Земского по поводу писем к молодому Затрапезнову в Ригу, ибо эти родственные письма с приглашением приехать на свидание ничего преступного в себе не заключают, вымыслов и подлогов и Лакостову обиды никакой нет, а если Земской мешает ему в управлении мануфактурою, то он бы прямо жаловался на это, не примешивая посторонних дел; Затрапезный же в таких уже летах, что может сам жаловаться на Земского, да и не видно ниоткуда, почему бы Лакостов должен был иметь большее влияние на него, чем другие родственники. Тогда Лакостов перенес дело в Сенат, который решил, что Мануфактур-коллегия поступила неправильно, не дав суда Лакостову с Земским, ибо в прошении первого указаны были преступные поступки второго, именно выкрадывание шурина от учителя, и возбуждение фабричных, и письма в Ригу действительно составные, воровские; определено за это в Мануфактур-коллегии взыскать штраф в 500 рублей.

Относительно промышленного и торгового значения Ярославля замечательна следующая просьба, поданная ярославскими и других городов купцами Кузьмою Зеленцовым с товарищами, всего 54 человека: при Петербургском порту главный торг юфтяный, а ярославское купечество исстари занимается кожевенным промыслом, оно же привозит к Петербургскому порту воск, щетину и русаков, т.е. невыделанных зайцев, на большую сумму; только от непорядочных браковщиков-иноземцев купечество приходит в упадок, потому что браковщики все иноземцы, и присяжные ль они или неприсяжные, того русское купечество не знает, да и тех иностранные купцы посылают не по очереди, не по выбору, по своей воле, который браковщик угождает им, тот и бракует, и от русских купцов о неправильном браке представления и спору как иностранные купцы, так и браковщики не принимают. При таком непорядочном браке бедный продавец принужден терпеть и дает браковщику волю, чтоб он, мстя за справедливое представление, еще более не оуждал товара, да и для того, когда иностранный купец купит юфти у многих русских продавцов, а за уменьшением числа браковщиков всего товара скоро не перебракует и, в то время как идет брак, привезут к порту еще юфти, или, по заморским известиям, цена упадет, тогда иностранные купцы прикажут браковщику забраковать ту юфть, которую они купили высокою ценою; бедные продавцы принуждены поневоле иностранного купца удовлетворить сбавкою цены; если же продавец не захочет цены

уменьшить и станет продавать другим иностранным купцам, по согласию их между собою другой иностранный купец забракованного товара как негодного не покупает и длит время, чтоб получить наибольшую сбавку цены, вследствие чего продавцы должны с горестью продавать, делая немалые уступки. Если же русский купец станет торговать их заморские товары да упомянет, чтоб товар перебраковать, то, как только услышит иностранный купец это слово, сейчас вышлет покупателя вон из анбара, и сделается ему на будущее время неприятелем, и во многие конторы объявит об нем, чтоб ему не продавали, и так пред русским спесиво себя ведут, что о правде слышать не хотят; особенно разоряют небогатых русских купцов, которые берут у них иностранные товары в долг с великими в ценах передачами и обязываются русские товары ставить по контрактам низкими ценами, отчего многие лишились промыслов своих и впали в неоплатные долги. Петербургские и других городов купцы Солодовников с товарищи в прошении своем написали, чтоб браковать юфти знающими людьми, и представили петербургских купцов Белякова и Вавилова, не справясь с знатными купцами и кожевными промышленниками, и определили за брак юфтей платить русским купцам по 2 копейки с пуда, а не так, как при браке пеньки и льна браковщики получают половину с русских и половину с иностранных купцов, и от такого учреждения с обеих сторон безопасность. Коммерц-коллегия определила Белякова и Вавилова браковщиками; но они люди незнающие, объявляют негодную кожу с дырами, но на кожевных заводах всякая кожа делается с дырами, и без того обойтись нельзя. Потому ярославские купцы просили Сенат рассмотреть дело, Белякова и Вавилова отрешить и вместо них определить из ярославского купечества Григория Истомина, знатного мастера, да в товарищи к нему ярославского купца Швылева, а к ним двоих иноземцев и привести всех их к присяге; кроме того, прислать на Гостиный двор члена Коммерц-коллегии или портовой таможни, собрать браковщиков и русских юхотных купцов и сообщать учредить юфтям брак порядочный; также учредить брак и прочим иностранным и русским товарам, давши браковщикам инструкцию. Сенат приказал: быть браковщиками юфти Истомину и Швылеву, привести их к присяге, дать инструкцию и сделать все так, как просили ярославские купцы.

Редко которая коллегия не чувствовала власти Сената, отменявшего ее решения и налагавшего денежные штрафы за неправильные, по его мнению, приговоры. Прокурор Юстиц-коллегии Жилин донес, что в некоторые дни присутствующие съезжаются в разные часы и, хотя все в собраниях бывают, только следственных дел не слушают, а читают сами положенные пред ними журналы по делам о переносе из города в город и о записке духовных, и в этом чтении почти все время проходит, пока ударит час выходить всем из коллегии; иные подпишут прочтенные журналы, а другие оставляют без подписания, и затем следственные дела поныне остаются без решения, да и от челобитчиков происходят в нерешении дел беспрестанные докуки. Сенат послал в коллегия принести неподписанные журналы; посланный, возвратясь, объявил, что в коллегии присутствующих никого нет; тогда Сенат послал капитана сенатской роты с приказом, что когда присутствующие в коллегия съедутся, то за поздний приезд держать их под караулом безысходно. Советник Юшков объявил, что опоздал, потому что в его доме потолок провалился. Сенат приказал: по такой законной причине освободить его из-под ареста.

В Духовной коллегии, в Св. Синоде продолжались также несогласия между членами и обер-прокурором. В 1749 году князь Шаховской писал императрице: «Я не премолчевая со оными членами о том, что, когда, усмотря по Божеским и вашего импер. величества законам в неисполнении оставленное ими не по силе тех производимое, спору; за то часто не токмо на меня сердятся и многими словами персонально оскорбляют и заочно, уповаю, и жалобы на меня произносят. И тако мне против многих спорить, определенному и разными опасностями окруженному, единое только есть спасение и покров правосудие и милость вашего импер. величества. А мне б то была наивысочайшая милость, когда б мои поступки и для соблюдения вашего импер. величества интересов ревностные домогательства и с синодальными членами не заедино их жалованье и доходы, но также за упущение экономических порядков и за раздачу в великовотчинные архиерейские дома и монастыри на строение без надлежащего прежде о доходах и остатках отчета более 40000 рублей из казны вашего импер. величества денег и за несобирание в Синод оставшихся в епархиях и монастырях после духовных персон пожитков (в коем числе одних денег и червонных более 20000 рублей находится) и по прочим таковым же делам споры и против всех приносимых на меня жалоб персонально пред очьми вашего импер. величества при них самими делами доказать и оправдаться позволено было».

Шаховской мог указывать также на медленность Синода в исправлении и издании Библии, медленность в деле, которое особенно занимало Елисавету как завещанное отцом. Мы видели, что исправление Библии было поручено архимандриту Илариону. Оказалось, что в Феофилактовской (Лопатинского) исправленной Библии во многих главах и стихах текст с текстом старой печатной Библии и ни с какими греческими кодексами не согласен, иные стихи переменены, другие дополнены или убавлены и главы некоторые начинаются не оттуда, откуда по греческим кодексам должны начинаться, а по указу Петра Великого велено именно эти несогласия исправить согласно с греческим переводом 70 толковников. 17 ноября 1746 года определили: перемены речей у Феофилакты выносить на брег (на поля), а старые речи писать в тексте на ряду; что же касается до перемены в разуме, также прибавки или убавки стихов или перемены глав, то смотреть на сделанные выписки из разных греческих кодексов, а если сыщется хотя в одном кодексе так, как в старой печатной, то оставить так и в том разуме, как в старой печатной, а если ни в одном из греческих кодексов не сыщется так, как в старой печатной лежит, то представлять на рассуждение Синода. 9 января 1747 архимандрит Иларион подал доношение, что усмотрел он много в старопечатной Библии таких речей и целых стихов, которые противны новоисправленной Библии, а исправить то по надлежащему невозможно, и притом, объявляя о своем греческого языка незнании и что он глазами, трудясь при чтении той Библии, ослабел, просит от того библейского труда увольнения в Воскресенский монастырь, где ему, будучи настоятелем, и жалованье, ныне на библейский труд даемое, производить. Синод определил Илариона уволить, а из Киева вызвать двоих иеромонахов, знающих греческий язык. В экстракте о библейском деле, поданном императрице, в конце находится замечание, должно быть обер-прокурорское: «И тако Св. Синода члены от порученного им именными ее императорского величества указами библейского исправления сами отбив, разным персонам оную поверяя, за разными же сумнительства оное дело

бесконечно продолжают, и жалованье вотще употребилось. А когда и означенные киевские монахи одни токмо без искуснейших к тому из синодальных членов исправление Библии учинят, то по примеру вышеозначенных перемен чаятельно, что паки и потом сумнительствы еще какие изобретут».

Иеромонахи начали исправлять Библию; показалось долго, и 1 марта 1750 года Синод получил указ: печатать без всякого отлагательства. 10 июля началось печатание; 8 сентября новое требование, чтоб Синод подал ведомость, в каком положении находится печатание Библии? Синод доложил, что начавшееся 10 июля 1750 года печатание производилось без перерыва; что же касается того, в какое время все пророческие и макавейские книги могут Синодом быть освидетельствованы и исправлены, того показать точно не можно, ибо хотя Синод о сем и беспрестанное попечение имеет, но понеже многотрудные в них находятся к разобранию места, каковыя наипаче состоят в пророчествах, к тому же в Синоде сверх того библейского исправления завсегда происходит слушание и других многих текущих и неотлагаемого решения требующих дел, не упоминая о епаршеских.

Из дел, слушанием которых занимался Синод, заметим следующие: тверской архиепископ Митрофан жаловался на обиды, причиняемые духовенству светскими людьми: 1) ржевский воевода Венюков избил батогами дьякона Преображенской церкви Барсова; следствие провинциальною Тверскою канцеляриею произведено, но решения нет; 2) майор Свечин священника Тимофеева бил по щекам и проломил голову тростью, о чем провинциальная канцелярия до сих пор следствия не произвела; 3) полицмейстер Тархов пономаря Григорьева велел бить плетью, сам бил тростью и едва оставил жива, следствия не произведено; 4) ржевский помещик Юрьев бил батогами приходского своего священника, отчего тот и умер; началось следствие, Юрьев бежал и до сих пор не сыскан; 5) Ржевского уезда вотчинник капитан Новокшенов с людьми и крестьянами приехал к священнику, бил его, жену и детей дубьем и кольем, одного сына увез и держал пять дней скована; 6) Кашинского уезда села Фроловского вотчинник гвардии поручик Фамендин священника за невенчание людей его без венечных памятей бил по щекам и дубиною и принудил венчать; 7) Старицкого уезда помещик прапорщик Поликарпов принуждал священника венчать крестьянина с десятилетней девочкою и за неисполнение пришел с людьми в дом его, грозясь убить; священник спрятался; тогда Поликарпов велел разломать его избу, имение все пограбил, дочь и сноху его травил собаками. В ведении Синода Сенату по поводу этих жалоб было выставлено, что в светских командах по консисторским промемориям следствий не производят, а принуждают обиженных с обидчиками вступать в суды по форме и за теми делами волочиться; а обиженные духовные особы представляют, что они в суды вступать, бумагу гербовую давать и за делами волочиться по скудости и земледельству не в состоянии, особенно же за отлучкою их от церквей в отправлении службы божией и мирских треб последует остановка. Сенат решил: поступить во всех этих делах по силе указов, а требование Синода, чтоб обиженных не привлекать к суду по форме, исполнить невозможно.

Синод обвинял и Главный магистрат в потачке раскольникам. В 1749 году Синод сообщил Сенату, что в городе Ржеве-Володимерове раскольники выбрали бургомистром в магистрат купца Чупятова, который хотя в явный раскол и не был

записан, но жил с отцом своим, записным раскольников, в одном доме и тайно держался раскола, ибо в церковь никогда не ходил. Главный магистрат утвердил Чупятова, который своих родственников и прочих злых раскольников всячески защищает и живущих у них пришлых учителей прикрывает. Сенат велел послать в Главный магистрат указ об отрешении Чупятова. Но в следующем году по тому же поводу Синод жаловался опять на Главный магистрат, Тверской магистрат, Тверскую и Ржевскую провинциальные канцелярии: во Ржеве при ревизии записались вновь в раскольники 187 человек и крестили многих православных; детей своих, крещенных православными священниками, учат своим ересям, в домах своих имеют потаенные мольбища и держат у себя учителей – раскольнических старцев, стариц и бельцов с Ветки и из других мест; хотя в 1746 году, в бытность в Ржеве архиепископа Митрофана, некоторые по его увещанию и показали склонными к обращению, но предводителем своим Андреем Свешниковым от того были удержаны; хотя этот Свешников вместе с купцом Кудряевым и другими и были присоединены к православию, однако опять возвратились в раскол и, ходя по другим городам и уездам, рассевают лжеучения и развращают простой народ. К защите своей они отыскивали средство в Главном магистрате, который подтвердил указом Тверскому магистрату не отыскивать их и не отдавать к следствию в консисторию, вследствие чего подьячие и канцеляристы Ржевской воеводской канцелярии держатся раскола, несмотря на то что таким по указам у дел быть не велено. В 1747 году было послано из консистории отыскать раскольничьих учителей в деревнях Старицкого уезда Чурилове и Васильевской, но бургомистр, записной раскольник Константинов, имеющий у себя раскольничью пристань, вместе с крестьянами смертно прибил и ограбил этих посланных и отбил взятую ими женщину с раскольническими лжетайнами, а Тверская провинциальная канцелярия ничего за это не сделала.

Другие вести о расколе приходили с севера; в Устюжском уезде из Белослущкого стана из разных деревень сбежали тайно ночью крестьяне, записавшиеся по последней ревизии в раскол и не записавшиеся, всего 53 человека мужчин и женщин. За ними погнался прапорщик с солдатами, крестьянами и присланными из консистории священниками; он нашел беглецов в одном скиту, в котором с прежними беглецами набралось более 70 человек. Беглецы из окна переговаривали с священниками и на все увещания их отвечали: «Зачем приехали, то и творите, а у нас намерение положено одно, какое – сами знаем». Прапорщику прислан был указ: не брать беглецов приступом, чтобы не сожглись; но беглецы и без приступа зажгли скит и сгорели в нем все.

Предметом синодских занятий была также цензура книг. За неимением новых книг разбирали старые, и в 1749 году велено было отбирать книгу «Феатрон, или Позор исторический», переведенную с латинского Гавриилом Бужинским и изданную в 1724 году. В следующем году по именному указу взяты были из таможи объявленные в ней купцом Бузанкетом фарфоровые вещи в томпаковой оправе наподобие гусиных яиц, 14 штук, с изображением на них страстей Христа-Спасителя, Богоматери и св. угодников, которые к употреблению в них никаких мирских вещей неприличны; императрица приказала отдать их Бузанкету обратно с таким подтверждением, чтоб он не продавал их ни в Петербурге, ни в других местах Российского государства под тяжким штрафом, отправил бы их за границу и впредь с такими изображениями никаких вещей, сосудов и прочих,

которые кладутся в карманы, на столы, употребляются для стенных уборов, он и другие купцы отнюдь не выписывали и не вывозили.

Члены Синода по-прежнему были из малороссиян; духовник императрицы протоиерей Дубянский был малороссиянин; фаворит Разумовской был также малороссиянин. Мы уже говорили, что главным достоинством Елисаветы, несмотря на вспыльчивость ее в отдельных случаях жизни, было беспристрастное и спокойное отношение к людям, она знала все их столкновения вражды, интриги и не обращала на них никакого внимания, лишь бы это не вредило интересам службы; она одинаково охраняла людей, полезных для службы, твердо держала равновесие между ними, не давала им губить друг друга. Этому спокойному, беспристрастному отношению императрицы к людям кн. Шаховской обязан был возможностью сохранять свое трудное место, несмотря на сильную набожность императрицы, несмотря на то что иностранцы уже кричали о чрезвычайном влиянии, данном Елисаветою духовенству, несмотря на то что малороссияне должны были находить себе заступника в фаворите-малороссиянине. Но понятно, что там, где интерес малороссиян и Малороссии не сталкивался ни с какими и ни с чьими другими интересами, Елисавета охотно должна была выслушивать представления фаворита и охотно делать все то, что могло содействовать благосостоянию страны, откуда он был родом.

Мы оставили Малороссию пред восшествием на престол Елисаветы, когда главным правителем страны был генерал Кейт. Мы видели, что Кейт намекал Остерману, что надобно воспользоваться нерасположением малороссиян к великороссиянам и в число великороссийских членов управления ввести немца. Но план не был приведен в исполнение: Кейт скоро понадобился в Петербурге, и Остерман назначил главным правителем Малороссии своего приверженца из русских известного Ив. Ив. Неплюева. Но и Неплюев недолго пробыл в Малороссии. В конце октября 1741 года приехал он в Глухов, а 3 декабря приехал туда генерал Бутурлин с манифестом 25 ноября о восшествии на престол Елисаветы; Бутурлину было велено сменить Неплюева, отправить его в Петербург, а самому остаться правителем Малороссии впредь до нового распоряжения. Старшина и полковники поднесли за это известие Бутурлину 2000 рублей и выбрали троих депутатов – Апостола, Марковича и Горленко – для отправления в Петербург ходатайствовать по малороссийским делам пред новою императрицею. В январе 1742 года депутаты отправились и наняли себе в Петербурге квартиру – пять каменных палат в верхнем этаже за 14 рублей в месяц; извозчик с парой лошадей стоил 40 алтын в день, сани и упряжь свои. Первые визиты были к генералу Ушакову, продолжавшему заведовать Тайною канцеляриею, и к канцлеру князю Черкасскому. Затем следовали другие вельможи, из которых только князь Александр Бор. Куракин, любивший сильно попировать, угостил депутатов, «напоил и накормил с особливою своею похвальною склонностию». Только на четвертый день депутаты были *по службе* у Алексея Григорьевича Разумовского, камергера, *нашего* малороссиянина. На шестой день после обеда были во дворце и имели аудиенцию у ее импер. величества. Государыня изволила стоять в присутствии дам и господ. Привет говорил пан полковник лубенский Апостол; на привет отвечивал тайный советник барон Миних, обнадеживая милостию монаршею весь народ и партикулярно депутатов. После того допущены были к ручке ее величества.

Депутатов ласкали, часто приглашали по вечерам во дворец на оперы, «где девки италианки и кастрат пели с музыкою». Бывали у земляка Разумовского, у которого выпивали по 10 бокалов венгерского; ездили в Академию покупать книги, смотрели Кунсткамеру, глобус, библиотеку и другие диковинки; в Академии же были на лекции: профессор физики Крафт многие делал при них опыты стеклами зажигательными чрез микроскопиум композитум, чрез зажигательные планы, принз метальный и деревянный, чрез барометр и гидрометр. Ездили смотреть слонов, львиц, бобров полосатых, медведей белых и других зверей и птиц.

Насмотревшись этих диковинок в новой столице, малороссийские депутаты в марте месяце поехали в Москву присутствовать при коронации. Здесь на третий день по приезде отправились в Немецкую слободу во дворец к Разумовскому, который напоил их венгерским. Потом опять ездили во дворец к Разумовскому и удостоились быть у ручки ее величества и милостивые слова слышать и подпили; вечерять отправились к отцу-духовнику, также своему малороссиянину. В Москве по поводу коронации начались увеселения при дворе: депутаты ездили во дворец и были на опере в оперной зале, где в изъяснение милосердых квалитетов ее величества репрезентовалась история о Тите, императоре римском, и составленной на него конжюрации чрез Сикстуса и Лентулуса с поущения Вителлии, дочери убиенного Вителлия, которым всем оный император простил. Сие представление украшено было декорациею лесов, площадей, облаков при преизрядном пении и при танцах экстраординарных. Но для малороссиян были особенные удовольствия: Разумовский пользовался случаем, чтоб погулять с своими: сосватается его дворовый человек на дворовой девушке – Разумовский позовет своих на малороссийскую свадьбу, и подопьют. Воротятся депутаты вечером домой, а там уже ждут их дворцовые – слепой бандурист и певчие, и начнется куликанье. Поедут к архиерею черниговскому, тверскому, все это свои же, и покуликают довольно. И у себя депутаты могли поить и кормить гостей: к ним из Малороссии приходили обозы, привозили горелку двойную, анисовую, вишневку, тютюн, сало, ветчину, гусей, уток, индюков, пшено, свечи восковые и сальные, розу-варенье, прянички, сыры, пригоняли волов, овец. Не все куликали: ездили в Сенат, подавали просьбы по общим и частным делам, ездили к почтмейстеру, вносили по 18 рублей, чтоб в следующем году получать газеты французские, амстердамские, подговаривали иноземцев для обучения детей немецкому и латинскому языкам за 35 рублей в год.

Так провели малороссийские депутаты в Москве 1742 год, в конце которого отправились домой. А между тем Разумовский не был празден. Еще 15 декабря 1741 года Елисавета в свое присутствие в Сенате указала иметь рассуждение, какое малороссийскому народу сделать облегчение в податях и в прочем, чтоб он мог поправиться от убытков, претерпенных в бывшую турецкую войну вследствие пребывания у него большого войска. 21 мая 1742 года генерал-прокурор предложил следующие средства облегчить Малороссию: проезжие ничего не должны брать даром, сами не должны ставиться на квартиры, а брать, какие отведет им местное начальство. В 1739 году Генеральная войсковая канцелярия запретила прежде бывший переход крестьян с места на место под предлогом, что от этого много народу уходит за границу: теперь этот переход позволить, но смотреть накрепко, чтоб побегов за границу из Малороссии из слободских полков

не было. Почты, учрежденные во время турецкой войны, свести, а содержать только одну – от Глухова по Киевскому тракту. Доимку снять. Сенат согласился. Запрещено было также великороссиянам закреплять за себя малороссиян.

Правителем Малороссии или министром, как тогда выражались, был назначен генерал Ив. Ив. Бибилов. Правительство строго наблюдало, чтоб льготы малороссийские сохранялись нерушимо; но как прежде, так и теперь сами малороссияне просили как милости нарушения этих льгот. Так, один из самых видных людей в Малороссии, человек образованный или по крайней мере большой охотник до образования, покупавший книги русские и иностранные и делавший из них длинные выписки, выписывавший иностранные газеты и учителей иностранных к детям своим, оставивший нам любопытные записки, бунчуковый товарищ Яков Маркович, которого в 1742 году посылали депутатом от Малороссии приветствовать новую императрицу и ходатайствовать о льготах для Малороссии, – этот самый Яков Маркович по возвращении в Малороссию в 1743 году подал просьбу о пожаловании его за службу чином полковничьим на вакансию. Сенат решил отказать в просьбе, потому что по пунктам, данным гетману Апостолу, велено в полковники выбирать вольными голосами по прежнему их малороссийскому обыкновению.

В Малороссии, стране земледельческой и бедной народонаселением, вопросом первой важности был вопрос об отношениях земледельцев к землевладельцам. Мы знаем, что издавна в Малороссии слышалась жалоба на стремление землевладельцев делать своими подданными или крепостными вольных козаков. Закрепощенные таким образом крестьяне поднимали иски, добиваясь по-прежнему в козаки. В 1746 году войсковая канцелярия представила Сенату, что по указу Петра Великого позволено крестьянам искать козачества, но от этого происходят злоупотребления: во время войны молчат, а в мирное время, чтоб не платить податей и завладеть панскими землями, начинают отыскивать козачества, затрудняют и малороссийские суды, и Сенат: являются челобитчики лет в 70, и он, и отец его постоянно были в мужиках, а показывают, что дед был козаком, и поставляют свидетелей моложе себя, которые говорят, что от отцов своих слышали, будто челобитчиков дед служил в козаках, а в старых козачьих списках его нет; чтобы уничтожить такое злоупотребление, надобно назначить годовой срок, в который бы все отыскивали козачества, а по прошествии срока челобитчикам отказывать, иначе просьбам конца не будет; притом же мужики принимают такую суровость, что как скоро подали челобитье, то уже владельцев отнюдь слушать не хотят, бьют их и прикащиков. Сенат не согласился, запретил назначать годовой срок. На этом основании в следующем году 79 человек Черниговского полка били челом, что еще Павел Полуботок и сын его завели их себе в подданство; они просили освобождения, но справедливости им не оказано, только взятками разорены: бригадир Ильин взял с них куфу горелки, полковник Тютчев – 12 рублей денег и две куфы горелки, подполковник Семенов – два рубля. Сенат велел исследовать дело; обвиняемые заперлись, но обвинители присягнули в правде своих показаний, и решено, что надобно взять с обвиненных за взятки вдвое и отдать обвинителям.

В 1749 году киевский губернатор Леонтьев представил в Сенат, что великороссийские купцы для всенародной пользы просят позволения сидеть в Киеве в рядах общества с киевскими мещанами и врознь всякими товарами

торговать; подати у себя в великороссийских городах будут они платить бездоимочно и Киевскому магистрату всякие повинности отправлять; по мнению Киевской губернской канцелярии это следовало позволить, ибо киевским мещанам от этого никакого стеснения не будет. Но Сенат, справившись, что в грамоте Петра Великого запрещено приезжим в Киев торговым людям сидеть в лавках вместе с киевскими мещанами и продавать товары в локти, фунты и золотники, послал Леонтьеву выговор, что он об отмене существующих указов не должен был представлять. Еще прежде Киевский магистрат жаловался Сенату, что Главный магистрат привлекает его под свое ведение, тогда как он в ведомстве Главного магистрата никогда не бывал, и слался на привилегии, подтвержденные Петром Великим. Главный магистрат объяснил, что он Киевский магистрат в свое ведение не привлекает, а посылает для известия указы о пожаловании разных людей чинами и об отставках. Сенат приказал из Главного магистрата в Киевский магистрат никаких указов не посылать.

Малороссия много пострадала от засухи и саранчи; поэтому в августе 1748 года императрица приказала Сенату постановить меры для облегчения Малороссии. Призваны были в Сенат находившиеся тогда в Петербурге малороссийские депутаты и спрошены, не признают ли они полезным вследствие недостатка в хлебе запретить малороссийским обывателям курить вино; депутаты отвечали, что надобно позволить курить вино только духовенству и шляхетству, генеральной и прочей тамошней старшине и выборным козакам, потому что они для винокурения хлеб большею частью покупают, и то против наличного числа козаков половине; а прочим рядовым козакам и подсоседкам, также мещанству и посполитому народу винокурение запретить. Сенат согласился.

Великороссийский офицер не мог позволить себе безнаказанного насилия над малороссиянином: кирасирский поручик Ланской за разграбление дома малороссиянина Степанова, за смертельные ему побои, за держание жены его в двух колодах, за пытки и мучения племянницы и служительниц его и посторонних пяти женщин лишен был всех чинов, наказан плетьюми в Малороссии и написан в солдаты.

От насилий великорусских офицеров легко было доставить безопасность малороссиянам; но и в Малороссии, точно так же как и в Великой России, трудно было доставить жителям безопасность от разбойников. В записках одного из самых знатных и богатых людей в Малороссии находим следующее известие: «Приехал в Сварков и застал дочь мою старшую, которая объявила, что напали на них в селе Будилове ночью разбойники, взяли ее и пана Стефана, тирански били и начали было пекти (поджаривать) и, побравши все деньги, серебро и проч., ушли за границу». Сильную заботу доставляло правительству Запорожье как рассадник разбойничества. В 1742 году определено было посылать запорожцам ежегодно по 4660 рублей, кроме того, муки по 1000 четвертей да круп на то число по пропорции; пороху и свинцу по 50 пуд; но запорожцы не довольствовались этим жалованьем и рыбными и звериными промыслами: они нападали на козаков и калмыков, посылаемых в пограничные разъезды, отбирали у них лошадей и оружие. Малороссияне, ездившие из Бахмута в Черкасск, жаловались, что запорожцы их грабят; с заставы Каменного Брода приезжали донские козаки с жалобами, что на них нападают запорожцы и ссылают их с заставы, объявляя, что река Миус в их владении. Запорожцы в свою очередь жаловались, что Донское

Войско сильно обижает их, из рек Калмиуса и Миуса и прочих рыболовных мест отгоняет их, запорожских и болоховских козаков. Донцы жаловались на большие обиды, грабительства и разорения от запорожцев и просили, чтоб запорожцам запрещен был въезд в не принадлежащие им места: в Калмиус, Калчики, Еланчики и особливо в Миус и Темерник, также в морские косы, довольствовались бы они по-прежнему местами, прилегающими к их стороне между Днепром и впадающею в Азовское море рекою Бердою; а если запорожцы на Миусе будут зимовать и весною вместе с донцами добываться (промышлять), то из Черкаска лошадей в поле выпустить будет некуда и проезд изо всех мест в Черкасск с разными припасами всякого звания людям может быть остановлен. Для размежевания отправлен был подполковник Бильс, которому кошевой объявил, что письменные документы в шведскую войну все пропали; надобно было прибегнуть к сказкам старожилков, но по этим сказкам обе стороны выходили правы. Запорожцы объявили, что они владеют спорными местами недавно, но не самовольно, что у них на то есть грамота, подписанная Ив. Ив. Неплюевым, бывшим при разграничении между Россиею и Турциею; но оказалось, что в этой грамоте просто заключалось извещение Неплюева о заключении мира между Россиею и Турциею. Сенат приказал: запорожцам владеть от Днепра рекою Самарою, Вольчими Водами, Бердою, Калчиком, Калмиусом и прочими впадающими в них речками и подлежащими к тем рекам косами и балками по прежнюю границу 1714 года; а от реки Калмиуса – Еланчиком, Кринкою, Миусом, Темерником до самого Дона и впадающими в них речками, балками и косами владеть донским козакам; границею быть реке Калмиусу.

В начале 1747 года киевский губернатор Леонтьев доносил, что в Запорожье посылаются строгие грамоты о пресечении воровства и разбоев, и кошевой с товариществом представлял, что он со всеми куренными атаманами и немалою командою рядовых Козаков ходили врознь партиями по всем степным речкам, лежащим при Азовском море, балкам, байракам и другим местам для искоренения воров, разбойников и других беспаспортных бродяг, сыскали воров Журавля и Калгу с 20 товарищами и повесили. Леонтьев прибавлял, что, несмотря на это, запорожские козаки не отстают от укорененных в них злодейств, ибо как с польской стороны, так и от русских подданных много жалоб на их разбои, смертные убийства и грабительства. Но с одной стороны, надобно было побуждать кошевого, чтоб он преследовал разбойников, а с другой – удерживать, чтоб он не казнил пойманных смертию, а сообразовался с общим распоряжением для всего государства. В 1749 году шесть человек запорожцев в польских владениях разбили жида, в чем и повинились. Леонтьев из Киева отослал их в Запорожье с приказанием наказать их жестоко по войсковому обыкновению в присутствии всех козаков. Кошевой рапортовал, что двое разбойников повешены, а прочие публично без пощады киевным боем жестоко наказаны, «ревнуя высочайшим ее императорского величества указам, дабы такое непрерывное воровство прекратиться могло». Сенат велел послать указ, чтоб впредь не казнили, а присылали ему приговоры. Кошевой представил, что если не казнить, то воровства и других шалостей искоренить будет невозможно. Сенат, разумеется, не принял этого представления. Беспрерывное воровство не прекращалось: гайдамаки жили в зимовниках при Ингуле и в урочище Вербовом числом до 3 и до 4 тысяч. В 1750 году Военная коллегия доносила, что город Изюм стоит на самой

границе; за ним шатаются многочисленные разбойничьи партии из Запорожья и нападают на промышленников, приезжающих в Тор и Бахмут за солью, а в Черкасск за рыбою, также разоряют и обывателей изюмских. Донцы жаловались опять, что запорожцы нападают на их владения. Сенат велел послать в Запорожье обычную грамоту, чтоб там прилагали старание об искоренении воровских людей. Это было последнее распоряжение Сената: 25 октября 1750 года Запорожье поступило в ведение малороссийского гетмана.

Мы видели, что в 1744 году Елисавета предпринимала путешествие в Киев. Малороссийская старшина определила выставить 4000 лошадей для проезда ее величества; но Алексей Гр. Разумовский писал Бибикову, что надобно выставить еще столько же лошадей да под свиту 15000 и все это надобно собрать с обывателей. Собирали подводы, но в то же время собирали и подписи под челобитною государыне об избрании гетмана; впрочем, не вся генеральная старшина подписалась, а на этом основании не подписывались и другие, менее чиновные люди. 6 августа Елисавета въехала торжественно в Глухов. Около кареты ехали старшина и бунчуковые с обнаженными саблями. Подъехавши к городским воротам, Елисавета вышла из кареты и приняла поздравление черниговского епископа Амвросия Дубневича; потом она пешком отправилась в девичий монастырь, где слушала обедню и проповедь черниговского архиерея. Из церкви с той же церемонией поехала в министерский дом, где принимала знатных малороссиян и слушала поздравительную речь Михайлы Скоропадского. Потом села обедать, а после обеда забавлялась танцами малороссиянок, польскими и козацкими. На другой день чрез Разумовского подано было прошение о гетмане; кроме того, все полковники, стоявшие с полчанами своими на станциях до самого Киева, подали такое же челобитье.

5 мая 1747 года Сенат получил указ: быть в Малороссии гетману по прежним тамошним правам и обыкновениям и оного во всем на таком основании учредить, как гетман Скоропадский учрежден был. Только в начале 1750 года приехал в Глухов граф Генрихов, по требованию которого старшина съехала в генеральную канцелярию и подписывалась на прошении, чтоб гетманом быть брату фаворита графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому, известному уже как президент Академии наук. Это было 18 февраля; а ровно через месяц, 18 марта, в Глухове в квартире министерской было собрание всех полковников, бунчуковых товарищей, старшины полковой и сотников; туда же приехали архиереи и все духовенство, и объявлено было избрание гетмана Разумовского, а рядовых козаков не было. 22 числа совершилось публичное избрание. Собрались полки с музыкою и стали около театра: торжественное шествие двигалось от квартиры графа Генрихова: несли знамя, булаву, бунчук, печать, шли старшины, а впереди всех ехал в карете секретарь с высочайшею грамотою, по прочтении которой граф Генрихов спрашивал всех, кого избирают, и в ответ получил: «Графа Кирилла Григорьевича Разумовского». После этого все отправились в церковь, где слушали проповедь и молебствие.

Так был избран гетман, назначенный в Петербурге. Велено было уничтожить в Малороссии казенные конские заводы и фабрики; отозваны были великороссийские члены малороссийского управления; Малороссия перешла опять в ведение Иностранной коллегии вместо Сената; но гетман, воспитанный в Петербурге и за границею, нисколько не напоминал старых гетманов. Он и жена

его, урожденная Нарышкина, скучали в Малороссии и рвались в Петербург, ко двору; в одном письме, умоляя императрицу позволить приехать ему в Петербург, Разумовский писал, что сырой климат Глухова ему страшно вреден, что он может получить облегчение в своей болезни только в благословенном климате петербургском. Притом Разумовский нуждался постоянно в менторе и привез с собою в Малороссию Григория Теплова, а Теплов стоил четверых великороссийских членов прежней Малороссийской коллегии.

Восстановление гетманства в Малороссии не обошлось без доноса. Киевский генерал-губернатор Леонтьев прислал в Сенат письмо, писанное будто бы миргородским полковником Василием Капнистом к Рудницкому, старосте чигиринскому, от 29 февраля 1750 года: «Желание мое быть гетманом не сбылось, ибо выбрали гетманом Кирилла Григор. Разумовского не по его должности. Ныне по нашей присяге с шляхтою и ордою старайся отдать орде в ясырь заднепрские места от Архангельска до устья Тясмина, и для того от меня командирами в заднепрские места отправлены Байрак и Попатенко, которые ни в чем орде и шляхте противиться не станут и еще помогать будут, а из российской команды я постараюсь, чтоб ни один оттуда не вышел, а сам буду искать случая, с гетманом гуляючи, смертною отравою его напоить и по нем гетманом быть». В Киеве учреждена была по этому делу особая комиссия, которая признала Капниста совершенно невинным, и за то, что понапрасну держали под арестом, его произвели в бригадиры и подарили 1000 червонных.

Малороссийское народонаселение в XVIII веке вытягивалось далеко на восток, к границам государства с степною Азиею, где Россия мстила кочевникам за их прежние опустошения, приглашая к выгодной торговле. Мы видели, как давно заботились здесь о приискании и укреплении места, которое должно было именно быть средоточием среднеазиатской торговли, мы видели здесь деятельность Кириллова, которого заменил Татищев; при Елисавете мы видим здесь другого птенца Петра Великого, Ив. Ив. Неплюева, хорошо известного нам по дипломатической деятельности в Константинополе. Расположение Остермана готовило Неплюеву более широкое поприще: мы видели, что в правление Анны Леопольдовны он был назначен правителем Малороссии; переворот 25 ноября, падение Остермана повели и к падению Неплюева как креатуры Остермана; но были люди, и прежде других сама императрица, которые считали Неплюева креатурою Петра Великого и не считали полезным отнять деятельность у человека, отмеченного преобразователем. Но оставим самого Неплюева рассказывать нам о своих приключениях.

«В исходе того года (1741) прислан в Глухов Александр Бор. Бутурлин, коему повелено меня, сменя от всех должностей, отправить в Петербург, а притом публиковать, так как и во всем государстве опубликовано было, что все указы, какого бы звания ни были, данные в бывшее правление, уничтожаются и все чины и достоинства отъемлются, и посему я увидел себя вдруг лишенным знатного поста, ордена и деревень. Приехав в Москву, узнал, что меня обвиняют дружбою с графом Остерманом; и хотя я ничего противного отечеству и самодержавной власти не только не делал, не слыхал, но ей-ей и никогда не думал; со всем тем сия ведомость меня потревожила несказанно. В графе ж Андрее Ивановиче имел я всегда моего благодетеля, и за что он так осужден был, того также по совести, как пред Богом явиться, не ведал. Возложил на Бога и на мою неповинность и с

теми мыслями в Петербург прибыл и явился у князя Алексея Михайловича (Черкасского) и у князя Никиты Юрьевича (Трубецкого), кои мне всегда были благодетели. Князь Никита Юрьевич сказал, чтоб я ехал к принцу Гессен-Гомбургскому и ему бы доложил о моем приезде, что я и сделал. От принца прислан был ко мне приказ, чтоб я никуда не съезжал с двора, и потом сведал, что в особо учрежденной комиссии в 16 пунктах допрашивали графа Остермана: не ведал ли о сем Неплюев? И он давал ответы, как то и подлинно было, что я ни о чем не был известен; и хотя он ныне несчастен, но я не могу отпереться, что он был мой благодетель и человек таковых дарований по управлению делами, каковых мало было в Европе. В начале 1742 прислан мне от принца приказ, чтоб я у двора явился, что я и исполнил, и при сем случае поставлен я был на колена пред церковью в то время, когда императрица Елисавета Петровна проходила в оную; она изволила, остановясь, возложить на меня паки орден св. Александра Невского и пожаловать меня допустить к руке; я, увидев дочь государя, мною обожаемого, в славе ей принадлежащей, и в лице ее черты моего отца и государя Петра Первого, так обрадовался, что забыл все минувшее и желал ей от истинной души всех благ и последования ей путем в бозе опочивающего родителя. Потом сделал я визиты всем знатным. Старый мой благодетель Григорий Петрович (Чернышев) принял меня как родного и все силы употреблял к защищению моей невинности. Чрез несколько дней сделана мне от Сената повестка, чтоб я в оный явился, где мне объявлен именной указ, чтоб ехать в Оренбургскую экспедицию командиром».

Это назначение было для Неплюева почетною ссылкою; но благодаря своим способностям и энергии он на этом месте служения своего приобрел наибольшее право оставить свое имя на страницах русской истории, на страницах истории цивилизации. Область, вверенная управлению Неплюева, начиналась за Волгою, где Самара была обыкновенным местопребыванием командиров Оренбургской экспедиции. Оренбург, о котором было столько хлопот, который считался оплотом России от Средней Азии, представлял крепость, окруженную забором из плетня, осыпанным земляным дерном; гарнизон был ничтожный. В эту твердыню командиры ездили раз в год с многочисленным конвоем, потому что по всей линии регулярных команд никогда не было, кроме беглых крестьян, называвшихся козаками. Зимой сообщение между Самарою и яйцкою линиею вовсе пресекалось.

Неплюев в том же 1742 году объехал линию, назначил, где быть селениям и как укрепить их по правилам фортификационным и достаточным для обороны от степного народа, снабдив все эти места гарнизоном из регулярных войск, артиллериею и пороховыми магазинами. Оренбург он переименовал в Орскую крепость, назначил укрепить ее валом с бастиянами, но счел ее неудобною быть торговым средоточием и выбрал для этого место на 250 верст ниже по течению Яика, основал тут новую крепость и назвал ее опять Оренбургом. Этот Оренбург укреплен был рвом и валом с каменною одеждою в окружности без малого пять верст. Неплюев приманивал туда купцов из Самары и других мест разными выгодами и, желая подать пример поселенцам в перенесении трудов на новом, только что обстраиваемом месте, жил в землянке, как и все другие, и вошел в новоотстроенный свой командирский дом не прежде, как и все другие жители

вошли в свои дома, а гарнизон – в казармы, после чего он уже не возвращался более в Самару, или в Русь, как тогда говорили в Оренбурге.

Купцы были приманены в новую крепость торговыми выгодами, и потому надобно было хлопотать о том, чтоб они не обманулись в своих надеждах. Неплюев стал приманивать других купцов из России, писал во все магистраты; с другой стороны, посылал приглашать киргизцев, хивинцев, ташкенцев, кошкарцев, тухменцев и бухарцев; в эту посылку он употреблял татар Сеитовой слободы, давши им хорошие деньги и обещавши еще более, если успеют приманить азиатцев. Татары исполнили как нельзя лучше поручение, и в 1745 году в Оренбурге происходила уже значительная торговля. Мы уже приводили известия Неплюева об успехах этой торговли. В 1749 году Неплюев писал в Сенат, что в прошлом году русские купцы получили в Оренбурге серебра персидскою монетою от азиатских купцов 71 пуд 13 фунтов; а с последней половины апреля текущего года прибыло несколько бухарских и хивинских караванов, в которых тамошних обыкновенных товаров очень немного, но персидского серебра 418 пуд 22 фунта; а так как привозных туда из России товаров только на 140000 рублей, из чего надобных азиатским купцам едва достанет ли, то по просьбе русских купцов принужден он дать им на почтовые подводы подорожные, с которыми они на своем коште отправляют нарочных в Москву и другие города, чтоб как можно скорее еще доставить нужных товаров в Оренбург; сверх того, писано в Казань, чтоб тамошние купцы спешили туда же с своими товарами, ибо если однажды русских товаров азиатским купцам не достанет, то этим они могут быть отохочены от приезда в Оренбург в большом числе. Сенат послал сказать Неплюеву, что его распоряжениями доволен. Скоро Неплюев сделал другое распоряжение: из привезенного азиатцами серебра большую половину взяли астраханские купцы за свои товары и повезли в Астрахань, а так как там находился порт, то Неплюев писал астраханскому губернатору о предосторожности, чтоб это серебро опять не ушло в Персию. Сенат послал указ в Астрахань: иметь крепкое смотрение, чтоб за границу никакого серебра не вывозилось.

Неплюев не был доволен малороссийским народонаселением уральских степей. При императрице Анне вызвано было туда из Малороссии 209 семей, которые жили сперва на казенном содержании, потом это содержание велено прекратить, но зато их не употребляли ни в какие наряды, никому не давали они подвод, имели право ходить для промыслов в русские города. В 1744 году Неплюев представил Сенату о неспособности черкас: несмотря на данные им льготы, они нисколько не поправились и он принужден был раздать им несколько сот четвертей казенной ржи, чтоб некоторые из них, особенно малолетные, престарелые и сироты, с голоду не померли. Некоторые из них просились поселиться внутри линии на реке Кинели и в других местах ближе к русским жилищам, а другие желали возвратиться в Малороссию. Неплюев, рассуждая, что от жительства их при самой границе никакой пользы не предвидится, даже опасно, чтоб их, неосторожных и слабых людей, киргизы внезапными набегами не растаскали, как то в прошлом году и случилось с ними не в одном месте, позволил поселившимся на Яике при урочище Рассыпном, где особенно часты бывали воровские перелазы, переселиться на реку Кинель, о желании же других возвратиться в Малороссию донес Сенату, требуя его разрешения; Сенат разрешил отпустить их на родину, на прежние места жительства. В том же 1744 году была

учреждена Оренбургская губерния, губернатором которой назначен был Неплюев. К новой губернии отошли все вновь построенные по границе и строящиеся крепости с регулярными и нерегулярными войсками и прочими поселенцами, также две провинции – Исетская и Уфимская – со всеми башкирскими делами; наконец, оренбургский губернатор должен был ведать киргизский народ и тамошние пограничные дела.

Относительно Сибири и самых отдаленных ее местностей царствование Елисаветы началось религиозным распоряжением: в начале 1742 года в камчадальскую землю определен Синодом для проповеди слова Божия тобольского Спасского монастыря архимандрит Иосиф Зинкеевич. В конце года видим распоряжение об отправлении туда же архимандрита Хотунцевского с двумя студентами высших школ, которые должны были обучать новокрещенных детей русской грамоте, букварю с истолкованием Божественных заповедей и Катехизису. В Пекин на место умершего архимандрита Илариона Трусова отправлен был для проповеди слова Божия архимандрит Гервасий Линцевский с иеромонахом и иеродиаконом.

Вместе с заботами о хлебе духовном шли заботы о хлебе материальном. С первого поселения русских в Сибири до половины XVIII века правительство должно было кормить своих служилых людей в Сибири хлебом, привозимым из Европейской России. В 1746 году Сенат послал указ о посеве в верхиртышских крепостях хлеба – ржи, овса, ячменя. Сибирский губернатор Киндерман донес, что в 1747 году яровой и рожь родились с прибылью, именно прибыли 4795 четвертей. Весною 1748 года посеян хлеб в тобольских, ишимских, колыванских, кузнецких и тарских линиях. Киндерман предлагал для успеха хлебопашества завести скотоводство, закупить быков и обещал, что через два года крепости будут пробавляться своим хлебом и прекратится убыточная для казны привозка хлеба в них. Сенат одобрил распоряжения Киндермана и определил выдать ему 1000 рублей в награду.

Но не должно думать, чтоб в описываемое время на всем протяжении Сибири все спокойно подчинялось русскому правительству, его распоряжениям, церковным и гражданским. Из Анадырского острога майор Павлуцкий доносил, что 1746 года в марте месяце из Анадырска ходил он с командою на Колымское море для сыску неприятелей-чукчей, которых и нашли в пяти юртах 16 человек, и всех их побили, а другие тут же сами, не хотя идти в покорность, прирезались, жен и детей своих всех прикололи и повесили; русские взяли в добычу оленей сот с шесть, которые употреблены на пропитание служилым людям; потом опять нашли чукчей и отбили у них 50 оленей, а самих побить не могли, потому что они, приколов детей своих, бежали, а в погоню за ними по малолюдству команды и по неимению съестных припасов послать было нельзя. Летом того же года Павлуцкий донес, что ясачные акланские и каменные коряки изменили, убили ехавших из Охотска священника и при нем 5 человек, также убили семь козаков Акланского острога да посланных Павлуцким за разными делами двоих сержантов, одного пятидесятника, 10 козаков, приезжали к Акланскому острогу, стояли под ним двое суток и убили козака. В марте 1747 года Павлуцкий, узнав о приближении чукчей, которые разбивают ясачных коряков, взял с собою лучших легких солдат и козаков 97 человек да коряков 35, отправился на оленях и собаках вперед и за собою велел следовать сотнику Котковскому с остальным войском,

состоявшим из 202 человек. 14 марта Котковский получил известие, что Павлуцкий 13 числа ночью напал на чукчей при устье реки Орловой на горе; чукчи разбили его и убили, убили также 50 человек, ранили 28, взяли ружья, пушку, знамя, барабан; чукчи одолели числом, потому что их было с 500 или 600 человек, и удобством положения: чукчи были на горе, а Павлуцкий под горою. Посланный на место Павлуцкого поручик Кекеров в начале 1749 года начал действовать против изменивших коряков; изменники, прирезав жен и детей своих, человек до 30, ушли ночью; Кекеров сам не мог преследовать их, потому что был ранен из ружья; погнавшаяся часть войска настигла их, но они сели в осаду в пещере, к которой приступить было нельзя, потому что в нее ходят на ремнях. В конце 1749 года канцелярия Охотского порта доносила, что в недалеком расстоянии от Ямского острога видают неприятелей в большом числе. Отправленный из Ямского острога сержант Белобородов с командою для строения крепости доносил, что в июле 1749 года напали на них неприятели, человек 400, бились часа с четыре; неприятель был прогнан, но русские нашли у себя 14 человек раненых.

Эти события, происходившие в неведомых странах, на берегах Восточного океана, были известны очень немногим в Москве и Петербурге, где все внимание было обращено на Запад, где заботливо сторожили движения опасного прусского короля и особенно боялись его влияния в соседней Швеции. Система Бестужева, в основании которой лежала мысль, что самый опасный враг России есть Фридрих II, торжествовала; но знаменитый канцлер не мог спокойно наслаждаться ее торжеством, ибо число и значительность врагов его не уменьшались.

Осенью 1749 года Елисавета отправилась из Москвы в Воскресенский монастырь (Новый Иерусалим), где хотела праздновать свои именины (5 сентября); здесь она пожаловала в камер-юнкеры родственника графов Шуваловых молодого Ивана Ивановича Шувалова. Это назначение было событием при дворе; все перешептывались, что это новый фаворит; небольшой кружок охотников до образования радовался возвышению молодого человека, которого видели всегда с книгою в руках; но не мог радоваться этому канцлер, предвидя, как фавор Ивана Шувалова усилит значение враждебных графов Шуваловых, Петра и Александра. Значение Алексея Гр. Разумовского, по-видимому, не понизилось, но молодой брат его граф Кирилл, ходивший на помочах своего дядьки Теплова, не разделял нисколько приязни старшего брата к канцлеру.

От пребывания двора в Москве в 1749 году до нас дошла любопытная записка канцлера, составленная в октябре «для всевысочайшего известия»: «Хотя тогда никто слова не говорил, как Лесток на обеде у шведского посланника Вульфеншетерна (в присутствии послов, всех чужестранных министров и здешних знатнейших) канцлера с великим грубиянством принуждал за здравие ее императорского величества пред всеми людьми пить; но как на прошедшей неделе в четверг, т.е. 12 сего октября, канцлер на новоселье у князя Мих. Андр. Белосельского, где было за столом с хозяином и хозяйкою 20 персон, асессора Теплова принудить хотел, чтоб он за здоровье графа Алексея Гр. Разумовского покал, который всеми полон пить, полный же выпил, то теперь по всему городу уже рассказывают, будто канцлер Теплова разругал, с великим для него (канцлера) прискорбием, что его неприятели (коих без причины столько же много, как

волосов на голове) тем пользуются пожалованный ему от ее императорского величества из первейших в государстве чин с таким молодым человеком смешивать. Канцлер, однако ж, за излишне поставлял бы ее императорского величества оправданием своим пред Тепловым утруждать; но дабы как где ложно обнесенным не быть, то всенижайше дерзновенно приемлет представить, что канцлер, увидя, что Теплов в помянутый покал только ложки с полторы налил, принуждал его оный полон выпить, говоря, что он должен полон выпить за здоровье такого человека, который ее императорскому величеству верен, так и в ее высочайшей милости находится и от которого ему подлинно много благодеяний сделано, и что к чему же в такие компании и ездить, буде с другими наравне не пить. Но как Теплов грубиянство имел и того не послушаться, то, может быть, канцлер ему и сказал, что разве он хочет примеру церемониймейстера Веселовского последовать, а впрочем, никакого бранного ниже оскорбительного слова не сказал, и в том на всех беспристрастных из оной компании ссылается. Что до грубиянства Теплова принадлежит, то он в том уже обык, ибо в многие дома незванный приезжал, гораздо у прочих и старших себя за столом место снимал, да и дам тем не щадит, как то особливо Авдотья Герасимовна Журавка над собою искусство (опыт) тому видела, когда он отнял у ней место в карете, в которой она уже ехала, так что она на улице осталась, о чем она сама лучше донести может. А пример Веселовского в том состоит, что на прощальном обеде у посла лорда Гиндфорта, как посол, наливши полный покал, пил здоровье, чтоб благополучное ее импер. величеству государствование более лет продолжалось, нежели в том покале капель, то и все оный пили, а один только Веселовский полон пить не хотел, но ложки с полторы, и то с водою, токмо налил и в том упрямо перед всеми стоял, хотя канцлер из ревности к ее величеству и из стыда перед послами ему по-русски и говорил, что он должен сие здравие полным покалом пить как верный раб, так и потому, что ему от ее императорского величества много милости показано пожалованием его из малого чина в столь знатный. Но канцлер тогда не хотел ее императ. величество сим утруждать, как то и ныне происшедшее с Тепловым в молчании оставил бы, ежели б о том по городу иначе не толковали, хотя он и то и другое из усердия своего сделал: первое из респекта и должности к ее императ. величеству, а другое по любви к графу Алексею Григорьевичу, а еще паче, что и то респекту противно, чтоб не хотеть пить за здоровье такого человека, который милость ее императ. величества на себе носит».

Несмотря на то что у Бестужева столько же было врагов, сколько волос на голове, он был еще силен в это время, так что самый могущественный враг его граф Петр Шувалов считал иногда нужным сблизиться с ним. Так, осенью 1749 года Воронцов объявил прусскому министру Гольцу, что сверх его ожидания Петр Шувалов помирился с Бестужевым. Воронцов был сильно этим огорчен и сказал, что примет место посланника при каком-нибудь дворе, ибо не может бороться с беспорядком, который царствует в России, и утомлен преследованиями своего врага. Когда Гольц заметил, что надеется на милости к нему императрицы, то Воронцов отвечал, что после падения Лестока он не может более полагаться на самые священные обещания императрицы. Слабый луч надежды блеснул было с другой стороны: Воронцов сообщил Гольцу, что имел разговор с Кириллою Разумовским; тот открыл ему, что он и старший брат его начинают ревновать ко власти канцлера, который им очень наскучил, и хотя нужно время для

поколебания к нему доверия императрицы, однако они надеются успеть в этом в продолжение года. Надежда отдалить Разумовского от Бестужева основывалась еще на том, что жена молодого Бестужева умерла и таким образом порывалась родственная связь между обеими фамилиями. Но когда Гольц предложил Воронцову деньги для привлечения Алексея Разумовского на свою сторону, то Воронцов отвечал, что теперь еще не время, что Бестужев еще очень силен.

Бестужев по-прежнему был в силе; Воронцов по-прежнему видел себя в опале и, догадываясь, что перлюстрация, или вскрывание депеш иностранных министров, должна быть главною причиною опалы, подал в конце 1749 года, в день рождения императрицы, новое умилоостивительное письмо: «Уже пятый год, всемилостивейшая государыня, настает, как я по несчастливом моем, однако ж безвинном вояже из иностранных государств неописанную и единому Богу сведущему болезнь, сокрушение и горестное мучение жизни моей препровождаю, лишаясь дражайшей и бесценной милости и поверенности вашего императ. величества. Через многие мои письменные и словесные прошения утруждал я ваше императ. величество о милостивом изъяснении; токмо кроме обычайно сродного милосердного ответа от вашего императ. величества не получал, что я напрасно только о том думаю. Я сердцеведца Бога во свидетели представляю и себя на его страшный и праведный суд предаю, что как до сего несчастного моего чина вице-канцлера вашему императ. величеству верный и истинный раб был, столь более ныне в сем чину желаю себя достойным учинить вящей высочайшей милости вашего императ. величества. Я никакого пристрастия и ненависти ни к какому иностранному государю не имел, не имею и впредь иметь не буду; они все у меня дотоле в почтении содержатся, доколе к вашему императ. величеству в искренней дружбе и любви пребудут. Сие всеподданнейшее прошение побуждает меня чинить рабская моя к вашему императ. величеству верность и должность пожалованного мне чина, ибо чрез несколько уже лет, к немалому моему пороку, по делам вашего императ. величества к докладам не удостоен. Известная перлюстрация писем, которая множеством как река течет, от коллегии скрыта; а понеже довольно ведомо и искусство (опыт) научило, сколь много в сих письмах разные сумнительные и ложные внушения писаны бывали, то весьма справедливо и нужно для осторожности знать, дабы заблаговременно вашему императ. величеству должное изъяснение подать. И для того слезно прошу приказать все оные письма в коллегии сообщать, дабы о прошедшем основательно ведать».

Просьба, как видно, не была исполнена. Понятно, что Воронцову очень важно было знать о прошедшем; что же касалось настоящего, то перлюстрации теряли свое значение. Наиболее возбуждавшими опасение были депеши французского и прусского министров; но с Франциею дипломатические сношения прекратились, с Пруссиею готовы были прекратиться.

В марте 1749 года австрийскому послу графу Бернесу сообщена была промемория: «Никак понять не можно, для чего б король прусский в такое время, когда вся Европа вожделенным покоем паки пользуется и ничего неприятельского опасаться не имеет, такие великие военные приготовления, сильные рекрутские наборы, знатное умножение своей армии предпринимает. Ласкательное мнение, которое он иногда имел бы, чтоб шведскую Померанию себе присвоить, а напротив того, Швеции к завладению Эстляндского и Лифляндского герцогств вспоможение показать, одно достаточно его к некоторым незапным предприятиям

приготовить. Кончина нынешнего короля шведского и тайно замышляемая, а может быть, уже постановленная премена тамошней формы правительства королю прусскому уповательно, по его исчислению, наилучший повод подать могут дальновидными его опасными намерениями. Коль весьма римская императрица-королева притом интересована находится, оное очевидно есть, ибо легко понять можно, что ежели бы Швеции с помощью Пруссии введение самодержавства удалось, то бы она тогда с Франциею и Пруссиею в главных делах весьма великую инфлуенцию получила вместо того, что Швеция при нынешней форме правительства всегда связанными руки имеет и за весьма слабое и негодное орудие ее союзников признаваема быть может». Тогда же Кейзерлинг доносил из Берлина, что министр Подевильс по королевскому приказанию сделал ему такое заявление: носится слух, что в Швеции некоторые думают изменить нынешнюю форму правления и опять ввести самодержавие; его величество очень хорошо знает свои интересы и ясно предусматривает, какое влияние будет иметь шведский переворот на эти интересы, и потому такого предприятия он не дозволит, тем менее станет ему способствовать; он же велел дать знать шведскому кронпринцу, чтоб тот отвергнул подобные проекты, если б они ему были предложены, и никоим бы образом не вмешивался в это дело, которое не может иметь никакого успеха. Сделавши такое заявление относительно Швеции, Подевильс начал объяснять прусские вооружения: король, говорил он, ничего так не желает, как сохранения всеобщего спокойствия; но так как все его соседи ревностно вооружаются и делают такие распоряжения, к которым приступают обыкновенно накануне войны, то благоразумие требовало позаботиться и о своей безопасности. Вот единственная причина, заставляющая короля приготавливать свои войска на всякий случай, в прочем же он будет следовать своим неизменным чувствам, заставляющим его соблюдать драгоценнейшую дружбу ее импер. величества. На отпускной аудиенции Кейзерлингу сам король повторил все эти заявления.

Гросс, назначенный, как мы видели, на место Кейзерлинга, начал свои донесения тем, что вооружения прусского короля внушены страхом пред вооружениями России и Австрии, что он сам никак не решится начать войну и что военные приготовления, сделанные Россиею, представляют лучшее средство удержать прусского короля и шведское министерство от всяких нововведений. В конце марта Подевильс уверял австрийского посланника графа Хотека и секретаря датского посольства, что его король теперь в северные дела ни прямо, ни косвенно вмешиваться не хочет, разве только для их мирного улаживания; для отнятия всякого подозрения король даже откладывает свою поездку в Пруссию. В апреле Гросс уже доносил, что военные приготовления в Пруссии день ото дня ослабевают, ибо в Швеции не предполагается никаких перемен, которые не могли бы произойти без помощи Франции, а Франция нуждается в покое.

1750 год начался неудовольствиями. Манифест императрицы, чтоб все офицеры из остзейских провинций, находившиеся в чужестранной службе, оставили ее и возвратились в Россию, был очень дурно принят в Берлине. В начале января Гросс дал знать, что эстляндец Деколонг, приезжавший к нему тайно из Потсдама, тотчас по возвращении по королевскому указу был взят под караул. «Это может служить доказательством, — писал Гросс, — что король не только хочет задержать силою русских подданных в своей службе, но и по

усиливающейся день ото дня подозрительности своей он пресек чужестранным министрам почти все сношения с своими подданными и с находящимися в его службе людьми». Через несколько времени после этого Гросс собрался съездить в Потсдам посмотреть новопостроенный королевский замок Сансуси; но получил от Подевилльса *дикое*, как выражается Гросс, письмо, в котором давалось знать, что король не желает этого посещения, после того как открыта его, Гроссова, переписка с офицерами прусской армии и даже с теми, которые находятся в потсдамском гарнизоне. Переписка эта состояла в циркуляре к лифляндским и эстляндским офицерам, чтоб они в исполнение воли императрицы взяли отставки из прусской службы.

13 мая Подевилльс вручил Гроссу следующую декларацию: «Сохранение спокойствия и тишины на Севере так важно для короля, что он не может далее откладывать дружеского объяснения с русским двором насчет туч, скопившихся с некоторого времени и грозящих этому спокойствию. Король с горестью видел, что императрица была встревожена предполагаемою переменою в шведской форме правления, и это повело между русским и шведским дворами к объяснениям о предмете, чрезвычайно деликатном для каждого независимого государства. Потом король с истинным удовольствием увидал, что в Швеции приняты были все меры для удаления малейшего подозрения со стороны русского двора. Но король, к сожалению, был обманут в своих надеждах новым мемуаром графа Панина, поданным в прошлом январе, где опять поднят тот же вопрос, на который Швеция должна отвечать согласно с правилами своей независимости и своим достоинством. При таком положении дел король не может удержаться от настоятельной и дружественной просьбы, чтоб императрица всероссийская отложила всякое дальнейшее объяснение и прекратила дело, последствия которого могут погрузить Север в страшные смуты. Король обязан это сделать как по желанию спокойствия на Севере, так и по союзному договору с Швециею, которую он должен защищать в случае нападения на нее».

Легко понять, как не понравилось это объявление при русском дворе, а 7 августа Гросс донес о «презрении своего характера»: по приглашению он вместе с другими иностранными министрами поехал в Шарлотенбург на представление в придворном театре. По окончании представления в той же галерее, где оно происходило, приготовлен был большой стол, и Гросс видел, как король, подозвавши к себе адъютанта, приказывал ему, кого пригласить к ужину; адъютант пригласил министров французского, датского и шведского, но обошел австрийского и русского, и последние отправились через сад к своим экипажам, чтоб возвратиться в Берлин. На дороге нагоняет их тот же адъютант и приглашает австрийского министра к ужину; таким образом, исключен был один Гросс. Вслед за тем все другие иностранные министры были приглашены во дворец на бал и ужин, к одному Гроссу прислано было приглашение только на бал. Гросс после того перестал ездить ко двору, где оказали полное равнодушие к его отсутствию. 6 ноября он дал знать, что приглашенный Петербургскою Академиею наук профессор астрономии Гришау внезапно арестован в своем доме и содержится под караулом, который никого к нему не допускает. Распускалось такое обвинение, что он, отправив часть своего имущества в Россию, переслал и карты прусских провинций; но, по мнению Гросса, его задержали только за то, что он хотел уехать в Россию.

В октябре Бестужев поднес императрице доклад с прописанием оскорблений, нанесенных Гроссу; доклад оканчивался так: «Коллегия иностранных дел в рассуждении таких короля прусского аккредитованному от вашего импер. величества министру учиненных презрительных поступков и показанной чрез то весьма чувствительной *образы* (оскорбления) пред другими чужестранными министрами, всеподданнейше представляет, не соизволите ли, ваше импер. величество, для предупреждения всего того и чтоб долее ему, Гроссу, таких предосудительных уничтожений показывано не было, повелеть его оттуда сюда отозвать». Рескриптом от 25 октября Гросс был отозван, причем ему приказывалось не объявлять прусскому министерству ни о причине его отъезда, ни о возвращении своем назад в Берлин, ни о том, что кто-либо другой будет прислан на его место. Последним поручением, возложенным на Гросса от его двора, было уговорить знаменитого математика Эйлера к возвращению в Россию. 29 октября президент Академии наук граф Разумовский получил от канцлера письмо: «Ее импер. величество всемилостивейше изволила указать вашему сиятельству объявить, чтоб изволили к бывшему в здешней Академии профессором Эйлеру отписать, не похочет ли он паки сюда возвратиться и в здешнюю службу вступить, обнадеживая его особенным ее импер. величества благоволением, и что ему всякие всевозможные снисхождения и выгоды дозволены будут». В этом смысле Разумовский написал Эйлеру: «Вы совершенно уверены быть можете, что сие всевысочайшее соизволение ее импер. величества не токмо вам, но и вашей фамилии (ежели бы Богу угодно было жизнь вашу пресечь) быть может с немалым авантажем, потому что вы имеете теперь случай включить все то в кондиции, чего покой ваш требует, на прежние же кондиции, о которых я вам неоднократно писал при вступлении моем в правление Академии, прошу не взирать, а сочинить такие, которые к вашему и вашей фамилии совершенному удовольствию служить бы могли». Другое письмо Разумовский писал к Гроссу: «Из приложенного при сем к г. Эйлеру письма под открытою печатью усмотреть изволите, сколь необходимо надобно, чтоб помянутый господин профессор паки возвратился в службу ее импер. величества. Хотя все наисильнейшие обнадеживания в письме моем я ему изъяснил к принятию сего предложения; однако ж ежели вы за благо что усмотрите словесно дополнить, то прошу надежно ему то учинить и ничего не оставить в персвазиях ваших, что бы могло споспешествовать в сем деле. Он человек по причине многочисленной фамилии своей немалый эконо, и для того в сем случае наиболее интерес будет действовать. Однако ж что касается до спокойного жития его в России, яко то: свободностей полицейских дому его, буде пожелает иметь собственный, то все по предписанным от него кондициям дозволено и наблюдаемо будет, одним словом, он добрую теперь имеет оказию учредить себя, фамилию и дом свой наилучшим образом и, чего сам к спокойному житию предостеречь себе не может, а персонально мне по приезде объявит, в том я ему буду прилежный помощник. Должность же его не иная будет при Академии, как только быть профессором высшей математики, лекций публичных не читать и никого без произволения своего не обучать, кроме двух или трех ему приданных адъюнктов российских, и то в часы, свободные от трудов, и произвольно».

Гроссу не удалось уговорить Эйлера к возвращению в Россию. Прекращение дипломатических сношений между дворами петербургским и берлинским было

главным образом следствием шведских дел, ибо Фридриха II преимущественно раздражали решительные действия русского посланника в Стокгольме, а Бестужев спешил пользоваться раздражением Фридриха II, чтоб избавиться от присутствия в Петербурге прусского посланника, опасного ему по сношениям с его врагами. Те же шведские дела вели к столкновению и обмену неприятных нот с любимым теперь в Петербурге кабинетом венским: Россия требовала от него также решительных заявлений насчет шведских дел, а в Вене уклонялись. Мы видели, что русским послом сюда был назначен граф Михайла Петр. Бестужев; Ланчинский оставался несколько времени при нем с прежним значением, но скоро умер.

Кроме шведских дел, к которым оба двора относились не с одинаким интересом. Мих. Петр. Бестужев-Рюмин имел от своего двора еще одно деликатное поручение. В конце 1749 года он получил такой рескрипт императрицы: «Явился здесь в Москве из Трансильвании протопоп Николай Баломири и в нашем Синоде подал прошение, что он прислан сюда от клира и народа трансильвано-волошского просить милостивой защиты православным христианам в нестерпимых бедах и гонениях, претерпеваемых ими за непринятие унии с римскою церковью. Из поданных им бумаг, к вам пересылаемых, вы увидите, что издавна и до самого царствования императора Леопольда они пользовались совершенною свободою относительно веры и отправления богослужения, имели собственных греческой веры епископов и священников без всякого ограничения и принуждения к унии; но вдруг явились от папы римского духовные особы под именем богословов, которые сделали распоряжения к приведению народа в унию, также и от нынешней императрицы об этом некоторые указы последовали. Вы, рассмотря все это, прежде всего обстоятельно наведаетесь, подлинно ли протопоп Баломири послан сюда от всего народа с просьбою о защите и точно ли трансильвано-волошский народ находится в таких обстоятельствах, как он объявляет, и если окажется, что подлинно, то вы можете надлежащий мемориал сочинить и подать министерству императрицы-королевы: в этом мемориале вы будете домогаться, чтоб они по-прежнему были оставлены в греческой вере без всякого притеснения. Вы обратитесь к справедливости и великодушию императрицы, укажите, что в ее областях, во всех государствах и в нашей империи находятся разных наций и религий люди и церкви и к перемене веры не принуждаются. Впрочем, отдается на ваше благоусмотрение, подавать мемориал или объяснить устно».

Только в июне 1750 года Бестужев мог отвечать императрице на этот рескрипт. По дальнему расстоянию и по малому числу приезжающих из Трансильвании он еще не узнал, действительно ли протопоп Баломири послан от всего народа; но узнал другое, что прошлого лета приезжали из Трансильвании депутаты с жалобою на религиозные гонения и возвратились назад без всякого удовлетворения. Потом присланы были оттуда же монах и приходский священник, которые самой императрице подали жалобу на притеснения от униатов: православных, которые унии принять не хотят, напрасно бьют, поносят, отнимают насильно их имущества, сажают в тюрьмы безвинно, двойные подати берут, на церкви налагают оброки и не допускают в них службу совершать, отчего уже в шесть лет младенцы без крещения, старые и взрослые без исповеди и приобщения остаются, а умершие тела без отпевания просто в землю зарывают. До сих пор

еще нет никакого решения от императрицы. Бестужев сделал экстракт из рескрипта императрицы, приложил к нему декрет императора Леопольда в пользу православных и противоположный декрет Марии-Терезии в пользу унии и отдал канцлеру графу Улефельду с требованием прекратить гонение на православных как добрых и верных подданных ее величества. Улефельд отвечал, что ни о каких притеснениях не слыхал, но помнит одно: что в Трансильвании явился какой-то возмутитель и хотел подчинить своей власти некоторых приходских священников. Его вызвали в Вену для объявления о тягостях, о которых он так разглашал, но он вместо того убежал в турецкую Валахию, а оттуда, вероятно, пробрался в Москву. При этом канцлер уверял, что у них люди всех вер имеют полную свободу, а греческого исповедания людей в Трансильвании гораздо больше, чем всех других.

В августе отправлен был Бестужеву повторительный указ: употребить старания в защиту трансильвано-волошского народа. Бестужев отвечал в конце сентября, что несколько раз упоминал Улефельду об этом деле, тем более что трансильванские депутаты и посторонние приезжавшие из тех мест люди подтверждали, что повсюду там православные священники совершать службу и по домам ходить с требами не допускаются, также книги церковные русской и волошской печати и духовных людей через границу пропускать запрещено; духовные и мирские люди за непринятие унии содержатся по разным местам за крепким арестом, и униатские попы всем православным грозили, что если они не приступят к унии, то не только потеряют все имение, но императрица-королева велит своим войскам искоренить их мечом с женами и детьми. От этого страха многие разбежались по лесам и в горы. На жалобы депутатов до сих пор никакой резолюции нет. Императрица отдала все челобитные тайному советнику Коловрату, у которого находятся в заведовании дела православного народонаселения; но этот Коловрат по своему католическому ханжеству и наущению здешних духовных всем православным неописанные пакости чинит, и граф Улефельд на представления Бестужева отвечал, что ему надобно взять справки у Коловрата. В последний раз, когда Бестужев спросил Улефельда, в каком положении дело, тот отвечал, что трансильванскому народу никакого утеснения в вере не делается, что приезжающие в Вену православные трансильванцы и тот беглец, что живет в России, все выдумали. Потом Бестужев узнал, что Коловрат объявил депутатам, чтоб, взявши паспорта, ехали назад, и когда они спросили, как же императрица решила их дело, то он с сердцем стал кричать, что они все бунтовщики, шизматики, были прежде униатами, а теперь обратились в шизму; на это депутаты отвечали, что они никогда униатами не бывали, а если некоторые из их попов для корысти, без ведома народа скрытно соединились с римскою церковью, то им до них никакого дела нет. Затем Коловрат, ругая их всячески, стал им грозить, как они смели искать посторонней помощи, и велел им немедленно выехать из Вены. На адвоката, который принялся за их дело и писал челобитные, наложен штраф. «По всем изображенным обстоятельствам явно видно, – писал Бестужев, – в чем состоят здешних духовных желания и происки, и каким опасностям подвержен этот бедный и большею частью простой и безграмотный народ, и что к спасению его другого средства нет, как если ваше импер. величество соизволите повелеть австрийскому послу генералу Бернесу серьезно объявить, что если гонения на греко-католиков не прекратятся, то вы по единоверию будете их защищать; мои же домогательства

здесь никакого успеха иметь не могут. В сербской, кроатской и местами венгерской землях, где живет множество народа православного, оказавшего в последнюю войну великую верность и заслуги больше других подданных, римское духовенство делает разные обиды, но православные и просить здесь не смеют, зная наперед, что никакой справедливости показано не будет». В ноябре Бестужев писал, что приехали православные депутаты из Кроации с жалобами на притеснения, что не позволяют не только строить новых церквей, но и починивать. Депутатов посадили в глубокие подземные тюрьмы, а потом отправили в Кроацию и там разбросали по крепким тюрьмам. Из Трансильвании постоянные известия, что гонение на православных продолжается с неописанною жестокостию. Вслед за тем Бестужев просил императрицу устроить церковь при посольском доме как для него, так и для множества находящихся в Вене православных; священника предлагал не высылать из России, но взять известного ему с хорошей стороны сербского священника Михаила.

Граф Михайла Петр. Бестужев приехал в Вену и оставался здесь с неприятными чувствами к брату своему, знаменитому канцлеру. Мы видели, что жена Михайлы Петровича по лопухинскому делу была сослана в Сибирь. В Дрездене ему понравилась вдова обер-шенка Гаугвиц, и он решился на ней жениться, писал к брату в Петербург, чтоб он исходатайствовал разрешение императрицы на брак, и, долго не получая никакого ответа, обвенчался без разрешения, следствием чего было то, что в Петербурге не признавали новую графиню Бестужеву, а потому не могли признавать ее и при дворах, где граф Бестужев был послом. В Петербурге обвиняли в этом деле канцлера, который, желая быть наследником брата, представил императрице, что брак от живой жены не может быть законным. Из письма Мих. Бестужева к Воронцову узнаем, что он прислал просьбу о позволении вступить в брак еще осенью 1747 года, а женился только 30 марта 1749 года, все дожидаясь разрешения. В этом письме читаем следующие строки, обращенные к Воронцову: «Ваше сиятельство, как уповаю, яко мой милостивый патрон и истинный друг, в сем приключении участие примете и по искренней своей ко мне дружбе и милости чинимые иногда паче чаяния против сего невинного моего поступка внушения по справедливости и человеколюбию своему в пользу мою опровергать не оставите: ибо сие дело не иное, но самое партикулярное, до государственных интересов нимало не касается и на которое я токмо для успокоения моей совести и для честного жития на свете поступил». Таким образом, канцлер, отталкивая брата, заставлял его обращаться во враждебный лагерь.

Преемником Бестужева в Дрездене был назначен, как мы видели, находившийся здесь прежде граф Кейзерлинг. Новый посол должен был начать свои сношения с графом Брюлем по поводу готовившегося события в Польше – смерти великого гетмана коронного Потоцкого. Брюль объявил Кейзерлингу, что, имея в виду распорядиться в Польше в полном согласии с Россиею, король хочет назначить великим гетманом Браницкого, а на его место полным гетманом подольского воеводу Ржевуского, потому что оба они постоянно оказывали опыты усердия к королю и его союзникам, в ссорах польских фамилий не участвуют и сохраняют руки свои чистыми от подкупов дворов иностранных, Ржевуский же оказал особенное усердие к России во время прохода войск ее через Польшу и в то время, когда Швеция старалась образовать конфедерацию. Брюль сильно

жаловался на Францию и Пруссию, которые не перестают сеять семена раздора в Польше, причем главное орудие их – фамилия Потоцких с своею шайкою. «Я, – говорил Брюль, – имею в руках письменные доказательства, как эти люди производили новые соглашения с Франциею и Пруссиею насчет образования конфедерации, и дело стало только за тем, что Франция не согласилась дать им требуемой суммы денег. Однако для сохранения людей в своих сетях Франция не скупится на ежегодные пенсии: так, сендомирскому воеводе Тарло дает 4000 червонных. Легко понять, что Франция недаром обременяет свою истощенную казну. Старик Потоцкий определил при армии троих региментарей из своих соумышленников: воеводу сендомирского Тарло, коронного кравчего Потоцкого и воеводу мстиславского Сапегу, которые давно уже упомянутым дворам себя продали, свою неблагодарность к России самым черным образом заявили и во всех замешательствах были главными деятелями. Коронный гетман вместе с силами телесными почти потерял и употребление разума; жена его делает все его именем по предписанию Тарло. Эта беспокойная голова, поседевшая в интригах, едва ли упустит из рук случай оказать себя соответственно своему нраву; притом настоящий его региментарский чин доставляет ему ту выгоду, что он легко может привлечь армию в свои виды и пользоваться ею для образования и подкрепления конфедерации. Король употреблял всевозможные способы для приведения дел в лучшее состояние и для сохранения спокойствия, но отношения его к Франции препятствуют ему сделать решительный шаг. Впрочем, я вас обнадеживаю, что его величество имеет неперемное намерение никогда не отступить от союза с Россиею и Австриею и способствовать его укреплению, относительно же сохранения тишины в Польше принять все те меры, которые императрица сочтет нужными для своих интересов». Кейзерлинг в своем донесении заметил, что характеристика лиц, сделанная Брюлем, совершенно верна.

Через несколько времени Кейзерлинг имел другой разговор с Брюлем о польских делах по поводу неудачи последнего сейма. Брюль сильно восставал против *liberum veto*. «Смутное и несчастное состояние Польского государства очевидно, – говорил он, – сеймы представляют единственный способ для решения государственных дел; но когда на этих сеймах решение дела зависит не от того, как большинство или почти все хотят, но от того, что один только не хочет, то само собою ясно, что жребий короля, республики и всех государственных дел зависит от воли одного человека, которого какая-нибудь иностранная держава употребляет для своих видов. Государство, устройство которого таково, что добро находит всегда препятствия, а зло никогда не может быть отвращено, напоследок должно само собою разложиться. На таком гибельном пути находится теперь и Польская республика; ее вольность представляет только способ, которым враги ее пользуются, чтоб препятствовать всему для нее выгодному и полезному. Никак нельзя сказать, чтоб как между знатными людьми, так и между мелким шляхетством не было людей благоразумных и благонамеренных, которые понимают опасное злоупотребление в подаче вольного голоса, предусматривают падение государства и не только жалеют о печальном состоянии отечества, но готовы употребить все средства для отвращения этого великого зла».

«Не знаю, – заметил Кейзерлинг, – в то время, когда будут стараться об отвращении одного зла, не впадут ли в другое, гораздо большее, ибо явно, что *liberum veto* сделалось болезнью уже неизлечимую; вся нация поклоняется ему

как идолу; легко может статься, что малейшее покушение против него ослабит любовь народа к королю, раздражит против него, наполнит сердце сомнением, страхом, недоверием и поведет к беспокойствам, которые принесут пользу только соседям, привыкшим в мутной воде рыбу ловить». Брюль согласился с этим, но выразил мнение, что все опасные следствия были бы предупреждены, если бы Россия и Австрия согласились способствовать уничтожению *liberum veto*, и король больше всего желает одного, чтоб соседние друзья и союзники хорошенько рассудили, что *liberum veto* полезно или вредно для них в будущем. Если в рассуждении Швеции, Порты и других соседних держав как России, так и Австрии союз республики нужен, то надобно, чтоб этот союз приносил какую-нибудь пользу, а польза может получиться только тогда, когда другие злонамеренные державы не будут иметь в руках средства уничтожить всякое сеймовое решение. Донося об этом разговоре, Кейзерлинг писал: «Теперь уже явно оказывается, что хотя здешний двор сам собою перемену в подаче вольного голоса сделать не намерен, однако не будет противиться, если республика сама собою догадается о сокращении этой употребленной во зло вольности». Из Петербурга Кейзерлингу было предписано употреблять все старания, чтоб Польша непременно осталась при существующих обыкновениях и ничего нового не было бы введено.

В июне 1749 года Кейзерлинг сообщил своему двору слова Брюля, имевшие особенное значение для русской политики. «Мы, – говорил Брюль, – не имеем никакой причины щадить Пруссию, которая продолжает делать нам всевозможные досады. Мы принуждены все это сносить; но если Россия и Австрия будут нам помогать, то мы заговорим другим голосом. Это было бы полезно видам обоих императорских дворов, ибо если б они непосредственно предприняли что-нибудь, хотя малейшее, против Пруссии, то ее двор не преминет объявить, что они хотят вырвать у него из рук Силезию; а такого истолкования нельзя будет привести, если здешний двор станет сопротивляться прусским видам с помощью России и Австрии».

В это время в Дрездене гостил побочный брат короля маршал французской службы знаменитый Мориц Саксонский, и его приезд подал повод к поднятию вопроса о Курляндии, от которой Мориц не отказывался. Он съездил в Берлин, был отлично принят Фридрихом II, и пошли слухи, что последний предложил ему руку своей сестры с Курляндиєю в приданое. Кейзерлинг обратился к Брюлю с вопросом, правда ли это, и тот *в высшей конфиденции* не только дал утвердительный ответ, но прибавил, что Мориц принял предложение с глубоким молчанием и поклоном. Кейзерлинг донес также, что Мориц по возвращении из Пруссии сказал английскому посланнику Уильямсу: «Я до сих пор дрался за других; а теперь время и о себе подумать». Потом спросил у Уильямса, не может ли он ему хороший вооруженный корабль доставить, и когда тот спросил, какой именно корабль ему нужен, то Мориц дал ему записку: «Я желал бы знать, что будет стоить каперское судно или вооруженная шлюпка о 16 или 20 пушках, хорошая, на ходу легкая, которая бы не более трех или четырех лет была в употреблении». По этому поводу Кейзерлинг сообщил императрице свое мнение о курляндском деле. Император Петр I по своей государственной мудрости признал, что Россия относительно своих прибалтийских владений не может быть равнодушна к судьбе Курляндии: отсюда и брак царевны Анны с герцогом

курляндским, и старание Петра поддержать герцогство при старых его правах. Никогда Курляндия не была в таком опасном положении, как теперь, когда Мориц Саксонский возобновляет свои претензии, а дворы французский, шведский и прусский считают для себя выгодным подкреплять эти претензии. Если Курляндия отдастся в покровительство одной Короны Польской, то пропадет неминуемо вследствие жалкого военного состояния Польши, и легко понять, что виды означенных дворов не ограничатся одною Курляндиею: Курляндия в руках преданного им герцога будет служить только средством для достижения важнейших целей. Излишне было бы распространяться о том, какую помощь враждебные дворы получили бы от того, если бы на престоле курляндском сел маршал Франции и зять обоих ее союзников, королей прусского и шведского. Так как он мог бы пользоваться множеством предложений брать к себе прусское войско, то Россия никогда бы не была безопасна в своих собственных границах; перед ее воротами находился бы всегда внимательный наблюдатель, готовый пользоваться первым удобным случаем, не упоминая об удобстве, какое получила бы Швеция, высаживать свои войска в курляндских гаванях и соединяться с пруссаками; уже давно решено, что Швеция ключ к Риге может найти только в Курляндии. Единственным средством для отвращения таких бед Кейзерлинг считал восстановление Бирона на курляндском престоле.

Представляя императрице эту реляцию Кейзерлинга, Бестужев подкрепил последнюю ее часть своим мнением, что необходимо освободить Бирона и восстановить его на курляндском престоле, взявши сыновей его в русскую службу и сделавши их таким образом аманатами. Бестужев представлял, что если Курляндия останется в прежнем положении, а в Польше будет король, недоброжелательный России, то он может объявить основательную претензию на многие миллионы, причем, разумеется, получит помощь от турок, шведов и французов. Кроме того что можно оставить детей Бирона аманатами, можно еще принять другие предосторожности, именно взять с него обязательство, что он ничего от России требовать не будет, а король и республика Польская поручатся за исполнение этого обязательства на вечные времена. Через восстановление Бирона Россия приобретет признательность польского короля, отдалит всех других претендентов, прекратит всякую опасность, полякам кричать на сеймах повода не будет; тогда как теперь королю прусскому и Франции так хочется захватить в свои руки Курляндию, что Фридрих II хочет выдать сестру свою за графа Сакса, маршала французского, несмотря на то что он незаконнорожденный, притом стар и дряхл. Да хотя б он и не сыграл этой свадьбы, то довольно известно, как ему и Франции нужно это герцогство в руках иметь, дабы оттуда Россию беспокоить, шведам помогать и в Польше интриги производить. Но Елисавета отвечала решительно, что не освободит Бирона.

Попытка Морица Саксонского подкупить в свою пользу канцлера Бестужева дала последнему возможность снова поднять дело о Бироне. В октябре 1749 года советник саксонского посольства Функ известил канцлера о приезде польского графа Гуровского, который, заболевши, переслал к нему, Функу, письмо с предложением канцлеру 25000 золотых червонных, если тот постарается доставить ему Курляндию. Канцлер решился воспользоваться этим случаем, чтоб сделать еще представление в пользу Бирона; но он боялся обратиться опять прямо

к императрице после ее решительного отказа и повел дело через Разумовского, к которому написал:

«Приемлю смелость приложить при сем пакет с крайне нужными делами и ваше сиятельство покорнейше прошу оный ее импер. величеству всенижайше поднести. Я уповаю, что ее величество по всевысочайшей своей доверенности вложенное в нем прочитав вам изволит, следовательно, ваше сиятельство из того усмотреть изволите, до чего дошли производящиеся повсюду интриги о доставлении французскому маршалу графу Саксу герцогства Курляндского. Я ее импер. величеству недавно всенижайше представлял, чтоб для отвращения таких интриг навсегда несчастливому герцогу Бирона освободить; но ее импер. величество сказала изволила, что его не освободит. Я потому не дерзаю более ее импер. величество моими всенижайшими представлениями утруждать, но я ваше сиятельство покорнейше прошу, приняв сие дело в уважение, ее импер. величеству при случае всенижайше представить, что граф Сакс ничего более и не требует, как такого со стороны ее импер. величества изъяснения, что Бирон свободен быть не может, следовательно, мне легко было б столь дерзостно Гуровским представленное 25000 червонных принять. Но я весьма верный ее импер. величества раб и сын отечества, чтоб я помыслить мог и против будущих интересов ее и государства малейше поступить. Сие дело столь важно и толь великих следствий, что оно подлинно всю аттенцию заслуживает и, по моему слабейшему мнению, теперь ничего нужнее нет, как оно единожды решить и окончить, ибо 1) по зачавшимся ныне в Польше крайним несогласиям весьма скоро тамо опасной конфедерации опасаться должно, при которой 2) и так зело о Курляндии шумящие поляки сие дело в наибольшее движение приведут, а особливо когда рассеянные почти везде, а особливо в Польше французско-пруско-шведские эмиссары их к тому внушениями, а иногда и употреблением денег побуждать станут, как дабы надобного им герцогом курляндским сделать, как паче тем иногда повод к дальнейшим замешательствам подать. 3) Хотя б толь великой опасности для теперешнего времени и не настояло: то, однако ж, кто за будущие обстоятельства ручаться может, кои всегда легко перемениться могут. Не всегда надеяться можно, что короли польские толь благонамеренны пребудут. Многие примеры были, что они с турками соединялись, а польские вельможи и без того по большей части французско-прускими партизанами суть; что ж будет, когда б герцог Бирон в нынешнем состоянии умер, а Польша, соединясь с турками, вместо Курляндии претензии его, в коих она истец, на Украину или Лифляндию в действо производить стала, причем всемерно Пруссия и Швеция спокойны не остались бы, но паче опасной для них ее импер. величества силе пределы положить искали б. Я желаю, чтоб я в сих мнениях ошибся, а не так точно угадал, как ныне происшествие оправдало, что всем нынешним замешательствам и беспокойствам и перемене формы правительства в Швеции причиною есть супружество коронного наследника с сестрою короля прусского, который тем сильнее действует, нежели король французский.

Ежели токмо ее импер. величество все сии уважения в милостивое прозорливое свое рассуждение принять изволит, то чаять нельзя, чтоб ее величество яко премудрая мать своего отечества не соизволила дарованием свободы несчастливому Бирону, забыв все его преступления, предпочесть будущее

благополучие своей империи тому малому, а именно около 80000 талеров в год прибытку, который ныне с курляндских секвестрованных маетностей казна ее получает, но, который, однако ж, стократно увеличен будет, когда претензии сильною рукою производить стали б. Все же сии дальности легко предвидеть, но по упущении времени не так скоро поправить, как теперь совсем отвратить можно единым только освобождением несчастливому Бирона, которое толь меньше сумнению подлежит, ибо при высвобождении его можно от него такие обязательства взять, какие токмо ее импер. величеству угодны были б; а чтоб какая от него опасность была, того никак думать нельзя, ибо княжество его только в четырех милях от Риги, следовательно, всегда под грозою российского оружия находится».

Гуровский более четырех месяцев оставался в России, и канцлер составил следующую записку для высочайшего известия: «К достоверному доказательству, что графу Гуровскому от маршала графа Сакса подлинно поручено все пути и способы в действо употребить для доставления ему герцогства Курляндского и что Гуровский и в самом деле всякими интригами сильно в том трудится, довольно его своеручных писем и оригинального графа Сакса за его подписанием и печатью на 25000 червонных билета; но он при том не остался, ибо он камергеру графу Бестужеву-Рюмину (сыну канцлера) 1000 червонных тотчас в руки выдать представлял, дабы он канцлера склонял в виды Гуровского вступить. А как потом он и к генералу Апраксину забегал, чтоб он яко друг канцлеру его в том подкреплял, который ему ответствовал, что, то будучи весьма не его дело, он не токмо в то мешаться не может, но канцлеру о том и словом упомянуть не смеет, то думать можно, что Гуровский такие посулы и попытки не сим только двоим учинил, но, может быть, и в других местах о том проискивает, а особливо, что он камергеру графу Бестужеву-Рюмину не токмо большое награждение, но притом и милость короля французского и ежегодную От маршала графа Сакса пенсию обещал». 31 марта 1750 года Гуровскому было объявлено, чтоб он в три дня выехал из столицы. Попытка Морица Саксонского не удалась, но не удалось и Бестужеву освободить Бирона и восстановить его на курляндском престоле: Елисавета осталась непреклонна в своем решении.

Между тем Брюль сообщил Кейзерлингу, что прусские отряды врываются в пограничные саксонские деревни и хватают людей в рекруты; король, говорил Брюль, не может долее сносить, чтоб его подданные становились добычею иностранцев; никто из пограничных жителей более уже не безопасен; приходят ежедневные жалобы на захват людей и увоз их за границу; король хочет употребить строгость по примеру самого короля прусского, который велел повесить саксонского таможенного чиновника по одному только подозрению, что он приехал в Галле подговаривать людей; король надеется, что будет защищен от обид прусского короля высочайшею и дражайшею дружбою императрицы, что она велит своему министру в Берлине сделать нужные о том представления прусскому министерству. Вслед за тем Брюль дал Кейзерлингу промеморию, в которой выставлялась необходимость решить поскорее курляндское дело, прежде чем враждебные дворы воспользуются им для своих видов.

1749 год Кейзерлинг окончил подробным донесением о состоянии Польши. На первом плане была здесь вражда двух фамилий – Потоцких и Чарторыйских. Началась она с соперничества в достижении гетманского чина. Русское

покровительство дало Потоцким ту силу и значение, которые они по смерти Августа II поспешили употребить против России, поддерживая Станислава Лещинского. Когда после сдачи Данцига Чарторыйские признали Августа III и двор начал их употреблять в деле умирения, то эта фамилия показала отличные опыты своей благонамеренности. Когда же было постановлено забыть все прошедшее и стараться привлечь к себе всех благодеяниями, то и Потоцкие были взысканы милостями: некоторые получили пенсии, другим даны королевские маестности, иные повышены в чинах, а сам воевода киевский пожалован великим коронным гетманом, невзирая на сильный протест Кейзерлинга, находившего опасным, чтоб два главные в королевстве достоинства – примаса и гетмана – находились в одной фамилии. Последующие события оправдали опасения Кейзерлинга и до сих пор оправдывают, хотя смерть примаса и уменьшила несколько опасность.

Гетманское достоинство не могло достаться в худшие руки. Тогдашний кабинет-министр Сулковский, не давши знать Кейзерлингу, доставил этот чин Потоцкому, о чем сам потом сильно жалел, но поправить ошибки было уже нельзя без нового возмущения поляков. Привыкнув во время революции и при Станиславе управлять всем, Потоцкие хотели того же и при нынешнем короле, но, встретив помеху в Чарторыйских, воспылали к ним злобою, хотя Чарторыйские поддерживают себя единственно личными достоинствами, а нисколько не милостию королевскою, от которой ничего не получали: чем были прежде, до революции, тем и остались, равно как и старый граф Понятовский. Всему свету известно, что во время турецкой и шведской войны дом коронного гетмана был прибежищем турецких и шведских эмиссаров, которые там обыкновенно собирались, соглашались насчет мер своих против России, через Потоцкого получали нужные им известия; у него, как на почтовом дворе, держали свою переписку; он с сообщниками во время шведской войны поднимал против России конфедерацию, отчего произошли бы опасные следствия, если бы Кейзерлинг не нашел в коронной маршалше Мнишек орудия для успокоения конфедератов, к чему немало способствовали также старания Ржевуского, Чарторыйских и Понятовского. На всех сеймах коронный гетман производил крик и жалобы против России, не имея к тому ни малейшего повода, ибо Кейзерлинг остерегался действовать против Потоцких враждебно, напротив, старался приласкать их подарками и, этими средствами привлеки на свою сторону графиню Мнишек, тещу гетмана Потоцкого и сестру Тарло, равно духовных и адъютантов гетмана, мог узнавать заранее о всех враждебных России замыслах и предупреждать их. Такие отношения Кейзерлинга к Потоцким не могли нравиться Чарторыйским; но Кейзерлинг дал знать последним, что их заслуги и благонамеренность известны русскому двору и они могут совершенно положиться на его покровительство; но он не может мешаться в их отношения к Потоцким, ибо России нужно одно – сохранение в Польше спокойствия, восстановление которого России так дорого стоило, а сам он, Кейзерлинг, просит их, что если б он потребовал от них чего-нибудь несогласного с благом Польши и дружбою между нею и Россиею, то они б не исполняли его требования, а противились бы ему всеми силами. В таком положении Кейзерлинг оставил дела в Польше, когда был перемещен во Франкфурт. Но и здесь он получал известия, что Потоцкие продолжают действовать по-прежнему в видах Франции без обращения внимания на своего

короля. А теперь делается то же самое: воевода сендомирский получает от Франции пенсию в 4000 червонных; воеводе бельскому в последнюю бытность его в Париже подарено 10000 ефимков; там он недавно и проект подал, каким бы образом свергнуть графа Брюля. При короле для польских дел находится теперь подканцлер Воджицкий, который скорее предан Потоцким, чем Чарторыйским; великий канцлер коронный Малаховский сначала не держался ни той ни другой партии, но так как он выдал дочь за одного из Потоцких, то, пожалуй, скорее будет действовать в интересах этой фамилии. «Я не усматриваю, — замечает Кейзерлинг, — каким бы способом Потоцкие могли быть отвлечены от своих обязательств с Францией и наведены на другой путь; опыт показал, что все представления и милости остались напрасными, и потому никогда ни Россия, ни король не могут доверять этим людям, которые не упускают ни одного случая к злым делам. Однако благоразумие требует не раздражать их; здешний двор думает так же, и я не премину утверждать его в этом мнении. Что же касается вольного голоса (*liberum veto*), то мысль о его ограничении не новая и не Чарторыйским принадлежит, а Потоцким, которые уже не раз и старались об этом, и если б они при короле получили такую же власть, какую имели во время междуцарствия, то давно бы уже отменили вольный голос, и эта отмена была бы гораздо выгоднее им, чем Чарторыйским, потому что они и в Сенате, и в палате послов имеют гораздо более приверженцев и потому во всяком случае обеспечены насчет большинства голосов.

1750 год Кейзерлинг начал опять неприятным для Елисаветы известием о разговоре с коронным подканцлером Воджицким по поводу Курляндии. Воджицкий объявил ему, что получил из Польши письма, в которых многие магнаты домогаются, чтоб он сделал королю наисильнейшие представления о необходимости скорейшего решения курляндского дела; что это дело заслуживает теперь особенного внимания, ибо некоторые иностранные дворы хотят воспользоваться им ко вреду России и Польши. В апреле Кейзерлинг вместе с двором переехал из Дрездена в Варшаву и в мае уведомил о богатом политическими последствиями браке коронного гофмаршала Мнишка с дочерью первого министра Брюля, а Мнишек был родной брат коронной гетманши Потоцкой, вследствие чего Потоцкие были очень довольны. Когда Кейзерлинг выразил Брюлю надежду, что этот союз с Потоцкими не произведет перемены в его отношениях к общим друзьям и в господствовавшем до сих пор политическом плане, то Брюль отвечал, что он не отдаст интересы своего государя в приданое за дочь; такие же обнадеживания делал он Чарторыйским и Понятовским. Во второй половине мая примас от имени всех сенаторов подал королю адрес о необходимости решить курляндское дело, с чем король был совершенно согласен и немедленно переслал адрес в Москву. С другой стороны, коронный гетман жаловался, что гайдамаки не дают покоя пограничным польским областям. Для успокоения последнего дела Кейзерлинг сообщил указ императрицы киевскому губернатору Леонтьеву об искоренении гайдамаков.

Между тем приближалось время чрезвычайного сейма, и надобно было решить важный вопрос — кому быть сеймовым маршалом? Король для своих интересов находил необходимым, чтоб маршалом был Ржевуский, воевода подольский, а потому уговорил его отказаться от воеводства и сенаторства, ибо по закону никто из правительственных лиц маршалом быть не мог. Но Потоцкие

этому воспротивились: в день открытия сейма, когда надобно было выбирать маршала, поднялись страшные споры, и в этих спорах прошел срок, назначенный для сейма, вследствие чего он и не мог состояться.

Успокоенный относительно Польши, Кейзерлинг стал хлопотать о том, чтоб отвлечь ее короля как курфюрста саксонского от неестественного союза с Франциею по причине субсидного трактата и привлечь к старому союзу с Россиею и Австриею. Саксонское правительство было убеждено в малой пользе от первого и необходимости второго; но Кейзерлингу говорили одно: что если б вследствие последней войны Саксония не находилась в таком отчаянном положении и не терпела такую нужду в деньгах, то не взяла бы их от Франции; сам король сказал английскому посланнику Уильямсу: «Договор с Франциею был заключен по нужде, а не по расположению». Этот Уильямс был переведен из Берлина к саксонскому двору частью для того, чтоб получить понятие о делах в Польше, главным же образом для того, чтоб наведаться, склонен ли саксонский двор оставить французские субсидии и вступить в обязательство относительно сохранения вольности, тишины и безопасности в Европе. Так он сам объявил Кейзерлингу, который потому и начал с ним советоваться, как бы это дело привести в движение. Решили, что всего лучше начать с общей конференции у графа Брюля. Дело в конференции началось заявлением, что французский субсидный договор может быть заменен таким же договором с Англиею, если Саксония приступит к петербургскому договору между Россиею и Австриею. Брюль отвечал, что его государь согласен на это, и велел уже объявить о своем согласии в Петербурге, но требует ручательства в безопасности от Пруссии; пусть Россия объявит, что в случае если бы кто-нибудь обеспокоил Саксонию под каким бы то ни было предлогом, то Россия будет помогать ей всеми своими силами. Брюль заметил, что такое ручательство прежде всего необходимо, ибо когда в недавнее время Россия по причине шведских дел требовала помощи от Саксонии, то прусский король велел объявить в Дрездене, что как скоро неприятельские действия начнутся, то он Саксонию задавит, чтоб отнять у нее возможность продолжать игру. Кейзерлинг и Уильямс признали справедливость этого требования; причем Кейзерлинг заметил, что, пока у Саксонии будет продолжаться союз с Франциею, Россия не может оказать полной доверенности Саксонии. Уильямс предложил, что будет достаточно, если король польский на аудиенции объявит им, что не намерен возобновлять союзного договора с Франциею, а намерен вступить в обязательства с древними своими союзниками, если он получит столько же выгод, сколько представлял договор с Франциею, и если русская императрица сделает декларацию о безопасности и гарантии его областей и прав. Кейзерлинг согласился, и 12 августа ему, а на другой день Уильямсу король объявил, как было условлено. Во время ведения этого дела о тесном союзе польского короля с русскою императрицею Кейзерлинг был смущен возобновлением жалоб белорусского епископа Волчанского на притеснения греческой веры, жалоб, которые должны были вести к неприятным объяснениям с польскими министрами; а теперь Волчанский именно жаловался на притеснения в областях литовских канцлеров. Кейзерлинг обратился к подканцлеру князю Чарторыйскому с представлением, что дело идет о нарушении договора вечного мира и пример этого нарушения подается в маестностях министров республики. Чарторыйский отвечал, что это все зависит от виленского католического епископа;

он, Чарторыйский, сносился с ним, и тот велел отвечать, что он не может дать явного позволения на перестройку и починку русских церквей, но хочет своим духовным под рукою приказать, чтоб они не препятствовали исповедникам греческой веры. Чарторыйский обнадеживал Кейзерлинга, что он с своей стороны всячески защищает людей греческой веры, что он им на собственный счет построил церковь. Кейзерлинг окончил свое донесение следующими любопытными словами: «Мне здешнее польское министерство часто давало знать, для чего люди греческой веры не обращаются с своими жалобами к своему королю, для чего они обо всем чрез другой двор представляют? Они жители и подданные республики, и следовало бы им своему королю честь отдавать и с доверием просить его о защите и помощи Хорошо было бы, если б греческим епископам объявили, чтоб они впредь свои жалобы приносили обычным образом самому королю и потом пересылали бы их ко мне, а я их не преминул бы подкреплять по высочайшим намерениям вашего величества; это, по словам польских министров, дало бы делам лучший вид, ибо происходило бы естественным порядком».

Другое неприятное дело, курляндское, также не затихало; в сентябре канцлеры подали Кейзерлингу промеморию, в которой говорилось, что в последнем сенатус-консилиум, держанном в конце августа, все сенаторы единодушно просили короля возобновить наисильнейшие домогательства и представления при российском дворе об освобождении герцога курляндского Бирона: право, потребность порядка и тишины в Курляндии, природная ее величества справедливость, необходимая предосторожность для предупреждения вредных политических последствий – все указывает на это дело как на дело первой важности для короля, республики Польской и России, которых интересы соединены. При этом канцлеры устно сообщили Кейзерлингу, как прискорбно королю и республике, что после многократного дружеского домогательства о герцоговом освобождении до сих пор никакого ответа нет.

Елисавета осталась по-прежнему непреклонною относительно Бирона и Курляндии, ибо если, с одной стороны, могли указывать на необходимость успокоить Курляндию и Польшу на случай войны с Швециею и Пруссиею, то, с другой стороны, могли внушать, что именно в случае этой войны Курляндия должна оставаться без герцога и быть в распоряжении России. Шведские дела преимущественно обращали на себя внимание русских государственных людей.

В январе 1749 года в конференции с шведскими министрами Тессинем и Экеблатом Панин прочел декларацию своего двора против восстановления самодержавия в Швеции. Когда Панин прочел то место декларации, где говорилось, что некоторыми восстановлением самодержавия хотят избежать ответственности за свое поведение пред государственными чинами, то Тессин, уставивши глаза на Экеблата, несколько времени оставался неподвижен; когда же Панин окончил чтение, то Тессин начал говорить, что эти ведомости о самодержавии для них сущая новость и что из всех ложных слухов, которые в последнее время рассеяны были по провинциям, они ничего подобного не слышали; что они как сенаторы обязались присягою охранять настоящую форму правления; наследный принц при своем избрании поклялся и не мыслить о самодержавии. «Наша вольность, – заключил Тессин, – так нам дорога, что мы не захотим опять подвергнуться игу».

После этой декларации немедленно было созвано чрезвычайное собрание Сената в присутствии наследного принца, и надворный канцлер Нолкен принял на себя сделать королю ложное донесение, будто Панин в конференции именем императрицы объявил, что она хочет держать в готовности все свои силы для утверждения по кончине королевской наследного принца на престоле. Это донесение так встревожило больного короля, что он не мог заснуть всю ночь, и когда на другой день явился к нему с докладами советник гессенской канцелярии Бенинг, то он с глубокою печалью и упреком сказал ему: «Вы мне всегда толковали о дружбе ко мне русской императрицы, а вот что ее посланник объявил в конференции! Можно было бы до моей смерти подождать с такою декларациею, и без того эти негодяи очень смелы; разузнайте, что за причина такого поступка Панина». Как скоро Панин узнал об этом чрез надежного человека, то немедленно отправил к Бенингу оригинал императрицына рескрипта для уяснения дела королю. Между тем Тессин сообщил Панину, что королевский ответ на декларации будет состоять в следующем: король узнал с великим удивлением, будто бы в Швеции существует намерение восстановить самодержавие и даже делаются втайне приготовления; король тем более удивляется такому слуху, что, кроме слухов из Норвегии о датских вооружениях в пользу наследного принца, ни о чем подобном никаких неосновательных разглашений не выходило; король находился насчет этого в полном спокойствии, твердо полагаясь на святость присяги, на добросовестность его высочества наследника, на должное бодрствование своего Сената и на всенародную ненависть к самодержавию: впрочем, дружеское объявление со стороны императрицы король принимает с наичувствительнейшею признательностию.

Вслед за Паниным датский посланник Винт прочел Тессину от своего двора такую же декларацию относительно восстановления самодержавия и получил в ответ то же изумление и те же отговорки. Колпаки были в восторге от этих деклараций, шляпы были особенно встревожены, тем более что смотрели на русскую декларацию как на следствие падения Лестока. Ласковость их к Панину усилилась. Предложение сенатора Палмстерна о созвании чрезвычайного сейма было отклонено, ибо не надеялись на его счастливый исход среди двоих бдящих соседей, которых цель была явна.

Мы видели, что кронпринц непременно хотел быть канцлером Упсальского университета. Он достиг своей цели и старался пользоваться своим влиянием в университете. В Упсале бывала большая ярмарка; на эту ярмарку отправился Горлеман, женатый на фаворитке кронпринцессы бывшей фрейлине Ливен: отправился он под предлогом осмотра университетских строений, а в самом деле для того, чтоб поручить профессорам, которые получили это достоинство от кронпринца, разглашать собравшемуся на ярмарку народу, что нечего бояться военных приготовлений со стороны соседей, что господствующая партия имеет в руках средство склонить русский двор на свою сторону, с помощью которого не только может противиться датским видам, но и предупредить их. Но Панин отправил на ярмарку также своего агента Гека, секретаря крестьянского чина, который чрез своих приятелей внушал, что русский двор никогда не будет действовать заодно с злогосподствующею партией в ее стараниях восстановить самодержавие; что воинские приготовления соседей, разумеется, не причинят никакого вреда Швеции, ибо имеют целью сохранение ее вольности; несомненно,

что если б Россия и Дания не охраняли так бдительно настоящей формы правления, то шведы давно были бы рабами известной ватаги и подданными Франции и Пруссии. Гек, возвратившись из Упсалы, уверял Панина, что неудовольствие против господствующей партии страшное и ненависть к кронпринцессе превосходит всякое вероятие; собравшиеся на ярмарку крестьяне, жалуясь на свое бедственное положение, говорили, что все это зло привезла кронпринцесса с собою; принца же считают человеком слабым и не способным к делам, которым управляют жена и граф Тессин. В письме к канцлеру Бестужеву Панин передал свой разговор с советником Фриденстерном, оказавшимся в последнее время одним из самых энергических людей между колпаками. Фриденстерн прямо объявил, что они не ждут никакого добра от наследного принца, и спросил конфиденциально Панина, могут ли они надеяться, что императрица, умалив свою терпеливость, наконец окажет правосудие относительно неблагодарностей этого принца и, когда нация благодаря ее оружию увидит час своего избавления, отнимет ли от него свою спасительную руку? «Вы получили так много доказательств, – отвечал Панин, – как ее величество всегда далека от того, чтоб в ваших домашних делах самовластно устанавливать какой бы то ни был порядок; вы можете быть удостоверены, что ее величество желает одного – подкреплять вашу вольность; и так как до сей минуты никто из вас пред мною не открывался относительно престолонаследия, то я об этом и не доносил моей государыне, следовательно, и министеряльного ответа вам дать мне не в состоянии. Вы можете легко понять, какой важности это деликатное дело и какой требует прозорливости для тайного и осторожного произведения своего. По моему мнению, вам надобно предварительно иметь в этом секрете еще одного или двоих из знатнейших добрых патриотов, с которыми вместе вы можете просить ее величество о защите и помощи, сделавши прежде между собою твердое соглашение, каким образом произвести это дело в действие». Фриденстерн отвечал, что завтра же хочет ехать в деревню к сенатору Окергельму и уговориться с ним, и так как кронпринц возведен в свое достоинство по рекомендации императрицы, то он не желает выгнать его из Швеции с каким-нибудь огорчением, а будет стараться, чтоб ему дали или пенсию, или единовременное значительное вознаграждение.

В конце мая Панин получил рескрипт императрицы, в котором ему предписывалось сделать вторичное представление насчет восстановления самодержавия. «Хотя, – говорилось в рескрипте, – данный вам от королевского имени ответ нас совершенно успокоил, ибо мы в добрых намерениях короля удостоверены, однако собственный наш натуральный интерес, с которым связана безопасность нашей империи и соблюдение тишины и равновесия на Севере, требует так просто не полагаться на обнадеживания графа Тессина. Опыт довольно показал, как на тамошние обнадеживания можно было полагаться; возьмем в пример негоциации графа Тессина при датском дворе и недавно заключенный договор с прусским королем; не были ли мы сильнейшим образом обнадеживаны, что они ни во что не вступят, не уведомив нас предварительно? И так как получаемые из разных мест и из самой Швеции надежные ведомости говорят, что в Стокгольме некоторыми господами под рукою уже все распорядено тотчас по преставлении короля вдруг ввести самодержавие без извещения государственных чинов и что в секретнейшем комитете будто постановлено, что

государственные чины до 1751 года собираться не должны, то, когда все это совершится, уже поздно будет с нашей стороны принимать меры. Поэтому мы сочли необходимым поручить вам испросить у шведского министерства особливую конференцию и не только повторить уже сделанные вами прежде словесные представления, но и вновь накрепко *декларовать*, что хотя мы ничего так усердно не желаем, как с нашими соседями, особенно же с Королевством шведским, пребывать в ненарушимой союзнической дружбе и в откровенном добром согласии, наши обязательства с Швециею верно исполнять и все то, что только к некоторым дальностям повод подать может, рачительнейше искоренять, однако мы если б подтверждающееся везде намерение имелось тотчас по преставлении короля настоящую форму правительства отменить и самодержавие снова ввести, что с соблюдением ненарушимой тишины и необходимого равновесия на Севере отнюдь согласно не было бы, то мы на такую перемену равнодушно смотреть никак не могли бы; но по силе принятых с Швециею Ништадским договором обязательств нашлись бы принужденными в таком важном деле принять участие и употребить наиважнейшие меры для воспрепятствования этой перемене. А чтоб однажды навсегда выйти из настоящего сомнения, чтоб впредь не опасаться нам за свой собственный интерес и вольность шведского народа, то мы считаем нужным прибавить к этой декларации следующее: если б по смерти королевской вздумалось отменить настоящую форму правления в Швеции, то мы для предупреждения всех будущих беспорядков приняли решение: вступить с корпусом наших войск в шведскую Финляндию не как неприятельница, но как приятельница, верная союзница, защитница утесненной шведской вольности по примеру 1743 года, когда мы на собственном иждивении корпус наших войск в Швецию посылали, дабы государство от тогдашних сомнительных внутренних беспокойств и опасности избавить. Этот наш корпус не причинит обывателям Финляндии ни малейшего отягощения, будет содержан на собственном нашем иждивении, в нем будет наблюдаться строгая дисциплина в той, разумеется, надежде, что вся шведская нация эти наши войска примет самым дружественным образом. Если же, паче чаяния, некоторые из шведов по частным корыстным видам вознамерились бы эту нашу полезную предосторожность превратно толковать и в предосуждение своего отечества нам сопротивляться, в таком случае как собственные наши интересы, так и обязательство с Швециею необходимо потребуют, чтоб мы за утесненную вольность нации действительно и сильно вступились и всех тех, которые помыслили б эту вольность нарушить, за изменников своего отечества признавали, следовательно, с ними как с нашими неприятелями и нарушителями внутреннего покоя поступили».

Панину удалось достать постановления секретной комиссии насчет восстановления самодержавия по смерти королевской; пересылая их к своему двору, он жаловался на слабое состояние русской партии: «Их (членов русской партии) настоящая ситуация такого состояния, что они с наилучшим в свете намерением и диспозициею прежде не могут пошевелиться, пока такого счита пред собою не увидят, который бы при самом начатии дела от первого удара со стороны злой партии их мог спасти, чего они тем паче опасаются, ибо их имена весьма знатны суть, и потому они страшатся, чтоб их первую кровию все дело не венчалось». Главная трудность дела, по мнению Панина, состояла в том, что не

было способа к составлению хотя немногочисленной, но формальной партии, чтоб всех привести под одну дирекцию и постановить общую систему, чтоб они могли свои растерянные рассуждения сделать единомысленными и каждый бы прямо знал, от кого он зависит; во-вторых, трудно определить время, образ и обстоятельства, при которых дело должно начаться; они ничего так не боятся, как быстрого и нечаянного для себя удара, и наступающую зиму ожидают с ужасом, а замерзшее море почитают своею могилою. Помогать ему, Панину, они ни в чем не могут, ибо не имеют в делах никакого участия, живут в уединении без сношений друг с другом, а если случится им неожиданно свидеться, то при этом свидании происходят одни рассуждения и вздохи, которые и служат им общею отрадою.

Панин успел достать и реляцию шведского посланника Гепкена из Берлина от 24 ноября 1747 года, в которой описывается следующий разговор Гепкена с Фридрихом II. «Понеже, – говорил Гепкен, – обязательством между сими высокими дворами намерения и авантажи обоих государств (Швеции и Пруссии) так равномерными и неразделимыми учинены, что никакой иной разности, кроме порядка в правительстве, не настоят; того ради и секретный аусшус (комиссия) государственных чинов старался, чтоб в том возможное равенство доставить, дабы обои их величества друг друга с равною властью и равномерною скоростию, когда то потребно будет, во всем способствовать могли. Его королевское величество прусское (пишет Гепкен) о том великое удовольствие оказывал, а особливо понеже он в таком мнении находился, что имевшее его по причине того с графом Тессинем советование, как его королевское высочество в Швецию перевезен быть имел, к тому первый повод подало, и его величество присовокупил к тому, что без такой перемены постановленное обязательство в таком состоянии и силе, как оное ныне есть, никогда с безопасности прочно пребывать не могло б; однако ж он опасается, что иногда противная партия, которая российского и датского дворов виды подкрепляет, в действительном произведении такого секретного аусшуса полезного распоряжения препятствовать может». Подле этого места канцлер Бестужев сделал заметку для императрицы: «Из него усматривается, что еще при трактовании о супружестве коронного наследника вредительное намерение о введении самодержавства в виду имелось. Ее импер. величеству, правда, невозможно было тогда сего предусмотреть, но Бриммер и Лесток, кои главнейше на сие супружество присоветовали, конечно, о том знали. Только ж канцлер и тогда еще противу того представлял, как то ее импер. величество чаятельно о том припамятовать изволит». 15 июля Панин писал канцлеру Бестужеву: «Я не в состоянии предусмотреть никакого способа, которым бы можно было не допустить прусский двор вмешаться в игру, если только она начнется введением самодержавия; дело кончится здесь прежде, нежели будет получено известие о его начале. Со стороны народа никакой надежды на сопротивление не видно. Добрые патриоты сами собою ни на что не отважатся, пока не увидят себя в безопасности вследствие помощи своих союзников, явившейся среди Швеции; а наступающая зима эту надежду у них отнимает. Если бы возможно было еще нынешнею осенью нечаянно вступить в Швецию с требованием созвания сейма и тем предупредить Пруссию?»

Сношения с Корфом замедлили подачу второй русской декларации против введения самодержавия; когда она была подана, граф Тессин, встретившись 24 августа с Паниным на половине кронпринцессы, стал ему говорить, что прежде

подачи формального ответа на декларацию он хочет объясниться с ним дружески по этому делу, и просил, чтоб Панин говорил с ним теперь не как с министром, но как с приятелем, который его особенно почитает за честного человека и благонамеренного министра. «Я спрашиваю, – продолжал Тессин, – у вас совета, каким образом сочинить наш ответ: войдите в наше положение, восчувствуйте тот удар, который такая декларация наносит нам, обратите беспристрастное внимание на независимость, какую должна пользоваться каждая держава». Панин отвечал, что хотя бы он имел и высокое понятие о своих политических способностях, то и тогда не воспользовался бы его учтивостью и не осмелился своими советами предупредить решение его двора; теперь же тем менее может это сделать, ибо не сознает в себе достаточной к тому способности. Но, желая отвечать дружеской откровенности, он не может скрыть перед ним, что и ему декларация кажется очень важною и достойною всякого внимания; время всего лучше оправдает то или другое и несомненно поставит дело в желаемое положение, почему и тревожиться много не следует, если он твердо уверен, что никакого замысла против правительственной формы в Швеции не существует. Тессин отвечал: «Я чувствую основательность вашего рассуждения и в последнем случае очень спокоен; но примите во внимание тот случай, когда одна держава объявляет другой, что она без всякого требования приняла решение вступить с войском в ее области; как должна последняя держава принять такую декларацию? Каждое правительство должно сохранять внутреннюю и внешнюю тишину своего отечества, причем тогда только обращается за помощью к союзникам, когда сами не имеют к тому способов; но Швеция теперь благодаря Бога такой для себя нужды не предусматривает». «Прежде чем я вам буду отвечать, – сказал Панин, – я попрошу изъяснения на два пункта: 1) возможное ли дело, чтоб вся шведская нация единогласно захотела отменить настоящую форму правления? и, во-2), как вы толкуете седьмую статью Ништадского договора?» Тессин несколько времени собирался с мыслями и потом отвечал: «Первое я считаю совершенно невозможным; а седьмая статья имеет силу, когда бы действительно настал такой случай и мы потребовали бы русской помощи». «Позвольте вам припомнить, – сказал на это Панин, – что когда я приехал сюда, то вы меня предупреждали насчет существования разных партий в королевстве; мы теперь, например, и можем предположить, что одна из этих партий замыслила по кончине королевской переменить форму правления и произведет это в действие на сейме, имея у себя большинство голосов; спрашивается, от кого ожидать тогда требования относительно исполнения обязательств и можно ли в таком случае предупредить вредное дело? Рассмотрите своим здравым рассуждением, какие бы Россия потаенные и своекорыстные виды могла иметь против Швеции, чтоб пользоваться ей такими вероломными стратагемами? Она не ищет распространения своих границ, чему достаточные опыты имеются, а других каких-нибудь видов и представить себе нельзя. Она может иметь в виду только сохранение всеобщего спокойствия, что несовместимо с переменою формы здешнего правительства, и я могу вас уверить, что когда в Швеции не будут думать об этой перемене, то никогда не увидят в своих пределах соседского войска». Тессин поблагодарил за дружеское объяснение.

Понятно, что в России не хотели употребить решительных мер – посылать войско без всякого требования со стороны шведов; хотели помешать

восстановлению самодержавия посредством самих же шведов и потому требовали от Панина, чтоб он поддерживал партию противников самодержавия, и назначили для этого 50000 рублей. Панин должен был повторить: «Так называемые благонамеренные патриоты всегда готовы брать наши деньги; но при настоящем положении здешних дел нельзя ожидать от этого никакой пользы, ибо без прикрытия своих спин они не ополчатся, тем более если они увидят, что все это клонится только к отстранению самодержавия, тогда как у каждого из них другая цель – низвержение господствующей партии и получение знатных чинов и должностей. Если по выключении двух или трех человек по всем другим моим знакомым рассуждать о всем шведском народе, то надобно прийти к заключению, что он не понимает общего блага и пользы отечества, но каждый преследует собственные цели. Зависть и ненависть, с одной стороны, а деньги – с другой, – вот побуждение и хорошего и дурного». К канцлеру Бестужеву Панин писал, что он не имеет искусства и качеств, нужных для составления партии, не может столько обращаться между людьми, ибо нрав его требует уединения, причем и тупоречие препятствует.

30 августа Панин был приглашен на конференцию, где получил ответ на декларации, состоявший в следующем: «Декларация, которую кронпринц недавно издал по собственному соизволению, что он желает оставить неприкосновенною настоящую форму правления, достаточна к уничтожению всякого подозрения. Если же и после того обнаружилось бы какое-нибудь покушение на вольность и права народа, то правительство имеет достаточно средств для сопротивления подобному покушению. Если же, несмотря на это, ее импер. величество без предварительного и формального требования со шведской стороны приказала войскам своим перейти границы, то подобный поступок будет принят за нарушение всенародных прав и за явный разрыв, который понудит Швецию употребить для защиты своей все данные ей Богом средства».

Датский посланник, готовивший также декларацию в смысле русской, узнавши об ответе, испугался и не подал никакой декларации. Панин писал канцлеру Бестужеву: «Вашего высокографского сиятельства ко мне высокая милость и протекция всегда меня дерзновенным пред вами учиняет; но, милостивый государь, при таких мне критических обстоятельствах здешних дел если бы я сей доступи еще не имел, то б как возможно было по сие время мне спастись? Ибо поистине признаюся, что теперь не вижу, как беспорочно наконец освободиться; того ради всепокорнейше прошу милостиво рассмотреть мои слабые мнения. Датский двор довольно оказал свое правило – ко всему склоняться, не производя ничего в действо, и с предосуждением доброй вере искать временных выгод. Может быть, он надеется много и на то, что видит нас с Швециею в таких замешательствах, и надеется этим себя сохранить от опасности, которой когда-нибудь, рано или поздно, может подвергнуться вследствие своего поведения. Правда, еще можно сколько-нибудь надеяться, что на введение в Швеции самодержавия двор этот равнодушно глядеть не может, но он ограничится тем, что не признает самодержавия в Швеции в надежде, что Россия будет действовать против нее всеми своими силами и, таким образом, все бремя шведских дел падет на одну Россию, если только английский двор не будет действовать с нами сообща. Поэтому было бы желательно, чтоб лондонский и венский дворы о здешних делах получили самое ясное понятие, какого они до сих

пор не имеют. Весь интерес наших высоких союзников состоит в том, чтоб шведский король сам собою не был в состоянии начать войну, вступить в новые обязательства и умножать свою военную силу. Когда Англия захочет серьезно приступить к делу, то она силою своих денег может много облегчить; в противном случае я не вижу возможности помешать здешнему перевороту, кроме долголетней войны; если же не воевать, то надобно будет осудить себя за исключение из общих европейских дел, ибо как скоро здесь характер правления переменится, то России придется думать только о собственных своих делах. Признаюсь пред вашим высокографским сиятельством, что моя нынешняя жестокая здешняя жизнь кажется мне бесплодною».

Известный советник Фриденстерна предлагал Панину ввести в Финляндию корпус русского войска с опубликованием причин этого поступка и созвать сейм в Финляндии, на что эта страна имеет полное право. Панин писал императрице, что он в этом предложении находит некоторое основание, ибо в прошлом веке особые финляндские сеймы бывали. В то же время Панин доносил о намерении господствующей партии заставить короля подписать отречение от престола в пользу наследного принца, что сделать легко по душевному и телесному состоянию короля, который подпишет акт не читая. Панин переслал в Петербург и копию заготовленного уже акта отречения. Венский двор хлопотал, чтоб шведское правительство издало обнадеживательский акт, что правительственная форма изменена не будет; когда австрийский резидент упомянул о необходимости этого акта французскому послу, то последний заметил, что такой необходимости нет, ибо седьмой параграф Ништадского мира никакого действия иметь не может: он в Абовском трактате не повторен, а между всеми державами в обычае последними трактатами именно и специально обозначать прежние обязательства.

Между тем Панин получил из России 50000 рублей, назначенных для формирования партии. Несчастный посланник не знал, что с ними делать, и писал канцлеру Бестужеву: «Ваше высокографское сиятельство, конечно, сами просвещенно ведать изволите, что с одними так называемыми добрыми патриотами ничего начать нельзя в надежде доброго успеха. Другое дело, если бы мы имели в Сенате одного или двух достойных вождей; опыт доказал, как недостаточно управление партией посредством иностранного министра, хотя бы он обладал гораздо большими для того качествами, чем я. Может служить примером и противная здешняя партия: она, конечно, не французскими министрами, но внутренними ее вождями управляется и содержится и укоренение свое в делах получила чрез сенаторский подкуп; напротив того, наша сторона как скоро в 38 году потеряла свою силу в Сенате, то после при разных и очень полезных случаях не могла поправиться. Не вижу другого способа к начатию формирования партии, как подкуп двоих или троих сенаторов, которые бы имели все нужные для вождя партии качества и взяли на себя дело составления партии, и так как время сейма еще не близко, а дело требует больших расходов, то английский двор может здесь своим золотом преодолеть силу Франции». Больших хлопот стоило провезти деньги в Стокгольм, чтоб утаить их от таможенных чиновников. Гвардейский каптенармус и переводчик привезли их из Копенгагена. Переводчик оставил своего товарища с деньгами за воротами Стокгольма, а сам приехал к Панину. Тот выехал с секретарями своими на охоту и остановился ночевать в трактире, где жил курьер с деньгами, под предлогом болезни; ночью

перенесли сумы с деньгами в комнату посланника, который вместе с секретарями надели их на себя под епанчи и таким образом провезли в город.

Панину предстояло еще тяжелое дело – подать третье требование своего двора шведскому правительству. 26 октября императрица апробовала следующий рескрипт к нему: «Мы из ваших донесений усмотрели, каким образом вы учинили вторичную декларацию шведскому министерству и какой неудовлетворительный для нас ответ дан вам королевским именем. Мы за наилучшее изобрели требовать, чтоб шведский двор вступил с нами в особливую негоциацию для постановления торжественной конвенции, чтоб Швеция нынешнюю форму правления отнюдь и ни под каким видом не отменяла, напротив чего мы обязались бы не только эту форму правления, но и установленное там наследство гарантировать и пригласить к той же конвенции все дворы. При вручении этой промемории вам подается наилучший способ – содержание ее подкрепить дальнейшими рассуждениями и явственно показать, как неприличен данный с шведской стороны ответ и как этот новый с нашей стороны поступок свидетельствует о наших прямо дружеских к шведскому двору чувствах, особенно к наследному принцу, ибо, кроме того что мы ревнуем о соблюдении прав и вольности соседственной нам нации, мы не хотим допустить, чтоб принц, покусившись когда-нибудь их нарушить, преступил учиненную им присягу и тем в начале своего правления возбудил ропот целой нации, любящей свою вольность, и сделал бы это принц, в возведении которого в его достоинство мы принимали такое участие. Это довольно показывает, основательны ли были рассеянные повсюду злостные слухи, будто мы старались ниспровергнуть наследство, нами самими установленное, когда мы стараемся заблаговременно отвратить и то, что могло бы служить поводом к такому ниспровержению. Теперь шведскому министерству представляется последний случай показать нам искренность тех уверений, какие оно нам не переставало твердить: им стоит только вступить в предлагаемую конвенцию, что им сделать легко, когда они обнадеживают не иметь никакого помышления об отмене нынешней формы правления; это для них и выгодно, ибо они разом освободятся от беспокойств, в каких их содержат продолжающиеся со всех сторон вооружения».

Канцлер писал Панину: «Я вашему высокоблагородию откроюсь, что мы, подлинно осмотрясь, никакого скоропостижного без рассуждения поступка не сделаем и первые в огонь не бросимся, хотя при том и всегда готовы будем ко всему тому, чего обстоятельства и сходство всевысочайших интересов потребовали б. Я верю, что господа датчане больше всех ошибутся, да и не худо, чтоб они ошибку свою прямо почувствовали. Ее импер. величество со всем тем, однако ж, всевысочайше намерена к датскому двору ни малейшей наружной отмены в своих сентиментах не показывать, но паче стараться, что ежели б начатую с оным негоциацию о шведских делах пресечь должно было, то таким образом сделать, чтоб датский двор тому виновным оставался; а впрочем, что до шведов самих принадлежит, то хотя мы и по действительной отмене их формы правительства первые войну с ними начать не намерены, а еще меньше не учиня с союзниками нашими предварительного соглашения, однако ж когда с здешней стороны в нынешней вооруженной позитуре останемся, то, может быть, сие одно довольно сильным способом будет шведов самих о том в раскаяние привести и иногда до того достигнуть, что сами ж они принуждены были б паки нынешнюю

форму правления восстановить, когда собственные их подданные, и без того великими налогами и податями отягощенные, продолжаемым для того далее непрерывным вооружением в совершенное отчаяние приведены будут и против самовластного правительства восстанут, еже толь имовернее есть, ибо известно, что они ни третьей доли того не снесут, еже ее импер. величество без всякого труда в действо произвести может. Все сие единственно для собственного вашего известия остаться имеет, а впрочем, нимало не препятствует, чтоб ваше высокоблагородие по прежде данным вам наставлениям не старались благонамеренных в Швеции сколько можно ободрять и их при лучших сентиментах содержать. Ничего лучше быть не могло б, как, приобретя Финляндию, шведов с датчанами их жребию оставить; но происходящие иногда оттого следствия не толь легко предвидеть можно, как бы такое предприятие требовало; но паче опасаться надобно, что таким образом и самые наши союзники не только за случай союза не признали б, но паче мы наступательною стороною признаны быть могли б. Впрочем, я охотно и совершенно вступаю в рассуждение вашего высокоблагородия касательно до жестокой тамо вашей жизни. Но ваше высокоблагородие противу того сами ж рассудить изволите, такие ли ныне обстоятельства, чтоб ее импер. величество могла, хотя на малое время, оттуда взять такого человека, на верность которого ее величество полагаться изволит и искусство его к нынешнему соглашению тамошних дел весьма нужным находит».

Письмо было очень лестно; но с Панина не слагалась обязанность иметь дело с «благонамеренными», которые, по его мнению, никуда не годились, и он должен был подать третью декларацию, от которой не ждал никакой пользы.

Третья декларация была отдана Паниным шведскому министерству 4 января 1750 года; ответ получен был 26 числа того же месяца и состоял в решительном отказе вступить в какую-либо конвенцию относительно формы правления. Так как Австрия и Саксония подкрепляли предложение русского двора, то шведское министерство объявило, что король для уничтожения в Европе всякого сомнения относительно своих миролюбивых намерений гарантирует всеми своими союзниками, что он первый никогда мира не нарушит, и если русский двор примет эту гарантию и с своей стороны даст такую же, то спокойствие сейчас же восстановится. Панин переслал канцлеру свое мнение, что такую гарантию Россия совершенно отказалась бы от права противодействовать перемене правительственной формы. Шведы хорошо знают, что русский двор поймет, в чем дело; но им хочется усыпить союзников России, которые, быть может, не так далеко проникают в шведские дела, могут смешать перемену правительственной формы с нарушением мира и ослабить свое внимание, так что Россия одна останется занятою шведскими делами, что для Франции и Пруссии очень желательно. Весь беспристрастный свет должен признать, что противовесие Франции заключается в силах одной России, которой при шведской перемене нельзя будет принимать большого участия в общих делах для пользы своих союзников. Одно средство однажды навсегда приобрести безопасность и со славою окончить принятые относительно Швеции меры – это получить от наших союзников формальную гарантию насчет ненарушимости шведской формы правления, причем в особом секретном акте обозначить все касающиеся дела пункты, отменю которых может быть нарушена общая система равновесия, и при таком нарушении постановить признание союзного случая (*casus foederis*). Этим

рассмотрением нынешний образ шведского правления введется в генеральную форму всей Европы и господствующая в Швеции партия лишится возможности называть ее домашним делом. Это выражение – «домашнее дело» – может иметь силу в юридических школах между простым народом, а не в кабинетах держав. Бестужев отвечал на это *благорассудительное* мнение, что его нельзя довольно выхвалить. «Я, – писал канцлер, – не оставил бы стараться надлежащее по оному употребление учинить; но, зная, вашему высокоблагородию, может быть, не так сведомые диспозиции наших союзников, я предусматриваю, что сей хороший план и чрез долгое время своего совершенства едва достиг бы. Прошедшая война их так засустила, что они поныне ни о каких посторонних делах помышлять не хотят, по меньшей мере ни на что не поступят, не протягивая вдаль, еже не иначе как противной стороне повод подавали б тому перечить, умалчивая, что Англия и без того едва похотела б шведскую форму правительства (гарантировать), не приглашая к тому Франции. Таким образом, легко сделаться могло б, что чинимые нами о том пропозиции втуне остались бы, следовательно, теперь наилучшее есть, находясь по всяким происшествиям в готовности, смотреть и обождать, какое течение дела примут, потом уже свои меры принимать. Когда наши союзники, а именно венский, лондонский, копенгагенский и дрезденский дворы, на учиненные от нас им по шведским делам представления и требования никакого удовлетворительного ответа не дали, то и мы все учиненные от них здесь по тем же делам пропозиции в молчании оставлять будем, дабы они и самым малейшим с здешней стороны ответом не делали себе меритов (заслуг) ни при шведском, ни при французском, ниже прусском дворах, а еще меньше все о наших намерениях известны были. Постараемся лучше одни, елико можно, целость наших интересов наблюдать».

Особенно поведение Англии заставляло думать о том, как бы «одним целость наших интересов наблюдать». В Лондоне Чернышев объявил герцогу Ньюкестлю, заведовавшему сношениями с северными государствами, что императрица надеется в случае если Швеция не обратит никакого внимания на представления России о неперемене формы правления и Россия будет принуждена исполнять обязательства Ништадского договора, то Англия признает здесь случай союза и не откажет в помощи. Ньюкестль отвечал, что сомневается, чтоб Франция допустила Швецию заключить с императрицей какую-либо новую конвенцию о форме правительства; французский двор находится в твердом мнении, что сделанное коронным шведским наследником объявление достаточно для успокоения всего света, что в Швеции и не помышляется о введении самодержавия; Франция отказалась исполнить требование лондонского двора – склонить шведское правительство внести небольшую перемену в манифест коронного наследника для большого разъяснения дела; Франция основала свой отказ на том, что такие требования относительно внутренних дел неприличны и достоинству Швеции как вольной державы предосудительны; к этому французский посол прибавил, что очень жаль, если сделанная Швециею успокоительная декларация не будет иметь успеха и на Севере возгорится война, ибо пламя этой войны распространится по всей Европе. Когда Чернышев подал промеморию о том, что Панин представил шведскому правительству третью декларацию, то Ньюкестль сказал, что в ответе на промеморию будет заключаться просьба английского правительства к императрице, чтоб она удержалась относительно Швеции от всяких поступков,

которые могут казаться наступательными, тем более что лондонский двор не может признать случая союза и, следовательно, обязанности помогать России, когда последняя введет свое войско в Финляндию единственно из досады, что Швеция откажется заключить требуемую от нее конвенцию относительно перемены правительственной формы. Чернышев выразил удивление относительно того, как этот ответ на его промеморию мало согласуется с теми искренними союзническими чувствами, которые лондонский двор много раз выражал императрице; Чернышев ставил на вид, как Англия заинтересована в этом деле не только относительно политического равновесия, о котором она так заботится, но и относительно своей торговли; и та и другая потерпят ущерб, если в Швеции восстановится самодержавие. «Я совершенно с вами согласен, – отвечал Ньюкестль, – для Англии крайне важно, чтоб в Швеции не было восстановлено самодержавие, и нашему двору очень приятно, что для недопущения этого императрица держит войско наготове; но у нас еще не усматривается никакой необходимости, чтоб императрица велела своим войскам предпринять наступательное движение, наш двор не имеет доказательств, могущих его удостоверить, что Швеция действительно намерена изменить свою правительственную форму; коронный наследник, для которого такая перемена должна произойти, не может вступить на престол, пока старый король еще жив. Французский двор продолжает уверять, что перемены никакой не последует, что об этом там и не думают, а если б что-нибудь подобное затевалось, то он сам готов тому сопротивляться как делу, не согласному с его интересами. С другой стороны, маркиз Пюизие объявил нашему посланнику лорду Альбемарлю, что если Россия действительно, как грозит, двинет свои войска в Финляндию, то Франция союзника своего не оставит, но вместе с прусским королем немедленно подаст ему помощь. Я вам скажу откровенно, – продолжал Ньюкестль, – что наш двор, недавно освободившись от разорительной войны, теперь ни под каким видом в новую войну вступить не склонен, да и не в состоянии по усилившемуся государственному долгу, не поправя своих финансовых дел; вот почему наш двор и считает своею главною обязанностию не давать вашему двору обещаний, каких сдержать не в состоянии, и потому должен отвлекать императрицу от всего того, что могло бы повлечь к войне, тем более что Россия может иметь против себя Францию, Швецию, Пруссию и даже Турцию. И венский двор согласен с нашим взглядом».

Герцог Бедфорд, заведовавший сношениями с южными государствами, еще раз объявил Чернышеву, что если Россия начнет войну с Швециею, то Англия не примет в ней никакого участия, случая союза по договору не признает, по крайней мере он, Бедфорд, в королевском совете будет настаивать, чтоб случай союза не был признан. Англии нельзя втягиваться в новую войну по причине громадности своего долга. При этом он высказал неудовольствие, что императрица без ведома его двора велела подать Панину третью декларацию. «Я, – говорил Бедфорд, – совершенно согласен с французским двором, что декларация наследного принца достаточна для успокоения; никакая конвенция большого ручательства не даст, и я не уверен, чтоб императрица по Абовскому договору имела право требовать от Швеции больших ручательств».

Чернышев уговаривал обоих герцогов, чтоб они не очень боялись французских угроз, которые останутся недействительными при твердом союзе

между Россией, Англией и Австрией; у Англии есть лучшее средство прекратить французские угрозы – это дать на русскую промеморию благоприятный ответ. «Я, однако, не надеюсь, – писал Чернышев, – чтоб мои представления имели какой-нибудь успех. Сомнения мои основываются на следующем: во-первых, на страхе английского министерства пред новою войною; во-вторых, на великой экономии в расходах, которая теперь здесь наблюдается; в-третьих, на несогласии министров в королевском совете, которое производит остановку в иностранных делах». В следующих депешах Чернышев между прочим извещал свой двор о разговорах Ньюкестля с посланником прусским. Последний внушал, что английский король должен употребить свое старание при русском дворе для отвращения императрицы от нападения на Швецию; в противном случае король его не может быть равнодушным и будет принужден по оборонительному договору с Швецией подать ей помощь. Ньюкестль отвечал ему, что у Англии с Россией оборонительный союз и потому если Россия начнет с Швецией наступательную войну, то Англия в этой войне участия не примет.

Чернышев был очень недоволен этим ответом английского министерства, Панин был очень недоволен пунктами внушений, представленными шведскому министерству от другой союзницы России, Австрии. В этих пунктах говорилось, что римская императрица не может представить никаких новых способов к соглашению между Россией и Швецией и ожидает с шведской стороны, не сыщутся ли такие способы, которыми бы возможно было как можно скорее установить тишину. Римская императрица обещает без требования или предписания представить русской императрице, не может ли она удовольствоваться шведскими обнадеживаниями и приказать отвести от границ своих лишние войска. Шведское министерство отвечало благодарностью за попечение о мире и просьбою о продолжении этих попечений. Шведский король, говорилось далее в ответе, утешает себя надеждою, что дела уладятся мирно, тем более что подозрение насчет перемены правительственной формы совершенно неосновательно; это доказывается известным манифестом наследного принца 12 июля 1749 года, и хотя манифест касался только шведских подданных, однако по своей сущности достаточен для удовлетворения России и других держав. Других способов удовлетворения без предосуждения своей независимости Швеция не знает.

Панин был недоволен австрийскими внушениями, но когда ему прислали из Петербурга копии чернышевских донесений, то поведение венского двора сравнительно с поведением лондонского показалось ему уже достойным похвалы. «Наши союзники, – писал он канцлеру Бестужеву, – могут быть извинены тем, что в рассуждении внутреннего состояния своих государств стараются посторонние дела вдаль протягивать и для того желают утишить настоящие замешательства; но тем не менее английское министерство в своем поведении оправдаться не может, ибо оно, уважая так мало искренность пред своими союзниками, ослабляет систему равновесия и тем противной стороне подает повод поступать с большею дерзостью. Как кажется, венский двор не теряет из виду последнего пункта и как ни усердно старается успокоить северные дела, однако по сие время не сделал ни одного поступка, которым бы мог поднять головы своим противникам, но при каждом отзыве мужественно оказывает твердость своей системы. Венский двор в своем рескрипте к здешнему резиденту сильно осуждает поступок английского

министерства, тем более что он сделан так публично и обнародован всеми газетами».

В сентябре Панин виделся с знаменитым прежде главою колпаков стариком Окергельмом, который приезжал на время в Стокгольм. Окергельм в откровенном разговоре о состоянии Швеции объявил, что если Россия оставит Швецию ее собственному жребию, то тем скорее приведет к упадку господствующую партию. Императрица сделала все возможное и должна спокойно ожидать событий, в необходимом же случае поступить согласно с своими декларациями и тогда, конечно, найдет сочувствие в целом шведском народе, который ничего так не опасается, как войны с Россией. Франция не так щедро будет расточать свои деньги, если русский двор не станет производить никакого движения. Все те, которые России обещают на будущем сейме золотые горы, имеют в виду только обогатиться ее деньгами; опыт показал, как трудно и бесполезно иностранному министру управлять здешними земскими делами, ибо в конце он непременно будет обманут, особенно министр русский, ибо в действительности Россия очень мало имеет здесь истинных друзей; для главного управления делами необходимы из шведов знатные, способные и влиятельные люди; но таких он, Окергельм, не знает никого, что же касается до него самого, то он покорнейше просит оставить его в забвении, ибо не признает в себе ни малейшей к таким делам способности. Русскими деньгами ничего сделать нельзя; другое дело, если будут действовать морские державы в твердом соединении с венским двором: они могут силою денег искать себе друзей и среди французской партии и вообще могут действовать с большим успехом, чем кто-либо другой, ибо система их никогда не может быть соединена с зависимостью Швеции. Настоящая форма правления прочна по крайней мере на несколько времени; господствующая партия не может теперь ее нарушить без ускорения собственной гибели, если только русский двор останется при твердом намерении исполнять свои декларации.

В ответном рескрипте на донесение о разговоре с Окергельмом говорилось, что мнения Окергельма сходятся с мнениями императрицы, именно, сделавши все то, что благодеяниями можно было сделать: предоставить шведов их собственному жребию и быть в готовности действовать, когда безопасность русских границ того потребует. «Действительно, опыт показал, – говорилось в рескрипте, – что употребляемые в Швеции с русской стороны деньги служат только к тому, что заставляют Францию высылать еще больше денег и таким образом еще больше укреплять шведов против нас. Мы не хотим сами питать их ненависть против себя и потому повелеваем вам поступать таким образом, чтоб злонамеренные, да и почти все шведы видели нежелание ваше искать их благосклонности; вы можете при случае велеть им внушать, что вы французские деньги деньгами же перевешивать не хотите. Это, однако, не связывает вам рук продолжать знакомства, служащие вам к получению нужных известий, и делать издержки, которых требует наша служба».

Более всех других держав русским движениям в Стокгольме должна была сочувствовать Дания из страха перед усилением Швеции посредством самодержавия; но Дания была держава слабая и потому не могла действовать так решительно, как Россия, должна была поступать осторожно, озираться на все стороны. В конце января 1749 года сам король объявил Корфу, что сущность конвенции между Россией и Даниею должна заключаться в двух пунктах: 1)

Россия должна препятствовать прусскому королю в угоду шведов напасть на датские области, совершенно открытые; 2) должна быть лучше определена граница между Даниею и Швециею, ибо хотя императрица великодушно объявила, что никаких завоеваний для себя от Швеции не желает, но датские границы очень мало защищены от шведских нападений, а шведы такие соседи, которым никогда верить нельзя. После этого король с час разговаривал о шведском и прусском дворах. Корф писал, что из этого разговора можно было заметить в короле мало высокопочитания к прусскому двору, а против шведского, особенно против министерства, казался он очень раздраженным и, между прочим, сказал: «Удивительное дело, что шведский двор присылает сюда всегда таких министров, которые могут быть названы прямыми банкротами честности, таков Тессин, таков Палмстерна, Гепкен и настоящий Флемминг, у которого такая злость и коварство на лице написаны, хотя неизвестно, умеет ли он говорить, потому что при всех случаях заставляет говорить за себя французского министра». При всем том, писал Корф, король не изъяснился ни о тех способах, какими здесь думают удержать прусского короля от вмешательства в шведские дела, ни о том, какую границу им хочется иметь со стороны Швеции.

На другой день после этого разговора министр Шулин прочел Корфу конвенцию: Россия и Дания согласились препятствовать всеми средствами введению в Швеции самодержавия и потому обязуются с обеих сторон выставить на шведских границах войско и вооружить флот; если бы Швеция вознамерилась передвинуть финляндский корпус к норвежским границам для действий против Дании, то Россия обязана сделать диверсию своими галерами в Швеции и тем поставить последнюю между двумя огнями; если прусский король соберет войско вблизи датских границ, то Россия выставляет сильный корпус на курляндских границах, датский король в таком случае сосредоточит наибольшую силу в Голштинии, а против Швеции воевать только оборонительно; если прусский король нападет на Данию, то Россия объявляет ему войну и не положит оружия прежде, чем Дания будет приведена в совершенную безопасность; Россия должна склонять кронпринца шведского, чтоб он за себя и за своих потомков отказался от Шлезвига и Голштинии; Дания должна получить все то, чего она лишилась по миру в Бремзебро. Все эти пункты должны содержаться в тайне.

Король, по уверению Корфа, желал тесного сближения с Россиею по шведскому делу; но министр Шулин был французской партии и хитрил: наружно не противился конвенции и притворялся, что совершенно согласен с намерениями королевскими, а между тем старался выиграть время, вымышляя всякие предлоги к остановке дела, и желал дожидаться таких обстоятельств, которые были бы в состоянии ниспровергнуть всю машину и сохранить в Дании французскую систему.

В апреле у Корфа с Шулиным был разговор по поводу объявления, сделанного Франциею британскому двору, что Франция сама будет стараться сохранить настоящую правительственную форму в Швеции и потому согласна доставить всякое обеспечение державам, принимающим в этом участие. Корф заметил, могут ли Россия и Дания ожидать такого обеспечения от державы, которой приверженцы в Швеции приняли все меры для восстановления самодержавия; внутренняя слабость злонамеренной партии для успеха в таком трудном предприятии известна, и потому можно вывести естественное

заклучение, что вожди партии составили означенный план не без ведома и не без предварительного совета с Франциею. Корф подозревал, что Шулин сам принимал участие в декларации, сделанной Франциею, чтоб доставить ей свободнейшие руки в северных делах и усилить возможность возобновления французского субсидного договора. На замечание Корфа Шулин несколько помедлил ответом; потом, собравшись с мыслями, сказал, что и английский король считает такое обеспечение надежным и думает, что получит его от Франции. Корф не продолжал разговора, боясь подать повод заключить о каком-нибудь беспокойстве со стороны русского двора; по его мнению, некоторым равнодушием можно было в Копенгагене больше выиграть, чем усиленным старанием. Вслед за тем Шулин пригласил Корфа на конференцию и прочел ему рескрипт короля к датскому министру в России Шезу, состоявший в следующем: король великобританский велел сообщить, что, видя опасные признаки беспокойства на Севере, он велел представить обоим императорским дворам, что Англия по окончании столь тяжкой войны с Франциею может помочь своим союзникам только в том случае, когда на них нападут в их собственных владениях; тем меньше он склонен принять участие в действиях против установленного в Швеции порядка наследства, ибо в таком случае начнется общая война на Севере, причем Франция и Пруссия, по всем вероятностям, получают верх. Вот почему английский король не может не отсоветовать таких намерений своим союзникам, в том числе и королю датскому. Необходимо смотреть неусыпно, чтоб нынешняя правительственная форма в Швеции была сохранена, но сделанные в Стокгольме русским и датским дворами декларации на первый раз достаточны. Французский король велел обнадежить английский двор, что и он сам будет стараться сохранять существующую правительственную форму в Швеции и готов доставить в этом отношении обеспечение всем державам, принимающим участие в деле. Король прусский также велел повестить, что, по сделанному ему объявлению от русской императрицы, вооружения с ее стороны производятся не для обиды кому-либо, но только для предосторожности, на случай, если б явилась опасность для спокойствия на Севере; хотя этим объявлением темное облако, нашедшее на Север, казалось, начало исчезать, однако недавно явилась в Стокгольме русская декларация, следовательно, опасность от непогоды еще не совсем миновалась; поэтому прусский король желает знать намерения датского короля относительно этого дела. И французский король, продолжал Шулин, велел здесь объявить, что из датских вооружений на норвежских границах и из тесной дружбы между Даниею и Россиею его король возымел подозрение, не клонятся ли датские вооружения против Швеции; король объявляет, что в таком случае он будет помогать Швеции.

Дания отвергла субсидный и оборонительный трактат с Англиею и заключила его с Франциею на том основании, что Англия требовала за свои деньги корпуса вспомогательных войск, а Франция не требовала. Шулин, объявляя об этом Корфу, уверял, что этим трактатом с Франциею король его никак не связывает себе рук относительно Швеции, ибо когда французский посланник допытывался, как поступит Дания в том случае, если самодержавие в Швеции будет восстановлено на сейме с согласия всех чинов, то ему отвечали: если будут хотя три человека в Швеции против перемены, то Дания будет их защищать. В августе Корф писал в Петербург, что Дания хотя немало опасается шведского переворота, однако не

будет принимать серьезных мер прежде кончины шведского короля. Трудно ожидать, чтоб датский король в таком важном деле решил что-нибудь один, без министерства, ибо для этого требовались бы качества, которые даются опытностью и летами; английский посланник во время своей негоциации имел довольно тайных аудиенций, с которых уходил всегда с добрыми обнадеживаниями от короля, но Шулин умел обратить в ничто эти обнадеживания. Корф, чтоб выпытать у Шулина его мнение о шведских делах, завел речь о строении шведами крепости в Ландскроне, указывая, что это не может оставаться без опасных следствий для Дании, особливо когда восстановлено будет самодержавие. Шулин отвечал, что крепостные постройки в Ландскроне требуют долгого времени и громадных издержек, а впрочем, нельзя отвергать, что это предприятие не может быть приятно для Дании. Потом Корф склонил речь на слухи, что в конце года будет создан в Стокгольме чрезвычайный сейм для восстановления самодержавия – дело легкое при совершенном падении патриотической стороны. Корф спросил у Шулина, какие, по его мнению, нужно было бы принять меры в таком случае. Шулин отвечал, что между Россиею и Даниею еще не последовало по этому важному предмету никакого соглашения и потому он не имеет обязанности объявлять своих мнений: но так как дело идет об интересе одинакой важности как для России, так и для Дании, то он скажет свое мнение, но только как частный человек. Я думаю, продолжал Шулин, что сделанные со стороны России и Дании военные приготовления на шведских границах достаточны для удержания злонамеренной партии в ее замыслах, эти господа легко могут видеть, что рискуют потерять свои головы, и кронпринц рискует потерять престол и быть выгнанным из Швеции; злонамеренная партия очень хорошо знает, что от Франции, кроме некоторой суммы денег, она никакой помощи не получит. Король прусский, быть может, пришлет свое выговоренное в трактате вспомогательное войско, но нельзя думать, чтоб он далее захотел вмешаться в дело. Несмотря на то, надобно внимательно следить за движениями злонамеренной партии, и я уверен, что король, мой государь, в известном случае безотлагательно примется за оружие и вступит в Швецию, хотя бы конвенция с Россиею и не была заключена, в надежде, что императрица, соблюдая собственный интерес, сделает то же самое.

Корф выпросил себе тайную аудиенцию у короля, которая происходила 3 сентября. Корф представил, что тайный комитет прошлого шведского сейма уже подписал акт введения самодержавия, отложив исполнение до будущего сейма. Теперь надобен только удобный случай, который доставит позднее годовое время, когда злонамеренные не будут опасаться никакого препятствия со стороны иностранных держав и при совершенном утеснении патриотов безопасны и относительно внутреннего сопротивления; и в какое положение тогда были бы приведены заинтересованные дворы, если бы движения злонамеренных заблаговременно не были предупреждены, – это он предоставляет священнейшему проницанию его королевского величества. Императрица не намерена оставить без внимания такое важное дело и не сомневается, что и его величество также к нему внимателен и не откажет сообщить на его счет свои виды. Король отвечал, что он никак не может допустить перемены правительственной формы в Швеции и хочет сопротивляться этой перемене всеми своими силами, почему и сделал все нужные распоряжения в Норвегии; только он

признает себя обязанным вследствие своей декларации не предпринимать ничего подобного наступательному движению до тех пор, пока злонамеренные действительно что-нибудь затеют; его цель – сохранить спокойствие на Севере, и потому никак не желает подать повод к войне каким-нибудь поступком, который бы мог быть истолкован как обида. Он надеется, что императрица совершенно согласна с ним в этом отношении, и он надеется, что дело не дойдет до войны, ибо извлеченная уже до половины на шведских границах шпага может привести злонамеренных на другие мысли. Впрочем, он просит уверить императрицу, что всегда будет поступать как истинный союзник России, убежденный в пользе и естественности этого союза; начатые переговоры с Францией и Швецией не содержат в себе ничего, что могло бы ослабить его: первая касается только получения хорошей суммы денег без связывания себе рук; вторая же состоит единственно в возобновлении старого трактата. «Было бы несогласно с моим достоинством и интересом, – продолжал король, – если б я заключил новые договоры, которые были бы противны обязательствам моим с императрицею. Я не мог принять предложения Англии, во-первых, потому, что эта держава в мирные времена больших субсидий давать не привыкла, во-вторых, потому, что она выговаривала себе помощь войсками, а я не могу из моей армии отправить ни одного человека: мои норвежцы надобны мне против шведов; из голштинских войск мне нельзя ничего дать, ибо я не знаю, что окажется с той стороны». Корф заметил, что король относительно германских своих владений может опасаться только со стороны Пруссии и в этом отношении английский субсидный трактат доставил бы полную безопасность. Король отвечал, что этого можно достигнуть, если Англия вступит в союз, не требуя, чтоб Дания лишилась французских субсидий. «Это рассуждение чрезвычайно странное, – писал Корф, – хотят на Англию наложить обязанность заботиться о здешней безопасности в то самое время, как отвергают ее дружественные предложения и дают предпочтение другой державе; из этого видно, какие слабые правила старается внушить министерство этому молодому государю».

23 ноября Корф был приглашен на конференцию к министрам, которые объявили ему, что так как шведский наследный принц недавно опубликованным актом в самых сильных выражениях высказался против перемены правительственной формы и так как императрица – королева венгерская обещала стараться о выдании со стороны шведского правительства другого подобного же акта, то датский двор признал излишним заключить по этому предмету особую конвенцию с Россией: большая часть европейских держав тем или другим способом принимает участие в сохранении настоящей формы шведского правления, и если Россия с Даниею вступят в особые обязательства, зависящие от будущих и неподлинных случаев, то это может возбудить в других державах зависть и подозрение, что было бы более вредно, чем полезно, для сохранения тишины на Севере.

Корф приписывал такой оборот дела Шулину; канцлер Бестужев соглашался с ним, но советовал быть осторожнее относительно могущественного министра. «Принятые г. Шулином странные меры, – писал Бестужев, – меры, которые интересу короля навсегда останутся вредны, нимало не удивляют, ибо я имел случай познать с прежних еще времен превратные его мысли и совершенную преданность к Франции; почему я ему всегда не доверял, и с самого еще начала,

когда тайная негоциация началась, невзирая на то что первое предложение učinено с датской стороны, никакого добра от него не надеялся. И действительно, в мнении своем не ошибся, ибо он внезапно уничтожил всю негоциацию и мнение свое в рассуждении теперешней формы правления основал только на чаянии и легко опровергаемых мнениях, в чем последовал предписанию французского двора с точностию. Я имею у себя достоверное известие, что г. Шулин испрашивал у французского двора совета, привести ли начатую негоциацию к желаемому концу, в чем ему непристойным образом отказано и запрещено. Из сего, следовательно, легко заключить можно, какую французский двор над ним имеет силу, когда рассудить, что он в угодность оному старался датский двор отщепить от нашего и возбудить между обоими несогласие... Я слышал также по помощи некоей посторонней переписки, что ваше превосходительство изволили у некоторых тамошних ваших приятелей называть г. Шулина пенсионером Франции. Ваше превосходительство можете легко себе представить, что если сие дойдет до ушей г. Шулина, то он, спасая честь свою, подговорив двух свидетелей, потребует от вас отчета; и вашему превосходительству трудно будет доказать, поелику тот министр, который берет мзду, свидетелей удаляется; а между тем он, раздражен будучи вашим попреком, и при жалобе своей последует примеру графа Тессина. В тогдашнее время стоило мне несчетных трудов ваше превосходительство из бывших замешательств с честью освободить. Если же последуют теперь от датского министерства какие-либо жалобы, то ваше превосходительство можете себе представить ту досаду, которую я иметь буду за то, что вас на теперешнее ваше место рекомендовал, также и то, что я вас поддерживать не в состоянии буду. Сей случай подал бы зломыслящим шведам повод к оправданию своея бесполезныя на вас жалобы: Вашему превосходительству известна моя к вам искренняя дружба по многим обстоятельствам, для которой я вам теперь и открываюсь чистосердечно. Качество господина Шулина мне давно известно, род мыслей его не годится ни к чему, он исполнен коварства; однако ж влияние его при тамошнем дворе и кредит у короля в таком состоянии, что должно ему всевозможным образом уступить, чтоб противным чем-либо не огорчить его и чрез то не привести оба двора в расстройку. Я советую вашему превосходительству г. Шулина уступать, столько ласкать и подавать вид старания, войти к нему в приязнь, чтоб приятые им о вас худые намерения уничтожить и привести в недоумение. Такими поступками всего лучше можно выиграть. Я уже найду способ за ваше превосходительство и за себя отмстить сему коварному министру, отмстить столь чувствительно, чтоб он вечно ощущал досаду, а может быть, удастся мне свергнуть его с места; но я сие сообщаю вашему превосходительству за сокровеннейшую тайну».

10 декабря Корф имел разговор с самим королем. «Я надеюсь, – сказал Фридрих V, – получить радостную ведомость о возвращении ее импер. величества в Петербург: хотя и эта столица довольно далеко от нас, однако когда императрица в ней находится, то мне кажется, что я ее особу больше в соседстве имею и что дела тем много выиграют, особенно при нынешних обстоятельствах на Севере. По крайней мере из декларации шведского наследного принца следовало бы заключить, что шведы сами нуждаются в сохранении мира, да и старания других дворов к тому же клонятся». Корф отвечал, что известия из Стокгольма удостоверяют его, что манифест коронного наследника надобно признать

хитростию французской партии, употребленную для успокоения его датского величества и разъединения с русской императрицею. Что же касается иностранных держав, старающихся при шведском дворе о соблюдении тишины на Севере, то между ними надобно отличить такие, которые имеют влияние на шведские дела, и такие, которые его не имеют: к последним принадлежат римско-императорский двор, которого представления имели мало успеха, также и великобританский, а к первым – Франция и Пруссия, которые согласились помогать злонамеренным шведам в перемене правительственной формы. «Если шведское министерство, – сказал король, – имело в виду при печатании известного манифеста разделить Данию с Россиею, то ошиблось, ибо я вполне признаю необходимость союза между обоими дворами и прошу вас удостоверить ее императ. величество, что я хочу способствовать всеми средствами сделать узел такой необходимой дружбы неразрывным, прошу и вас не переставать стараться об этом; что же касается французского и прусского дворов, то я не могу понять, какой им интерес в восстановлении самодержавия в Швеции». Корф писал, что он ясно доказал, что Франция и Пруссия имеют в этом сильный интерес, и король не мог ничего ему отвечать. Корф указал также королю на опасность, которая грозит Дании от укрепления шведами Ландскроны. Потом король разговаривал о разных предметах, о разных дворах; Корф нашел его рассуждения очень важными, нашел, что он французскому и прусскому дворам не доверяет, а к наследному принцу шведскому и его партии питает прямую ненависть.

В конце 1749 года Корф писал о ненависти, а в самом начале 1750 должен был писать о необыкновенных знаках благосклонности, которые оказывает король прусскому посланнику. В апреле Корф уведомил о внезапной смерти министра Шулина, причем писал: «Правда, этот министр был великий противник интересам вашего императ. величества, но переменятся ли дела вследствие его смерти, это зависит от назначения ему преемника».

Дела не переменились, потому что датская политика относительно шведского вопроса не была личным делом Шулина или партии, в челе которой стоял этот министр.

Державы, боровшиеся с Россиею дипломатическими средствами в Стокгольме и Копенгагене, разумеется, должны были также сильно бороться с нею и в Константинополе. Неплюев в начале 1749 года уведомил о слухе, распушенном в Константинополе, что Россия должна будет вести войну против Швеции, Пруссии, Дании и Польши, что 70000 прусского войска уже двинулось для занятия Курляндии. Тут же Неплюев сообщил записку, поданную Порте шведским поверенным в делах Сельценом. Сельцен домогался у Порты, чтоб она спросила у русского резидента, зачем его правительство делает такие сильные военные приготовления, сухопутные и морские, при шведских границах, и показала ему копию союзного договора, заключенного между нею и Швециею. Французский посланник Дезальер получил от своего двора приказание вразумлять Порту, что ее интересы требуют внимательного взора на северные события, ибо Россия имеет одну цель – овладеть Швециею, следовательно, турки, будучи с нею в союзе, должны ей помогать; да и без союзного обязательства должны всеми средствами препятствовать, чтоб русские не умножили своих сил. Эти внушения с шведской и французской сторон и беспрестанно подаваемые господарями молдавским и валахским ложные ведомости привели Порту в недоумение и

заставили ее обратиться к английскому посланнику Портеру с просьбою объяснить причины русских вооружений: «Даром большие деньги на вооружения не тратятся; правда ли, что Россия хочет назначить другого коронного наследника в Швеции? Что такое Курляндия, что об ней в настоящих северных делах упоминается? Не остановится ли в Польше русское войско, зимовавшее в австрийских владениях, и правда ли, что польскую вольность хотят совершенно утеснить?» Портер обратился к Неплюеву и австрийскому интернунцию Пенклеру за советом, что ему отвечать. Те постарались ему внушить, что он должен воспользоваться благоприятным случаем и снова забрать в свои руки то влияние, которое морские державы имели при Порте до Белградского мира, что теперь время не только туркам глаза открыть, но и Дезальеру с Сельценом нанести чувствительный удар, показавши, что представления Сельцена делаются по внушениям Дезальера. Неплюев представлял Портеру, что злоба французов против России происходит за помощь, оказанную императрицею англичанам посылкою войска к Рейну; что шведско-французско-прусская интрига направлена против России и Англии вместе и что надобно за это отомстить; что Россия принуждена вследствие шведского недоброжелательства держать войско на севере; но так как на юге не прибавлено ни одного полка, то Турции беспокоиться решительно нечего. В этом смысле составлен был письменный ответ, который Портер и переслал рейс-ефенди.

22 июня Неплюев имел разговор с великим визирем, который встретил резидента чрезвычайно ласково и сказал, что русский двор не может и желать большей дружбы, чем та, которую Порты к нему имеет. По этой-то дружбе он, визирь, и желал засвидетельствовать ему, резиденту, как бы Порты охотно видела Россию в согласии с Швециею, ибо ничто не может быть приятнее для Порты, как доброе согласие между ее друзьями. Неплюев отвечал, что императрица одного только и желает, чтоб быть в добром согласии со всеми державами, и Порты знает сама это очень хорошо из того старания, с каким Россия поддерживает дружбу в отношении к ней. Потом резидент перешел к северным делам и прямо объявил, что некоторые неблагонамеренные шведские министры желают возбудить беспокойства на Севере переменою правительственной формы, чтоб избавиться ответственности пред чинами и в угоду чужим державам; но так как гарантия Петра Великого естественно перешла и на императрицу, то она и по собственному интересу, и для предупреждения неминуемых беспокойств велела своему министру объявить в Стокгольме, что она не может смотреть равнодушно на замышляемую перемену; и как скоро злонамеренная партия от своего умысла отстанет, то императрица не подаст ни малейшей причины к беспокойству, ибо она завоеваний не желает, не имея нужды в приращении земель. Визирь отвечал, что хотя Порты и слышит многое, но не обращает серьезного внимания (тут он показал рукою, что в одно ухо впускает, а из другого выпускает) и надеется, что все эти несогласия на Севере кончатся ничем. Тут Неплюев заметил, что если Порты сильно желает тишины на Севере, то ей бы следовало шведам советовать, чтоб они отстали от своих вредных замыслов и не слушали советов тех держав, которые стараются зажечь огонь на Севере. И визирь должен быть от их советов и внушений во всегдашней осторожности, потому что они не стыдятся в двух местах одинаково каверзить: здесь, при Порте, сообщают ложные известия о России, а в России о Порте.

В сентябре интернунций Пенклер сообщил Неплюеву и Портеру перехваченную депешу Дезальера, в которой тот хвастался, что визирь говорил с Неплюевым повелительно, что он, Дезальер, успел открыть турецкому правительству глаза насчет русских замыслов и что для воспрепятствования последним возможна конвенция между Франциею, Пруссиию, Швециею, Польшею и Турциею. Пенклер объявил при этом, что хотя его королева-императрица и не верит французскому хвастовству, однако считает нужным, чтоб они втроем приняли меры для воспрепятствования упоминаемой Дезальером конвенции. Три министра решили, что в этом деле особенного внимания заслуживает упоминание о Пруссии, ибо если бы Франция успела склонить прусского короля на проект Дезальера, то это немало нарушило бы европейское равновесие. Они решили внушать Порте с трех сторон о благонамеренности России относительно Швеции, но решили при этом действовать с крайнею осторожностью и не делать ни малейшего намека насчет плана Дезальера, ибо этот план мог остаться только в голове последнего, наполненной, по словам Неплюева, проектами: так, Дезальер постоянно твердил о поляках, преувеличивал их силы и в то же время указывал необходимость освободить их от русских притеснений, необходимость с будущего польского сейма отправить в Константинополь министра с жалобой на проход русских войск чрез Польшу. Неплюев пригласил к себе переводчика Порты и объявил ему, что злонамеренная партия в Швеции решила произвести в действие свой план тотчас по смерти королевской и потому императрица приказала своему послу в Стокгольме сделать вторичную декларацию, что будет защищать вольность утесненных шведов; но если шведское правительство даст надежное удостоверение, что форма правительственная изменена не будет, то Россия ничего более требовать не станет. Если шведы, говорил Неплюев, откажутся дать всякое удовлетворение, то все беспристрастные будут считать их нарушителями мира; надобно надеяться, что и Порта разделит также этот взгляд и будет советовать шведам не нарушать спокойствия на Севере.

Неплюев и Портер внушали, что Порта должна уговаривать шведов уступить русским требованиям; Дезальер внушал, что шведы правы, что декларацией наследного принца дано полное обеспечение и что Порта должна отговаривать русскую государыню от столь несправедливых требований. Турецкие министры не знали, что делать, посоветовались между собою и решили: шведов вполне не оставлять, на словах за них ходатайствовать, но русскому двору отнюдь не причинять неудовольствия. Уведомив об этом свой двор, Неплюев писал: «Мне же во опровержение тех шведско-французских здесь интриг собою директно ныне делать нечего по опасности каким-либо безвременным отзывом непристойного от турок объявления на себя навести; но под рукою при всех подавающихся случаях возможное чинить не оставляю».

В начале 1750 года Неплюев присылал своему двору все успокоительные известия, что, несмотря на усилия Франции и Швеции склонить Порту на принятие посредничества в северных делах, та не поддается их внушениям. Но от 18 мая получена была от него в Петербурге депеша другого рода: «Чрез посредство двух серальских фаворитов и, вероятно, благодаря сребролюбиву рейс-ефенди (шведский переводчик трижды был у него в доме на рассвете), который по жадности своей со всех сторон берет, против всякого нашего

ожидания испытали мы (т.е. Неплюев, Пенклер и Портер) турецкое непостоянство, удостоверились, что ни на какие здешние обнадеживания полагаться ненадобно; что здесь не следуют какой-нибудь принятой системе, но по прихотям самые важные решения отменяются». Дело состояло в том, что 14 мая Неплюев был позван на конференцию к визирю, который прочел ему записку; в ней было сказано, что так как по полученным из разных мест ведомостям известно, что шведский ответ на последнее русское требование основателен, то Порта надеется, что обе державы будут сохранять путь правый и прямой и что скоро уведомится она о восстановлении между ними дружбы и добрых сношений. Неплюев отвечал, что отдает на рассуждение визирю: при возникших между двумя государствами столкновениях дело решается одними ли словесными уверениями, или для этого требуются трактаты и конвенции. Шведы повсюду разглашали, будто Россия хочет свергнуть их коронного наследника, а Россия основательно доказывает, что они желают переменить форму своего правления; то чего же лучше, как заключить с обеих сторон конвенцию, что ни того ни другого не будет? И если это разумное средство не примется, то бесспорно, что шведы по французским и прусским наущениям стараются взволновать Север. Императрица не желает ни пяди шведской земли; но если шведы не отстанут от своего намерения переменить правительственную форму, то она не сдержится никакими представлениями и употребит все дарованные ей Богом способы для воспрепятствования этому злу. Российская держава никогда не позволит предписывать себе законов ни шведам, ни французам, ни какому-либо другому народу, устанавливая все свои поступки на весах правосудия с богоугодным намерением не допускать, чтоб от соседей и в ее государствах огонь загорелся. На эти слова визирь и рейс-эфенди твердили одно: что Порта высказалась единственно из дружбы к обоим северным державам. После Неплюев узнал, что рейс-эфенди сказал визирю: «Хотя нынешнее свидание так же мало принесет пользы, как и прошлогоднее, однако мы это дело с рук сбыли».

Было ясно, что с турецкой стороны России нельзя было ожидать никаких значительных неприятностей по северным делам; столкновение между крымцами и запорожцами также не могло повести ни к чему важному. В таком успокоительном положении находились дела, когда в конце года в Петербурге было получено известие о внезапной смерти Неплюева, последовавшей 8 ноября. Псковский архиепископ Симеон Тодорский получил от находившегося при миссии иеромонаха Иосифа любопытное письмо о болезни и кончине резидента: «Извещаю преосвященству вашему о смерти резидента, который Божиим смотрением наказан был многожды болезнию различною, первое – отнятием руки, потом желчию, что весь был желт, и тая желчь происходила ему от сердца лютости и продолжалась все лето; однажды с деревни приехал в Перу, не знаю, за что осердился на портного так жестоко, что обомлел. Сколько лекари увещевали его о том, не слушал и не мог отстать, навяз всегда в лютости и в ярости. Случилось ему шестого числа сего ноября во вторник вечеру в немецкого резидента быть, и там сделалась ему апоплексия, которого в лектики (на носилках) в двор оттуду принесли, и страдал, по докторскому мнению; апоплексиею, а по-моему, от беса мучим, и все тое было ему от Бога в наказание, чего для в среду, бывшу ему в чувстве добром и в памяти, говорил хорошо, чисто; я пришел к нему; он не хотел сперва на меня смотреть, отворочался, як бес от

креста, говорил ему за исповедь, отказал – пожди. Потом в среду ж пред полунощию мучило его четырьмя нападами, мало и дышал, чего для я приобщил его Божественных тайн без исповеды, понеже не говорил; а после полунощи стало ему полегче, пил чай и поутру в четверток говорил с докторами; я приходил и хотел ему говорить и принудить к исповеды – ниже слово сказал; все удивлялись, с лекарами говорил и лекарства принимал, а ко мне ниже единого слова промолвил; после половины дня начало быть ему хуже, ввечеру скончался без исповеды. И по приметам прежних лет жития его так в России, как и в Стамбуле, не был он совершен христианин: но или лютер, или совсем атеиста, понеже имел великое обхождение с аглицким послом, а той явный атеиста. В Стамбуле находятся различнии народы православнии и имеют резидента в великом почтении яко от православного государства, а по теперешнем случаи все удивились и позорствуют на Россию, что едно православное государство в свете, и тое уже начинает колебаться в вере и развращаться, весь Стамбул атеистою покойного называл за его злые поступки, наипаче же теперь внушили, что не хотел исповедаться. О чем я прошу преосвященства вашего в случае внушить сие все милостивейшей государыне, дабы доброго христианина избрали и прислали в Царьград».

Глава вторая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1751 и 1752 годы

Восстания приписных к фабрикам крестьян. – Помещичьи и крестьянские междоусобия. – Столкновения на межах. – Предложение графа Петра Ивановича Шувалова о генеральном межзевании. – Указ против ябедников. – Смягчающее движение в законодательстве. – Продолжение брянского дела о беглых крестьянах. – Магистратское дело в Белгороде. – Беспорядки в Орле. – Устюжские купцы и половники. – Торговое и промышленное движение. – Финансы. – Дела церковные. – Продолжение борьбы с инородцами в Сибири. – Дела малороссийские. – Письмо канцлера Бестужева к императрице. – Ссора канцлера с братом его Мих. Петр. Бестужевым. – Столкновение с Австриею по поводу выселения сербов в Россию. – Новая Сербия. – Сношения с польско-саксонским двором. – Переговоры с английским двором о субсидиях. – Дела турецкие. – Кончина шведского короля Фридриха и вступление на престол Адольфа-Фридриха. Прекращение беспокойства относительно планов нового короля. – Сношения с Даниею.

1751 год начали в Петербурге обычными увеселениями. На другой день Нового года «как знатные обоего пола персоны и иностранные господа министры, так и все знатное дворянство с фамилиями от 6 до 8 часа имели приезд ко двору на маскарад в богатом маскарадном платье и собирались в большой зале, где в осьмом часу началась музыка на двух оркестрах и продолжалась до семи часов пополуночи. Между тем убраны были столы кушаньем и конфектами для их

императорских высочеств с знатными обою пола персонами и иностранными господами министрами в особливом покое, а для прочих находившихся в том маскараде персон в прихожих парадных покоях на трех столах, на которых поставлено было великое множество пирамид с конфектами, также холодное и жаркое кушанье. В оной большой зале и в парадных покоях в паникадилах и кракштейнах горело свеч до 5000, а в маскараде было обою полу до 1500 персон, которые все по желанию каждого разными водками и наилучшими виноградными винами, также кофеем, шоколадом, чаем, оршатов, и лимонадом, и прочими напитками довольствованы». 18 января был при дворе другой такой же маскарад.

С половины 1751 года в разных местах империи начало обнаруживаться явление, которое в следующем году приняло небывалые размеры. В Вятской провинции встали против своих властей крестьяне архиерейского дома, также успенского Трифонова и других монастырей. Пущих заводчиков велено было наказывать кнутом, а прочих батогами; но крестьяне не допустили до этой экзекуции секретаря, приехавшего с драгунскою командою; секретаря и восемь человек драгун избили. Тогда другие драгуны стали стрелять и убили двоих крестьян: остальные крестьяне отступили, но залегли по всем дорогам, чтоб не пропускать команды; послана была другая команда, которая выручила секретаря и схватила троих зачинщиков мятежа: в других деревнях зачинщики разбежались при появлении команды.

Вятский воевода Дубенский постарался исторически объяснить Сенату положение крестьян в своей отдаленной и находившейся в особенных условиях провинции. Вятские крестьяне платят подати с трудом, потому что множество их за неимением своих земельных участков скитается, питаясь подаянием, а землями государственными по большей части владеют дом архиерейский, монастыри, купечество и разного чина люди. В этой провинции, как видно, сначала были места лесные и пустынные, которые при поселении отдавали черносочным крестьянам во владение на оброк; когда же стало людей умножаться, тогда эти крестьяне из отданных им земель продавали друг другу и, расчищая, селились деревнями; также отдавали на помин души в архиерейский дом, монастырям и многим сельским церквам в приклады, продавали посадским, приказным и всякого чина людям. После переписи 1722 года крестьяне за малоимением в своих деревнях земли расчистили в разных местах пустоши и лесные земли и поселились на них деревнями и починками, а по нынешней переписи написали их в прежних деревнях, а в новорасчищенных деревнях и починках никаких душ не написали, почему крестьяне подушных денег не платят, отговариваясь, что на этих землях душ не написано, а должны платить за них те, которые прежними их деревенскими участками владеют. Между Вятским и Устюжским уездами близ Черной речки поселились пришлые неизвестно какие люди в большом числе, поселились насильно и живут деревнями и починками, посылаемых к ним от Вятской канцелярии бьют и увечат, а следствия произвести нельзя за неимением известия о земельных дачах; да и в других смежных с Вятскою провинциею местах, подле Еранского и Казанского уездов, а более на Отяцких новокрещенских жалованных землях, таких же пришлых крестьян немалое число. Воевода предлагал прислать к нему из Вотчинной коллегии копию с писцовых книги по ним восстановить старые межи. Сенат приказал: отправить из Вотчинной коллегии межевщика, геодезиста и секретаря с копиями писцовых,

межевых и переписных книг в возможной скорости и написать, что Сенат представлением Дубенского доволен.

В 1751 году статский советник Никита Демидов купил у князя Репнина имение в Обоянском уезде. Для отказа крестьян за нового помещика поехал майор с командою да серпуховской воевода. Когда они приехали в село Ильинское, то крестьяне их туда не пустили и по выслушании указа единогласно объявили, что они себя за Демидова к отказу не допустят и слушать его без кровопролития не станут. Это было осенью; а в конце года в то же село Ильинское отправился советник Вотчинной коллегии Поляков; но навстречу к нему вышли в поле крестьяне, человек до 1500, с рогатинами, дубинами и прочим дрекольем и объявили, что его к себе в село не пустят, а чтоб прочел указ на том месте, где был остановлен. Поляков исполнил требование и поздравил крестьян, что они уже не принадлежат больше Демидову, а приписаны к собственным вотчинам ее императорского величества. Крестьяне отвечали, что за высочайшую милость благодарствуют, а его, советника, для переписки себя и приписки к собственным вотчинам государыни не пустят, потому что он послан по желанию и в пользу Никиты Демидова и высочайшая милость еще им невероятна, ибо военная команда стоит кругом их вотчины; сверх того, о приписке к государыниним вотчинам должны они ожидать указа из вотчинной ее императорского величества канцелярии. Сказавши это, крестьяне пошли обратно в село Ильинское, а советник возвратился в село Ивановское, в двух верстах от Ильинского, опять посылал требовать, чтоб пустили его в Ильинское, получил новый отказ и возвратился в Москву. Сенат, узнавши об этом, приказал объявить Полякову *реприманд* за то, что сделал не так: ему велено было только вотчины за Демидова не отказывать, а Демидову объявить, чтоб он вотчиною не владел и сборов с нее не собирал.

Это распоряжение, которое самим крестьянам показалось невероятным, не осталось без следствий. В 1752 году содержатель парусной и бумажной фабрики в Малоярославском уезде коллежский асессор Гончаров подал жалобу на непослушание крестьян. Посланную вследствие этой жалобы команду крестьяне встретили с оружием в руках в числе 800 человек. Команда остановилась, и в ее глазах крестьяне учились военной экзерциции, как надобно приступать и отступать, у них были какие-то необыкновенные ножи, и многие ходили в гренадерских шапках; они напали на команду, разбили ее, отняли пушки. Принуждены были послать бригадира Хомякова с тремя полками: ему удалось разбить крестьян благодаря артиллерии и утушить восстание.

После этого Хомякову дано было такое же поручение, только потруднее. Дворянин Евдоким Демидов подал просьбу: «В Калужской провинции куплена отцом моим у графа Головкина к железным нашим заводам волость Ромодановская; из крестьян этой волости треть, обученные мастерству, всегда находились в той провинции на наших заводах, другая треть – на сибирских заводах, остальные – на пашне. В 1741 году эта волость откладывалась от нас и крестьяне многие противности показывали, прикащика нашего до смерти убили; а в нынешнем апреле месяце с третьего числа та же Ромодановская волость самовольно от нас отложилась, воду из заводского пруда крестьяне всю выпустили, держащиеся в огне угольные дровяные кучи оставили, все люди разошлись, заводские работы остановились и крестьяне посланных наших к себе в

деревни не пускают. Услыхав об этом самовольстве, крестьяне той же волости, обученные разным мастерствам и находящиеся на наших Брынских и Дугненских заводах, многие, покинув работу, ушли в свою Ромодановскую волость, а от этого многие работы остановились».

Примером для ромодановских крестьян служило сопротивление крестьян Репнинской волости, которые, как мы видели, достигли своей цели – освободились от Демидова. Как только пришел приказ от владельца всех крестьян Ромодановской волости выслать на работы на Дугненский завод, то волость и поднялась; репнинские говорили ромодановским: «Мы в челобитных писали, что Демидов грозил нас размучить, и тем от него отошли; и вы пишете, что знаете». Главными зачинщиками были крестьяне Горох, Рыбка, Бурлаков, Рыженков, Семенов, Рык, Чуприн и Волк; староста Бурлаков начал было отречься от бунта; но его стали бить и принудили продолжать дело. Живший в волости солдат Дмитриев обучал крестьян воинским приемам; вооружали не только всех мужчин, но женщин и девиц, нарядив их в мужское платье. Против возмущившихся был отправлен полковник Олиц с 500 человек команды; но он был разбит крестьянами и взят в плен; подполковник фон Рен, один капитан, прочих чинов и рядовых 30 человек были ранены тяжело, так что оказались к жизни безнадежны; 9 офицеров и 188 рядовых получили легкие раны; из крестьян было убито 59, ранено 42 человека. Тогда отправлен был бригадир Хомяков, усмиривший гончаровских крестьян. Демидовские крестьяне вышли и против него вооруженные, крича: «Мы ее императорскому величеству не противимся, да смерть себе от Демидова видим и в руки к нему нейдём». Река разделяла их от войска; солдаты начали стрелять, и видно было, что в крестьянских рядах было много убитых и раненых; но это не отняло духа у крестьян, и они ни на шаг не отступили от берега. Хомяков требовал, чтоб высланы были из них лучшие люди для истолкования им указа; лучшие люди пришли и объявили: «Мы ее императорскому величеству ни в чем не противимся и если за государыню будем взяты, а за Демидова нас не отдадут и о том объявят нам указ, то противиться не будем». Хомяков не решался напасть, ждал подкреплений; потом велел зажечь некоторые деревни и приступить к селу Ромоданову; крестьяне выступили из села, причем схвачено их было человек 200; но прочие разбежались и составили многочисленные разбойничьи шайки с огнестрельным оружием. В Петербурге нашли, что Хомяков действует очень слабо, и отдали его под военный суд. На его место явился генерал-майор Опочинин, которому удалось поймать 674 человека из возмущившихся крестьян. Главные зачинщики сосланы были в Сибирь на железные заводы Демидова с приказом употреблять их в тяжкие работы. Жалобы на мучительство Демидова объявлены выдуманными, ибо 257 мастеровых и заводских рабочих показали противное.

В том же 1752 году тульский купец Лугинин купил к полотняной фабрике в Белевском уезде село Сороколетово; но в это время пошел слух о восстании Ромодановской волости: сороколетовские крестьяне отказались ходить на фабрику, утверждая, что к фабрикам деревням быть не велено; они собрались всем миром в приходской церкви, призвали священников, отслужили молебен и присягнули не слушаться Лугинина и друг друга не выдавать. При появлении военной команды крестьяне разбежались.

Дело не ограничивалось крестьянами, приписными к фабрикам и заводам. В 1752 году олонекские вотчины Хутынского монастыря отказали ему в повиновении. Три раза Новгородская губернская канцелярия посылала их уговаривать, но они посланных выгнали, команду били и бранили и единогласно кричали, что указа не слушают и подписываться не будут. Сенат велел послать достаточную команду, исследовать дело и зачинщиков высечь плетью нещадно.

Крестьяне Вятской провинции Хлыновского уезда Шланской волости вели дело законным порядком; поверенный от этой волости крестьянин Бесперстов бил челом в Сенате: имел он отъезд для торгового промысла в Оренбург; узнавши об этом, секретарь Вятской провинции Перминов прислал за ним как за своим крепостным крестьянином, прислал к старосте письмо, чтоб его сыскать и прислать к нему; его сыскали и привели к Перминову, который стал ему говорить, чтоб он с прикащиками его, которые от него торгуют под чужими именами собственными его, Перминова, товарами, съездил в Оренбург, и за это обещал наградить. Бесперстов отказался и отпущен домой; но староста Шланской волости получил от секретаря предписание обобрать у Бесперстова и отца его все их имение, хлеб и скот. Староста исполнил предписание, и Бесперстов отправился к Перминову жаловаться на безвинную обиду. Перминов сказал ему: «Поедешь в Оренбург с моими прикащиками, то все свои пожитки получишь назад, получишь и награждение за поездку; если же не поедешь, то и всю волость разорю». Бесперстов поехал в Оренбург с прикащиком Перминова хлыновским купцом Праздниковым, который жил в доме Перминова. С 1745 года по 1751 год Бесперстов прожил в Оренбурге и других городах, имея смотрение за прикащиками Перминова, всякий его товар принимал и отправлял, деньги взыскивал по векселям без всякого вознаграждения, а когда стал просить об увольнении, то Перминов прислал в Шланскую волость людей своих и все пожитки его и отца его забрал без остатку, взяли разного серебра три фунта, 10 лошадей, 26 овец, 21 свинью, три улья пчел, денег 30 рублей, и все отвезено в дом Перминова на мирских подводах; этими пожитками секретарь корыстуетя до сих пор, а Бесперстов и отец его скитаются меж дворами и кормятся мирским подаванием. Во всех государственных волостях Перминов обижает и разоряет крестьян, собирает разные сборы на свои домовые нужды, раскладывая их на всех крестьян по числу душ. В 1748 году схватил двоих крестьян Шланской волости и вымучил у них вексель в 400 рублей, а деньги взыскал со всех крестьян волости, расположа по числу душ. В том же году схватил 8 человек крестьян и вымучил вексель в 200 рублей и с одного из этих крестьян взыскал 100 рублей, а с прочих – по раскладке. Крестьяне бить челом не смеют не только в Вятской канцелярии, но и в Казанской губернской канцелярии, потому что многие челобитчики на него едва не померли в тюрьме по его проискам; поэтому крестьяне и послали Бесперстова бить челом прямо в Сенат.

Если являлись такие тяжкие для крестьян секретари, как Перминов, то беда иногда приходила на них и от своего брата. Дворцовых тамбовских волостей беглый и наказанный кнутом крестьянин Иван Нагорнов с сообщниками сочинил фальшивый акт от имени всех крестьян этих волостей, будто бы им нужно занять денег на крестьянские потребности, а заплатят они овечьей шерстью, собирая с каждой души по два фунта; на основании этого акта Нагорнов взял у московских купцов 760 рублей денег и в уверение платежа шерстью дал им вексель в 1000

рублей на имя всех сел старост и крестьян, после чего бежал из Москвы. Для предупреждения подобных случаев Сенат велел публиковать, чтоб никто не давал займы денег дворцовым крестьянам, посланным для хождения по делам.

На польских границах помещики и крестьяне по-прежнему терпели от крестьянских побегов. В 1752 году великолуцкие помещики подали жалобу, что люди и крестьяне их по подговору польских обывателей бегут за польский рубеж, пограбя пожитки их помещичьи и крестьянские, а польские обыватели всячески помогают им к побегу и поселению и потом подсылают в Россию для воровства, разбоя и грабежа, дают оружие и порох, уводят многих в неволю.

Кроме означенных случаев восстаний правительство по-прежнему употребляло отдельные воинские отряды в борьбе с разбойниками. В описываемые годы случаи разбоев являлись в Серпуховском, Каширском, Тарусском и Обоянском уездах. В 1751 году находившийся у сыску воров и разбойников от Калуги до Нижнего по обе стороны Оки подполковник Жеребцов доносил, что в его команде колодников 221 человек. В начале 1752 года Олонецкая воеводская канцелярия доносила, что теперь воровских и разбойничьих артелей и никакого об них слуху в продолжение двух лет и трех месяцев нет, поэтому для сыску их команде в Олонце быть не для чего. Сенат приказал: офицеру, взявши с олонцкого воеводы письменный реверс, что у них воров, разбойников, беглых солдат и рекрут нет, выступить с командою из города. Но там, где военные команды оставались, было видно, что они не могут действовать с успехом без помощи обывателей. Военная коллегия, которой тяжело было ведение этой внутренней войны, потребовала от Сената указа «о всеконечном прекращении пристаней ворами и разбойникам, чтобы в селах и деревнях прикащики, старосты, выборные, соцкие и десяцкие помогали сыщикам в поисках за вредными людьми».

Ведшееся исстари явление – ожесточенные схватки на межах скоро должны были повести к общей мере для их уничтожения. Полковник Мяснов послал из крапивенской своей деревни Даниловки для кошения сена на свою дачу дворового человека Григорья с крестьянами, человек тридцать; но из села Крутиц помещиков Толбузиных вышел староста с крестьянами, человек триста, напали на косцов, дворового Григорья убили до смерти, схватили 14 человек крестьян, увезли к себе в село и на помещичьем гумне, измучив их самым зверским образом, умертвили; помещики их, недоросли Толбузины, были тут. Для размежевания земель в Новгородском уезде послана была команда из 50 человек, но, когда начали межевать, монастыря Антония Римлянина келарь Евдоким, служитель Михайлов, староста и выборный со всеми крестьянами монастырской вотчины, человек более 1000, явились с дубьем, кольем и топорами и межевать не допустили, крича, что если станут межевать, то будут бить до смерти, останавливали солдат, хватая их за ружья и штыки, для рассеку между лесом рубить деревья не давали, где нужно было идти для измерения с цепью, какое дерево надобно было рубить, охватывали его руками, подставляли под топоры ноги и прочь толкали, чтоб только начать драку, и таким многолюдственным нападением фронт смешали. Келарь вытащил из рук солдата цепь, передние кольца ее разогнули, столб, привезенный для обозначения межи, с посмеянием оттащили назад.

20 января 1752 года граф Петр Ив. Шувалов подал в Сенате письменное предложение, что «ее импер. величества всеавгустейшей государыни милосердное известное предприятие и желание, дабы подданные под державою ее величества, дворянство и всякие владельцы недвижимых имений, обидимые лишением им подлежащих земель, удовольствованы справедливостью без обиды были, и для того неоднократно в рассуждении оных и ради пресечения доньше в спорах и завладении земель происходящих убивств, и во изыскании того кровопролитных следствий происхождение, попечительно милосердуя о государственном межевании, всемилостивейше упоминать соизволяет, требуя ведать, как скоро оное начнется, и чтоб тем не медлить. Сколько же известно, все книги, потребные к тому межеванию, по Вотчинной коллегии не токмо списаны, но прочтены и приготовлены по порядку находятся, а время того к начатию удобное приближается; того ради не соизволит ли Высокоправительствующий Сенат сие дело важное, государственное, дав ему пред другими преимущество о сочинении инструкции в избрании межевщиков, в установлении оного во всех к тому потребностях немедленное начало учинить, чтоб начало того дела с началом весны действием произвести; а притом не соизволит ли Сенат в рассуждении постановления порядка основательного и за фундамент одну только Московскую губернию наперед размежевать; когда же оное окончится, тогда в прочих всех губерниях в одно время начать, для того что по большей части те затруднения, которые в оной, будут резолвированы». Сенат приказал: какие о том межевании в Сенате были определения и писцовые наказы и сколько в Вотчинной коллегии писцовых книг списано, все это собрав, предложить Прав. Сенату к рассмотрению немедленному, 19 февраля по предложению того же Шувалова Сенат приказал: публиковать во всем государстве, чтоб все, кто за собою деревни и земли имеют, на эти земли всякие крепости заблаговременно готовили, особливо те, кто деревни и земли имеют в Московской губернии, чтоб при вступлении определенных к межевому делу межевщиков в том размежевании земель нималого препятствия и остановки последовать не могло; а в Вотчинную коллегию послать указ: иметь с писцовых и межевых книг копии во всякой готовности наперед одной Московской губернии.

Для прекращения драк и убийств на межах представлялось действительное средство – генеральное межевание; но труднее было правительству находить скорые средства против других беспорядков. 25 мая 1752 года императрица велела Сенату публиковать, каким образом она, к крайнему неудовольствию своему, слышит о разорении и притеснении подданных от ябедников, которые, не страшась суда Божия, стараются употреблять всякие вымыслы против правды и тем затягивают решение дел. Известно ее величеству, что в таких непристойных званию своему поступках упражняется отставной лейб-гвардии прапорщик князь Никита Хованский, которому впредь себя от того удержать и как явным, так и тайным образом ни под каким видом этого не делать и никому по делам никакого совета и наставления не давать под опасением лишения движимого и недвижимого имения и указного штрафа; равным образом, если кто с ним о каких приказных делах советовать станет явно или тайно и в том будет уличен, то как у него, князя Никиты, так и советовавшихся движимое и недвижимое имение отписано будет. Этот Хованский 19 лет не жил с женою, держал ее в крайнем притеснении и между тем давал полную волю страстям своим, 12 лет не

приобщался; раздраженный публикацией о своем ябедничестве, он стал делать выходы против правительства, всех знатных особ называл одних дураками, других пьяницами. «Слава Богу, – говорил он, – что в Москве дворец сгорел: теперь поедет государыня в Петербург; из Петербурга ее выгнала вода, а из Москвы огонь». Его высекли плетью и сослали в Никольский козельский монастырь, потом велели жить в своих деревнях.

Отставной комиссар князь Жировой-Засекин в Юстиц-коллегии повинулся в трехкратном закладе и продаже одних и тех же своих недвижимых имений. Прокурор Штатс-конторы Андрей Батюшков побоями вымучил у своей жены крепость на приданные ее деревни, доставшиеся ей на седьмую часть после первого мужа, Унковского; Сенат приговорил его, лиша всех чинов, бить кнутом; но императрица простила его, приказав быть в отставке. Статскому советнику Полянскому велено было ехать на следствие в Вятскую провинцию; он укрылся от такой дальней, тяжелой поездки; тогда положено было запрещение на его недвижимое имущество, пока не явится. Полянский явился и подал просьбу, что приехал в Петербург и одержим тяжелой болезнью, которая препятствует ехать ему в Вятскую провинцию, и потому просит от службы и от посылки уволить, а деревни из-под запрещения освободить. Сенат приказал: Полянского отправить в Вятскую провинцию с провожатым солдатом, потому что когда он в Петербург теперь приехал, то и в Вятку ехать может. В доме у обер-кригс-комиссара Спичинского произошла драка, участниками были генерал-майор князь Владимир Долгорукий и ассессор Иван Данилов. Почти пять лет тянулось следствие, наконец дело решили: Долгорукий, как зачинщик драки, должен был заплатить обиженному, секретарю Суровцеву, годовое жалованье за бесчестье и увечье; ассессору Данилову, который хотя не был зачинщиком драки, но самоуправным отпущением право свое потерял, вменить почти пятилетний жестокий арест в наказание, определить к делам тем же чином в другое место и удержанное жалованье по бедности выдать.

В законодательстве шло постепенно смягчающее движение. Петр Великий запретил употреблять пытку в малых делах; в 1751 году ее отменили в корчемных делах, причем Сенат проговорился и тем указал на необходимость общей отмены пытки. «По корчемным делам не пытаться, – говорит указ, – для многих в том затруднений и кровопролития, и чтобы, не стерпя пыток, не могли на кого и напрасно говорить, и те б, на кого станут говорить, и невинные не могли подпасть напрасному истязанию». Но это рассуждение одинаково прилагалось ко всем пыткам.

В описываемое время правительственным распоряжением обе столицы были лишены украшения, которое делало их похожими на дремучие леса: императрица запретила держать в Петербурге и Москве медведей, «а кто к оному охотник, держали б в деревнях своих и по ночам бы не водили». Другие города не были освобождены от медведей; некоторые из них были заняты другими важнейшими интересами. Мы видели, что Сенат для поимки беглых гончаровских крестьян велел послать усиленную команду; отправлен был драгунский подполковник Ангеляр; но и его команде крестьяне добровольно не сдались, надобно было брать их приступом, причем ранены были слегка один поручик и один драгун, двое драгунов ушибены были каменьями, у одного унтер-офицера кафтан был прострелен пулею. Из крестьян один был убит наповал, другой умер от раны,

легкие раны получили шесть человек, всего было взято 27 человек, из которых после померло и бежало пять человек. Так как жители Брянска, члены его магистрата, оказали явное сочувствие крестьянам, то, разумеется, они не могли остаться в стороне при следствии. Брянские купцы подали в Сенат челобитную, что подполковник Ангеляр велел капитану Пловецкому атаковать их дворы и никого не выпускать. От этой атаки, бывшей 5 июня 1751 года, произошел немалый страх, от которого женщины и дети были при смерти; беременные женщины разрешились преждевременно и от страха в болезни долгое время не говорили. Взят был Брянского магистрата ратман Сапожков, выборный к таможенным сборам Григорий Коростин, подьячий, закованы в тяжелые кандалы и держались более трех недель в великом утеснении; а кого дома не было, брали жен и держали под караулом в колодках. Кроме того, подполковник команду свою посылал по дорогам для поимки брянских купцов, которых и не требуют к суду; в надежде на это прикащик Гончарова Зайцев по всем дорогам около Брянска ставил караулы также для поимки брянских купцов, которых в Сыскной приказ не требуют же; в 30 верстах от Брянска схватили купца Кузьму Гридина, отняли у него лошадь, деньги, привели к Гончарову, посадили на цепь и мучили, до сих пор неизвестно, что с ним случилось; другой брянский купец, Анисим Беляев, в доме Гончарова убит до смерти; да не только купцов и гончаровских крестьян по дорогам хватали, но и малолетних детей, которые в школах учатся, забирали. Видя такой страх, купцы, оставя дворы, жен и детей, разбежались, все брянское купечество пришло в разорение, торговые промыслы и подати едва не все пресеклись. После 5 июня, спустя дней с десять, Ангеляр с капитаном и с командою ходили по всем дворам и, разломав замки, описывали все пожитки и товары, которых при этом распропало немало.

Мы видели, что в деле Белгородского магистрата Главный магистрат восторжествовал: враждебный ему президент Андреев был привлечен к делу о фальшивых векселях и взят в особо учрежденную по этому делу комиссию, а на его место в магистрате назначен другой. Но комиссия о фальшивых векселях объявила, что в векселях, данных Андрееву, никакой фальши нет, и притом взяты они вовсе не насильственно; сам челобитчик векселей фальшивыми не называет, а говорит только, что они даны во взятку за исходатайствование свидетельства о состоянии. Сенат обрадовался и приказал восстановить Андреева и товарищей его в прежних чинах по магистрату, а вновь выбранных и Главным магистратом определенных отрешить, ибо по делу комиссии о фальшивых векселях и за показанными в челобитье белгородских купцов резонами Андреева со товарищи без следствия от магистратского правления отрешать не надлежит. Скоро после этого Сенат имел удовольствие наложить штраф на обер-президента Главного магистрата Зиновьева; прокурор Суворов подал предложение с прописанием точных указов и с показанием основательных резонов; Зиновьев отстранил это предложение определением, сделанным им только от одного своего имени, толкуя неправильно прописанные у прокурора указы и регламенты; кроме того, определил сам собою в контору Главного магистрата ратсгера Ольхина без общего со всеми присутствующими рассуждения и утаил представление в Сенат. Прокурор донес об этом генерал-прокурору, и Сенат велел взыскать с Зиновьева сто рублей.

В Орле возникла ссора между полицмейстером Бакеевым и президентом магистрата Уткиным, вследствие чего пошли беспорядки в городе; жители не стали помогать полиции: пойманных в драках разных чинов людей у полицейских служителей отбивали, и стоящие при рогатках на карауле купцы озорников под караул не брали и в полицию не приводили, опасаясь Уткина, который запретил и соцким помогать полиции; отсюда в Орле днем и ночью происходили необыкновенные крики и драки. В северных городах было покойно. Здесь устюжское купечество, обиженное своею провинциальною канцеляриею, искало управы законным путем и получило ее. Купцы жаловались Сенату, что канцелярия наложила запрещение на их деревенские земли и участки, а они владеют землями старинными родовыми с лишком за 200 лет, и на тех деревенских землях живут из черносозных волостей крестьяне-половники с записями по договору, у кого сколько лет пожелают жить, а не купленные. Сенат приказал: деревням по-прежнему быть за ними неотъемлемым и половников содержать, покуда они быть захотят, до будущего впредь рассмотрения.

В Петербурге генерал-прокурор обратил внимание Сената на злоупотребления, какие позволяли себе иностранцы; иностранные купцы, которые в петербургское купечество не были записаны и в розницу торговать не имели права, также и другие разных чинов люди, особенно жившие в качестве домашних учителей, и мадамы, обучавшие детей, также камердинеры и кухмистры не только продают товары в розницу в домах, но и по улицам для продажи разносят. Сенат велел повестить хозяевам, у которых жили эти иностранцы, чтоб они запрещали им производить такую торговлю, в противном случае сами подвергнутся штрафу. Из противоположного конца России, из Оренбурга, продолжали приходить хорошие вести. В конце 1751 года Неплюев донес, что из Оренбурга с начала года вступило в Россию золота 13 пуд. 1 фунт 15 золотников, серебра – 1186 пуд. 22 фун., пошлин взято 82949 рублей.

Говоря о состоянии русского купечества в описываемое время, нельзя умолчать о судьбе одной книги, для него назначенной. Коммерц-коллегия представила Сенату, что она рассматривала переведенную ассессором Академии Волчковым книгу под заглавием «*Совершенный купец*», и хотя она до коммерции прилична, токмо к понятию российскому купечеству за необыкновением их к объявленным в ней торговым обращениям немало трудная и за тем к покупке оной многих охотников быть не уповательно, чего для напечатать ее на счет оной коллегии ненадежно, ибо и Савариева лексикона напечатано в 1747 году 1200 книг, на которую печать употреблено 3583 рубля, а продано поныне только 112 книг на 411 рублей; и для того не соизволит ли Прав. Сенат повелеть ту книгу, сколько потребно, напечатать и в продажу любопытным людям употребить от Академии наук, а за перевод той книги ассессору Волчкову, который имел труд немалый, награждение до 400 рублей из казны ее импер. величества учинить надлежит. Сенат приказал напечатать на счет Коммерц-коллегии 400 экземпляров и, оставя из них для здешней продажи сколько по рассмотрению той коллегии надлежит, остальные все отослать в Главный магистрат, а ему разослать в губернии и провинциальные магистраты и велеть раздать купцам, взыскав с них деньги по той цене, по чему они стали безо всякого лишку, ибо она книга до собственного их купеческого употребления и пользы принадлежит; Волчкову 400

рублей выдать; с Савариевым лексиконом поступить точно так же, как и с «Совершенным купцом».

Из больших городов в описываемое время сильно пострадала от пожара Казань: 12 июля 1752 года сгорело в ней 900 дворов, разломано было 38, сгорела суконная фабрика Дряблова, два кожевенных завода его же, на Адмиралтейском заводе сгорела кожевня. Истребление фабрик и заводов было особенно чувствительно для молодой русской промышленности. Правительство продолжало следовать примеру Петра Великого, при первом удобном случае переводило казенные фабрики в частные руки: так, отдана была казенная суконная фабрика в Путивле в вечное и потомственное владение московскому купцу Матвееву. В описываемое время очень заботились о заведении шелковичного производства, тяготясь зависимостью русских шелковых фабрик от привоза шелка из Персии, где по смерти шаха Надира происходили смуты, которым не предвиделось скорого конца. Астраханскому купцу Бирюкову дали позволение заводить и размножать шелковые и бумажные заводы, строить фабрики для тканья из шелку парчей, а из хлопчатой бумаги – пестрядей, покупать к этим заводам и фабрикам людей: мужчин до ста душ, а женщин сколько понадобится. Бирюков представлял, что у него близ Астрахани собственный свой крепостной двор с огородом, где насажены виноградные деревья; в том же огороде тутовых 500 деревьев, с которых снимается листу довольно число, и тем листом кормятся шелковые черви, дающие шелку в достаточном количестве; Бирюков представил в Сенат и пробу выделанного им шелку. Генерал-прокурор предложил Сенату в 1752 году, что в России шелковых парчей мануфактуры умножаются, а шелковых заводов почти ничего нет, достают шелк из Персии по настоящим тамошним обстоятельствам очень дорогою ценою, тогда как в России тутовых деревьев и к размножению их мест довольно. Так не рассудит ли Прав. Сенат писать к малороссийскому гетману, чтоб он во всей Малороссии велел публиковать, не пожелает ли кто заняться шелководством, то же публиковать в слободских полках и в Оренбургской и Астраханской губерниях, чтоб занимались шелководством, не требуя указов из Мануфактур-коллегии, но только давали ей знать о существовании производства, и если такое производство действительно окажется, то заводчики из купечества будут уволены от служб и постоя и шелк их до 10 лет будет продаваться беспошлинно. Сенат согласился.

В конце 1752 года в Сенат поступила просьба коллежского советника и Академии наук профессора Михайла Ломоносова, что он желает к пользе и славе Российской империи завести фабрику делания изобретенных им разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок, стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество ценою на многие тысячи; а он, Ломоносов, с помощью Божиею может на своей фабрике делать помянутых товаров не токмо требуемое здесь количество, но и со временем так размножить, что и за море отпускать оные можно будет, которые и покупать будут охотно, ибо вышеписанные товары станут здесь заморского дешевле для того, что принадлежащие к сему делу главные материалы здесь дешевле заморского. Каковы изобретенные им стеклянные составы, тому приложил пробы, также и некоторых из них деланных вещей и просил учинить вспоможение: отвезть в Копорском уезде село Ополье или в других уездах от С.-Петербурга не далее полуторасот верст, где мужеска пола

около 200 душ имелось, с принадлежащими к нему деревнями, лесами и другими угодьями, и тому лесу и крестьянам быть при той фабрике вечно и никуда их не отлучать, ибо наемными людьми за новостию той фабрики в совершенство привести невозможно, и в обучении того как нового дела произойти может немалая трудность и напрасный убыток, для того что наемные работники хотя тому мастерству и обучатся, но потом их власти или помещики для каких-нибудь причин при той фабрике быть им больше не позволят, то понадобится вновь других обучать, а после и с теми то ж учинится, отчего в распространении фабрики может воспоследовать крайняя остановка. На строение на оной фабрике сараев, на печи, на инструменты и на материалы сперва выдать из казны денег 4000 рублей без процентов, которые он обещается выплатить в пять лет, и пожаловать ему на сию фабрику привилегию на 30 лет. Сенат согласился, относительно же пожалования села Ополья решил доложить императрице с ходатайством.

Еще в 1745 году по определению Главного магистрата для возобновления в Москве серебряного черневого и финифтяного дела высланы были мастера: черневого дела из Устюга Климшин, финифтяного из Сольвычегодска Попов, и в том же году московский купец Кункин просил, что желает он этому мастерству обучаться, и с присланными мастерами письменно обязался, что ему их в Москве, пока они его обучат, содержать на своем коште и, сверх того, дать им награждение. Главный магистрат согласился. В 1746 году Кункин объявил, что он черневому мастерству обучился, и представил сделанные им табакерки, которые оказались доброго мастерства, почему Климшин и отпущен в Устюг, а Попов еще оставлен для доучивания Кункина. Теперь в 1751 году Кункин просил, чтоб ему позволено было производить одному изделие священных вещей, сосудов, крестов, окладов, ибо другие серебряники делают эти вещи безобразно. Сенат согласился, чтоб Кункин один делал священные вещи в Москве и продавал без повышения цены, но остальным серебряных и золотых дел мастерам, которых в цеху записано было всего шесть человек, делать только вещи для домашнего убранства и для частного, а не церковного употребления.

Для истории промышленности в России любопытна история одного мастера, обученного при Петре Великом. Комиссар Шаблыкин подал просьбу, что в службу взят он в 1718 году из недорослей и определен на Петербургскую шелковую и коломинковую мануфактуры в ученики, мастерству этому обучился у иноземных мастеров; в 1723 году пожалован мастером и обучил многих учеников, из них некоторые мастерами удостоены и определены в Москве на частные фабрики. Когда Петербургская фабрика была упразднена, то ученики его и инструменты отданы в Ярославль купцу Максиму Затрапезному, а ему, Шаблыкину, из той же казенной фабрики некоторая, самая малая часть для его пропитания дана в награждение: учеников два человека, инструментов и с котлами безденежно на 49 рублей да материалов с возвращением за них в казну денег 35 рублей. Он жил и работал в Новгороде; ученики его в городе и уезде во многих шляхетских и прочих домах скатерти и салфетки и прочие полотна делают, и это мастерство совершенно вкоренилось и размножается. В 1743 году определен он от Кабинета к возобновленной полотняной мануфактуре мастером, а в 1746 сделан при ней же комиссаром, но служит без жалованья, на своем коште и рангом никаким не награжден, почему просит наградить, а московских шелковых мануфактур

мастера Ивков и Воделов награждены рангами поруческими. Сенат приказал наградить и Шаблыкина рангом поруческим.

Относительно промышленности первоначальной граф Петр Шувалов указывал, что благодаря ему промыслы морских зверей процветают в Белом море: когда в 1748 году ему были отданы эти промыслы, то с них пошлин взято 1653 рубля, а в 1750 году заплачено в казну 5231 рубль. На Ладожском озере тюлений промысел был отдан ему же, а в 1751 году он объявил Сенату, что так как в Астрахани и около нее в Каспийском море тюлений также много, но с давних лет их ловлею не занимаются, то он имеет намерение и астраханский тюлений промысел взять в содержание для его усиления по 1768 год. Сенат приказал отдать.

Шувалов имел право гордиться и удачею своих планов относительно распространения источников добывания соли и относительно ее продажи. В 1750 году соли в продаже было 6112529 пудов, денег в сборе – 2 миллиона 38 тысяч 31 рубль, прежней прибыли – 700453 рубля, новой прибыли – 510124 рубля; из этой суммы 210577 рублей Соляная контора должна была отослать в Главный комиссариат для замены в подушный сбор, именно с каждой души складывалось по три копейки. В указе, данном по этому случаю, говорилось, что предполагалось прибыльных денег больше; но оказалось, что во многих местах продавалась подвозная, ломанная на степных озерах и из прочих мест соль в подрыв казенной продаже; также во многих отдаленных от городов местах казенной соляной продажи не было устроено и целовальники обвешивали и позволяли себе другие воровства; против всего этого приняты теперь меры, и государыня надеется, что прибыльных денег будет больше; кто узнает о злоупотреблениях, должен объявлять, чтоб положенные в подушный оклад люди могли получить наибольшее облегчение. В 1751 году продано было соли больше 78869 пудами, и в 1752 году велено Соляной конторе отослать в Главный комиссариат 210000 рублей, а комиссариату из подушного оклада выключить с каждой души по три копейки с четвертью.

Увеличение источников добывания соли прекращало затруднения, которые терпело государство от невольной монополии пермских солевиков. В 1750 году императрица велела прибавить баронам Строгановым по три копейки на пуд; в следующем году нашли необходимым прибавить им на суда еще 600 казенных рабочих сверх прежних 2000; но в том же году Сенат принял в соображение, что баронам Строгановым велено вываривать соли и ставить в Нижний по три миллиона пудов, а теперь в тамошние магазины элтонской соли вывезено более четырех миллионов пудов, отпущено 95000 пудов да имеется к отпуску 300000 пудов; кроме того, астраханского бузуну в Нижнем более 700000 пудов; поэтому Сенат приказал: для сохранения лесов, которые употребляются на выварку пермской соли и строение судов, и чтоб миновать нарядов с Казанской губернии рабочих на суда для сплавки этой соли на будущий 1752 год велеть Строгановым выварить соли и поставить в Нижний и оттуда в Верховые города не более двух миллионов пудов, потому что третий миллион отпустится элтонской соли. По особенным условиям России, разумеется, и тут не обошлось без препятствий, ибо новые источники добывания соли находились на окраинах, издавна знаменитых как приволье гулящих людей, противоположавшихся народонаселению внутренних областей. Определенный к смотрению за добыванием и вывозом соли с Элтонского озера полковник Чемадунов доносил, что на плывущих Волгою

судах от воров и разбойников чинятся многие грабительства и смертоубийства, а рабочие, которым по множеству их можно было обороняться, нисколько не охраняют судов и хозяев, а другие даже помогают злодеям. Сенат мог только приказывать обязать рабочих, чтоб помогали, объявив указ с запискою.

Для противодействия злоупотреблениям по продаже вина учреждена была в 1751 году особая Корчемная контора. Табачный откуп во всех местах, где существовал, отдан на шесть лет за 70000 рублей на год.

До последней ревизии считалось 5794928 душ податного состояния, а с них подушных денег собиралось 4687654 рубля 10 копеек. По последней ревизии явилось 6614529 душ, и с них подушных денег – 5334900 рублей 70 копеек. Шувалов представил Сенату, что по его предложению решено было брать оклад с новоприписных с 1747 года, не дожидаясь окончательно числового вывода по ревизии, и в четыре года с прибылых душ собрано 3117289 рублей, и потому просит внести в доклад императрице, что такая прибыль сделана по его представлению.

В июле 1751 года на монетных дворах за сложением по указам Сената имевшихся с 1735 года на Штатс-конторе и прочих местах долгов и за внесением в Кабинет е. и. в. переделанных червонных, и золотых, и серебряных медалей и жетонов состояло всего капитала на 1405990 рублей да долгов по Штатс-конторе – 352463 рубля, на Сибирском приказе – 9502 рубля, на Дворцовой канцелярии – 1171 рубль, на Сибирской губернии – 41745 рублей, итого 404882 рубля; наоборот, Монетная канцелярия была должна Главному комиссариату 200000 рублей. Весною 1752 года Сенат велел отпустить с денежных дворов в Штатс-контору до 300000 рублей; Монетная канцелярия отвечала, что на петербургском Монетном дворе в наличности 180473 рубля, а в Москве – только 7118 рублей, но и эти деньги подлежат в отпуск; сверх этих наличных монет в Москве в переделах серебра до 900 пуд, и передел производится с крайнею поспешностью, а в Петербурге ефимков до 242 пудов, только вскорости переделать никак нельзя. Сенат приказал: наличные деньги все отпустить и потом отпускать по мере переделки серебра и ефимков, да отпустить деньги, которые в мае месяце должны заплатить питейные откупщики. В августе та же история: опять сенатским указом велено отпустить по требованию Штатс-конторы заимообразно с денежных дворов 300000 рублей; Монетная канцелярия представляет, что на петербургском Монетном дворе в наличности только 8313 рублей, а в Москве – 44560 рублей (в том числе русских червонных, которые в расход не употребляются, – 3422 рубля да медных денежек и полушек – 22410 рублей), а сверх тех наличных хотя в переделе серебра в Петербурге до 375 пудов, в Москве – 825 пудов, но этого серебра переделать в монеты скоро никак нельзя, да и по выходе из передела монет кроме других расходов по сенатским указам надобно в Камер-контору за ту же Штатс-контору заплатить 200000 рублей. Сенат приказал: наличные деньги и по выходе из передела 300000 рублей прежде всего отпускать в Штатс-контору, а потом уже 200000 в Камер-контору.

15 декабря 1752 года издан был всемилостивейший манифест о прощении доимок подушного сбора с 1724 по 1747 год, которых было 2534008 рублей, причем правительство объявило о благоприятном положении государства: «Империя так силою возросла, что лучшего времени своего состояния, какое доньше ни было, несравненно превосходит в умножившемся доходе

государственном и народа, из которого состоит и комплектуется высокочтимая наша армия, ибо как в доходах, так и в упомянутом народе едва не пятая часть прежнего состояния превосходит».

Так объявляло правительство о материальном состоянии России. В нравственной жизни русского общества 1752 год замечателен изданием так давно ожидаемой Библии. 23 февраля императрица указала публиковать из Сената во всей империи, что начавшаяся исправлением при жизни Петра Великого Библия ныне совсем уже окончена и напечатана, которую продавать велено без переплету по пяти рублей, и чтоб всякий, зная о том, более пяти рублей не платил, чтоб перекупщикам пересечь путь к повышению цены, ибо книг печатается и вперед будет печататься довольно число. Через несколько дней в «Петербургских Ведомостях» читалось следующее объявление: «При канцелярии Св. Прав. Синода каждые недели в пяток пополудни продаваться будет напечатанная вновь Св. Писания Библия, которая начата по природно-благочестивейшему усердию при жизни вседражайшего ее импер. величества государя родителя и императора Петра Великого, сведением и исправлением с верными греческими книгами и ее импер. величеству от Св. Синода всеподданнейше поднесена, духовным и знатнейшим в Петербурге и находящимся в рангах военным и штатским и купечеству, всякому из них каждому купить желающему по пяти рублей книгу, токмо для всякого его самого по единой с именной запискою, с объявлением (ежели б кто стал требовать более числом) того, что к последованию всем и всяких требующим удовольствия имеет в непродолжительном времени неоднократным печатанием издано быть оных книг немалое число, о чем сим объявляется».

Самое трудное для Синода дело окончилось; но у его членов по-прежнему происходили неудовольствия с обер-прокурором князем Шаховским. В марте 1752 года генерал-прокурор объявил в Сенате, что по определению последнего в Синод послано шесть человек юнкеров, но их в Синоде не принимают и они живут праздно. Представлен был рапорт синодального обер-прокурора с объяснением причин непринятия юнкеров; на предложение его, Шаховского, о принятии юнкеров два присутствующие синодальные члена объявили, что они без присутствия большого числа членов точной резолюции положить не могут, но в собраниях более двух членов очень редко бывает. Сенат положил иметь с Синодом конференцию, а юнкеров определить в другие места. Синод в это время занимал вопрос о законности некоторых браков. 20 сентября 1752 года Шаховской объявил Синоду выговор императрицы, для чего дело о браке поручика Пушкина до сих пор остается без решения. Императрица очень недовольна, что член Синода Стефан, архиепископ новгородский, письменными своими рассуждениями присуждает развод и что относительно таких браков, которые многие века бесспорно были позволяемы, теперь между членами Синода происходят споры (отчего многим немалые оскорбления и разорения приключиться могут). Ее величество повелела объявить, что если преосвященный Стефан не согласен с большинством членов, то пусть утверждает, приводя основания не от своего рассуждения, но из Св. Писания, из книг, принятых православною нашею церковью и вероятия достойных, и эти печатные книги представил бы самой ее величеству. 7 октября по поводу тех же дел происходил в Синоде следующий разговор: обер-прокурор, обратясь к Стефану новгородскому, предложил ему

выслушать поданное мнение преосв. рязанского. «Я ездил ко двору ее импер. величества, – отвечал Стефан, – ездил во исполнение высочайшего повеления с приличными к тем делам книгами; но представить книги времени не улучил». *Шаховской*. Таким разбиранием споров по книгам ее величество утруждать без крайней нужды не следует, разве тогда, когда не изобретете уже никакого способа к соглашению с прочими членами; а теперь бы поискать согласия, что ее величеству было бы гораздо угоднее, чем решать несогласия ваши по книгам. *Стефан*. Пока в силу высочайшего повеления не подам ее величеству книг, ни в какое рассуждение по этим делам не вступлю. Тут Шаховской обращается к протоколисту и велит записать это объявление в журнал. «Что это, зачем записывать! – закричал Стефан. – Члены не приказывают, а один оберпрокурор приказывает записать в журнал». «Я, – сказал Шаховской, – приказываю протоколисту исполнять не мои прихоти, но то, что он обязан делать по регламенту, и протоколист при таком исполнении состоит не под вашим, а под ее величества повелением, а моя должность наблюдать, чтоб он был исправен». Стефан повторил, что протоколисту надобно записывать то, что члены приказывают, а ежели такое помешательство со стороны обер-прокурора происходить будет, то членам незачем и в канцелярию ездить.

Мы видели заботы Синода о том, чтоб духовенство не подвергалось насилиям от светских людей. В описываемое время случилось событие, которое потребовало всей строгости церковной и гражданской власти. В 1751 году в Серпуховском уезде надворный советник князь Иван Вяземский, встретив священника, идущего с дароносицею для приобщения больной крестьянки, бил его конскою плетью, велел бить и крестьянам своим; они, избивши его, притащили за волосы в село Вяземского Пуцино, причем дароносицу оборвали, изломали и Агнец утратился; потом священника опять начали бить дворовые, и крестьяне, и сам Вяземский. Синод приговорил: Вяземского послать в вечное заточение в дальний монастырь, держать скованного, на хлебе и квасе, допускать в церковь на паперть только в праздничные и воскресные дни, причастить св. тайн только при смерти; крестьян его, бивших попа, наказать плетьюми нещадно; попа за то, что, будучи позван поутру, засиделся в гостях и пошел к больной только после вечерни и, имея при себе дароносицу, дерзнул в поле отбирать лошадь свою у крестьянина князя Вяземского и тем положил начало такой страшной продерзости, послать на год в монастырские труды.

Из отдаленной Вятки пришла жалоба на самоуправство особого рода. Секунд-майор Бестужев, будучи в Вятской провинции при подушном сборе, представил, что архиерейский дом и монастыри неправильно завладели черносошными государственными крестьянами; в свою очередь архимандрит Трифонова монастыря Потемкин и консисторский секретарь Головков донесли, что Бестужев долговременною недачею квитанций в приеме рекрута и лошадей вынудил взятку в 50 рублей. Наряжено было следствие. Между тем 29 июня, в праздник апостолов Петра и Павла, в день именин наследника престола, в Хлынове в соборе было архиерейское служение; дьякон Свирепов говорил проповедь и, обличая людей, не уважающих святыню и сан духовный, при словах: «Ты лежишь... а священник у ворот с крестом стоит» – указал рукою на Бестужева. После обедни на молебне при раздаче свеч, когда Бестужев вместе с другими подошел за свечою к епископу Антонию, тот не дал ему свечу в руки, а

бросил, отвернувшись, и потом, обратись к нему и грозя пальцем, закричал: «Ты арлекин» – и при этом стал кривляться, передражняя, как Бестужев ходит; потом велел было вывести его из церкви, но одумался, оставил, а велел принести ящик, куда кладутся штрафные деньги с разговаривающих в церкви, хотя Бестужев не говорил ни слова; наконец, велел взять у него трость.

Еще далее, в Тобольске, началось дело между митрополитом и бухарцами с татарами. В Сенат явились поверенные тобольских и тарских бухарцев и служилых и ясачных татар с жалобой: тобольский митрополит Сильвестр причиняет им несносные обиды: схвачены были татары и бухарцы, жены, и дети, и дворовые люди и отданы на митрополичий двор, там держали их в оковах, морили голодом и этим заставили многих креститься и малолетних, а митрополит вымучивает у них доношения, что они крестятся по своему желанию. Митрополит присылает в их юрты русских священников будто для увещания и принятия христианской веры; но эти священники, ездя по юртам на их лошадях и коште, только пьянствуют и требуют с них подарков, а если кто не даст, то по возвращении митрополиту напрасно наговаривают, будто бы они, татары и бухарцы, поносят веру христианскую и священников бранят; особенно живущие между ними новокрещены ложно доносят на них митрополиту в хуле на христианскую веру, и по этим доносам их берут в консисторию и без всякого следствия бьют смертельными побоями и этим заставляют подавать доношения о желании креститься, а доносчиков отпускают с наградами, отчего они, татары и бухарцы, пришли в крайнее разорение, не смеют для купечества и звериного промысла из домов своих отлучиться, чтоб без них митрополит жен и детей их не побрал и не принудил креститься.

Когда митрополиту дали знать об этой жалобе, то он отвечал, что все это неправда, и в свою очередь прислал список обвинений: татары и бухарцы тайну св. крещения хулят, говорят: «Черт ли нам велит креститься и в веру такую идти!» Злохулильные на христианство письма на татарском, персидском и арабских языках носят на головах в шапках и на груди. Христианство идолопоклонством называют; новокрещеных ругают собаками и демонопоклонниками; склоняют их в свой закон; одного русского человека уговаривали принять магометанство, а других русских насильно питьем и едою оскверняют. Для волшебства носят лоскутки от саванов с мертвых тел, чтоб не чувствовать пытки; в юртах своих сводят христиан с магометанами на незаконное смешение. По разорении у них мечетей на основании указов 743 и 744 годов собираются молиться в юртах. Колют иконы и бросают их на землю; с христиан срывают кресты, бросают на пол, плюют и топчут. Барабинцев и не имущих никакого закона остяков, вогуличей, калмыков в свой закон целыми деревнями превратили.

На самом отдаленном краю Сибири шла истребительная расправа с туземцами, которые не хотели признавать русского господства. В феврале 1752 года ночью в Охоцке содержащиеся под караулом изменники-коряки возмутились, перебили часовых и засели в тюрьме. Охоцкий командир осадил тюрьму и сейчас же послал жителям приказ перевязать коряков, которые у них жили в работниках. На рассвете русские приступили к тюрьме и начали палить в нее из ружей и пушек; коряки сначала отстреливались из ружей; но потом, видя, что не отстреляться, зажгли тюрьму и все погибли. Рабочие-коряки на другой день распрашиваны и признались, что с тюремными коряками были в согласии и

хотели хозяев своих в ту ночь побивать; а потом когда бы товарищи их вышли из тюрьмы, то они с ними убили бы командира и всех русских, острог выжгли, ушли в свою землю и не были бы в русском подданстве. Русские решили казнить всех этих коряков смертью, потому что за караулом держать было нельзя: их было слишком много, а русских слишком мало.

На юго-западной, европейской Украине – в Малороссии ждали гетмана Разумовского с его ментором Тепловым. 3 марта 1751 года с большою церемониею Разумовский принес присягу в своем новом звании и получил из рук императрицы булаву и другие гетманские знаки. Для отправления нового гетмана в Малороссию уже было нанято Сенатом 125 подвод, за которые заплачено по 3 рубля за каждую лошадь; но Разумовский потребовал, чтоб от Петербурга до Москвы и от Москвы до Малороссии на каждом почтовом стану было приготовлено для него по 200 подвод, и, когда гетманская супруга проедет, тогда с каждого стана две трети подвод распустить, а треть оставить для самого гетмана. Ее величество пожаловала Академии асессора Теплова за его прилежание и труды в коллежские советники; но гетман малороссийский просил, чтоб ему дать одного Теплова для правления его домашних гетманских дел, и ее величество повелела Теплову быть при гетмане в Малороссии всегда в таком звании, в каком гетман благоусмотрит по его чину, и получать ему свое довольствие от гетмана. Только в июне месяце Разумовский выехал из Москвы в Малороссию, и об этом отъезде дано было знать в «Петербургские Ведомости»: «Июня 18 числа его ясновельможность г. гетман обеих сторон Днепра и Войск Запорожских, президент Академии наук, подполковник лейб-гвардии Измайловского полка и кавалер граф Кирилл Григор. Разумовский в провожании всех знатнейших чинов и многого знатного дворянства отправился отсюда в путь благополучно, причем некоторые провожали его ясновельможность до первой станции – Пахры; а 21 числа его ясновельможность прибыл в Тулу и от знатнейших тамошнего города благополучным приездом поздравлен и богато трактван».

К 30 июня значительнейшие малороссияне съезжались в Глухов к приезду гетмана. Компанейские полки, запорожцы, депутация, архимандрит, протопоп и несколько священников, генеральный писарь Безбородко и десять бунчуковых товарищей, встретившие его на дороге, присоединились к свите. Когда поезд приблизился к Глухову, то генеральный есаул с бунчуковыми и запорожцы окружили гетмана; полки стояли в два ряда от Севских ворот до самого гетманского загородного двора, отдавая честь Разумовскому при звуках музыки и ружейной стрельбы, пока не началась пальба из пушек. У городских ворот гетман был встречен генеральною старшиною и генеральный есаул говорил речь; в церкви св. Николая архимандрит окропил его святою водою и сказал речь. Из церкви отправились все в гетманский дом. Киевский архиерей также приехал в Глухов познакомиться с новым правителем Малороссии: посетил его поутру – не мог видеть, гетман еще опочивал; поехал вечером – не застал дома, гетман поехал прогуливаться. Жители Глухова видели, как преосвященный разъезжал, добиваясь понапрасну лицезреть сына Разумихи, великими заслугами достигшего столь важного сана.

По крайней мере стало весело: Глухов сделался маленьким Петербургом: в доме гетманском играли французские комедии, на которые приглашался знатный люд. Теплев играл важную роль: к нему знатные малороссияне считали

обязанностию ехать поздравлять с рождением дочери. Ассессор Академии сближается с образованными малороссиянами, меняется с ними книжками.

А на юге в степи разгуливали большими шайками гайдамаки, не давая покоя пограничным польским владениям, «почти ежедневно водою и сухим путем чинили везде бесчисленнейшие насильства дерзостнейшим и бесчеловечнейшим образом». Но в то же время явилась попытка дать степи со стороны польской границы военное население другого рода, чем козаки, попытка, едва не нарушившая добрые отношения России к Австрии и поведшая к окончательному разрыву между канцлером Бестужевым и его братом графом Михаилом Петровичем.

Канцлер крепко держался на своем месте, пользовался полною доверенностию императрицы, по-прежнему неуклонно проводил свою систему осознания европейских держав, чтоб связывать руки Пруссии и Франции, преимущественно первой. Но он постоянно страдал безденежьем и в октябре 1752 года обратился к императрице с следующей просьбою: «Всемиловитейшая государыня! Я такой тягости долгов подпал, что оной прибавить уже невозможно. Кредиту тем лишаясь, никакого уже заимодавца, кто б меня ссудил, не нахожу и так что при наступающей поездке в Москву, как с места тронуться, не знаю. Все заложено, что с пристойностию заложить можно было. Но правда, ежели б я не канцлер толь великой и справедливо наибольшей в свете монархини был, то, может быть, имеющим от руки ж вашего величества иждивением мог бы несколько пробавиться, только себя не поправить. Доходы со всемиловитейше данных мне деревень и со окладным жалованьем не сочиняют полных 12000 рублей; из того уже само оказывается, возможно ли мне было тягостных долгов избежать, когда я в тоже время так жить старался, как канцлеру всероссийской самодержицы долг и должность повелевают. Были мои излишества в строении, но были ж и такие великие издержки, кои я по должности сделал. Таковы суть московские поездки и разные великие торжества. Не знаю токмо, не можно ли, однако ж, и первых в число сих последних включить, ибо ежели б в первом, т.е. в строении здешнего, а паче ныне московского дома, я мог несколько убавить, то таким же образом и в другом поступил бы, ежели б я паки не канцлер вашего императорского величества был. Вновь почти постройка пожалованный мне здесь дом, а все в долг, за который в 50000 его на 10 лет тогда ж и заложил, не мог паки выкупить потом пожалованными сорокью тысячами рублей, так что и поныне в закладе остается, чему и половина сроку минула, ибо теми деньгами другие необходимые нужды исправить и мелкие немногие долги заплатить и тем свой кредит несколько поправить тогда старался. Внутреннего не всякий видит; но что сказали б послы, министры и другие иностранные обо мне, да не обо мне, но о канцлере вашего величества, когда б я, живши сходно с возложенною на меня милостию и рангом, под старость бедничал, когда другие, таких должностей и рангов не имеющие и о которых в свете разве по случаю говорено будет, от часу знатнее, огромнее и великолепнее живут? Повторяю, может мне в излишество причтено быть строение так большого в Москве дома? Я сам то еще больше чувствую, ибо, зачав его весь в долг строить, до последней крайности и дошел. Но, всемиловитейшая государыня, клянусь Всеведущим, и то не для моего тщеславия или самолюбия. Много было бы сказать и для украшения города, однако ж то истина, что, скупя разные пустыри, искривившиеся хижины и

мерзившие болота, все в проспекте императорского дома стоявшие, за нужно и должно я находил такое строение на том месте поставить, которое, стоя против и подле императорских домов, не казалось бы близостию своею отнимать их великолепие; а для меня партикулярно при 60 годах старости и по тридцатитрехлетней верной и беспорочной и всегда честной службе оное и совсем ненадобно. Я не знаю, удастся ли мне в мой век в оном жить, ибо, не имея чем достроить, он теперь так и остановился; буде ж то для остающегося по мне сына, то прямо, хоть и горестно; скажу, что для него и конуры не построил бы. Сии обстоятельства, а паче всего поездка к Москве принуждает меня прибегнуть к изобилующему в щедротах престолу вашего величества со всеподданнейшим прошением, да соизволите пожаловать мне из субсидных денег заимообразно 50000 рублей на десять лет так, чтоб каждый год из моего жалованья по 5000 вычитается, а в случае пресечения моей жизни без взыскания с моих наследников оставлено было».

Ответа на просьбу не было, к радости врагов канцлера, удвоенной ссорою братьев, в которой они поспешили взять сторону графа Михайлы Петровича.

До сих пор союз с Австриею казался самым естественным по единству интересов; но теперь на горизонте появилось облако, которое могло предвещать бурю, указавши в отношениях России к Австрии такую сторону, которая напоминала отношения России к Польше и Турции и которая могла вести к сильным столкновениям.

12 января 1751 года дана была нота австрийскому послу графу Бернесу, в которой говорилось, что императрица всероссийская твердо надеется получить от императрицы римской новый и приятный опыт ее неоцененной дружбы. Известно, каким утеснениям от римско-католического духовенства подвержены трансильванские жители, исповедующие греческую веру, как принуждают их к унии с римской церковью; не меньше известно, как великодушны чувства ее римско-императорского величества в рассуждении вольности в вере ее подданных и что всякие притеснения делаются против воли и указов ее величества, следовательно, надобно приписать эти гонения измене и несправедливой ревности некоторых лиц из римско-католического духовенства. Так как российская императрица вследствие единоверия с упомянутыми трансильванскими жителями не может не употребить всех способов, каких может надеяться от дружбы и правосудия императрицы римской, и не заступиться за безвинно утесненных людей, то русское министерство наиприлежнейше просит его превосходительство графа Бернеса да соблаговолит своими представлениями исходатайствовать у своего двора свободное отправление веры трансильванским жителям по древним их привилегиям. К Мих. Петр. Бестужеву-Рюмину послан был рескрипт, в котором предписывалось ему подать австрийскому министерству промеморию в том же духе: «Чтоб вы в сем деле то учинили, что пристойнее быть может в пользу единоверного нам народа». В ответ на это как доказательство терпимости прислан был из Вены в Петербург указ Марии-Терезии о построении православной церкви в Триесте; но в указе прямо объявлялось, что эта мера необходима для распространения торговли, о которой так заботится императрица, что церковь назначается для греков.

22 мая Мих. Петр. Бестужев отправил своему двору следующее донесение: «В последних годах прошлого века, во время войны императора Леопольда с

турками, по желанию и крайнему домогательству императора вышло из турецких областей в австрийские владения с православным патриархом Арсением Черноевичем с 60000 человек сербского народа, которому даны большие выгоды, подтвержденные всеми преемниками Леопольда, равно как и нынешней императрицею. Эти сербы не только помогли Австрии освободить от турецкого ига многие венгерские и сербские города, но потом помогли привести в повиновение и самих венгерцев, когда те не раз бунтовали, и в последнюю войну сербы оказали императрице чрезвычайно важные заслуги. Но так как теперь венгерцы получили верх и при дворе больше всех других подданных имеют влияние, то они, отмщая сербам за указанные выше услуги правительству, сперва стали теснить их в делах веры с помощью своих духовных, а потом стали неусыпно стараться, во-1), чтоб императрица отдала их в ведение венгерского правления; во-2), чтоб те из них, у кого есть богатые имения, принуждены были выменять их на плохие казенные; в-3), чтоб военные поселенцы из сербов сделаны были венгерскими подданными. Во всех этих домогательствах венгерцы успели, и решено, что те сербы, которые захотят остаться на прежних землях, должны стать венгерскими подданными; если же кто не захочет, то пусть едет в Сирмию, где уже и без того так много народа, что земли недостает и для прежних поселенцев. На это решение некоторые сербы отвечали, что они ни в прежних жилищах на новых условиях остаться, ни в Сирмию переселяться не могут, но просят вспомнить их верные услуги австрийскому дому и позволить вступить в службу русской императрицы. На эту просьбу последовало согласие, вследствие чего был у меня на днях полковник Иван Хорват с заявлением, что он и полковник Черноевич вместе с другими офицерами крайне желают по единоверию вступить в подданство вашего величества и просят как можно скорее этим высочайшим милосердием их призреть и приказать отвести им земли около Батурина или где-нибудь на Украине. Хорват уверяет, что наберет и исподволь приведет в Россию из одних православных целый гусарский полк в 1000 человек, которых всех полных мундиром и лошадьми снабдит и в дороге содержать будет на собственном иждивении, и за это просит одного – генерал-майорского чина и наследственного полковничества в этом полку; кроме того, Хорват обещает набрать и пехотный полк регулярных пандур в две тысячи, тоже из православных. Отдельно от Хорвата желают вступить в русскую службу очень искусные сербские офицеры капитан Гаврила Новакович, лейтенанты Петр Шевич, Георгий Новакович и другие. Так как мне довольно известно, как заботился Петр Великий о том, чтоб из этих самых народов хотя несколько получить в свое подданство по их особенной храбрости, благочестию, сходству с нами и нелицемерной преданности к русскому народу, также потому, что они полезнее других могут быть в турецкую войну, потому что все тамошние места им известны и между турецкими подданными множество их единоплеменников и свойственников; также, видя, что они теперь сами того желают не из корысти какой и притворства, но только из ревности к православной церкви и из благоговения к особе вашего величества, видя, что римская императрица решила отпустить их, – видя все это, я не мог отречься донести об этом вашему императорскому величеству и буду ожидать наставления, которое необходимо здесь получить не позднее 22 июля, ибо к тому времени они совсем будут готовы и уже через третьи руки деревни и пожитки продавать начали, и если к означенному времени желанное ими решение

не поспеет, то опасно, чтобы сербы из крайнего отчаяния не передались туркам, которые ни малейшего принуждения в веру не делают».

11 июля императрица подписала Бестужеву рескрипт, в котором говорилось: «Когда дело до того дошло, что венский двор самопроизвольно лишает себя храброго сербского войска, то нам следует прилежно стараться, чтоб его себе приобрести; да и для самого венского двора несравненно лучше видеть это войско в службе своей вернейшей союзницы, чем заставить их уйти в турецкую сторону. Повелеваем вам с тамошним министерством таким образом изъясниться, что мы, уведомясь, что ее величество императрица-королева отпускает сербов и приказала выдавать им паспорта, не могли подумать, чтоб она стала препятствовать некоторому усилению наших легких войск, ибо наши интересы так общи, что всякую выгоду для одной стороны можно считать равною для другой, и потому мы надеемся, что со стороны венского двора не будет запрещено сербам вступать в нашу службу, тем более что это войско, где б в случае нужды его употребить ни случилось, по одинаковости интересов всегда будет служить против общего неприятеля. Вы сами, довольно зная, сколько старания прилагал государь родитель наш для привлечения к себе этих народов, можете понять, каких попечений и какого искусства требуется от вас в этом случае, ибо главным образом надобно наблюдать и то, чтоб венскому двору как первому и натуральнейшему из наших союзников отнюдь не подать ни малейшего неудовольствия, ни малейшей причины к жалобам и подозрению».

Мария-Терезия охотно согласилась на отпуск сербов, и Хорват отправился в Россию, увел с собою до 300 человек, включая жен и детей; и после его ухода другие сербские офицеры беспрепятственно получали паспорта из Надворного военного совета, несмотря на то что карловский архиепископ Павел Ненадович просил императрицу удержать сербов и не опустошать его епархию. Бестужев заявлял свое мнение, что из сербов должна быть образована пограничная милиция, какую именно они составляли в австрийских владениях, для чего надобно им отвести выгодные места и дать материалы на постройки, после чего как офицеры, так и солдаты должны уже промышлять себе мундир, лошадей и прочее от своего хозяйства. Но так как Петр Великий для грузинских выходцев не щадил ни деревень, ни чинов, ни пенсий, то и сербам по дальности пути, который они должны были пройти на свой счет, и прежнее свое имение продали за бесценок, и должны заводиться всем вновь, надобно за весь первый год выдать полное денежное жалованье, провиант и фураж сравнительно с другими гусарскими полками, что должно делаться также и в военное время, во время же мира сербский корпус не будет стоить ничего казне. В заключение Бестужев доносил, что самого ревностного помощника себе в сербском деле он имел в секретаре Чернове, от которого зависит успех и последующих переселений.

В октябре 1751 года сербы прибыли в Киев, откуда Хорват с несколькими выборными отправился в Петербург. Здесь они были приняты очень милостиво. Хорват получил генерал-майорский чин и 3000 рублей, находившиеся при нем майор, три капитана, два поручика, прапорщик, унтер-офицер, капрал и четверо рядовых гусар получили также 3000 рублей на раздел.

29 января 1752 года Сенат приказал артиллерии генерал-майору Глебову дать инструкцию следующего содержания: 1) пришедших ныне и впредь имеющих приходить в подданство ее и. в-ства сербов и прочих тамошних народов селить в

заднепровских местах, а именно, начав от устья реки Каварлыки прямою линиею до верховья реки Тура, с верховья Тура на устье Каменки, от устья Каменки на верховье Березовки, от верховья Березовки по вершине реки Амельника и по оной вниз до самого устья в Днепр, уступя от польской границы по 20 верст; на этих местах поселить не свыше двух полков; одного гусарского генерал-майора Хорвата и другого пандурского по четыре тысячи человек каждый; если из тех народов неслужащие люди, как, например, крестьяне, выходить будут, то их меж полками не селить: для них отведены будут особливые удобные места. 2) Поселение полков называть Новой Сербией, куда никого, кроме сербов, селиться не допускать, а находящееся теперь в тех местах поселение выслать в прежние места, потому что поселение выведено самовольно, без указа, а строение продать сербам добровольною ценою. 3) Сделать по просьбе Хорвата, чтоб гусарская рота от роты имела расстояния по 8 верст, а пандурская – по 6, в степи же гусарская занимала бы 30 верст, а пандурская – 25. 4) Кроме того, по представлению же Хорвата определить количество земли для пропитания вдов и сирот. 5) Земли каждому отводить столько же, сколько определено ландмилиции и отставным русским людям, а именно: капитанам – по 100, поручикам – по 80, подпоручикам – по 70, прапорщикам – по 50, рядовым – от 30 до 20 четвертей на каждую семью и священникам и церковнослужителям против того с некоторою прибавкою. 6) Духовенство и школы, если им потребны будут, сербам содержать на своем коште. 7) Построить земляную крепость, которую назвать крепостью св. Елисаветы, а для ее строения выслать до 2000 человек из малороссийских полков.

Хорват говорил, что хотя теперь с ним вышло и немного народа, то впоследствии число выходцев увеличится, если приложено будет старание к вызову; представлял, что прежде всего надобно исходатайствовать у венского двора позволение набрать в австрийских областях от 500 до 1000 человек; если же нельзя будет набирать публично, то хотя бы тайно. Вследствие этого представления Бестужеву послано было в 1752 году повеление представить Марии-Терезии «в наиболее дружественнейших терминах», нельзя ли позволить такой выбор. Бестужев сделал предложение, но писал, что плохая надежда на благоприятный ответ. Карловский архиепископ Ненадович, злобствуя на Россию за неудовлетворение его просьб относительно присылки церковных книг и учителей и видя, что на все представления русского правительства в пользу православных жителей Трансильвании не обращено в Вене никакого внимания, не только рассеивал в народе неблагоприятные слухи о России, но и всячески удерживал тех, которые хотели вступить в русскую службу. Несмотря на то, однако, явились в Вену депутаты от 2228 фамилий из уничтожаемых пограничных военных поселений с просьбою или выдать им паспорта в Россию, или оставить их в прежнем положении. Узнавши об этом, архиепископ тотчас отправил в Вену своего экзарха домогаться, чтоб этих людей в Россию не отпускать, для чего экзарх снабжен был большими деньгами. Эти деньги и особенно то, что архиепископ совершенно пристал к венгерской партии, доставили ему полный успех. Депутатов повысили чинами, наградили деньгами и, давши им запечатанное определение, сказали, что могут быть довольны и потому пусть едут домой, а в чем состояло определение, об этом ни полслова. Бестужев из надежного источника узнал содержание определения: если они не хотят быть крестьянами, то из них положено учредить милицию в Банате; место, отводимое

им, самое плохое, болотистое и бесплодное; в мирное время они должны будут платить еще подати кроме крестьянских, офицеры им будут назначены или венгерцы, или обращенные из православия в католицизм; если же кто пожелает в этом корпусе быть офицерами из прямых сербов, те должны присягнуть, что никогда не вступят в иностранную службу; а чтоб отнять у сербов охоту переселяться в Россию, засадили под арест знатного и заслуженного подполковника Прерадовича, подавшего просьбу об увольнении в Россию. Все это делается, писал Бестужев, по интригам венгерским, чтоб обратить сербов в рабство, сперва сделать крестьянами, потом униатами и наконец католиками. К арестованному Прерадовичу являлись австрийские офицеры с увещаниями, чтоб остался в австрийской службе, за что императрица не только пожалует его в полковники, но и сделает генерал-инспектором всего славянского корпуса; в противном же случае у него с бесчестьем отнят будет чин. Но Прерадович отвечал, что он разжалования не заслужил и переменить свое намерение переселиться в Россию ни за что не отложит. Его выпустили наконец из-под ареста и дали паспорт в Россию, но взявши обязательство не ездить ни в Славонию, ни на границы около Баната из опасения, чтоб он не подговорил других переселиться в Россию.

Прошло несколько месяцев, и Бестужев не получал никакого ответа на свое представление. 29 мая он писал своему двору, что канцлер Улефельд, вполне преданный венгерцам, употребляет все старания, чтоб отклонить императрицу от благоприятного ответа. Между тем приехали в Вену из Киева выехавшие с Хорватом майор Николай Чорба, капитан Федор Чорба и поручик Миркович, которые подали просьбу Марии-Терезии об отпуске в Россию родственников их – отцов, родных братьев, племянников – числом около 70 семейств. Императрица, несмотря на сопротивление Улефельда, склонялась уже дать просимое увольнение, как вдруг из Петербурга от австрийского посланника Претлака пришло известие, что императрица Елисавета решила совсем оставить сербское дело. Об этом объявила Бестужеву сама Мария-Терезия в разговоре, сказала и о просьбе Чорбы с товарищами, причем прибавила: «Нам самим люди надобны». Когда Бестужев сказал ей, что так как он получил подтвердительный указ стараться об отпуске сербов, следовательно, донесение Претлака неверно, то она удивилась и сказала: «Либо Претлак меня обманывает, либо у вас ему иначе сказывают» – и не объявила ни отказа, ни позволения. После этого немедленно было запрещено выдавать сербам паспорта в Россию и в пограничных местах в Польше и в Трансильвании расставлены форпосты; Чорбам и Мирковичу дано приказание, чтоб они в 8 дней выехали из австрийских владений, причем они названы фальшивыми вербовщиками и возмутителями. За отсутствием Улефельда Бестужев отправился для объяснений к вице-канцлеру графу Коллоредо, но получил от него одни пустые, уклончивые ответы. «Это происшествие, – писал Бестужев своему двору, – здесь всем известно; и все крайне удивляются такому презрительному поступку здешнего двора, рассуждая, что сохранение австрийского дома единственно зависит от вашего импер. величества. Когда здесь четыре и пять лет тому назад были прямые прусские шпионы, то и с ними вследствие трепета перед прусским королем вовсе не так поступлено: им только под рукою дали знать, что их комиссия здесь обнаружилась, и потому не угодно ли им поскорее выехать, а прямо их не выслали, тем менее арестовали. Не могу

преминути мое слабое мнение представить, не угодно ли будет барону Претлаку рекомендовать, чтоб с приезжими в австрийские земли русскими подданными поступали так, как в России поступают с австрийскими подданными, ибо ваше величество своих верноподданных защищать и охранять изволите; притом требовать, чтоб указы о непропуске русских офицеров были отменены и чтоб родственники известных сербских офицеров были непременно отпущены: впрочем же, дать здешнему двору сильно почувствовать неудовольствие вашего величества холодным приемом барона Претлака и другими средствами, ибо здесь все того мнения, что если в этом деле поступиться серьезно, то здешний двор все сделает к удовольствию вашего величества, потому что дружба России ему необходима. Иначе будет очень прискорбно, что попечение Петра Великого об этих народах останется бесплодным именно в ту минуту, когда можно было всего удобнее получить плоды, будет очень прискорбно, что многие труды останутся напрасными, чему виною будет известное обнадеживание, данное Претлаку, на которое здешний двор совершенно полагается, тогда как мне повторительно посылаются совершенно другие указы, что приводит меня здесь в напрасную ненависть и огорчение, ибо здешний двор думает, что я настаиваю на сербском деле сам собою, а не по указам».

На это донесение своего брата канцлер Бестужев представил императрице следующие замечания: 1) вся смута произошла от непонятого недоразумения: в рескриптах Бестужеву-Рюмину не дано ему никакого повеления домогаться о наборе от 500 до 1000 человек, а просто предписано было просить, чтоб не препятствовали выходить сербам на службу и на поселение в Россию, если они к тому охоту и свободу иметь могут; так и в экстракте, данном здесь барону Претлаку, ничего более написано не было. Венскому двору, естественно, должны были показаться представления русского посла несогласными с донесениями барона Претлака, ибо один требует набора от 500 до 1000 человек, а другой пишет только о беспрепятственном выпуске тех, которые могут иметь охоту и свободу выселиться, чего больше здесь и не желалось. 2) Непонятно, с чего взял Претлак писать своему двору, что здесь готовы оставить сербское дело, ибо ему, кроме означенного экстракта, ничего более сообщено не было. 3) Дело непорядочное, что офицеры, находящиеся в здешней службе, без ведома русского правительства подали императрице Марии-Терезии челобитную о выпуске в Россию их свойственников; но еще беспорядочнее поведение графа Улефельда: гораздо приличнее было бы объявить дружеским образом нашему послу, что присутствие русских офицеров в Вене неприятно и по некоторым обстоятельствам терпимо быть не может. Ясно, что граф Улефельд в этом случае увлекся своею горячностью и пристрастием и безрассудною жестокостью подает повод другим из малого делать великое и из худого злое. Но за такие безделицы оба двора, естественно союзные, приводить в малейшую холодность есть дело людей если не злых, то по крайней мере слепых; это бы значило из-за рубля потерять сто рублей. Бесспорно, что венскому двору больше нужды в дружбе ее императ. величества и что польза этой дружбы на деле изведена; но не меньше признаться надобно, что и России тесное соединение с австрийским домом необходимо, король прусский ничего больше не желает, как разделения этих дворов; французские в Константинополе внушения и интриги были бы тогда действительнейшими; саксонский двор уже давно размерил бы свои шаги по прусскому барабану, если б

согласно не был подкрепляем двумя императорскими дворами, морские державы не противились бы так французской гордости, если б не полагались твердо на соединение обоих императорских дворов; Швеция не сидела бы так тихо, по меньшей мере не презирала бы она так возобновлением союза с королем прусским, как оказалось на нынешнем сейме; она теперь видит, что он, как прикованный медведь, со всею своею силою и наглостию ей бесполезен, следовательно, и соединение с ним только препятствует другим полезнейшим союзам.

Еще весною 1752 года Мих. Бестужев в письме к вице-канцлеру Воронцову жаловался на неприятности в Вене: «Я с октября месяца посещен был жестокую подагрой на обе ноги, так что два месяца не токмо с постели встать, ниже ворохнуться мог; оная подагра потом такую мне слабость в ногах причинила, что едва через избу пройти могу, с лестницы и на лестницу с великим трудом и чувствованием бродить могу. Таким приключением не что иное, яко печали, причиною суть, которых я от 1747 году даже до сего времени много имел; вашему сиятельству все то известно есть, и здешнее мое пребывание много мне вреды и моему здоровью причинило, ибо ничто так человека не вредит, яко печали, а наипаче те люди наиболее чувствуют, которые верно и ревностно своим монархам служат, честно и беспорочно жизнь свою провождают».

В другом письме к тому же Воронцову Бестужев писал: «Ваше сиятельство, соизволите в милостивое рассуждение принять, что я человек престарелый: родился я в 1689 году, и тако 63 год мне идет: лета немалые, более должно назвать престарелые; прежняя моя живность вся пропала, сколько от лет, а вдвое того с печали; какие мне с 47 году противности и шиканы деланы были и какие мне здесь неучтивости и уничтожения во угождение известным персонам показаны были, не без труда есть все то описать».

Понятно, что Бестужев не мог долее оставаться в Вене, и канцлер постарался переместить туда из Дрездена приятеля своего Кейзерлинга. Мих. Бестужев был очень недоволен этим назначением и писал о Кейзерлинге Воронцову: «Он есть человек весьма ленивый и комодный, как французы говорят: *l'enfant gaté*. Когда правительство курляндское было, а он был фаворитом герцога курляндского, а после того иные его протезируют, на то и надеется. И то некстати, что он, будучи польским подданным, при польском дворе министром российским такое долгое время был и два староства получил. *C'est un exemple sans exemple*, властно, якобы у нас людей в России не было, умалчивая о других его поступках...» Уже выехавши из Вены в Дрезден, Бестужев писал Воронцову: «О сербском деле я ничего не слышу, и ежели с нашей стороны так останется и не восчувствуется венского двора странный и без всякого к нашему двору менажементу поступок, то не без стыда будет; да и, сверх того, сожалительно бы было, ежели бы с нашей стороны для получения такого храброго народа, а наипаче единоговерного упущено было. Я опасен, чтоб посол наш в сербском деле не стал шильничать во угождение тамошнему двору, ибо оный двор весьма в сем деле амбарасирован... Венское министерство за сербское дело безмерно на меня злобилось и всякие на свете вымышления и коварства против меня чинить будут».

От 26 сентября Бестужев получил от своего двора следующий рескрипт: «Чем больше мы причину имеем благоразумными поступками, верною и радетельною службою вашею как при всех случаях, так и в сербском деле

всемиловейше быть довольными, тем меньше мы от вас скрыть можем то крайнее удивление, в которое привел нас сообщенный от римско-императорского посла барона Претлака протокол конференции, бывшей между вами и вице-канцлером графом Коллоредо. Между прочими разговорами по случаю сербского дела неведомо с какой стати вы к нему отозвались, что „вы, несмотря на то что во время шести месяцев получили от нас два повторительные указа, однако ж сие дело так оставили бы, ежели бы к вам и третий указ прислан не был; но что вы потому должны и у противной партии брата вашего притворяться и себя не обнажать, толь наипаче, ибо весьма ясно усматривается, что оная партия нарочитым образом поверхность над ним приобретает, потому что он имевшим у нас толь великим кредитом более не пользуется“. Мы по известному нам здравому рассуждению вашему и довольному искусству как в министерских делах, так и в прочих светского обхождения благопристойных поведеньях, хотя никак представить себе не можем, чтоб вы столько себя позабыть могли, что говорили вышеозначенные нерассудные и не токмо в министерской конференции, но и в партикулярных разговорах отнюдь не пристойные слова о притворстве вашем в таком деле, о котором вы же сами в рассуждение обращающейся в том для здешних интересов немалой пользы первое предложение нам учинили; а паче того, о противной партии, о которой по самодержавству нашему без крайней и жесточайшему наказанию подлежащей дерзости ниже помыслить, а еще того меньше министру нашему при чужестранном дворе в формальной конференции говорить возможно; однако по важности сего как высочайшей чести нашей, так и достоинства возложенного на вас посольского характера касающегося обстоятельства повелеваем вам, чтоб вы немедленно чрез сего к вам нарочно отправленного курьера прислали сюда точное и пространное изъяснение, подлинно ли, к какой стати и по какому поводу вы таким страшным и вовсе не понятным образом к графу Коллоредо отзывались. Барон Претлак вручил министерству нашему еще другую промеморию, в которой он приносит жалобу как на бывшего при вас монаха Михайлу Вани, так и на вас: на первого в том, будто он, будучи от архимандрита своего послан в Вену с монастырскими деньгами, оные промотал и, несмотря на повторенное приказание карловицкого митрополита, в монастырь свой не возвратился, но остался у вас в доме под именем вашего духовника, и притом будто он и главным орудием был в подговоре сербов не токмо к выходу в Россию, но и к бунту; а на вас жалуется оный посол в том, что вы такого честь забывшего и беспутного монаха приняли к себе в духовники, отказав принять представленных вам от митрополита в оный чин трех достойных священников».

Бестужев отвечал из Дрездена 25 октября, что все заключающееся в сообщенном от Претлака протоколе есть наглое вымышление: «Я таких нерассудительных и здравому рассуждению весьма противных разговоров никогда не имел; да и с какой стати мне о партиях упоминать, или чей кредит умаляется или умножается, ибо, сверх того, нимало мне о том неизвестно, понеже во все мое пребывание в Вене никто ко мне ни о чем не писывал. Священник Михайла Вани почти два года службу божию у меня в доме отправлял: во все то время никто о нем ко мне не отзывался и ни от кого требован не был; но только за три или за четыре недели до моего из Вены отъезда вице-канцлер граф Коллоредо таким образом мне отозвался, что имеющийся при моей капелле старец именем Михайла

Вани имел монастырские деньги, а счету тем деньгам не отдавал, чтоб я его от себя отпустил, на что я ему отвечал, что я вскоре из Вены отъезжаю и что оный священник более мне непотребен, а впрочем, я у него осведомлюсь о таких монастырских деньгах, и, приехав домой, спрашивал у священника, имел ли он какие деньги для нужд монастырских, на что он мне отвечал, что деньги у него монастырские были и что он их для нужд монастырских употребил и счет оным в монастырь послал, и мне счет тем деньгам подал, который, как мне помнится, секретарь посольства Чернев к графу Коллоредо отвозил. Будто от митрополита представлены мне были трое достойных священников, и это нагло вымышлено, ибо ни одного никогда мне не было представлено. Что же касается жизни этого гонимого священника, бывшего при мне, то я должен отдать ему справедливость, что он человек честный, трезвый и самой доброй христианской жизни, а все гонение на него поднялось за сербское дело, из подозрения, что он, пользуясь доверием сербов, научал их к выходу в Россию».

Преемник Бестужева в Вене граф Кейзерлинг поспешил донести императрице, что он начал действовать умеренно, остерегаясь нарушить дружбу между двумя дворами, и что умеренность ведет к большому успеху дела; что граф Улефельд на его дружественные представления отвечает так же дружески; он объяснял, что между сербами распространилось странное мнение, будто они вольный народ, могут идти куда хотят, вследствие чего явилось ослушание императорским указам; зло сделалось так велико, что для воспрепятствования ему стать всеобщим были принуждены употребить сильные средства. Арестованные офицеры были освобождены, и позволено им по окончании своих дел ехать в Россию. Так было поступлено с людьми, которые уже прежде вступили в русскую службу; но Кейзерлинг просил наставления, как ему действовать относительно тех сербов, которые вновь просились в русскую службу без позволения и ведома австрийского правительства. «Я знаю, – писал он, – что для укомплектования русских гусарских полков люди надобны и что в прежние времена такой набор иногда позволялся по дружбе между обоими дворами, но теперь вследствие потери людей в последнюю войну здешний двор старается больше всего увеличить народонаселение и привести в порядок финансы, и потому ему нелегко отпускать подданных, особенно в большом числе». Кейзерлинг получил от австрийского министерства записку, в которой говорилось, что всему пограничному народонаселению было предоставлено на волю избирать военную или гражданскую службу и, чтоб дело пришло к успешнейшему окончанию, многим из сербов, особенно Хорвату, оказаны большие милости. Он сначала очень содействовал новым распоряжениям и на одного из сербов, Севича, доносил многие тяжкие преступления; но как скоро он получил милости от правительства, а с другой стороны, увидал, что ему не удалось погубить Севича, то немедленно переменял образ действия и старался возмутить пограничную милицию против нового порядка, а чтоб сделать это с меньшею опасностью, то прибег в покровительство к русскому послу графу Бестужеву-Рюмину; к тому же послу обратился и монах Михаил Вани, только по другому побуждению, а именно потому, что не мог отдать отчета своему монастырю в издержанных суммах. Эти два недостойных человека были причиною всех воспоследовавших потом замешательств, потому что для прикрытия собственного стыда указывали на многие непристойные дела, и особенно старались обнести митрополита. Без

всякого сомнения, императрица-королева имела право отказать Хорвату в просьбе о вступлении в русское подданство и поступить с ним так, как он заслуживал; нельзя требовать, чтоб подданный отрекся от присяги своей природной государыне и других приводил на то же; единственно из уважения к русской императрице позволено было Хорвату и многим другим вступить в русскую службу. Ее величество тогда никак не могла думать, чтоб от такой великодушной щедрости могло произойти такое соблазнительное злоупотребление. Прежде всего паспорта были распространены на несколько сот, почти на тысячу человек. Возможно ли было бы подобное дело в каком-нибудь другом государстве? Но императрица-королева допустила и такое злоупотребление в надежде, что этим все кончится. Надежда была обманута. Хорват прислал сюда назад троих офицеров, которые с ним уехали, и эти офицеры думали, что, пользуясь покровительством русской императрицы, они могут и в чужих землях делать все, что захотят. В такой многочисленной нации, какова иллирийская, не может быть недостатка в раздорах, и легко понять, что нельзя всех удовлетворить, ибо, чем с одной стороны производится удовольствие, тем самым с другой стороны возбуждается злоба. Если б некоторым иностранным министрам или офицерам позволено было эту злобу питать, тех, кто ее питает, в ней укреплять и куда-нибудь в другое место их переманивать, следовательно, склонять к нарушению подданнической верности прежней природной государыне, то каким образом внутренняя тишина государств и узел человеческого общества могут быть сохранены? Но трое эмиссаров Хорвата не удовольствовались одною такою подговоркою, они осмелились утруждать императора и императрицу, чтоб им эта подговорка была позволена; но долготерпение имеет конец. Недовольный или плохой сын правителя, убегающий от отеческой власти, подданный, не повинующийся указам своего государя, начальник, притесняющий подчиненных, и другие, когда дела происходили не по их желанию, считали возможным избежать неприятностей одним объявлением, что уедут в Россию. Можно было бы показать множество примеров этому. Зло можно было остановить только средствами, употребленными правительством императрицы-королевы. Но императрице должно было показаться очень странным, что, поверив ложным показаниям этих людей, граф Бестужев-Рюмин вступился за них так ревностно и жестоко. Императрица-королева иллирийскую нацию при ее привилегиях рачительнейше содержать будет; только эти самые привилегии обязывают и их, райцев, к оказыванию верноподданнических услуг. Каждому государю было бы чувствительно, если б некоторые из его подданных обращались к другому государю или его послу. Здесь райцы признаются хотя не за рабов, однако за подданных, которые обязаны ее величеству верностью, послушанием и службою. Императрица-королева вскоре по вступлении в свое тягостное правление усмотрела, сколько вреда нанесено безопасности ее областям тем, что многие жители их вступали в чужестранные гражданские и военные службы; поэтому много лет тому назад она издала на этот счет генеральное запрещение всем своим подданным, без различия исповедуемой ими религии. Неописанно вредные следствия произошли бы, если б райцы захотели быть исключенными из такого запрещения. В таком случае и другие государи, как, например, король прусский, прислали бы сюда целую толпу эмиссаров для вербования в свою службу своих протестантских единоверцев. Так как Чорба был уличен в подговоре подданных

императрицы-королевы, то барону Претлаку поручено было домогаться в Петербурге, чтобы впредь русские подданные, уличенные в подобном деле, подвергались бы такому же наказанию, какому подвергнут был бы австрийский подданный, если б дерзнул склонить хотя одного русского подданного к покинутию своего отечества; также исходатайствовать, чтоб запрещено было всем находящимся в свите русского посла или министра поступать в противность естественным и народным правам.

Кейзерлинг повторял, что может только хвалить поведение венского двора в сербском деле; сама Мария-Терезия высказала ему желание вечного сохранения союза с Россиею в таких искренних и естественных выражениях, что едва ли может быть какое-нибудь сомнение относительно соответствия ее слов чувствам. Поэтому и Кейзерлинг считал своею обязанностью отвращать все то, что могло бы иметь вредное влияние на счастливый союз, который так соответствует натуральным интересам России. Относительно сербского дела Кейзерлинг внушал своему двору, что по сравнении жалоб сербских офицеров с ответами австрийского правительства оказывается, что если, с одной стороны, австрийское правительство могло бы поступить лучше и приличнее, то, с другой стороны, и сами офицеры подали повод к таким с ними поступкам, которых при большой осторожности могли бы избежать, притом многие показания их неверны. 8 октября Кейзерлинг доносил, что по последним известиям из Венгрии задержанные офицеры готовы к выезду в Россию со всеми своими людьми, что надобно считать за совершенное окончание этого неприятного дела.

Между тем 6 октября в Петербурге барон Претлак имел окончательное объяснение с канцлером по поводу сербского дела, причем Бестужев очень ловко воспользовался непоследовательностью венского двора, который сначала позволил сербам выселяться в Россию, а потом вдруг принял строгие против этого меры и стал толковать о том, что сербы – его подданные и не могут оставлять службу своей природной государыни. Претлак начал разговор словами, что австрийское правительство должно было опровергнуть принятое в России мнение, будто сербы – народ вольный и могут переселяться куда хотят. Канцлер отвечал, что такого мнения в России никогда не имели, хотя к принятию его и могли способствовать полученные из Вены известия, что даются паспорта к выезду всем, кто только их ни потребует. Вот почему так неприятно поразило другое известие, что вдруг последовало запрещение сербам выезжать в Россию; это известие поразило тем более, что в то же время получено было другое известие, будто многие сербы, не имея возможности уходить в Россию, бегут в Турцию. Здесь думали, что для венского двора выгоднее, чтоб эти люди уходили в Россию, а не в Турцию, и что по тесному и естественному союзу между двумя дворами почти все равно, здесь ли количество легких войск несколько увеличится этими выходцами или останутся они в австрийских владениях. Посол признался, что действительно даны были паспорта, только поименно, а не вообще, и то преимущественно потому, что хотели сжить с рук беспокойных людей: частые венгерские бунты научили осторожности. Но Претлак уверял, что ни один серб не вышел из австрийских владений в Турцию, напротив, множество народа желает перейти к ним из турецкого подданства, только они их не принимают, как желая избежать всяких распрей с Портою, так и не очень полагаясь на постоянство этих выходцев. Потом Претлак распространился о том, что сначала дело шло об

отпуске в Россию от 500 до 1000 человек сербов; но теперь отпущено до 2000; задержанные офицеры все освобождены, Шевич ведет в Россию до 800 человек, задержанное в Вене семейство подполковника Прерадовича отпущено; надобно было ожидать благодарности за такие снисхождения его двора, а вместо того он получил пространную промеморию, наполненную жестокими и чувствительными для двора его выражениями; поэтому посол просил, нельзя ли взять эту промеморию назад, ибо она очень огорчит императрицу-королеву. Канцлер отвечал, что промемория написана соответственно той горячности и неумеренности, с какими было поступлено в Вене по сербскому делу; но так как теперь, по донесениям графа Кейзерлинга, поступки с австрийской стороны изменились и оказывается более дружеской угодливости, то дело будет оставлено и уже готова другая промемория, где будет выражена его двору надлежащая признательность.

Но сербское же дело повело к другой неприятной для Претлака и его двора промемории. Мы привели выше ответ графа Мих. Петр. Бестужева-Рюмина относительно слов его о противной его брату партии, сказанных будто в конференции с вице-канцлером графом Коллоредо. В Петербурге благодаря, как видно, друзьям Михайлы Бестужева, людям, которым было приятно и выгодно поддерживать его против родного брата, – в Петербурге успокоились на полном отречении Бестужева от этих слов, и Претлаку вручена была промемория, в которой говорилось: «Сколь приятно было ее императорскому величеству по основательному ее величества чаянию из оправдания своего посла усмотреть его невинность, к толь вящему служит ее императорскому величеству неудовольствию, что граф Коллоредо старался добрые сентименты и беспорочный поступок г. обер-гофмаршала такими к предосуждению возложенного на него характера и собственной его персоны касающимися затеями опорочить и притом и высочайшее ее императорского величества достоинство оскорбить тем, что в рассуждении беспредельной ее самодержавной власти и мудрого государственования, и одна только идея о партии в здешней империи места никакого иметь не может. Подлинно состояние министра, особливо при союзном дворе, весьма худое было бы, если бы вольно было затевать на него по собственным видам предосудительные дела, о коих он никогда и не думал».

Как бы то ни было, тесный союз между Россией и Австриею не был нарушен, и к этому союзу по прусским отношениям непременно хотели присоединить Саксонию. Находясь еще в Дрездене, в 1751 году Кейзерлинг должен был склонять саксонское правительство присоединиться к оборонительному союзу, заключенному между Россией и Австриею в 1746 году. Кейзерлинг доносил своему двору, что дело встретило препятствия при обсуждении своем в тайной коллегии королевского совета. Здесь некоторые члены выразили страх перед прусским королем, как будто бы находились под его ногами; они припоминали угрозы Фридриха II, что он в известном случае примется не за Россию, а за ближайшую к нему ее союзницу – Саксонию; они представляли, что для защиты от такого быстрого нападения силы Саксонии недостаточны, а помощь союзников очень отдалена и, прежде чем она явится, страна уже будет разорена. Узнавши о выражении таких мнений в коллегии, Кейзерлинг спросил графа Брюля: хотят ли в Саксонии принять в основание политической системы соседство короля прусского, его превосходные силы и его угрозы? Если они так

боязливы, если хотят размерять свое строение только по прусскому масштабу, то сами показывают свою покорность, и если б прусский король узнал, какой ужас он здесь внушает, то гордость его, разумеется, усилилась бы еще более. Надобно решить вопрос, благо и интерес Саксонии достаточно ли могут быть обеспечены тем, что она не будет находиться ни в каких обязательствах с императорскими дворами и морскими державами. Кто обеспечит Саксонию от дальнейших притеснений, если она останется без надежды на какую-нибудь помощь? Если они думают обеспечить себя обязательствами с Франциею и Пруссиею, то опыт научил уже их, как можно полагаться на эти державы: во время прошлой войны, когда они соединились с Пруссиею и Франциею против Австрии, король прусский заключил мир, а саксонские войска должны были заботиться сами о себе. Что касается невозможности для Саксонии получить скорую помощь от союзников, то не надобно забывать, что теперь дворы соединены гораздо теснее, чем были прежде; не должно забывать также, что если Саксония лежит как будто под ногами прусского короля, то и Пруссия находится в таком же положении относительно обоих императорских дворов. Саксонский дом связан с французским, саксонская принцесса замужем за дофином, выставляют, что Саксония может надеяться на ее помощь; но может случиться, что дофин умрет прежде короля; да если он и вступит на престол, то может стать, как и прежде бывало, что какой-нибудь кардинал или другой фаворит станет управлять делами или другая госпожа Помпадур сыщется, которая овладеет и сердцем королевским, и правлением. В истории нет примера, чтоб какая-нибудь королева французская имела влияние на тамошнее правление, и зависть нации всегда находила способ не допускать королев до участия в государственных делах. Кроме того, остается вопрос: будет ли тогда Пруссия иметь уважение к французским представлениям в пользу Саксонии? Брюль отвечал, что он теперь и сам видит, что лучше было бы не отдавать дела в тайную коллегия; он хотел этим себя прикрыть, чтоб не могли жаловаться, будто он в таком важном, до блага всей земли касающемся деле никого не допустил до участия и все один сделал, и если б случилось что-нибудь неприятное, то члены совета и стали бы говорить, что они все это предвидели и напоминали и надобно было бы поступать по их совету. Кейзерлинг заметил на это, что тот, кто принимает нынешнее состояние дел за основание своих решений, исполняет требования разума, а если смотреть на случайности будущих событий, то никто себе дома не построил бы, ибо может стать, что он сторит, никто не стал бы жить в доме из страха, что он может обрушиться.

В 1752 году Кейзерлинга, назначенного в Вену, сменил в Дрездене Гросс, который в начале мая прислал своему двору любопытное донесение. Саксонский посол в Париже граф Лос дал знать своему правительству о желании французского короля, чтоб один из меньших сыновей Августа III получил по смерти отца польскую корону. В Дрездене приписали это желание внушениям прусского короля, которому было бы выгодно, если б в Польше был король, слабый собственными средствами, который бы потому зависел совершенно от Пруссии и Франции или по меньшей мере, не имея собственных владений, не мог бы быть полезен России. Наследная принцесса саксонская, державшая мужа совершенно в своих руках, была сильно раздражена донесением Лоса, ибо всеми силами старалась доставить и польскую корону своему мужу. С этих пор она усугубила свои ласки Гроссу и министрам дворов, союзных с Россиею, объявляя,

что совершенно полагается в достижении своих целей на помощь России и ее союзников, ибо если курфюрст саксонский не будет вместе и королем польским, то Саксония не будет в состоянии ни в чем помогать России, которая чрез то лишится значительной доли своего влияния в европейских, особенно в немецких, делах. Гросс узнал о намерении графа Брюля и некоторых польских магнатов доставить наследному принцу и наследство польского престола при жизни королевской, внушая полякам, что в случае кончины королевской этим средством они могут избежать войны и обычного разорения своих имений. Но так как король по конституции не может думать при своей жизни о наследнике и надобно, чтоб сама республика предложила об этом королю, то решили хлопотать об уничтожении *liberum veto*. Польский вице-канцлер уже обратился с этим к Гроссу, внушая, что иначе никакого порядка в Польше не будет. Требуя от своего двора инструкций по этому важному делу, Гросс писал: «По моему мнению, цель не может быть достигнута без конфедерации, а на всякую конфедерацию в Польше можно смотреть как на междоусобную войну, в которой соседние державы рано или поздно принуждены будут принять участие, и нет сомнения, что король прусский примет это участие с большею охотою, чтоб под видом защиты польской вольности достигнуть своих старых намерений относительно польской Пруссии и Померании».

В июне Гросс опять писал о том же деле, опять требуя инструкций: «Хотя граф Лос доносил о желании французского министерства, чтоб в польские короли избран был один из младших сыновей Августа III, однако после этого здешнее министерство получило известие, что назначенному сюда новому французскому послу графу Брольи предписано составить в Польше партию в пользу герцога пармского инфанта дон Филиппа; с другой стороны, король прусский злостно внушал Франции, будто венский двор вместе с вашим импер. величеством намерен возвести на польский престол принца Карла Лотарингского. Я узнал об этом отчасти от самого графа Брюля, отчасти от австрийского посла графа Штернберга; и так как эти обстоятельства могут побуждать благонамеренных польских магнатов тем скорее подумать о таких мерах, которыми можно было бы предупредить замешательства в их отечестве, и потому обратиться ко мне для узнания намерений вашего величества, то я считаю необходимым возобновить просьбу о наставлении, как отвечать польским магнатам. Между тем в глубочайшем секрете я уведомлен, что польские вельможи для предотвращения интриг, разорения страны и частных имуществ не знают другого средства, кроме избежания междоусобия предварительным избранием преемника королю в особе наследного принца саксонского. Для достижения этой цели необходима чрезвычайная осторожность, чтоб отнюдь прежде времени ничто не разгласилось, ибо в противном случае этому намерению будут препятствовать Франция и особенно Пруссия, которая ждет случая в мутной воде рыбу ловить и часть польских владений себе присвоить. Вот почему на будущем сейме еще ничего об этом открыто не будет; только воспользуются королевским пребыванием в Польше, чтоб согласиться относительно способов, которыми надеются безопасно без конфедерации и без повреждения вольного голоса (*liberum veto*) получить желаемое. Я знаю, что король английский совершенно согласен содействовать этому намерению».

Известие, что двое младших сыновей короля, Ксаверий и Карл, отправляются в Польшу, сильно опечалило наследную принцессу; она боялась, чтоб тот или другой принц не приобрел любовь поляков в предосуждение ее мужу. Она объявила Гроссу, что надеется приобрести расположение поляков, если только ее мужу и ей позволено будет следовать за королем в Польшу. «Вы мне окажете большую услугу, – сказала она Гроссу, – если по приезде своем в Варшаву склоните князей Чарторыйских внушить графу Брюлю о необходимости приезда в Польшу наследного принца, ибо без такого требования князей Чарторыйских первый министр сам никогда не предложит об этом королю». Ту же просьбу повторила она и в другой раз, прибавив: «Я этого особенно потому желаю, что наследный принц большей части поляков знаком только с худой стороны, т.е. со стороны слабости ног; его присутствие в Польше сообщило бы им другие понятия о нем, они увидели бы в нем достаточный ум, доброе сердце, ласковость и совершенное знание польского языка, которого нынешний король совсем не имеет». Гросс спросил принцессу, позволит ли она ему испросить высочайшее соизволение на обращение его к князьям Чарторыйским; она отвечала, что премного ее этим обяжет, ибо она без согласия императрицы ни одного шага не делает.

В августе Гросс переехал из Дрездена в Варшаву; здесь он нашел большую перемену: в мае 1751 года умер великий гетман коронный Иосиф Потоцкий и на его место назначен был Ян Браницкий, который хотя и был связан родством с *фамилиею*, как тогда называли Чарторыйских, однако был ревностный консерватор, стоял за установленные формы Речи Посполитой, тогда как Чарторыйские имели постоянно в виду перемены, необходимые, в их глазах, для поддержания Польши. Гросс стал часто видеться с примасом, краковским кастеляном графом Понятовским, с воеводою русским князем Чарторыйским, с его братом канцлером литовским, также с канцлером коронным, и все они уверяли, что так как существенный интерес их отечества требует тесного согласия с Россиею, то они вполне преданы императрице. Но при этом князья Чарторыйские и граф Понятовский дали знать, что все смотрят на них как на русских партизанов; и действительно, многими опытами засвидетельствовали они свою склонность к поспешествованию интересам императрицы; поэтому не может быть им не оскорбительно, что до сих пор нет никакой резолюции на их просьбы, чтоб императрица благоволила обнадеежить их своим покровительством и помощью в случае смут, которые легко могут произойти в вольном государстве, где короли прусский и французский имеют своих партизанов, им, Чарторыйским, враждебных: они не хотят ни денег, ни пенсий, хотят одного: чтоб императрица к которому-нибудь из князей Чарторыйских прислала письмо, где было бы изображено, что, узнав о добром и постоянном наблюдении ими истинного интереса своего отечества, столь тесно связанного с русским интересом, императрица заблагорассудила высказать им за это свое удовольствие и притом обнадеежить, что они могут вполне положиться на ее благосклонность и покровительство. «Мне кажется, – писал Гросс, – что так как король прусский своих партизанов часто своими ласковыми письмами удостоивает, а Франция к ласкам и деньги присоединяет, то не вижу, для чего бы им отказать в их просьбе; ваше величество еще сильнее привязали бы их к себе, если бы канцлеру литовскому пожаловали орден св. Андрея, а канцлеру коронному – пенсию в

несколько тысяч рублей, потому что он по причине многочисленного семейства не богат. Я думаю, что подобными ласками полезно сохранить партию, чтоб по кончине короля не нужно было, как по кончине отца его, создавать новую партию с убытком многих миллионов. Все поименованные вельможи говорили мне о необходимости принять меры для предупреждения замешательств по смерти королевской; но я вижу, что относительно этих мер они сами еще между собою не согласились, только являются склонными к избранию наследного принца саксонского; но, чтоб его выбрать при жизни королевской, как о том слышал я от графа Брюля и других, о том до сих пор никто и рта не отворял».

Упомянутые вельможи были нужны и относительно собственно русских интересов. Коронный канцлер и подканцлер вместе с литовским канцлером согласились писать каждый порознь к униатскому полоцкому митрополиту в самых сильных выражениях, чтоб возвратил церкви, отнятые у православных в Кржичевском уезде; в случае сопротивления митрополита обещались уговорить старосту кржичевского, чтоб он военною рукою способствовал возвращению церкви по примеру канцлера литовского, который таким же образом велел поступить в своем старостве. Относительно возвращения беглых польское министерство не оказывало склонности, боясь раздражить мелкое шляхетство, на землях которого беглые преимущественно жили. По мнению Гросса, не оставалось другого средства, как позволить частным людям самим вооруженною рукою отыскивать своих беглецов по примеру короля прусского, который употребляет то же средство на силезских границах. Вельможи уверяли, что если сейм состоится, то признают императорский титул русской государыни, что же касается до курляндского вопроса, то представляли, что плохо будет, если по смерти королевской Курляндия останется в настоящей анархии, особенно указывали на опасность от прусского соседства. Граф Брюль говорил, что если императрица не намерена восстановить герцога Бирона, то по крайней мере изволила бы конфидентно дать знать об этом польскому двору и согласиться с ним насчет избрания другого герцога. Гросс отвечал по-прежнему, что, когда обстоятельства потребуют и русский интерес позволит, императрица сама собою пристойную резолюцию принять не оставит. «Предвижу, – писал Гросс, – что на сейме будет немало шуму о Бироне, тем более что французско-прусская партия внушала на сеймиках, что идут переговоры об оборонительном союзе между Россиею и Польшею, почему в разных местах и внесено в инструкцию депутатам не допускать такого трактата. Потоцкие уже поговаривают, что не желают, чтоб сейм состоялся. Пользуясь завистью к Чарторыйским нового коронного гетмана Браницкого, Потоцкие постарались привлечь его к своим видам, и так как в случае замешательств он человек очень нужный и со стороны Франции и Пруссии ему уже сделаны выгодные предложения, то ваше величество можете его при прежних добрых намерениях удержать для общей пользы, если благоволите пожаловать ему какой-нибудь знак вашей милости, например наградить его жену портретом, так как жена покойного гетмана Потоцкого имела портрет».

Из Варшавы Гросс поехал гостить в Волчим, имение литовского канцлера князя Чарторыйского. Хозяин рассказал ему, что дело об избрании наследника при жизни королевской замыслено саксонскими министрами и чрез тайного советника посольства Саула и графа Флеминга внушено польскому министерству и особенно ему, канцлеру литовскому; он, поговорив с братом, воеводою русским

и коронным канцлером Малаховским, признали, что действительно наследный принц саксонский есть лучший кандидат для Польши; но прежде всего надобно, чтоб король и граф Брюль им о том сказали и чтоб король как в раздаче вакантных мест, так и в других мерах твердо следовал их советам, чтоб в воеводствах могло быть все мало-помалу приготовлено, а король старался бы между тем привлечь к тем же видам и русскую императрицу и чтоб они наперед были уверены, что в случае нужды не будут оставлены Россиею.

Из Волчима Гросс ездил в Белосток, имение гетмана Браницкого, и оттуда отправился в Гродно, где должен был происходить сейм. В Гродне он получил из Петербурга рескрипт, поставивший его в очень затруднительное положение. «К крайнему удивлению уведомились мы, – говорилось в рескрипте, – что шляхетство курляндское на своем сеймике большинством голосов определило посылаемому на сейм депутату дать инструкции, чтоб он просил короля о доставлении свободы герцогу Бирону. Обер-раты в этом деле умеренно и осторожно поступили, но особенно хлопотали маршал земских депутатов Гейкинг, некто Модем из Тительминда да Драхенфельс, который имеет в аренде наш секвестрованный амт Вальгоф. Вы можете легко рассудить, в какое удивление привело нас это нечаянное и нашему намерению совсем противное происшествие, тем более что до сих пор большая часть тамошнего шляхетства не только не желала освобождения Биронова, но и, домогательствам о том противной стороны, т.е. обер-ратской партии, сопротивляясь, никогда не допускала произведения их в действие. И так как мы по нашим интересам никак не можем спокойно смотреть на порученное теперь курляндскому депутату домогательство об освобождении бывшего герцога, напротив того, как прежде, так и теперь желаем, чтоб курляндские дела оставались в том же положении, в каком они по сие время были, то прошение к королю о Бироновом освобождении допустить не надлежит; поэтому повелеваем вам употребить крайнее старание ваше и труды, чтоб курляндский депутат не прежде допущен был на аудиенцию пред короля, как по окончании сейма, точно так, как это случилось с таким же курляндским депутатом Корфом».

«Не без великого труда в том предупредить возможно, – отвечал Гросс, – потому что граф Брюль и большая часть поляков сильно интересуются освобождением герцога Бирона или по крайней мере получением какого-нибудь решения вашего величества. Граф Брюль в присутствии коронного канцлера и английского уполномоченного говорил мне в сильных выражениях, что подлинно король прусский возбуждает курляндцев, чтоб они вновь обратились к Польше с просьбою об освобождении своего герцога, и что если по-прежнему просьба их не получит удовлетворения, то, так как польское покровительство не приносит им никакой пользы, они могут выбрать в герцоги брата его, принца Генриха, причем могут быть обнадежены в сильной защите Пруссии. С другой стороны, Франция и Пруссия внушают полякам, что король Август намерен сына своего принца Ксаверия назначить герцогом курляндским; внушения эти клонятся к тому, чтоб возбудить смуту в Польше и Курляндии, чем прусский король воспользуется». Но как скоро Гросс объявил канцлерам коронному и литовскому и графу Брюлю о желании императрицы, чтоб в курляндских делах не произошло никакой перемены и чтоб курляндский депутат Шёппинг прежде сейма не получил аудиенции у короля, то все трое без отговорки обещали свои услуги в этом деле.

Канцлер Малаховский обещал, что речь Шёппинга будет написана в общих выражениях и будет сообщена Гроссу, что депутатская инструкция из канцлеровых рук не выйдет и насчет ответа на нее канцлер наперед условится с Гроссом. «Но если сейм состоится, – писал Гросс, – то предвижу, что опять будет предложение вашему величеству или об освобождении Бирона, или об окончательном решении курляндского дела, и предложение это, быть может, сделается чрез особое посольство, которое отправится с извещением о признании Польшей императорского титула русских государей. Как я слышу, граф Брюль хочет назначить в это посольство зятя своего надворного маршалка Мнишка. Обер-камергер граф Понятовский, с другой стороны, уже заявлял свое желание быть назначенным в это посольство, да бывший три года тому назад в России обер-маршал граф Огинский усиленно просил меня, чтоб по указу вашего величества требовать его назначения в послы как знакомого человека, насчет которого ваше величество могли бы быть уверены, что он меньше всех будет настаивать на курляндском деле. Граф Мнишек будет больше всех домогаться окончательного решения курляндского дела; а Понятовского, который не богат и властолюбив, да Огинского легче ласками и подарками можно было бы удовлетворить».

Относительно поведения своего на сейме Гросс получил из Петербурга следующие наставления: держаться партии князей Чарторыйских, но наблюдать, чтоб эта партия не предпринимала ничего для нарушения вольности республики и ее уставов; князей Чарторыйских ласкать и их держаться, но и других не бросать и не раздражать. Всеми силами не допускать уничтожения вольного голоса (*liberum veto*). Если сейм состоится, то домогаться, чтоб признание императорского титула русских государей внесено было в конституцию. Если будут затруднения относительно слова «всероссийская», то можно предложить, что императрица довольна будет и старым титулом: всея Великие и Малые и Белые России. Принять с министрами республики достаточные меры для прекращения обид греко-российским церквам, задержания беглых и других пограничных жалоб. Если польские вельможи станут отзываться о своем желании избежать замешательств после смерти королевской, то отвечать в общих выражениях, что они будут Россиею сильно защищены; что же касается тайного намерения польских вельмож совсем избежать междуцарствия избранием наперед преемника в особе наследного принца саксонского, то это предприятие является делом невозможным, химерическим, ибо запрещено пактами, конвентами, и едва ли кто осмелится сделать подобное предложение на сейме.

Сейм не состоялся, по обычаю, и Гросс не мог добиться никакого решения ни относительно выдачи беглых, ни относительно возвращения православных церквей и позволения починять обветшавшие. Гросс предлагал своему двору, чтоб греко-русская церковь в Литве имела искусного генерального прокуратора, который защищал бы постоянно ее права во всех судах, а без этого можно опасаться, что эта церковь мало-помалу совсем исчезнет. «Одни представления министров вашего величества, – писал Гросс, – как бы ни были часты и сильны, желаемый покой вашим единоверцам доставить не могут, и теперь по разорвании сейма очень сомнительно, захотят ли министры вступить со мною в конференции».

Любопытны отношения русской политики в Польше к политике союзного двора английского и враждебного французского: английский посланник при польско-саксонском дворе Уильямс сблизился с Чарторыйскими и потакал их видам относительно преобразований; французский посланник граф Брольи, наоборот, хлопотал, чтоб все оставалось по-прежнему, и сблизился с гетманом Браницким; таким образом, Брольи действовал в видах русского кабинета, который также прежде всего заботился о сохранении существующего порядка, т.е. беспорядка, в Польше. Что касается непосредственных сношений Англии с Россией, то король английский приступил к договору, заключенному между Россией и Австрией в 1746 году, причем Россия приняла даже секретную статью о защите ганноверских владений в том случае, если б они подверглись нападению за приступление Георга II к означенному договору. Русскому правительству в его финансовых затруднениях сильно хотелось, чтоб морские державы, Англия и Голландия, опять давали ей субсидию за содержание значительного корпуса войск на лифляндских границах для сдержания Пруссии. Но когда Чернышев начал говорить об этом герцогу Ньюкестлю, тот отвечал, что последняя война увеличила государственный долг Англии тридцатью миллионами фунтов и потому больших субсидий она выдавать теперь не в состоянии, тем более что решено выдавать субсидии саксонскому двору именно по представлениям русского же двора. Чернышев возражал, что императрица в требовании субсидий имеет в виду главным образом общую пользу, общее дело европейского равновесия, собственно же русский интерес находится на втором плане и только в связи с общим интересом субсидии послужили бы только к некоторому облегчению в содержании войска, находящегося постоянно в готовности выступить за границу и стоящего именно в местах, где все дороже, чем в остальных областях империи; было бы неестественно, чтоб сопряженные с этим тягости падали на одну Россию. Не нужно говорить о том, что содержание такого корпуса необходимо для прекращения злых намерений относительно нарушения европейского равновесия; что же касается до увеличения государственного долга Великобритании, то это явление всего лучше доказывает необходимость принимать меры для предупреждения дорогостоящей войны; требуемые субсидии имеют характер обеспечения, и государства должны подражать умным купцам, которые для сбережения своего капитала, отправляемого на кораблях, застраховывают его, платя малый процент. Но эти представления не имели никакого успеха.

С юга, из Константинополя, приходили известия успокоительные. По смерти Адриана Неплюева в Константинополь поверенным в делах был отправлен воспитанник Кадетского корпуса секунд-майор Алексей Обрезков, переименованный в надворные советники; в докладе Иностранной коллегии об нем говорилось: «Сей майор Обрезков для того способным к тому признается, что он уже был тамо при здешних резидентах Вишнякове и Неплюеве около десяти лет и в тамошних поведеньях довольно знание имеет». В июле 1751 года Обрезков приехал в Константинополь и дал знать своему двору, что без дальних его претензий получил от Порты такие почести, каких не давалось ни одному человеку, бывшему в его характере, несмотря на внушения французского посла Дезальера, который представлял Порте, как Россия ею пренебрегает: прислала только поверенного в делах, и пусть Порты не верит Обрезкову, что скоро приедет

резидент, Россия никого не пришлет и Обрезкова не сделает резидентом по своей безмерной гордости.

В начале 1752 года Обрезков получил письмо от черногорского митрополита Саввы Петровича такого содержания: «После Прутского мира аги подгорические держат земли церковные, которые принадлежали нашему кафедральному монастырю Цетинскому, и земли прочих монастырей; аги говорят, что султан дал им эти земли в наказание черногорцам за их верность к русскому двору: за любовь господу Иисусу подвигнись на оборону нашу по обещанию великой государыни императрицы Елисаветы Петровны, во всей вселенной православия надзирательницы, нашей милостивейшей патронки и защитницы, стань при дворе султанском и освободи церкви (церковные земли), потому что мы никоим образом без них не можем жить, и если мы уйдем с Черной Горы, то народ сильно пострадает, как овцы, не имущие пастыря. И за церкви нашего монастыря Цетинского мы даем агам подгорическим по 20 золотых червонных. Если прикажете, то мы пришлем к вам родственника нашего с описями захваченных у нас церковных земель». «Преосвященный владыко! – отвечал Обрезков. – Из приятнейшего письма вашего с прискорбием я усмотрел ваши изнурения и, чем сильнее во мне желание оказать вам услугу, тем более соболезную, что по нынешним обстоятельствам ничего не могу сделать в вашу пользу, ибо изнурение вам делается в денежных налогах, но всем и везде то же достается, и которые приезжали сюда для поправления дела, только наибольший вред себе получили, чему я многие примеры видел. Итак, по истинному усердию моему к вашему преосвященству и всем вашим однородцам советую удержаться от посылки сюда вашего родственника и с терпением стараться удовлетворять изнурителей, ибо что вы в вашем месте двадцатью червонными сделать можете, то здесь и двумястами не успеете. Я вас покорнейше прошу содержать настоящее дело в тайне, также и посылаемым от вас ко мне наказывать, чтоб никому не открывались: такая осторожность необходима для нашей переписки». Митрополичьего посланного Обрезков устно уверил, что он имеет повеление императрицы стараться об их пользе, только теперь надобно потерпеть и никого не присылать в Константинополь. «Это я сделал, – писал Обрезков, – чтоб их без ответа не оставить и отказом не огорчить, но сколько можно держать усердными к высочайшим вашего импер. величества интересам».

Греческое духовенство и особенно митрополит ираклийский несколько раз говорили Обрезкову, как бы полезно было учредить в России печатание греческих церковных книг, а теперь подали следующую записку: «Кроме оскорблений и нападков от неверных терпим всегдашнее гонение от папистов, которые называются единоверными христианами. Вселившаяся издавна в сердцах их ненависть против восточной церкви и поныне еще не миновалась, но возобновляется и в цветущем состоянии пребывает. Так как у нас нет другого оружия, кроме книг отеческих и богослужебных, то они злобно испортили эти наши книги, вводя в них свои правила, несообразные с нашим православным обрядом, ибо книги наши печатаются в их типографиях. Но мы, размысля, что Бог еще не вовсе лишил нас благодати своей и облегчил наше иго богохранимую Российскойю монархией, беспорочною в церковных обрядах, правиле и исповедании, дщерию восточной церкви, усердно просим принять труд донести

всероссийскому двору, дабы ее импер. величество соизволила повелеть в каком-либо месте своей империи установить печатание наших книг».

23 марта Обрезков имел конференцию с великим визирем. Последний объявил, что миролюбивые чувства султана величества уже каждому известны; его величество ничего так не желает, как жить в доброй дружбе с императрицею российской; но к сожалению, усматривается, что между запорожскими козаками и татарами день ото дня распри умножаются и козаки татарам несносные наглости и обиды делают вопреки освященных договоров; султан сильно желает, чтоб изыскано было пристойное средство для прекращения этих распрей, и русский поверенный в делах приглашается к этому богоугодному делу. Обрезков отвечал, что императрица питает те же самые чувства, что и султан, а он, поверенный в делах, давно уже хлопочет о прекращении пограничных столкновений, именно, еще в сентябре прошлого года подал блистательной Порте известие о смертоубийствах, пленениях и грабежах, производимых татарами у запорожских козаков; он ласкал себя надеждою, что обиженные получат удовлетворение; но вместо того ему сообщены татарские претензии, обсудить которые сам он не имеет никаких средств за дальностью мест, но думает, что лучшим средством будет, если визирь прикажет хану, снесшись с киевским генерал-губернатором, учредить комиссию для рассмотрения взаимных претензий и доставления удовлетворения, а чтоб впредь не было никаких столкновений, для этого необходимо с обеих сторон выдавать беглых, ибо тогда дурные люди могут удерживаться от преступлений, зная, что нигде не получают безопасного убежища. Визирь отвечал, что прежние беглецы, которых можно будет переловить, непременно выдадутся и впредь принимаемы не будут, и предложил с своей стороны еще средство: чтоб татары и козаки из границ в границы входили только через те речные переправы, которые назначатся с общего согласия обоих государств, застава турецкая будет против заставы русской, и никому нельзя будет перейти границу, не имея билета от офицера, находящегося на заставе. Обрезков возразил, что это средство не поведет к желаемой цели, потому что границы тянутся почти на триста часов пути; на этом расстоянии хотя и много рек, но они не могут служить ни малейшим препятствием татарам и козакам переходить границу, а между реками открытая степь, да и можно ли на таком расстоянии поставить столько застав, чтобы можно было усмотреть, кто едет с билетом или без билета. Визирь сначала был сильно поражен этим замечанием: но потом начал утверждать, что не требуется расставлять всюду заставы, но в некоторых неминуемо проезжих местах купцам и другим добрым людям по тропинкам ездить и эти заставы миновать не для чего, а кто их минет, то этим самым покажет, что ездил для воровства и других шалостей: таких всех забирать под караул и отсылать к офицерам, и если их накажут, то прочие поудержатся; если же и после того козаки потерпят какой вред, то Порта обязывается отвечать. Обрезков счел минуту благоприятною добиться того, чего давно желало русское правительство, именно иметь постоянно в Крыму агента под именем консула или другим каким-либо. «Лучшее средство прекратить все распри есть следующее, — сказал он, — пусть безвыездно живет при крымском хане офицер от киевского генерал-губернатора с обязанностью защищать русских подданных, находящихся в Крыму; другой офицер будет жить в Сече для защиты татар от запорожских козаков; оба эти офицера, имея между собою переписку, старались бы прекращать

все столкновения между татарами и козаками и, будучи на месте, легко могли бы исследовать истину и доставлять удовлетворение один у хана, другой у кошевого, и блистательная Порта избавилась бы от докук». Но тут визирь и особенно рейс-ефенди начали в свою очередь доказывать, что от присутствия русского офицера в Крыму будет мало пользы, потому что все беспорядки происходят в степи и офицеры так же мало об них могут знать, как хан и киевский генерал-губернатор. Явно было, что Порта не прочь принять меры для прекращения столкновений между запорожцами и татарами: она поспешила отстранить столкновение с Россией по поводу Кабарды, предписавши хану немедленно вызвать оттуда своих сыновей. В Петербурге гораздо более тревожились тем положением, какое Турция могла принять относительно Персии, в которой продолжалась смута и которая должна была укрощать восстания афганцев, с одной стороны, грузин – с другой. В рескрипте Обрезкову в апреле 1752 года говорилось: «По персидским делам трудов и издержек жалеть вам не следует. В том не может быть никакого сомнения, что Порта по своим интересам и единоверию будет под рукою помогать афганцам и не допускать усиливаться грузинцев, которых она с греками не различает. Если мы сами в персидские дела не вступаемся, то не можем не посоветовать и Порте следовать нашему примеру; вы должны внушить турецким министрам, что Порта должна дать персиянам самим уладить свои дела, ибо от них по их слабости турецким границам никакой опасности быть не может. Притом вы не должны подавать вида, что это нас очень беспокоивает, мы только советуем Порте, а приневоливать ее не хотим; повторите турецким министрам, что мы до сих пор грузинцам помощи не подаем, что этот народец не заслуживает внимания такой знатной державы, как Порта, досадовать на них ей не за что. Эти ваши внушения должны вызвать со стороны турецких министров ответ, из которого можно будет что-нибудь извлечь относительно решения Порты».

Обрезков отвечал, что прежняя горячность, с какой хотели помогать афганцам, прохладилась и так как успехи грузинцев не так велики, то и с этой стороны подозрение уменьшилось; народ сильно ропщет, что единоверных афганцев оставляют без помощи, а грузинцам дают усиливаться, но султан, несмотря на то, из принятой системы не выступает. «Я, – писал Обрезков, – предложу Порте советы высочайшего двора, когда достаточную нужду увижу, а без достаточной нужды вместо пользы вред произойти может, ибо все, что ни будет предложено с нашей стороны, услышать неохотно; Порта не может себе представить, чтоб грузинцы не получали помощи от России, и мои внушения только утвердят ее в этом предположении».

В России боялись, чтоб Турция не приняла участия в делах персидских; со стороны же самой Персии были совершенно покойны. Заведенный при шахе Надире флот персидский, который так беспокоил дочь Петра Великого, теперь не существовал более. Осенью 1752 года канцлер доложил императрице о награждении морских офицеров и служителей, которые в 1751 году из Астрахани были посланы к персидским берегам и там тайно сожгли два корабля, построенные англичанином Элтоном. Елисавета велела повесить каждого одним чином и раздать им 3000 рублей.

Между тем движение православного народонаселения в Россию из австрийских областей не могло не отозваться и в областях турецких.

В октябре 1752 года отправлен был Обрезкову рескрипт следующего содержания: «Нынешним летом из Молдавии и пограничных с нею мест некоторые болгары, греки и волохи являлись к генерал-майору Хорвату для осведомления об устройстве нового поселения и о подлинности нашей высочайшей милости; одни остались, другие, осведомясь, возвратились для объявления своим соотечественникам. Между прочими приезжал из Молдавии шляхтич Замфиранович с обещанием, что скоро переселятся к нам из православных народов: болгар, греков и волохов – до тысячи семейств. Надлежало бы за такую ревность не только им не отказывать, но принять с милостию и награждением; только препятствием служит то, что когда волошский господарь станет жаловаться Порте на такой их своевольный переход и прием, то не стала бы Порта требовать их возвращения как перебежчиков в силу 8 параграфа мирного договора 1739 года, где именно условлено возвращать перебежчиков с обеих сторон. Потому вы должны осведомиться у надежных людей, каким бы способом могло быть исходатайствовано у Порты их увольнение; не имеют ли из тех народов некоторые таких привилегий, по которым можно было бы им вступать в чужестранную службу, следовательно, выезжать из отечества? Известно, что не только из волохов (которые, надобно думать, турками не завоеваны, но поддались добровольно и, может быть, на каких-нибудь условиях), но и многие греки в иностранной службе и для купечества в разных местах находятся и вовсе жить остаются с семействами; надобно знать, на каком основании это бывает. До сих пор еще не слышно было, что Порта за таких волохов и греков увязывалась и требовала их назад. По этому примеру можно надеяться, что Порта не станет удерживать и требовать назад и выходящих к нам как христиан, а не магометан; но прежде всего будем ожидать вашего разъяснения. Между тем этих выходцев принимать в наши границы не велено; строение крепостей в Новой Сербии нынешним летом начато не будет, сербы и другие народы по малому их выходу селятся только по границе с Польшею от Архангельского городка к реке Бугу, также по рекам Синюхе и Висе, где и прежде было малороссийское поселение; все это от турецкой границы отошло далеко, о чем вы можете повторить Порте в случае каких-нибудь отзывов».

Обрезков отвечал 1 декабря, что если Порта позволяет своим подданным ездить за промыслами в чужие земли и даже оставаться там, то это происходит вовсе не на основании каких-нибудь привилегий, а по обычаю и нерадению, тем более что таких и немного; и если бы ее подданные стали выходить в Россию без огласки и селиться не так близко к ее границам, то едва ли бы стала требовать их возвращения, особенно не желая выдавать магометан, от времени до времени перебегающих к ней из русских владений. Но не может быть никакого успеха, если б с русской стороны было сделано предложение Порте отпустить христиан добровольно. Выпуск народа из государств делается обыкновенно по двум причинам: или когда государство переполнено жителями так, что земля прокормить не может, или в случае появления какой-нибудь ереси, когда выпуском или изгнанием еретиков хотят предупредить опасность для веры. Но в Турции области пусты, особенно Валахия и Молдавия; в первой, исключая Бухарест, только около 40000, а во второй, исключая Яссы, только до 25000 душ считается. Лучшего способу не нахожу, как чтобы желающие выселиться выходили в небольшом количестве, без огласки, неприметно, и при поселении перемешивать

их с другими народами, и мне уже известно, что молдавский князь, открыв намерение переселяться, устроил заставы по Днестру. Впрочем, для наполнения Новой Сербии народом и чтоб в постройке для охраны этой страны крепостей убытка не было, не благоугодно ли будет вызвать бежавших из России раскольников, которыми наполнены многие превеликие деревни по польской границе и ниже по Днестру.

Мы видели, с каким напряженным вниманием следили в Петербурге за шведскими движениями, как ждали здесь опасного для русских интересов переворота по смерти королевской и готовились препятствовать ему вооруженною силою. В описываемое время туча рассеялась.

В начале 1751 года Панин уведомил свой двор, что медики и на одни сутки не ручаются за жизнь королевскую и что малолетний сын кронпринца Густав помолвлен на дочери датского короля. «Не без основания ожидать надобно, – писал Панин, – что это новое соединение двух дворов, которое производится французскою хитростью, просто не кончится одним мечтательным младенческим стовором, но, конечно, каждый двор будет стараться этим средством достигнуть своих дальнейших видов. Хотя здравомыслящая часть здешнего народа немного себе обещает выгоды из новых обязательств с датских дворов, да и вожди господствующей партии сами знают, как мало им можно полагаться на этот двор, однако они стараются уверить большинство, что Дания при всех случайностях будет действовать с Швециею заодно, чтоб положить пределы усилению России».

25 марта король умер рожею, окончившеюся антоновым огнем. На другой день Сенат, собравшись в комнаты покойного, приветствовал наследного принца королем, и граф Тессин прочел акт клятвенного обещания, который новый король подписал; обещание состояло в том, чтоб управлять по установленной форме и считать своими неприятелями и изменниками отечеству тех, которые будут под каким-либо видом стараться о восстановлении самодержавия. В то же утро граф Тессин пригласил к себе всех иностранных министров, назначивши Панину время часом ранее пред другими. Объявивши о восшествии на престол и присяге Адольфа-Фридриха, Тессин прибавил: «Хотя король не преминет своеручною грамотою уверить ее императ. величество в своем полном признании ее высоких благодеяний, однако просит и вас предварительно удостоверить как ее величество, так и его высочество, своего ближнего родственника, в совершенной своей признательности и преданности, что не опустит ничего, что будет содействовать усилению доброй дружбы и тесного согласия между высокими дворами». Извещая об этом разговоре, Панин прибавляет: «Основательно можно сказать, что мудрое вашего императорского величества в здешних делах поведение достигло своей цели, ибо без этого такой точный акт обнадеживания при нынешнем случае не явился бы. Опыт показал, как прежде, особенно при окончании последнего сейма, при всяких делах мало заботились о напоминании правительственной формы и основных прав: так, в установленных тогда кавалерских присягах трех шведских орденов нет ни одного слова о национальной вольности и правах; всякий может понять, что настоящий поступок вынужден внешним страхом и нимало не соответствует принципам здешнего правительства или, лучше сказать, господствующей партии». Панин доносил, что новый король не имеет ни малейшей склонности к государственным делам, но все удовольствие поставляет в солдатских обрядах: каждый день пополудни, запершись в своем кабинете с

некоторыми командами и офицерами, забавляется приведением в совершенство военной экзерциции. «Я говорю забавляется, – писал Панин, – для того, что тут не о распространении науки или искусства командующих генералов, но в единых мушкетных приемах упражняются, в чем уповательно и впредь большая часть его царствования обращаться будет, так что смело сказать возможно, что сей государь своею персоною не будет страшным соседом».

На извещение о смерти королевской Панин получил в ответ из Петербурга рескрипт, в котором императрица предписывала ему: «Нашим именем дайте знать, что нам весьма приятно было уведомиться о том, каким образом его величество король в начале своего государствования о своей признательности и преданности к нам и нашему племяннику предварительные уверения подать изволил, и что мы именно повелели вам наисильнейшим образом его величество уверить, что мы по толь ближнему свойству как прежде, так и ныне в благополучии его величества и в настоящем возвышении его в королевское достоинство совершенное и истинное участие имеем и равномерно с своей стороны все то поспешествовать охотно желаем, еже бы токмо к распространению доброй дружбы и тесного согласия обоих наших дворов служить могло. Впрочем, собою разумеется, что вам довольное примечание иметь надлежит на поведение и поступки нового короля и министерства: в каких сентиментах они пребудут в рассуждении нашего, тако ж и других дворов, и не возымеют ли тамошние дела иного виду, ибо король, по сие время коронным наследником и под руководством преданного Франции и Пруссии министерства будучи, хотя и не имел к нашей стороне должной аттенции и соответственного нашим благодеяниям поведения, но, может быть, ныне, при совершенном достижении короны, которую он нашим старанием получил, одумается и внутренне побужден будет к нам свое признание возыметь и стараться между обоими дворами наилучшую дружбу и доброе согласие содержать, отчего мы с своей стороны не токмо не удалены, но и весьма бы того желали; яко же для того и вам при всяких случаях как с министерством, так и при дворе королевском хотя с потребною осмотрительностью, однако ж такое обхождение иметь надобно, как бы то наидружественного двора министру принадлежало, и по всякой возможности стараться короля к нашей стороне приласкать, а когда удобные случаи к тому подадутся, то как самому королю, так и министрам пристойным образом внушать, что свойство и собственный королевства Шведского интерес того требует, чтоб Швеция с нами предпочтительно другим державам в постоянной дружбе и добром согласии пребывала; и что она же всегда более от нас, нежели от других сторон, пользы себе ожидать может, а генерально притом и северный покой тем наилучше содержан быть имеет».

Панин передал эти заявления графу Тессину, и тот через несколько времени отвечал, что король слушал их с наичувствительнейшею радостью и что каждый день его царствования будет отмечен новым попечением не только просто отвечать чувствам императрицы, но истреблять малейшие остатки подозрения насчет его чувств, подозрения, которое некогда внушено недоброжелательными людьми. Тессин уверял, что они не имеют ни малейшего сомнения в добрых расположениях императрицы, что подтверждается и декларациею Панина, и донесением шведского министра в Петербурге, который писал, что по поводу перемен в Швеции канцлер отозвался к нему очень благосклонно и откровенно.

«Король, – кончил Тессин, – не преминет стараться своим поведением подкреплять точность и силу договоров между Россией и Швецией. Нам о распространении земли своей помышлять нельзя; мы были бы счастливы, если бы настоящую свою область настолько могли населить людьми, сколько пространство ее требует».

В начале июня страшный, небывалый трехдневный пожар испепелил Стокгольм. Отчаянный народ стал кричать о зажигателях, причем начало повторяться имя русского министра, ибо в толпе не знали о перемене отношений России к Швеции и недавно перед тем схвачен был финляндец Викман, ведший переписку с русским посольством о состоянии Финляндии и о выборе в этой стране сеймовых депутатов. Панин отправился к Тессину, чтоб указать на ту крайность, до которой злонамеренные люди успели довести ненависть к русскому имени, и не время ли уже министерству обратить внимание на происходящую от того помеху укреплению дружбы, к которой показывается теперь столько готовности, и стараться о перемене направления в общественном мнении. Тессин отвечал, что он совершенно разделяет мысли Панина, и предложил ему, не хочет ли он по примеру французского посла иметь караул при своем доме. Панин отвечал, что караул ему вовсе не надобен, что он не имеет причины опасаться народного против себя возмущения и отдает справедливость народу, который действительно мог бы позволить себе какой-нибудь дерзкий поступок, если принять во внимание силу тех враждебных России внушений, какие делались людьми, стоящими выше черни. «Меня одно огорчает, – продолжал Панин, – что при моем личном расположении к Швеции и зная дружбу наших государей, с некоторого времени нахожусь принужденным видеть себя министром между четырех стен; чем ближе дела приходят к своему естественному состоянию, тем сильнее злые люди стараются марать меня в обществе и привели дело к тому, что каждый швед считает простую учтивость со мною государственным преступлением. Я говорю это не с тем, чтоб жаловаться или требовать какого-нибудь удовлетворения, но представляю вам это частным образом, зная вашу благонамеренность». Тессин отвечал обещанием стараться об уничтожении неприязненных к России внушений. Возвратясь после этого разговора домой, Панин не успел еще отобедать, как по всем площадям столицы раздались звуки труб: читали королевский указ, чтоб никто не смел под страхом смертной казни обвинять иностранных министров в зажигательстве.

Вслед за тем Панин донес о перемене положения шведских партий: Сенат начал стремиться к усилению своей власти на счет королевской; главами этой сенатской партии были Гепкен, Пальмстерна и граф Гилленборг. Те же, которые не находили своего интереса в распространении сенатской власти и боялись, что приобретенные ими милости от двора останутся для них бесполезными, думали об устройстве противоположной партии; самым деятельным между такими людьми явился генерал-майор граф Ливен: он старался королевским именем составить партию из военных и из прежних *колпаков* с целью ограничения сенатской власти в пользу короля, особенно относительно назначения в чины и должности. Обе партии старались привлечь к себе французского посла, потому что обе во внешней политике держались одинаково французской системы. Панин писал, что, по его мнению, он должен держать себя тихо и уединенно, чтоб своим движением не помешать злой партии разодраться; он писал также, что не должно

принимать предложения Англии подкупом доставить на будущем сейме ландмаршалство Окергельму, для чего лондонский двор давал 1000 гиней; Панин утверждал, что это поздно и не будет иметь никакого успеха, тем более что Окергельм считается отъявленным врагом короля.

Начался сейм и вместе борьба Гилленборговой – сенатской и Ливеновой – придворной партии, причем французский посол явно стал на сторону первой. Это возбудило к нему холодность в короле, а королева прямо упрекала его в желании мешаться в домашние дела королевства, и противопоставляли его поведению образцовое поведение Панина. «Такая смута, – писал Панин, – могла бы подать надежду вырвать короля из французских рук, если б вокруг его были все добрые люди и если б тому не препятствовало особенное уважение короля, больше же всего королевы, к Пруссии». В декабре 1751 года Панин дал знать, что на сейме никакой опасности для настоящей правительственной формы не предвидится, что неоспоримо должно быть признано плодом мудрого рачения и твердости императрицы; теперь, по его мнению, интересы России требуют только наблюдения над принимаемыми при шведском дворе мерами в политических делах. Из этих дел на первом плане было предложение французского посла Давренкура, чтоб Швеция заключила союз с Францией и Пруссией для возведения на польский престол принца Конти. Об этом сказал Панину австрийский резидент и подтвердили два его приятеля: один сенатор, а другой член секретного комитета. Из их речей Панин уверился, что Франция и Пруссия домогались в Стокгольме новых решительных обязательств против России на некоторый случай. Впрочем, Панин успокаивал свой двор тем, что королевская партия занята внутренними делами и не намерена впутывать свою страну в трудные внешние отношения; король того же мнения, а генерал Унгерн и другие придворные фавориты внушают королеве, что она прежде всего должна иметь в виду пользу своих детей и потому не может предпочитать прусский интерес шведскому. Панин доносил, что горделивое поведение королевы возбуждает всеобщее неудовольствие, не исключая и главных приверженцев ее мужа. Она дошла до того, что начала предписывать им, какие речи они должны произносить в сеймовых собраниях; при всех оборачивалась спиною к тем, о которых узнавала, что говорили против желания королевского; так же обращалась и с сенаторскими женами, и некоторые сенаторы поручили ей прямо объявить, что если она будет продолжать такие приемы, то они будут принуждены запретить своим женам ездить ко двору. Придворная партия не только не оскорбилась, но была очень довольна этим заявлением сенаторов; она думала, что это отучит королеву от самовластных обычаев прусского двора и приучит к шведской людскости.

К Панину приехал полковник Штакельберг и, описав плачевное состояние Швеции, повел речь, что король сам признается, как он обманут сенаторами, и есть большая надежда вырвать его из французских рук, что друзья прислали его, Штакельберга, просить Панина, чтоб тот откровенно высказал чувство своего двора относительно их короля, свое собственное мнение и подал бы нужные советы для перемены политической системы; по их мнению, прежде всего надобно ввести в Сенат старых сенаторов, но против них так много голосов на сейме и в секретном комитете. Панин отвечал, что чувства императрицы к королю те же самые, какие она имела при восшествии своем на престол, и она с радостью готова принять его дружбу, если только он сам ее предложит. Граф Тессин

заставил теперь себя благодарить за то, будто бы спас нацию от великой опасности, грозившей со стороны России; но есть ли малейшая вероятность, что государыня, столько уважающая христианскую кровь, что и преступников смертью не казнит, захотела бы проливать кровь верных своих подданных и невинных шведов? Императрица всеми способами старалась открыть глаза нации: но, не получа никакого успеха, все свое внимание обратила на одно: на сохранение шведской вольности и существующей правительственной формы. Императрица никогда не ожидала нарушения этой формы от самого короля, но ей известны злые замыслы и продажные души людей, в руках которых король до сих пор находился. Теперь эти люди, не получив возможности попрасть вольность и права государственных чинов, стараются по крайней мере присвоить себе преимущества королевские. Императрица никогда не переставала смотреть с сожалением, что родственник ей государь находится в руках собственных злодеев и злодеев Швеции, тем более что у нее нет другой фамилии, кроме голштинского дома. «Что же касается моего мнения о настоящем положении дел, – сказал Панин, – то, признаюсь, не вижу ничего такого, что бы клонилось не только к перемене, даже к ослаблению настоящей системы. Между вами первый человек – генерал Унгерн, который показывает себя ревнителем прав королевских; но он при всяком случае разномыслия старается склонить стороны в пользу принципов французской партии». «Мы сами, – отвечал Штакельберг, – вполне признаем эту робость и медленность генерала Унгерна, тем не менее могу уверить честью и совестью, что он человек благонамеренный и теперь, чувствуя себя оскорбленным и побежденным, сильно желает переменить систему. Сходно с своим кротким характером, он старался устроить дела спокойно и тем легче вырвать короля из рук французской партии; он должен был поступать тем осторожнее, что в нашей теперь королевской партии много людей, преданных французским принципам, и король к этим людям питает еще некоторое доверие. Я должен открыть вам в крайнем секрете, что имею поручение именно от генерала Унгерна спросить вас, можете ли вы без потери времени помочь нам в нашем добром начинании. Мы намерены на сих днях отправить четверых надежных людей в провинции, чтоб после праздников привезти на сейм благонамеренных людей, которые должны дать большинство в нашу пользу; всем известно, что посол французский уже давно дает деньги и обещает дать еще больше, чтоб, закупив большинство, поскорее окончить сейм и предоставить всю власть преданному Франции Сенату. Я со стыдом и горестью должен признаться, что в испорченном и развращенном отечестве моем даже и души покупаются, поэтому и в нашем предприятии только этим способом можно достигнуть большинства голосов. С королем нам нужно обходиться чрезвычайно деликатно: злодей Тессин как хищник овладел им с самого начала и все время упражнял его в сержантской должности, в изучении подробностей солдатской службы, так что этот государь, кроме полка гвардии, ничего не видав своими глазами, так мало мог исследовать сущность дел». Панин отвечал, что он сочтет себя счастливым, если будет в состоянии содействовать их доброму намерению, но для этого ему необходимо видеться с генералом Унгерном. Штакельберг заметил, что велика опасность, чтоб господствующая партия не окончила сейма прежде, нежели с другой стороны примутся надлежащие меры. На это Панин сказал, что если б с такою серьезностью принялись за дело с начала сейма и короля к тому же склонили, то, может быть,

теперь дело доведено было бы до конца. Впрочем, нельзя слишком бояться короткости времени, ибо когда две коронованные главы станут действовать искренно и единодушно, то могут господствовать и над самим временем и в случае нужды созвать и другой сейм.

На третий день поутру Штакельберг явился опять к Панину с известием, что они никак не могли уговорить Унгерна повидаться с русским министром: он с ужасом представляет себе гибельные следствия этого свидания, если противная партия об нем узнает, ибо каждый член секретного комитета дает присягу не видаться с иностранными министрами. Впрочем, Штакельберг уверял, что Унгерн тверд в своем предприятии, и в доказательство показал собственноручную его записку, заключающую пункты, которые должны быть предложены Панину: 1) о вспоможении деньгами для посылки по провинциям; 2) чтоб без потери времени русским полкам велено было придвинуться к шведским границам; 3) издать в Швеции декларацию, что это движение направлено не против двора и народа, но против предосудительного союза Швеции с Франциею и Даниею. Унгерн, по словам Штакельберга, уверял честью, что если посылкою по провинциям составится большинство голосов и в то же время придвинутся русские войска, то над пятью сенаторами – Тессином, Гепкеном, Пальмстерном, Эренпрейсом и Вреде – наряжена будет комиссия, и вдруг переменят систему. «Такие дела, – возразил Панин, – в один день не делаются. Правда, я не вижу для них физической невозможности; но где же основания и побудительные причины, которыми можно было бы склонить русский двор издать означенную декларацию? Дания в союзе с Российскою империею и двор императорский не имеют никакого понятия, в чем состоит здешний союз с Франциею и Даниею, где его предосудительность русским интересам. Правда, ее величество предпочитает шведскую дружбу датской; но важность дела требует особых переговоров, я же во все пребывание мое здесь с генералом Унгерном, кроме погоды, ни о чем не разговаривал и хотя бы однажды имел честь слышать от его величества о желании восстановить тесную дружбу и согласие между Россиею и Швециею».

В начале 1752 года произошло сильное столкновение между королем и Сенатом: Сенат большинством голосов не утвердил офицеров, назначенных королем, а король не утвердил офицеров, избранных Сенатом. Королевская партия все более и более чувствовала необходимость сблизиться с Россиею; чувствовал это и сам король, и Панин замечал, в каком затруднительном положении находился Адольф-Фридрих всякий раз, как с ним встречался: он почти всегда краснел, глядя на него. Наконец, в апреле король назначил Панину секретную аудиенцию: «Не как король, но как частный человек и приятель ваш прошу уверить ее императорское величество в моей совершенной преданности. Мне давно хотелось повидаться с вами; но вы сами знаете, как здесь примечают все мои движения, и мне нельзя было этого сделать, не возбудив подозрения в других державах. Вследствие доверенности, какую питаю к вам, не могу не припомнить о деле несчастного Гольмера. Быть может, при дворе императрицы думают, что Гольмер во время пребывания своего при мне старался в пользу французского интереса; но уверяю вас, что ничего подобного я в его поведении не заметил. Я бы принял как новое благодеяние со стороны ее императорского величества, если бы Гольмер был освобожден». «Я говорю, – отвечал Панин, – с таким государем, который истину, правосудие и честь предпочитает всему, и я бы не оправдал

доверия вашего величества, если бы осмелился скрыть что-нибудь. Вот почему я заявляю пред вашим величеством свое оскорбление, что вы Гольмерово дело поставили новою пробой отношений ее императорского величества, тогда как эти отношения обозначились не в частных делах, а в поступках, касающихся благополучия и пользы всего шведского народа. Вашему величеству известно, что императрица не изволит вмешиваться в голштинские дела и в моей инструкции предписано ни под каким видом до них не касаться, чтоб нисколько не стеснять его императорское высочество в законном управлении отеческим наследием». «Я об этом деле говорил с вами приватно», – прервал его король и, повторив уверение своей преданности к императрице, сказал: «Я знаю людей, которые всегда старались отвратить меня от дружбы к ее величеству и хлопотали, чтоб я французский интерес предпочитал моему собственному; но будьте уверены, что они меня не проведут. Вперед я хочу иметь с вами дело непосредственно: но хотя я желал бы постоянно разговаривать с вами таким образом, как теперь, однако многие вам известные причины не позволяют мне этого делать часто, и потому прошу иметь доверие к сенатору Левенгелюму, посредством которого я буду всегда в состоянии с вами изъясняться откровеннее, чем чрез министерство, а между тем время от времени и здесь в кабинете могу с вами видеться».

Панин счел своею обязанностью представить императрице свое мнение по поводу этого разговора: «Такие отзывы и заявления его величества могли бы убедить, что он уже совершенно вступил на истинный путь, если б мне не было наверное известно, как он еще мало изволит помышлять о своих существенных выгодах; он только ищет, так сказать, своеволия в мелких делах, как-то: в раздаче нижних чинов и должностей и тому подобном, где бы Сенат ему не прекословил. По моему мнению, его величеству надобно еще большие досады претерпеть от сенаторов, чтоб переменить сущность своих чувств. Ваше императорское величество сами усмотреть изволите, как он сам себя открыл приплетением Гольмерова дела; он думал, что простого выражения склонности с его стороны достаточно для исходатайствования всего того, что к его выгоде служить может; а если б эта попытка ему удалась, то он стал бы считать позволенными себе все прихоти, не чувствуя нужды заслуживать знаки расположения своим поведением».

Осенью Панин доносил: «Король ото всех дел отстал и, уединясь в Дротнингсгольме с малым числом придворных, руководится более страстным упрямством, нежели пристойностью и здравым рассуждением; а противная партия этим пользуется к его предосуждению и по провинциям указывает на его своеобычие и упрямство, чтоб публика поставляла свое спасение в ней одной. Было бы гораздо приличнее и надежнее, если б его величество внимательнее занялся делами и противные общей пользе сенатские рассуждения обличал своими письменными голосами, которые потом пред государственными чинами послужили бы важными обвинениями против сенаторов. А теперь Сенат свободно может внушать: посмотрите, как король недоволен, что должен править государством по совету Сената, и предпочитает совсем покинуть дела, чем вести их с сенаторского согласия. Правда, для правильного и последовательного ведения дел необходим хороший и твердый план, а около короля нет людей, которые бы помогли ему в составлении и в приведении в исполнение такого плана. Старые люди уже так знатны чинами и должностями, что не могут надеяться более никаких выгод от короля, а те, которые в малых чинах и ждут своего счастья от

короля, стараются ему угодать, льстить его страстным желанием и боятся подавать полезные советы; да таких советов от них и требовать нельзя, потому что они люди молодые, не имеющие достаточного сведения в делах, и не могут что-либо от себя представлять ни королю, ни королеве, которая еще своенравнее, чем муж, и думает в своем страшном гневе на Сенат, что таким королевским удалением от дел не только Сенат, но и все дела чувствительно наказываются. Королева не может преодолеть своей ненависти к французскому посланнику и его жене и как ни старается прикрыть ее вынужденными приветствиями, однако глаза часто изменяют».

С переменою в шведских отношениях со времени восшествия на престол Адольфа-Фридриха изменялись и отношения датские. 25 мая 1751 года датскому министру в Петербурге графу Линару была сообщена нота, что до сих пор все старания и представления с русской стороны при шведском дворе имели единственную целью сохранение тишины на Севере; новый король издал обнадеживание насчет сохранения существующей правительственной формы, и потому императрица спешит сообщить датскому двору в союзнической откровенности, что она этим обнадеживанием и дальнейшими изъяснениями с шведской стороны вполне довольна и успокоена. Линар хлопотал, чтоб окончены были каким-нибудь соглашением споры между его королем и наследником русского престола по шлезвиг-голштинскому вопросу, и просил для этого посредничества императрицы. В июле сообщена была ему промемория, что императрица с совершенною благодарностью признает союзническую надежду, которую датский король полагает на ее посредничество; она с немалым удовольствием желала б видеть окончание переговоров о голштинском деле, но великий князь признал нужным отложить это дело до другого времени, и потому императрица может только обнадежить короля датского, что голштинские распри ни теперь, ни в будущем не будут иметь ни малейшего влияния на дружественные отношения ее величества к Дании и нисколько их не изменят. Легко понять, какое впечатление должен был произвести этот ответ в Копенгагене: датские министры говорили австрийскому посланнику графу Розенбергу, что из неясности ответа можно вывести то заключение, что великий князь старается протянуть дело до того времени, когда вступит на русский престол и получит средства подкрепить свои претензии оружием. Печальные следствия такого положения для спокойствия Севера, да и великой части Европы можно предусматривать, и потому король датский почти принужден помышлять о системе, посредством которой мог бы привести себя в безопасность от такой страшной грозы. Король уверен, что императрица, как миролюбивая и о благе своих подданных пекущаяся государыня, ничего более не желает, как чтоб этот камень преткновения поскорее был отстранен и разорительная для обоих государств война была предупреждена, но здесь известно, что великий князь некоторыми людьми утверждает в личном нерасположении к датскому королю и потому остается нечувствителен ко всем предложениям, сделанным с здешней стороны. Немалое участие принимает здесь прусский король, который ничего так не желает, как чтоб русский и датский интересы были всегда разделены и чтоб оставалась причина к будущим ссорам между обоими дворами.

Заявления о том, что императрица вполне довольна декларациею нового шведского короля, были вручены одинаково министрам всех дворов,

находившимся в Петербурге, и по этому случаю австрийский посол в письме к канцлеру Бестужеву выразился, что обнадеживание, данное Адольфом-Фридрихом, надобно приписать только твердым и мудрым распоряжениям императрицы всероссийской, и Мария-Терезия велела ему поздравить Елисавету с этим происшествием, доставляющим бессмертную славу последней.

Глава третья

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1753 год

Отъезд Елисаветы в Москву и положение этой столицы. – Пожар в Головинском дворце. – Постройка нового дворца. – Заговор Батурина. – Крестьянские волнения. – Осторожность относительно пытки. – Распоряжения по поводу отмены смертной казни. – Меры против проволочки дел. – Финансовые меры. – Учреждение банка для дворянства. – Уничтожение внутренних таможен. – Заботы о шелковом производстве. – Дела на окраинах. – Сближение канцлера Бестужева с великою княгиней. – Назначение нового канцлера в Вене, графа Кауница, и отзыв о нем Кейзерлинга. – Затруднительное положение русского министра Гросса в Дрездене вследствие ссоры польско-саксонского правительства с князьями Чарторыйскими. – Деятельность Гросса по делу о православных в Польше. – Переговоры по поводу наследства польского престола. – Переговоры относительно Пруссии. – Отношения шведские отходят на второй план. – Начало переговоров с Англиею о субсидиях. – Дела турецкие.

Проходил трехлетний срок, и в конце 1752 года Елисавета начала собираться в Москву. На этот раз она хотела посещать и старый Кремль, почему летом 1752 года в нем назначены были переделки и новые постройки: архитекторы определили сломать палатки, которые были приделаны к Столовой палате и в которых сидели секретари и приказные служители Сенатской конторы. Но следствием этой сломки и вывода Сенатской конторы был целый ряд перемещений: под канцелярию Сената велено было взять верхние покои Вотчинной коллегии и конторы Главного комиссариата, а нижние, под Комиссариатскою конторою и под Юстиц-коллегиею, палаты взять под сенатский архив с Печатною конторою и типографиею; Вотчинную коллегию перевести в нижние департаменты Берг- и Мануфактур-коллегии; а Комиссариатскую контору поместить в тех покоях, где был Судный приказ; Судный приказ вывести туда, где был Сыскной приказ, а последний с колодниками перевести на житный двор у калужских ворот; в Кремле острог и казармы в Сыскном приказе немедленно сломать и построить их на калужском житном дворе и вперед в находящихся в Москве в Кремле коллегиях, канцеляриях и конторах колодников отнюдь не держать, отсылать их в новый острог на калужском житном дворе или держать в других пристойных местах, кроме Кремля; Ямскую контору перевести в Охотный ряд в палаты, где была Полицмейстерская канцелярия, и вместе с Ямскою конторою там же уместить Раскольническую контору и школу, в которой

обучаются архитектории ученики; а в те покои, где была Ямская контора, перевесть разрядный архив; находящихся при Сенате офицеров геодезии и геодезистов, также и школу, в которой обучаются коллегии юнкеры, перевесть в палаты под Ивановскою колокольнею, где был глобус.

Но прежде всего нужно было очистить Кремль; подле Успенского и Благовещенского соборов, пред Грановитую палатую и у Красного крыльца были наложены груды кирпича и других припасов, но, кроме того, щебню, разбитых колоколов и всякого сора было такое множество, что с большим трудом можно было проходить. Сенат предписал своей конторе распорядиться немедленно уборкою всего этого: «Исполнить самым делом, а не через переписку», иначе контора будет отвечать.

Несмотря на свой печальный вид, медленность, с какою оправлялась после пожаров, Москва по центральности своего положения, выгодного в промышленном и торговом отношении, привлекала к себе много людей, которым нужно было запастись и предметами роскоши, и хорошими и дешевыми съестными припасами, и полечиться у хорошего медика, и купить книжек в академической лавке. Пуд печеного ржаного хлеба стоил в Москве 26 копеек, пшеничного – 64, пуд масла коровья – 2 рубля 14 копеек, постного – 19 копеек ведро, пуд говядины – 12 копеек, сажень дров березовых трехаршинных – 1 рубль 60 копеек, пуд оловянной посуды – 12 рублей. Люди, которые не могли иметь крепостных слуг, платили работнице в год по 3 рубля. Лучшее иностранное вино получалось в погребе Маменторфа; в это время вместо венгерского вина начало входить в моду шампанское, которого бутылка стоила в Москве 1 рубль 30 копеек. Фунт чаю стоил 2 рубля, пуд сахару – 7 рублей 50 копеек, кожа – 5 рублей, пуд осетров – 1 рубль, пуд белуги – 80 копеек, пуд икры – 2 рубля 80 копеек, пуд меду – 1 рубль 20 копеек, воску – 8 рублей 50 копеек, пуд ветчины – 50 копеек. Известный доктор Монси брал по 15 червонных за лечение серьезных болезней.

18 сентября 1752 года императрица изволила указать, что намерена в будущем декабре отправиться в Москву, куда, должны следовать Синод, Сенат, коллегии Иностранная, Военная, Штатс-контора, Главная полицмейстерская канцелярия, Дворцовая, Монетная, Ямская, Придворная и Конюшенная конторы и другие места, которые в 1748 году ездили из Петербурга в Москву. 16 декабря Елисавета выехала в Москву, куда приехала 19 числа. В Петербурге главноуправляющим остался сенатор адмирал князь Мих. Мих. Голицын.

К Головинскому двору (т.е. дому, ибо слово дворец тогда еще не употреблялось), где, по обычаю, поместилась императрица в Москве, приделан был осенью деревянный флигель для великого князя и великой княгини. Флигель этот, состоявший из 12 больших комнат, оказался чрезвычайно сыр и неудобен, например, в уборной комнате великой княгини были помещены ее придворные девицы и дамы с их прислугою, всего 17 человек, у которых был один выход – через спальню великой княгини. Императрица, пришедши к великой княгине и увидя, что двери ее спальни беспрестанно то отворяются, то затворяются, служа единственным выходом для 17 человек, велела сделать в их комнате дверь из окна с лестницей на улицу, и бедные дамы должны были за всякою безделицею путешествовать по улице. От тесноты в соседней комнате и спальня великой княгини была наполнена насекомыми разного рода, которые не давали спать.

С восстановлением Кремлевского дворца было много хлопот; архитекторы князь Ухтомский и Евлашев подали планы этого дворца при своих мнениях, что некоторые покои, которые находятся за золотой решеткой, также площадки и под ними погреба так обветшали и большею частью обвалились, что и для осмотра в те места войти нельзя, надобно их разобрать до самых нижних фундаментов и на место разобранного строения никакому уже не быть для предохранения других покоев, потому что строением так затеснено, что в нижние покои и воздух проходить не может. Обер-архитектор Растрелли, осмотрев дворец, согласился с мнением кн. Ухтомского и Евлашева.

В Кремле и Китае-городе запрещено было строить деревянные здания и существующие велено сломать; но надобно было позаботиться о материале для каменных зданий. Генерал-прокурор предложил Сенату отдать кирпичные заводы в ведомство Московской губернской канцелярии, которая должна неослабно смотреть, чтоб кирпича производили все больше и больше и чтоб делали и обжигали его прочно, особенно же чтоб заводчики не возвышали цены. Вслед за этим предложением архитектор кн. Ухтомский донес, что летом велено производить разные казенные строения, в Немецкой слободе отстраивать для Сенатской канцелярии Лестоков дом, в Кремле – сенатское помещение, собор Николы Гостунского, Никитский монастырь, для чего надобно кирпича 900000; на кирпичных заводах, что под Донским монастырем, налицо жженого кирпича до миллиона, необожженного – более четырех миллионов; но заведывающий дворцовым строением генерал-майор Давыдов запретил трогать этот кирпич, как предназначенный на дворцовое строение, и к заводам приставлен караул. Ухтомский просил на означенные казенные строения взять кирпич от разобранных стен Белого города. Сенат согласился.

Но прежде всего надобно было пообчистить древнюю столицу, в которую благодаря долговременному пребыванию двора поехали представители иностранных держав. Генерал-прокурор объявил в Сенате, что сам видел он в Китае-городе близ Триумфальных синодальных ворот на Никольской улице пустые каменные лавки иконного ряда, наполненные счищенным с улицы навозом и грязью, отчего распространяется дурной запах. Сенат приказал очистить лавки. Затем тот же генерал-прокурор объявил, что в Кремле, на Ивановской площади, и при коллегиях, также около Ивановской колокольни страшная нечистота и грязь; послали указы с крепким подтверждением, чтоб грязь была очищена немедленно и вперед не заводилась. Сама императрица приказала Триумфальные синодальные ворота на Никольской улице разобрать, а украшениями их убрать Воскресенские ворота, особенно сделать пристойное украшение около того места, где стоит образ Богородицы (Иверския); около Ивана Великого сажень до 20 сделать плитную площадь и украсить приличными решетками, чтоб внутрь могли ходить только пешие; деревянное строение около церкви Казанской Богородицы (на Никольской) отобрать; примечать такие места, где скрываются воры и тому подобные люди, очистить их и сделать ворота с запорами; кабак, который стоит у Каменного моста (на Рву) к Никольским в Кремле воротам, немедленно снять и поставить в другом месте.

Синодальные Триумфальные ворота, т.е. построенные Синодом ко дню коронации, велено сломать; но красные Триумфальные ворота, сторевшие в пожар 1748 года, велено возобновить в прежнем виде и на прежнем месте архитектору

кн. Ухтомскому, для чего Штатс-контора должна была отпустить 16000 рублей. Где по улицам было старое каменное и деревянное строение и за уступкою заборов во двор выдалось на улицу, велено сломать, а вместо старых, построенных к улицам заборов сделать хорошие решетки. Находящиеся против иконного ряда к Спасскому монастырю каменные лавки и ступени, которыми улица так стеснена, что двум каретам едва проехать можно, велено сломать, а вместо того сделать каменную стенку на счет синодальной Экономической канцелярии. Велено сломать у Пречистенских ворот каменные лавки, которые все обветшали и набросана в них всякая нечистота и мерзость; по большим улицам в лавках наружно запрещено торговать гробами и прочею неприличностью, а пусть держат это внутри лавок.

Нижегородский крестьянин часовой мастер Семен Иванов подал прошение, что часы на Спасской башне ходят очень неисправно; он может их исправить, если его определят к этим часам часовым мастером, и обязывается всякие починки делать из одного годового жалованья, почем прежним мастерам давалось от губернской канцелярии. Губернская канцелярия донесла, что за неимением часового мастера держится часовщиком мастерской Оружейной палаты медного дела Паникадильщиков, который за неспособностью и пьянством был и отрешен от этой должности, но за смертью часового мастера по необходимости опять определен, а жалованья получает по тридцати рублей в год. Сенат приказал отдать часы Семену Иванову до будущего усмотрения.

Велели засыпать колодези на больших улицах и вместо них вырыть на дворах, сломать лубье; запрещено крыть дома соломою. Печальное состояние знаменитого Покровского собора (Василия Блаженного) заставило императрицу дать указ Синоду: так как в Покровском соборе усмотрена крайняя нечистота, иконостасы и св. иконы все обветшали и с икон лики святых послыняли, а можно думать, и в прочих церквях такое же несмотрение, то пусть Св. Синод пошлет всюду указы наблюдать в церквях чистоту, поновлять иконостасы и св. иконы.

Но в то время как старались очищать и украшать Москву, 1 ноября огонь истребил обширный Головинский дворец, единственное здание, способное для императорского помещения, хотя мы видели, как удобно помещались в нем великий князь и великая княгиня. Здание, несмотря на свою обширность, было деревянное, и в три часа его как не было. Императрица переехала в Покровский дворец; великий князь и великая княгиня были помещены в одном из больших домов Немецкой слободы: этот большой по-тогдашнему дом состоял из девяти комнат, по которым ветер гулял свободно, вследствие того что рамы и двери наполовину сгнили, между половицами были щели от трех до четырех пальцев, клопы и тараканы царствовали повсюду.

Решено было немедленно же приступить к построению нового дворца на месте сгоревшего. Строение было поручено генерал-прокурору Трубецкому и сенатору Петру Ив. Шувалову; Сенат распорядился, чтоб высланы были в Москву как можно скорее на ямских и уездных подводах из Ярославля 300 плотников, 70 каменщиков, 30 печников; из Галича – 200 плотников с выбором самых лучших мастеров; все частные плотничные работы в Москве запрещены; плотники получали при дворцовом строении 25 копеек, а лучшие – 30 на день; столяры – 30 копеек, а лучшие – до 40; деньги выдавались понедельно без задержки, о чем и было опубликовано. Для возки лесных припасов велено собрать с Московского

уезда подводы – со ста душ по лошади с роспусками и по человеку с топорами. Через несколько дней нашли, что можно удовольствоваться находящимися налицо в Москве плотниками, и послали указы в Ярославль и другие города, что если плотники не высланы, то не высылать, а каменщиков и печников выслать; выслать также штукатуров из Ярославля и Костромы, по 50 человек из каждого города; во Владимире велено заготовить доски сосновые, вялые и сухие.

Пребывание императрицы в Москве ознаменовано было еще другою неприятностью. Летом великий князь Петр Федорович очень часто был на охоте. Однажды в разговоре егеря сказали ему, что в Бутырском полку есть подпоручик Иоасаф Батурин, который чрезвычайно предан его императорскому высочеству и говорит, что весь полк отличается тою же преданностью. Великому князю было очень приятно это известие, и он стал расспрашивать у егерей подробности о Бутырском полку. В другой раз егеря объявили великому князю, что Батурин просит позволения представиться ему на охоте. Сначала великий князь колебался, но потом согласился, и однажды, когда великий князь на охоте в лесу отъехал от свиты, является перед ним Батурин, бросается на колена и клянется, что признает его своим государем и готов исполнить все, что его высочество ему прикажет. Испуганный этими словами, великий князь пришпорил лошадь и скрылся из виду Батурина. Но через несколько времени те же егеря испугали его известием, что Батурин схвачен и находится в Тайной канцелярии.

Еще в 1749 году в Военной коллегии под арестом содержался *праздношатающийся* подпоручик Ширванского пехотного полка Иоасаф Батурин. Этот праздношатающийся подпоручик – игрок, обремененный долгами, вздумал выйти из своего затруднительного положения государственным переворотом, низвержением с престола Елисаветы и возведением на ее место великого князя Петра Федоровича. Любопытно, что в это самое время начали распускаться обвинения против Алексея Григ. Разумовского с целью выставить великого князя Петра жертвою злобного фаворита и таким образом возбудить к нему сострадание в народе. Разглашали, что Разумовский составил команду из своих малороссиян, которые губили русских; вывез из дворца старинные вещи прежних царей и отослал к матери, которая отослала их в подарок в Польшу; великого князя Петра шесть раз приводил к смерти; держит при себе волшебников-малороссиян (потому что у них в Малой России много волшебников), которые остудили наследника с императрицею. Начальники новой скопческой ереси также с своей точки зрения вооружались против Разумовского; сильные выходки против него делал в своих писаниях Кюменегорского полка прапорщик Иван Попов, толковавший, что великий князь Петр возлюбил последователей старого благочестия, при нем не будет войны; у Петра будет сын, также Петр, воин сильный, который будет царствовать в Мосохе, т.е. в Москве, и будет называться князь Розгимосох; жена у него будет Елена, рожденная в селе близ моря-океана, в северной стране, из простого народа; потомства у этого Петра не будет, потому что Елена не будет с ним жить по брачному обычаю и скоро умрет; а Петр другой жены себе не возьмет, станет ходить по заповедям господним; Петр будет и в Иерусалиме, но умрет в России. При Елисавете малое число избранных гонимо будет едва не вконец. Если б первый царевич (Алексей Петрович) не был убит, то благочестие господствовало бы до конца света.

Подобно прапорщику Попову, и подпоручик Батурич считал нужным для своих целей вооружиться против Разумовского. Он подговорил прапорщика Ржевского, вахмистра Урнежевского, подпоручика Тыртова, гренадеров Худышкина и Кетова, двух пикеров дворцовой псовой охоты и суконщика Кенжина; уговаривал пикеров доложить великому князю, что может он, Батурич, подговорить к бунту всех фабричных, также находящийся в Москве Преображенский батальон и лейб-компанцев. «Только бы его высочество дал нам знатную сумму денег, – говорил Батурич, – то заарестуем весь дворец и Алексея Разумовского, где ни найдем, с его единомышленниками – всех в мелкие части изрубим за то, что от Разумовского долго коронации нет его высочеству; а государыню до тех пор из дворца не выпустим, пока великий князь коронован не будет. И если на эту коронацию не согласятся архиереи, то мы принудим их силою, вытащим, где бы они ни были; станут противиться, то я сам архиерею голову отрублю, а если бунтом нейти, то его высочеству коронации никогда не бывать, потому что Алексей Григорьевич не допускает; поэтому я соберу хотя небольшое число людей, наряжу их в маски, и, поймав Разумовского на охоте, изрубим или другим способом смерти его искать будем. У меня уже собрано людей тысяч тридцать, да и еще наготове тысяч с двадцать; будут нам помогать и большие люди: граф Бестужев, генерал Апраксин».

Суконщику Кенжину Батурич внушал, чтоб тот подговаривал всех фабричных к бунту, шел с ними во дворец, захватил государыню со всем двором и графа Разумовского убил; при этом Батурич обнадеживал Кенжина выдачею суконщикам заработанных денег и награждением, говорил, что он послан великим князем к одному купцу взять 5000 рублей денег и раздать фабричным. Тыртову Батурич говорил, что у него фабричных с тридцать тысяч, с ними нагрянет ночью на дворец, государыню и весь двор заарестует, Разумовского публично убьет: «Есть у меня именной указ великого князя убить Разумовского». Гренадерам Худышкину и Кетову Батурич говорил: «Вот мы хотим короновать его императорское высочество, будьте к тому склонны и объявите своей братьи гренадерам: которые будут к тому склонны, тех его высочество пожалует капитанскими рангами и будут на капитанском жалованье, как теперь лейб-компания». Батурич, Урнежевский, Тыртов и гренадеры прикладывались к образу, клянясь, что если кто-нибудь из них куда попадется, то не скажет ничего о заговоре.

Но прежде всего нужны были деньги, и Батурич с Урнежевским отправились к купцу Ефиму Лукину; Батурич назвался обер-кабинет-курьером и объявил, что прислан от великого князя с приказом взять у него, Лукина, денег 5000 рублей. Лукин отвечал, что недавно приехал из Петербурга, великого князя не видал, а не выдав его, денег не даст. Тогда Батурич написал к великому князю записку латинскими буквами, где открывал о своем намерении, хвалясь, что у него готово 50000 людей. Суконщик Кенжин уже начал подговаривать своих к бунту, что, по его словам, было сделать легко, потому что все суконщики, да и другие фабричные были обижены своими хозяевами, которые не выплачивали им задельных денег.

На доклад о деле Батурина резолюции императрицы не последовало. Худышкин и Кетов посланы были в крепостную работу в Рогервик; Тыртов и

Кенжин – в Сибирь на вечное житье; а Батурина велено содержать в Шлюссельбурге.

Между крестьянами продолжались волнения и в этом году. Московского уезда села Павловского крестьяне донесли на управителя Ивана и прикащика Алексея Матинских, что они из-за взяток запустили доимку и отобрали сборщиковы книги. Назначенная по этому делу комиссия донесла, что крестьяне жаловались напрасно: в излишних сборах виноваты их выборные старосты и сборщики; Матинские виноваты только в том, что взяли себе в почесть 160 рублей. Сенатская контора на этом основании решила: с крестьян доимку взыскать, да и с Матинских взять 160 рублей в счет этой доимки; но когда был послан в Павловское указ об этом, то из крестьян человек до 300, выслушав указ, отреклись повиноваться и объявили, что у них все деньги на Матинских, и не 160 рублей, а близ 3000, что судом они недовольны и пойдут все поголовно в Сенат, а деревни Чесноковой крестьянин Еремеев называл поручика, объявлявшего указ, разорителем, за что поручик посадил его под караул и на другой день при собрании всей волости хотел наказать батогами; но крестьяне не выдали Еремеева, бранили поручика и команду, солдат всех по рукам разобрали и многих перебили; управителя и прикащика всячески ругали и хотели вытащить из сеней и бить, также и земскому от вотчинных дел отказали. Сенатская контора послала с указом своего солдата; но крестьяне не допустили священников расписаться в приеме указа, с двора от прикащика согнали и закричали единогласно: «Мы по этому указу денег платить не станем до тех пор, как дождемся из Петербурга посланных от всей волости просителей». Сенат велел старост и крестьян, главных виновников непослушания, забрать в Москву, исследовать и тех, кто явятся заводчиками, бить кнутом, а прочих высечь плетью нещадно. Оказалось по следствию достойными кнута 17 человек выборных старост и крестьян; для наказания плетью остальных отправлена была команда во 100 человек, чтоб не произошло «вящих каких противностей».

Сенат лишил всех чинов с неопределением впредь ни к каким должностям воеводу, уличенного в поворовке возмущившимся крестьянам: крестьяне села Сороколетова, приписные к заводу тульского купца Лугинина, возмутились и, чтоб быть безопасными со стороны местных властей, послали белевскому воеводе Жедринскому 5 рублей денег; но скоро от воеводы приехал к ним денщик с такими речами: «Если дадите еще 6 рублей, то не опасайтесь». Крестьяне дали 6 рублей воеводе да денщику 2 рубля. После того староста их с другим крестьянином, приехавши в Белев, были у воеводы, объявили ему, что не слушаются Лугинина, на работу к нему нейдут, и дали воеводе 2 рубля да 2 четверти овса, и он велел им подать доношение, а под караул не взял, хотя уже от Лугинина была подана просьба. Когда крестьяне уже прогнали посланную против них команду, староста их был у воеводы по делу о выборе уездных соцких и пятидесяцких, принес денег рубль да барана; воевода и тут не задержал его.

Наказывая воеводу, который мирволил бунтовавшим крестьянам, Сенат в то же время объявлял, что он знает о притеснениях, которые делаются крестьянам, и грозил наказанием притеснителям: «Понеже Сенату известно учинилось, что в губернских, провинциальных и воеводских канцеляриях при даче крестьянам покормежных печатных паспортов чинится великая волокита и берут взятки, того ради приказали подтвердить накрепчайшими указами, чтоб впредь ни малой

волокиты, приметок и задержек чинено не было под опасением немалого истязания и штрафа. Понеже Сенату небезызвестно, что при взятии с крестьян подушных денег определенные к тем сборам чинят великие волокиты и берут взятки, то приказали подтвердить накрепчайшими указами, чтоб не дерзали так поступать».

Действуя в духе времени, в духе царствования, Сенат при следствиях о крестьянских возмущениях соблюдал осторожность относительно пыток. Подполковник Лялин, находившийся в Брянске у следствия над беглыми крестьянами Гончарова, писал, что виновные крестьяне и прикосновенные к делу посадские и прочие чины, зная, что по указу Сената розыска делать не велено, правды не говорят и только время продолжают; Лялин спрашивал, как с такими поступать, пытаться их или пристрашивать батогами. Сенат отвечал: кто именно по доказательствам в противностях оказались подлежащими пытке и по каким подлинным обстоятельствам и правильным резонам, о том, сделав экстракт, показав о каждом человеке порознь с выписками приличных указов и с приложением собственного мнения, прислать в Сенат на рассмотрение, ибо без того точного решения положить нельзя.

Любопытен также доклад Сената императрице по поводу знаменитого указа 1744 года. «По этому указу, – пишет Сенат, – все натуральной и политической смерти экзекуции остановлены и повелено о таких осуждениях докладывать вашему им. величеству. О таких колодниках присланы в Сенат экстракты: об осужденных на натуральную смерть за смертные убийства о 110 человеках; за воровства, разбои и прочие вины о 169 человеках да об осужденных же за разные вины с вырезанием ноздрей на каторгу вечно о 151 человеке, итого о 430 человеках. Да по присланным же в Сенат от прокуроров и из некоторых команд и от ревизоров рапортам (кроме тех мест, где прокуроров не определено, и провинций, и приписных городов, и некоторых же воинских команд) показано содержащихся колодников 3579 человек, о которых дела следствием и розысками еще не окончены, из которых Сенат уповает, и осужденным на натуральную и политическую смерть и с вырезыванием ноздрей вечно на каторгу быть немалому числу, да и всегда оные быть могут, которые все собственному вашему импер. величеству рассмотрению подлежать будут. А понеже ваше импер. величество и кроме оного как иностранными, так и внутренними о распорядках государственных и прочих делами высочайшею своею персоною довольно утруждены; к тому ж ежели и о вышеписанных колодниках, а именно о каждом вашему импер. величеству от Сената докладывать, то никак время к тому доставать не будет, и колодники час от часу будут умножаться и между тем чинить утечки и караульных приводить к пыткам и наказаниям, что уже действительно в некоторых местах по делам и оказалось; ведая же Сенат совершенно высочайшее соизволение, чтоб и за смертные преступления натуральною смертью никого не казнить, того ради всеподданнейше Сенат просит, не соизволит ли ваше импер. величество высочайший свой указ единожды пожаловать, какое вышеозначенным колодникам наказание чинить. Притом же Сенат приемлет смелость и то донести, ежели ваше импер. величество соизволите указать за смертные убийства такое наказание чинить, как в указе за убийство и грабеж шведских подданных учинить повелено, а именно отсечь по правой руке и, вырезав ноздри, ссылать в вечную работу, но такие безрукие ни к каким уже работам действительно быть не могут,

но токмо туне получать себе будут пропитание. Того ради не соизволит ли ваше импер. величество повелеть подлежащих к натуральной смертной казни, чиня жестокое наказание кнутом и вырезав ноздри, поставить на лбу В, а на щеках – на одной О, а на другой Р и, заклепав в ножные кандалы, в которых быть им до смерти их, посылать в вечную тяжелую и всегдашнюю работу, а рук у них не сечь, дабы они способнее в работу употребляемы быть могли». На доклад последовала такая резолюция: «Быть по сему; токмо женам и детям осужденных в вечную работу или в ссылку и в заточение по силе указа отца нашего 1720 года августа 16 дня давать свободу, кто из них похочет жить в своих приданных деревнях: буде же из таковых жен пожелает которая идти замуж, таковым с соизволения Синода давать свободу, а для пропитания их и детей их давать из недвижимого и движимого мужей их имения указную часть».

Число арестантов усиливалось также проволочкою следственных комиссий вследствие того, что обвиняемые подавали беспрестанно подозрения на лиц, назначенных к присутствию в комиссиях именно с целью протянуть следствие в бесконечность. Петр Ив. Шувалов, поставив это на вид Сенату, предложил навести справку, сколько со вступления на престол Елисаветы учреждено следственных комиссий и сколько из них приведено к окончанию; в тех, которые продолжаются, сколько по подозрению, поданному об обвиняемых, переменено следователей: причина продолжительности комиссий откроется, окажется, что злодеи вымышленными доносами не допускают их до окончания; а когда откроется причина, то можно будет ее пресечь, этим число ложных доносителей уменьшится, а невинные будут свободны от напрасного мучительства и разорения. Сенат согласился.

По донесению прокурора в Судном приказе течение дел остановилось за несогласием присутствующих. Сенат поручил Юстиц-коллегии наблюдать над Судным приказом, чтоб течение дел в нем не останавливалось. Сенат должен был вооружиться против преступления, уже предусмотренного Уложением и последующими указами, повелевавшими, чтоб истцу и ответчику перед судьями искать и отвечать вежливо, смирно, нешумно, никого не злословить, не укорять каким бы то ни было касающимся чести оклеветанием. Но теперь в челобитной, поданной в Юстиц-контору, мичман Никита Пушкин назвал противника своего комиссара Крекшина известным вором и проклятым матерью сыном, а Крекшин Пушкина в своей челобитной назвал вором и смертоубийцею, чего оба доказать не могли. Сенат приказал посадить обоих на месяц в тюрьму и публиковать во всенародное известие, чтоб другие не смели того же делать.

Проволочка дел была невыгодна и в финансовом отношении, замедляла сбор пошлин. Петр Ив. Шувалов в то же заседание, когда жаловался на проволочку следственных комиссий, представил, что в судебных местах полагаются с иском пошрины, но все ли они взысканы или не взысканы и нет ли в том какого упущения – о том неизвестно; так не угодно ли будет изо всех находящихся в Москве судебных мест собрать ведомости, сколько положено взыскать пошлин и сколько их взыскано, и которые остались не взысканными, то зачем? Сенат, разумеется, согласился.

Мы видели, как чрез отыскание нового источника добывания соли уничтожено было затруднение относительно добывания и доставки пермской соли. Теперь нашли возможным старорусские соляные заводы, на которые в

Новгородской губернии дров готовилось по 120000 сажень, а соли вываривалось до 216813 пудов в год, для избежания траты лесов вовсе уничтожить, а Петербург, Кронштадт, Шлюссельбург, Новгород, Ладогу, Луки Великие, Торопец, Псков, Тихвин, Порхов довольствоваться одною пермскою солью, которая уже не шла в другие места, довольствуемые элтонскою солью. Но надобно было постоянно бороться с препятствиями в доставке элтонской соли по общим условиям русской народной жизни и по местным условиям восточной уkraine. Соляные подрядчики подали жалобу: наемные на соляные суда рабочие, взяв у них наперед задатки и не вступив в работу, а другие, оставя в пути суда с казенною солью и покинув свои паспорта, убегают. Рабочие выдумали такой способ: договариваются они с подрядчиками на все лето рублей за десять и больше, и в то число по тамошнему обыкновению непременно берут наперед в задаток половину, а другая половина оставляется им на пищу, порук же по себе никаких не имеют, кроме того что отдают хозяевам печатные свои паспорта, а потом увидели они, что им по окончании лета и по поднятии тяжкой работы из остальной половины в дома свои уже принести нельзя столько, сколько наперед задатку берут, и рассудили, что лучше сначала, ничего не работав, возвращаться домой с пятью рублями, чем, пропустя лето, с малою прибылью; печатные же паспорта оставить у хозяев им никакого страха нет, ибо, когда возвращаются домой, никто у них не спрашивает, где они были и паспорта свои где оставили. Иные из них пошли в воровство, разбивают суда и отнимают у работников паспорта, у одного человека паспорта по два и по три, с которыми вторично и третично в работы нанимаются для получения несколько раз задатка; подрядчикам от этого разоренье и соляному промыслу остановка, ибо рабочие уже не по 5 и 10, а по 70 человек с одного судна бегают. Сенат приказал ловить беглых, бить плетью и определять на суда к зарабатыванию подрядной платы; но легко ли было исполнить это приказание?

Не действительнее было распоряжение Сената и по жалобе соляного элтонского комиссарства, которое доносило: летом вольные поставщики соли с Элтонского озера в саратовские и дмитровские магазины подвергались грабительству от кочующих по луговой стороне калмыков, которые отгоняли у них лошадей, волов и делали другие наглые озорничества, и опасно, чтоб этими грабительствами не отвратить охотников от вывозки соли. Писали к находящемуся у калмыцких дел полковнику Спицыну, а тот отвечает, что за непоказанием, чьих именно улусов пограбившие калмыки, взыскать не бессумнительно и для того бы, впредь разведав, писать обстоятельно, какого подлинно владельца калмыки разбойничали. Но такой ответ Спицына никакой пользы принести не может, ибо в случае воровства узнать никак нельзя, какому зайсангу принадлежат воровы, калмыков по луговой стороне кочует множество; они русским людям, которых грабят, о себе не скажут, а грабленным, будучи от них в смертном страхе, о именах их и о владельцах по ромам их узнавать невозможно. Да хотя бы от калмыков и грабительств не было, то не следует им кочевать вблизи той дороги, которою за солью ездят, потому что в соляном сборе бывает множество волов и лошадей, которым надобен полевой корм, и от калмыцкого кочевья и потрав русские люди, едущие за солью, терпят большую нужду. Сенат приказал написать наместнику Калмыцкого ханства, чтоб грабительств не было и пограбленное было возвращено; о том же, допускать ли калмыков до кочевья, решить в коллегии Иностранных дел.

С другим казенным товаром, вином, было немало забот по причине корчемства. Ассессор Надеин донес, что по известиям о находящихся близ города Карачева винокуренных частных заводах ездил он для искоренения корчемства с командою, состоявшею из 12 человек гусар, но при осмотре винокуренных заводов напало на него человек более 100 с винокуренным заводчиком Морякиным и одного гусара убили; Надеин стал отстреливаться, но толпа все увеличивалась подходившими из лесу людьми: на помощь к разбойникам приехал и карачевской таможи выборный ларечный Бочаров с целовальниками, человек более 30: с крайнею нуждою Надеин ушел в Карачев и немедленно потребовал от воеводы прибавочной команды, но тот не дал.

Несмотря на затруднения при продаже соли, в 1753 году отчислено было прибыльных, денег в пользу положенных в подушный оклад 326000 рублей, вследствие чего с каждой души велено было собирать пятью копейками менее. К концу года на монетных дворах в Москве и Петербурге было золота и серебра 1597161 рубль 84 коп.

Мы видели, что в 1733 году императрица Анна велела Монетной конторе давать займы деньги всякого чина людям за 8 процентов в год с залогом в золоте или серебре. После некоторые другие учреждения начали делать то же для увеличения своих доходов: но как видно, эти ссуды были незначительны и не ослабляли того зла, на которое жаловалась императрица Анна, заимодавцы продолжали давать деньги за такие проценты, каких во всем свете не платили, и неудивительно, ибо страховая премия вследствие неудовлетворительного состояния правосудия не могла очень понизиться с 1733 года, да и количество капиталов не могло очень увеличиться. 7 мая 1753 года императрица Елисавета велела Сенату для уменьшения во всем государстве процентных денег учредить Государственный банк из казенной суммы для дворянства, приняв все предосторожности, чтоб деньги могли быть надежны к возвращению. Так как Сенату было известно, что деньги отдаются в проценты из Адмиралтейской коллегии, из Главного комиссариата, из канцелярии Главной артиллерии и фортификации и из Монетной канцелярии, то он прежде всего велел этим местам подать ведомости, по скольку в год отдается денег из казны займы, из каких именно доходов, по каким указам, по скольку берется в год процентов, каким чинам раздаются деньги и что берется в залог.

В описываемом году Сенат разрешил любопытный расход: выдано было 3000 ефимков ревельскому почтмейстеру Гофману, который бил челом, что дед его Фирштен разорился, давая займы деньги содержавшемуся в Ревеле в плену фельдмаршалу герцогу фон Кроа, проигравшему Нарвскую битву. Сенат потребовал справок у Иностранной коллегии, которая представила переводы с писем фон Кроа к Петру Великому, Меншикову и другим; между прочим, в одном письме говорилось: «О случае под Нарвою герцог не ведал, пока под самым окопом были (шведы); Шереметев никакой ведомости не принес, как что чинится; а как шведы пришли, то ушел он с своею конницею и не пришел до боя: что ж мог герцог вяще чинить, когда все солдаты поушли».

Сделан был другого рода расход: выдано было 30000 р. графу Петру Ив. Шувалову за изыскание способа к умножению кабацких и соляных доходов. Неутомимый сенатор не успокаивался. В заседании 16 марта он говорил своим товарищам, что еще 7 сентября прошлого года подал в Сенат письменное

предложение о пошлинах, собираемых с продажного крестьянами хлеба и другого их изделия, о собирании с них мостовщины и о прочем, причем показано, какие крестьянство терпит от него обиды; предлагалось все это обдумать и сделать другое положение, чтобы крестьянство могло получить облегчение и освободиться от обид, для чего и ведомости собраны. Так не соизволит ли Прав. Сенат теперь приступить к рассуждению, чтоб уничтожить все внутренние сборы в таможенных и канцеляриях, усилив портовые и пограничные таможенные сборы, отчего произойдут такие полезные следствия: чрез уничтожение множества сборов народ освободится от излишнего отягощения и задержек; во все внутренние таможи и к канцелярским сборам определяется большое число купцов, которые во время бытности у сборов не имеют возможности заниматься своею торговлею; благодаря этим сборам происходят во всех местах продолжительные счеты, отчего многие люди несут крайние убытки и разорения, начинаются следствия и многие держатся под караулом. Сенат приказал сделать краткую ведомость о сборах. 23 июля Шувалов объявил, что он на время уволен императрицею от присутствия в Сенате для излечения болезни и хочет употребить это время на пересмотр известий о таможенных доходах, и потому просил, если какие известия присланы в Сенат, то отправить их к нему. Сенат согласился.

18 августа Шувалов сообщил Сенату результаты своей работы над таможенными известиями. Разного звания внутренних сборов по пятилетней сложности 903537 рублей, из таможен пограничных привозится и вывозится товаров на 8911981 рубль; если сумму 903537 рублей разложим на означенный товар, то придется на рубль положить по 10 коп. $\frac{1}{8}$ с дробями; если с привозных и отвозных товаров брать по 13 копеек с рубля, то придет сверх желаемой суммы 255020 рублей. «Чрез сей способ, – писал Шувалов, – неописанное зло и бедство, которое происходит крестьянству и купечеству так и многим, конец свой возьмет, ибо ежели себе токмо представим приметки и грабеж, который от сборщиков бывает в разных случаях и обстоятельствах, то довольно уверяет тех бедств и зла пресечение, не токмо неповинных, кои с правдою страждут, но и самых злодеев, склонных и привычных к тому, от погибели их за неимением случая произвести зла по склонности его избавляет, разве на другое какое зло обращение иметь будет, то погибнет. Сколько ж освободятся все места от умноженных бумаг, следствий бесконечных, а судьи, хотя иногда иные и не с умыслу, от непорядочных приговоров, а тем от штрафов и наказания освободятся ж, и самому Сенату великое число умаления дел последует, которое весьма нужно. Главная государственная сила состоит в народе, положенном в подушный оклад. В таком случае уже самая необходимость оный народ на план рассуждения (возводить?), ибо представить и прилежно рассмотреть (должно), дабы чрез что-либо не пришел в крайнюю слабость, отчего и нынешнее его состояние рушиться может; когда же сей народ облегчен будет в разных его обстоятельствах, а особливо отнять бы те случаи, которые от сборщиков бесчеловечными поступками при сборах с крайним отягощением и разорением бывают, то он действительно много в сильнейшее состояние придет, что ж (чем) более в состоянии будет, то неоспоримо сугубая сила во время надобности готова. Примеры: надлежит взять пошлин полушка или деньга, а целовальники берут вместо полушки деньгу, а за деньгу три полушки или копейку, да и в дробях расчислить не можно, а буде давать не станут, то снимают шапки и отбирают рукавицы и опояски. Крестьянин

везет на продажу от Троицы в Москву воз дров, за который возьмет 15 или 20 копеек, и из того числа заплатит в Москве пошлины, в оба конца мостовые, да себя с лошадьёю будет содержать, и затем едва ли привезет домой половину, а в зимнее время будет платить еще пролубное».

Выслушавши это предложение, Сенат приказал: подать ее импер. величеству доклад с представлением, что Сенат то его, г. сенатора, представление во всем за наиболее полезное признает и труд сего государственного дела без похвалы оставить не может, и для того бы оно начать собирать января с 1 числа 1754 года и о том заблаговременно публиковать. 18 декабря императрица утвердила доклад Сената об уничтожении внутренних таможенных и всех *семнадцати* мелочных сборов; товары должны были оплачиваться в одних портовых и пограничных таможнях по 13 копеек с рубля вместо прежних 5 копеек. Так произошло одно из важнейших явлений в русской жизни. Русская земля была давно собрана, но внутренние таможни разрывали ее на множество отдельных стран; уничтожением внутренних таможен Елисаветою заканчивалось дело, начатое Иваном Калитой.

В то время как Петр Ив. Шувалов проводил в Сенате дело об уничтожении внутренних таможен, генерал-прокурор князь Трубецкой хлопотал о поддержании и усилении шелковых фабрик. По его предложению Сенат запретил пропускать из Астрахани шелк за границу, потому что русские шелковые фабрики терпят в нем недостаток. Мануфактур-коллегия представила, что разными купцами привезено шелку в Москву 1306 пуд, а от шелковых фабрикантов объявлено, что им в год шелку-сырцу надобно 1387 пуд, а теперь у них налицо 338 пуд; поэтому привозимый астраханскими мещанами и персидскими армянами шелк, сколько по подпискам фабрикантов нужно, купить весь, часть денег заплатить, собравши с фабрикантов, остальное выдать из казны, ибо фабриканты всего шелку за готовые деньги купить не могут, после чего фабрикантам брать шелк из казны, сколько кому и когда потребно будет, за готовые деньги, а не в долг. Сенат согласился. Потом Мануфактур-коллегия донесла Сенату, что на шелковых фабриках в рисовальных и красильных мастерах немалая нужда, ибо имеющиеся рисовальщики сочиняют рисунки только с вывозных из-за моря образцов, а сами без образца рисунка сочинить не могут; не приказано ли будет мануфактуры действительными мастерами удовлетворить, отчего государству была бы слава, а фабрикантам польза, выбравши из находящихся в школах учеников четыре человека, способных к рисованию, послать их для изучения рисовального и красильного мастерства в иностранные государства на казенный счет. Последний пункт не понравился Сенату; он приказал: Мануфактур-коллегии призвать фабрикантов и объявить, чтоб они выписывали мастеров из иностранных государств сами на свой счет.

Шелковые фабрики нуждались в иностранных рисовальщиках и красильщиках; но были фабрики, которые доставляли вещи, неизвестные в Европе. «Петербургские Ведомости» печатали известия из Москвы, что Троицких медных заводов содержатель и фабрикант Алексей Турчанинов представлен был императрице с произведениями этих заводов: металлическими сосудами и разными вещами голубого, пурпурового, малинового, зеленоватого и померанцевого цветов, которых в Европе доньше не видано. Ее величество за такие усердные в пользу отечества труды и достохвальное искусство пожаловала Турчанинова в титулярные советники. В то же время вошли в моду фарфоровые

табакерки в виде запечатанного пакета с адресом. Берг-мейстер Виноградов объявил в ведомостях всем знатным особам, а особливо придворным обою пола, которые желают иметь такие табакерки, присылать в Петербург к советнику Монетной канцелярии Шлаттеру формуляры, какую кто хочет подпись и на каком языке; цена за табакерку с надписью, кроме обделки, 20 рублей.

На восточной уkraine, в новой Оренбургской губернии, богатой рудами, определено казенных железных и медных заводов не заводить, а стараться, чтоб эти заводы размножались одними частными людьми. Устроитель этого края Неплюев после донесений о сильном ходе торговли в Оренбурге должен был прислать жалобу, что этой торговле начинает грозить опасность, и именно от русских купцов, которые, по его словам, по своему легкомыслию приводят торг в упадок, обманывая азиатцев товарами; Неплюев просил Сенат, чтоб купцы не давали торговать своим именем пахотным татарам, крестьянам и подлому купечеству и подложно не называли их своими прикащиками. Неплюев деятельно очищал вверенную ему область и от другого рода лихих людей: он послал команду по Иргизу и другим речкам по Самарской степи; посланные переловили воров, разбойников, раскольников и других *причинных* людей 484 человека мужского и женского пола, пристанища были все разорены и сожжены; сопротивления при поимке ни от кого не было показано.

На Дону со времен Петра Великого было спокойно. Старый атаман Данила Ефремов, опираясь на милость правительства, управлял самовластно войском, хотя его управление и не всем в войске нравилось, что видно из доноса, поданного на него старшиною Серебряковым. Войско Донское, писал Серебряков, пришло в наибеднейшее состояние и крайнее разорение от наглого нападения, неутолимого лакомства и нестерпимого насилия атамана Данилы Ефремова. Посылаемые от него старшины и прочие его люди вверх по Дону, Донцу, Медведице, Хопру, Бузулуку и во всех станицах делают великие притеснения, станичных атаманов и козаков немилосердно бьют понапрасну и берут большие деньги, которые делят с атаманом, отчего почти все станицы сильно задолжали, бедные козаки принуждены юрты свои, сенокосы и прочие уголья заложить у старшин с большими процентами и горько все плачут, не имея ниоткуда защиты. Старшины не только имение, но и законных жен у бедных козаков отнимают. Жалованья государева присылается на все Войско Донское ежегодно по 7000 рублей да хлеба по 7000 четвертей; из этой присылки атаман раздает по малому количеству хлеба, и то на половину войска, а 56 станицам ни денежного, ни хлебного жалованья не производит. Рыбные ловли атаман у козаков отнял и отдает от себя на откуп за большие деньги; лавки, где съестные припасы продаются, у всех отнял и продает припасы, какую ценою хочет. От его злобы двое старшин, Котлюбанцев и Фальчинский, с Дону бежали неведомо куда. Атаман отдает кабаки откупщикам. Сын его Степан Ефремов, наказной атаман, атамана Терского в тюрьме уморил, и от этого страха восемь человек козаков на Кубань ушли; да он же, Степан, с женою развелся безо всякой вины и женился на другой, а первая его жена пропала. Почти во всех станицах беглых бурлаков умножилось до несколько тысяч, и атаман дает им паспорта. Ежегодно в верховых станицах козаки заготавливают множество леса и водою сплавляют до Черкаска под предлогом, что тот лес надобен на городское строение; но атаман употребляет его на свои постройки. Атаман войсковых старшин в тюрьму и на цепи сажает, и морит безвинно, и

старшинство отнимает, а других сын его бьет смертельно. Атаман и сын его постов не содержат и над постящимися явно ругаются.

Данила Ефремов за старостью отказался от атаманства; императрица уволила его, но на его место назначила сына его Степана. «А также, – сказано в указе, – Данила Ефремов, сам желая ее импер. величеству услугу показывать, представил себя в случаях, бываемых по донскому пограничному месту, против неприятеля Войском Донским командовать и во всяких нужных приключениях распоряжения чинить, и для того ее импер. величество, видя его в воинских и пограничных делах искусство, которому должен он и сына своего Степана обучать, пожаловала его, Данилу Ефремова, за многие его и верные службы чином армейского генерал-майора, под которого командою, доколе он жив, должен быть сын его войсковой атаман Степан Ефремов со всем Войском Донским и в нужных делах по его ордерам и наставлениям поступать, и о всем им обще обстоятельно доносить Военной коллегии. Данилу Ефремову давать жалованье по чину генерал-майорскому с рационами и денщиками из воинской суммы, а для отправления секретных дел дать ему писаря и адъютанта, тако ж сто человек козаков из донских, кого он сам выберет».

Войсковой донской атаман подчинялся генерал-майору. Иная честь была гетману малороссийскому. Разумовский воспользовался пребыванием двора в Москве и уехал туда, надолго бросив скучную Малороссию. Генеральная старшина потянулась за ним; он представил ее императрице, и малороссияне были трактваны у публичного стола: старшина сидела между генерал-майорами, полковники ниже бригадиров, бунчуковые между подполковниками. Кроме этой чести, трудно сказать, что выигрывала Малороссия от восстановления гетманства.

Странная форма гетманского управления была уже анахронизмом; теснейшее сближение Малой России с Великою готовилось, как увидим, уничтожением внутренних таможен. Это знаменитое событие было на первом плане в конце 1753 и в начале 1754 года. В «С.-Петербургских Ведомостях» было напечатано из Москвы от 27 декабря: «От просвещенной ее импер. величества прозорливости не утаилось, что сущительный ее прибыток состоит в прибытке всех ее подданных. По сему премудрому рассмотрению всемилостивейше соизволила ее импер. величество пользе подвластного, к счастью своему, ей народа такие великие короны своей доходы посвятить, которые во все времена да и во всех, не исключая ни одного, государствах как справедливыми, так и весьма важными почитаются. Одним словом сказать, ее импер. величество изволила всякие внутренних пошлин сборы отставить и все внутренние таможи уничтожить, так что внутренне вся толь обширная сия империя вольным портом сделана. Возбужденная чрез то в народе радость так велика и приметна была, что Сенат обойтись не мог всенижайшее свое и должное за толикие благодеяния благодарение ее импер. величеству засвидетельствовать. Почему в навечерие праздника Рождества Спасителя нашего по окончании в придворной церкви Божией службы канцлер как старший сенатор обще со всеми другими именем Сената и всего обрадованного и одолженного народа оное ее импер. величеству всеподданнейше и приносили, на которое ее импер. величество всемилостивейше соизволила сама в ответ сказать, что ее величеству всегда ко особой радости и удовольствию служить возможность пользу своих подданных, хотя б то и с собственным ее убытком было, поспешествовать».

23 января 1754 года купцы благодарили императрицу за уничтожение внутренних таможен; они явились под предводительством магистратского обер-президента Зиновьева и поднесли Елисавете алмаз в 56 крат ценю в 53000 рублей, 10000 червонных да рублевою монетою 50000 рублей.

Канцлер Бестужев в челе Сената благодарил императрицу за уничтожение внутренних таможен. Можно догадываться, с какими чувствами благодарил он за приведение в исполнение проекта врага своего графа Петра Шувалова, проекта, благодетельности которого оспаривать было нельзя. Страх пред усиливающимся враждебным влиянием Шуваловых заставил Бестужева с восторгом пойти навстречу великой княгине Екатерине Алексеевне; будучи также не в ладах с Шуваловыми и Воронцовыми, она сделала первый шаг к сближению с канцлером, который с самого приезда ее в Россию до сих пор был в ее глазах заклятым врагом ее и ее родных; вражда немедленно же превратилась в самые приятные отношения, причем Бестужев с самого начала стал оказывать великой княгине услуги советом и делом.

Эти новые отношения не изменяли нисколько политической системы канцлера, которая по-прежнему состояла в том, чтоб не допускать опасного соседа, прусского короля, усиливаться и, окружая его цепью союзов, быть наготове при первом благоприятном случае «сократить его силы», как тогда выражались.

От 15 марта Кейзерлинг из Вены донес своему двору о конференции, которая у него была с придворным и государственным канцлером графом Улефельдом, имперским вице-канцлером графом Коллоредо и государственным секретарем Бартенштейном. Изъяснения австрийских министров состояли в следующих пунктах: 1) уже несколько лет известно в Вене о видах Франции относительно возведения на польский престол принца Конти, что и было сообщено отсюда от времени до времени союзным дворам. 2) Представлены интриги, которые были производимы и еще производятся французскими министрами в Польше Дезисаром Брольи, Кастерою; также какие меры были приняты с французской, прусской и шведской сторон для разорвания последнего сейма. 3) Упомянуто было об участии короля прусского во французских видах относительно польской короны, о тесном его обязательстве с Франциею, об опасности, которою грозит городу Данцигу прусское соседство. 4) Открыто, что коронный маршал Белинский, палатин равский Яблоновский и госпожа Казановская, происходящая из фамилии Потоцких, служат главными орудиями французского двора; что корреспонденция с Константинополем производится посредством господарши молдавской; что Брольи хвастает составлением большой партии из мелкого шляхетства; что о намерении Конти и в самой Франции известно очень немногим из министерства, в Константинополе никому, а в Польше главнейшим приверженцам, что Франция раздает в Польше большие денежные суммы: палатин равский один получил 100000 ливров. 5) Из всего этого вытекает необходимость для обоих императорских дворов и союзников их постановить меры для охранения безопасности каждого, чтоб первое обнаружение враждебных замыслов нашло готовое сопротивление.

Донося об этих представлениях венского двора, Кейзерлинг настаивал с своей стороны на опасность, которая будет грозить России, если Франции удастся сделать своего принца польским королем, не говоря уже о ее союзниках, из

которых один вздыхает о возвращении потерянных владений (Швеция), а другой помышляет о новых завоеваниях (Пруссия), и каждый имеет свою роль в плане о короне польской. В апреле Кейзерлинг дал знать о важной перемене в личном составе министерства императрицы-королевы: вместо графа Улефельда Мария-Терезия назначила канцлером графа Кауница Ритберга, причем Кейзерлинг писал: «Сколько я из прежнего моего знакомства с графом Кауницом мог его узнать, могу с похвалою отнести о его благонамеренности, благоприличии и правдивости; поэтому надеюсь, что перемена принесет здешним делам более пользы, чем ущерб, а другие, знающие Кауница лучше меня, думают таким же образом».

Иначе отозвался из Дрездена Гросс о тамошней перемене; от 1 марта он сообщал своему двору о размолвке Брюля с Чарторыйскими в таких выражениях: «Жаль, что граф Брюль отменил прежнюю доверенность к князьям Чарторыйским, которые всегда подавали двору благонамеренные советы; причина та, что канцлер литовский отрекся приложить печать к королевской привилегии об уступке какого-то староства, признавая эту привилегию противозаконною; первый министр сам мне говорил об этом с сильным раздражением против канцлера, и я с надежной стороны уведомлен, что он намерен теперь опираться главным образом на зятя своего графа Мнишка, на коронного крайчего, на гетманов коронного и литовского и на других завистников дома Чарторыйских; но так как эти князья и друзья их имеют гораздо более кредита в народе и превосходят своих соперников благоразумием, *то более желательно, чем уповательно*, чтоб эта перемена королю и дому саксонскому была полезна». Перемена, бесполезная королю и дому саксонскому, ставила и русский кабинет в затруднительное положение: с одной стороны, в общих видах русской политики надобно было поддерживать дружбу с королем, втягивать его в теснейший союз, а для этого надобно было ласкать могущественного Брюля; с другой стороны, нельзя было отстраниться от Чарторыйских, которые признавались главами русской партии и были очень нужны для русских интересов в Польше. Эти интересы были прежние.

Гросс должен был подать самому королю представление, что жалобы исповедующих греко-русскую веру в Литве день ото дня умножаются, а представления королевского министерства не производят никакого действия; епископ самогитский завладел Зелецким монастырем, выставив причину, что монахи не старались об исправном содержании монастыря, хотя всем было известно, что тот же епископ никогда не позволял никаких починок в монастыре; униатский митрополит, живущий в Полоцке, отнял у русских в Кричеве три церкви и монастырь Соломерецкий; епископ виленский не позволяет строить и чинить Заблудовскую, Борисовскую и прочие церкви, также Тупичевский монастырь в Мстиславле; по наущению духовенства литовский великий маршал, будучи старостою в Борисове, послал приказ своему управляющему, чтоб тот тяжкими денежными налогами и телесными наказаниями принуждал русских жителей к принятию унии, с угрозою, что ослушники будут выгнаны из города. В ответ на это представление граф Брюль и польский подканцлер объявили Гроссу, что король приказал изготовить рескрипт к канцлеру литовскому, где строго будет приказано оставить русских в покое относительно церквей и привилегий по силе договоров и ни под каким предлогом не препятствовать им починять свои церкви; рескрипт будет за королевскою подписью. Потом подканцлер коронный дал знать

Гроссу о показании литовского маршала Огинского, что Борисоглебская церковь взята в унию по добровольному согласию всех русских обывателей и самого священника; поэтому король решил для открытия истины составить комиссию, в которой должен быть знатный член и из греко-русского духовенства, например архиерей белорусский. По мнению Гросса, эта комиссия могла быть полезна: католики не посмеют так часто принуждать православных к унии под тем предлогом, что последние сами того хотят. Но белорусский архиерей был противного мнения; он утверждал, что от комиссии никакого добра не будет, и требовал, чтоб она была оставлена. «Поэтому я намерен, – писал Гросс, – на время не отзывать более о комиссии, уповаю, что ваше величество благоволите меня наставить, если найдете нужным, чтоб я другим образом поступил, хотя истинно жаль, что обиженным вашим единоверцам в Польше так долго в претерпеваемых утеснениях по причине ограниченной королевской власти и шиканства их соперников невозможно доставить облегчения. Из представленных поляками оправданий с сожалением усмотреть можно, что приступление к унии церковью самым непостоянным в своей вере попам приписать должно. Почему необходимо при оставшихся в Польше и Литве греко-русских церквях определять священников искусных, смиренных и в благочестии твердых, иначе надобно опасаться, что мало-помалу греко-русская религия там совсем искоренится».

Из Москвы Гросс получил ответ, что старания его в пользу единоверных людей все милостивейше апробуются и что назначение комиссии очень приятно императрице, особенно если она будет поручена беспристрастным людям, иначе по известной у римского духовенства ревности к истреблению греко-российской веры, а у шляхетства злобной ненависти православные едва ли получат какую-нибудь пользу от этой комиссии. Гроссу предписывалось приложить еще ревностное старание в пользу единоверных, причем доставлено ему следующее сообщение Св. Синода в Иностранную коллегию: белорусский епископ Иероним дал знать Синоду, что в его епархии гонения на православие производятся в таких обширных размерах, что православных церковей остается уже немного; ни погорелых, ни обветшалых строить и чинить не позволяют; светские владельцы в своих имениях не дают ставленникам грамот на посвящение к церквям; в самой экономии Могилевской королевским универсалом запрещено их посвящать для скорейшего истребления православной веры; в Борисове староста Огинский построил на свой счет униатскую церковь, и замковые солдаты побоями гонят в нее православных; виленский епископ по всей Белой Руси выдал запрещения нигде новых православных церковей не строить и обветшавших не чинить.

Между тем по просьбе английского посланника Уильямса была между ним и графом Брюлем конференция в присутствии Гросса. Уильямс открыл конференцию объявлением, что королю его со стороны саксонского двора внушено, чтоб он постарался о доставлении польского престола наследному принцу саксонскому; он, Уильямс, должен поставить следующие относящиеся к делу вопросы: 1) для возведения на престол наследного принца дожидаться ли кончины королевской или попытаться при жизни его величества насчет назначения старшего сына его наследником? 2) Какие до сих пор сделаны по этому вопросу домогательства у обоих императорских дворов и какие получены от них ответы? 3) Можно ли без явного ниспровержения польской конституции

приступить к назначению наследника? 4) Какими способами можно достигнуть этой цели и каким образом отдалить все препятствия, внутренние и внешние?

Граф Брюль отвечал, что относительно расположения императорских дворов слегка осведомлялись и получены ответы, что они с удовольствием видели бы польский престол в саксонском доме. Присутствовавший в конференции граф Мнишек прибавил, что вследствие крайней зависти между польскими фамилиями нельзя надеяться доставить корону кому-нибудь из поляков и по исключении французско-прусских креатур остается один наследный принц саксонский, который мог бы быть приятен и со временем полезен королевским союзникам. Брюль продолжал, что, без сомнения, гораздо легче успеть в избрании наследного принца при жизни королевской, чем по смерти: если король умрет прежде назначения преемника, то война неизбежна, и война жестокая, потому что вредные виды прусского короля, согласные с французскими, явны, а сила его более прежнего грозна Польше, ибо он, владея Силезиею, приобрел средства с разных сторон утеснять республику и отрезать от нее саксонское войско. Если же при жизни королевской назначен будет преемник, то сомнительно, будет ли война: теперь все европейские державы живут в мире, нарушить который каждая опасается. Франция еще утомлена и истощена последнею войною, флота еще не восстановила, и странно, если бы она явно стала сопротивляться назначению родного брата своей дофины; при жизни настоящего султана турецкого также нельзя опасаться движения со стороны Порты, следовательно, чем скорее принимать меры к назначению преемника польской короны, тем лучше. Правда, по пактам, конвентам королю не позволено предлагать себе преемника; но республика, которая постановила закон, может его и уничтожить для спасения отечества, которое при наступающем междуцарствии подверглось бы разорению и, быть может, было бы и поделено между чужими державами. Гросс заметил на это, что в конституции 1631 года объявлен изменником тот, кто при жизни короля предложит ему преемника: так найдется ли кто из членов республики, который бы посмел начать речь о преемнике. Брюль отвечал, что лучше всего, если бы министры союзных держав на сейме испросили себе публичную аудиенцию и от имени своих государей присоветовали назначить преемника. Надобно, чтобы прежде всего дворы русский, венский и великобританский в глубочайшей тайне согласились относительно необходимых мер, которые должны состоять в том, чтоб прежде собрания сейма русская императрица собрала на лифляндских границах 60000 войска да подле Киева 40000: то же бы сделала императрица-королева на границах силезских, а король английский приготовил эскадру, чтоб препятствовать в случае нужды французским и шведским транспортам. При этих мерах король польский внутри королевства чрез своих приверженцев будет ободрять благонамеренных людей и стараться, чтоб только такие были избраны на сеймиках в депутаты на сейм, разрывая сеймики, на которых можно было бы опасаться противного. При открытии сейма король главным образом будет домогаться, чтоб в маршалы был избран человек надежный и притом приятный своим землякам. Главное дело маршала будет состоять в том, что если дело нельзя будет провести единогласием, то он должен обыкновенный сейм переменить в сейм конфедерации при короле, называемый циркамаестатом; так как на этом сейме решение происходит по большинству голосов, то избрание преемника королю может совершиться в один день. Дело

будет сделано прежде, чем короли французский и прусский о нем узнают; если же они задумают составить реконфедерацию, то союзникам надобно уговориться, какие меры принять к ее ослаблению.

Гросс не ждал добра от движений графа Мнишка, зятя Брюлева, который мимо Чарторыйских старался составить новую придворную партию, включая в нее и Потоцких. «Потоцкие часто его обманывают, – писал Гросс, – таким образом, он прежних друзей королевских теряет или заставит пребывать во вредном бездействии, а новых надежных друзей в таких людях, которые издавна привыкли королевской воле сопротивляться и поступать по французским внушениям, не найдет. Мнишек непременно хочет быть главою партии и притеснять тех, которые не вступают в его виды. Я сам был свидетелем, что когда недавно великий подскарбий литовский граф Флемминг находился здесь, в Дрездене, и граф Мнишек прямо предложил ему отстать от Чарторыйских и когда Флемминг не согласился, то после этого его стали принимать при дворе с явною холодностью. Поэтому я опасаясь, что если поведение Брюля и Мнишка не переменится по возвращении короля в Варшаву, то князья Чарторыйские с своими друзьями, чтоб показать двору силу свою в королевстве, если не явно, то под рукою станут сопротивляться двору; я должен засвидетельствовать, что князья Чарторыйские и преданные им вельможи – люди самые умные и относительно европейской системы самые доброжелательные да, сверх того, самые богатые в Польше, тогда как приставшие к графу Мнишку гетманы коронный и литовский да подканцлер и крайний коронные, подобно самому Мнишку, люди среднего ума, а воеводы смоленский и бельский с крайчим коронным издавна преданы Франции и Пруссии».

В начале ноября Гросс получил от своего двора рескрипт, в котором говорилось, что Кейзерлингу в Вену послано приказание вытребовать от тамошнего двора тайное обязательство такого рода: если прусский король нападет на Саксонию или Ганновер, то Австрия вместе с Россией немедленно же подают помощь подвергшейся нападению стране; Гросс должен вытребовать такое же тайное обязательство у дрезденского двора, что в случае нападения прусского короля на Ганновер Саксония будет действовать против Пруссии вместе с Россией и Австриею. Когда Гросс сделал это предложение графу Брюлю, тот отвечал, что хотя нельзя довольно восхвалить императрицу за попечение об общем интересе союзников, однако у Саксонии с Пруссией только что заключена конвенция относительно прежних споров и потому нельзя ожидать со стороны прусского короля скорого нападения; также, пока английский парламент не понудит своего короля употребить меры против прусского короля за удержание английских капиталов на Силезию, нельзя ожидать нападения Фридриха II на Ганновер. Это нападение сомнительно и потому, что Франция страдает недостатком денег, несогласием министров и опасною ссорой духовенства с парламентами, следовательно, не в состоянии начать войну, а без ее помощи невероятно, чтоб король прусский отважился нарушить мир. Притом из рескриптов императрицы к Кейзерлингу и к нему, Гроссу, не видно, обязался ли король английский, как курфюрст ганноверский, помогать Саксонии в случае нападения на нее: саксонскому двору надобно об этом знать, прежде чем давать обязательство с своей стороны; кроме того, надобно знать, какой ответ получится от венского двора. Если бы генеральный оборонительный союз между обоими

императорскими дворами, Великобританиею, Голландиею, Ганновером и Саксониею был заключен, по которому эти дворы для сохранения общей тишины обязались бы действовать всеми своими силами против нарушителя ее, кто бы он ни был, то в частных тайных обязательствах нужды бы не было. Дрезденский двор просит императрицу всемилостивейше принять в уважение, что если б в нынешних обстоятельствах, когда у Саксонии с Пруссиею конвенция, когда между Ганновером и Саксониею никаких обязательств нет, прусский король проведаль бы каким-нибудь образом (а он хвастает, что ему известны самые тайные происшествия при русском дворе) о данном здешним двором обязательстве в пользу Ганновера, то это подало бы ему случай немедленно напасть на Саксонию, нищую деньгами, войском и крепостями, и разорить ее вконец, тем более что он уже раз объявил, что в случае начатия войны его интерес требует прежде всего привести Саксонию в бездействие.

«Но в таком случае, – возразил Гросс, – в силу тех самых обязательств, о которых идет речь, Саксония будет защищена обоими императорскими дворами и большей для себя безопасности никогда ожидать не может; да и никак нельзя опасаться, чтоб прусский король узнал как-нибудь тайну соглашения». Несмотря, однако, на эти возражения, Брюль остался при своем: впрочем, Гросс писал своему двору, что если венский и ганноверский дворы согласятся дать эти обязательства, то и саксонский легче будет уговаривать.

Отношения шведские, видимо, отходили на второй план. Панин писал из Стокгольма, что продолжительное пребывание в увеселительном дворце Ульрихсдале еще более благоприятствует удалению королевскому от дел, а королева, видя, что ее нежность и красота наводят уныние, упражняется изо всех сил в выдумывании разных забав, чтоб хотя ими сохранить сердце и доверие короля. Так как слабость здоровья не позволяет ей участвовать в охоте и других забавах короля, сопровождать его всюду, то она теперь пристрастилась к музыке, которой прежде терпеть не могла, и во дворце с утра до вечера концерты: королева играет на *клавицимбалах*, а король – на скрипачном басы. Хотя граф Тессин и не может участвовать в придворных концертах, однако правление остается в руках господствующей партии, и король, чувствуя свою беспомощность, скрывая внутреннее неудовольствие, преклоняется перед сенаторами, преданными Франции. Кроме того, лучшие приверженцы короля разъехались по своим местам и около него никого нет, кроме скоморохов и лукавых друзей; среди них майор Ливен, руководимый своею сестрою, упражняется в одном: чтоб сделать свои услуги драгоценными французскому послу и его шайке. Панин должен был признаться, что пока влияние королевы велико; она ласкала патриотов, надеясь с их помощью усилить власть королевскую; но с другой стороны, внушала королю, что это люди неспособные и не могут идти в сравнение с сенаторами французской партии, чрезвычайно искусными в политических делах, отчего король остается во всегдашнем недоумении и потому слабости и, сколько возможно, удаляется от государственных дел, что, впрочем, соответствует и его природе, ибо ни в каком великом предприятии не может найти себе столько удовольствия, как в ничтожных солдатских подробностях; когда он приезжает в Стокгольм для присутствия в Сенате, то, остановясь в своих покоях, употребляет много времени на рассматривание солдатских мелочей своей роты и потом, зашедши в Сенат на полчаса, с поспешностью возвращается к супруге.

В июне Панин писал: «Члены придворной партии стараются склонить короля к перемене системы, чему начальным основанием поставляют возобновление добрых отношений с Англиею, они употребляют все способы, чтоб король сделал об этом предложение в Сенате; король много раз им это обещал, но природная вялость не допустила исполнить обещание, а между сенаторами придворная партия не имеет никого, кто бы мог подать повод к королевскому предложению. Сенатор Левенгельм хотя согласен с придворною партией, но, будучи связан с нею одним честолюбием, не захочет сделать себя предметом ненависти версальского двора. Я, сколько приличие могло дозволить, старался подкреплять этого сенатора в пользу благонамеренных друзей: но теперь прозорливость заставляет от этого отдаляться, ибо тому другой год, как я не получаю никакого наставления о намерениях вашего величества, а дела после последнего сейма, конечно, совсем иной вид получили; их *молодое существо* требует, чтоб с ними поступали с крайнею осторожностью, как с нежными детьми». На это он получил рескрипт: «Мы на благоразумие ваше совершенную надежду полагаем, что вы при столь многочисленных разных в Швеции партиях ваше поведение так устроите, что оно характеру вашему и вашей особе честь и нашим интересам пользу приносить будет. Вам и без того уже довольно известно, что наши намерения главным образом в том состоят, чтоб между обоими дворами восстановить соседственную дружбу и доброе согласие и ничего противного тому по возможности не допускать и стараться содержать мир как собственно с шведским двором, так и вообще на всем Севере, к чему вы давно уже наставления от нас получили, которые остаются неотменными; поэтому вы не можете опасаться быть в чем-нибудь обвиненным, если будете поступать согласно с нашими намерениями; на всякий же случай посылать вам заблаговременно наставления нельзя. Желательно было бы, чтоб в Сенате был хотя один член, который бы подкреплял короля и его партию и действовал против французской системы, да чтоб при короле безотлучно находился человек, который бы внушал ему основательнейшие мысли; но способы для достижения этого отсюда вам предписаны быть не могут. В дальнейшее вам наставление можно написать одно: чтоб вы, не раздражая ни той, ни другой партии, зорко смотрели на все их интриги и происки и предостерегали наши интересы, которые состоят в соблюдении тишины на Севере и в неизменности шведской правительственной формы».

Панин указал на Левенгельма как на человека, способного играть означенную роль в Сенате, и на генерала Дюринга как на человека, который должен постоянно внушать королю добрые намерения; но так как оба они должны действовать согласно с русскими интересами, то необходимо обоим им давать пенсии, именно: первому – в 1000 червонных, а графу Дюрингу – в полторы тысячи рублей.

Восстановление добрых отношений Швеции к Англии принималось в России как дело до высшей степени желанное, ибо дворы русский и английский сближались все теснее и теснее, что входило, как известно, в основание политики русского канцлера. От 20 июля граф Чернышев писал из Лондона: «В обыкновенную мою в прошлую среду бытность у герцога Ньюкестля как только он меня увидел, то спросил, имею ли я какое повеление от своего двора, и когда я ему отвечал, что нет, то он передразнил меня: „Нет, всегда нет, очень жаль! И наш посланник полковник Гюидикенс почти тоже нет к нам сюда по последней почте пишет: с некоторого времени нее письма его так между собою сходны, как будто

скопированы одно с другого“». «Я, – продолжал Чернышев, – не был в состоянии ничего на это ответить, и так как другой материи для разговора не было, то вся конференция наша этим и кончилась, продолжаясь не более двух минут. Так как с некоторого времени все свидания мои с этим министром не были продолжительнее, то это меня не удивило; но я боюсь повреждения интересов вашего величества в том отношении, что сам герцог высказал мне свое мнение, будто я не пользуюсь доверием своего двора. ибо давно уже не представляю ему никаких сообщений не только относительно новых предложений лондонского двора о содержании русского войска на лифляндских границах, но и о других предметах». Предложение о содержании русского войска на лифляндских границах и о движении его в прусские владения в случае нападения Фридриха II на Ганновер было сделано Гюидикенсом 27 апреля; посланник изъявлял надежду, что императрица даст требуемую помощь, тем более что и венский двор согласен дать ее. 7 мая канцлер читал императрице по этому поводу свое *слабейшее* мнение: «Происшествие дел, к гремящей повсюду ее императорского величества славе, показало, колико прямое соблюдение европейского равновесия и тишины от ее повелений зависело, ибо, пока ее величество, так сказать, несколько индифферентным оком на раздиравшие Европу замешательства взирать изволила, все видели, что военное пламя лишь больше разгоралось и натуральные ее импер. величества союзники до последней крайности приходили. Франция гордилась даже и выслушать какие-либо предложения, кроме тех, кои она другим повелительно налагать хотела. Король прусский тем же самым временем вышел из пределов своей моры и, отхватя богатую и обширную Шлезию, но богатясь еще не меньше разорением и пограблением Саксонии, всем и наисильнейшим своим соседям тягостен и опасен сделался. Шведы хоть немощны, однако ж наполнялись замыслами, а особливо о восстановлении самодержавства. Напротив же того, сколь скоро соизволила ее импер. величество в европейские дела с большею силою вступиться, поставя сперва за субсидии (которых в два года без мала миллион рублей чистыми деньгами в казну ее императ. величества получено кроме тех, что помощный корпус ходил) знатный обсервационный корпус войск и больше отправя потом и действительно другой на помощь морским державам: тотчас все состояние европейских дел весьма другой вид получило. Король прусский не учинил уже такого ж в Богемию впадения, каким он в 1743 году Францию из лабиринта вывел и принца Карла из Эльзаса назад чрез Рейн перейти принудил. Франция, лишаясь чрез то действительной помощи сего сильнейшего и подлинно нужного ей помощника, а паче увидя поспешающий против ее морским державам на помощь корпус войск ее императ. величества, гораздо умереннейшими свои запросы сделала. Итак, помянутый корпус не ходил больше, как только чтоб славу оружия ее импер. величества по всей Европе разнести, ласкательный титул европейской миротворительницы монархине своей, возвращаясь назад, в дар посвятить и знатные суммы денег как с собою привезть, так и здесь отсутствием своим в казне ее императ. величества сберечь. Все сие признает уже целый свет, и особливо ныне не признавать не может, когда дальнейшее дел происшествие подтвердило, что единственно мудрым ее императ. величества резолюциям приписывать надобно и дарованную на время Европе тишину, и покой, в котором король прусский сам остался и своих соседей оставил: Самыми настоящими делами оно доказывать нетрудно, но коротко и ясно сказать

можно: что, как только начали в прошлом году из стоявших в Лифляндии войск убавку делать, король прусский тотчас поднялся саксонцев даже нападением угроживать: а как еще минувшею зимою помянутая войск убавка и знатнейшею учинена, то, нимало затем не мешкав, завел он настоящую с Великобританиею распрю, угроживая притом атакowaniem Ганновера. Что он и действительно на сие поступить готов и в состоянии, оное само собою доказывается прежним и настоящим его поведением, предприимчивым, отважным и властолюбивым нравом, содержанием во всегдашней к походу готовности войск его да и самую почти надобностью упражнять их в военных трудах и подвигах, будучи число их так велико, что превосходит нужное к собственной его безопасности».

«Излишне бы толковать, коль вредительно интересам ее императ. величества усиление короля прусского. Всему свету знакомая история то показывает: дед и отец его, не имевши толиких сил поблизости к России, не гордиться и ссориться, но союза с нею искать принуждены были, следовательно, и сим союзом силы российские прирастали, по меньшей мере с той стороны опасаться нечего было. Напротив уже того, какая великая разность! Сей самый союзник, или по меньшей мере для России индифферентный, или же, лучше сказать, от нее зависевший, двор сделался ей таким соседом, который всех опаснее и толь больше, что, соединясь неразрывными и непременимыми интересами с Франциею, его всегдашним и натуральным России неприятелем, почитать должно. Лзя ли подумать, чтоб он от Франции отстал, когда ни та без него, ни он без нее устоять и себя сохранить не могут. Без Франции давно уже отняли б у него Шлезию назад; а и без него при переходе принца Карла за Рейн думать надобно, что в Акене заключенный мир иногда внутри Франции заключен был бы».

«Одним словом, чем сильнее он, тем нужнее Франции, тем больше союз его с нею тверд и тем более России он вредителен и опасен. Да таким быть он желает и ищет, правда, и действительно таким уже есть; но чтоб еще больше быть, то нет лучшего пути и способу, как разорение Ганновера. Область ему весьма сручная и смежная, с его стороны открытая и никаких крепостей не имущая, а напротив того, собою, а еще больше хранимым тамо великим король аглинского сокровищем так богатая, что ежели он находящиеся в Ганновере со сто миллионов наличных денег схватит, то можно ему будет теми одними деньгами двадцать лет самую сильную войну производить. Куда б он тогда оружие свое ни обратил, оное равно и всегда интересам ее импер. величества вредительно и опасно, а толь больше, когда дальновидные его с Франциею замыслы уже довольно известны. Проекты их открыты и со всех сторон подтверждаются, чтоб принца Контя на польской престол возвести. Королю прусскому сие делать надобно; но станет ли он даром, не выговоря взаимных себе выгодностей? Курляндия его брату нечаятельно, чтоб довольным награждением показалась, и так, конечно, и польская Пруссия ему ж предопределяется. Каков он тогда России сосед будет, оное всякому судить оставляется; но к сохранению себя при сих авантажах не надобно ли ему искать ближнего и достаточного союзника? Франция у него есть; но хороша она для венского двора; а от России, конечно, нужна им обоим, а ему больше Швеция. В союзе с ними она и находится, а к России по временам то явным, то внутренним, а всегда постоянным и злобным неприятелем есть. По сему непремennomу правилу, что всегда стараться надобно не токмо о сохранении, но и о усилении своего союзника, дабы он не в тягость, но полезен был, не станут

ли они стараться Швеции потерянные и России уступленные провинции доставить? Ручаться в том никто не может, только бы конъюнктуры им хотя мало способными к тому показались. Когда ж им лучших и ждать, буде не тогда, как, разоря Ганновер, король прусский тамошним сокровищем набогатится! Вся Европа видела, что он ни шлезские великие доходы, ни с Саксонии содранные миллионы в клад не клал, но восемьюдесятью тысячами войска свои умножил, которые одними шлезскими доходами, сколько известно, содержатся».

«Что интересы и слава ее импер. величества неотменно требуют скорою помощью спасти и защищать такого союзника, который ей толь натурален и надобен, как король английский, оное само собою понятно, а особливо что подаваемая ему помощь всемерно столько ж для Ганновера важна, сколько для самой России ныне и для передо выгодна, когда токмо она с надлежащею поспешностью дана и негоциация до своего совершенства с крайним секретом производима будет. Почти ручаться можно, что сколь скоро заключаемая о сем конвенция ратификуется и отправленным указом о собрании войск в лагерь на лифляндских границах и о приготовлении к походу галер известною сделается, то, конечно, тотчас король прусский замыслы свои отставит и Ганновер также в покое пребудет, как, наконец, в последнюю войну Богемия и со всем войском обнаженная от него, однако ж, в покое оставлена была, когда войска ее импер. величества на тех же лифляндских границах собраны находились. Так не славно ли будет для ее импер. величества, что одним движением ее войск разрушаются все противных дворов замыслы и сохраняются ее союзники; меньше ли притом полезно, когда за сие одно Англия пропорциональные субсидии платить станет? Пускай бы и действительно до того дошло, что король прусский Ганновер атакует и войскам ее импер. величества по силе заключенной о том конвенции в Пруссии диверсию сделать надобно будет, не усматривается и в том отнюдь никакого несходствия. Усердным и ревнительным генералам желанный доставится случай к оказанию и своего искусства, и храбрости; офицерство, которое и в последний поход друг пред другом наперерыв идти искало, радоваться ж будет случаю показать свои заслуги. Солдатство употребится в благородных, званию его пристойных упражнениях, в которых они все никогда довольно ексерцированы быть не могут».

Императрица, выслушав предложение Гюидикенса и министерское мнение, приказала: 1) так как венский двор имеет не меньше интереса в защищении Ганновера, как и здешний, и хотя английский министр предъявляет об обнадеживании со стороны венского двора, однако для лучшей надежности осведомиться в конференции с бароном Претлаком и английским министром, каким образом в этом деле венский двор хочет помогать английскому двору. 2) Так как выставленное на лифляндских границах войско может быть употреблено на диверсию в Пруссию, а на его место должно быть выставлено другое войско, то спросить у английского посланника, что его двор заплатит за это новое войско. 3) Потребовать внесения в договор, что если Пруссия, злобясь на Россию за помощь Ганноверу, нападет на нее, то Англия обязывается во все время войны платить России по миллиону голландских ефимков ежегодно, и если в то же время Швеция нападет на Россию, то Англия на помощь последней высылает свой флот; если же нападет одна Швеция, то Англия помогает России кораблями или деньгами. Началась пересылка проектов и контрпроектов конвенции. В

Петербурге происходили конференции между русским канцлером и представителями Австрии и Англии по поводу Пруссии; на другом конце Европы, в Константинополе, происходили совещания представителей России, Австрии и Англии по поводу интриг французских. Французский посланник предложил Порте, чтоб она, во-1, договорилась с Францией о мерах для защиты польской вольности и, во-2, возобновила союз с прусским королем; при этом француз выставил на вид опасность, какая грозит Порте от новых сербских поселений за Днепром. Последнее указание привело Обрезкова в большую тревогу: но он был успокоен ответом Порты, что она заботится о польской вольности и по некоторым причинам должна отложить заключение союза с Пруссией.

Глава четвертая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1754 год

Меры для составления Уложения. – Учреждение Купеческого банка. – Постановление о выдаче беглых. – Уничтожение внутренних сборов в Малороссии. – Комиссия об Уложении. – Положение Судного приказа. – Помещичьи усабицы. – Столкновение церковных крестьян с причтом. – Неприятная переписка между Синодом и Сенатом, между Сенатом и Адмиралтейскою коллегиею. – Положение новоучрежденного Купеческого банка. – Продажа соли. – Меры относительно повивальных бабок. – Обширный проект Петра Ив. Шувалова о сохранении народа. – Рождение великого князя Павла Петровича. – Письмо канцлера Бестужева к брату Михаилу Петровичу. – Последний не перестает сердиться на брата. – Дело о переселении черногорцев в Россию. – Затруднительные переговоры с Польшею по делу о выдаче беглых, по курляндским делам и по делу Чарторыйских. – Продолжение переговоров с Англиею о субсидном трактате. – Столкновение с Турциею по поводу строения крепости св. Елисаветы.

Елисавета пробыла в Москве и первые четыре месяца с половиною 1754 года и только 19 мая возвратилась в Петербург. Но удобства зимнего пути заставили императрицу еще 3 января объявить, что сама она отправится в Петербург в мае месяце, а все канцелярии пусть отправляются последним зимним путем, также и из членов их, кто пожелает. Последним распоряжением относительно Москвы было приказание снести построенный близ Красных ворот комедиальный немецкий дом.

Если пребывание в Москве 1753 года ознаменовано было знаменитым указом об отмене внутренних таможен, то и пребывание 1754 года было ознаменовано также важными распоряжениями. Уже несколько лет императрица не присутствовала в Сенате; но тут два раза посетила его. 11 марта собрались в Сенат президенты коллегий, канцелярий и приказов, вице-президенты, главные судьи и члены и подали мнения о происходящих в судах спорах о записке спорных речей в особые тетради и о взятии экстрактов из нерешенных дел в Юстиц-коллегию. В десятом часу в Сенат вошла императрица, и эти мнения слушаны были в ее

присутствии. Во время слушания этих мнений рассуждали: когда по судным делам челобитчику или ответчику дойдет до объявления крепостей, то из них некоторые, особенно ябедники, чтоб дело протянуть и к решению не допустить, показывают, будто крепостей при них нет, будто с этими крепостями люди их посланы для сыску беглых крестьян в Астрахань и другие дальние города; а иные объявляют, будто крепости у них и вовсе пропали или люди, бежав, покрали: другие же сказывают, что во время пожаров сгорели.

Императрица, рассуждая с немалым сожалением о своих подданных, что иные при всей справедливости их дела чрез разные коварные и ябеднические вымыслы должного себе удовлетворения и скорого в делах своих решения получить не могут, а между тем есть и такие, которые продолжают время необъявлением крепостей, полагала, чтоб всякого чина люди хранили крепости, как самые нужные бумаги, и в случае пропаж и утрат в пожарное время брали выписи из присутственных мест и впредь никакой отговорки не представляли.

Главный судья Судного приказа Юшков упомянул, что беглых крестьян велено отдавать по Уложению, по писцовым и переписным книгам 135, 136, 154 и 155 годов, а эти книги были составлены задолго до Уложения, и теперь не только детей и внучат, но и правнучат этих беглых, но и дальше лет за сто и более ищут, и один помещик по своим, а другой по своим деревням имена подбирают, и приводные из страха, не зная, кому достанутся, говорят так, как приводцам надобно, и, кто сначала приведет, того и сказываются, а когда того же беглого приведет другой соперник, то станет называться его крестьянином, и в переменных речах доходят до пытки и кровопролития; а если бы самого истца или ответчика спросить под присягою, подлинно ли это их прадедов или дедов люди и крестьяне, то присягнуть бы не посмели.

Это замечание подало повод к рассуждению, что сомнительно, чтоб приведенные из бегов как подлые люди могли помнить свою родословную, да и после означенных годов были новые переписи, и потому надобно определить, по каким позднейшим переписям отдавать беглых для избежания затруднений и пыток от разноречий. При этом императрица прибавила, что не только подлые люди, но и знатные, оставшиеся после отцов и матерей в малолетстве, без справки не могут указать свою восходящую линию.

Тут сенатор граф Петр Ив. Шувалов обратился к императрице с такими словами: «Для совершенного пресечения продолжительности судов нет другого способа, кроме указанного уже вашим императ. величеством, когда вы изволили подтвердить указы родителей своих и их преемников, а которые с настоящим временем не сходны, то повелели разобрать Сенату. Хотя мы разбором этих указов и занимаемся, но нельзя надеяться, чтоб мы удовлетворили желанию вашего импер. величества, если будем следовать принятому порядку, ибо никто из нас не посмеет сказать, чтоб он всякого департамента дела знал в такой же тонкости, как знают их служащие в тех местах, которые в совершенстве знают излишки и недостатки в указах, затрудняющие их при решении дел. И потому каждое место должно разбирать указы, относящиеся к подведомственным ему делам, и, пока этого не будет, нельзя ожидать окончания Уложения, над которым велел работать Петр Великий, для которого при императрице Анне было собрано дворянство, но распущено, ибо не принесло никакой пользы. Ваше величество с начала своего государствования, тому уже 12 лет, как изволили приказать нам заняться этим

делом: но, но несчастьем нашему, мы не сподобились исполнить желание вашего величества: у нас нет законов, которые бы всем без излишка и недостатков ясны и понятны были, и верноподданные рабы ваши не могут пользоваться этим благополучием».

Выслушав это мнение и выразив немалое сожаление о своих верноподданных, которые страдают от разных ябеднических вымыслов, императрица изъявила такое свое намерение, что преимущественно пред прочими делами надобно сочинить ясные законы и тому положить немедленно начало. Потому рассуждала, что нравы и обычаи изменяются с течением времени, почему необходима и перемена в законах: наконец, заметила, что нет человека, который бы в подробности знал все указы, относящиеся ко всем департаментам, и потому мог бы отвратить все излишки и дополнить все недостающее, разве бы имел ангельские способности.

С этими словами императрица встала и вышла из собрания в первом часу пополудни. После нее Сенат определил приступить к сочинению ясных и понятных законов.

Еще 23 февраля сенатор граф Петр Шувалов предложил Сенату: при Петербургском порте ныне курс на российские деньги состоит высокий, и чрезвычайные проценты давать должны для того, что в обращении в Петербурге денег имеется не довольное число и российские купцы наличных денег мало имеют, отчего и коммерция может в упадок прийти, и в платеже внутренних пошлин по 13 копеек с рубля будет недостаток; а на монетных дворах капитал состоит в немалой сумме без всякого плода; того ради для одного купечества банк до полмиллиона и на первый случай хотя до 200000 рублей определить и отдавать торгующим в Петербурге купцам из процентов не менее месяца и не более полугода. В марте Сенат посвятил шесть заседаний суждению по поводу именного указа об учреждении для дворянства государственного банка и предложения Шувалова об учреждении для купечества банка. Решено подать императрице доклад об учреждении дворянского банка из денег, собираемых с вина, в 750000 рублей, а для купечества из капитальных денег, находящихся на монетных дворах, в 500000 рублей; из первого давать только русским дворянам, а иностранным – таким, которые обязались быть в вечном подданстве России *фазалами* (вассалами) и владеют в Великой России недвижимыми имениями; из второго одним русским купцам, торгующим при Петербургском порте.

В мае перед отъездом из Москвы Сенат определил, чтоб беглых отдавать по сказкам с 1719 года; рассмотрел межевую инструкцию, и решено быть при Сенате Главной межевой канцелярии, в которой присутствовать генерал-лейтенанту Фермору, действ. стат. советнику Петру Квашнину-Самарину и сенатскому обер-секретарю Александру Глебову. 12 мая императрица в другой раз присутствовала в Сенате и апробовала сенатское решение о выдаче беглых, межевую инструкцию, учреждение обоих государственных банков. 13 том же заседании Елисавета подписала указ, служивший сильным противоядием восстановлению гетманства в Малороссии: соответственно уничтожению внутренних таможен в Великой России уничтожены внутренние таможенные сборы, или так называемые *индукта* и *евекта*, в Малороссии «для уравнивания свободностью малороссийского, равно подданного ж ее импер. величества

народа». Так достойно, хотя и бессознательно, был отпразднован столетний юбилей присоединения Малой России к Великой в 1654 году.

По возвращении в Петербург занялись возбужденным в Москве вопросом об Уложении. Сенат приказал для лучшего и скорейшего рассмотрения Уложения и указов, по которым бы сумнительства пресечены, недостатки дополнены и излишки исключены были, учредить при Сенате комиссию и в оной заседать генерал-майору и генерал-рекетмейстеру Дивову, Юстиц-коллегии статскому действительному советнику Эмме, стат. советнику Безобразову, стат. советнику Юшкову, коллежскому асессору Ляпунову, десьянс-академии профессору Штрубе и магистратскому бургомистру Вихляеву; иметь им рассуждение о подлежащих делах до Юстиц- и Вотчинной коллегии, до Судного и Сысного приказов и до порядочного произвождения в судах магистратских и ежели из того что касаться будет к духовенству, тогда к общему положению требовать от Синода духовных персон, прочим же коллегиям и канцеляриям иметь рассуждение по тем одним делам, которые до тех касаются, изыскивая, отчего по обстоятельствам нынешнего времени в течение оных происходит продолжение, и обо всем том с ясным описанием довольных резонов сочинить на всякую матерю один указ. Генерал-майору Степану Салтыкову да полковникам князю Григорию Мещерскому и Степану Языкову иметь рассуждение как по делам, касающимся Военной коллегии, так о козаках, калмыках и о всех легких войсках: о делах же прочих коллегий и канцелярий сочинить о разных материях пункты: по Провиантской канцелярии полковнику Луке Волкову, по комиссариату тайному советнику Кисловскому, по Кадетскому корпусу полковнику Алексею Мельгунову, по Артиллерии подполковнику Корнилию Бороздину, по Инженерной канцелярии подполковнику Ельчанинову, по Ревизион-коллегии коллежскому советнику Ивану Горчакову, по Камер-коллегии вице-президенту Козьмину, по Статс-конторе коллеж. советнику князю Егору Амилахорову, по Корчемной канцелярии коллеж. советнику Алексею Федорову, по Соляной главной конторе коллеж. советнику Алексею Сергееву, по Вальдмейстерской статскому советнику Макару Баракову, по Канцелярии от строений коллеж. советнику Дмитрию Лобкову, по мастерской и Оружейной палате коллеж. советнику Алексею Аргамакову, по Камер-коллегии коллеж. советнику Сергею Меженинову, по Берг-коллегии коллеж. советнику Никифору Клеопину, по Мануфактур-коллегии вице-президенту Геннингеру, по Монетной канцелярии стат. советнику Василью Неронову, по конторе Потешной коллеж. асессору Дмитрию Ладыгину, по полиции коллеж. советнику Ивану Козлову, по Ямской канцелярии коллеж. советнику Льву Василевскому, по конфискации коллеж. советнику Федору Нащокину, по Академии наук коллежскому асессору Тауберту, по Медицинской канцелярии профессору Шрейберу, по Тайной канцелярии обер-секретарю Хрущову, по Раскольнической конторе коллеж. советнику Алексею Яковлеву. Когда в Сенат будет подан план упомянутой комиссии, то во все коллегии и канцелярии послать с него для ведома точные копии, дабы уже по тем материям назначенные по разным коллегиям и канцеляриям персоны не имели нужды более трактовать, а сочиняли б о таких делах, о которых в упомянутом плане не будет предписано. Губернским канцеляриям сочинять пункты по одним таким материям, которые по состоянию тех губерний к пользе общенародной быть могут.

Медленность в судных делах возбуждала всеобщие и громкие жалобы, и вот Судный приказ подает в Сенат донесение: из неоконченных судов сего января 14 имелось в один день сроков по 40 делам, а в приказе судебная палата длиною 8, а шириною 4 аршина, и 14 числа для записки в оную палату вместилось с крайнею теснотою только 7 судов, а прежде записывалось в одно время вдруг судов по 20, сколько когда приказных служителей случится; во время записки этих семи судов, что истец и ответчик в суде говорят, всех их речей судьям точно слышать невозможно, во время же тех судов записки между судящимися происходят споры, которые при той же записке собранием разбираются: за малым числом секретарей и приказных служителей бывает у каждого повытчика в один срочный день судов от трех до семи и более, из которых повытчики записывают по одному суду; теперь в приказе у дел секретарей четверо, а три человека в Юстиц-коллегии под следствием; всего приказных 31 человек, в том числе старые и дряхлые и к делам неспособные; все секретари и приказные служители без жалованья.

Недостатку в приказных служителях в некоторой степени помогло уничтожение внутренних таможен: приказные, употреблявшиеся здесь, немедленно были распределены по другим местам: но помочь другому злу – назначить всем чиновникам жалованье – было трудно по тогдашнему состоянию финансов. Нашли необходимым положить жалованье приказным Сысского приказа, «чтоб они могли содержать себя без всяких пристрастий». А дел в Сысском приказе не могло уменьшиться. Пришли известия, что в Смоленском уезде появились воры и разбойники, от 50 до 100 человек; в Арзамасском, Алаторском и Инсарском уездах в разных местах происходят разбои и смертные убийства, так что едва ли когда там так много разбоев было. Крестьянские и помещичьи междоусобия продолжались: когда крестьяне адмирала кн. Голицына подмосковной вотчины села Яковлевского (Пехорка тож) косили сено, то вотчины генеральши Стрешневой села Соколова дворовый человек Алексеев да деревни Леоновой староста Спиридонов, собравшись с дворовыми людьми и крестьянами, человек до 70, с ружьем, дубьем и палашами, напали на голицынских крестьян и, захватя 12 человек, привезли в Соколово и посадили в погреба. В Карачевском уезде люди и крестьяне поручика Сафонова выехали косить сено, как напали на них трое помещиков Львовых – один советник, другой ассессор, третий корнет – да прикащики двоих других Львовых с людьми и крестьянами, человек до 600, помещики и прикащики верхами, а крестьяне пешком, напали тайно из лесу и начали бить и резать, убито было 11 человек, смертельно ранено – 45, без вести пропало два человека. Львовы, выступая в поход, взяли с собою двоих священников и, отошедши с версту от своего села Глыбочек, остановились под сосною рощею у колодца, отслужили молебен с водосвятием, помещики и люди их приложились к образу, и Львовы начали увещевать своих, чтоб стояли крепко против врагов, «имели неуступную драку», не выдавая друг друга, а кто не устоит, того самым колотью до смерти. После всего этого помещики выбрали лучших крестьян и, напоя их вином, повели в атаку. Сафонов подал просьбу на Львовых в Севскую канцелярию, потому что в Карачев чрез львовские деревни проехать ему было нельзя, да и карачевский воевода со Львовыми в свойстве. Тогда синодальный обер-прокурор Афанасий Львов, которого прикащик участвовал в побоище, подал просьбу в Сенат, что Сафонов поступил неправильно, затеяв дело

в чужой канцелярии, столкнувшись с севским воеводою. Но Сенат не обратил внимания на эту просьбу и велел оканчивать дело в Севской канцелярии.

Крестьяне Суздальского уезда подали жалобу, что многие помещики ездят в чужие дачи со псовою охотою и мнут хлеб, а когда они, крестьяне, станут запрещать им это, то их бьют. С другой стороны, нижегородский помещик генерал-майор Каменский подал просьбу, что в Нижегородской губернской канцелярии при платеже крестьянами его подушных и канцелярских сборов судьи, секретари и приказные служители берут с них сверх настоящих окладных податей великие взятки, которые превосходят суммою настоящие платежи, и прислал этим взяткам расходные записки старост своих.

Синод жаловался, что крестьяне Муромского собора оказывают духовенству собора «озорнические продерзости, грабят его хлеб, завладевают рыбными ловлями и покосами». Выборные крестьяне этих соборных вотчин с своей стороны подали в Сенат просьбу, что по грамотам крестьяне работать на соборное духовенство не обязаны, обязаны только давать по пяти рублей с выти, что и платили бездоимочно; но недавно протопоп отнял у них от каждого двора по десятине и принудил пахать; от этого и от других насильств 22 семьи разбежались, а новый протопоп, Павел Иванов, сын старого, притеснял их больше отцовского, отнял еще земли потри загона на тягло и эти сенные покосы отдал внаем по 70 рублей в год, отдал также внаем рыбные ловли, отнял у крестьян мельницу, и они должны на своей мельнице молоть хлеб, платя деньги. Протопоп от всех этих статей получает в год по 335 рублей; а их привел в конечное разорение, еще 15 семей разбежались, за которых подушные деньги платят оставшиеся крестьяне; очередных в рекруты не отдает, а у прочих крестьян детей ловит и отцов и матерей забирает и бьет своими руками, а иных и кнутьями, чтоб они детей своих поставили, и отдает в рекруты за одного по два и берет в складку от других помещиков немалые деньги. Крестьяне жаловались преосвященному еще в 1739 году; тот назначил следователя, духовных дел старосту попа Федора Бокова, но поп по свойству с протопопом следствия не произвел. В 1740 году жаловались в Синод; но как только протопоп узнал об этом, то по согласию с воеводою и подьячим подал в канцелярию прошение, что крестьяне ему послушны, вследствие чего забрали их человек 40 и били плетьюми, приговаривая, чтоб на протопопа нигде не просили. Подали вторичную жалобу в Синод, и опять ничего не сделано; а протопоп берет их сыновей, женит насильно на купленных своих женках и держит у себя как купленных холопей; а подушные платят за них крестьяне, многих крестьянок мучит в доме своем тяжкою работою, требуя взятки: а священник Василий Степанов берет из деревень девок и женок молодых и держит у себя по месяцу, забыв страх Божий, имея законную жену.

Синод еще в 1753 году освободился от своего обер-прокурора князя Якова Шаховского, который был сделан генерал-кригскомиссаром на место Степана Федоровича Апраксина. Место Шаховского в Синоде занял Афанасий Львов, который так неловко вмешался в дело своих родственников и своего прикащика против Сафонова. В описываемом году Синод получил из Сената очень неприятную для него бумагу. Сенат потребовал ведомостей: 1) Сколько в каждом монастыре положено быть монахов и сколько на них определено порций? 2) Сколько из этого наличного числа монахов убыло и притом сколько их порций осталось? 3) Ныне на тех порциях отставных штаб-, обер- и унтер-офицеров и

рядовых сколько содержится? Синод отвечал, что ведомостей прислать не может, ибо положение о монахах, составленное в прежде бывшем Монастырском приказе (если только такое положение было), вместе с прочими делами бывшей Коллегии экономии сгорело в московский пожар 1737 года. За этим следовала длинная жалоба на недостаток в содержании монастырей; если и бывают остатки от доходов, то не всегда и не во всех монастырях, истрачиваются в другие годы в случае нужды за хлебным недородом. «И тако за оным винословием тех остатков действительно и утвердительно, чтоб всегда могли быть в своем совершенно достаточном и единственном сос тоянии, почитать отнюдь не должно и невозможно», – говорилось в ответе Синода. Но Сенат, не тронувшись этим винословием, приказал написать в Синод ведение, что в 1744 году, 13 апреля, в общей конференции Синода с Сенатом при слушании выписки об определении отставных военных для пропитания в монастыри члены Синода сообщили, что из некоторых епархий и монастырей к сочинению штатов ведомости присланы, а с остальных взыскиваются, и рассуждалось о том, чтобы в Св. Синоде сочинить штаты о доходах денежных, хлебных и всяких во всех епархиях и монастырях и расписать, сколько в какой епархии и монастыре надлежит содержать духовных, штаб-, обер- и унтер-офицеров и рядовых; притом же надобно надеяться, что и о положении прежде бывшего Монастырского приказа в канцелярии синодального Экономического правления известие есть, ибо почему каких доходов в ту канцелярию ежегодно собирать должно и сколько нужно оставлять в домах архиерейских и монастырях, для этого в канцелярии находятся окладные книги, из которых можно составить ведомости без дальнего затруднения в переписке и продолжения времени, что и благоволит Св. Синод учинить в непродолжительном времени.

Адмиралтейская коллегия также получила неприятный ответ от Сената. Эта коллегия считала 700000 рублей в недосылке с 740 по 752 год из 1200000 рублей, положенных на нее из таможенных, кабацких и канцелярских сборов, и потребовала выдачи этих 700000. Сенат приказал отказать, потому что в 732 году положено из отпускаемой на Адмиралтейство суммы строить Кронштадтский канал, доки и прочее, но вместо того с 743 года поныне из других государственных доходов на это строение в отпуску 1243738 рублей, чем недосылка и заменяется.

Новое финансовое учреждение – Купеческий банк обратился к Сенату за разрешением встреченного им затруднения, которое грозило разрушить его в самом начале: ему велено было брать в год по шести процентов с рубля; купец, требующий денег, должен объявить под заклад привезенный им к Петербургскому порту товар для удостоверения, что его больше четвертою долею против требуемой им суммы; когда он объявит о месте, где лежат товары, то Коммерц-коллегия должна освидетельствовать и для лучшей верности другие купцы должны засвидетельствовать с рукоприкладством, что товары эти подлинно принадлежат купцу, требующему денег из банка. Когда все это будет сделано, то банк выдает деньги с выключением четвертой доли и берет вексель с самого купца или в его отсутствие с прикащика, который объявит кредитное письмо хозяина; шесть процентов со всей заемной суммы вычитается вперед. О выдаче денег дается знать Коммерц-коллегии таможене, которые должны наблюдать срок платежа в банке и, когда он наступит, взыскивать с купца заемные деньги, а без

того не отпускать товаров. До августа месяца никто из купцов не явился с требованием денег из банка; тогда президент Коммерц-коллегии Евреинов, которому поручен был также и банк, желая узнать причину, призвал в Коммерц-коллегию некоторых купцов, и они ему объявили, что сомневаются брать деньги с отдачею под заклад товаров, чтоб в торгующих с ними иностранных купцах не возбудить подозрения насчет их кредита, да и в полугодичный срок платежом денег исправиться они не могут; купцы просили, чтоб давали им деньги из банка без взятия в заклад товаров, а брать бы с них в исправном платеже надежных порук с сроком на год и продолжать срок на другой и третий год с перепискою векселей и с перепоручением. Сенат признал требования купцов справедливыми и позволил отдавать деньги на годичный срок, не более, однако, и наблюдать, чтоб деньги отдавались в надежные руки, в чем полагался на президента Евреинова. В конце года контора Купеческого банка объявила, что в число определенных для банка 500000 рублей с Монетного двора отпущено 200000, из которых в раздаче 193275 рублей и осталось налицо 6725 рублей да *интересных* за употреблением по той конторе в расход 10067 рублей 88 копеек с половиною.

Из других финансовых вопросов по-прежнему часто занимал внимание Сената вопрос о соли. В начале года очевидно обнаружилось следствия соперничества элтонской соли с пермскою: бароны Строгановы, архимандрит Пыскорского монастыря и другие соликамские промышленники объявили, что наряжаемых от казны на их суда работников более не надобно. Мы видели, что провоз элтонской соли встречал препятствия в грабительствах калмыков и Сенат отнесся с этим делом к Иностранной коллегии. Последняя теперь отвечала, что калмыцкое воровство происходит от застарелого их в том обыкновения, которого по обширности степей пресечь невозможно; а соляные поставщики сами виноваты, зачем ездят безо всякой предосторожности в малолюдстве, как будто едут между русскими деревнями, а не в пустых степях. Сенат приказал: соляным поставщикам на Элтонское озеро ездить большими компаниями и в случае нужды при нападении калмыков поступать с ними как с неприятелями, но отнюдь их не задирать и для того посылать с такими партиями по офицеру с пристойною командою. Нашлись еще калмыки другого рода: получена была жалоба, что от находящихся близ Саратова команд для сыска воров соляным поставщикам, прикащикам и работникам почти проходу нет, привязываются ко всякому судну, берут к себе прикащиков и рабочих, обируют и бьют, раздирают у рабочих печатные паспорта; прапорщик Сомов в безмерном пьянстве, собрав команду и зарядя ружья, завел с рабочими людьми бой и одного человека убил. Канцелярист соляного правления Абызов при выдаче поставщикам за провоз соли с Элтонского озера денег значительную часть их удерживал у себя; по дороге починил колодцы своим коштом и собирал с соляных поставщиков за водопой с каждой пары волов по 10 и лошадей по 5 копеек, да и срубы на эти колодцы в степь заставил возить тех же соляных поставщиков-малороссиян; скупил соль под чужими именами; бежал из-под караула, когда началось следствие, и пойман в Москве. Ассессор Киселев не только не сдерживал Абызова, но и сам притеснял поставщиков, торговал хлебом и лошадьми беспощинно.

Петр Ив. Шувалов и тут для устранения неудобств провоза соли подал проект, нельзя ли от Элтонского озера до города Дмитриевска на Волге по прямой

линии провести трубы, которыми рассол тек бы до Дмитриевска и там в бассейнах садился в соль: этим избежали бы расхода за провоз соли от озера до Дмитриевска по 31 1/2 копейки за пуд. Сенат приказал послать инженера освидетельствовать на место, возможно ли это. Тот же Шувалов сделал предложение о деле более нужном и более удобоисполнимом: известно, говорилось в предложении, в каком холодном климате находятся главные места державы ее императорского величества и как поэтому необходимо заботиться о лесах; места же, лежащие в более теплом климате, по большей части безлесные, степные, где кой-что и было, и то уже выведено: поэтому надобно постановить, в каком размере в дачах оставлять земли под леса, чтоб не остаться без лесу; надобно позаботиться и о вальдмейстерской инструкции, потому что многие места изменились: где были леса, тут почти ничего нет, и притом установить порядок относительно рубки, сечки и сеяния лесов.

Медицинская канцелярия через своего президента лейб-медика Кондоиди представила проект о сохранении народа: надобно всех находящихся в Москве и Петербурге повивальных бабок освидетельствовать в их искусстве докторам, лекарям и присяжным бабкам и, которые окажутся достойны, тем давать от Медицинской канцелярии указы и публиковать о них для всенародного известия, привести их к присяге и называться им присяжными бабками; число их должно простираться в Москве до 15, а в Петербурге до 10, и затем, если будут лишние, определять по одной бабке в каждый губернский город, а когда губернные города будут удовлетворены, то определять в каждый провинциальный город, дабы со временем ими все государство удовлетворить. Для всяких же потребностей надобно в Москве и Петербурге содержать по две бабки на казенном жалованье. Каждой присяжной бабке иметь по две ученицы; но в Москве и Петербурге надобно учредить по одной школе, в которой определить по одному доктору и по одному лекарю на казенном жалованье; этим докторам называться «профессорами бабичьего дела», а лекарям – акушерами. Пожары продолжали истреблять не только строения, но и людей: 27 июля в Калуге был пожар, сгорело обывательских 1191 двор и ряды, причем погибло до 65 человек, потому что на 15 саженьях стояло по три и по четыре двора на жилых подклетьях, улицы были не шире четырех, а переулки двух сажень.

Для сохранения людей Петр Ив. Шувалов подал обширный проект. Империя, говорилось в его предложении Сенату, находится пред прежним временем в благополучном состоянии, но существует вред в рассуждении главной силы государственной. Вред происходит, во-1, от выбывания народа за границу; 2) от небрежения большого числа солдатских детей, которые, не будучи определены в службу, без всякого присмотра скитаются и пропадают; 3) от сбора в зачет с обывателей провианта и фуража под квитанцию; 4) от притеснений и обид, претерпеваемых поселянами от проходящих полков и тому подобных приметок, грабительств и разорений; 5) от голода при неурожае и дешевизны хлеба при урожае; 6) от неспособных правителей в губерниях, провинциях и городах и от оскудения чрез то правосудия. Средства предотвратить вред предложены следующие: 1) учреждение надежных форпостов; 2) сохранение народа, положенного в подушный оклад, от рекрутских наборов; 3) порядочное снабжение армии провиантом и фуражом и прекращение вредных подрядов; 4) охранение поселян от грабительств и притеснений; 5) полезное государству свободное

познавание мнения общества; экономия в случае недорода хлеба и вспоможение поселянам во время большого урожая возвышением цены на хлеб без принуждения кого-либо к покупке и без ущерба казенного интереса; б) приготовление людей к управлению губерниями, провинциями и городами, а чрез то приготовление людей к главному правительству без принуждения их к тому.

Средства эти подробнее объяснялись таким образом:

1) По государственной границе вместо смоленской шляхты и рославского шквадрона, также малороссийских козаков и гарнизонных солдат, которыми до сих пор форпосты содержатся, на каждом форпосте должно быть не менее пяти человек драгун при одном капрале или унтер-офицере, сменяя их по понедельно, чтоб каждому драгуну во всю его бытность на форпостах более недели на одном из них не быть, но постоянно переводить их из одной дистанции в другую по той причине, что драгун или унтер-офицер, стоя долговременно или бессменно, познакомится с обывателями близлежащих деревень и по знакомству из выгод станет пропускать за границу беглых или купцов с неявленными товарами. Нет никакого сомнения, что без вожаков (которые обыкновенно бывают из живущих близ границы людей) ни один купец не отважится свои товары воровски провозить, не говоря к тому прежде форпостных содержателей посредством близживущих людей; так и беглый без провожатого один за границу не пойдет.

2) Исполнить повеление императрицы Екатерины I – селить полки слободами при городах, которые прилегли к границам и где хлеб дешевле и лесу достаточно, и рассуждение иметь, каким порядком в этих слободах содержать и обучать малолетних солдатских детей и до каких лет.

3) Учредить троякого рода магазины: первые – для удовольствования полков; другие, капитальные, – для балансу в цене на хлеб внутри государства; третьи при портах, дабы всегда при случае всякой надобности, особенно если в некоторых местах недород будет, иметь надежный ресурс от запасных магазинов и содержать цену хлеба в равновесии, ибо известно, в каком изобилии во многих местах Российского государства родится хлеб и какую дешевою ценою бедные земледельцы должны его продавать для уплаты государственных податей, так что сами едва нужное пропитание имеют; когда ж хотя один год случится недород, то, не имея запасного хлеба, несносную нужду терпят.

4) Во всякой губернии надлежит быть генерал-губернии комиссару, при нем в помощь по два обер-комиссара, в провинциях по одному провинциал-комиссару, в каждом же приписном городе по одному уездному комиссару. Генерал– и обер-комиссаров определяет Сенат, провинциальных и уездных комиссаров выбирает местное дворянство. Генерал-комиссары должны стараться как можно скорее построить назначенные магазины из прибыльных от винной продажи доходов и в них заготовить определенное число провианта и фуража. При движении войска Военная коллегия дает знать об этом генерал-комиссару той губернии, в которую имеют вступить полки; генерал-комиссар пересылает маршруты провинциальным и уездным комиссарам; провинциал-комиссары смотрят, чтобы мосты и переправы были в удовлетворительном состоянии, и как скоро полк к границам прибывает, то провинциал-комиссар встречает его и провожает безотлучно во все время движения по провинции, стараясь, чтоб полки немедленно из магазинов довольствованы были провиантом и фуражом, также получали бы квартиры, причем смотреть, чтоб обывателям не было никаких обид

от солдат и особенно от командиров; если же будет обида, то комиссар немедленно уведомляет об этом главного командира и требует, чтоб в тот же день дано было удовлетворение, для того при выходе на границу каждого уезда провинциал-комиссар, провожающий полки, берет от военных командиров и командиры от комиссара квитанции в чистой разделке и что нет никаких обид; эти квитанции командиры отсылают своему генералитету, а провинциал-комиссары к генерал-комиссару. Провинциал-комиссары накрепко смотрят, чтоб обывателям от переписчиков, ревизоров, межевщиков, отказчиков, сборщиков подушных денег, сыщиков, вальдмейстеров, губернаторов, воевод и подьячих ни малейших обид, особенно взяток, не было; если же будут обиды, а от комиссаров защиты не будет, то последние лишаются движимого и недвижимого имения. Комиссары смотрят, чтоб за подводы и работников, какие по указам употреблены будут, если добровольно нанять будет нельзя, платилось деньгами, а именно: в летнее время мужику с лошадыю – по 20 копеек, а без лошади – по 10, в зимнее – с лошадыю – по 15, а без лошади – по 6 на день; комиссары смотрят, чтоб от соцких и десяцких никаких неуравнительств и не в очередь посылок одному перед другим, также и обид отнюдь не было. Комиссары во всех местах ведомства своего должны заботиться, чтоб подданные при всех случаях страху Божию и добродетели, а особливо правде и подданнической верности наставлены были, также, чтоб они и детей своих в помянутых добрых порядках воспитывали и, сколько возможно, чтению и письму обучали, никого до плутовства, кражи, обманов, богохульства и прочих богопротивных дел не допускали, дабы чрез то все погрешности искоренить, христианство же и добродетели произведены и вместо клятвы Божией благословение над Всероссийским государством воспоследовало. Комиссары должны наблюдать, чтоб по всем безгласным делам надлежащее производство и исполнение было без упущения времени, в противном случае должны писать немедленно в Сенат. Полки недостаточно упражняются в военном искусстве преимущественно от частых посылок для земских дел в разные места, от употребления на караулы, особенно от посылок каждое лето на казенные луга для сенокоса, посылок из дальних мест; комиссары обязаны пресечь это, отдавая луга обывателям из трети или половины или нанимая работников. Генерал-комиссар с обер-комиссарами попеременно всякий год по крайней мере два раза должны объехать и осмотреть всю губернию, в каком состоянии находятся магазины и нет ли кому из поселян обиды; провинциал-комиссары должны смотреть, чтоб все дороги, мосты, гати и перевозки находились в добром состоянии. Если между помещиками и крестьянами в деревенских обидах и ссорах произойдут словесные или письменные жалобы комиссарам, то последние должны немедленно удовлетворить обиженного, особенно во время их объезда губерний, в исках не свыше 30 рублей; об уголовных же делах, как скоро узнают, немедленно отсылают для рассмотрения и решения в губернии, провинциальные и воеводские канцелярии и смотрят, чтоб такие дела решены были безотлагательно.

При Сенате быть конторе для государственной экономии, которой обязанность не только стараться о приращении всяких государственных доходов, но о пользе народа и его прибытках. В эту контору позволить подавать всякого звания людям проекты о внутренних государственных пользах, которые она рассматривает и, найдя действительную пользу, докладывает Сенату с приложением своего мнения. Ей же иметь в своем ведении всю государственную

неокладную денежную казну и из нее содержать хлебные магазины капитальные, переводя из них в портовые для заморского отпуска при С.-Петербурге, Риге и Архангельске таким образом: до наступления нового года за несколько месяцев собрать верные ведомости со всего государства об урожае в каждом месте и умолоте хлеба и о торговых ценах и расположить на каждый уезд хлеботородных мест, где магазины будут, кроме отдаленных губерний, смотря по урожаю, умолоту и продаже, такую цену, которая б могла крестьянству с пользой быть и многотрудную крестьянскую работу наградить и могли бы они без тягости подати оплатить. По установленной таким образом цене целый год производить по купку хлеба в магазины, и если покупаться будет больше положенного числа, то, чтоб хлеб не залеживался, отправлять его к портовым магазинам.

Из повседневных обстоятельств видим, какое множество от некоторых губернаторов и воевод происходит притеснений бедным поселянам и безгласным помещикам; некоторые делают это из корыстолюбия, а другие – по совершенному недостатку за неимением жалованья, будучи отлучены от своих деревень. Для пресечения этого надобно губернаторам и воеводам и всем канцелярским служителям определить достаточное жалованье и быть губернаторам и воеводам бессменно, кроме случая преступления закона. В губерниях, провинциях и городах дела производятся всех департаментов, из чего можно правильно заключить, что губернии суть училища для юношей, упражняющихся в российской юриспруденции, следовательно, надлежит учредить в каждой губернии из дворянства юнкеров, которые, от самых нижних чинов обращаясь, всегда при своих должностях порядком могли достигнуть до высших степеней, смотря по их поведению и способностям; этим способом умножится число способных судей и правителей. Установить, чтоб в губерниях на губернаторские места производить из вице-губернаторов, на вице-губернаторские – из губернаторских товарищей, на место последних – из губернских советников по старшинству и достоинству и так далее по порядку до воевод и до самых нижних чинов, в секретари не из губернских юнкеров никого не производить. При таком порядке всякую акциденцию (взятки), под каким-либо предлогом ни была, вконец пресечь должно и виновного как вредного человека общему спокойствию искоренить, наказав лишением имущества и чинов.

Проект был подан в Сенат во время великих торжеств в Петербурге: 20 сентября великая княгиня Екатерина Алексеевна разрешилась от бремени сыном Павлом Петровичем, окрещенным 25 сентября. «Петербургские Ведомости» извещали, что императрица подарила на крестинах великому князю Петру Федоровичу 100000 рублей, великой княгине – 100000 рублей да бриллиантовый убор на шею и серьги. В тех же «Ведомостях» читали описание великолепного фейерверка, сожженного по этому случаю: Россия была представлена на коленах пред жертвенником с надписью внизу: «Единого еще желаю». Потом явилось с высоты на легком облаке великим сиянием окруженное Божие провидение с новорожденным принцем на пурпуровой бархатной подушке, с надписью: «Тако исполнилось твое желание». Надпись, обращенная к Елисавете, гласила:

И так уж Божия десница увенчала, // Богиня, все, чего толь долго ты желала.

Особенные послы спешили к дружественным дворам с извещением о рождении великого князя; посланники, постоянно там пребывавшие, по-прежнему вели дипломатическую борьбу с Пруссией и Францией, подготавливая союзы на

случай войны, тогда как знаменитый канцлер настаивал внутри, чтоб Россия была готова к войне, ибо Фридрих II всегда готов к ней. Бестужев в 1754 году получил наконец денежное вспоможение, о котором тщетно просил в прошедшем году, и воспользовался этим случаем, чтоб сделать шаг к примирению с братом, который жил в Дрездене без всякого поручения. 21 марта он отправил брату письмо: «Уверен о принимаемом вами во всем до меня касающемся участии, не медлю вам донести, что ее импер. величеству всемилостивейше угодно было мне 50000 рублей на уплату моих долгов пожаловать. Я хотя отнюдь никакой в себе не чувствую отмены, ни в должной брату любви и горячности, ниже в совершенном к нам почитании, но мне крайне прискорбно видеть, когда б только наружно казалось, якобы мы в несогласии; а к крайнему моему сожалению, я, однако ж, сию наружность не только сам часто приметить принужден был, но есть еще и такие бесстыдные люди, кои у меня самого наведываются, правда ли, что между нами есть великая ссора. Мой таким людям ответ всегда один, что от кого бы они о том ни слышали, всегда надобно, чтоб тот человек был бессовестный лжец или же такой, который, может быть, несогласия между нами желает. Да, конечно, я в том и не ошибаюсь, ибо подлинно сим злостным слухам не от кого происходить, как от наших доброхотов, которые, может быть, хоть не равно нам кажутся, однако ж всегда надежно ради бы были как одного, так другого, буде можно, в ложке воды утопить. Что такие люди равно нам обоим ненавистники, оное могу я сказать с надежным основанием и по долговременному искусству (опыту), а что оные неравно нам, может быть, кажутся, то заключаю я одними только гаданиями; ибо я их стараниям и подаваемой от вас им вере приписывать долженствую сказуемую от вас мне малую доверенность, когда вы ко мне как брату, так сказать, ни с чем и ни о чем не адресуется, умалчивая даже ответом на собственные мои оферты (предложения) вам моих услуг, и когда, с другой стороны, посторонние вашими письмами и комиссиями почти отягощены. Мне прискорбно примечать ваше старание меня во всем обходить. Не завидую я и тем комиссиям, кои вы другим поручали разные от вас партикулярно присланные вещи ее импер. величеству подносить; но я также не понимаю, для чего в том брата вашего, хотя б он только камер-юнкером, а не канцлером был, обходить. А прискорбнее притом мне сие, что такие дела, будучи публичными, в целой публике и пустые потому рассуждения причиняют, кои, как бы неосновательны ни были, никогда, однако ж, в похвалу нам ни одному, ни другому быть не могут. Дивятся люди, когда и однофамильцы, будучи в великом числе, меж собою несогласны; так что ж о нас скажут по таким наружностям, когда нас только двое, оба родные братья, в совершенной старости и почти только одни во всей фамилии, не имея ни деревенских тяжб, ниже каких разделов, однако ж в ссоре быть кажемся? Мне видится, что истинные наши обоих друзья искренно о том сожалеют, а, напротив того, другие тому радуются, а особливо те, кои, конечно, в том свой счет находят да и старания свои к тому прилагали. Отпустите мне, *mon tris cher frere*, буде я сим простосердечным письмом вам согубляю, хотя я сего в намерении отнюдь не имею».

Но *mon tris cher frere* никак не хотел признать простосердечия в отношениях к себе канцлера, что особенно видно из письма его не к брату, а к заклятому врагу его Воронцову: «Ваши и мои неприятели не желают меня ни в отечестве видеть, ни чтоб я здесь (в Саксонии) определен был, хотят меня отбойрить в Англию и для

того выдумали, якоб король английский намерен к нам посла послать, а именно господина Вильямса, о которого персоне описание к вам уже послано было (Гроссом), которое совсем с правдою не сходно, понеже он мужик трус, болтун и лгун, много говорит, а слушать нечего, – дабы токмо чрез то иметь оказию представить, что уже третий посол от английского двора к нам посылается, – учтивость и атенция требуют, чтоб от нас посол в Англию послан был, и таким бы образом меня от отечества и отсюда для того отдалить старались и стараются, чтоб Функа у нас, а Гросса здесь удержать. Вот, милостивый государь, вся вам интрига экспликована, ибо у короля английского ниже на мысли было посла к нам посылать, но еще такого брؤولона, каков есть Вильямс. Все сие от коварных людей нарочно для вышешоказанных резонов вымышлено. Как не стыдно подобные лжи писать! Сии люди ни на славу, ни государственный интерес не смотрят, но единственно о своем интересе и консервации думают и попечение имеют. Да и сожальительно есть, что и от венского двора толь скоро отозван был по причине ложных представлений, кои в моем отзыве учинены были; ежели б я тамо еще на год или на два оставлен был, немалые б услуги в сербском деле оказать мог. Сиятельный граф! Ежели вашими сильными стараниями ее импер. величество ради моей дряхлости и старости при польском дворе меня определить всемилостивейше склонится, то я подлинно вас уверяю, что таким определением не токмо ваш собственный интерес в том будет, но и вашего сиятельства кредит при тех дворах прославится; а других слабость и бессилие окажутся, мне же в особенное удовольствие, а неприятелям моим в восчувствование будет». Но слабость других, т.е. канцлера, не оказалась на этот раз: брату его не удалось заменить Гросса при польско-саксонском дворе.

Сербское дело было причиною отозвания Бестужева из Вены; понятно, как преемник его Кейзерлинг должен был бояться этого дела. В начале года Кейзерлинг получил рескрипт, в котором ему повелевалось снова поднять тяжелое дело; сербский выходец генерал-майор Шевич писал, что жены, дети и прочие близкие родственники многих сербов, вступивших в русскую службу и находящихся под его начальством, без всякой причины задержаны в австрийских владениях и он, Шевич, отправляет двоих своих офицеров для вывода означенных людей. Императрица требовала от Кейзерлинга, чтоб он помог этим офицерам в благополучном окончании этого дела. Кроме того, Шевич отправлял секунд-майора Петровича в Черногорию для принятия в русскую службу тех из тамошних и окрестных жителей, которые желают переселиться в Россию. Кейзерлинг должен был вытребовать им свободный проезд через австрийские владения. На свои представления по этому предмету Кейзерлинг получил от австрийского министерства такой ответ: «Императрица-королева немало сожалеет, что при нынешних обстоятельствах не может дать удовлетворительного ответа на предложение г. посла: после тяжкой и долговременной войны она видит сильный недостаток в народонаселении своего государства, особенно когда дело идет не об одном населении земель, но и о защите границ, и потому она никак не может позволить выезд иллирийцам, поименованным в списке посла, кроме жен и безбрачных детей тех иллирийцев, которые переселились в Россию». Относительно черногорцев отвечали, что им свободный проезд чрез австрийские владения будет дозволен, но выразили сомнение, свободны ли эти народы: «Императрица-королева не может скрыть сомнения, что народы эти по большей

части окружены турками и когда будут проходить в Венгрию и далее в Россию, не миновать им турецких владений, а, по вероятному известию, они признают верховную власть султана платежом некоторой подати, следовательно, преимущества совершенно вольных людей потеряли. Но если так, то от просвещенного проницания императрицы российской укрыться не может, как легко выезд этих народов может повести к столкновению с Портою, что подаст желанный случай дворам, старающимся поднять Порту против императорских дворов, к исполнению своих злобных намерений, тогда как общая польза требует, чтоб оба императорских двора тщательно сохраняли мир с турками».

На донесение об этом сомнении Кейзерлинг получил рескрипт: «Хотя черногорцы многими другими народами, находящимися под турецким владычеством, окружены, однако сами они, по надежным известиям, вольные люди, которые не только не признают верховной власти Порты и не платят ей дани, но находятся в постоянной борьбе с турками для своей защиты. Хотя в договоре между Портою и Венециею черногорцы и уступлены Порте, но договор остается безо всякой силы, потому что вольного народа нельзя уступать без его согласия».

Но этим дело не кончилось. Черногорский архиепископ Василий Петрович приезжал в Петербург и представлял, что он будет уговаривать вступить в русскую службу своих черногорцев, которые находятся в венецианской службе, если только будет им свободный проезд чрез австрийские владения и послан будет в Триест верный человек для их приема. Императрица поручила Кейзерлингу устроить все это дело, переговоривши с архиепископом, который будет возвращаться домой через Вену. Кейзерлинг отвечал, что архиепископ не говорил ему об этом ни слова, чего бы не могло быть, если б он действительно хотел озаботиться переводом черногорцев из венецианской службы в русскую, и что для двоих или троих черногорцев не стоит тратиться – посылать нарочного в Триест.

Важнее было содержание сношения между русским канцлером и австрийским послом графом Эстергази. Мы видели, как Россия заботилась о том, чтоб окружить прусского короля цепью союзов для сокращения его сил при первом удобном случае. Австрийский двор отвечал на русские предложения не совсем удовлетворительно, а именно Мария-Терезия изъявила готовность в случае нападения прусского короля на саксонские или ганноверские земли помочь подвергшимся нападению державам силами, соответствующими обстоятельствам времени и достаточными для прекращения замешательств в самом их начале. 23 марта Бестужев передал Эстергази промеморию, в которой говорилось, что императрица, обнадежив своею помощью посланника великобританского в случае нападения прусского короля на ганноверские владения, уже приказала ввести в Лифляндию и держать там наготове к походу 60000 регулярного войска сверх козаков и других легких войск. Императрица не сомневается, что императрица-королева также соблаговолит для общего дела объявить, что если Россия подвергнется нападению от прусского короля или от кого бы то ни было по злобе за помощь, обещанную ею курфюрсту ганноверскому, то со стороны венского двора это нападение будет признано за случай союза по договору 1746 года и немедленно исполнятся все обязательства, в этом договоре постановленные. Хотя движение русских войск в Лифляндию может удержать прусского короля от завоевательных замыслов, однако еще было бы надежнее,

если б, с другой стороны, императрица-королева приказала собрать знатный корпус войск к силезским границам.

4 июля Эстергази передал Бестужеву ответную промеморию, в которой Мария-Терезия объявляла, что признает случай союза, если Россия подвергнется нападению откуда бы то ни было, за помощь, обещанную королю английскому как курфюрсту ганноверскому; что же касается до корпуса войск на силезских границах, то императрица-королева обязана содержать его по четвертому секретному артикулу договора 1746 года, и эта обязанность ею исполнена.

Гросс, несмотря на дурные отзывы об нем графа Михайлы Бестужева, а следовательно, и Воронцова с товарищи, оставался русским министром в Дрездене, где его положение становилось все затруднительнее вследствие все более и более разгоравшейся вражды между главами русской партии, Черторыйскими и придворною партией Брюля и Мнишка. В огонь было подлито масла знаменитым делом об острожской ординации. Последний из знаменитой фамилии князей Острожских Януш в 1609 году из обширных своих владений на Украине, Волыни и в Подолии устроил ординацию, которую, не имея сыновей, передал дочери своей княгине Заславской, в случае же угаснутия и этой фамилии из ординации должно было образоваться мальтийское командорство. Так как ординация должна была выставлять отряд из 600 вооруженных людей для охраны республики от турок и татар, то республика была заинтересована в поддержании ее благосостояния и нераздельности. В описываемое время владел ординациею Януш Сангушко, происходивший от князей Заславских по женской линии. Этот Сангушко был страшный мот, нажил множество долгов и, чтоб избавиться от кредиторов, решился на сделку с некоторыми сильными фамилиями, именно поделил ординацию между ними с условием, чтоб они заплатили его долги и дали ему часть ординации в пожизненное владение. Акт раздела был совершен, и одним из участников подела оказался воевода русский князь Август Чарторыйский. Это незаконное дело возбудило сильное волнение в Польше, особенно на Волыни, в Подолии и Галиции; коронный гетман Браницкий вздумал беззаконие поправить беззаконием же, вооруженною рукою занял крепость ординации Дубно; получившие участки по акту раздела готовились защищать их также вооруженною силою.

При таких-то обстоятельствах должен был собраться сейм в Гродно, куда приготавлился ехать и русский посланник.

В одном письме своем к литовскому канцлеру Чарторыйскому Гросс упоминал об особенном благоволении императрицы к нему и ко всему его дому. Чарторыйский отвечал: «На повторение вашего обнадеживания в особенной милости императрицы ко мне и фамилии моей я повторяю свое прошение доставить мне действительные знаки этой милости и положительное письменное удостоверение в покровительстве, которое мне будет оказано в случае нужды, чтоб мне можно было надежнее на него полагаться, чем на словесные обещания, ибо я уже испытал в последнюю бытность при здешнем дворе графа Бестужева-Рюмина, что обнадеживания русских министров могут быть изменчивы». По поводу этого ответа Гросс писал: «Ваше величество из этих речей можете заметить что канцлер не перестает ожидать присылки Андреевского ордена. С другой стороны, коронный канцлер граф Малаховский как сам, так и чрез фаворита своего советника Алое спрашивал у меня, не пришло ли из России

решение о награде ему, о которой подана ему мною надежда. При нынешней в Польше смуте, для поддержания которой Франция и Пруссия денег не щадят, было бы очень нужно дать канцлеру хотя среднюю сумму для притягивания к русским интересам польских шляхтичей, ибо неоспоримо, что ежегодною раздачею небольшого числа денег ваше величество могли бы лучше подкреплять свою партию, нежели употреблением миллионов при нужде. Опасаюсь, что если отъезду в Польшу с пустыми руками и не удовольствовав Малаховского и Чарторыйского, то при наступающем сейме не буду иметь успеха в порученных мне делах».

Малаховский передавал Гроссу, что Мнишек тайно дал повод к спору и замешательству по поводу острожской ординации, чтоб в мутной воде рыбу ловить и тем подкрепить свою партию; но, говорил Малаховский, он ошибся в своих расчетах, ибо не только он сам, Малаховский, в этом деле искренно соединился с князьями Чарторыйскими и примасом, но и Потоцкие и другие с ними же согласны, так что теперь партия Мнишка состоит только из обоих гетманов, воеводы бельского и некоторых ему подобных врагов общего спокойствия, поэтому можно ее ослабить, если императрица для подкрепления своей партии определит небольшую годовую сумму, посредством которой можно было бы господствовать на сеймиках и уничтожить все франко-пруссские интриги.

28 апреля Гросс подал Брюлю промеморию, в которой заключалось предложение: если курфюршество Ганноверское подвергнется нападению прусского короля, то польский король действовал бы сообща с обоими императорскими дворами и дал надлежащую помощь. Брюль обещал письменный ответ, а на словах сказал, что король его желает более всего самого тесного соединения с высочайшими союзниками, потому что гордое поведение прусского короля становится невыносимо для саксонского государя: так, недавно Фридрих II потребовал пошлины за проезд через Силезию. Между тем приближалось время отправляться на сейм в Варшаву, и Гросс собирался туда с удовольствием, потому что получил наконец от своего двора известие, что примасу Комаровскому назначено по 5000 рублей ежегодной пенсии, коронному канцлеру Малаховскому – по 7000 да на раздачу шляхте 3000, литовскому канцлеру князю Чарторыйскому – Андреевский орден, коронному подканцлеру графу Воджицкому – мех соболий в 2000 рублей; а накануне отъезда Гросса из Дрездена он получил от 10 июня письменный ответ королевский на свою промеморию о соглашении насчет прусского короля; в ответе говорилось, что Август III с совершеннейшею благодарностью принимает великодушную заботу императрицы о безопасности своих союзников. Императрица может надеяться на совершеннейшую взаимную королевскую дружбу, преданность и полную взаимность касательно новых предложений, сколько силы Саксонии могут это дозволить. Что же касается ганноверского двора, то его величество король ничего больше не требует, как и с ним быть в оборонительных обязательствах, отчего, однако, этот двор уклонился, отказавшись возобновить трактат 1741 года; несмотря на то, его величество и теперь склонен помянутые обязательства возобновить и поступать с ганноверским двором с совершенною взаимностью. Посылая этот ответ в Петербург, Гросс писал: «Ваше величество изволите приметить, что ответ составлен с величайшею осторожностью и граф Брюль не скрыл от меня, что принуждены были держаться

таких общих выражений из опасения, чтоб этот акт каким-нибудь образом не попался в руки прусскому королю».

14 июня в Варшаве Гросс имел аудиенцию у короля для поднесения Андреевского ордена, назначенного Чарторыйскому. При этом случае Гросс произнес речь, что императрица жалует орден литовскому канцлеру за его постоянное доброе расположение и преданность общим обоим дворам интересам, не сумневаясь, что и его величество король будет этим доволен; императрица уверена, что как он сам, канцлер, так и весь его дом и друзья твердо пребудут в прежних своих добрых чувствах для пользы общей, а с другой стороны, императрица уверена, что его королевское величество будет продолжать к ним свое высокое покровительство как издавна искренним, верным и благоразумным слугам своим, которых ревностное радение об общем благе хорошо известно. Король отвечал: «С радостью возложу орден на канцлера; что же касается до продолжения к нему моей милости, то оно будет зависеть от его поведения».

«Я таким образом к его величеству изъяснился наиболее потому, — писал Гросс, — что со стороны графа Брюля оказывается явное нерасположение к князьям Чарторыйским и их сторонникам; зять его граф Мнишек показывает себя во всем покровителем противной партии. Мои представления у графа Брюля в пользу Чарторыйского не имели надлежащего действия, он попрекает литовского канцлера в непослушании королевским указам».

15 июля Гросс в доме коронного канцлера имел с польскими министрами конференцию, во-1, относительно выдачи русских беглых; 2) относительно пограничных судов по столкновениям между русскими и польскими подданными; 3) относительно обид, претерпеваемых православными; 4) относительно назначения комиссаров для определения границ. Поляки признали единогласно справедливость требований императрицы относительно выдачи беглых, толковали, как все поляки должны чувствовать, что их благосостояние зависит от согласия с Россией, но выразили надежду, что императрица благоволит уважить состояние республики, которое не позволяет ни королю, ни министерству поступать, как поступают в самодержавном государстве, что в настоящем случае они не знают никакого способа, согласного с здешними конституциями, как бы понудить шляхтичей к выдаче беглых крестьян. Можно выдать воров и других злодеев, также дезертиров, но нельзя выдать простых крестьян и раскольников, ибо в таком случае должно опасаться общего бунта как от своевольной шляхты, так и от самих беглецов, тем более, прибавил канцлер Чарторыйский, что шляхта хорошо помнит, как в 1708 году, когда Карл XII пошел на Украину, Петр Великий всех жителей польских пограничных областей отправил в Россию, откуда, несмотря на частые требования, возвращены не были; если Россия не могла возвратить отвезенных польских подданных, когда в ней все зависит от воли государя, тем менее можно ожидать этого от республики, и республики испорченной, где законное исполнение часто от воли каждого шляхтича зависит. Когда Гросс говорил, что можно поручить выдачу беглых пограничным судам, то ему отвечали, что по уставам это дело пограничным судам неподведомственно, шляхтичи отговорятся, что оно подлежит сеймовому решению; что, с другой стороны, поднятие этого дела отняло бы кредит у них, министров, и перед сеймом подало бы повод к шуму и сильной ненависти против России, и потому, как им, канцлерам, кажется, главное состоит в заботе, чтоб на будущее время

предотвратить бегство крестьян. С этой целью они составят в сильных выражениях рескрипт королевский, чтоб впредь никто не смел принимать беглых русских; если сейм не состоится, то сенатус-консилиум утвердит рескрипт; если же сейм состоится, то будут стараться, чтоб постановление о непринятии беглых было внесено в сеймовую конституцию. Канцлер литовский говорил, что от самой императрицы зависит, чтоб впредь беглых за рубеж не было, да и прежние возвратились: пусть только обнадежит раскольников манифестом, что им впредь никакого утеснения в России не будет, объявит амнистию для всех, кто пожелает возвратиться, определит жестокие казни против упорных, когда они будут схвачены, обещает возвратившимся на несколько лет свободу от податей и построение слобод для жительства, прикажет пограничным командирам и форпостам никого не пропускать без паспорта, ибо недавно выданный им, Чарторыйским, Кузьмин возвратился из Киева в Гомель и объявляет себя свободным, а покойный генерал Леонтьев четыре года тому назад сам к нему писал, чтоб некоторому русскому купцу позволил поселиться в Гомеле, форпосты же часто за малые подарки пропускают. По донесению полковника Панова, отправленного в Польшу для сыску беглых, их там было до миллиона. Поляки соглашались выдавать ему беглых солдат, уголовных преступников и дворовых людей, но никак не крестьян, толкуя, что крестьянин не есть дезертир. Панов возражал, что «дезертир» – слово не русское и не польское, а немецкое, по-русски значит беглец всякий: дворовые люди у всех помещиков берутся из крестьян, а другие отпускаются в крестьяне; кроме того, многие из русских беглецов уголовные преступники: у него самого, Панова, ушло 50 человек, один из них утопил жену, другой у родного брата жену увел, третий человека убил, другие сожгли дом покойного отца его, Панова; но эти возражения не принимались поляками. В Гродне отдали ему шестерых беглых солдат, обобравши их до рубашки. Панов подал объявление, что в Белостоке и других местах и в самой Варшаве более 200 беглых солдат: обещали отдать и не отдали. Интерес самих вельмож требовал, чтоб не отдавать русских беглых: за Чарторыйским в одном старосте Гомельском жило несколько тысяч беглых, в Вильне Панов нашел 50 человек беглых солдат и когда потребовал от тамошнего подвоеводы их выдачи, показывая приказ канцлера литовского князя Чарторыйского, то подвоевода сказал: «Это только наша польская политика». Польская Лифляндия почти вся населена была русскими беглецами, преимущественно раскольниками. Когда Панов туда приехал, то все деревни опустели, жители бросились в леса. Начальные люди пошлют их ловить, приведут человек 20 и отдадут одного или двоих, оставя у себя их родственников, чтоб они возвратились, а кто доносил Панову о беглых, тех начальные люди били постромками. У ксендза Аскирки было 40 деревень, населенных русскими беглецами, и ксендз объявил, что он на предписания польских министров и смотреть не хочет и пока не возвратят ему забранных русскими полками в последнюю революцию 100000 талеров да убежавших в Россию 90 душ, до тех пор ни одного русского не отдаст, причем грозил дурно поступить с Пановым.

Относительно пограничных судов канцлеры обещали составить проект для внесения в сеймовую конституцию или по крайней мере для утверждения в сенатус-консилиуме. Представления Гросса о гонениях, претерпеваемых православными, канцлеры признали справедливыми, складывая всю вину на

упрямство епископа виленского, которому они столько раз писали, чтоб унялся, а теперь еще напишут: если же он по-прежнему будет утверждаться на непозволении строить и поправлять православные церкви, то они намерены позвать его на суд к папскому нунцию и даже к самому папе и уверены, что на этом суде он проиграет дело; если сейм состоится, то постараются внести в сеймовую конституцию постановления о правах православных, возвращение же вдруг всех церквей и монастырей, взятых по заключении вечного мира, зависит не от них: о каждой церкви должно быть исследовано пред комиссиею, но какой причине эта церковь попала к униатам. «Теперь перед моим судом, – сказал Чарторыйский Гроссу, – пять процессов Виленского православного монастыря о взятых у него разных монастырях и церквах; вы увидите, что я окажу всякую желаемую справедливость единоверцам ее императорского величества; они впредь не будут жаловаться и на недостаток адвокатов, потому что согласно с уставами я буду приказывать такому или такому защищать их дела пред судом; но я требую, чтоб они, будучи польскими подданными, прежде обращались с своими жалобами ко мне. своему естественному судье, а не обращались бы сейчас же к императрице или вашим министрам, которые должны заступаться за них только в том случае, когда в Польше и Литве им не окажут справедливости».

Но к этим затруднительным делам присоединилось еще дело курляндское. Граф Брюль уверял Гросса, что прусский король имеет на своей стороне большинство курляндского дворянства, и недавно представил Франции проект, в котором предлагает, что, в случае если удастся подвинуть Порту против России, в то же время надобно действовать против последней со стороны Курляндии без подания повода союзникам России вступаться за нее и именно курляндское дворянство, оставленное польским королем без покровительства, обратится к нему с просьбою о помощи против России, так долго удерживающей в неволе Бирона; Фридрих II потребует освобождения Бирона, и так как Россия, по всем вероятностям, откажется исполнить это требование, то она явится зачинщицею войны и союзники ее не будут иметь права помогать ей. Брюль пел старую песню, что решением курляндского дела все прусские происки вдруг уничтожились бы и много зла было бы предупреждено; по крайней мере на многочисленные промемории польского правительства насчет решения курляндского дела пусть дастся ответ, составленный хотя в общих выражениях, например что Россия по важным причинам должна была до сих пор промедлить ответом, но что окончательное решение объявлено будет. Во всяком случае, Брюль обещал по возможности оттянуть аудиенцию у короля курляндскому депутату Гейкингу, избранному для представления жалоб курляндского дворянства. Канцлер Малаховский и князь Чарторыйский также обещали Гроссу стараться, чтоб аудиенция Гейкинга была отложена до окончания сейма, но при этом Чарторыйский не скрыл, что всякий шум об этом предупредить нельзя, ибо в инструкциях, данных своим послам разными польскими и литовскими поветами, внесен пункт – настоять у короля, чтоб он исходатайствовал решение в пользу герцога Бирона, да и сенаторам запретить нельзя, чтоб они не упоминали об этом в своих речах; только до сеймового решения дело не пойдет, потому что, по всем вероятностям, тем или другим способом сейм будет разорван.

Английский полномочный министр Уильямс объявил Гроссу, что его король имеет в Польше один интерес – споспешествовать видам российской

императрицы, и прибавил, что король его признает невозможным стараться о том, чтоб наследный саксонский принц при жизни отца был назначен и наследником польского престола, особенно теперь, когда двор в деле острожской ординации старых своих приверженцев, которых преимущественно употреблял для приведения в действие проекта о преемстве престола, оставил и начал держаться членов французской партии. Гросс отвечал, что императрица одного мнения с королем, и в самом деле, принимая во внимание настоящие обстоятельства, отношения французские, прусские и турецкие, иначе и думать об этом деле нельзя.

Не имея надежды, чтоб сейм состоялся, Гросс начал хлопотать, нельзя ли в сенатус-консилиуме провести дело о признании Польшею императорского титула русской государыни. Канцлер и князь Чарторыйский на его предложение отвечали, что дело возможное, если б они наперед были уверены в значительном большинстве голосов в Сенате и особенно в чистосердечной помощи двора и партии графа Мнишка, ибо в противном случае они бы только понапрасну компрометировали императрицу и подали повод врагам своим уменьшить кредит их у шляхетства: враги их стали бы толковать, что они в угождение чужой державе решили дело, принадлежащее сейму. Когда же Гросс предложил об этом Брюлю и Мнишку, те высказали недоверие к князьям Чарторыйским и приятелям их, прибавив, что из опасения французско-пруссских интриг не надобно преждевременно разглашать о намерении внести вопрос о титуле на решение сенатус-консилиума, а, когда сейм разорвется, тогда должно советоваться с благонамеренными сенаторами о возможности удовлетворить желанию императрицы и о способах к тому. Упомянутое о французско-пруссских интригах дало Гроссу возможность сказать Брюлю: «Как жаль, что с некоторого времени члены французской партии льстят себя покровительством самого двора и прилагаются всякие старания к уменьшению значения магнатов, издавна преданных королю и императрице; дурные следствия этого оказываются явно в деле острожской ординации, во внушениях Франции при Порте, которая наполнила Польшу эмиссарами в предосуждение чести королевской. Король не должен оставлять старых общих приятелей своих и России, как людей испытанной честности и благонамеренности, не должен позволять, чтоб они были приведены в бессилие, но должен содержать их в прежней доверенности, чтоб в случае нужды пользоваться их кредитом для общих интересов и сохранения тишины в Польше; впрочем, императрица, давая этот добрый совет по союзнической дружбе с королем, отнюдь не советует королю презирать всех других магнатов, напротив, надобно стараться всех вельмож, не обращая внимания, кто они – Чарторыйские или Потоцкие, приводить в согласие для единодушного содействия общим интересам. Граф Брюль вместо прямого ответа сделал печальный вид и распространился в жалобах против князей Чарторыйских, против их недоверчивости к нему, Брюлю, и его зятю Мнишку, говорил, что Чарторыйские и канцлер Малаховский сами повредили своему кредиту у духовенства поведением своим в этом несчастном деле острожской ординации. Потом Брюль спросил: „Чем двор при настоящих обстоятельствах подкрепляет французскую партию?“ Гросс отвечал: „Тем, что поддерживается гетман коронный, который поступает по советам главного французского сторонника воеводы бельского“. „Никто, – возразил Брюль, – так жестоко не попрекал за это

коронному гетману, как я; вы сами видите, что король оказывает явно свое неудовольствие воеводам бельскому и брацлавскому, генералу Мокрановскому, Хоецкому и подобным людям, из которых одних и состоит теперь французская партия“.

Когда Гросс говорил Мнишку о соглашении с старинными приверженцами императрицы и короля, то Мнишек отвечал, что не хочет быть в зависимости ни от кого, кроме короля и своего тестя. Гросс писал своему двору, что в партии графа Мнишка нет ни одного умного человека из знатных, а главные его советники, коадьютор киевский Солтык и братья Збоинские, неоднократно заявили свое корыстолюбие и двоедушие, и хотя вследствие спора по острожскому делу партия Мнишка и гетмана усилилась предъявлением видов, угодных шляхетству, однако партия князей Чарторыйских не очень ослабела, чему доказательством служит, что половина послов поветовых или депутатов сеймовых принадлежит к их партии, и если Чарторыйские потеряли некоторых из знати, то приобрели других, как-то фамилию Любомирских, и когда острожское дело так или иначе прекратится, то настоящие отношения между польскими вельможами могут снова измениться; да и как бы то ни было, хотя бы все вакантные места раздавались по одному представлению графа Мнишка, которого кредит будет велик во все время министерства тестя его, однако партия князей Чарторыйских никогда не придет в презрение, потому что, по признанию самих врагов, их канцлер литовский в Литве человек всемогущий, а его брат в каждом воеводстве королевства имеет маестности, с которых получает до 120000 червонных годового дохода, следовательно, всегда большую часть шляхетства будет иметь на своей стороне. «Я думал, – писал Гросс, – что ваше импер. величество главным образом имеете в виду польское междуцарствие, когда примас играет главную роль; известно, сколько в прошлое междуцарствие наделал вреда примас Потоцкий, действовавший против видов России; настоящий же примас, Комаровский, мне недавно подтвердил прежнее свое обещание, что никогда не возложит короны на кандидата, неприятного вашему величеству». Гросс писал также, что если бы он с своими представлениями против партии Мнишка обратился прямо к королю, то это было бы бесполезно и опасно: бесполезно потому, что король во всем привык следовать советам графа Брюля; опасно же потому, что этим он навлек бы на себя ненависть первого министра, что вредно отозвалось бы на отношениях между двумя дворами.

Сейм начался 19 сентября и находился в бездействии, потому что в первых шести заседаниях не позволяли приступить к выборам маршала, что по уставу должно было сделаться в первый день. Депутаты, преданные Чарторыйским, настаивали, чтоб прежде выборов маршала решено было дело острожской ординации. Брюль королевским именем обещал Чарторыйским, что если они позволят на избрание маршала, то ни одно дело не будет пущено, прежде чем состоится решение насчет острожской ординации. Но Чарторыйские не полагались на обнадеживания Брюля, потому что недавно были обмануты: король обещал, что при трибуналах не будет войска и никого из людей, не принадлежащих к трибуналу, и нарушил свое обещание.

В это время приехал в Гродно курляндский адвокат Цигенгорн. Гросс предупредил Брюля, что этот Цигенгорн главный виновник того, что на курляндском сеймике в одну ночь дела изменились явно ко вреду России.

Несмотря на это предостережение, король пожаловал Цигенгорна в надворные советники. Это заставило Гросса выразить императрице подозрение, что сам польский двор желает возобновления курляндского дела. Хотя и не в пользу Бирона, но только для того, чтоб императрица высказалась, что не может ни Бирона, ни фамилию его восстановить на курляндском престоле, а польско-саксонский двор воспользуется таким объявлением, чтоб доставить Курляндию своему принцу. Подозрение подтверждалось словами графа Мнишка Гроссу, что если императрица не желает восстановления Бирона, то лучше об этом объявить и соглашаться с королем о другом приятном для обоих дворов кандидате; что королю, естественно, было бы всего приятнее, если бы императрица согласилась видеть герцогом курляндским одного из его сыновей; привести в исполнение это намерение всего легче, потому что поляки согласятся из уважения к королевскому дому, а в Курляндии множество шляхты этого желает. Гросс отвечал, что не может ничего сказать на это, не имея инструкций, особенно когда императрица при нынешних обстоятельствах признает нужным оставить дело в совершенном молчании; притом религия будет служить препятствием, ибо саксонские принцы католики, а герцог курляндский должен быть лютеранином. Мнишек возразил, что тут нет никакого затруднения, ибо в курляндской конституции о религии герцога ничего не определено. Гросс заметил на это, что если бы и так, то король прусский не замедлит объявить, что от назначения католика герцогом религия страны находится в опасности и вмешается в дело, причем некоторые курляндцы к нему непременно пристанут. Мнишек не нашелся, что возразить на это.

Вторая неделя сейма прошла точно так, как и первая: ежедневно в Посольской избе было собрание; ежедневно старый маршал пытался приступить к выбору нового, и ежедневно со стороны преданных Чарторыйским депутатов не было на то позволения, пока не будет решена острожская тяжба. Брюль обвинял Чарторыйских в обмане, в нарушении данного слова, Чарторыйские обвиняли в том же короля, жаловались, что король в союзе с гетманами позволяет себе насилия, говорили, что если они позволят выбор сеймового маршала до окончания острожского дела, то враги их обратят сейм в конфедерацию и постановят все, что им угодно, на их пагубу. Брюль два раза обращался к Гроссу с просьбою уговорить Чарторыйских, чтоб не сопротивлялись выбору маршала, угрожая в противном случае совершенною немилостию королевскою; но ни Чарторыйские, ни Малаховский ни о чем не хотели слышать и ждали успеха от одной своей твердости.

Вследствие этой твердости сейм кончился ничем: но в то же время Мнишек подал королю просьбу, подписанную некоторыми сенаторами, о назначении казенной администрации над острожскими имениями; король согласился, и это произвело сильное раздражение, начали толковать о стремлении короля к самодержавию. Гросс представлял такое положение дел крайне опасным и деликатным, ибо, с одной стороны, Россия никак не может позволить перемены в польской правительственной форме, а с другой – по европейским отношениям должно сохранять дружбу короля. Обратившись снова к своим, русским делам, именно к выдаче всех беглых, Гросс встретил неодолимое сопротивление в своем главном приятеле – литовском канцлере князе Чарторыйском, который объявил, что ни за что не возьмется проводить это дело, ибо оно может лишить его всего

кредита у шляхты; до сих пор, противодействуя внушениям франко-прусской партии, он внушал шляхте, что необходимо держаться России, которая одна в состоянии оказать помощь республике, а если он теперь станет проводить дело о выдаче беглых, то эти внушения вдруг потеряют всякую силу. Когда Гросс сказал, что шляхта еще более будет раздражена, если императрица силою велит забрать всех своих беглых в Польше и Литве, то Чарторыйский отвечал с сердцем, что от великодушия императрицы не опасается такого поступка, но все же он лучше согласится на это, чем самому проводить такое дело, и скорее откажется от канцлерского чина и Гомельского староства, лежащего на русских границах, чем внесет в универсал требование выдачи беглых, и если б сам король согласился выдать такой универсал, то он, канцлер, не приложит к нему печати. А между тем рассуждение о незаконности учреждения казенной администрации над острожскими имениями, поданное королю самим примасом, было публично сожжено как пасквиль; типография, где оно печаталось, была заперта: из боязни королевского гнева ни в одном суде вопреки обычаю не приняли протеста князя Сангушки против администрации, и посол французский Брюль хвастался, что он лучше всех своих предшественников успел в поражении русской партии. Чарторыйские в сильном беспокойстве обращались к Гроссу с вопросом, что думают в Петербурге о последних польских событиях, прибавляя, что насильственные поступки новой придворной партии, соединенной с французскою, явно клонятся к установлению мало-помалу самодержавия, что русским интересам также противно, как и самим им. Гросс отвечал, что обо всем уведомил императрицу, но еще не получал никаких наставлений.

По возвращении в Дрезден Гросс доносил, что граф Брюль жаловался на английского министра Уильямса, который, оставшись в Варшаве, ободрял князей Чарторыйских. Брюль при этом не иначе называл Чарторыйских как неприятелями короля, тогда как о Потоцких отзывался с удовольствием, говоря, что посол французский уже попрекал их преданностью двору.

Мы видели, что в прошлом году начались переговоры между Россиею и Англиею насчет субсидий для содержания русского войска на границах. Дело затянулось оттого, что русский двор, по мнению английского, просил слишком много денег. 21 марта 1754 года дан был Гюидикенсу русский контр-проект, который английским министром принят был только на доношение: требуемая сумма 200000 фунтов показалась ему чрезмерною. Канцлер подал императрице новую записку: «Теперь от монаршего соизволения зависеть будет решение, надобно или нет сию негоциацию продолжать и совершить и тем, конечно, короля английского яко союзника в безопасность привести и для передо полезным себе сохранить или же, напротиву того, уничтожая сию негоциацию, неминуемо короля прусского, и без того уже гордостью и жадностью к большему еще усилению дышащего, в большую знатность и силу допустить. Правда, что, как первые аглинского двора генеральные предложения весьма податливыми казались, так и теперь, когда к прямому делу пришло, уже крайне скупы стали, правда ж, напротиву того, что и здешние запросы весьма велики были. Как теперь первая опасность несколько миновалась, а наступающею зимою обстоятельства еще много перемениться могут, наипаче же, что войска по собственному ее импер. величества благоизобретению и, правда сказать, для опасности от собираемых тогда около Кенихсберха прусских войск уже действительно в Лифляндию

заведены, да и содержание оным тамо, как и новое искусство (опыт) показало, и без того необходимо нужно, то, видится, и здешние кондиции несколько облегчить надобно, дабы, во-первых, ежели и никакого с королем прусским прямого дела не дойдет, то, однако ж, поход и собрание здешних войск в Лифляндии не даром, да и содержание оных тамо не в убыток, но с пользою было, ибо ежели рассудить, что и без всяких выгодностей, однако ж собственная безопасность, наипаче же соблюдение приобретенного донныне в Европе у всех дворов почтения и знатности необходимо требуют великую часть армий в Лифляндии содержать, то собою окажется, что всякие субсидии, какие бы от Англии за сие содержание только войск на границах получены ни были, чистою уже прибылью почитать надлежит. А второе, и наиглавнейшее, в том состоит, что ежели теперь, полагаясь на нужду, в каковой король аглинской быть видится в здешних первых запросах, непоколебимо стоять, то легко стать может, что и король аглинской, тщетно полагаясь иногда, что король прусской одними угрозами удовольствуется и его не атакует, на здешние кондиции склониться заупрямится, а как сие никогда долго тайно быть не может, то уже более того имоверно, что король прусской, пользуясь сим распложением, как то ему и обыкновенно, вдруг на Ганновер нападет и разграблением хранимого в нем бесчисленного, так сказать, сокровища обогатится и еще более силен и потому опасен будет. Тогда уж поздно было б и аглинскому королю в страстной его скупости раскаиваться и щедрым быть, ибо, потеряв, так сказать, все, не о чем и заботиться будет; да безвременна ж была б тогда и здешняя, хотя б уже и вдвое посылаемая, помощь, ибо королю прусскому, всегда ко всему готовому, предовольно одной кампании все ганноверские ему отверстые и крепостей не имущие области овладеть и разорить. Да еще на посылку тогда помощи и поступить едва ль можно было бы: во-первых, время уже не допустит о каких-либо предварительных кондициях соглашаться, да хотя б что вскорости и сделано было, трудно уже в исполнении полагаться. Второе, здешние войска, не ожидав скоропостижного походу, не будут в состоянии в оный тотчас вступить за неимением довольных к тому запасных магазинов. Третье же, и главнейшее, король прусский, видя здешнюю атаку, с королем аглинским тотчас примирится и, оставя ему Ганновер, все силы свои против здешних обратит и толь отважнее на то поступит, что уже ганноверские миллионы добрым сукурсом при себе иметь будет». Дела в Швеции в начале года приняли более тревожный характер. Панин писал, что версальский двор, не усматривая успеха предложенного им при датском дворе четверного союза, поднял сильное движение в Стокгольме: французский посланник маркиз Давранкур, открыв переговоры и возобновление субсидного трактата, предложил тройной союз – между Франциею, Швециею и Пруссиию, причем домогался о посылке корпуса войск в Финляндию. «Я должен, – писал Панин, – отдать справедливость содействию мне благонамеренных королевских приверженцев, но в успехе их плохая надежда; вся власть у стороны противной; кроме того, в Сенате будут бояться обвинения, что если откажут Франции в возобновлении союза, то шведский двор останется без системы, оттолкнувши всех союзников». Но год проходил, и тревога оказывалась ложною.

С противоположной стороны, из Константинополя, Обрезков доносил, что французский посол алчно желает заставить Порту принять участие в польских делах и заключить союзы с Пруссиию и Швециею для сдержания России; посол

внушал миролюбивому султану, что от этого никакого беспокойства Турции не будет, что она сделает то же самое, что делает Россия, составляя союз между Австриею, Саксониєю, Англиею. Не имея успеха в своих внушениях, посол подал ноту, в которой объявлял, что многие польские вельможи, доброжелательные Франции и Порте, обратились к нему с вопросом, что намерена сделать Порта при движении приверженцев России, набирающих войска с целью установить наследственное правление; эти польские вельможи будто бы просили его, посла, уговорить Порту, чтоб прислала к ним доверенного и благоразумного человека, который бы сам на месте удостоверился в опасных видах России. Этою нотою посол принуждал Порту к ответу, что было понято ее министрами и произвело раздражение между ними. «Надобно собаке кость бросить», – решили они и написали ответ: «Блистательная Порта сообщением французского посла довольна, содержание его ноты изрядно выразумела и в свое время даст ему знать о своем намерении».

Большее впечатление производили на Порту известия о населении Новой Сербии и построении там крепости св. Елисаветы. Когда Обрезков дал знать, что императрица приказала строить крепость при верховье реки Ингула близ устья впадающей в нее речки Туры и что это место находится около тридцати часов пути от турецкой границы, то рейс-ефенди с жаром сказал: «Это дело совершенно противно договору и, конечно, должно нарушить дружбу; если с русской стороны на границах крепости строить начинают, то и Порта с своей стороны то же сделает». Обрезков послал ему карту для удостоверения, что крепость строится внутри Российской империи, а не на границах, причем велел сказать, что ближе ее к границам есть уже укрепление Архангельское, следовательно, нарушения договора здесь нет никакого и если Порта намерена в землях своих строить крепость, кроме означенных в договоре мест, то имеет на то полное право и русский двор никогда этого права оспаривать не будет, ибо каждый государь волен в своих государствах делать то, что заблагорассудит; сообщено было Порте о строении крепости только по соседственной дружбе, а не в смысле испрашивания позволения на внутренние распоряжения государства, ибо русский двор как сам не любит мешаться в чужие дела, так не терпит и в своих делах указчиков, следовательно, дело не нуждается ни в каких дальнейших изъяснениях и ответах со стороны Порты.

Сам султан принял известие о построении крепости с большим неудовольствием и велел рассмотреть дело как можно внимательнее, нет ли нарушений договора. Визирь собрал совет и призвал какого-то Магмет-ефенди, известного своими географическими познаниями; долго рассматривали карту и решили, что крепость строится в противность договору, а потом прочли решительное объявление Обрезкова, что дело кончено, что он никаких возражений не примет, и не знали, что делать. Наконец придумали средство: обратиться за объяснением к министрам союзных с Россиею дворов – английскому и австрийскому.

Пенклер и Портер по совещании с Обрезковым отвечали, что, по их мнению, мирный трактат не отнимает права у обеих сторон строить крепости в местах, отдаленных от Азова, и эта постройка не может нарушить дружбы, потому что дело взаимное, Порта с своей стороны то же может сделать, когда заблагорассудит. Рейс-ефенди не был доволен этим ответом, говорил, что Пенклер и Портер или не

поняли отзыва Порты, или понять не хотели, что построением крепости необходимо нарушается договор и правила в отношениях между государями: во время мира вдруг начинают строить крепость в недалеком расстоянии от границы. Порта просила Пенклера и Портера, чтоб они склонили свои дворы уговорить петербургский двор отложить постройку крепости, потому что это сильно раздражает Порту. Когда Портер сообщил об этом Обрезкову, тот отвечал, что если венский и лондонский дворы исполнят желание Порты, обратятся с своими представлениями к петербургскому двору и не получат успеха, то Порта еще более раздражится и станет упрекать венский и лондонский дворы, что не усердно старались. Но Пенклер и Портер не остановились этим и решили подробно сообщить своим дворам все дело. При этом Пенклер внушал Обрезкову, что сомнительно, имеет ли Россия право строить крепость; Обрезков сильно его оспаривал, указывая, что турки построили крепость Харабат, которая к Запорожской Сечи ближе, чем крепость св. Елисаветы к Очакову. Оба министра, и австрийский, и английский, были сильно опечалены этим делом и желали дружелюбного его окончания: они боялись, чтоб Порта в своем раздражении на Россию не уступила домогательствам французского посла. Переводчик Порты говорил переводчику русского посольства, что новая крепость – это чирей на здоровом теле, что от него антонов огонь может прикинуться; стоит ли для прикрытия десяти козачков раздражать империю, которая всегда старалась о сохранении мира. Турки только и желают войны и сдерживаются единственно искусством правительственных лиц, а теперь как их сдержать, особенно могущественное духовное сословие? На это Обрезков велел заметить переводчику Порты, что правило русского двора – других не страшать и самому никаких угроз не бояться. Известно, что Россия содержит наготове многочисленное войско, однако никому не внушает, что не может его сдерживать.

Между тем у министров Порты происходили частые советы, и наконец решили: не относиться прямо к русскому двору в надежде, что он тронется донесениями Обрезкова и оставит постройку крепости. По словам Обрезкова, виновником всего беспокойства был рейс-ефенди; Другие, видя его ярость, говорить не смели, а иные нарочно молчали, чтоб ввести его в погибель, и хотя всем вообще построение крепости неприятно, однако большая часть думает, что оно не противно трактату, а только дружбе. Войны по миролюбию султана бояться не должно, но непременно произойдет большая холодность, а может быть, Порта склонится на домогательство французского посла. Последнее может повести к войне, причем союзники могут отказать в помощи, выставив Россию виновницею войны. Поэтому Обрезков советовал оставить начатые работы над крепостью, а для соблюдения достоинства заявить Порте, что постройка крепости оставляется не потому, что признана противною трактату, но единственно из дружбы к султану и чтоб он перестал ссылаться на трактат; Обрезков советовал сделать это заявление как можно скорее, чтоб отнять у Австрии и Англии возможность хвастаться своим посредничеством.

Но в Петербурге не считали возможным остановить постройки крепости, и Обрезков должен был сообщить Порте об уверенности его двора, что его не будут более беспокоить таким невозможным делом, как остановка крепостного строения. Когда Обрезков сообщил Пенклеру и Портеру о содержании ноты, которую ему предписано подать Порте, то они пришли в сильное беспокойство и

стали упрашивать Обрезкова, чтоб помедлил подачею ноты. Особенно горячился английский посол, который обнадежил Порту, что усердным старанием его короля и римской императрицы это дело кончится к удовольствию Порты. Обрезков имел слабость склониться на желание союзных министров и отложить подачу ноты, и когда Порта начала спрашивать, какое же наконец принято в Петербурге решение, то он вместе с союзными министрами отвечал, что окончательного решения еще не принято. На донесение Обрезкова об этом вице-канцлер Воронцов заметил: «Мне мнится, что весьма напрасно себя допустил уговорить союзным министрам, чтоб присланный отсюда ответ Порте сообщить поумедлить, понеже чрез собственное медление себе больше *амбара* (затруднения) причинил, а турецкому дожданию ответа вящую нетерпеливость умножит, к тому ж из депеши ясно усмотреть мог, что здешний ответ есть точный и никакой другой отмены ожидать не должно б, следовательно, подачею оногo медлить не надлежало, дабы единожды навсегда от нескладного турецкого требования, чтоб крепость не строить, отделаться».

По объявлению Портера рейс-ефенди говорил английскому переводчику именем султанским, что если Порта получит из Петербурга решительный отказ, то не колеблясь пристанет к противной стороне, отчего можно опасаться и войны. На донесение об этом Обрезкова Воронцов заметил: «По моему мнению, ежели б сии господа союзные министры, признав справедливость нашу о построении крепости, с большею твердостью в пользу нашу на представления турецкие ответствовали, а не с такою опасностью (боязливостью) и менажированием требования ее принимали, то, конечно бы (как и последует), горячность и угрозы турецкие давно бы в ничто обратились. Слабейше мнится, что сие дело одним или другим образом лучше между собою самим, без посторонних посредников прекратить, а иначе скоро конца не дожждаться». Обрезков писал, что крепость св. Елисаветы рано или поздно может быть главною причиною разрыва с Портою, ибо турки считают ее так же важною, как и Белград, когда он находился в австрийских руках, и спрашивал, польза от нее перевесит ли этот вред. На это Воронцов заметил: «Человек в мыслях своих, а еще более в гаданиях весьма ошибиться способен; напротив мнения г. Обрезкова думаю, что построение крепости св. Елисаветы будет для переду великим авантажем России и турков в узде содержать».

Воронцов был совершенно прав: дело было вздуто рейс-ефенди и боязливостью Пенклера, Портера и Обрезкова. Когда оно было спокойно представлено султану, тот дал такое решение: так как строение крепости производится в русской земле и в некотором отдалении от турецких границ, то, если дружественным образом отклонить его нельзя, отстать от всяких требований. Это решение было последним в жизни султана Махмуда: 2 декабря 1754 года он умер и на престол вступил брат его Осман.

Глава пятая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1755 год

Слушание статей нового Уложения. – Межевое дело. – Самоуправства. – Новый генерал-кригскомиссар князь Шаховской. – Башкирский бунт и его утишение. – Продолжение неприятных сношений с польско-саксонским правительством по делу князей Чарторыйских и отозванию саксонского посланника Функа из Петербурга. – Дело о конвенции с Англией. – Реляция Панина о состоянии дел в Швеции и письмо к нему канцлера Бестужева. – Уступка требованиям Турции относительно строения крепости св. Елисаветы.

Главным занятием Сената в продолжение 1755 года было слушание статей нового Уложения. 11 апреля начали слушать Уложение, и выслушано первой части одиннадцать глав и доклад комиссии о соединении некоторых правительственных учреждений с другими, а именно: вместо Ревизион-коллегии положено быть при Сенате и Сенатской конторе счетным экспедициям; вместо Мануфактур-коллегии – экспедиция при Главном магистрате; Штатс-контору соединить с Камер-коллегиею; дела Раскольничьей конторы и сбор денег с раскольников поручить Камер-коллегии; дела Сибирского приказа распределить по другим местам. 12 июля приказали доложить императрице, что нового Уложения сочинены две части, судная и криминальная, с их процессами, с изъяснением, на каком основании каждая глава и пункт сочинены; эти две части Сенатом, а некоторые главы сообща с Синодом одобрены и подносятся для высочайшей конфирмации.

Рассмотрение обширного шуваловского проекта, поданного в прошлом году, Сенат в некоторых частях соединил с делом нового Уложения: о форпостах велел рассмотреть комиссии, учрежденной при Военной коллегии, а Военной коллегии, рассмотрев мнение комиссии, подать с своим мнением в Сенат; о смоленской шляхте учредить в Смоленске особую комиссию; о построении солдатских слобод рассуждать комиссии при Военной коллегии; о магазинах рассмотреть в особой комиссии; о земских комиссарах рассмотреть в комиссии об Уложении; о Конторе государственной экономии рассмотреть в особой комиссии; о губернаторах и воеводах в комиссии об Уложении. Шувалов, назначенный государственным межевщиком, спешил исполнением вверенного ему дела и предложил, чтоб велено было производить межеванье во все праздничные и воскресные дни, кроме высокотожественных, по окончании литургии. Сенат согласился и назначил праздничными днями для межевщиков следующие шесть с весны до октября: Пасху, 21 апреля (рождение великой княгини), 25 апреля (коронация), 29 июня (именины наследника и его сына), 5 сентября (именины императрицы), 20 сентября (рождение великого князя Павла Петровича). По представлению того же Шувалова флотский капитан Безобразов определен опекуном при межевании: когда кто-нибудь из землевладельцев потерпит несправедливость от межевщиков при размежевании и в межевой канцелярии скорого удовлетворения не получит, то жалуются опекуну, который ведет дело в губернской межевой канцелярии, если же последняя замедлит, то переносит дело в Главную межевую канцелярию. Наконец, Шувалов предложил не делать астролябий для межевания при Академии наук в Петербурге, а выписывать их из Англии, потому что сделанные при Академии становятся почти вдвое дороже против английских.

Комиссия и Сенат работали над новым Уложением. Между тем случаи самоуправства повторялись, и иногда в страшных размерах. Придворная заготовщица Авдотья Кирова, приехавшая из Архангельска, где покупала разные припасы и лебяжий пух для императрицы, подала в Кабинет жалобу, что дорогою в двух местах подверглась она великим озорничествам: в Белозерском уезде в деревне Власово крестьяне помещика Спасителева, собравшись многолюдством, били кольями провожавших ее солдат за то, что они требовали подвод; Олонецкого уезда в Вытегрском погосте крестьяне по многим требованиям дали только три подводы, а остальных четырех не дали и, собравшись с кольями, хотели бить; увидав это, Кирова уехала с солдатами на трех лошадях, а припасы все и пух на четырех возах остались в погосте. Но Сенат знал, что подобные явления вызываются со стороны самих едущих, он знал, как в Петербурге разных чинов люди, нанимая для езды в городе и около города лежащих местах ямщиков и разночинцев с лошадьми, ездят так скоро, что лошади падают, а если извозчик скоро не поедет, то ездок сам и люди его немилостиво бьют извозчика и по другим дорогам берут подводы лишние против написанного в подорожных. Сенат своим указом запретил все это; но насколько сенатский указ подействовал – это другое дело. Иверский монастырь жаловался на ямщиков Зимнегорского яма, которые в числе трехсот напали на монастырских крестьян, убили до смерти шесть человек да ранили 44. В Пошехонском уезде помещица Побединская, собравшись с людьми своими, изрубила двоих гренадер лейб-компании, Фрязина и Леонтьева. На следствии Побединская показала, что Фрязин сильно обижал ее и ее крестьян, была у нее с ним ссора и жалоба в Пошехонскую канцелярию: 10 мая Фрязин и Леонтьев пришли на поле сельца ее Сырнева, где люди ее боронили землю, и стали одного из боронивших немилостиво бить, другой бросился бежать в сельцо и сказал ей об этом. Тогда она с людьми и крестьянами прибежала к Фрязину и Леонтьеву, которые выстрелили по ней из двух ружей, и один из людей их ударил ее по левой руке, ее люди и крестьяне вступились за нее и начали драться, а она пошла домой. Но люди ее на пытке показали, что она кричала: «Бейте, бейте до смерти! Я в ответе» – и сама была уже лежачего Леонтьева кулаками. Побединскую сослали навеки в дальний монастырь, людей наказали кнутом и сослали в Нерчинск на печную работу.

Это дело было решено с изумительною скоростью – в семь месяцев! – тогда как другие тянулись по 15 лет. Только в 1755 году решено было дело юрьевского канцеляриста Коковинского, который вместе с воеводою Тименевым в 1739 году замучил на пытке крестьянина и спустя полгода написал расспрос и пыточные речи, в которые внес разные воровства, чего крестьянин на себя не показывал: воеводу за старостью и дряхлостью не пытали, и он во время следствия умер; канцеляриста сослали в Сибирь на вечную работу. В 1755 году кончилось тянувшееся с 1746 года дело вдовы экипажмейстера Зотова, которая обвинялась в том, что, родивши мертвую дочь, объявила, что родила сына, которого принесли ей от матросской жены: Зотова наконец повинилась в застенке, после того как при ней попытали какую-то уголовную преступницу: вследствие того мальчику, которого она называла сыном своим и которому уже был тринадцатый год, запрещено называться Кононом Зотовым, велено называться ему Александром Александровым по крестному отцу Нарышкину, и определили его на шпалерную фабрику. Саму Зотову Сенат приговорил к плетям и ссылке.

Относительно финансов Сенат успокоился на принятых мерах, следя внимательно за продажей соли и вина. В 1754 году продано было соли 6789633 пуда 31 фунт; из собранной прибыли, за исключением миллиона, отослано в Комиссариат в зачет подушного оклада на 1755 год 304802 рубля 47 копеек. Винная продажа дала в 1754 году 1272284 рубля.

Сенат приобрел хорошего эконома в новом генерал-кригскомиссаре князе Шаховском, хотя иногда не очень удобного для некоторых. Он нашел в своей инструкции: «Генералу-кригскомиссару надлежит быть доброму эконому и пользу своего государя крепко хранить; военным чинам жалованье по их окладам производить за действительную службу, а в отлучках и излишних прогулках находящимся оного не производить» – и решился исполнять инструкцию буквально, вследствие чего вступил как с Военною коллегиею, так и с высоким генералитетом в великие споры и несогласия. Граф Петр Ив. Шувалов сообщил ему изустное повеление императрицы, что один офицер для нужд его уволен на год, а жалованье ему производить за все то время по его чину. Шаховской отвечал, что он по своей инструкции исполнить этого не может без точного указа за собственноручным ее величества подписанием. Этот ответ возбудил негодование всего высокого генералитета. Однажды перед конференциею при дворе генералы окружили Шаховского с разными пенями, что отказывает им в их требованиях относительно денег, а некоторые с насмешкою говорили ему: «Теперь твоя должность не такая, какую ты имел в Синоде, и время нетерпящего исполнения требует и не может всегда производима быть по письменным указам; а ежели и во время военных действий так все по точным узаконениям и указам производить и исполнять будешь, тогда великие остановки и невозвратимые со временем утраты приключать будешь». «Конечно, не иначе, – отвечал Шаховской, – и чтоб вы заблаговременно о том знали и соизволили б исходатайствовать мне от ее величества такие указы, дабы я во всякое время по всем вашим письменным и словесным требованиям исполнял, в чем со тщанием и повиноваться буду; буде же таких указов не будет, то б не жаловались на меня и на мои в том упорства, и без того не токмо по собственным вашим рассудков требованиям, но ниже по словесным, объявляемым чрез других именных указам излишнего сверх узаконенных порядков исполнять не буду; а ежели вам удивительно такое в том мое упрямство, так я таким быть от ее величества научен чрез многие дела в бытность мою в Синоде».

Шаховской не говорит в своих записках, чем кончилось его столкновение с графом Петром Шуваловым по поводу невыдачи жалованья находившемуся в отпуску офицеру. Военная коллегия жаловалась Сенату на Комиссариат: по силе именного указа, объявленного ей графом Петром Ив. Шуваловым, лейб-кирасирского полка ротмистру графу Вальдштейну дозволено жить в Москве для женитьбы с удержанием жалованья и рационов; ротмистр этот теперь в Петербурге, и поэтому Комиссариат послал в свою контору указ, если Вальдштейн без исправления должности живет в Петербурге, то жалованья ему давать не следует. Военная коллегия велела дать жалованье, потому что Вальдштейн находится в Петербурге по соизволению императрицы и бывает всегда видим в ее присутствии, только еще не женился, ожидая о женитьбе высочайшего повеления. Сенат согласился с Военною коллегиею.

Шаховской чистосердечно рассказывает об искушении, которому он подвергся, – искушении взять большую взятку. Исходил срок контракта с английским консулом и купцом Вульфом о поставке на войско сукон. Шаховской был того мнения, что контракта возобновлять не нужно, можно довольствоваться все войско сукнами с русских фабрик. Тогда Вульф обратился к двоим приятелям Шаховского, которые приехали к нему с предложением со стороны Вульфа серебряного сервиза или вместо него 25000 рублей, причем приятели объявили, что каждому из них в случае успеха их ходатайства обещано по 5000 рублей; от Шаховского за 25000 рублей ничего не требовалось, кроме молчания. Вульф брал на себя заставить других говорить в свою пользу. «Поверьте, благосклонный читатель, – пишет Шаховской, – что я, превозмогши оставить все титулы и дела, теперь в старости более о приближении смерти помышляя, происходившее со мною по самой истине описывать тщусь. И тако объявляю вам, что сим моих добрых приятелей уведомлением наипаче потому, что я тогда таких доходов к содержанию с домашними не имел, несколько был тронут: а мои приятели, то приметя по глазам моим, в тот же миг не оставили прилежно штурмовать мою крепость наичувствительнейшими выражениями, исчисляя моих неприятелей, а его (Вульфа) сильных покровителей, и что я чрез то себе не статую, как описывают о римских патриотах, но еще больше злодеев получу, а он, конечно, чрез придворные дороги с немалым мне повреждением о том свои происки в действо произвести может. Мысли о 25000 рублях, тогда в недостатках находящегося и имеющего тогда дочь-невесту, для коей за недостатками ничего в приданое приготовлено не было, сделали в духе моем колебание. Я отвечив оным моим приятелям, что я имею нужду теперь ехать со двора и чтоб они приехали на другой день ко мне обедать, тогда решительный им ответ скажу. Оные соблазняющие и склоняющие к согласию с большим числом так поступающих людей мысли весь тот день меня колебали. Но напоследок, собрав в противоборствие слабостей и в подкрепление в мысли моей примеры прежде бывших в свете патриотов, кои, предпочитая истинную добродетель всему, не токмо убожество, но и многие бедствия терпеливо сносили и жизнь свою справедливости в жертву посвящали, усчастливился я помощью всевидящего из мыслей моих бродящие лакомства прогнать и твердое положил себе правило, чтоб тем не опорочить мои до того к справедливости устремления». На другой день Шаховской попросил приятелей своих сказать Вульфу, что он «справедливость, славу монархини и пользу отечества ни за какую цену продавать не намерен». Шаховскому удалось довести дело до сведения императрицы, которая, выразившись прямо в пользу мнения генерал-кригскомиссара, заставила этим молчать покровителей Вульфа.

Все распоряжения относительно войска получили особенную важность, потому что в воздухе пахло войной, несмотря на видимое спокойствие. Сеть союзов, которою государства старались окружить себя, производила то, что, где бы ни упала искра, пламя охватывало всю Европу. В это время, когда в Петербурге с напряженным вниманием следили за движениями в Европе, готовясь принять в них деятельное участие, вдруг приходит известие с Востока о восстании башкирцев. Причина восстания была религиозная: ревнители магометанства не могли переносить подчинения христианскому правительству. Виновником восстания было магометанское духовное лицо Батырша; почти все другие

духовные лица действовали с ним заодно, и восстание вспыхнуло повсюду почти в один час. Неплюев, как нарочно, сильно занемог в это время; несмотря, однако, на болезнь, он сделал нужные распоряжения: разослал приказы в крепости по линии, чтоб были готовы к защите и по возможности делали поиски над бунтовщиками; велел немедленно выслать с Яика тысячу козаков; двинул внутрь страны три полка, находившиеся под его командою, с приказанием не щадить ни людей, ни жилищ для внушения страха и уничтожения зла в самом начале; написал, чтоб присланы были четыре полка, находившиеся в Казанской губернии. Так как башкирцы ждали помощи от киргизов, то Неплюев написал наместнику Калмыцкого ханства Дундуку, чтоб прислал тысячу калмыков вследствие усиливающихся киргизских дерзостей, ибо калмыки питали страшную ненависть к киргизам; написал к донскому атаману, чтоб прислал тысячу своих козаков; около тысячи оренбургских Козаков и 500 ставропольских крещеных калмыков отправил в те места по линии, где предвиделась опасность от киргизских нападений; к киргизам отправил на татарском языке листы от имени жившего в Оренбурге знатного магометанского лица, пользовавшегося особенным уважением; здесь говорилось, что хотя он и радуется подвигу своих единоверцев, но так как башкирцы народ вероломный и непостоянный, то опасно, чтоб киргизы, оказавши им помощь, не сделались первою их жертвою. Между башкирцами разбросаны были также листы от имени того же оренбургского духовного лица с увещанием прекратить бунт; в грамотах от своего имени Неплюев обещал тысячу рублей тому, кто поймает и приведет Батыршу, и 500 рублей за поимку десяти лучших его учеников.

Но прежде чем войска правительства двинулись в указанных им направлениях, башкирцы побили много русских, причем отличались страшною свирепостью, резали в куски тело несчастного, попавшегося им в руки. Сильное сопротивление бунтовщикам оказали тептери и мещеряки; когда же пришли русские полки, то бунтовщики принуждены были перебираться за Яик к киргизам, и перебралось их с женами и детьми более 50000 душ. Неплюев послал в Киргизскую орду грамоты, в которых требовал, чтоб киргизы выдали бежавших к ним башкирцев мужеского пола или по крайней мере выгнали их из своей орды, а жен, дочерей и все имение взяли бы себе. Киргизы немедленно исполнили это требование; многие башкирцы, защищая своих жен и дочерей, были побиты, причем погибло много и киргизов; другие башкирцы прибежали в прежние свои жилища, и Неплюев велел пропускать их, чтоб они порассказали своим, как полагаться на киргизов. Толпа башкирцев явилась после того к Неплюеву за позволением отомстить киргизам. Неплюев позволения не дал, но переводчики внушили им, что «генералу нельзя вам позволить, но если вы без спроса разобьете киргизов, то думаем, что взыску с вас не будет». Башкирцы отправились за Яик и начали опустошать киргизские улусы. «Сие происшествие, – пишет Неплюев, – положило таковую вражду между теми мятежными народами, что Россия навсегда от согласия их может быть безопасна».

Преращение смуты на Востоке давало возможность сосредоточить внимание на Западе.

В Дрездене английский посланник Уильямс показал Гроссу королевский рескрипт, в котором говорилось, что польские происшествия, возвышение кредита французской партии и уничтожение кредита партии русской не могут побуждать

его великобританское величество к возобновлению субсидного трактата с его польским величеством как саксонским курфюрстом. Уильямс предложил Гроссу, не заблагорассудит ли он сделать об этом внушения графу Брюлю, чтоб склонить его поступать умереннее с Чарторыйскими. Брюль сам заговорил с Гроссом о субсидном договоре с Англиею, причем жаловался на поведение Уильямса, действующего явно заодно с Чарторыйскими. Тогда Гросс прямо сказал ему о содержании рескрипта английского короля к своему министру и прибавил, что так как заключение субсидного трактата зависит от доношений Уильямса, то он, Брюль, должен обходиться с ним искреннее и дружественнее, чем в последние месяцы прошлого года. Брюль в ответ начал горячо оправдывать поведение двора относительно Чарторыйских; но после этого разговора с Гроссом он стал ласковее принимать Уильямса, который сообщил Гроссу о словах конференц-министра графа Рекса и советника посольства Саула, что если возобновление субсидного трактата зависит только от примирения Чарторыйских с двором, то последний не прочь от этого.

24 января у Брюля была конференция с Уильямсом в присутствии Гросса. Уильямс начал прямо, что относительно заключения субсидного трактата короля его останавливают польские отношения, усиление французской партии и притеснение благонамеренной и преданной России партии. Брюль в сильном раздражении отвечал, что все сделанное в Польше сделано справедливо, сделано единственно для охранения королевского авторитета против непристойного и досадительного упрямства неблагодарных Чарторыйских и друзей их: Франция и Пруссия в том никакого участия не имели. Король Август постоянно приносимыми версальскому двору жалобами на французского посла Брولي доказывает, что он твердо держится прежней системы: он, Брюль, тем более удивляется таким речам Уильямса, что сам французский посол жалуется на преступление к придворной партии Потоцких, которые преданы королю больше, чем прежде были Чарторыйские, и, таким образом, Франции теперь ни на кого полагаться нельзя. Уильямс сказал на это, что, напротив, Брولي хвастается произведением полной перемены в Польше, разрушением русской и поднятием французской партии, а король прусский недавно за столом публично отзывался, что он доволен ходом дел в Польше, из которых слов ясно, что ни английский король, ни русская императрица этим ходом дел довольны быть не могут. Брюль отвечал на это выходками против Чарторыйских, которые своим недоверием к королю одни подали повод к этой перемене; Уильямс с своей стороны складывал всю вину на Мнишка и окружающих его людей. Два часа продолжался между ними горячий спор, и никакого соглашения не последовало. Ясно было, что Уильямс испортил дело нападками на Мнишка. Гросс во все время спора хранил глубочайшее молчание. После этой шумной конференции Брюль говорил Гроссу, что Чарторыйские своим сопротивлением в острожском деле продолжают досаждают королю, что если исправятся, то король возобновит к ним свои милости, но что Уильямс сильно ошибается, если думает, что за субсидии, как бы они велики ни были, такой твердый государь, как их король, пожертвует своим авторитетом: король постоянно держится доброй системы и потому до сих пор отклонял предложения о субсидиях от французского посла, да и курфюрста баварского недавно отвратил от принятия французских предложений: против посла Брولي принесены жалобы его двору, интриги его при Порте с татарским

эmissаром уничтожены; гетман Браницкий отправил своего эmissара в Константинополь Малчевского – и саксонскому резиденту при Порте ведено объявить визирю, что Малчевский человек неавторизованный и прямой шпион; все это доказывает, что польско-саксонский двор французскую партию не ободряет, граф Мнишек во всем противник этой партии, а Потоцкие заслужили милость совершенную преданностью королю. Гросс все эти слова передал Уильямсу и заметил ему, что Франция своими субсидиями привлекла к своим интересам уже значительное число имперских князей: так хорошо ли, если и польско-саксонский двор обяжется с нею субсидным трактатом? «Полноте, – отвечал англичанин, – все это хитрости Брюля: французский двор и не думает предлагать Августу III субсидии».

Между тем смерть белорусского епископа Волчанского налагала на Гросса новую трудную обязанность – провести на это место русского кандидата. По рескрипту от своего двора Гросс просил Брюля доложить королю, что императрица, полагаясь на дружбу его, уверена, что его величеству не будет неприятна ее рекомендация кандидата на место Волчанского: этот кандидат – архимандрит Киево-Братского училищного монастыря и ректор Киевской Академии Георгий Кониский, природный шляхтич украинский, человек ученый, честный и благонравной жизни. Гросс прибавил, что его величество покажет этим особенное внимание к императрице, которая при каждом удобном случае взаимно заплатит таким же вниманием. Брюль отвечал, что с королевской стороны не будет никакого затруднения в назначении Кониского, но прежде всего король сообщит об этом канцлеру литовскому князю Чарторыйскому, который должен прислать свое мнение, нет ли законного препятствия. Гросс писал по этому случаю: «Так как определение греко-русского епископа в Литве всегда было противно духовенству римскому и униатскому, а теперь этому особенно противится митрополит полоцкий, то двор желает всю ненависть за это дело сложить на одного канцлера литовского, который при настоящем озлоблении на него двора, пожалуй, не захочет поступить вопреки уставам республики, запрещающим назначать в епископы не из польских и литовских шляхтичей». Через несколько времени Брюль объявил Гроссу, что, несмотря на письмо папы, не желающего определения нового греко-русского епископа, король намерен по прежним примерам *на этот раз* подписать привилегию Конискому. Гросс заметил, что по девятой статье вечного мира русские имеют право не на этот раз, но навсегда иметь своего епископа в Белоруссии и потому сопротивление папы, который не может уничтожать торжественные договоры, очень некстати.

Нужно было через Брюля выхлопотать необходимое для русских интересов утверждение Кониского и в то же время говорить Брюлю очень неприятные вещи. От 24 февраля Гросс получил рескрипт императрицы, в котором говорилось: «Не без крайнего сожаления усмотрено здесь из реляции вашей, что в конференции у графа Брюля с великобританским министром, когда последний много говорил в защиту нашей партии, т.е. Чарторыйских, вы простым свидетелем были, ибо вам наши намерения довольно известны и нами никогда отменяемы не были, почему вы были в состоянии достаточно подкреплять справедливые рассуждения Уильямса и в таком важном случае прилагать старания о нашем интересе. Наше намерение, несмотря на рассуждение и старания графов Брюля и Мнишка, а может быть, на частный их интерес и пристрастие к новосоставленной ими

партии, всегда и неотменно старых благонамеренных патриотов князей Чарторыйских с их партией как искуснейших и надежнейших для наших и собственных королевских интересов подкреплять и защищать, а притом и всех других магнатов явно не раздражать, но по удобности стараться приласкать. В таком намерении мы повелеваем вам, испрося нарочно конференцию, графу Брюлю для донесения королю вновь представить, а если удобный случай будет, и самому королю словесно повторить, что, во-1, мы весьма неохотно уведомились, что наши пред сим его величеству дружески поданные присоветования о сбережении старых благонамеренных патриотов в их прежнем состоянии без утеснения и озлобления никакого действия не возымели и что нам сие тем наипаче удивительно, понеже присоветования наши токмо на дружбе к его величеству и на общих обоих дворов интересах основаны были. 2) Что мы как прежде, так и ныне присоветовать не хотим, чтоб кроме помянутых благонамеренных, между которыми главнейшие князья Чарторыйские разумеются, других в республике знатность и кредит имеющих магнатов пренебрегать и раздражать, но паче желаем, ежели возможно было б, и всех их воедино для единодушного поспешествования обосторонних интересов привлекать и в согласие приводить, а чтоб притом старых друзей, которых благонамеренность давно уже испытана, вовсе оставить и в бессилие привести, мы отнюдь за полезно признать не можем, да и сам его величество король по собственным своим интересам, соглашаясь в том с нами, не изволил бы того допустить, ежели б (как чаятельно) посторонние и безведома его величества чинимые происки иначе не подействовали, как то ныне видно, что 3) вместо прежней благонамеренной и в надежности довольными опытами засвидетельствованной новая будто двору королевскому преданная партия, в таких персонах состоящая, избрана и возвышена, которые в самом деле больше французскому двору всегда преданы были и которому наипаче они и впредь свои услуги делать обязаны будут, когда им по рекомендациям французским отличная королевская милость и такие награждения подаются, кои давно уже некоторым из прежней благонамеренной партии персонам обещаны были, но сии последние вместо того ныне совсем утесняются. 4) Что хотя мы не известны о прямых инако побудительных причинах, кои бы его величеству королю к такой перемене системы в королевстве повод подали, однако ж то повсюду известно, что Франция и Пруссия сею переменою весьма довольны, и потому сомневаться больше не можно, что они по своим видам оную пользоваться не оставят, а из того следует, что, где и в чем оба сии двора удовольствие свое находят, напротив того, мы с его величеством польским общих своих интересов, конечно, не находим. 5) Что ежели б иногда князья Чарторыйские с своими друзьями в известном острожном деле и при сопряженных с тем обстоятельствах во время бесплодного и несостоявшегося сейма его величеству королю некоторую неугодность оказали (к чему, может быть, не неправильную причину имели); но когда, напротив того, в рассуждение возьмется, что и прежние многие сеймы по развращенной и ничем не поправляемой польской вольности до состоятельства своего не доходили, донныне стерпимы были, к тому ж и новоизбранной партии глава коронный гетман как в самом начале, так и в продолженных соглашениях о сем спорном деле сколь мало к желаниям и указам его величества послушания и угодности оказывал, то явственно будет, что князья Чарторыйские не столь много заслужили королевского гнева и утеснения; но со всем тем, 6) что до помянутого

острожного дела принадлежит, мы, оно собственным в королевстве домашним делом признавая, распоряжение и окончание оно королю с республикою совершенно оставляем, и, как уже в прошлом году чрез вас объявить повелели, не намерены мы с своей стороны в оно вмешиваться, разве когда б посторонние державы по поводу сего дела для своих дальновидных намерений стараться стали внутренние замешания в Польше распространять, тогда уже и мы обойтись не можем, по древним обязательствам с республикою, пристойные меры взять для содержания в Польше тишины и ее целости, а впрочем, 7) и без того нам принадлежит, особливо по трактату в 1716 году соглашенного в республике примирения, под медиациею здешнего двора заключенному, всегдашнее старание иметь, чтоб согласие, вольность и древние уставы республики с королем ненарушимо содержаны и сохранены были, и понеже всякие противные тому действия, например одною королевскою властью или инако насильством, или происками одних в обиду и утеснение другим персонам происходящие, благоустановленного примирения, вольности и уставов ненарушимо содержать не могут, то и ожидать надобно потому следствия нежеланного внутреннего в республике замешания и беспокойства, и в таком случае мы по силе вышеупомянутого трактата от подания правой стороне нашего вспоможения справедливо уклониться не можем, но принуждены были б самой правде по возможности содействовать».

Гросс немедленно потребовал у Брюля конференции, которая и была назначена 20 марта в присутствии Уильямса. Гросс стал читать записку, составленную из всех пунктов рескрипта. Выслушав первый пункт, Брюль вскричал: «Верно, поведение князей Чарторыйских неправильно было представлено императрице: иначе она не стала бы заступаться за королевских неприятелей». «Императрица, – отвечал Гросс, – заступает не за неприятелей королевских, но за старых благонамеренных партизанов обоих наших дворов». Уильяме прибавил: «Наша Англия не менее вольное государство, как и Польша, однако у нас члены парламента, сопротивляющиеся двору, не называются королевскими неприятелями». По выслушании второго пункта Брюль опять распространился в жалобах на Чарторыйских, но в общих выражениях, повторяя, что король пред ними не преклонится (*ne pliera pas devant eux*). Когда же Гросс дочел до выражения о чуждых происках, чинимых без ведома королевского, то Брюль горячо возразил: «Король все сам делал; это государь чрезвычайно прилежный, который все сам исследует; он работает более всех других монархов в Европе». Когда в третьем пункте было прочтено, что новая партия состоит главным образом из французских приверженцев, то Брюль спросил: «Кто такие?», и когда Гросс назвал гетмана Браницкого и Потоцких, то Брюль сказал: «Гетман только несколько месяцев, кажется, предан французским интересам; за Потоцких, кроме воеводы бельского, я поручусь; но я хорошо вижу, что под Потоцкими разумеется зять мой граф Мнишек как старый их приятель; но я могу подтвердить присягою, что Мнишек наичестнейший человек и французским интересам противен и что король никогда не оказал бы своего благоволения человеку, известному ему за французского приверженца».

На четвертый пункт Брюль заметил, что королю все люди, ему преданные и общему благу доброхотствующие, равно приятны и по рекомендации французской одно воеводство, Брацлавское, отдано Яблоновскому, и то по желанию дофины,

дочери короля, точно так, как и русская императрица ожидает, что по ее рекомендации какое-нибудь старство будет дано молодому графу Сапеге, хотя негодному человеку. Против этих слов на депеше Гросса Воронцов написал: «Из сих слов графа Брюля видно, что он был в горячности, ибо по известной всем его учтивости не токмо о рекомендованной от ее императ. величества к королю, его государю, персоне так дерзостно пред ее величества министром отозваться, но он обык и по партикулярным рекомендациям особливое снисхождение и действительные услуги оказывать; что молодой Сапеге, правда, по ветреному своему нраву и не достоин бы был от ее величества призрения, но оно из великодушия, и для родни его сия рекомендация в надежде на дружбу королевскую учинена, и ежели по сему ее величества заступлению оному Сапеге королевская милость показана не будет, то не иначе здесь приняться может, что саксонский двор весьма малую атенцию к нашему имеет, о чем господин Гросс может при случае графу Брюлю искусное и умеренное внушение учинить, дабы высочайшая ее величества рекомендация бесплодно и втуне не осталась».

По прочтении 5 пункта Брюль опять рассыпался в горьких жалобах на поведение Чарторыйских во время последнего сейма и по поводу острожского дела: «Они забыли должное уважение к королю, да и прежде только пользовались королевскою милостью для собственных видов, а его величеству мало услуг оказывали; если б императрица все подлинно знала, то не защищала бы людей, которые так нагло сопротивлялись авторитету королевскому; но, как бы то ни было, король не потерпит, чтоб ему предписывались законы; король, узнав о непослушании князей Чарторыйских, выразился, что если б не сдерживала его присяга, то он отрекся бы от престола». Гросс на это заметил только, что императрица не намерена предписывать законы королю, но, полагаясь на дружбу его величества, справедливость и внимание к общим интересам, предлагает ему дружеские советы.

Против 6 параграфа Брюль не говорил ничего; но после 7-го закричал с яростью: «Надобно желать, чтоб эта записка не обнародовалась, в противном случае могла бы возбудить волнения в Польше; и без того Чарторыйские и друзья их уже хвастались русскою помощью; но если б императрица приняла участие в польских смутах, то ведь и Франция с Пруссиею то же бы сделали». «Императрица, – сказал Гросс, – принуждена была бы вмешаться по трактату 1716 года, тогда как у Франции и Пруссии нет никакого повода вмешиваться». «В случае нарушения трактата один король должен был бы употребить средства к его восстановлению», – возразил Брюль. Тут Уильямс заметил, что трактат заключен между королем и чинами республики, следовательно, король не может быть в одно время и стороною, и судьбою, почему Россия и приняла на себя гарантию трактата.

Эти слова Уильямса и следующий, осьмой параграф еще больше рассердили Брюля. Он объявил с сердцем, что король хочет быть у себя господином, а не под чужою опекою; король скорее откажется от престола; он никак не мог ожидать такого обращения от своих лучших союзников, которые, кажется, вознамерились подобными угрозами довести его до крайности. Обратись к Уильямсу, он спросил: «Что сделал бы король английский, если б другая держава дала ему такие советы насчет его домашних дел?» Уильямс отвечал, не смутясь: «Мой государь всегда охотно слушает советы своих верных союзников». В заключение конференции

Брюль взял записку и обещал ее довести до сведения короля, но сказал при этом, что ответ не может быть благоприятным и что король не уступит Чарторыйским.

За эту неприятность следовали другие: от 8 июля Гросс получил рескрипт императрицы, в котором говорилось, что еще в мае 1753 года от русского двора было предъявлено требование, чтоб находившийся при нем саксонский посланник Функ был отозван; но вместо отозвания Функа король прислал грамоту такого содержания, что если императрице надобно отозвание Функа, то король в угодность ей отзовет его; императрица отвечала, что остается при прежнем требовании; но Функ не был отозван и все остается в Петербурге, несмотря на то что после первого требования прошло уже более двух лет. Так как императрица имеет причину быть очень недовольна таким странным поведением польско-саксонского двора, ибо не только между дворами, находящимися в теснейшем союзе, но и между вовсе не дружными державами в подобных случаях всегда взаимное снисхождение показывается, то императрица повелевала Гроссу немедленно объявить графу Брюлю, что такое невнимание очень чувствительно императрице и если Функ сейчас же не будет отозван, то министры императрицы не будут иметь с ним никакого сношения.

На объявление Гросса об этом рескрипте он получил из королевского кабинета записку, в которой его просили передать своему двору, что когда было сделано первое требование, то граф Брюль отвечал тогдашнему русскому посланнику в Дрездене графу Бестужеву, что король исполняет желание императрицы; но при этом Брюль представлял ему, какое неприятное впечатление произведет это отозвание Функа, как обрадуются этому державы, завидующие дружбе между русским и саксонским дворами, и, наконец, как трудно будет отыскать человека, который бы исполнял должность посланника с таким же знанием и достоинством, как Функ; по крайней мере он, граф Брюль, не знает никого, кто бы был способен заменить его. Эти представления были повторены в грамоте королевской к императрице, и король надеялся, что императрица уважит их. Только по прошествии целого года граф Бестужев доставил ответ императрицы, что она остается при прежнем требовании. Так как король не мог думать, чтоб это повторительное требование происходило от собственного соизволения императрицы, ибо в нем не было объявлено, почему Функ сделался противен ее величеству, и полагал, что дело происходит от чьего-нибудь частного происка, то велел графу Брюлю писать об этом к русскому канцлеру; ответа не было, и явилась причина надеяться, что ее величество изволила это дело оставить. Поэтому теперь с крайним удивлением узнали о противном: ее величество непременно требует отозвания Функа с угрозою, что в противном случае будет прервано с ним всякое сношение. Король польский, который находится в наитеснейшем союзе с императрицею и ежедневно подает опыты нелицемерной преданности и дружбы, никак не мог ожидать такой угрозы. Быть может, это был бы первый пример прекращения сношений с министром союзного двора без объявлений причины неудовольствия. Крайне удивительно то, что об этом непременно намерении императрицы требовать отозвания Функа мы прежде еще узнали из Берлина, и потому легко можно рассудить, как сильно обрадуются этому берлинский и французский дворы. Король обещал отозвать Функа и давал знать, что переводит на его место из Стокгольма барона Сакена; но так как последнего

неловко вызвать из Швеции по случаю наступающего там сейма, то просил императрицу потерпеть несколько времени Функа в Петербурге.

При польско-саксонском дворе думали, что виновником этого дела был Мих. Петр. Бестужев, который сердился на Функа за то, что тот не оказал ему в Поторбурге никакой помощи по случаю его женитьбы.

Действительно, Бестужев донес своему двору о словах Брюля, что Функ назначен к петербургскому двору более по желанию императрицы, чем короля, и по поводу этого донесения был также сделан запрос, на каком основании были сказаны эти слова. Брюль заперся, что говорил их. Когда оба эти ответа по делу Функа были препровождены в Петербург, то Гросс получил рескрипт с выговором, зачем он вел все то дело на бумаге, оба ответа возвращены с приказанием отдать их назад саксонскому министерству как такие пьесы, каких императрица не привыкла принимать, и притом дать знать, что императрице очень чувствительно мнение саксонского двора, будто ее решения делаются не по собственной ее воле, а зависят от чуждых внушений. Медленность ответа происходила оттого, что императрица в таком маловажном деле не хотела входить в лишнюю переписку, считала достаточным устное заявление своего министра о ее желании. Объявление, что с Функом будут прекращены сношения, не есть какая-нибудь угроза: этим объявлением желалось показать саксонскому двору, как умеренно поступает императрица, ибо, видя такое отлагательство, она давно имела бы право сделать это с Функом, если б ее не удерживала дружба к королю. Императрице кажется странным, что саксонский двор старается у союзного двора удержать министра, который ему противен; удивительно и то, что саксонский двор в два года с лишком не мог отыскать способного человека на смену Функу. На упрек, что императрица не упоминает о вине Функа, ответ: если б она не имела достаточной причины в неудовольствии на Функа, то не приказывала бы так домогаться об его отозвании. Императрица не понимает, почему Пруссия и Франция могут обрадоваться отозванию Функа: они будут гораздо довольнее тем, что саксонский двор так долго проволочивает отозванием от русского двора неприятного императрице министра. Рескрипт оканчивала так: «Вы имеете без отлагательства о всем вышеописанном графу Брюлю точно на словах изъяснить, присовокупя к тому, что мы из всего одного не можем иного заключать, как что его величеству королю, знать, по каким-либо консидерациям удержание здесь помянутого Функа более надобно, нежели наша дружба; что мы предаем на волю его величества прислать сюда на смену Функу барона Сакена или кого-нибудь другого, ибо по той кондиции, с которой барон Сакен сюда назначается, нетрудно понять, что отзывом Функа еще на долгое время проволочить хотят, а мы неотменно желаем, чтоб оный неприятный нам министр от нашего двора действительно и без всякого замедления отозван был. Сия есть последняя наша резолюция».

С Англиею дело остановилось за деньгами: Россия в последнем проекте союзного договора требовала 500000 фунтов стерлингов на случай действительной диверсии русским войском и 200000 фунтов ежегодно за содержание корпуса на границах; Англия предлагала за диверсию 350000 фунтов, а за содержание корпуса на границах – только 50000 фунтов. Канцлер в своей записке для императрицы говорил, что из суммы, за действительный поход платимой, едва ли что можно убавить, но из суммы за содержание корпуса на

границах можно убавить до половины, ибо содержать войска на границах и без того надобно.

В июне на смену Гюидикенсу приехал новый английский посол, Уильямс, бывший при польско-саксонском дворе. Новый посол в конференции 6 июля объявил, что он торговаться не будет и объявляет ультиматум: 1) конвенция должна распространяться и на всех союзников короля английского; 2) сумма субсидий на случай диверсии будет 500000 фунтов; 3) сумма за содержание войска на границах будет 100000 фунтов. 19 июля императрица велела канцлеру и вице-канцлеру представить Уильямсу, только не ее именем, но от себя, что уменьшение субсидий за содержание войска на границах встретит большие затруднения, ибо императрица считает последний русский проект за ультиматум. Когда Уильямсу сделано было это внушение, то он отвечал, что не будет согласно с его честью переменить то, что раз он объявил как ультиматум. Тогда императрица подписала 26 июля проект конвенции, согласной с предложением Уильямса, а 19 сентября конвенция была заключена: за означенные суммы Россия обязалась содержать на лифляндских и литовских границах корпус в 55000 человек, т.е. 40000 пехоты и 15000 конницы, и на морском берегу от 40 до 50 галер с потребным экипажем; этот корпус идет за границу, как скоро на английского короля или кого-нибудь из его союзников сделано будет нападение, а король английский высылает свою эскадру в Балтийское море. Конвенция продолжается четыре года. Ратификация замедлилась со стороны императрицы, а между тем 20 декабря канцлер пригласил послов – австрийского Эстергази и английского Уильямса, одного после другого, – и читал им следующую записку: «По обстоятельствам времени, которые становятся день ото дня более критическими, по причине неизбежной войны между Англиею и Франциею императрица повелела своему министерству просить посла откровенно и письменно изъясниться о мнениях и мерах своего двора на случай предстоящей в Европе войны, особенно если бы прусский король ее начал или в нее вмешался, т.е. если прусский король нападет на кого-нибудь из общих союзников, то с какими силами Австрия и Англия намерены ему сопротивляться или с какими силами напасть на него». Эстергази принял записку на доношение своему двору, уверяя, что его государыня свято исполнит договор 1746 года. Потом Эстергази спросил: кончено ли с Англиею дело о субсидном договоре, потому что его двор сильно им интересуется, считая основанием доброй системы, и по нем распорядит дальнейшие свои меры. Когда ему сказали, что для окончания дела все еще ожидается высочайшее повеление, то он сильно задумался, а потом сказал: «Не знаю, как мне эту записку послать к своему двору, не давши при том знать об английской конвенции как главном деле, и как мне уничтожить беспокойство, в которое мой двор непременно будет этим приведен?»

Уильямс, выслушав записку, тотчас спросил: «А наша конвенция ратификована?» Когда и ему сказали, что еще ожидается высочайшее повеление, то он, *совсем потупясь*, отвечал: «Я надеялся приехать на конференцию совсем для другого дела, а не для принятия читанной мне записки. Уже три недели, как я сообщил о полученных мною из Лондона ратификациях; но я ни одним словом не докучал о скорой их размене, уважая время и покой ее императорского величества, особенно услышав, что ее величество, чувствуя боль в руке, по несчастию ее снова повредила. Я и давно терпеливо и с благоговением буду ждать, только бы я был

уверен и мог уверить свой двор, что медленность в размене ратификаций не поведет к разрушению самого дела. Читанная мною записка, собственно, не заключает в себе ничего, против чего бы можно было спорить, но принять я ее не могу прежде размена ратификаций, не приводя этим короля своего в крайнее беспокойство и не подвергая себя его гневу и потере всякого доверия. Я уже и так несчастлив, что в Лондоне узнают об этом из Вены, куда Эстергази отправит записку».

После того Уильямс не переставал жаловаться на медленность в размене ратификаций и наконец объявил, что больше не будет ездить ко двору. Вице-канцлер уверял его, что императрица неизменна в дружеских чувствах своих к английскому королю. «Может быть, – прибавил Воронцов, – сомнение императрицы происходит оттого, что ее величеству не желательно посылать свои войска так далеко в Германию или Нидерланды и желательно употребить их только для диверсии против короля прусского, когда он вмешается в войну». «Я, – отвечал Уильямс, – не могу по этому предмету вступить ни в какое рассуждение; только в одном могу уверить, что когда ее величество изволит ратификовать трактат, то его величество король охотно исполнит желания императрицы, о которых я ему и донесу; но прежде ратификации не может быть ни о чем речи. Дело понятное, что, прежде чем русские войска придут в Германию, Франция может завоевать Нидерланды или Ганновер; русские войска будут потребованы на помощь только в крайнем случае; при заключении договора королевское намерение было то, чтоб сдержать прусского короля, а союзников своих, Австрию и Голландию, сохранить в общей системе, ибо венский двор решительно отказался посылать свои войска для защиты Нидерландов, чтоб не обнажить свои германские владения против прусского короля, но в случае заключения субсидного трактата между Россиею и Англиею обещал отправить войско в Нидерланды, да и голландцы, узнав о трактате с Россиею, примут решения, более полезные для общего дела». «Не можете ли вы, – сказал Воронцов, – дать письменную декларацию того, что вы сейчас сказали: это будет очень приятно ее величеству». Но Уильямс отвечал, что прежде ратификации он ни во что вступать не может; но если при размене ратификаций ее величество изволит через свое министерство предложить об этом, то он донесет своему двору и надеется, что король сделает все возможное, чтоб удовлетворить желание ее величества.

В Швеции продолжен был на десять лет союз с Франциею, но отклонен союз с Пруссиею, и вообще положение партий в Швеции не могло грозить России большою опасностью в случае европейских замешательств. Панин так объяснял своему двору положение дел в Стокгольме: по смерти короля Фридриха на первом сейме прежняя французская партия поссорилась с новым королем и приняла название сенатской партии; тогда многие из ее членов отделились от нее для собственных выгод и объявили себя придворною партиею, а благонамеренные (т.е. колпаки) поделились между этими двумя партиями. Вражда между королем и Сенатом разгоралась все более и более, причем Сенат старался поддержать себя распространением слухов, что шведской вольности грозит опасность от короля. Граф Тессин пережил свои способности и удалился от дел, после чего ни у одной партии не оказалось вождя. Королева, разнуздавши свою гордость, самолюбие и самовластие, приобрела всеобщую ненависть. Она немало содействовала холодности между Сенатом и берлинским двором, ибо хотя она и не чуждается

французской системы, но боготворит одного своего брата, прусского короля, один его интерес соблюдает, а Фридрих II хочет посредством нее управлять Швециею без посредства Франции. Приверженцы русского союза тесно соединились и так усиливаются, что король от них ждет поправления своим делам. Главным между ними почитается граф Браге, основания их программы – сохранение конституции и союз с Россиею. Двор волею и неволею их ласкает, и, чтоб заставить их более войти в свои виды, король хотел дать им 50000 платов из своего ларца на издержки партии по случаю наступающего сейма, но они не хотят о том слышать, думая, что всякий добрый результат, достигнутый ими с чистыми руками, будет считаться услугою при дворе, а деньги дадут двору право требовать от них более, чем они сами сделать намерены; но так как движения партии действительно требуют чрезвычайных расходов, то они своего имени не щадят. Французский посол с своею партией следит за каждым шагом благонамеренных. Главная цель французской партии состоит теперь в том, чтоб не допустить графа Браге удержать в своих руках ландмаршальский жезл, но выбрать в ландмаршалы генерал-майора графа Ферзена, который воспитан и служил во Франции, душою и телом ей предан и слывет очень умным и способным человеком. Граф Браге с своими друзьями очень хорошо понимают, как им трудно преодолеть противную партию и напасть на господствующую систему без русской помощи; но если партия Браге упадет, то останутся только две – придворная и сенатская, и сейм должен будет или усилить власть короля, давши ему право производить в чины и должности, чем отворится дверь к самодержавию, или ограничить власть короля в пользу Сената, отчего влияние Франции еще более усилится. Чтоб помешать таким вредным для России следствиям и не дать упасть партии добрых патриотов, нужна сумма от 20 до 30000 рублей, которая должна пойти именно для доставления ландмаршальского жезла графу Браге.

В ответ на эту реляцию Панин получил от канцлера такое письмо: «Думая, что на реляцию вашего высокоблагородия ответом из коллегии и поспешено не будет, я за нужно нахожу подать вам на оную от меня некоторые объяснения. Кто бы в оную ни заглянул, по справедливости признаться должен, что она преисполнена прямою к службе ревностью и усердием; только же я вам откровенно признаюсь, что, хотя она больше злостных, нежели рассмотрительных, критиков возбудила, я не мог, однако ж, ни оные совершенно опровергать, ни вас довольно защитить и оправдать. Чтоб на раздачу шведам сумму определить, о том здесь ниже слышать хотят. Правда, я и в самом себе мало нахожу к тому склонности, да ваше высокоблагородие и припомнить может, что я уже пред давным временем мое мнение откровенно и дружески объявил, что не остается более, как предавать нам шведов их собственному жребию, довольствуясь одними безубыточными случаями вселять между ними собственно друг к другу недоверенность и несогласие. Образ их правительства сам то по большей части или и единственно делает; а что до посторонних денег принадлежит, то, сколько мне лакомства их и бедность ни сведомы, пример неоднократных издержек довольно, однако ж, показывает, что, сколько нам волка ни кормить, он в лес убежит, да, правду сказать, и признаться надобно, что, какие бы мы великие там суммы ни истощили, Франция с половинными издержками всегда больше нашего сделает; между нами сказать, сколько мы шведам ни твердим, что прямой их интерес требует во всегдашней дружбе и искреннем с нами согласии

быть, а сего интереса никогда, однако ж, найти не могу, да и на словах о нем только говорится, а никогда еще предпринято не было его доказывать. Но, обращаясь и паки к деньгам, я не вижу великой из того пользы, что граф Браге ландмаршалом избран был бы. Мы никаких особых (дел) к производству на сейме не имеем, да хотя бы и имели, то поверьте мне, что и он швед и не лучше будет, как барон Унгерн-Стернберг, который вместо признания (благодарности) только нам вредил. Более того, я верю, что всякий швед, лишь бы случай получил, готов всегда злость свою к нам оказать и тем у себя рекомендоваться. Одним словом, я сожалею, что ваше высокоблагородие прежде присылки вашей реляции со мною о том не снеслись; но когда сие уже прошло, то я только для вас самих прошу об оной в последующих не упоминать, также, ежели б что особенного и случилось, сперва ко мне писать, дабы я, сличая обстоятельства, мог то или другое вам с рассмотрением присоветовать. Я уповаю, что ваше высокоблагородие за противное не примете сии примечания, паче же, из постскрипта усмотря новые знаки моей к вам беспредельной откровенности, наиболее уверитесь об ней и об моей к вам искренней преданности». В постскрипте канцлер извещал о заключении субсидного договора с Англиею и в конце заметил о шведском посланнике в Петербурге Поссе: «Барон Поссе, сколько наружность ни наблюдает, есть, однако ж, внутренно клятвенный мне и вам злодей, хотя к тому другой причины и не имеет, как только что он родился швед да таким и жизнь свою скончает». Рескрипт от имени императрицы Панину заключал отказ в деньгах на том основании, что прежде истраченные на сеймах деньги не принесли никакой пользы.

Мы видели, какую тревогу наделало в Константинополе построение крепости св. Елисаветы; видели, что этой тревоги особенно испугались союзные дворы – английский и австрийский, которые, рассчитывая на помощь России в своих делах, с ужасом предусматривали возможность отвлечения русских сил на юг вследствие войны турецкой. Их настояния произвели то, что в Петербурге решились в случае крайней необходимости успокоить Порту объявлением, что императрица согласна остановить дальнейшее построение крепости до тех пор, пока дело не разъяснится, пока Порты не убедится, что никакой опасности ей от этого построения нет. В конце 1754 года Обрезков успокоил было свой двор донесением, что этой крайней нужды, которая требовала бы упомянутого объявления, не оказывается; но в начале 1755 года дела переменились: рейс-ефенди взял верх. Чтобы убедиться, действительно ли крайняя нужда в объявлении наступила, Обрезков обратился к Пенклеру и Портеру с объяснением, что, по его мнению, нет крайней нужды уступать Порте и он намерен отказать ей в ее требованиях; если же крайняя нужда окажется, то еще время будет объявить снисхождение императрицы. Пенклер и Портер отвечали, что если он намерен всю Европу зажечь, то пусть отказывает; что теперь именно настает крайняя нужда как потому, что султан новый, так и потому, что Порты решила дожидаться только до половины января, а там принимать свои меры. «Вы знаете, – возражал Обрезков, – гордость и замашки турецкие, потому когда я снисхождение императрицы предъявлю, то, пожалуй, Порты станет требовать, чтоб строение крепости было вовсе оставлено и даже чтоб сделанное было разрушено». Английский посол обещал употребить все старание, чтоб удержать Порты от таких

требований. Но стараний его не понадобилось: Порта вполне удовлетворилась и обещанием приостановить крепостные работы.

В Петербурге решились дать это обещание, потому что война между Францией и Англией уже началась и эту войну считали благоприятным обстоятельством для «сокращения сил прусского короля», а после этого сокращения надеялись легко справиться с Турцией и со всеми беспокойными соседями.

Глава шестая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны

Состояние образованности в России во второе семилетие царствования Елисаветы. 1749–1755 годы

В 1753 году в Москве появилось предписание тамошнего архиерея Платона Малиновского, которое может дать нам понятие об образованности учителей народной нравственности, об образованности духовенства. «Нам известно учинилось, – говорит Платон, – что епархии наша при церквах священно– и церковнослужители, как в давних, так и недавних летах произведенные, надлежащего им по их должности учения (которое им пред посвящением по букварю и особливо изданной тетрадке от экзаменаторов преподается) ничего не знают, ибо по священнии своем совсем оное забывают, умышленно никакого радения о содержании того в памяти не прилагая. Понеже по правилам св. отец священникам вышеписаное учение не точию самим должно знать, но и паствы своя людей еженедельно оному обучать; но каким образом им обучать тому, чему они сами ничего не умеют? Что чинят они совсем бессовестно, не страшась суда Божия». Архиерей требует, чтоб священники по воскресеньям и праздникам непременно преподавали прихожанам по букварю и по особо изданной тетрадке сущность христианского учения, грозя в противном случае отрешением от мест.

Этим требованием должно было ограничиться относительно большинства духовенства, состоявшего из лиц, не знавших школы; от меньшинства ученых священников требовалось, чтоб они говорили проповеди, предики, назначавшиеся, как видно, и для особого рода слушателей, потому что в рапортах нужно было означать, говорена ли была проповедь в установленные дни и кто из знатных прихожан был при слушании проповеди. Требования эти от неученого большинства и ученого меньшинства духовных лиц были выставлены еще при Петре Великом, и после него повторяет их каждый достойный архиерей, каким был Платон Малиновский, жалуясь на их неисполнение. Главною помехою в их исполнении была печальная обстановка духовных лиц, борьба с нуждою, поглощавшая все внимание и заставлявшая забывать его то, чему выучился в школе или у экзаменатора. При Елисавете духовенство было освобождено от полицейских повинностей, от хождения на караулы к рогаткам, на дежурство в съезжие дома, на пожары; но на нем лежали еще разные пошрины и дани, не говоря об издержках при поставлении. При таких тягостях доходы были

недостаточны для человека, обязанного рано обзаводиться семейством. Петр Великий принял самые действительные меры для поднятия материального благосостояния белого духовенства, постановив, чтоб количество духовенства не превышало средств прихода для его содержания, и постановив, чтоб духовенство не было обязано покупать себе дома, которые должны покупаться на церковные деньги. Но подобно многим другим постановлениям Петра, и эти постановления потеряли силу после его смерти. Указы, однако, оставались, и потому всякий благонамеренный архиерей мог восстановить их силу. Так и поступал в описываемое время уже упомянутый прежде московский архиепископ Платон Малиновский: он строго наблюдал за исполнением петровского указа о домах и не позволял определяться на духовные места сверх штата. Но так как в других епархиях этого не наблюдалось, а прежде не наблюдалось и в московской, то оставалось всегда известное количество священников, которые преимущественно стекались в Москву; здесь они становились на Спасском крестце (между Спасскими воротами и Покровским собором) и нанимались отправлять церковную службу. В XIX веке еще рассказывали старики, как попы стояли на крестце с калачом в руках, и когда нанимавший их служить обедню давал мало, то они кричали: «Не торгуйся, сейчас закушу» (т.е. калач, после чего священник уже не мог служить обедню). Архиереи вооружались против этого явления, посылали хватать этих «крестцовых попов», бить их плетью, но ничто не помогало.

Плети не помогали устранению безобразных явлений, укореняя грубость в нравах. Это, как видно, понимал Платон Малиновский. В 1753 году он издал предписание: «Некоторые монастырские настоятели в нашей епархии наказывают монахов и монахинь очень жестоко, не по-монашески, сверх данной им власти: услышав о проступке, не удостоверясь подлинно, не только без совета, но и без ведома прочей братии, не смиряя духом кротости, не как братию, но как злодеев бьют, обнажа пред мирскими людьми, в противность обета своего и закона Божия. Чтoб отныне начальствующие не смели наказывать телесно порученных им монахов и монахинь ни за что без общего рассмотрения и согласия всей братии или по крайней мере главных из нее».

Число ученых священников было еще незначительно, да и не все из них окончили полный курс, некоторые, получив уже место, продолжали посещать училище; а между тем недостаток в людях и школах заставлял отнимать у духовенства лучших воспитанников для светской науки. Мы видели, как духовное начальство сильно отстаивало воспитанников своих училищ от требований Медицинской канцелярии. Но в 1748 году явился в Новгороде и Москве знаменитый профессор элоквенции Трeдиakovский от Академии наук для набора студентов в академический университет и выбрал лучших. В Петербурге в Академии экзаменовали их Ломоносов, Браун и Фишер и нашли, что 17 воспитанников в гуманиорах и школьной философии довольно успешны, так что на академические лекции о чистоте штиля, здравейшей философии и математики допущены быть могут, а двоих из них надобно послать на несколько времени в академическую гимназию латинскому языку учиться. Деятельность Академии наук преимущественно высказывалась в деятельности двоих ее членов – Ломоносова и Мюллера; темная сторона тогдашней ученой жизни выражалась в борьбе этих знаменитостей друг с другом и в борьбе их с людьми, которые, получив не по праву сильное влияние на судьбу науки в России, не могли

выносить законных представителей науки, потому что последние не могли спокойно подчиняться им. Затруднительное положение Академии проистекало главным образом оттого, что в стране, какую была тогдашняя Россия, где наука не могла еще пустить сколько-нибудь глубоких корней, нельзя было наполнить ученого учреждения все достойными членами, большинство подавало повод к разного рода упрекам относительно исполнения обязанностей, и этим пользовались люди, желавшие управлять Академиею; они выставляли на вид, что ученые не способны, не достойны сами управляться, что ими нужно управлять другим, и достигали своей цели, причем, разумеется, за грехи недостойного большинства платилось достойное меньшинство.

Профессор химии, напечатавший в 1748 году риторiku, первую на русском языке, где все примеры сочинены или переведены им самим, в 1749 году трудился в лаборатории, делал химические опыты, до крашения стекол надлежащие, приготавливал простые материалы, разные соли, водки, а потом старался искать и нашел способ, как делать берлинскую лазурь и бакан венецейский; он же делал физические опыты и сочинял похвальную речь императрице на русском языке и переводил ее на латинский, участвовал в составлении русского лексикона. Похвальное слово императрице Ломоносов произносил в торжество восшествия на престол Елисаветы (Академия имела собрание на другой день праздника, 26 ноября). Произнесение речей на этом торжестве всего лучше было поручать двоим самым видным членам Академии – Ломоносову и Мюллеру, ибо кроме внутреннего достоинства, какое они могли дать своим речам, оба ученые были богатыри физически, обладали громким голосом и не смущались перед публикою. Шумахер видел необходимость назначать ораторами Ломоносова и Мюллера, но вот как по этому случаю завистливый пигмей выразил свою ненависть к великанам. Шумахер писал Теплову: «Очень бы я желал, чтобы кто-нибудь другой, а не г. Ломоносов произнес речь в будущее торжественное заседание, но не знаю такого между нашими академиками. Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален: разве у нас есть кто-нибудь другой в Академии, который бы превзошел его в этих качествах?» О Мюллере Шумахер выражается так же: «Он обладает громким голосом и присутствием духа, которое очень близко к нахальству».

Для нас в знаменитом панегирике, который так долго выставлялся образцом ораторской речи, особенно замечательно указание Ломоносова на то, чего недостает русской науке, чем должно было заняться образующееся поколение: «Представьте себе (русские юноши) будущее ваше состояние, к которому вы избраны, со благоговением внимайте, что августейшая императрица, довольствуя вас своею казною, матерски повелевает, обучайтесь прилежно, я видеть российскую Академию из сынов российских состоящую желаю; поспешайте достигнуть совершенства в науках: сего польза и слава отечества, сего намерения моих родителей, сего мое произволение требует. *Не описаны еще дела моих предков, и не воспета по достоинству Петрова великая слава.* Простирайтесь в обогащении разума и в украшении русского слова. В пространной моей державе нецененные сокровища, которые натура обильно произносит, лежат потаенны и только искусных рук ожидают: прилагайте крайнее старание к естественных вещей познанию».

Когда речь стала известна в Москве и за границею, Шумахера начали терзать известиями о ее успехе: Теплов писал ему, что речь понравилась при дворе, Эйлер писал ему из Берлина, что это образцовое произведение в своем роде. То же значение образца красноречия имело и другое похвальное слово Ломоносова – Петру Великому, произнесенное в 1755 году. Произнеся образцовую речь, оратор опять уходил в лабораторию, где занимался составлением красок и стекол для мозаики. «По регламенту Академии наук, – писал он, – профессорам должно не меньше стараться о действительной пользе обществу, а особливо о приращении художеств, нежели о теоретических рассуждениях; а сие больше всех касается до тех, которые соединены с практикою, каково есть химическое искусство. Того ради за благо я рассудил, во-первых, изыскивать такие вещи, которые художникам нужны, а выписывают их из других краев и для того покупают дорогою ценою». Что и другое требование регламента относительно теоретических рассуждений не было забыто, доказательством служат известные исследования Ломоносова, принадлежащие описываемому времени: «О причинах теплоты и холода», где автор выводил явления теплоты из вращательного движения частиц в телах; «Об упругости воздуха», «О химических растворах»; сюда же должно отнести «Слово о пользе химии» и «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». Последнее сочинение особенно замечательно. Узнавши об открытиях Франклина относительно электричества, Ломоносов сам повторил его опыты и составил целую теорию воздушных электрических явлений, которая во многих пунктах сходится с теориею Франклина и во многих превышает ее. Знаменитый ученый-современник Эйлер отозвался о сочинении Ломоносова, что оно «обнаруживает в авторе счастливое дарование к распространению истинного естествоведения, чему образцы, впрочем, и прежде он представил в своих сочинениях. Ныне таковые умы весьма редки». Отзывы такого авторитета, как Эйлер, заставляли даже Шумахера признаваться, что у Ломоносова «замечательный ум и отличное пред прочими дарование, чего не отвергают и здешние профессора и академики. Только они не могут сносить его высокомерия».

Но если такие отзывы были вынуждаемы у личных врагов и у людей, которые не имели причины радоваться появлению между русскими такой знаменитости, то легко понять, как должны были смотреть на Ломоносова русские люди, особенно те, которые вследствие большего и большего знакомства с господствовавшим в Западной Европе движением считали науку могуществом и стремились прославить себя приобретением для России этого могущества. К числу таких немногих людей принадлежал новый фаворит Ив. Ив. Шувалов, которого всегда видали с книгою в руках. Шувалов очень рано сблизился с первым русским ученым и литератором. У молодого Шувалова была книжка, куда он записывал свои мысли, извлечения из разных писателей, свои собственные опыты в стихотворных сочинениях и переводах. Стихотворное искусство имело тогда неотразимую прелесть; ученый, как Тредиаковский, мучил и позорил себя, пища стихи, не сознавая отсутствия в себе всякого таланта; императрица Елисавета Петровна писала стихи; писал их и Шувалов. Стихи его выходили немного лучше стихов его высокой покровительницы; но ему хотелось сделать их лучше, хотелось выучиться писать стихи, и к кому же ему было обратиться, как не к человеку, который первый стал писать красивые, звучные русские стихи. Шувалов

учился у Ломоносова механизму стиха, как видно из его записной книжки; в ней же написан рукою Шувалова конспект всей риторики Ломоносова.

Стихотворная деятельность самого Ломоносова продолжалась: в оде его на рождение великого князя Павла Петровича нас останавливает указание на внешнюю деятельность, какая может занять достойно будущего русского государя: только варварские страны Востока должны подчиняться цивилизирующему влиянию России; против Западной Европы у России может быть одна война – оборонительная. Но от гаданий о будущем поэт по-прежнему любит обращаться к прошедшему России, не внося вражды между ними, а указывая тесную историческую связь. Можно сказать, что Ломоносов был историк в своих одах и поэт или ритор в истории. Вот обращение поэта к новорожденному:

Расти, расти, крепися, // С великим прадедом сравнися, // С желаньем нашим восходи. // Велики суть дела Петровы, // Но многие еще готовы // Тебе остались напреди. // Когда взираем мы к востоку, // Когда посмотрим мы на юг, // О коль пространность зрим широку, // Где может загреметь твой слух. // Там вокруг облегал дракон ужасный Места святы, места прекрасны, // И к облакам сто глав вознес! // Весь свет чудовища страшится, // Един лишь смело устремиться // Российский может Геркулес. // Един сто острых жал притупит // И множеством низвержет ран, // Един на сто голов наступит, // *Восставит вольность многих стран* . // Пространными Китай стенами // Закрыт быть мнится перед нами. // Он гордым оком к ним взирает: // Но в них ему надежды нет. // Внезапно ярость возгорится // И огонь, и месть между стеной // Сие все может совершиться // Петрова племени рукой. // В своих увидишь предках явны // Дела велики и преславны, // Что могут дух природе дать. // Уже младого Михаила // Была к тому довольна сила // Упадшую Москву поднять // И после страшной перемены // В пределах удержать врагов, // Собрать рассыпанные члены // Такого множества градов. // Сармат с свирепостью своею // Трофеи отдал Алексею. // Он суд и правду положил, // Он войско правильное вскоре, // Он новый флот готовил в море; // Но все то бог Петру судил. // Сего к Отечеству заслуги // У всей подсолнечной в устах, // Его и кроткия супруги // Пример зрим в наших временах, // Пример в его великой дочери: // Широки та отверзли двери // Научкам, счастью, тишине; // Склоняясь к общему покою, // Щедротой больше, чем грозою, // В Российской царствует стране. // Но ты, о гордость вознесенна! // Блюдися с хитростью своей: // Она героями рожденна, // Геройский дух известен в ней.

Уничтожение внутренних таможен и работы по Уложению отмечены Ломоносовым в надписи на иллюминацию 5 сентября 1754 года:

Россия, вознося главу на высоту, // Взирает на своих пределов красоту. // Чудится в радости обильному покою, // Что в оной утвержен, монархия, тобою, // Считая многие довольства, говорит: // Коль сладкое меня блаженство веселит! // Противники к моим пределам не дерзают, // И алчны мытари внутри торгу не смущают! // Стал тесен к злобе путь коварникам в судах.

О трудах Ломоносова, ученых и поэтических, о том, что Ломоносов – первый талант в России, ее честь, слава царствования, – об этом императрица знала через Шувалова. Сам Ломоносов говорит об этом в известном стихотворном письме своем к Шувалову «О пользе стекла»:

«А ты, о Меченат, предстательством пред нею, // Какой наукам путь стараешься открыть, // Пред светом в том могу свидетель верный быть. // Тебе

похвальны все, приятны и любезны, // Что тщатся постигать учения полезны. // Мои посильные и малые труды // Коль часто перед ней воспоминаешь ты!»

Но стоять на такой высоте, на какой стоял Ломоносов, очень тяжело в обществе, где наука и литература в младенчестве, где скудно воспитание таланта, где нет разделения занятий, где человек, выдавшийся своим талантом, должен делать один много разных дел. Сам Ломоносов в похвальном слове Елисавете упомянул, чего дочь Петра Великого должна требовать от русских членов созданной им Академии: «Не описаны еще дела моих предков, и не воспета по достоинству Петра великая слава». Вот первые требования, которые заявляет Елисавета у Ломоносова, – написание русской истории и поэмы, содержанием которой должны быть деятельность величайшего героя русской земли. Но кто же исполнит эти требования? Разумеется, первый литературный талант времени Ломоносов, и Шувалов требует, чтоб Ломоносов занялся русскою историею, и сама императрица изъявляет на то свою волю. Ломоносов стал добросовестно готовиться к новому труду, собирал по источникам древнейшие известия о славянах; Шувалов торопил. В мае 1753 года Ломоносов писал ему: «О первом томе российской истории по обещанию моему старание прилагаю, чтоб он к новому году письменной изготовился. Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публично речи и диссертации и вне оной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет правила к красноречию на своем языке и историю своего отечества и должен еще на срок поставить, от того я ничего больше требовать не имею и готов бы с охотою иметь терпение, когда бы только что путное родилось».

Проходил и 1754 год, а «История Российская» не появлялась. Шувалов напомнил о труде, о его важности, писал, что если другие занятия мешают, то их можно и оставить. Ломоносов отвечал в самом начале 1755 года: «Я бы от всего сердца желал иметь такие силы, чтобы оное великое дело совершением своим скоро могло охоту всех удовольствовать, однако оно само собою такого есть свойства, что требует времени. Коль великим счастьем я себе почесть могу, ежели моею возможною способностью древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются, то весьма чувствую. Могу вас уверить в том заподлинно, что первый том в нынешнем году с Божию помощью совершить уповаю. Что ж до других моих в физике и в химии упражнений касается, чтобы их вовсе покинуть, то нет в том ни нужды, ни же возможности. Всяк человек требует себе от трудов успокоения; для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостями или с домашними препровождения времени картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом, от чего я уже давно отказался затем, что не нашел в них ничего, кроме скуки. И так уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение российской истории и на украшение российского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтоб их вместо билльярду употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменою материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют, а сверх сего пользу и честь отечеству, конечно, принести могут едва меньше ли первой».

Шувалов помог Ломоносову в получении значительного населенного имения для заведения и поддержания фабрики разноцветных стекол, и когда меценат по этому поводу высказал опасение, не ослабит ли обеспеченное состояние

многообъемлющей деятельности Ломоносова, то последний отвечал ему: «Высочайшая щедрота несравненные монархини наша, которую я вашим отеческим предстательством имею, может ли меня отвести от любления и от усердия к наукам, когда меня крайняя бедность, которую я для наук терпел добровольно, отвратить не умела. Я всепокорнейше прошу ваше превосходительство в том быть обнадежену, что я все свои силы употреблю, чтобы те, которые мне от усердия велят быть предосторожну, были обо мне беспечальны; а те, которые из недоброхотной зависти толкуют, посрамлены бы в своем неправом мнении были, и знать бы научились, что они своим аршином чужих сил мерить не должны, и помнили б, что музы не такие девки, которых всегда изнасиловать можно: они кого хотят, того и любят. Ежели кто еще в таком мнении, что ученый человек должен быть беден, тому я предлагаю в пример, с одной стороны, Диогена, который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил несколько остроумных шуток, а с другой стороны, Невтона, богатого лорда Боила, который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы; Вольфа, который лекциями и подарками нажил больше пятисот тысяч и, сверх того, баронство».

К Шувалову обращался Ломоносов и в своих академических горестях. Он был по-прежнему страстен и раздражителен, а раздражаться было чем, когда знаменитый ученый, достойно оцениваемый лучшими людьми высокостоящими, самую императрицу, должен был находиться в зависимости от какого-нибудь Шумахера или Теплова, когда в челе ученого учреждения стоял человек, не достойный этого положения ни по способностям, ни по образованию, и, кроме того, человек нерадивый, исполнявший свою должность чужими руками, и руками нечистыми. Естественно, что Ломоносов искал выхода из своего тяжкого, унижительного положения, искал независимого положения в Академии или, наконец, другого места, могшего дать ему большую независимость и спокойствие, необходимые для успешного занятия науками. «Хотя голова моя и много зачинает, – писал он к Шувалову, – да руки одни, и хотя во многих случаях можно бы употребить чужие, да приказать не имею власти. За безделицею принужден я много раз в канцелярию бегать и подъячим кланяться, что я, право, весьма стыжусь, а особливо имея таких, как вы, патронов».

Узнавши от Шувалова, что нет надежды приобрести в Академии независимое положение, Ломоносов писал патрону: «Ежели невозможно, чтобы я был произведен в Академии для пресечения коварных предприятий, то всеуниженно ваше превосходительство прошу, чтобы вашим отеческим предстательством переведен я был в другой корпус, а лучше всего в Иностранную коллегия, где не меньше могу принести пользы и чести отечеству, а особливо имея случай употреблять архивы к продолжению российской истории. Я прошу Всевышнего Господа Бога, дабы он воздвиг и ободрил ваше великодушное сердце в мою помощь и чрез вас сотворил со мною знамение во благо, да видят ненавидящие мя и постыдятся: Господь помог ми и утешил мя есть из двух единым, дабы или все сказали: камень его же не брегоша зиждущие, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей; или бы в мое отбытие из Академии ясно оказалось, что она лишилась, потеряв такого человека, который чрез толь много лет украшал оную и всегда с гонителями наук боролся, несмотря на свои опасности».

В Иностранную коллегию Ломоносов перемещен не был, а в Академии в начале 1755 года он должен был выдержать сильную борьбу, потому что побранился с двумя могуществами – Тепловым и Шумахером. Брань произошла по поводу пересмотра академического устава вследствие известного нам распоряжения Сената о составлении Уложения. Ломоносов высказывался за более сильное участие ученого корпуса в управлении Академиею с ограничением власти президента. Шумахер, которого Ломоносов называет Коварниным и который очень хорошо понимал, чью, собственно, власть Ломоносову хочется ограничить, говорил, что Ломоносов хочет отнять власть и полномочие президентское; Ломоносов отвечал, что желает снять с президента бремя, которое выше сил одного человека, каков бы он ни был, но дела должны производиться по общему согласию, тем более что президент не полигистор; если владеющий государь имеет своих сенаторов и других чиновных людей, которых советы он принимает, несмотря на свое самодержавие, то может ли быть иначе в науках? Спор кончился бранью, после чего Теплов, Шумахер и Мюллер донесли президенту, что не могут присутствовать вместе с Ломоносовым в академических собраниях. Разумовский велел сделать Ломоносову выговор и запретить ему являться в собрания. «Я осужден, – писал Ломоносов Шувалову, – Теплов цел и торжествует. Виноватый оправлен, правый обвинен. Коварнин (Шумахер) надеется, что он и со мною так поступит, как с другими прежде. Президент наш добрый человек, только вверился в Коварнина. Президентским ордерам готов повиноваться, только не Теплова. Итак, в сих моих обстоятельствах ваше превосходительство всепокорнейше прошу, чтоб меня от такого поношения и несправедливого поругания избавить; дабы чрез ваше отеческое предстательство всемилостивейшая государыня принять в высочайшее свое собственное покровительство и от Теплова ига избавить не презрела и от таких нападков по моей ревности защитить матерски благоволила. Чрез вашего превосходительства ходатайство от дальнейших обстоятельств вскоре спасен быть ожидаю».

Ожидание сбылось: пришло приказание от Разумовского возвратить ему его ордер относительно Ломоносова и объявить последнему, чтоб по-прежнему присутствовать в академических собраниях. Свою ученую деятельность за описываемый период времени Ломоносов закончил изданием грамматики. Об ней остались в его заметках следующие слова: «Меня хотя другие мои главные дела воспящают от словесных наук, однако, видя, что никто не принимается, я хотя не совершу, однако начну, что будет другим после меня легче делать».

Полезные починки относительно русской истории и географии делал другой академик, Мюллер. Так как Мюллер пробыл около десяти лет в Сибири на двойном жалованье, то, по мнению академической канцелярии, нельзя было потерять это иждивение, и она заключила с Мюллером новый контракт, по которому он обязался: 1) быть при Академии наук профессором в университете и для сочинения генеральной российской истории; к тому же определяется историографом, причем обещает высокий ее императорского величества интерес и Академии честь и пользу всячески наблюдать. 2) Начатые свои дела, на которые уже столько иждивения употреблено, а именно «Сибирскую Историю», в которой бы иметь достоверное описание положения всей Сибири географического, веры, языков всех тамошних народов и древностей сибирских, и таким образом вместе с профессором Фишером производить, чтоб всякий год издать можно было по

одной книжке путешествия его. 3) Когда окончится «Сибирская История», тогда он, Мюллер, употреблен будет к сочинению истории всей Российской империи в департаменте, который ему от Академии показан будет, по плану, который им самим сочинен в то время быть имеет и в канцелярии апробован. 4) Понеже он, Мюллер, от лекций уволен, то вместо того отправлять ему ректорскую должность при университете. Исторические труды Мюллера рассматривались в особом историческом собрании, состоявшем из нескольких академиков. В одном месте «Сибирской Истории» было сказано, что Ермак позволял своим козакам разбойничать. Ломоносов и другие члены исторического собрания заметили, что «о сем деле должно писать осторожнее и помянутому Ермаку в рассуждении завоевания Сибири разбойничества не приписывать». Мюллер отвечал, что это обстоятельство не подлежит никакому сомнению, изменить его нельзя и потому лучше совсем выпустить.

Если историк обязывался осторожностью относительно Ермака, то мы не удивимся запросу, полученному Мюллером от президента Академии, сам ли собою он сочинял найденные в его делах родословные или по чьему-нибудь приказу или прошению; а потом Теплов объявил ему именем Разумовского, чтоб он таких родословных впредь не сочинял, а трудился бы в одних настоящих своих должностях. Мюллер отвечал, что составлял родословные таблицы по должности историка, потому что история и генеалогия так между собою связаны, что одна без другой быть не может. Но отмены приказания не сочинять родословных не последовало, и Мюллер показывал, что больше не сочиняет. Мюллер написал предисловие к своей истории, или к «Описанию Сибирского царства»; Шумахер настаивал, что предисловие не нужно, ибо клонится больше к распространению суетной славы автора; Мюллер просил позволения поместить при своем труде две летописи в виде приложения; Шумахер замечал, что Мюллер и то без нужды наполнил свою книгу жалованными грамотами, из чего видно, что хотел только увеличить свою историю и время продлить. Академическая канцелярия объявила Мюллеру, что «хотя, по рассуждению вашему, и потребны доказательства к вашей „Сибирской Истории“, однако находится при достопамятных вещах немалое число в оной же летописи лжебасней, чудес и церковных вещей, которые никакого иноверства не только не достойны, но и противны регламенту академическому, в котором именно запрещается академикам и профессорам мешаться никаким образом в дела, касающиеся до закона. А хотя же бы что и до закона не касалось, то не рассуждается за пристойно печатать пустые сказки и лжи, которые никакого основания не имеют; тем больше с здравым рассуждением не сходно такую книгу напечатать вместо доказательства под именем будто бы только древности и старого сложения, ибо ложь не касается до склада, но до самого дела. И по определению главной канцелярии Академии наук велено показанную летопись для объявленных и основательных резонов печатанием оставить до того времени, когда она и другие ей подобные особливо осмотрены будут и *очищены от помянутых непристойных сказок*, происходящих от излишнего суеверства, чего ради и предисловие к «Сибирской Истории», которое вы прислали для апробации переменено».

Таким образом, первый том «Описания Сибирского царства и всех происшедших в нем дел» явился в 1750 году без мюллеровского предисловия, в котором, между прочим, говорилось, как полезно для читателей, когда они

встречают в книге много выписок из древних актов на древнем языке, напоминающих о таких словах и выражениях чисто русских, которые утратились и заменены словами иностранными. «Должно, – говорит Мюллер, – обыкновению времен несколько уступать, когда старинными словами и складами гнушаются; но сие обыкновение не надлежит всегда почитать за узаконение и не должно отвергать всего старинного только для того, что оно старинное, а новое принимать для того, что новое».

Это указание на необходимость поддержать новый русский язык в тяжелой борьбе его с наплывом новых понятий и слов, поддержать живым и сильным языком древних грамот, тем языком Посольского приказа, на который при Петре Великом заставляли писать и переводить книги, – это указание оставлено без внимания, и относительно следующих томов «Сибирской Истории» академическая канцелярия предписала: «Усмотрено, что в первом томе „Истории Сибирской“ большая часть книги не что иное есть, как только копия с дел канцелярских, а инако бы книга надлежащей величины не имела, то чрез сие накрепко запрещается, чтоб никаких копий в следующие томы не вносить, а когда нужно упомянуть какую грамоту или выписку, то на стороне цитировать, что она действительно в академическом архиве хранится».

Это время, конец 1749 и 1750 год, было самое тяжелое в служебной жизни Мюллера. Мы видели, что Мюллеру и Ломоносову поручено было в 1749 году приготовить речи для торжественного собрания Академии 6 сентября. Мюллер написал свою речь на латинском языке «О происхождении народа и имени руссов», где развивал положения Байера о скандинавском происхождении варягов-руси. Речь была одобрена в академическом собрании; но комиссар Крекшин, выведивший из терпения Сенат своими вздорными доносами, доносивший и прежде на Мюллера, что тот делает выписки, унижительные для русских великих князей, и теперь начал распускать по городу слухи, что в речи Мюллера много оскорбительного для чести русского народа. Тогда Шумахер поручил шестерым членам Академии, в том числе Третьяковскому и Ломоносову, рассмотреть речь Мюллера, «не сыщется ли в ней что-нибудь предосудительное для России». Третьяковский подал отзыв, что «сочинитель по своей системе с нарочитою вероятностью доказывает свое мнение. Нет, почитай, ни единого в свете народа, которого первоначалие не было б темно и баснословно, следовательно, я не вижу, чтоб во всем авторовом доказательстве было какое предосуждение России. Все предосуждение сделал сам себе сочинитель выбором столь спорных материй». Но Ломоносов в своем отзыве объявил, что диссертация Мюллера «поставлена на зыблующихся основаниях, опровержения мнений, что Москва происходит от Мосоха и россияне от реки Росса, никакой силы не имеют и притом переплетены непорядочным расположением и темной ночи подобны». Ломоносов упрекает Мюллера, зачем он пропустил лучший случай к похвале славянского народа и не сделал скифов славянами, ибо известно, что скифы не боялись царей македонских и самих римлян; нападает на Мюллера, зачем он очень поздно ставит приход славян в здешние места, зачем о Несторе-летописце говорит весьма продерзостно и хулительно так: «Ошибся Нестор». Мнения членов Академии, большинство которых было против диссертации, отосланы к президенту в Москву, откуда получено решение делу, написанное Тепловым: «Диссертацию профессора Мюллера, собрав черную и белую рукописную, отдать

в архиву, а напечатанную и с корректурами хранить до указа под особливую канцелярскую печатью, не выпуская ни под каким видом ни единого экземпляра в свет, дабы со столь многими сумнительствами и важными погрешностями не мог себя подвергнуть автор дальнему толкованию, а, исправя при времени, оную мог при подобной оказии употребить». В Петербурге академическая канцелярия объявила Мюллеру, что его диссертацию велено *уничтожить*. Мюллер, раздраженный этим *уничтожением*, имел неосторожность написать президенту жалобу на пристрастие своих судей, не сознавая справедливости замечания Третьяковского, что «все предосуждение сделал себе сочинитель выбором столь спорных материй». Президент предписал произвести рассмотрение диссертации в генеральном собрании Академии в присутствии Мюллера, который мог бы защищаться против обвинений. Начались экстраординарные заседания, на которых Мюллер защищал свою диссертацию; заседания продолжались с октября 1749 до марта 1750 года. Кроме устных споров поданы были опять и письменные отзывы. Третьяковский опять объявил, что «Мюллерова диссертация есть вероятна и вероятнее еще, кажется, всех других систем поныне о начале имени россиян ведомых». Ломоносов остался также при своем прежнем мнении, что «оной диссертации никоим образом в свет выпуститься не надлежит. Ибо, кроме того что вся она основана на вымысле и на ложно приведенном в свидетельство от г. Мюллера Несторовом тексте и что многие явные между собою борющиеся прекословные мнения и нескладные затеи Академии бесславию сделать могут, находятся в ней еще немало опасные рассуждения. Ибо 1) должно опасаться, чтобы не было соблазна православной российской церкви от того, что г. Мюллер полагает поселение славян на Днепре и в Новгороде после времен апостольских; а церковь российская повсегодно воспоминает о приходе св. апостола Андрея Первозванного на Днепр и в Новгород к славянам, где и крест от него поставлен и ныне высочайшим ее величества указом строится на оном месте каменная церковь. 2) Из сего мнения не воспоследовала бы некоторая критика на премудрое учреждение Петра Великого о кавалерском ордене св. апостола Андрея. 3) Происхождение первых князей российских от безымянных скандинавов в противность Несторову свидетельству, который их именно от варягов-руси производит, происхождение имени российского весьма недревнее, да и то от чухонцев, в противность же ясного Несторова свидетельства; презрение российских писателей, как преподобного Нестора, и предпочитание им своих неосновательных догадок и готических басней; наконец, частые над россиянами победы скандинавов с досадительными изображениями не токмо в такой речи быть недостойны, которую г. Мюллеру для чести российской Академии и для побуждения российского народа на любовь к наукам сочинить было велено, но и всей России пред другими государствами предосудительны быть должны».

Канцелярия Академии наук, основываясь на том, что диссертация Мюллера ни одним из членов Академии не одобрена, а проф. Третьяковским за прямо основательную не признана, определила оную диссертацию совсем уничтожить.

Но этим беды не кончились. Под предлогом скорейшего окончания «Сибирской Истории» у Мюллера отняли должность ректора университета, находившегося при Академии наук, и в то же время заставляли читать лекции по всеобщей истории. Тщетно Мюллер представлял, что он уже 18 лет как не читал никаких лекций, а посвятил все свои труды русской истории и географии и не

занимается всеобщей историей, – ему объявили приказание президента непременно читать лекции, иначе пойдет вычет из жалованья. Тогда выведенный из себя Мюллер подал жалобу президенту на Теплова как человека, который вредит ему во всем, дурно отзываясь о его «Сибирской Истории», помешал посвящению этой книги и проч. Легко было предвидеть следствия жалобы Разумовскому на Теплова. Президент прислал в Академию бумагу, в которой говорилось, что некоторые члены Академии препятствуют его стараниям на пользу этого учреждения; Делиля и Крузиуса он за это прогнал, но еще остался Мюллер, который девять лет пробыл в Сибири на большом жалованье и ничего оттуда не привез, кроме копий с летописей, грамот и других канцелярских дел, что можно было бы приобрести с гораздо меньшими издержками, не посылая его, Мюллера; студента Крашенинникова в Сибири бил батогами; клеветает на Теплова, на членов канцелярии, самого президента признает нечувствительным и неосмотрительным. За такие преступления Мюллера разжаловали из академиков в адъюнкты. Скоро, впрочем, опомнились, конечно не без предстательства людей сильных, и возвратили Мюллеру прежнюю должность, вынудивши, однако, у него признание, что был достойно наказан. Нельзя было не опомниться, потому что другого такого способного труженика не было в Академии. Он был конференц-секретарем, вел обширную переписку с заграничными учеными и литераторами, составлял протоколы академических заседаний, наблюдал за изданием трудов Академии (*Novi commentarii*), и когда задумали издавать при Академии первый учено-литературный журнал, то некому было поручить и этого издания, кроме Мюллера, а издание такого журнала в то время по состоянию образованности вообще и по недостатку всяких средств было делом крайне трудным. В декабре 1753 года Мюллер прочитал в академическом собрании предисловие к первой книжке журнала, который должен был выходить под названием «Санкт-Петербургские академические примечания». Возражений не было; но через месяц Ломоносов заявил, что «сей титул и предисловие при дворе ее импер. величества очень раскритикованы и надлежит оба переменить. А особливо о титуле сказал он, что хотя назвать книгу Санкт-Петербургскими штанами, то сие таково ж прилично будет, как имя „Примечания“, потому что и стихи вноситься будут, а стихи не примечания». Мюллер жаловался, что во время этого спора ему досталось от Ломоносова много «бесчестных порицаний», и предлагал поручить издание журнала самому Ломоносову. Издание осталось за Мюллером, но он должен был назвать журнал «Ежемесячными сочинениями».

В предисловии к журналу издатель говорил: «Предлагаемы будут здесь всякие сочинения, какие только обществу полезны быть могут, а именно не одни только рассуждения о собственно так называемых науках, но и такие, которые в экономии, в купечестве, в рудокопных делах, в мануфактурах, в механических рукоделиях, в архитектуре, в музыке, в живописном и резном художествах и в прочих, какое ни есть новое изобретение показывают или к поправлению чего-нибудь повод подать могут. И как мы равномерно желаем, чтоб и стихотворцы сочинения свои нам сообщали, между которыми быть могут и забавные, то мы надеемся, что сочинители оных ни до кого персонально касаться не будут. Коль великое множество имеем мы еще других материй! Когда читателям нашим предвосприимем сообщать экстракты из достовернейших российских летописей, списки с старинных грамот и с архивных дел, описания

церемониям и торжествам, при дворе ее императорского величества происходящим, высочайшие узаконения и указы, до всенародного благополучия касающиеся, которые, потому что вечно в силе своей остаться имеют, паче других достойны сохранения, иногда при том еще объявлять будем о иностранных и здешней печати новых и полезных книгах, также и о знатнейших политических каждого месяца приключениях. При том великом изобилии не мним мы, чтоб когда мог быть недостаток в материях, а еще меньше того опасаемся, чтоб для их различности оные кому наскучили». По инструкции президента Академии Мюллеру в «Ежемесячных сочинениях» велено «убегать от всех богословских и метафизических материй, стараться вносить в оные („Ежем. сочин.“) только такие вещи, которые бы сверх приятности и действительную пользу в себе заключали».

На первый же год издатель дал в журнал значительные вклады; он поместил любопытную статью «О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оная». Эта статья уже не похожа на ту, которую мы видели в первом томе немецкого «Сборника»: Мюллер выучился понимать древние сочинения, сам стал разбирать рукописи, познакомился с трудами Татищева и, руководствуемый последними, написал свое исследование, которым в свою очередь руководствовались позднейшие исследователи. Мюллер спешит сам указать на грубые ошибки, которые он сделал в первой статье о летописи по собственному незнанию русского языка и по невежеству своего переводчика; он отрицается от летописи игумена Феодосия и вслед за Татищевым объявляет в самом начале статьи: «Всемирно известно, что начало летописаний российских приписать должно Киево-Печерского монастыря монаху преподобному Нестору». О начальной летописи Мюллер делает отзыв, который перешел из XVIII и в XIX век: «Не беззнатное обстоятельство для показания важности Несторовой летописи есть то, что прочие славянские народы подобной ей не имеют, ниже чтоб которая из их летописей либо древностью, либо обстоятельным и внятным объявлением происшедших дел сей нашей предпочитаема быть могла. Последующие российские писатели повторяли в продолжениях своих описанное Нестором время по большей части собственными его словами. По крайней мере они в его описании не отважились учинить никакой знатной перемены. Так сильно удостоверены были они о верности объявленных Нестором приключений; да как бы им таковым и не быть, когда и ныне никаких знатных недостатков в его летописи не видно и когда точное согласие первого нашего российского летописателя с греческими тогдашних времен историками примечаем. Того ради для российской истории весьма полезное бы дело было и как от природных российских, так и от иностранных давно желаемое, ежели бы повелено было к побуждению тех, кои российскую историю основательно знать желают или еще розысканиями своими больше изъяснить намерены, Несторову летопись купно с продолжениями оной напечатавши, в народ издать... Но сколь нужна сама по себе есть Несторова летопись с продолжениями ее, чтоб в печать издана была, столько же не можно почесть за излишнее, если повелено будет и труды покойного господина тайного советника Татищева таким же образом напечатать». Кроме этого важного в истории нашей исторической литературы исследования Мюллер поместил в том же году статью «О торгах сибирских».

В тот самый год, когда Петербургская Академия наук, «ничего так не желая, как чтоб Российскому государству и народу трудами своими приносить

действительную пользу и сколько возможно возбудить во всех удовольствие, какое производит знание наук», начала издавать первый учено-литературный журнал на русском языке; в тот самый год основан был университет в Москве. Мы уже замечали, как естественно и постепенно шло развитие, разделение занятий между нашими учено-учебными заведениями в XVIII веке. В проектированной Петром Великим Академии наук заключалось три учреждения – и Академия наук, и университет, и гимназия. При Анне учрежден Кадетский корпус, но и он не может носить специально военный характер, характер его двойственный: военно-гражданский, и в приготовлении молодых людей к гражданской службе корпус заменяет собственно университет. Университет при Академии наук не ладился; чувствовалась потребность сделать шаг вперед в развитии учебных учреждений, выделить университет из Академии наук, учебное заведение – из ученого. Но для удовлетворения потребности известного времени нужны люди, которые по каким бы то ни было побуждениям способны приводить в исполнение требуемое дело. Конечно, Ломоносов, да и не один Ломоносов, мог внушать Ив. Ив. Шувалову, что университет при Академии вследствие беспорядочности ее управления не пойдет, и у мецената, естественно, родилась мысль основать самостоятельный университет, увековечить этим свое имя и, взявши новое учреждение в свое главное начальство, дать ему надлежащее устройство. Мысль эта могла быть прямо внушена Ломоносовым или поддержана им: по крайней мере Ломоносов говорит, что он «первый причину подал к основанию» университета. Как видно, во время пребывания двора в Москве в 1754 году было решено дело об основании университета в этой столице; Шувалов по возвращении в Петербург объявил об этом Ломоносову и вслед за тем прислал ему черновое доношение в Сенат об основании университета. Ломоносов послал ему свое мнение об устройстве будущего университета, наскоро набросанное, приписав следующее: «Не в указ вашему превосходительству, советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу непременно».

19 июля того же года Петр Ив. Шувалов предложил Сенату доношение действительного камергера и кавалера Ивана Ивановича Шувалова и при том учиненные им, г. камергером, проект и штат об учреждении в Москве университета для дворян и разночинцев и двух гимназий: одной – для дворян и другой – для разночинцев, кроме крепостных людей, по примеру европейских университетов, где всякого звания люди свободно наукою пользуются. Приказали доложить ее императорскому величеству и представить, что оный г. камергера труд Прав. Сенат признавает за весьма нужный и полезный государству; что же он, г. камергер, представляет на содержание того университета и гимназий ежегодно употреблять суммы до 10000 рублей, но, как оное дело весьма важное и потребное для пользы всего государства, того для Прав. Сенат рассуждает ежегодно на содержание оного университета и двух гимназий отпускать по 15000 рублей, дабы оный приумножением достойных профессоров и учителей толь наиболее в лучшее состояние приходил, ныне же на первый случай единожды на выписывание профессоров, на покупку книг и на другие необходимые нужды отпустить 5000 рублей. Присутствовали в Сенате кроме Шувалова князь Алексей Дмитр. Голицын и князь Иван Андр. Щербатов. 11 августа Петр Ив. Шувалов уже объявил Сенату именной указ об исправлении для учреждающагося в Москве

университета дома у Куретных ворот, где прежде была аптека, и о выводе находящихся теперь в этом доме Ревизион-коллегии, Главного комиссариата и Провиантской конторы. Это исправление дома подрядчик взял за 3300 рублей.

Если императрица приказала исправлять дом для университета, то ясно, что она была согласна на его учреждение еще в 1754 году; но указ об учреждении был подписан только 12 января 1755 года; в нем говорилось: «Когда бессмертные славы в бозе почивающий любезнейший наш родитель и государь Петр Первый, император великий и обновитель отечества своего, погруженную во глубине невежеств и ослабевшую в силах Россию к познанию истинного благополучия роду человеческому приводил, какие и коликие во все время дражайшей своей жизни монаршеские в том труды полагал, не токмо Россия чувствует, но и большая часть света тому свидетель; и хотя во время жизни столь высокославного монарха всеполезнейшие его предприятия к совершенству и не достигли, но мы со вступления нашего на всероссийский престол всечасное имеем попечение и труд как о исполнении всех его славных предприятий, так и о произведении всего, что только к пользе и благополучию всего отечества служить может... Но как всякое добро происходит от просвещенного разума, а, напротив того, зло искореняется, то, следовательно, нужда необходимая о том стараться, чтоб способом пристойных наук возрастало в пространной нашей империи всякое полезное знание, чему подражая для общей отечеству славы и признавая за весьма полезное к общенародному благополучию, Сенат всеподданнейше нам доносил, что действительный наш камергер и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением с приложением проекта и штата о учреждении в Москве одного университета и двух гимназий следующее представлял: как наука везде нужна и полезна и как способом той просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми, в чем свидетельство видим нашего века, от Бога дарованного к благополучию нашей империи родителя нашего императора Петра Великого доказывает, который Божественным своим предприятиям исполнение имел чрез науки, бессмертная его слава оставила в вечные времена разум превосходящие дела, в столь короткое время перемена нравов и обычаев и невежеств, долгим временем утвержденных, строение градов и крепостей, учреждение армии, заведение флота, исправление необитаемых земель, установление водяных путей, все к пользе общего житья человеческого... Учрежденная родителем нашим Академия хотя и славою иностранною и с пользою здешнею плоды свои и производит, но одним оным ученым корпусом довольствоваться не можем в таком рассуждении, что за дальностью дворяне и разночинцы к приезду в С.-Петербург многие имеют препятствия, и хотя ж первые к надлежащему воспитанию и научению к службе нашей кроме Академии в сухопутном и морском Кадетских корпусах в инженерство и артиллерию открытый путь имеют, но для учения вышним наукам желающим дворянам или тем, которые в вышеописанные места для каких-либо причин не записаны, и для генерального обучения разночинцам упомянутый наш действительный камергер и кавалер Шувалов о учреждении в Москве университета изъяснял для таковых обстоятельств, что установление оного университета в Москве тем способнее будет: 1) великое число в ней живущих дворян и разночинцев; 2) положение оной среди Российского государства, куда из округ лежащих мест способнее приехать можно; 3) содержание всякого не стоит многого иждивения; 4) почти всякий у

себя имеет родственников или знакомых, где себя квартирою и пищу содержать может; 5) великое число в Москве у помещиков на дорогом содержании учителей, из которых большая часть не только учить науки не могут, но и сами к тому никакого начала не имеют, и только чрез то молодые лета учеников и лучшее время к учению пропадает, а за ученье оным бесполезно великая плата дается; все же почти помещики имеют старание о воспитании детей своих, не щадя иные по бедности великой части своего имения и ласкаясь надеждою произвести из детей своих достойных людей в службу нашу, а иные, не имея знания в науках или по необходимости, не сыскав лучших учителей, принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали... Такие в учениях недостатки реченным установлением исправлены будут, и желаемая польза надежно чрез скорое время плоды свои произведет, паче ж когда довольно будет национальных достойных людей в науках, которых требует пространная наша империя к разным изобретениям сокровенных в ней вещей, и ко исполнению начатых предприятий, и ко учреждению впредь по знатным российским городам российскими профессорами училищ, от которых и в отдаленном простом народе суеверия, расколы и тому подобные от невежества ереси истребятся».

Проект и штат состояли в следующих статьях: 1) на содержание университета и гимназий довольно 10000 рублей. 2) Нужно к ободрению наук, чтоб сама императрица взяла университет под свою протекцию и поставила одну или двух знатнейших особ кураторами. 3) Чтоб университет, кроме Сената, не был подчинен никакому присутственному месту. 4) Чтоб все служащие без ведома и позволения кураторов и директора не становились ни перед каким другим судом, кроме университетского. 5) Чтоб все принадлежащие к университету чины в собственных их домах свободны были от постоев и всяких полицейских тягостей, также и от вычетов из жалованья и всяких других сборов. 6) Надлежит быть особому директору, который бы по предписуемой ему инструкции о благосостоянии университета старался и его доходами правил, с профессорами науки в университете и учение в гимназии учреждал, со всеми присутственными местами по делам, касающимся до университета, переписку имел и о всем вышеписаном кураторам представлял и их апробации требовал. 7) Хотя во всяком университете кроме философских наук и юриспруденции должны такожде предлагаемы быть богословские знания, однако попечение о богословии справедливо оставляется Св. Синоду. 8) Профессоров в университете будет в трех факультетах 10; в юридическом: 1) профессор всей юриспруденции, который учить должен натуральные и народные права и узаконения Римской древней и новой империи; 2) профессор юриспруденции российской, который сверх вышеписанных должен знать и обучать особливо внутренние государственные права; 3) профессор политики, который должен показывать взаимное поведение, союзы и поступки государств и государей между собою, как было в прошедшие века и как состоят в нынешние времена. В медицинском: 1) доктор и профессор химии должен обучать химии, физической особливо и аптекарской; 2) доктор и профессор натуральной истории должен на лекциях показывать разные роды минералов, трав и животных; 3) доктор и профессор анатомии обучать должен и показывать практикою строение тела человеческого на анатомическом театре и приучать студентов к медицинской практике. В философском: 1) профессор

философии обучать должен логике, метафизике и нравоведению; 2) профессор физики обучать должен физике экспериментальной и теоретической; 3) профессор красноречия для обучения оратории и стихотворства; 4) профессор истории для показания истории универсальной и российской, также древности и геральдики. Каждый профессор должен учить по крайней мере два часа в день, исключая воскресных, табельных дней и субботы; по субботам собрание для рассуждения о делах университетских. Никто из профессоров не должен по своей воле выбрать себе систему или автора, но каждый повинен последовать тому порядку и тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов предписаны будут. Лекции должны быть на латинском или на русском языке, смотря как по приличеству материй, так и по тому, иностранный ли будет профессор или природный русский. Вакаций две: зимою от 18 декабря по 6 января; летом от 10 июня по 1 июля.

В обеих гимназиях учредить по 4 школы, в каждой по 3 класса. Первая школа российская: в ней обучать в нижнем классе грамматике и чистоте стиля, в среднем – стихотворству, в высшем – оратории. Вторая школа латинская: в ней обучать в нижнем классе первые основания латинского языка, вокабулы и разговоры, в среднем – толковать нетрудных латинских авторов и обучать переводам с латинского на русский и с русского на латинский язык, в верхнем – толковать высоких авторов и обучать сочинениям в прозе и в стихах. Третья школа первых оснований наук: в нижнем классе обучать арифметике, в среднем – геометрии и географии, в высшем – сокращенной философии. Четвертая школа знаменитейших европейских языков: в двух нижних классах обучать первые основания и разговоры с вокабулами немецкого и французского языков, в двух верхних классах обучать чистоте стиля помянутых языков.

Кураторами университета были назначены Ив. Ив. Шувалов и действительный статский советник Лаврентий Блюментрост, известный лейб-медик Петра Великого, первый президент Академии наук, подвергшийся опале в царствование Анны и живший в Москве в должности начальника гошпиталя. Блюментрост, впрочем, недолго пользовался своим новым званием куратора, потому что умер в марте того же 1755 года. Директором университета был назначен коллежский советник Алексей Аргамаков. Мы видели, что Аргамаков был назначен также членом в комиссию об Уложении и ему поручено составить проект устройства Оружейной палаты. Он поспешил в начале же 1755 года представить этот проект, который делает ему честь и может объяснить, почему его назначили директором университета. По мнению Аргамакова, освященные вещи, хранившиеся в палате, – короны, скипетры, державы – должны быть положены в лучшем порядке, также курьезные вещи древних работ и многим числом посуды серебряной и пребогатым конским и оружейным прибором могут составить славную галерею. Для этого надобно выстроить особое здание и разложить вещи с украшением в надлежащем порядке; сделать новую опись по расположению вещей в этой новой галерее с выставлением цены и с объяснением значения каждой вещи; с лучших вещей снять рисунки и каталог этот напечатать на русском и на других иностранных языках, «дабы столь богатые и курьезные вещи, которые приносят славу империи, не преданы были забвению». Один день в неделю назначить для публики, которая обзревает палату в присутствии члена.

Сенат приказал архитектору составить план и смету нового здания палаты. Но план Аргмакова очень нескоро осуществился во всех частях.

Важно было учреждение медицинского факультета при всей его неполноте. Гошпитальные школы не могли доставлять достаточного количества лекарей и прибегали к средствам частного домашнего научения; так, сенатский лекарь Вейнраух должен был обучать лекарскому искусству учеников: их было у него двое, они получали от казны денежное жалованье и провиант. Но если, с одной стороны, чувствовался сильный недостаток в лекарях, то был любопытный случай, когда лекарей отвергли как ненужных. В Казанской губернии были учреждены четыре школы для новокрещенских детей и к этим школам определены два лекаря. Вдруг получается приказание от казанского епископа Луки запечатать в этих школах все медикаменты; лекаря отправляются к преосвященному удостовериться, по его ли приказанию запечатаны медикаменты; епископ отвечает им: «Я сам приказал запечатать, да и впредь вам лечить школьников запрещаю, потому что эти школьники к лечению несродны». Сенат, узнавши об этом из донесения Медицинской канцелярии, приказал дать знать в Синод, чтоб послал епископу указ о допущении лекарей, ибо они определены по указу и если не станут лечить, то жалованье будут получать понапрасну. Если же им там почему-нибудь быть нельзя, то надлежало бы его преосвященству об этом представить, отстранить же собственною властью и препятствовать им в исполнении их должности не следовало.

Относительно средств специального образования нашли нужным сделать преобразование в морских школах. Со времен Петра Великого в Адмиралтейском ведомстве находились две морские академии – Петербургская и Московская (на Сухаревой башне). В 1750 году Адмиралтейская коллегия донесла Сенату, что в 1731 году по доношении адмирала Сиверса Сенат приказал в Навигацкой школе содержать учеников: в Москве 100, Петербурге 150, итого 250 человек; но по каким побуждениям адмирал Сивере без согласия с коллегиею подал доношение, этого коллегия показать не может. Хотя комплект был положен с большим сокращением числа учеников, однако и положенного числа никогда налицо не имелось за неприсылкою учеников из недорослей и дворянских детей, тогда как содержание флота в должном состоянии с хорошими офицерами зависит единственно от хорошего состояния Академии, ибо ученики берутся в гардемарины, из гардемарин возводятся в мичманы и по порядку в другие чины, а из того малого числа учеников флотов и артиллерийского корпуса комплектовать некем. При жизни Петра Великого определялись для обучения навигацким наукам в Академии из знатного дворянства и была большая часть таких, которые имели за собою значительные деревни; а теперь присылаются из шляхетства малопоместные и беспоместные, жалованье в Академии получают малое: которые в арифметике, те по рублю в месяц и из такого малого оклада должны иметь пропитание, одежду, квартиру, тогда как и солдату жалованья больше, считая с хлебом, мундиром и квартирою; случается, что некоторые за босотою и в Академию иногда не ходят; и по такой бедности приходится не о науке промышленять, но о пропитании; некоторые по бедности впадают в продерзости, и исправляться им в совершенных летах трудно. Для отстранения всех этих неудобств коллегия представила штат Морского академического шляхетского корпуса: на содержание 500 учеников 56674 рубля; кроме того, представила

необходимость иметь для корпуса особый дом, потому что теперь ученики живут по отдаленным квартирам, где подешевле, и в Академию к урокам поспевать не могут. Сенат решил доложить это представление императрице, и следствием было устройство Морского кадетского корпуса в нынешнем его помещении на Васильевском острове. Большой глобус, находившийся на Сухаревой башне в Москве и хранившийся прежде под Ивановскою колокольнею, передан Академии наук.

Кроме государственных учреждений для образования были еще частные. Вот, например, какое объявление читалось в «Петербургских Ведомостях» 1753 года: «Некая иностранная фамилия шляхетного роду намерена принимать к себе детей учить основательно по-французски и по-немецки и по понятию и по летам каждого за все учение о плате вдруг договориться; а девиц кроме французского языка обучать еще шитью, арифметике, экономии, танцованию, истории и географии, а притом и чтанию ведомостей».

Богатые купцы посылали сыновей своих учиться за границу, что видно из просьбы архангельского купца Никиты Крылова: построил он при Архангельском порте на Быковской верфи собственным коштом корабельный завод, а сына своего Петра послал за море для обучения иностранным языкам и лучшему в Европе обхождению и знанию, где, несколько лет будучи, голландскому языку совершенно обучился и в строении кораблей частью весьма присмотрелся и ныне обретается при нем в производстве купечества и надзирании над строением купеческих кораблей. За все это Крылов просил его и сына его освободить от всяких служб. Сенат исполнил просьбу. Но школьного образования было мало, являлась потребность продолжать учиться из книг, потребность развлекаться легким чтением. Люди со средствами для удовлетворения этих потребностей собирали библиотеки французских авторов, которые умели тогда захватить монополию популяризации серьезных вопросов науки и общества и тем сделать язык свой необходимым для образованных людей, языком общеевропейским. Но другие охотники почитать, не имевшие материальных средств для составления библиотек, не имевшие знания французского языка, где могли добывать книги и как приобретать знания иностранных языков?

До нас дошли записки одного из тогдашних русских людей, страстного к чтению книг, – Болотова. Для приобретения необходимых для дворянина познаний его привезли из деревни в Петербург, где он поместился у дяди своего, ротмистра конной гвардии, жившего в казенных полковых светлицах. Квартира ротмистра состояла из четырех просторных комнат: «Первая составляла переднюю, или залу, отправляющую также должность столовой, вторая – спальню, и оба сии покоя были обиты обоями и порядочно убраны, а из других двух задних одна была детскою, а другая – и лакейскою, и девичьею. Жена дяди с приятельницею своею препровождали время свое наиболее в игрании в карты, ибо тогда зло сие начало входить уже в обыкновение, равно как и вся светская нынешняя жизнь уже получила свое основание и начало. Все, что хорошою жизнью ныне называется, тогда только что заводилось, равно как входил в народе и тонкий вкус во всем. Самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господство, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и буде

где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была не спускаема».

Болотов так описывает своего французского учителя и свое ученье: «Г. Лапис был хотя и ученый человек, что можно было заключить по беспрестанному его чтению французских книг, но и тот не знал, что ему с нами делать и как учить. Он мучил нас только списыванием статей из большого французского словаря, изданного французскою Академиею и в котором находилось только о каждом французском слове изъяснение и толкование на французском же языке, следовательно, были на большую часть нам невразумительны. Сии статьи, и по большей части такие, до которых нам ни малейшей не было нужды, должны мы были списывать, а потом вытверживать наизусть без малейшей для нас пользы».

Эти полезные занятия были прерваны отъездом молодого Болотова в деревню по случаю смерти матери. Сначала он заехал в Псковскую провинцию, в деревню к сестре своей, которая была замужем за достаточным помещиком. У зятя своего мальчик нашел книгу Квинта Курция «Жизнь Александра Македонского». «Я не мог устать, ее читаючи, – говорит он, – и прочел ее раза три на досуге». Потом мальчик поселился в своей собственной деревне. «Здесь, – говорит он, – я со скуки бы пропал, если б не помогла мне склонность моя к наукам и охота к чтению книг. Несчастье мое только было, что книг для сего чтения взять было негде. Однако против всякого чаяния узнал я, что у дяди моего есть одна большая духовная книга – „Камень веры“. Я прочитал ее в короткое время с начала до конца и получил чрез нее столь многие понятия о догматах нашей веры, что я сделался почти полубогословом и мог удивлять наших деревенских попов своими рассказами и рассуждениями, почерпнутыми из сей книги». Один из этих попов, пограмотнее, достал молодому барчонку Четъи-Минеи. «Боже мой! Какая была для меня радость, когда получил я первую часть сей огромной книги. Как она была наиболее историческая, следовательно, для чтения веселее и приятнее, то я из рук ее почти не выпускал. Чтение сие было мне сколько увеселительно, столько же и полезно. Оно посеяло в сердце моем первые семена любви и почтения к Богу и уважение к христианскому закону, и я, прочитав книгу сию, сделался гораздо набожнее против прежнего. А знания мои столько распространялись, что вскоре начали обо мне везде говорить с великою похвалою, деревенские же попы почитали меня уже наиученейшим человеком; но что и неудивительно, потому что они сами ничего не знали. У дяди моего нашел я также и несколько математических книг печатных и скорописных и тотчас начал списывать и все фигуры, разбирая, счерчивать и чрез самое то учиться сим наукам. Третье упражнение мое состояло в писании. Не имея ничего лучшего, списал я целого Телемака с печатного, которую книгу удалось мне тогда достать».

С таким приготовлением Болотов поступил в военную службу. По особенным обстоятельствам он должен был ехать в Петербург хлопотать о производстве в первый офицерский чин. «Едучи еще в Петербург, за непременно дело положил я, чтоб побывать в Академии и купить себе каких-нибудь книжек, которые в одной ней тогда и продавались. В особенности же хотелось мне достать „Аргениду“, о которой делаемая мне еще в деревне старичком моим учителем превеликая похвала не выходила у меня из памяти. Я тотчас ее первую и купил; но как в самое то время увидел я впервые и „Жилблаза“, которая книга тогда только что вышла и

мне ее расхвалили, то не расстался я и с нею. Обеим сим книгам был я так рад, как нашед превеликую находку».

В полку книги, привезенные Болотовым из Петербурга, переходили из рук в руки и доставили владельцу расположение товарищей. Один сержант познакомил его с нового рода литературным произведением. «Имел он у себя список с трагедии „Хорева“. Сию трагедию знал он всю наизусть и умел так хорошо ее декламировать, как лучший актер. Трагедия сия навела на меня множество хлопот, ибо как она мне полюбилась до бесконечности, то захотелось мне ее таким же образом выучить наизусть для декламирования».

Кто же были эти люди, которые доставляли Болотову и ему подобным такое наслаждение?

В 1749 году вышел первый том книги, которая в старину составляла у нас необходимую принадлежность всякой сколько-нибудь значительной библиотеки: «Древняя История, сочиненная чрез г. Роллена, бывшего ректора Парижского университета, а ныне с французского переведенная чрез Василья Тредиаковского, профессора элоквенции». Книга печаталась в количестве 2400 экземпляров, потому что «оная книга надлежит до исторических книг, которого роду книги здесь при Академии весьма скоро продаются». В том же году трудолюбивый профессор элоквенции представил в академическую канцелярию перевод «Аргениды». Под этим именем известный сатирик шотландец Джон Барклай издал на латинском языке в 1621 году роман, в котором аллегорически изображен французский двор того времени; книга не утратила своей привлекательности спустя с лишком сто лет после своего издания, и перевод Тредиаковского не был запоздавшим: немецкий перевод Гакена явился в 1764 году. Трагедия «Хорев» была первым драматическим произведением «установителя русского театра» Сумарокова. Мы привели известие Болотова, что «нежная любовь, подкрепляемая в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получила первое только над молодыми людьми свое господствие, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и буде где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была не спускаема». Такими-то песнями приобрел себе первую известность воспитанник Кадетского корпуса Александр Петрович Сумароков. Песни эти с восторгом были приняты при дворе и пелись самыми знатными дамами. Песни эти не дошли до нас, но дошли оды, которые обещали в кадете усердного подражателя Тредиаковскому; вот для примера четыре стиха из кадетской оды Сумарокова:

Как теперь начать Анну поздравляти? // Не могу когда слов таких сыскати, //
Из которых ей похвалу сплетати, // Иль неволей мне будет промолчати.

В 1740 году Сумароков вышел из корпуса в военную службу, а в 1747 году явилось в печати первое его драматическое произведение «Хорев», производившее на русских людей впечатление, описанное Болотовым. Между действующими лицами трагедии находим имена, взятые из преданий, занесенных в древнейшую нашу летопись, – имена киевского князя Кия и брата его Хорева, но этими именами все и ограничивается, воссоздания русской старины мы здесь не найдем; это была трагедия, скроенная по французским образцам, но «Хорева» заучивали наизусть и декламировали точно так же, как выучивали и не спускали с языка песни Сумарокова, потому что в монологах и диалогах Хорева и его возлюбленной Оснельды находили выражение того же нежного чувства, как и в

песнях; но в трагедии впечатление было сильнее, потому что здесь изображалась борьба нежного чувства с честью, долгом. Оснельда влюбилась в Хорева, врага своего дома; она погибла от гнусного кова, и Хорев закаляется, не будучи в состоянии перенести ее потери. Подражатель Вольтера, Сумароков заставлял действующих лиц своих пьес высказывать мнения, которые начинали тогда распространяться в обществе, и этому распространению театр особенно содействовал. Князь Кий, в котором боярин Сталверх возбуждает подозрение против Хорева, рассуждает так:

«Хочу равно и ложь, и истину внимать // И слепо никого не буду осуждать, // Мятусь, и лютого злодея видя в горе, // Князь – кормщик корабля, власть княжеская – море, // Где ветры, камни, мель препятствуют судам, // Желающим пристать к покойным берегам. // Но часто кажутся и облака горами, // Летая вдалеке по небу над водами, // Которых кормщику не должно обегать, // Но горы ль то иль нет искусством разбирать. // Хоть все б вещали мне: там горы, мели тамо, // Когда не вижу сам, плыву без страха прямо».

Хорев так вооружается против наступательной войны:

«Колико в снедь зверям отцов, супругов, чад // Повержено мечом? Колико душ взял ад? // Когда на жертву нас злой смерти долг приносит, // Помрем, но жертвы сей теперь она не просит. // Когда народ спасти не можно без нее, // Мы в пропасть снидем все, и первый снизу я, // Но ныне страха нет народу и короне, // А меч дается нам лишь только к обороне. // // Щедрота похвалы в победах умножает, // И человечество в душах изображает. // Или подобиться во бранных действиях нам // В пустынях ужасно воюющим зверям, // Которы никакой пощады не имеют? // Не их примеры нам во бранях быть довлеют, // Довольно в варварстве мы кровь свою пием, // Когда по должности друг друга мы бием // И защищение с отмщением мешаем. // Под видом мужества мы зверство возвышаем. // Какое имя ты, лесьть груба, злу дала? // Убийство и грабеж геройством назвала!»

В другом месте тот же Хорев говорит:

«Те люди, коими законы сотворенны, // Закону своему и сами покоренны».

«Хорев» был напечатан, его учили наизусть и декламировали, но на сцене его не видали: в России еще не было русского театра. При дворе была опера, где «пели девки итальянки и кастрат», был немецкий театр. В 1749 году немецкой комедиантской банды содержатель Пантолон Петр Гильфердинг просил, что бывший той банды директор Сигмунд умер и банда осталась без директора, а содержит ее он, Пантолон Гильфердинг, выплачивая вдове умершего Сигмунда некоторую часть собираемых доходов, а она уже вышла теперь замуж за офицера, и потому ему, Гильфердингу, дать привилегию, а жену Сигмундову от того отрешить и платы ей более не производить. Сенат приказал: Гильфердингу в представлении комедий и опер в Москве, Петербурге, Нарве, Ревеле, Риге и Выборге дать привилегию на таком же основании, как дана была Сигмунду.

Но немецкий театр с его комедиями и операми не мог удовлетворять. Нравились трагедии и комедии французские или по образцу их написанные русские, нравился «Хорев». 29 января 1750 года канцелярист графа Алексея Григор. Разумовского в канцелярии Кадетского корпуса объявил, что ее императ. величество указала приготовить кадетам, о которых генерал-адъютант (т.е. главный адъютант Разумовского) Сумароков реестр сообщил, представить на

театре две русские трагедии, и чтоб они для затвержения речей были от классов и от всяких в корпусе должностей до Великого поста уволены.

Но кадетские представления были редки и не всем доступны: большинство петербургской публики должно было услаждаться курьезными вещами Франца Сарге, который по высочайшему повелению с своею компаниею и ученою лошадью приехал из Риги и давал представления под дирекциею того же Пантолона Гильфердинга.

Ни в Петербурге, ни в Москве русского театра не было; но был он в Ярославле, где в здании, вмещавшем до 1000 человек зрителей, играли разных чинов люди под дирекциею купеческого сына Федора Григорьевича Волкова, человека, выдававшегося из ряда людей обыкновенных, по отзывам современников, которым можно верить. В Петербурге узнали об ярославском театре, и 12 января 1752 года провинциальная Ярославская канцелярия получила указ Сената: во исполнение высочайшего именного указа велено ярославских купцов Федора Григорьева Волкова (он же и Полушкин) с братьями Гаврилою и Григорьем, которые в Ярославле содержат театр и играют комедии, и кто им еще для того как из купечества, так из приказных и из прочих чинов потребны будут и принадлежащее к игранию комедий их платье отправить в С.-Петербург с присланным с тем указом сенатской роты подпоручиком Дашковым и для скорейшего всего того привозу как под них, так и под платье ямские подводы и на них прогонные деньги, сколько надлежит, дать. Волков (Полушкин) был призван в канцелярию и показал, что сверх братьев его Гаврилы и Григорья потребны к комедии Ярославской провинциальной канцелярии канцеляристы Иван Иконников, Яков Попов, пищик Семен Куклин, присланные из консистории для определения в канцелярии из церковников Иван Дмитревский, Алексей Попов, ярославец посадский человек Семен Скачков да живущие в Ярославле из малороссиян Демьян Галик, Яков Шумский, а под своз их и платья надлежит ямских 19 подвод, шестеры сани болковни, 6 рогож, веревок 50 сажен.

Некоторые из ярославских актеров найдены годными и для столичного театра; в июле того же года генерал-прокурор получил от обер-шталмейстера Петра Сумарокова письмо такого содержания: «Ее императорское величество соизволила указать взятых из Ярославля актеров заводчика Федора Волкова, пищиков Ивана Дмитревского, Алексея Попова оставить здесь, а канцеляристов Ивана Иконникова, Якова Попова, заводчиков Гаврилу да Григорья Волковых, пищика Семена Куклина, малороссийцев Демьяна Галика, Якова Шумского, ежели похотят, отправить обратно в Ярославль». При этом Иконников и Попов пожалованы в коллежские регистраторы. Есть известия, что оставленных в Петербурге актеров приготавливали, давали им дополнительное образование; и действительно, российский театр в Петербурге был учрежден, как увидим, только в 1756 году.

А между тем число драматических произведений увеличивалось; Сумароков был неутомим: после «Хорева» он написал еще в продолжение немногих лет пять трагедий и две комедии. Трагедии все написаны по одному образцу, во всех них действующие лица, добродетельные и порочные, похожи друг на друга, откуда бы ни были взяты их имена – из древнерусской или персидской истории, и так как Сумароков не обладал сильным талантом в изображении природы человеческой и не мог успешно бороться с языком, не вышедшим еще из хаотического состояния,

то и не предохранил своих произведений от забвения. Но мы не можем не привести некоторых мест из первых трагедий Сумарокова, ибо слова, произносимые со сцены в юном обществе, слова, которые жадно хватались и заучивались, не могли не производить особого впечатления, более сильного, чем то, которое производят сухие нравоучения, например слова Гамлета:

Я бедствием своим хочу себя явить, // Что над любовью могу я властен быть. // Люблю Офелию, но сердце благородно // Быть должно праведно, хоть пленно, хоть свободно.

Или слова Гостомысла в трагедии «Синав и Трувор»:

Где должность говорит или любовь к народу, // Там нет любовника, там нет отца, ни роду.

Или слова Семиры:

От знатной крови я на свет изведена: // Должна ль я тако быть страстьми побеждена, // Чтоб делали они премены те в Семире, // Какие свойственны другим девицам в мире? // Где жизни хвальные примеры находить, // Коль в княжеских сердцах пороки будут жить? // Иль преимущество имеем пред другими // Одними титлами лишь только мы своими?

Мы должны остановиться на комедиях Сумарокова, потому что какой бы чуждый образец ни имел перед глазами автор, все же он, представляя будничную жизнь, не может отрешиться от явлений окружающего общества, тем более что в комедии указания на ближайшие неправильные явления, от которых терпит общество, дают особенную силу, значение сочинению, чем автор пренебречь не может. Разумеется, в литературных произведениях сатирического свойства, комедиях и собственно сатирах всего резче выставляются те явления, которые лично затронули самого автора, и в первых комедиях Сумарокова мы видим педанта, карикатуру ученого, под которою современники легко могли узнать известного профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредиаковского. Можно наполнить томы описанием ссор и перебранок между русскими учеными и литераторами, начиная с Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова. Явление это всегда способно было возбуждать глумление толпы над людьми, которые считали себя наставниками народа, а между тем подавали очень дурной пример наставляемым. Но надобно было войти в их положение. Обыкновенный человек в продолжение всего своего общественного поприща мог получать замечания от начальствующих лиц, и то редко публично; пересудов же и насмешек от равных себе он вблизи не слышал, когда же приходилось слышать, то он равнодушным не оставался; но эти перебранки обыкновенно не имеют большой гласности. Но вот ученый или литератор передает свое произведение публике, которая начинает поучаться из книги, наслаждаться поэтическим произведением, а тут раздается голос публично, во всеуслышание, что книга ученого наполнена ошибками, что трагедия или ода наполнена неправильностями относительно языка, здравого смысла, господствующей теории. Публика смущена, ждет ответа от автора, хочет присутствовать и судить в споре; раздражение человека, которого из ученого низводят в невежды, из художника – в человека бездарного, – раздражение автора доходит до высшей степени, которую редко кто испытывает хотя раз в жизни, а несчастный автор должен испытывать каждый раз при издании в свет своего произведения. Понятно, что при защите, когда надобно поддержать свой авторитет против подкапывающихся под-него соперников, первое средство, за которое

хватается в раздражении защищающийся, – это подкапывание под авторитет нападающего: «Ты обличаешь меня, а сам-то ты каков? И, будучи исполнен таких недостатков, какое право имеешь обличать других?» Тут насмешка, более всего доступная и приятная толпе, играет главную роль, но поэтому-то самому насмешка и более всего раздражает; несчастному автору кажется, что всякий встречный улыбается при виде его.

Понятно, что такого раздражения между авторами не может быть в странах, обладающих крепким и широко распространенным образованием: здесь автор, сознающий несправедливость возражений, спокоен, зная, что в обществе много людей, которые не станут на сторону его противника потому только, что тот написал несколько резких и насмешливых заметок, зная, что в обществе образованном нельзя поколебать авторитета одними криками, насмешками. Самая резкость нападок из противного лагеря служит доказательством важного значения ученого или литературного произведения, потому успокаивает автора вместо раздражения, и если автор чувствует необходимость полемики для уяснения вопроса, то ему не нужно спешить, он сделает это при полном спокойствии и потому с полным достоинством, без личностей и брани.

Но не так бывает в обществах юных, где образование, недавно начавшееся, не пустило еще корней, а таким обществом именно было русское в описываемое время. Здесь автору не было никакого ручательства, что публика, и без него справедливо рассудит его дело, общество было в таком состоянии, что для решения дела требовало средневекового доказательства, судебного поединка, присуждало поле, и автор должен был биться публично своим противником. Мы уже заметили по поводу Кантемира, вооружившегося в своих сатирах против самохвала, как состояние тогдашнего общества развивало самохвальство. Разумеется, этот порок может корениться в личности человека, но развивается преимущественно в таком обществе, которое не может дать ручательства, что на труд будет обращено внимание и он будет оценен по достоинству. В таком обществе автор считает необходимым сам объявлять о своем труде, сам его оценивать. Если и теперь встречаются люди так называемые образованные, которые потому только знают об известном авторе и его сочинениях, что автор с ними знаком и дарит свои произведения, о других же не знают; если и теперь для доставления успеха книге прибегают иногда к таким мерам, которые показывают недоверие к публике, к ее вниманию и способности оценить труд по достоинству; если и теперь иные авторы считают нужным напоминать о себе, очень любят поговорить о себе, – то мы должны быть снисходительны к авторам XVIII века, считавшим необходимо говорить о своих трудах, о своих заслугах. Сумароков был самохвал, и Ломоносов был тоже самохвал. И самохвальство в литературе не могло производить неприятного впечатления, когда каждый считал для себя позволительным просить правительство о награде, причем высчитывал свои труды и важное их значение, не догадываясь, как оскорбляет правительство, предполагая в нем неспособность обратить внимание и оценить заслуги подданных. Но дело в том, что и само правительство не оскорблялось таким предположением и не относилось сурово к самохвалу. Точно так же не оскорблялось и общество авторским самохвальством.

Столкновение Сумарокова с тогдашними учеными авторитетами было неминуемо, во-первых, потому, что эти ученые были также стихотворцами и

отсюда рождалось соперничество; во-вторых, по отсутствию тогда разделения занятий ученому учреждению Академии наук принадлежала цензура сочинений, бывшая прежде у Сената. Нет сомнения, что профессор элоквенции Трелиаковский не преминул сделать замечаний и на первую трагедию Сумарокова – «Хорев», что раздражило ее автора, а раздражение это не могло сдерживаться авторитетом Василия Кирилловича, которого собственные стихотворения вызывали столько замечаний и насмешек. Как видно, Трелиаковский принадлежал к людям, осуждавшим в «Хореве» то, что трагедия оканчивалась гибелью добродетельных людей, главных героев, что, по мнению критиков, было противно нравственности, и мнение это было так сильно, что Сумароков должен был иначе окончить вторую свою трагедию – «Гамлет». Когда в 1748 году эта трагедия была отдана официально на суд Трелиаковского и Ломоносова, то первый нашел ее «довольно изрядною», а именно потому, что автор не повторил погрешности первой своей трагедии, в которой «порок преодолел, а добродетель погибла». Трелиаковский не утерпел и указал на неровность стиля: «Инде весьма по-славенски сверх театра, а инде очень по-площадному ниже трагедии»; заметил и грамматические неисправности, наконец, позволил себе переделать некоторые стихи. Ломоносов ограничился чисто цензурною заметкою: «В оной трагедии нет ничего, что бы предосудительно кому было и могло бы напечатанию оной препятствовать».

Сумароков не мог перенести замечаний, что в его произведении повсюду видна неровность стиля и находятся многие грамматические неисправности. Особенно рассердился он, когда ему были возвращены из Академии для исправления две его стихотворные эпистолы, в которых Трелиаковский нашел «великое язвительство»; Сумароков еще подбавил язвительства против Трелиаковского, который объявил, что «таких злостных сатир апробовать не может»; но другой цензор, Ломоносов, одобрил эпистолы, в которых находились такие стихи:

«И с пышным Пиндаром взлетай до небеси, // Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси – // Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен, // А ты, Штивелиус, лишь только врать способен».

Штивелиус (Трелиаковский) явился в 1750 году в комедии Сумарокова под именем Тресотиниуса, педаята. Комедия начинается тем, что Клариса, на которой сватается Тресотиниус, говорит своему отцу: «Нет, батюшка, воля ваша, лучше мне век быть в девках, нежели за Тресотиниусом. С чего вы вздумали, что он учен? Никто этого об нем не говорит, кроме его самого, и хотя он и клянется, что он человек ученый, однако в этом никто ему не верит». *Тресотиниус* является к Кларисе с таким приветствием: «Прекрасная красота, приятная приятность, по премногу кланяюсь вам». *Клариса* : «И я вам по премногу откланиваюсь, преученное учение». *Тресотиниус* : «Эта бумажка яснее вам скажет, какую язву в сердце моем приятство ваше, т.е. красота ваша, мне учинила, т.е. сделала». На бумажке была написана песня, сочиненная Тресотиниусом:

Красоту на вашу смотря, распалился я ей, ей! // Изволь меня избавить ты от страсти тем моей! // Бровь твоя меня пронзила, голос кровь зажег, // Мучишь ты меня, Климена, и стрелюю сшибла с ног и т.д.

Затем приходит другой педант, Бобембиус, и заводит с Тресотиниусом горячий спор о литературе *твердо* : «Которое твердо правильнее, о трех ли ногах или

об одной ноге?» *Тресотиниус* : «Я содержу, что твердо об одной ноге правильнее, ибо у греков, от которых мы литеры получили, оно об одной ноге, а треножное твердо есть некакой урод». *Бобембиус* : «Мое твердо о трех ногах и для того стоит твердо, ерго – оно твердо; а твое твердо нетвердое, ерго – оно не твердо. Твое твердо слабое, ненадежное, а потому презрительное, гнусное, позорное, скаредное».

В другой комедии Сумарокова, «Чудовищи», является педант Критициондиус, в котором также легко было узнать Трелиаковского. Сумарокову хотелось осмеять своего придирчивого критика, и потому Критициондиус говорит о «Хореве»: «Немного получше можно бы было написать. Кию подали стул, бог знает на что, будто как бы он в таком был состоянии, что уж и стоять не мог. Отчего? Я не знаю... На песнь „Прости, мой свет“ я сочинил критику в двенадцати томах *in folio*. На трагедию „Хорева“ сложил я шесть дюжин эпиграмм, а некоторые из них и на греческий язык перевел; против тех господ, которые русские представляли трагедии, написал я на сирском языке 99 сатир». Когда его спрашивают, что тебе в том прибыли, он отвечает: «Я хочу вывести из заблуждения любезное мое отечество, которое то похваляет, что похуления достойно, и отнять честь у автора, которую он получает неправедно; а паче всего для того я на него вооружаюсь, что он думает обо мне, будто я все, что ни есть, пишу нескладно. Да то мне всего злее, что он в том на весь народ ссылается, а весь народ за нескладного писца меня и почитает; однако я против всего русского народу сделаю Ювеналовым вкусом сатиру... Этот же автор сделал комедию на ученых людей. Хорошо ли это, что на ученых людей делать комедии?»

Сумароков делал комедии на ученых людей, потому что сам не принадлежал к ним; ученые люди, опираясь на свою ученость, указывали на недостатки его произведений, и Сумароков боялся, что эти указания, как указания людей ученых, должны иметь вес и вредить ему, и потому ему нужно было осмеять, опозорить ученых. Ему было легко сладить с Трелиаковским, стихотворные произведения которого просились на насмешку; но когда известность его стала расти все более и более, когда у него явились поклонники, которые стали величать его «открытелем таинства любовной лиры, российским Расином, защитником истины, гонителем, бичом пороков», то дело легко дошло и до столкновения с Ломоносовым, который для многих оставался первым российским не только ученым, но и стихотворцем. Соперничество повело к явной вражде, к перебранке в стихах и прозе.

Кроме педантов в комедиях Сумарокова являются и другие люди, которых он выставляет преимущественно на позор: это петиметры и приказные. Мы уже говорили, что в это время господствовали в Европе французский язык и французская литература. Русские люди, живя все более и более общою европейскою жизнью, разумеется, должны были усваивать себе общественный язык и знакомиться с богатою литературою, так удовлетворявшею пытливости и вкусу тогдашних образованных, людей. Разумеется, не Ив. Ив. Шувалов «заставил нас говорить нечестивым французским языком», как выразился Растопчин, очень плохой знаток истории: еще прежде, чем Ив. Ив. Шувалов получил влияние, русские люди со средствами заводили французские библиотеки и выписывали французских гувернеров и гувернанток для детей своих. Учиться говорить по-французски заставляла нужда, потребность образования; кто мог, учился и по-немецки, но немцы подавали пример подражания французам, говорили и

писали по-французски, пренебрегая родным языком. Люди с потребностью образования, высших наслаждений жадно читали и учили наизусть творения русского Расина – Сумарокова; странно было бы требовать от людей, могших читать по-французски, иметь французские книги, чтоб они не читали Расина в подлиннике и довольствовались Сумароковым. Ив. Ив. Шувалов приобрел себе почетное имя в истории русского просвещения не тем, что любил французский язык и французскую литературу, но тем, что старался поднять русскую литературу, увеличил средства образования для русских людей; Шувалов пишет конспект риторики Ломоносова, под руководством Ломоносова пишет русские стихи, и в этих плохих русских стихах защита для него от упреков во французomanии.

Но во все времена во всяком живом обществе есть люди слабые, люди мелкой природы, которые подчиняются известному господствующему влиянию до рабства; по внутренней духовной слабости эти люди останавливаются на одном внешнем, доводят это подражание внешнему до обезьянства, ибо относятся к делу с бессознательностью животного, возбуждают смех и отвращение и всего больше содействуют упадку известного направления, реакции против него; по слабости природы своей эти люди увлекаются до такой степени, что, кроме предмета своего обожания, исключают все другое, каким бы священным именем это другое ни называлось, у них всегда на языке бранная выходка против него. Французское влияние, господствовавшее во всей Европе в описываемое время, имело у нас в России таких поклонников, и в России больше и долее, чем где-либо по молодости русского общества, следовательно, по большей способности его членов к увлечению, и к увлечению внешностью, а французская внешность очень способна своим блеском, изяществом увлекать слабых. Сатира не могла не остановиться на этих людях (*петиметрах* , как их тогда называли), потому что они представляли так много смешного; впрочем, они возбуждали и не один смех, потому что, рабствуя чужому, они совершенно отрекались от своего, делали против него выходки, оскорблявшие патриотическое чувство.

В комедии «Чудовищи» петиметр является под именем Дюлижа. Дюлиж презирает все нефранцузское. Когда хозяин дома, не имеющий понятия об иностранных языках, думает, что фразы, которые Дюлиж вплетает в свою речь, немецкие, то петиметр страшно оскорбляется: «Что? вы думаете, что я говорю по-немецки? *Quelle pensйе! quelle impertinence!* Чтоб я этим языком говорить стал!» Услыхав об Уложении, он спрашивает: «Уложенье, что это за зверь?.. Я не только не хочу знать русские права, я бы русского и языка знать не хотел. Скаредный язык!.. Для чего я родился русским? О натура! Не стыдно ль тебе, что ты, произведя меня прямым человеком, произвела меня от русского отца!» О своих достоинствах Дюлиж говорит так: «Научиться этому, как одеться, как надеть шляпу, как табакерку открыть, как табак нюхать, стоит целого веку, а я этому формально учился, чтоб мог я тем отечеству своему делать услуги». О своем сопернике, который выставлен автором в противоположность ему, Дюлиж отзывается: «Это будто человек! Кошелек носит такой большой, как заслон; на голове пуклей с двадцать, тростку носит коротенькую, платье делает ему немчин; муфты у него и отроду не бывало, манжеты носит короткие, да он же еще и по-немецки умеет». Арлекин, который еще продолжает являться в комедии,

произносит приговор петиметру: «Этакое безобразие, стыд роду человеческому! Конечно, это обезьяна, да не здешняя».

Сатира, комедия не могли не вооружиться против явления, завещанного древнею Россиею и против которого новая истощалась в бесплодных протестах против неправды, недобросовестности суда, против людей, которые для спокойствия, чести, имущества граждан были так же вредны, как и разбойники. «Статное ли это дело, чтоб я дочь свою выдала за ябедника», – говорит жена в комедии «Чудовищи». Муж отвечает ей: «Мы люди разоренные, да ежели этакое человека у нас в родне не будет, так мы и совсем пропадем». Муж с женою поспорили, и жена дала сожителю своему пощечину. Вследствие этого является на сцену суд. Мы видели, как граф Петр Шувалов жаловался на множество комиссий, которые тянулись бесконечно. Сумароков подсмеивается над этими комиссиями: дама, давшая мужу пощечину, называет суд «пощечинною комиссиею». Состав суда характеризуется в разговоре между судьями. «Я не знаю, – говорит один судья другому, – сильны ли вы в делах приказных, а я все служил в солдатстве и в приказ посажен недавно; так я в делах-то не очень еще силен, разве вы в них знающие?» Товарищ отвечает: «Я век свой изжил в приказах; только без этакое человека, каков наш протоколист, и я ничего не сделаю, это не судейская должность, чтоб знать права. Наше дело оговаривать и вершить дела; знать права – то дело секретарское». Судья, весь век изживший в приказах, показывает, однако, свою опытность, находит разноречие в показаниях истца, который один раз сказал, что жена дала ему пощечину, в другой раз сказал, что оплеуху. Защитник истца, ябедник Хабзей, говорит судье: «В этом разствия не имеется: понеже оплеуха и пощечина так, как поместье и вотчина, за едино приемлются». В комедии «Тресотиниус» подьячий говорит офицеру Брамарбасу: «Я слышал, что у вашего благородия из вотчин приехали». *Брамарбас* : «А тебе что до того дело?» *Подьячий* : «Я слышал, что и запасы к вашей милости понавезли. Не имеется ли и для нашего брата; а у меня жена родила». *Брамарбас* : «Когда вы рождаетесь, так радоваться нечему». *Подьячий* : «Я это заявлю и буду на вас бить челом: так ты мне заплатишь бесчестье». *Брамарбас* : «Сержант, арестуй!» *Подьячий* : «Как, арестовать? Приказного служителя? Нас и в приказах не арестуют, и весь нам штраф только в том, что нас на цепь сажают. А ты это в противность правам делаешь». Брамарбас указывает на свою шпагу: «Вот право офицерское!» Подьячий, указав на свое перо: «Это хоть и не так остро, однако иногда колет сильнее и шпаги».

Литературные занятия Сумароков считал своею службою. Так, он писал императрице: «Вашего императ. величества человеколюбие и милосердие отъемлют мою робость пасть к стопам вашего императ. величества и всенижайше просить о всемилостивейшем помиловании. Я девятый месяц по чину моему не получаю заслуженного жалованья от Штатс-конторы, и как я, так и жена моя почти все уже свои вещи заложили, не имея, кроме жалованья, никакого дохода, ибо я деревень не имею и должен жить только тем, что я своим чином и трудами имею, трудясь, сколько сил моих есть, по стихотворству и театру. Я в таких упражнениях не имею ни минуты подумать о своих домашних делах. Дети мои должны пребывать в невежестве от недостатков моих, а я терять время напрасно, которое мне потребно для услуг вашему императ. величеству в рассуждении трудов моих к увеселению двора, к чему я все силы прилагаю и всю жизнью

моею с младенчества на стихотворство и на театральные сочинения положился, хотя между тем и другие не в должности, и многие лета был при делах лейб-компаний, которые правлены мною беспорочно; свидетель тому его сиятельство граф Алексей Григорьевич (Разумовский), который вашему императорскому величеству о моей прилежности и беспорочности всеконечно представить может. Труды мои, всемилостивейшая государыня, сколько мне известно, по стихотворству и драмам не отставали от моего в исполнении желания, и сочинениями своими я российскому языку никакого бесславия не принесу, и, покамест не совсем утухнут мысли мои, я в оных к увеселению вашего величества и впредь упражняться всем сердцем готов».

Относительно других искусств встречаем известие о трудах ветерана русских живописцев Ивана Вишнякова, хотя и не можем обозначить в точности эти труды. В 1752 году Вишняков по представлению канцелярии от строений, и за добропорядочное порученных ему дел исправление, и за излишне понесенные его пред прочими мастерами труды, и за долговременную, с 721 года, службу произведен в надворные советники с жалованьем по 700 рублей. Архитекторами в Петербурге видим братьев Тразиных, в Москве – Евлашева и князя Дмитрия Ухтомского, в Киеве – Мичурина. В 1752 году кн. Ухтомский представил Сенату, что определено к нему для обучения *архитектуры цивилис* учеников число довольное, только подлежащих для совершенства к их обучению казенных архитектурных книг не имеется, в чем состоит крайняя нужда, а именно: Витрувия – «О рассуждении ординов с фигурами», Серлия – «О препорции ординов», Палладия – «О рассуждении ординов», Бароция на русском языке в пол-листа шесть книг, Полусдекера, Девильера – «О рассуждении ординов и о укреплении фундаментов», Поции – «О проспективе». Штормова – «Лексикон науки архитектурной», садовых с фигурами две книги, книга древних греческих статуй, машинных и механических, на русском языке. По запросу Сената Академия наук показала, что из вышеобъявленных книг в продаже находятся только Полусдекера ценою три тома 16 рублей 50 копеек да «Механика» на русском языке – 20 копеек. Сенат приказал: которые есть – купить, а остальные, когда при Академии или у вольных в продаже будут, купить и отдать Ухтомскому.

Сохраним память о простом русском человеке, который в описываемое время изобрел «самобеглую коляску». То был крестьянин подгородной Иранской слободы Леонтий Шамшуренков; коляска двигалась *под закрытием* с помощью двух человек и стоила 90 рублей; мастеру выдано было за нее из казны 50 рублей награждения. Потом Шамшуренков объявил Сенату, что сделал он коляску, а теперь может сделать сани, которые будут ездить зимою без лошадей; может сделать также часы, которые будут ходить у коляски на задней оси и будут показывать на кругу стрелю до 1000 верст, на всякой версте будет бить колокольчик, и прежнюю коляску может сделать уборнее и на ходу будет скорее. Сенат велел спросить, сколько все это будет стоить. Последствия неизвестны.

Дополнение

Показание графа Чернышева Захара.

1753 года, января 11, будучи в компании с г. полковником Левонтьевым, скоро после обеда соглашались мы с прочими бывшими в оной компании ехать в гости,

а Левонтьев, не соглашаясь с оным, привел меня ему сказать, что он мудреный человек и своенравный, что с ним никогда ни в чем согласиться нельзя, на что он в ответ сказав, что я-де шотланец и слова своего не переменю, уж я вам сказал, чтоб вы ко мне ехали, так против и остаюсь; то я ему сказал, что ты не великая диковинка, а буде желаешь, чтоб мы к тебе ехали, то надлежит тебе просить, ибо тебе честь делают, кто приезжает, а не ты им, что их у себя принимаешь, на что он мне сказал «ты врешь» и «ну, к черту», то я ему сказал «увидим, кто у нас к черту пойдет»; и я вышел вон и, помешкав немного в другой горнице, увидел, что он с великою прытостью из той горницы, где мы сидели, бежит, то я хотел в другую горницу отойти, но он сзади меня в щеку ударил, то я, для опасения своего обнажив шпагу, оборотился на него и увидел и у него в руках обнаженную шпагу, и в самое то время он меня ею по голове ударил, отчего и теперь на одной рана есть, я же в действительную оборону свою поколол его в бок, но он, брося свою шпагу из рук, кинулся на меня и с ног сшиб, и как услышали оное в другой горнице, то г. полковник Панин, прибежав, его с меня снял. Левонтьев показал: как он Чернышеву сказал «врешь», то Чернышев сказал «ступай» и сам вышел, Левонтьев за ним сунулся, но держал его князь Василий Долгорукий и не пускал минут с семь, однако ж он вырвался, Чернышев уже стоит с обнаженною шпагою и пошел на него, и поколол; он, выхватя, свою Чернышева в голову порубил, который упал, он сел ему на груди, и тут его сволокли.

(из Государ. архива).

Двадцать четвертый том

Глава первая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1756 год

Причины Семилетней войны. – Кауниц. – Перемена политической системы на Западе; союз Англии с Пруссиею и Франции с Австриею. – Отношения России к западным державам. – Запись канцлера Бестужева о необходимости как можно скорее ратифицировать субсидный договор с Англиею. – Условная ратификация договора. – Английский посланник Уильямс объявляет о заключении англо-прусского договора. – Положение канцлера Бестужева после этого объявления. – Учреждение конференции. – Определение русской политики ввиду новых европейских отношений. – Рассказ Зубарева. – Австрия замедляет движение России против Фридриха II. – Отношения русского двора к польско-саксонскому. – Нападение Фридриха II на Саксонию. – Переселение Августа III в Варшаву. – Станислав Понятовский. – Движения в Петербурге вследствие болезни императрицы. – Сближение России с Франциею. – Напрасные старания Англии склонить Елисавету к посредничеству между Австриею и Пруссиею. – Отношение России к Швеции и Турции. – Движения войск к прусским границам. – Главнокомандующий Апраксин. – Финансовые меры для поддержания войны. – Следствия передвижения войск из внутренних областей к границам. – Разбои и возмущения крестьян. – Меры относительно однодворцев. –

Малороссия. – Восточная Украина. – Похождения башкирского возмутителя Батырши. – Сибирь.

Весною 1754 года в Северной Америке между французскими и английскими колонистами начались стычки, которые в Европе послужили поводом к перемене политической системы и к Семилетней войне. Говорим: послужили поводом, потому что причина заключалась в перемене отношений между европейскими государствами, которая обозначилась во время войны за Австрийское наследство. Европа привыкла к вековому соперничеству между Бурбонским и Габсбургским домами; от того или другого исхода борьбы между ними зависело политическое равновесие Европы, независимость других, менее сильных держав ее. Франция воспользовалась смертью последнего Габсбурга, императора Карла VI, чтоб раздробить его наследство и этим способом по окончательном ослаблении Германии через размельчение ее владений окончательно утвердить свое первенство в Европе. Как прежде, так и теперь благодаря политическому разъединению Германии Франция нашла себе союзников между ее владельцами, и между этими союзниками был король прусский. Но исход войны показал, что дела не могут идти по-прежнему. Как после Великой Северной войны европейские государства с удивлением увидели среди себя нового могущественного сочлена, внезапно выросшего, – Россию, так после войны за Австрийское наследство они увидели среди себя другое новое могущество – Пруссию, пред которою должны были посторониться. Франция жестоко обманулась в своих надеждах: вместо окончательного размельчения и ослабления Германии здесь явилось государство, которое оказалось могущественнее Австрии, которое одно вышло с выгодой из войны и употребило Францию орудием для своих целей, для своего усиления, тогда как Франция надеялась употребить его своим орудием. Франция увидела, что главное препятствие своим намерениям относительно Германии будет она находить теперь в Пруссии, а не в Австрии, которая сходила на второй план, переставала быть опасною, почему соперничество с нею прекращалось и вековая вражда, естественно, начала уступать место сближению при виде общего сильного врага. С своей стороны Австрия, обобранная Фридрихом II, потерявши Силезию, увидела, что главный враг ее теперь не Франция, а Пруссия, что с Францией ей было бы легко сладить, если б не прусский король; поэтому и в Вене, естественно, рождалась мысль прекратить вековую вражду с Францией, более неопасною, и вступить с нею в союз против нового могущества, одинаково страшного обеим державам, естественно, рождалась мысль, что только цепью союзов, и прежде всего союзом с Францией, можно ослабить Фридриха II, заставить его возвратить Силезию, как такую же цепью союзов было сокрушено в начале века могущество Людовика XIV. Обстоятельства слагались так, что необходимо должна была последовать перемена в европейской политике, должно было последовать сближение и союз между Австриею и Францией. Не Кауниц устроил этот союз с помощью какой-нибудь Помпадур; знаменитый министр Марии-Терезии только понял, что при известных условиях сближение между Австриею и Францией возможно и необходимо.

Весною 1749 года Мария-Терезия приказала своим министрам представить письменные мнения о политической системе, которой Австрия должна теперь

следовать. Кауниц, перечисляя в своем мнении естественных друзей и врагов Австрии, первое место между первыми дает Англии, которая для собственных выгод должна быть в союзе с Австриею. Но при этом не должно забывать, говорит он, что в случае войны с Пруссиею Австрия не может рассчитывать на помощь Англии. Король Георг, принц валлийский, и ганноверское министерство, конечно, ненавидят Пруссию, но это еще более усиливает расположение к Пруссии английского народа, у которого континентальные владения его собственного короля как бельмо на глазу. Голландия также по своим интересам должна быть на стороне Австрии; еще более Россия; но так как политика этого государства истекает не из действительных его интересов, но зависит от индивидуального расположения отдельных лиц, то невозможно строить на ней продолжительную систему. Четвертою естественною союзницею Австрии Кауниц считает Саксонию, но она, к несчастью, не в состоянии принять с самого начала непосредственное участие в борьбе с Пруссиею. Враги Австрии – это Порта, Франция и Пруссия. Относительно первой ничего нельзя вперед определить, потому что ее поведение основывается не на государственных правилах, а зависит от случайностей, как-то: возмущений, серальских интриг, отставки миролюбивого визиря и замены его воинственным. Относительно Порты нечего больше делать, как соблюдать постоянную осторожность и с своей стороны не подавать ни малейшего повода к разрыву. Что касается Франции, то Кауниц охотно признает все грехи, содеянные ею против австрийского дома в продолжение веков, а последний грех горше всех прежних: без малейшей причины взялась она за оружие и составила план лишить короны дочь Карла VI – это такой вероломный поступок, какому нельзя найти примера в истории. И эта главная цель французской политики – сокрушение австрийского дома – достигнута в том отношении, что Франции удалось противопоставить Австрии нового могущественного врага, который для Франции полезен, ибо может оттягивать от нее силы Англии и Голландии и делает невозможным соединение всей Германской империи против Франции. Несмотря на то, связь Франции с Пруссиею не так тесна, как с первого взгляда кажется. Франция должна быть достаточно убеждена, что на дружбу короля Фридриха полагаться нельзя и что его постоянно возрастающая сила может обратиться в великий вред и самим его союзникам. Король прусский должен быть поставлен на первом месте в числе естественных врагов Австрии, должен считаться самым злым и опасным соседом. Нечего распространяться о вреде, причиненном потерю Силезии. С Силезиею отрезан не какой-нибудь второстепенный член, но главная, существенная часть государственного тела. Теперь прусскому королю, имеющему многочисленное и отличное войско, постоянно открыта дорога проникнуть в сердце австрийских наследных земель и нанести монархии последний, смертельный удар. Сам прусский король не может ни минуты сомневаться, что императорский дом никогда не забудет потери Силезии, никогда не пропустит ни одного удобного случая снова овладеть ею. Из этого само собою следует, что для сохранения этого завоевания прусская политика должна быть постоянно направлена к большему ослаблению Австрии для отнятия у нее средств исполнить когда-либо свое намерение, и, таким образом, оба двора будут постоянно жить в величайшем соперничестве и непримиримой вражде. Из сказанного ясна несостоятельность прежней политической системы и необходимость принять новую. Главным основанием последней должно быть

правило: напрягать все усилия к тому, чтоб не только предохранять себя от враждебных предприятий прусского короля, но и ослаблять его, ограничивать его господство и возвратить потерянное. Без союзников нельзя воевать с Пруссией. От морских держав нельзя ожидать никакой помощи, остается, следовательно, одно средство для достижения великой цели: склонить Францию не только не противиться предприятиям Австрии, но содействовать им непосредственно или по крайней мере посредственно. Это может произойти только тогда, когда Франция найдет более выгодным для себя падение прусского могущества, чем его сохранение. Поэтому надобно сделать Франции такое предложение, которое бы побудило ее поддерживать Австрию в стремлении возвратить себе Силезию.

Уничтожить вековые привычки, вековые предрассудки – дело трудное; трудно было сближение Австрии с Францией; трудно было внушить людям привычки и предрассудка, что недавний союзник есть естественный соперник и враг и извечный враг стал естественным союзником; надобно было вооружиться долготерпением и ждать благоприятных обстоятельств. Осенью 1750 года Кауниц приехал во Францию в качестве посланника и в мае 1751 года уведомил свою государыню, что слишком мало надежды произвести разрыв между французским и прусским дворами. Кауницом овладело отчаяние; он писал, что единственное разумное средство утвердить безопасность Австрии – это забыть потерю Силезии, отнять у прусского короля на этот счет всякое беспокойство и втянуть его в союз Австрии с морскими державами. Кауниц охотно вел долгие разговоры с фавориткою Людовика XV маркизой Помпадур и говорил ей разные вещи, которые, как он был уверен, она передаст королю; но видимо, благоприятных последствий от этих разговоров не оказывалось.

Весною 1753 года Кауниц возвратился из Франции и был назначен канцлером. При французском дворе он был заменен графом Штарембергом, в инструкции которому говорилось, что, принимая во внимание тесную связь Франции с Пруссией, жалобы при французском дворе на прусского короля или обнаружение ненависти и отвращения к нему скорее произведут вредное, чем благоприятное, действие. Вот какое горькое убеждение вывез из Франции новый канцлер, первый заявивший невозможность разрыва между Францией и Пруссией и сближения Франции с Австрией! Распря между Англией и Францией за американские колонии не переменяла этих отношений. Когда в Европе стали думать, что американские столкновения поведут к европейской войне, то не сомневались, что Франция и Австрия, по обычаю, выступят враждебно друг против друга. Точно так же все думали, что Пруссия станет на сторону Франции, а морские державы, Англия и Голландия, будут вместе с Австрией, что Франция начнет дело нападением на австрийские Нидерланды, а король прусский вторгнется в Ганновер. Последнее, разумеется, заставляло трепетать английского короля как владетеля ганноверского, и он требует у Марии-Терезии, чтоб она немедленно выслала в свои Нидерланды от 25 до 30000 войска, а если Ганновер подвергнется нападению, то не только отправила бы туда войско, но и сделала бы диверсии против прусского короля из своих ближайших владений, и требование это было сделано в таких выражениях, которые венский двор счел для себя очень оскорбительными. Кауниц отвечал английскому посланнику Кейту, что если бы австрийские войска находились на жалованье Англии, а не своей государыни, то и тогда нельзя было бы с большею резкостью в

тоне потребовать от императрицы, чтоб она оставила без войска зерно своих владений и отправила его в Нидерланды для защиты Голландии, Англии и Ганновера. В Вене соглашались отправить в Нидерланды от 10 до 12000 человек, но с условием, чтоб Англия и Голландия выставили соответствующее число войска, своего или наемного. Потом венский двор соглашался увеличить число своего войска в Нидерландах до 30000, но с тем, чтобы Англия выставила 20000 войска и Голландия – 8000. Англия продолжала требовать, чтоб Австрия высылала как можно более войска в Нидерланды, отмалчиваясь насчет числа своего войска и давая только знать, что прусского короля можно склонить к нейтралитету.

Эти отношения венского двора к Англии и намеки последней на свои отношения к Пруссии дали Кауницу новые побуждения приступить к делу сближения Австрии с Франциею. 21 августа (н. с.) 1755 года курьеры поскакали в Париж с инструкциями для Штаремберга. Посланник Марии-Терезии должен был объявить Людовику XV, что императрица охотно сохранила бы мир и только необходимость может принудить ее начать войну против Франции. Но она имеет причины думать, что Англия чрез посредство протестантских дворов старается войти в союз с королем прусским или по крайней мере сдерживать его посредством русского войска, чтоб таким образом для своих интересов принести в жертву интересы католицизма, равно как австрийского и Бурбонского домов. Это заставляет императрицу привести в соглашение свои интересы с интересами Бурбонского дома. Только слепая страсть и старые предрассудки могли до сих пор препятствовать делу, спасительному и желанному для охранения католицизма и спокойствия Европы.

Штаремберг обратился к маркизе Помпадур с просьбою о посредничестве, потому что она пользовалась наибольшим доверием короля и потом, если бы не сделать ее участницею дела, то можно было опасаться препятствий ему с ее стороны. Людовик XV назначил вести переговоры с Штарембергом аббата Берни, любимца маркизы. В первом французском ответе на предложение Штаремберга говорилось, что король без самых убедительных доказательств измены и без самых важных побуждений не может разорвать с своим союзником – прусским королем; но надобно толковать о том, чтоб предупредить разрыв между Австриею и Франциею; прежде всего оба государства должны обязаться не помогать никому, кто стал бы действовать в противоречии с Ахенским договором.

В Вене увидали, что Францию нельзя заставить отказаться от прусского союза; но по крайней мере Франция была не прочь от сближения с Австриею. В таком положении дело перешло из 1755 в 1756 год, в начале которого во Франции узнали, что прусский король действительно заключил союз с Англиею.

Мы видели, что английский двор, беспокоясь за Ганновер и Голландию, требовал от Австрии сосредоточения значительного числа войска в Нидерландах. Англия опасалась в этом случае сколько Франции, столько же и ее союзника короля прусского, для отвлечения которого она так и хлопотала о субсидном договоре с Россиею. Но если венский двор ввиду борьбы на жизнь и на смерть с Пруссиею дошел до мысли о необходимости сблизиться с извечным врагом своим – Франциею, разорвать во что бы то ни стало союз между нею и Пруссиею, то и двор английский по тем же побуждениям должен был прийти к мысли сблизиться с Пруссиею, разорвать союз между нею и Франциею, тем более что дело казалось гораздо легче: между Англиею и Пруссиею не было вовсе застарелой вражды,

напротив, было большое сочувствие и единство в интересе религиозном. Обезопасить себя со стороны Пруссии, а с помощью старой союзницы – Австрии сдержать Францию от нападений на Голландию и Ганновер казалось в Лондоне мастерским делом; субсидный договор с Россией не считался вовсе лишним и при новых отношениях к Пруссии; русское войско можно было двинуть, как прежде, против Франции, по крайней мере можно было испугать ее, и таким образом в предстоящей войне Англии и Франции все сильнейшие государства Европы стали бы на стороне первой против последней.

В августе 1755 года английское министерство сделало предложение Фридриху II войти в соглашения относительно сохранения спокойствия в Германии, для чего прусский король должен дать формальное обещание ничего не предпринимать против немецких владений великобританского короля, не подкреплять французского нападения на них, но препятствовать ему. Фридриху II понравилось предложение, потому что его сильно беспокоил субсидный трактат Англии с Россией: если возобновить союзный договор с Францией, рассчитывал он, то надобно будет напасть на Ганновер, т.е. поднять против себя Англию, Австрию и Россию; если заключить союз с Англией, то, вероятно, французы не внесут войны в пределы Германской империи, а Пруссия будет в союзе с Англией и Россией; это заставит Марию-Терезию пребывать в покое, несмотря на все ее желание возратить себе Силезию. Английское министерство уверяло его, что цель субсидного трактата между Англией и Россией состоит единственно в защите владений английского короля, что по условиям договора русские войска двинутся только в том случае, когда какое-нибудь государство предпримет открыто напасть на его владения; английское министерство уверяло его, что между Англией и Россией господствует совершенное согласие, что король Георг твердо рассчитывает на дружбу императрицы Елисаветы. Не имея средств удостовериться в этом прямо в Петербурге вследствие прерывания дипломатических сношений между Россией и Пруссией, Фридрих осведомлялся в других местах и отовсюду получал удостоверения, что влияние Англии в Петербурге сильнее, чем влияние Австрии, потому что английское правительство богато, а Мария-Терезия бедна. Успокоясь на этот счет, Фридрих заключил союз с Англией 16 января 1756 года.

Известие об этом союзе произвело страшное впечатление во Франции, вследствие чего 2 мая 1756 года заключен был в Версале оборонительный союз между Францией и Австрией.

Англия увидела, что ошиблась в своих расчетах. Погруженная в соображение одних своих интересов, она забыла, что и у других держав есть свои интересы, что если в Лондоне был интерес ганноверский, то в Вене был интерес силезский. Английский посланник в Вене Кейт имел любопытный разговор с Марией-Терезией по поводу австро-французского союза. Когда Кейт заметил, что этот союз есть нарушение прежних дружественных отношений Австрии и Англии, то императрица с жаром отвечала: «Не я покинула старую систему; но Англия покинула и меня, и систему, когда вступила в союз с Пруссией. Известие об этом поразило меня как громом. Я и король прусский вместе быть не можем, и никакие соображения в мире не могут меня побудить вступить в союз, в котором он участвует. Мне нельзя много думать об отдаленных землях, пришлось ограничиться защитой наследственных владений, и здесь я боюсь только двух

врагов: турок и пруссаков. Но при добром согласии, которое теперь существует между *обеими императрицами*, они покажут, что могут себя защищать и что нечего им много бояться и этих могущественных врагов».

Последние слова одной из императриц показывали, что Англия ошиблась и в другой раз: австрийское влияние в Петербурге было сильнее английского; ошибочны были полученные Фридрихом II известия, что английское влияние здесь преобладает, потому что англичане могут дать больше, чем австрийцы. Ошибочно было и мнение Кауница, что политика России истекает не из действительных ее интересов, но зависит от индивидуального расположения отдельных лиц: с начала царствования при дворе Елисаветы повторялось, что король прусский есть самый опасный враг России, гораздо опаснее, чем Франция, и это было убеждением самой императрицы. Петр Великий оставил Россию в самых благоприятных внешних отношениях: она была окружена слабыми государствами – Швециею, Польшею; Турция была или по крайней мере казалась более сильною и опасною, и это условило австрийский союз по единству интересов, по одинакому опасению со стороны Турции; это же условило и враждебные отношения к Франции, находившейся в постоянной дружбе с султаном. Но теперь обстоятельства переменялись; вблизи России является новое могущество; прусский король обрывает естественную союзницу России Австрию; он сталкивается с Россиею в Швеции, Польше; отдаленность Турции не мешает ему искать ее дружбы, и, разумеется, не для выгод России. Блестящие способности Фридриха II и неразборчивость средств при достижении целей делают могущество Пруссии еще более опасным, еще более усиливают раздражение, ибо заставляют быть в натянутом положении, вечно готовиться к какой-нибудь неожиданности, военной или дипломатической. Помнили хорошо, как были наказаны за оплошность нападением Фридриха на Саксонию; знали, что Швеция и Польша сами по себе неопасны; но когда будут соединены прусскими интригами, тогда другое дело; вследствие могущества Пруссии и характера ее короля боялись не только за Курляндию, но и за приобретение Петра Великого. Это постоянное опасение и раздражение сделали господствующею мыслью о необходимости окружить прусского короля цепью союзов и сократить его силы при первом удобном случае. Приняли предложение Англии о субсидном трактате, имея в виду выставить на чужой счет большое войско против прусского короля, и остановились только при мысли: а что если Англия потребует это войско не против прусского короля, а против Франции, потребует выслать его в Нидерланды? Австрия отказывается посылать туда свое большое войско, требует, чтоб Англия послала свое или наемное! Но не одна эта мысль должна была удерживать русское правительство от заключения субсидного трактата. Если Австрия на основании английских намеков давно уже внушала французскому двору о готовящемся союзе между Англиею и Пруссиею, то почему она могла скрывать это при петербургском дворе? Эстергази не сообщал этого официально, мог не сообщать этого канцлеру, известному приверженцу английского союза, но должен был внушать об этом Воронцову, Шуваловым, должен был внушать об этом из раздражения против Англии, из старания оправдать сближение Австрии с Франциею.

Мы видели, что ратификация субсидного договора была остановлена в конце 1755 года, и Воронцов объяснял Уильямсу медленность императрицы нежеланием

ее посылать свои войска далеко в Германию или Нидерланды и желанием употреблять их только против короля прусского. 19 января 1756 года канцлер подал императрице следующую записку: «Английская субсидная негоциация во время продолжительного своего течения неоднократно подавала случаи утруждать ее императорское величество всенижайшими представлениями. Наблюденная тем должность получала всегда свое воздаяние, ибо ее импер. величество, по своему просвещенному проницанию тотчас усматривая, что все оные исполнены были искренним усердием и ревностью к ее ж высочайшей славе и к пользе ее интересов, всегда всемилостивейшею апробациею их удостоивать изволила. Теперь от исполнения вновь сея должности канцлер толь меньше уклониться может, что оная ему наиважнейшею, нежели когда-либо, кажется, да, может быть, и последнею его министерства есть. Во всей вышепомянутой негоциации, не будучи учинено ни малейшего поступка, о котором бы не было наперед со всею ясностью и подробностью ее импер. величеству всенижайше представлено и на который бы паки точного именного ее величества повеления наперед не воспоследовало, нельзя натурально доискиваться причины, для чего так медлится размена ратификаций на заключенную здесь с английским послом Вилиамсом по ея ж высочайшему указу конвенцию, ежели б давно известно не было, что всякое дело имеет свои критики, так, как каждый своих неприятелей, с тою только разностью, что, сколь дело больше, важнее и полезнее, столь больше зависть или и самая ненависть ищут показать его вредительным. По несчастью, ничего легче нет, как критиковать, по меньшей мере гораздо беззаботнее, нежели прямое дело делать. Целый свет заражен ныне сею болезнью. Сие есть канцлерово простое гадание, которому, однако ж, остановку ратификаций он еще приписывать не может, ибо, как выше упомянуто, что ничего не учинено в сем деле без высочайшей апробации, то всякая критика оскорбляла бы ее просвещенное проницание; а сверх того, хотя б и так было, то ничего ж легче нет, как ту самую критику употребить к доказательству, что оная происходит от людей, о прямом состоянии дела несведущих, но самолюбивых или же завистию, а может быть, и самую ненавистью преисполненных».

Отклонив возражения, которые можно было сделать против некоторых пунктов конвенции, Бестужев продолжает: «Ее импер. величество с самого своего на престол восшествия такую вдруг приобрела славу, каковою другие государи ниже ласкаться могут. Шведы в одну кампанию побеждены, целая их армия с пашпортами домой отпущена, вольному народу король дан, целая провинция, присягу в верности и подданства ее импер. величеству давшая, подарена, мир славно и с новым приращением для империи восстановлен. Все в Европе державы одна пред другою спешили присылкою торжественных посольств искать дружбы ее импер. величества; можно сказать, что еще никакой государь не имел удовольствия быть толико почитаемым; были ли тогда к славе ее импер. величества канцлеровы труды, оное ее величеству лучше известно и, может быть, еще памятно, что в тогдашнее время Лесток, Бриммер, Шетарди и Мардефельд такие хитрые сплетали сети, что без мудрого и просвещенного ее императ. величества проницания канцлеровы усердные старания всегда ему ж погибелью угрожали. Все оное, однако ж, преодолено. Сколько Лесток ни кричал, чтоб графа Кейзерлинга из Ренегсбурга отозвать, доказывая, якобы того при государе Петре Великом не бывало, а не памятуя, что тогда здешнего резидента тамо и

принять не хотели; однако ж продержанием его тамо императорский титул от всей Римской империи получен. Более того, тотчас потом весь сей корпус представил себя вступить в союз с ее импер. величеством; но за многими тогда криками сей германский корпус и ответом не удостоен, хотя он, напротив того, ни которой другой державе сей чести не сделал, чтоб свой союз представить. Много было криков и движений и против ходившего на помощь морским державам войска, однако ж теперь сожалеют только о том, для чего то ранее сделано не было. Саксония разорена бы не была, король прусский Шлезии не удержал бы и так опасен, как ныне, не сделался бы. При сем сожалении канцлер имеет некоторое утешение, что за представлениями его не стояло сим несходствиям предупредить; но ему то несносно и крайне сокрушительно ежели б и ныне, искусясь в том и другом, однако ж до того допущено было, чтоб после сожалеть надлежало.

Доныне продолжающееся медлительство в размене ратификаций на заключенную конвенцию уже довольно имеет, о чем после сожалеть заставит. Но буде, паче всякого чаяния, все сие дело и вовсе уничтожить рассудится, то, вместо того чтоб весьма легким образом, а именно чужим именем и с подмогою чужих денег, сокращать короля прусского, подкрепить своих союзников, сделать сего гордого принца у турков, у поляков, да и у самих шведов презрительным, а не так, как ныне, уважительным, а чрез то самое и турков и шведов для здешней стороны не так опасными или вредительными, а Польшу больше преданною, и, вместо того чтоб повелительницею Европы и сохранительницею ее равновесия быть, оставятся только союзники их собственному жребию, следовательно, неприятелями своими утеснены и совсем обессилены будут. Напротив того, усилится король прусский и чрез него и шведы, большую приобретут они инфлюенцию и в Польше и у турков; Россия останется одна против многих неприятелей, не имея ни одного союзника, и буде не нападена и не угрожаема, то, однако ж, теряя все то почтение, которое поныне возбудило толико славы и зависти, ибо старые союзники, не полагаясь более на здешнее защищение, а еще паче опасаясь усилившихся своих неприятелей, не посмеют и требовать здешней помощи, да и принятие их тогда в союз было бы только здешней стороне тягостно; а усилившиеся неприятели, не имея ничего тогда опасаться, будут только о том пещись, что Россию буде не в старые пределы привести, то по меньшей мере инфлюенцию ее из генеральных дел выключить, к чему и великое уже начало сделано будет, сколь скоро токмо часто помянутая заключенная конвенция уничтоженною объявится, ибо сколь скоро английские ратификации подобно как бы вексель с протестом туда назад придут, то сие для короля и нации бесчестие так велико, что коль ни драгоценна им дружба ее импер. величества, однако ж она много холодности и корреспонденции остановки претерпит. Показав таким образом вредительные и крайне бесславные от разрушения сего дела несходствия, канцлер с радостью бы ожидал, ежели бы оные ему кем-либо письменно оспорены и ему на то паки ответствовать повелено было б.

Со всем тем ежели б, однако ж, ее императ. величеству всевысочайше угодно было часто помянутую конвенцию уничтожить, то он по своей ревности и усердию о ее монаршей славе и достоинстве скрыть не хочет, что к наблюдению в сем случае надлежащей благопристойности нет другого способа, как объявить велеть, что канцлер и вице-канцлер возложенную на них доверенность во зло употребили, данные им повеления превзошли и за то чинов своих и должностей

действительно лишены. Ежели сей несчастливый жребий постигнет и одного канцлера, хотя он сей отличности пред вице-канцлером и не заслужил, то он найдет при том свое утешение, что в совести ни пред Богом, ни пред ее императорским величеством, ни пред отечеством ничего не согрешил, но для того без вины виноват был и сам быть хотел, дабы тем самым не допустить и малейшего ущерба той славе, которая пятнадцатилетним мудрым ее императ. величества государствованием до толикого градуса дошла. Будущие по нем и на его месте могут с лучшею благопристойностью, сваливая вину на несчастливых, стараться о поправлении, ежели только что пропущено или худо сделано. В самое последнее и главное свое утешение канцлер приемлет смелость ее импер. величеству, как суще верный раб и подданный, и так, как бы он теперь на суде пред самим Богом стоял, всенижайше представить, что, как бы сие дело ни обратилось, ныне ли бы тотчас ратификовано или бы после другими переделано было, ее всевысочайшая служба и польза государства необходимо требуют управление оною и всего к нему принадлежащего под своим монаршим руководством поручить такой комиссии, которая бы из таких и стольких людей составлена была, каких ее импер. величество сама избрать изволит, и которые бы наипаче ее высочайшую доверенность к себе имели и, имея свое собрание и заседание при дворе, могли тотчас на все получить монаршие ее императ. величества резолюции и повеления и потому с потребною скоростью и силою управлять и двигать такую великую машину, какова есть отправление корпуса 55000 человек морем и сухим путем, удовлетворительное оною тамо содержание, предприемлемые им операции и множество сопряженных с тем околичностей. Из того та польза будет, что обо всем спросится на одних, они обо всем и пещись должны будут, никакое дело в долгих и излишних между коллегиями переписках не заволочится, и один другому портить не посмеет для того, что всем равно поручено, на всех равно и спросится, по меньшей мере не будет такого разноречия, как ныне, а именно в держанных в Москве при дворе конференциях все единогласно кричали: надобно за усмирение короля прусского приняться, не смотря, станут ли в том союзники содействовать или нет, только бы здешняя армия умножена была. Теперь, когда сие умножение сделано и дело идет не о том, чтоб самим и одним короля прусского атаковать, а только о том, чтоб помогать против него союзникам, след., приводить его под чужим именем и с помощью чужих денег в бессилие, то вдруг те же самые против подания помощи спорят, которые прежде советовали и подписали, несмотря ни на что, самим атаковать. Напротив того, без подобной комиссии ежели командующий генерал будет вдруг получать указы из Сената, Военной и Иностранной коллегий, и Адмиралтейская коллегия в то ж время галерами распорядится будет, а, напротив того, сии места между собою вместо согласного вспоможения будут только письменно переспариваться и, протягивая время, вину один на другого сваливать, то можно наперед себе вообразить, коль печально будет тогда состояние сего командующего генерала. Может быть, канцлер в своей ревности и горячности многоизлишнего или излишне усердного здесь написал; но буде сие имеет быть последним исполнением его должности, то он никогда довольно твердо написать не мог; а буде, напротив того, представления его справедливы и основательны, то ее импер. величество толь великодушна и толь справедлива, что в рассуждении его ревности

и усердия всемилостивейше отпустит ему неумеренность, буде есть, его израженной».

Мнение канцлера, продиктованное раздраженным самолюбием, было крайне слабо. Оно было наполнено выходками против недоброжелательных людей, которые из личной вражды к нему, канцлеру, останавливают полезное для государства дело; указывалось на противоречие этих людей, которые кричали о необходимости сократить силы короля прусского, о необходимости выставить большое войско; а теперь, когда идет дело о том, чтоб содержать это войско на чужой счет, они не хотят. Но Бестужев в своем раздражении бил совершенно мимо: люди, которые раздумывали и внушали императрице раздумье над субсидным трактатом, были совершенно последовательны; они готовы были сейчас подписать субсидный трактат, если бы они были уверены, что войско немедленно и непременно двинется против Фридриха II; их останавливало сомнение, не должно ли будет идти войско в другую сторону. Канцлер своими требованиями, угрозами оставить должность заставлял ускорить ратификацию трактата, но когда был поставлен вопрос – ратификовать безусловно или с условием, чтоб русское войско было употреблено только против короля прусского, то канцлер, разумеется, не мог выставить ничего против этого условия, ибо оно вытекало прямо из сущности дела, его нельзя было не допустить, допуская в предприятии высшую, государственную цель, а не простую продажу русских солдат англичанам.

1 февраля вечером Уильямс был приглашаем к канцлеру на конференцию в присутствии вице-канцлера. Здесь сличены были ратификации на конвенцию и потом разменены «при взаимных и обыкновенных комплиментах». Лицо Уильямса сияло удовольствием; но это удовольствие сейчас же исчезло, когда он прочел поданную ему Бестужевым секретную декларацию, в которой говорилось: «Содержание самой конвенции хотя довольно изображает, что случай диверсии не может настоять иначе как только когда б король прусский атаковал его британское величество или кого-либо из его союзников, так что о том всякое дальнейшее объяснение излишним казалось бы, ибо в противном случае, а именно буде бы войскам ее импер. величества в Нидерланды, на Рейн или в Ганновер идти надлежало, то не могла бы ее импер. величество снять на себя пропитание оных в толь отдаленных местах, а особливо 15000 человек конницы, в котором числе много легкого двуконного войска; не могло бы тогда упоминаемо быть о галерах, способом которых ее импер. величество десант учинить обязалась; не было бы нужды его британскому величеству присылать в Балтийское море эскадру своих кораблей и, наконец, по меньшей мере надлежало бы наперед согласиться о свободном проходе чрез многие имперские области, о чем в конвенции ни слова не упомянуто; однако ж ее импер. величество для избежания всякого вперед недоразумения сим и силою сего точно себе предоставляет и декларирует, что случай диверсии, которую ее величество ратификованною ныне конвенциею учинить обязалась, не может настоять иначе как только ежели бы король прусский атаковал области его величества короля великобританского или его союзников. Впрочем, повелевает ее импер. величество господина посла и паки накрепчайше обнадежить, что сие предоставление ничем не уменьшит той точности, с которою ее величество все принятые свои обязательства исполнить намерена; паче же дружба ее императ. величества к своим высоким союзникам, а особливо к его

величеству королю великобританскому, так велика, что императрица удаления не оказала бы и в Нидерланды войска свои так же отпустить, как они уже туда на помощь обеим морским державам ходили, ежели бы домашние всегда и везде всяким посторонним предпочитаемые обстоятельства тому не препятствовали, ибо господину послу по союзнической откровенности не таится, что случившиеся с сибирской стороны от разных здешней империи подданных народов, число которых превосходит полумиллиона, замешательства такого состояния суть, что буде не великую часть здешних армей упражняют, то, однако ж, неминуемо заставляют во всякой в запас готовности быть, следовательно, толь дальным, как в Нидерланды, походом себя не обессиливать».

«Я отправлю эту декларацию к своему двору, – сказал Уильямс, – впрочем, хотя мне известно, что при заключении конвенции имелся единственно в виду король прусский, да и теперь оной двор отнюдь не помышляет заводить здешние войска в Нидерланды, однако я предусматриваю, что такие изъятия могут много убавить той пользы доброду делу, которая ожидается от заключения этой конвенции, и особенно королю, моему государю, прискорбно будет точное имянное исключение Ганновера. Смею также заметить не как министр, но как частный, России преданный человек, что приведенная в конце причина – башкирские замешательства – затмевает славу русского имени, так что я охотнее принял бы простой отказ, чем прикрашенный таким предлогом».

На другой день Уильямс прислал канцлеру письмо, в котором говорил, что, подумавши хорошенько, он не может доставить своему государю бумагу, которая, по его мнению, уничтожает некоторым образом смысл конвенции, произведет беспокойство при английском дворе, горечь в сердцах союзников, радость и наглость у врагов. Цель конвенции – сдержать врагов и придать мужества и деятельности союзникам; но декларация может произвести действие, диаметрально противоположное этой цели. 3 февраля отправился к Уильямсу секретарь Иностранной коллегии Волков с объяснением, что императрица при заключении конвенции была того мнения, что требуемая диверсия может быть только против короля прусского, и потому с ее стороны было бы поступлено неоткровенно, если б она своего мнения не объявила прямо королю великобританскому. Уильямс отвечал, что декларация сама по себе его не опечалила б, потому что двор его не имеет намерения требовать русских войск в Нидерланды; но он боится, что декларация помешает постращать Францию русским войском.

Но скоро Уильямс нашелся в тяжелом положении: он должен был признаться, что русский двор был совершенно прав, принимая свои меры; Уильямс должен был объявить Бестужеву о союзе Англии с Пруссией. 4 февраля он приехал к канцлеру и сообщил содержание договора, заключенного Англиею с прусским королем. Посланник уверял при этом честью, что, кроме этого содержания, не постановлено никакого тайного или сепаратного обязательства, что государь его приписывает оказанную королем прусским готовность к союзу страху пред англо-русскою конвенциею, что король Георг не полагается нисколько на искренность чувств Фридриха II и при заключении с ним договора имел одну цель – отвратить прусского короля от соединения своих сил с французскими, а французов удержать от нападения на Германию. Уильямс внушал, что англо-прусским договором нисколько не нарушается англо-русская конвенция, ибо

только благодаря ей государь его и может надеяться, что Фридрих II не посмеет нарушить и свой договор. Король, его государь, надеется, что в исполнение конвенции императрица прикажет подвинуть свои войска ближе к границам и содержать их в готовности к походу, а следующая на их содержание денежная сумма готова.

По донесению Уильямса своему министерству, Бестужев поздравил его с новым союзником, но прибавил: «Императрице не понравится, что этот договор сообщен прежде австрийскому министру при вашем дворе графу Коллореду, чем нашему князю Голицыну, да и вообще новая связь между Англиею и Пруссиею будет ей очень неприятна». Уильямс отвечал: «Кроме Франции, этот союз никого не может оскорбить, разве кто уже готов чувствовать себя оскорбленным. Я надеюсь, что вы употребите все старание представить императрице это дело с настоящей точки зрения». «Но что скажет венский двор?» – спросил канцлер. «Если австрийское министерство, – отвечал Уильямс, – действительно желает продолжения мира, то оно не может ничего сказать против».

С удивительною легкостью относились английские дипломаты к делам континентальных держав. Не было никакого труда узнать настоящие чувства петербургского и венского дворов, узнать, чего они хотят – войны или мира с Пруссиею. Фридрих II мог быть обманут донесениями с разных сторон, потому что долго не имел своего министра в Петербурге; но Англия не прерывала своих связей, и связей самых дружеских, с Россиею, следовательно, не могла оправдаться невозможностью получить верные сведения. Уильямс отличался особенно неумением вникать в положение дел при дворе, при котором находился; он дал своему правительству самое ложное понятие о дворе петербургском, внушая, что здесь все продажное, что можно подкупить и того и другого, тогда как на поверку выходило, что нельзя было никого подкупить и заставить действовать вопреки основной политике двора, что с Англиею сближались, когда это сближение соответствовало главному положению, останавливались, когда подозревали несоответствия, и, наконец, совершенно покидали дело, когда видели действительное несоответствие. Уильямс не хотел подумать, какой удар англо-прусским союзом наносится англо-русскому союзу, какой удар наносится канцлеру, который был всегда главным поборником англо-русского союза, как Бестужев выдается на жертву своим врагам. И после Уильямс продолжал уверять свой двор, что англо-прусская связь не произведет дурного действия в Петербурге, что и Бестужев, и Воронцов постараются уничтожить это дурное действие.

Бестужев знал очень хорошо, что нет никакой возможности уничтожить дурное действие англо-прусского союза, если только сама Англия не уничтожит союза. Никогда еще знаменитый канцлер не был в таком печальном положении. Как нарочно, только что перед тем с необыкновенною горячностью настаивал он на ратификации субсидного договора, выставляя свою непогрешимость и позоря врагов их ошибками; и вдруг такая страшная ошибка, такой позор перед лицом этих самых врагов! Теперь уже нет более возможности величаться всегдашнею верностью своих суждений: что, если б императрица послушала его и поспешила безусловно ратифицировать субсидный договор? Эти враги, которых он так беспощадно порицал, одержали полную победу, благодаря их проницательности Россия не далась в обман, оставила за собою полную свободу действия. Хуже всего, Бестужев должен был чувствовать, как он упал в мнении императрицы:

Елисавета никогда не любила его, но она считала его необходимым по его талантам и опытности и не выдавала врагам; но теперь это обаяние необыкновенного искусства и предусмотрительности исчезло: ошибки молодости, неопытности извиняются легко, ибо считаются средством к приобретению искусства; ошибки старости не прощаются, ибо могут только служить признаком падения сил. С падением Бестужева поднимался Воронцов: Елисавета любила его как старого верного слугу во время испытания; потом обнаружила холодность, когда указаны были ей увлечения вице-канцлера, но холодность не была продолжительна; сам Бестужев отнял у Воронцова возможность грешить и навлекать на себя гнев императрицы, разорвав с Пруссией, удалив из Петербурга ее министров. Улик против вице-канцлера не было более, он неуклонно шел по течению, и Елисавета незаметно возвратила ему прежнюю благосклонность, а Шуваловым он был нужен как покорное орудие, как человек, неопасный своею самостоятельностью. Воронцов все более и более захватывал себе участия в делах; остальные члены Иностранной коллегии были на его стороне.

Бестужев в своей записке настаивал, что при важности обстоятельств необходимо учредить чрезвычайное собрание, которое бы ведало дела политики и войны. Он требовал этого собрания для себя, чтоб иметь всегда перед собою неприязненных людей, заставлять их высказываться явно в присутствии императрицы, громить их в этом присутствии и тут же приводить Елисавету к окончательным решениям – одним словом, отнять у врагов великую выгоду действовать против него без него. Когда 3 марта императрица велела коллегии Иностранных дел подать свое мнение по поводу англопрусского союза, то канцлер написал записку, в которой говорил: «Когда канцлер в окончании пространного своего представления от 19 января упоминал вкратце о надобности и пользе учредить некоторую особливую из доверенных персон комиссию, которая бы под единым руководством ее им. в-ства поручаемое ей отправляла, то он тогда подлинно не имел еще к тому другой важнейшей причины, как только чтоб удобней и с лучшим порядком исполнять принятые обязательства. Почему ежели б почитать, что заключенный в Англии с королем прусским трактат разрушает некоторым образом здешнюю конвенцию, то вышешоказанное о учреждении некоторого совета представление могло б теперь уже прошедшим делом считаться. Но понеже вместо того сей с Пруссией трактат, не разрушая нимало здешней конвенции и обещая паче, что Англия ныне еще охотнее по сту тысяч фунтов стерлингов на год давать будет за содержание здешних войск в Лифляндии (для того, что иначе не может она полагаться на святость прусского обещания и единственно здешние войска надежным сему трактату гарантом служить имеют), переменяет, однако ж, по правде сказать, весь вид бывшего донныне генеральных европейских дел состояния; то скорей произведение в действо вышешоказанного представления ныне паче, нежели когда-либо, нужно и полезно быть имеет; надобно принятие такой резолюции, которая бы всех в Европе держав, так сказать, удивя и остановя каждую в своих устремлениях, обратила их глаза и атенцию предпочтительно всем другим на здешний двор, и чрез то, сделав их неотменными искателями здешней дружбы, и избирать тогда что лучшее. Ничего к сему способнее быть не может, как тогда б ее и. в.-ство, избрав наидостойнейших монаршей своей доверенности персон, учредило из них при своем дворе тайный военный совет не только для нынешнего времени, но и навсегда. Сия одна

резолуция всех в Европе дворов на довольно долгое время остановила б, ибо каждый за нужно и необходимо для себя почтет обождать сперва, какие будут сего нового военного совета упражнения и к чему прямо определение его клониться имеет; а из того то произойдет, что, стараясь каждый ближе здешние склонности распознать, натурально принужден будет свои тем больше обнажить и всегда здешнему двору оставить во власти решение между ими делать. Весьма много сему первому распоряжению важности прибавится, ежели б притом еще угодно было повелеть, чтоб сей тайный военный совет начал исправление своей должности приведением генерально всех здешних сухопутных и морских сил в такую готовность и состояние, чтоб тотчас все в движение прийти и каждый полк в 24 часа в поход выступить мог. Понеже теперь должность и упражнение подобного тайного военного совета почти генерально всю политическую систему в себе заключать имеют, то, кого бы ее и. в-ство и сколько членами оно назначить ни соизволила, канцлеру и вице-канцлеру в том числе быть нужно».

Требование канцлера было исполнено, совет был учрежден, только не под именем тайного военного. Но Бестужев не получил себе от него никакой пользы, потому что раз уже сбился с прямого пути, тогда как противники его шли твердо этим путем. 14 марта созвана была при дворе конференция из следующих особ: великого князя Петра Федоровича, графа Алексея Бестужева-Рюмина, брата его графа Михайлы (летом 1755 года приехавшего в Петербург), генерал-прокурора князя Трубецкого, сенатора Бутурлина, вице-канцлера Воронцова, сенатора князя Михайла Голицына, генерала Степана Апраксина и братьев графов Шуваловых, Александра и Петра. В конференции присутствовала сама императрица и объявила, что для произведения с лучшим успехом и порядком весьма важных дел и для скорейшего исполнения ее повелений призванные лица должны собираться каждую неделю по два раза, а именно по понедельникам и четвергам.

30 марта конференция в исполнение указа императрицы постановила следующее: 1) с венским двором немедленно приступить к соглашению и склонять его, чтоб он, пользуясь нынешнею войною Англии с Франциею, напал на прусского короля вместе с Россиею. Представить венскому двору, что так как с русской стороны для обуздания прусского короля выставляется армия в 80000 человек, а в случае нужды употребятся все силы, то императрица-королева имеет в руках самый удобный случай возвратить завоеванные прусским королем в последнюю войну области. Если императрица-королева опасается, что Франция отвлечет ее силы в случае нападения на короля прусского, то представить, что Франция занята войною с Англиею и Австрия, не мешаясь в их ссору и не подавая Англии никакой помощи, может убедить и Францию к тому, чтоб она не вмешивалась в войну Австрии с Пруссиею, чему Россия будет содействовать с своей стороны, сколько возможно, и для того 2) здешним при чужих дворах находящимся министрам приказать, чтоб они с французскими министрами ласковее прежнего обходились, одним словом, все к тому вести, чтоб венскому двору безопасность со стороны Франции доставить и склонить этот двор к войне с Пруссиею. 3) Польшу исподволь приготавливать, чтоб она проходу русских войск чрез свои владения не только не препятствовала, но и охотно бы на то смотрела. 4) Стараться турок и шведов держать в спокойствии и бездействии; оставаться в дружбе и согласии с обеими этими державами, чтоб с их стороны не было ни малейшего препятствия успеху здешних намерений относительно сокращения сил

короля прусского. 5) Последуя сим правилам, идти далее, а именно, ослабя короля прусского, сделать его для России нестрашным и незаботным; усиливши венский двор возвращением Силезии, сделать союз с ним против турок более важным и действительным. Одолживши Польшу доставлением ей королевской Пруссии, взамен получить не только Курляндию, но и такое округление границ с польской стороны, благодаря которому не токмо пресеклись бы нынешние беспрестанные об них хлопоты и беспокойства, но, быть может, и получен был бы способ соединить торговлю Балтийского и Черного морей и сосредоточить всю левантскую торговлю в своих руках.

В начале апреля в конференции было решено так расположить войска и приготовить их к военным действиям, чтоб по требованию обстоятельств могли немедленно выступить в поход. Для этого определено расположить около Риги в Курляндии и по Двине 28 пехотных полков, которые заключали в себе всех чинов 73132 человека. Шесть кирасирских полков, четыре гусарских, 4000 донских козаков и чугуевскую команду расположить при Кокенгаузене и в прочих близлежащих местах по Двине и ко Пскову. Конногренадерских пять полков и драгунских четыре с 4000 донских и 4000 слободских козаков, с 4000 волжских калмыков, 2000 мещеряков и башкирцев и 1000 казанских татар расположить от Чернигова, Стародуба, Брянска до Смоленска. Всего войска должно быть 111563 человека, и войско это должно быть так всем снабжено и удовлетворено, чтоб могло по первому указу не только в поход выступить, но и начать военные операции. В Ревель для посажения на галеры отправить из Петергофа и Стрельны три пехотных полка, содержащие 7887 человек, да до 500 донских козаков. Когда все эти войска выступят за границу, то в Курляндию немедленно двинутся полки из Новой Ладogi, Старой Ладogi, Шлюссельбурга, Копорья, в которых 10516 человек, да в Курляндии же останется некоторое число козацкого войска: этот курляндский корпус должен служить, во-первых, резервом, а во-вторых, поддерживать беспрепятственное сообщение с войсками, которые будут находиться за границую. Чтоб армия имела в запасе лишних лошадей на всякий случай, нарядить 5000 украинских козаков о двуконь. Внутри государства кроме гвардии и нерегулярных войск должно остаться полевых, гарнизонных и ландмилицких полков 112, два эскадрона и пять батальонов и в них людей всех чинов 161795 человек. Иностранной и Военной коллегиями предписано стараться умножать дезертирование в прусской армии и привлекать дезертиров в русскую на том основании, что прусский король забирал тайно и насильно русских подданных и удерживал их, а на сделанные ему представления отвечал, что между Россиею и Пруссиею нет картеля.

Так как в Пруссии нет русского министра, а сведения оттуда получать необходимо, то Иностранной коллегии предписано отправить под именем курьеров надежных и способных офицеров в Дрезден, Гамбург и Данциг с таким наставлением, чтобы они проездом туда и обратно старались сколько можно точнее разведывать о военных движениях и приготовлениях в Пруссии; чтоб каждый из них ехал особливою дорогою: чего одному узнать не удастся, то от другого не утаится; важных депеше ними не посылать, и наставление дать им изустно.

Желания сократить силы короля прусского не могли ослабить показания тобольского посадского Ивана Зубарева, который содержался по разным делам в

Сыскном приказе, бежал оттуда, жил за границею, возвратился и был схвачен у раскольников. Зубарев показал в Тайной канцелярии, что после бегства из Сысского приказа он жил у раскольников в слободе Ветке, откуда в 1755 году поехал извозчиком в Кенигсберг с товарами русских беглых купцов-раскольников. Здесь прусские офицеры, по обычаю, начали вербовать его в солдаты в гвардию, и когда он согласился, то его отвезли в Потсдам. Через посредство Манштейна, бывшего адъютантом у Миниха и по воцарении Елисаветы перешедшего в прусскую службу, Зубареву было предложено ехать к раскольникам и возмущать их в пользу Ивана Антоновича. «Послужи за отечество свое, говорил Манштейн Зубареву, – съезди в раскольничьи слободы и уговори раскольников, чтоб они сами склонились к нам и помогли вступить на престол Ивану Антоновичу; а мы по их желанию будем писать к патриарху, чтоб им посвятить епископа, у нас был их один поп, да обманул нас и уехал. А как посвятим епископа, так он от себя своих попов по всем местам, где есть раскольники, разошлет, и они сделают бунт. Ты подай только весть Ивану Антоновичу, а мы в будущем 756 году весною пошлем туда к Архангельску корабли под видом купечества, чтоб выкрасть Ивана Антоновича. А как мы его выкрадем, то чрез епископов и старцев сделаем бунт, чтоб возвесть Ивана Антоновича на престол, а Иван Антонович старую веру любит; когда сделается бунт, то и мы придем с нашим войском к русской границе. А донские козаки к нам совсем склонны, и у нас они есть, которые бывали со мною в походах, и мне они надежны. Когда будешь в Польше, заезжай в раскольничьи слободы опять и объяви тамошним наставникам, чтоб они без всякой боязни к нам были склонны». Зубарев согласился принять оба поручения – ехать к раскольникам и, согласясь с ними, ехать в Холмогоры дать знак Ивану Антоновичу, что за ним будет прислан корабль из Пруссии. Он был представлен самому Фридриху II и получил 1000 червонных и две медали, по которым принц Антон должен был ему поверить, ибо никакого письменного документа не хотели ему дать. Приехавши в раскольничьи слободы, Зубарев начал исполнять свое поручение. Игумены раскольничьих монастырей спрашивали его: «Да как же вы Ивана Антоновича посадите на царство?» «Так же посадим, как и государыня села», – отвечал Зубарев. Относительно архиерея игумены говорили: «Лучше бы, если б его величество изволил прислать сюда епископа греческого, а туда очень ехать далеко». Наконец, раскольники стали говорить ему: «Пора тебе ехать выручать Ивана Антоновича; и как вас Бог вынесет, то мы стоять готовы». Но Зубарев вместо Холмогор попал в Петербург в Тайную канцелярию. Показания его имели следствием то, что, как мы видели, Ивана Антоновича перевезли тайком из Холмогор в Шлюссельбург.

Соглашения с венским двором о прусской войне пошли не так успешно, как бы того желалось. В Вене опасались, чтоб Россия своею горячностью не подала Фридриху II повода предупредить Австрию и напасть на нее со всеми своими силами. Эстергази в донесениях своему двору изображал черными красками состояние русского войска, для командования которым нет ни одного порядочного генерала. С одной стороны, мало надеялись на успехи русского войска, боялись, что прусский король, легко отделавшись от последнего, направит все свои силы против Австрии, которая еще не вполне готова; с другой стороны, Франция решительно отказывалась помогать войском в наступательной войне Австрии против Пруссии, почему Австрия и предпочитала дожидаться нападения

Фридриха II, ибо тогда Франция по договору будет обязана помочь ей войском. 29 мая Эстергази объявил в Петербурге, что императрица-королева не может начать войны с Пруссией нынешним летом; тут же Эстергази открылся о заключении Версальского договора между Австриею и Франциею и выразил желание, чтоб Россия употребила все усилия склонить Францию смотреть спокойно на сокращение сил прусского короля. Вследствие этих сообщений в конференции 4 июня было постановлено: так как, несмотря на трудности, находимые венским двором, намерение ее величества неотменно, чтоб во время нынешней между Англиею и Франциею войны, не упуская этого удобного случая, трудиться над сокращением сил короля прусского, то объявить венскому двору следующее: откровенное сообщение оборонительного договора, заключенного между Австриею и Франциею, и внимание, с каким венский двор исключил ее величество из условия не сообщать этого договора никому до ратификаций, очень приятны императрице, тем более что это важное дело, согласное с интересами императрицы-королевы, согласно со мнениями и ее императорского величества всероссийского. Соглашение венского двора с французским призывать ее императорское величество формально к приступлению к упомянутому союзу ее величество почитает новым опытом старания венского двора не удаляться от дружбы с Россиею, почему и будет ожидать этого формального приглашения, дабы тогда на самом деле показать готовность к исполнению желаний императрицы-королевы. Ее величество согласна возобновить сношения с французским двором посредством взаимного отправления министров, но отнюдь не может согласиться сделать первый шаг, тем более что Франция отозванием своего министра первая подала повод к прекращению сношений. Ее величество согласна на то, чтоб французский и русский министры были назначены в один день. Хотя императрица признает справедливость оснований, по которым венский двор считает невозможным начать войну нынешним летом, однако по союзнической откровенности не хочет и скрыть, что после той горячности, с какою сделаны об этом деле первые сообщения, и после той серьезности, с какою ее величество вступила в виды императрицы-королевы и уже столько сделала, что занесенный на короля прусского с ее стороны удар только опустить оставалось, ей прискорбно, что успех не соответствует еще общему желанию. Несмотря, однако, на сожаление, что издержки на военные приготовления употреблены были несколько рановременно, императрица соглашается с желанием венского двора, чтоб здешние приготовления и движения не были так казисты, почему и отправлены указы остановить движение войск. Но ее императорское величество надеется, что это новое распоряжение не послужит к уменьшению оказанной до сих пор ревности относительно сокращения сил прусского короля; императрица-королева, конечно, примет в уважение, что, сколько русские интересы требуют обеспечения со стороны короля прусского, настолько же от сокращения сил его зависят благосостояние и безопасность австрийского дома; не потерять времени при этом особенно важно, ибо если теперь без предварительного согласия Франции кажется трудным атаковать короля прусского, то это будет уже совершенно невозможно, когда между Англиею и Франциею) заключен будет мир. Правда, необходимо надобно стараться склонить Францию, чтоб она спокойно смотрела на сокращение сил короля прусского, но

особенно надобно обратить внимание на то, надобно ли открывать Франции все, что здесь имеется в виду.

2 июля конференция в присутствии Елисаветы постановила дать знать Эстергази, что медленность относительно принятия мер против короля прусского беспокоит императрицу. Благодаря этой медленности он получает время привести себя в надлежащее оборонительное состояние и укрепить себя еще какими-нибудь новыми союзами. Он начал вдруг делать большие военные приготовления в такое время, когда узнал, что здешние движения остановлены; как видно, он хочет лучше предупредить, чем быть предупрежденным. Прискорбно ее величеству видеть, что дружбы ее почти со всех сторон ищут, и, однако, она принуждена оставаться в некоторой нерешительности относительно выбора. Натуральная ее величества склонность и интересы делают союз ее с императрицею-королевою неразрывным; поэтому ее величество соизволяет и на ближайшее соглашение с французским двором; только надобно признаться, что основание этого соглашения будет очень слабо, если все ограничится одною обсылкою министров и восстановлением непосредственной корреспонденции. Для этого не стоило бы уничтожать все обязательства с Англиею и лишиться довольно значительных сумм, которые следовало получить от этой державы. Правда, поведение Англии относительно короля прусского заслужило справедливое негодование ее величества; но теперь раскаяние английского двора и готовность его удовлетворить всем желаниям императрицы не могут быть отвергнуты, если французский двор с своей стороны не вознаградит этой потери совершенным покинутием короля прусского. Поэтому министерство ее величества просит господина посла постараться, чтоб императрица-королева решительным объяснением привела наконец здешний двор в состояние знать, чего держаться, а русским сухопутным и морским силам вновь даны секретные указы находиться готовыми к походу, так что в случае надобности еще нынешним годом можно предпринять что-нибудь важное.

II августа Эстергази сообщил опасения своего двора, чтоб король прусский не напал нечаянно на Богемию или Моравию. Конференция постановила отвечать ему, что русские войска до самого расположения на зимние квартиры будут готовы к походу, да и при расположении на зимние квартиры будет сделано так, чтоб значительный корпус мог собраться и предпринять что-нибудь важное. Но опасения являлись и насчет другой страны кроме Богемии и Моравии. Мы видели, что отношения русского двора к польско-саксонскому в последнее время были не очень дружественны. В конференции 26 марта были признаны необходимыми решительные меры для поддержки людей, которые называли себя членами русской партии, против партии придворной. Литовский канцлер князь Чарторыйский дал знать, что имеющийся быть в Литве трибунал или поправит дела, или кончится явным возмущением всего королевства; поэтому решили, что нельзя ожидать спокойно и равнодушно приближения времени, когда откроется трибунал, и что надобно послать воеводе русскому князю Чарторыйскому давно желанную им обнадеживательную грамоту императрицы с уверением, что ее величество не допустит никакой новизны в Польше, намерена сохранять польские права и вольности и защищать своих доброжелателей, особенно фамилию Чарторыйских. Кроме этой грамоты канцлер должен написать и к остальным членам русской партии такого же рода письма, равно как и некоторым другим

значительным лицам, не принадлежащим к русской партии; посланнику Гроссу велеть сделать польско-саксонскому двору наисильнейшие представления, чтобы он старался сократить излишне данную гетманам власть, отвращать всякие насильства, могущие быть при трибунале, и сохранять права королевства во всей их целости. Секретарю посольства Ржичевскому, заведовавшему собственно польскими делами в Варшаве, велено было уведомить канцлера Малаховского, что по его представлению скоро придется к ним другой министр, *отличная персона*, главным образом для подкрепления их партии. Для разведывания склонности поляков относительно короля прусского и о намерении их насчет престолонаследия положено отправить генерал-квартирмейстера лейтенанта Веймарна с жалованьем по 200 рублей в месяц и 1000 рублей на дорогу да отправить с ним к литовскому канцлеру 6000 червонных для нужнейших расходов к пользе высочайших интересов.

Ржичевскому велено было уведомить Малаховского о присылке «отличной персоны»: значит, Гроссом были недовольны, и это служило также признаком падения силы канцлера Бестужева. Гросса вывел и поддерживал Бестужев; Ржичевского поддерживал Воронцов. В конце 1754 года киевский митрополит Тимофей писал канцлеру, что, по мнению слуцкого архимандрита Козачинского, едва ли Ржичевский, будучи сам католик, может сделать что-нибудь в пользу православия и не лучше ли назначить на его место капитана русской службы Глинского, кальвиниста, который будет усерднее действовать в пользу православных, потому что не будет бояться католического духовенства. На это Бестужев отвечал: «Хотя я и довольно понимаю, что паписту против папистов действовать невозможно по русской пословице: ворон ворону глаза не выклюнет; но решение сего дела от меня не зависит». Здесь находится заметка канцлера: «Подлинно имело бы зависеть только от канцлера перевести секретаря из одного места в другое; но теперь канцлер о Ржичевском ниже упомянуть в коллегии смеет по великому множеству пристрастных ему патронов, коими донныне в молчании оставлен, а наименьше отправлен указ к нему, Ржичевскому, хотя против справедливости оного ничего предъявить не имели». Указ заключал в себе строгий выговор, как смел Ржичевский накидывать подозрение на Гросса за его тесную дружбу с Брюлем и Мнишком.

Гросс вследствие решения конференции повторил Брюлю, что по дружеским и благонамеренным советам императрицы королю надобно было бы восстановить прежний порядок возвращением своего доверия старым искусным министрам и патриотам и освобождением их от гетманских притеснений, а гетманов сдержать в пределах, предписанных варшавским трактатом, гарантированным Россией, ибо соблюдение этого трактата во всех пунктах есть лучший способ для сохранения тишины в Польше. Гросс заключил свою речь словами, что повторяет об этом вследствие нового приказания императрицы. «Если бы вы сто раз повторили эти представления, – отвечал Брюль, – то я все буду отвечать прежнее, что король никаких притеснений не желает, что старается повсюду держать власть гетманов в надлежащих границах, целый год не исполняет ни одной из просьб гетмана Браницкого, а при учреждении виленского трибунала то же сделал относительно литовского гетмана князя Радзивила; король готов возвратить свою милость и князьям Чарторыйским, если они переменят свое поведение; но пусть императрица сама беспристрастно рассудит, можно ли ожидать от короля, чтоб он

возвратил свое доверие людям, которые не стыдятся письменно разглашать в Польше, что принудят к тому своего государя силою русского оружия, которые беспрестанными жалобами при вашем дворе злостно стараются произвести холодность между императрицею и королем, которые не только стараются возбудить смуту в своем отечестве, но и вредят интересу самой императрицы в Польше, вселяя в народе недоверие и страх пред русским оружием и подавая повод французским сторонникам кричать, что императрица хочет самодержавно управлять Польшею, принуждая короля отставлять одних министров и брать других, каких ей угодно».

Когда донесение Гросса об этом разговоре было прочтено в конференции 24 июня, то здесь постановлено дать знать Иностранной коллегии, что так как она из реляции Гросса, конечно, усмотрела, в каких грубых и непристойных терминах отвечал ему граф Брюль, и так как подобный поступок в молчании и терпеливо не может быть перенесен, а выговоры через посланника Гросса поведут только к большему огорчению и к личной вражде между ним и Брюлем и чрез то ко вредной холодности между дворами без малейшего исправления дела, то положено дать знать секретарю саксонского посольства Прассу, как этот поступок был неожидан и впредь еще меньше ожидается, почему и оставляется без надлежащего ответа для избежания наималейшего повода к холодности, столь же вредной обоим дворам, сколько дружба между ними естественна и полезна.

Ссориться действительно было не время. Мы видели, что Фридрих II, заключая союз с Англиею, надеялся не только предохранить себя от нападения со стороны России, но и войти с нею опять в дружественные сношения. Он говорил английскому посланнику Митчелю: «Я хочу выполнить свои обязательства относительно вашего государя, и в случае если покой в Германской империи будет нарушен вследствие союза между Франциею и Австриею, то я буду действовать против этих держав сообща с английским королем. Но уверены ли вы в русских?» «Король, мой государь, думает, что можно быть уверену на их счет», – отвечал Митчель. Потом, поговоря несколько времени о другом, король опять спросил: «Совершенно ли вы уверены в русских?» Получивши ответ утвердительный, хотя и не без некоторой сдержанности, Фридрих стал считать силы, какие могли выставить воюющие стороны. «У меня, – говорил он, – 100000 войска, да если прибавить сюда еще 30000 русских?» Русские войска могут сесть на суда в лифляндских и курляндских гаванях и выйти на берег в Ростоке. Из повторения вопроса насчет России Митчель догадался, что Фридрих получил из Петербурга не столь благоприятные известия, чем те, которыми убаюкивал свое правительство Уильямс. Вот почему Митчель и решился отвечать с некоторою сдержанностью. В мае месяце Фридрих высказал Митчелю новые сомнения относительно колеблющейся политики русского двора. «Если, – говорил он, – на Германию нападут чужие войска, то я выполню свои обязательства относительно Англии и облегчу высадку 30000 русского войска в Ростоке или Штетине. Но, признаюсь, мне будет очень неприятно видеть чужое войско в Германской империи, и я надеюсь, что русские не придут, если в них не будет настоящей нужды. Впрочем, они могут тогда служить залогом верности России и препятствовать, чтоб это государство не приняло сторону наших врагов». В июне Фридрих получил известие из Гаги, что Россия отказывается от своих обязательств с Англиею; по этому случаю он писал: «Все это дело зависит от двух

условий: если английскому королю удастся удержать при себе Россию, Германия останется спокойною и нам нечего будет бояться. В противном случае надобно обратиться к туркам и сыпать между ними деньги, чтоб они сделали отвлечение. Я думаю, что нельзя терять времени, и если не принять заблаговременно своих мер в Константинополе на случай, если нам не удастся в Петербурге, то всякие меры уже опоздают». В половине июля Фридрих высказал Митчелю убеждение, что Россия совершенно для них потеряна, ибо Австрия готовится к войне в Богемии и Моравии; о намерениях своего двора проговорились также некоторые австрийские министры и генералы. «Для меня, – говорил Фридрих, – нет другого спасения, как предупредить врага; если мое нападение будет удачно, то этот страшный заговор исчезнет как дым; как скоро главная участница так будет снесена, что не будет в состоянии вести войну в будущем году, то вся тяжесть падет на союзников, которые, конечно, не согласятся нести ее». Король стал сообщать пред Митчелем все известия, им полученные, и по его выходило, что Австрия хочет напасть на него. Митчель, не могши поколебать этого убеждения, предложил, что прежде принятия решительных мер он может потребовать объяснения, действительно ли Австрия хочет напасть на него. Сначала Фридриху очень не понравилось это предложение. «Из этого ничего не выйдет хорошего, – отвечал он, – я получу только оскорбительный ответ». «Чем высокомернее будет ответ, тем лучше, – возражал Митчель, – вы на нем не успокоитесь, только Европа должна будет убедиться в мирных расположениях с вашей стороны и враждебных со стороны австрийской». «Нет, – с горячностью говорил король, – это не поможет, а только испортит дело. Вы не знаете этих людей: они еще больше загордятся, а я им не уступлю». Так было говорено в полдень; а вечером Фридрих сказал Митчелю: «Я подумал о вашем совете и последую ему. Но объявляю вам заранее, что я не ожидаю ничего хорошего и, клянусь Богом, не уступлю этим людям».

Прусский посланник в Вене испросил аудиенцию у Марии-Терезии и от имени своего короля предложил вопрос: движение войск в Богемии и Моравии делается с целью напасть на Пруссию или нет? Мария-Терезия отвечала: «Сомнительное положение европейских дел заставило меня принять меры для собственной безопасности и для защиты союзников; но эти меры не клонятся ни к чьему вреду. Так и скажите королю, вашему государю». Но Фридрих этим не удовольствовался, его посланник попросил другой аудиенции для получения более определенных объяснений; ибо не владениям императрицы или ее союзников, но владениям прусского короля грозит нападение. Король наверное знает, что императрица в начале этого года заключила наступательный союз с Россией: положено с 200000 войска внезапно напасть на Пруссию; исполнение договора отсрочено до будущего года, потому что у русского войска недостает рекрут, у флота – матросов и для их прокормления нет хлеба в Финляндии. Императорский двор отложил войну до весны будущего года, и так как король получает отовсюду известия о сборе австрийских войск, то он считает себя вправе требовать от императрицы формального и категорического объявления, что она не имеет намерения напасть на него ни в этом году, ни в будущем, будет ли это заверение письменное или изустное, сделанное в присутствии посланников французского и английского, для короля все равно. Надобно знать, в войне мы или в мире; если намерения императрицы чисты, то теперь самый удобный случай объявить их; но

если королю дадут ответ на языке оракула, ответ нерешительный, из которого нельзя будет ничего заключить, то на императрицу падет ответственность за последствия.

У прусского посланника требовали этого запроса на письме и письменно отвечали: «Уже давно король прусский занимается военными приготовлениями в широких размерах, как вдруг ему показалось нужным потребовать у императрицы объяснения военных приготовлений, которые начались в ее владениях только вследствие прусских приготовлений. Привыкши сохранять уважение, которым государи обязаны друг к другу, с изумлением узнала она содержание записки, поданной прусским посланником. По содержанию и по форме она такова, что императрица была бы принуждена перейти границы умеренности, если бы стала отвечать на все, в ней содержащееся. Но она объявляет одно: что известия о наступательном союзе между нею и Россией и условия этого союза ложны, выдуманы, что такого договора против Пруссии не существует и не существовало прежде».

Из сличения всех этих известий с ходом переговоров между Россией и Австриею, как он представляется по нашим источникам, ясно видно, что Фридрих II имел ложные понятия об отношениях между двумя императорскими дворами; эти отношения представлялись ему в превратном виде; ему казалось, что Австрия побуждает Россию к скорейшему началу войны, а Россия оттягивала войну до будущего года вследствие дурного состояния своей армии и флота, тогда как мы знаем, что дело было наоборот. Мы знаем, что у Фридриха были шпионы в Берлине и Дрездене, ибо он сам на них указывает; но мы видим, что эти шпионы сообщали ему неверные известия, а потому нет никакого основания предполагать, что он получал эти неверные известия из Петербурга прямо или посредственно: прямо от великого князя Петра Федоровича или чрез посредство канцлера Бестужева, который будто бы открыл все тайны саксонскому поверенному в делах Функу, тот донес своему двору, а дрезденский шпион донес Фридриху II.

Как бы то ни было, Фридрих в своей тревоге за Силезию нашел, что ответ Марии-Терезии неудовлетворителен, и решился начать войну. «Было вероятно, – говорит он сам, – что в этом году враги Пруссии не начнут войны, ибо петербургский двор хотел отложить ее до следующего года, и было очевидно, что императрица-королева будет дожидаться, пока все ее союзники приготовятся напасть на прусского короля соединенными силами. Эти соображения повели к вопросу: что выгоднее – предупредить неприятеля, напавши на него сейчас же, или дожидаться, пока он кончит свои великие сборы. Как бы ни решен был этот вопрос, война была одинаково верна и неизбежна; итак, надобно было рассчитать – выгоднее ли отложить ее на несколько месяцев или начать сейчас же. Король польский был одним из самых ревностных членов союза, который императрица-королева образовала против Пруссии. Саксонское войско было слабо, в нем считалось около 18000 человек; но было известно (?), что в продолжение зимы это войско должно было увеличиться и что хотели довести его до 40000 человек. Что касается страшного названия зачинщика войны, то это пустое страшило, пугающее только робкие умы. Не следовало обращать на него никакого внимания в таких важных обстоятельствах, когда дело шло о спасении отечества, о поддержании Бранденбургского дома. Задерживаться пустыми формальностями в таком важном случае было бы в политике непростительной

ошибкой. При обычном течении дел не надобно удаляться от этих формальностей, но нельзя подчиняться им в случаях чрезвычайных, где нерешительность и медленность могли все погубить и где можно было спастись только быстротою и силой».

Из этих слов понятно, почему в Петербурге называли Фридриха *скоропостижным* государем и считали самым опасным соседом, силы которого необходимо сократить.

Для нападения на Австрию Фридрих составил две армии: одна под начальством фельдмаршала Шверина должна была идти в Богемию к Кёнигсгрецу; другая должна была под начальством самого короля вступить в Саксонию, обезоружить тамошние войска, если застанет их рассеянными по квартирам, или разбить их, если найдет в сборе, чтобы при движении в Богемию не иметь в тылу неприятеля.

В конце июня австрийский министр в Дрездене граф Штернберг получил от австрийского же министра в Берлине известия о чрезвычайных военных приготовлениях прусского короля. О том же самом писал саксонский министр в Берлине к графу Брюлю. Брюль, сообщая эти известия Гроссу, сказал, что прусские приготовления, с одной стороны, проистекают из страха перед движением русских войск и перед договором, заключенным в Версале между Австриею и Франциею; но с другой стороны, может статься, что Фридрих II захочет предупредить нападения и первый нападет на австрийские владения, именно на Богемию и Моравию. Если по примеру 1744 года он захочет вторгнуться в них чрез Саксонию, то саксонское правительство хотя по слабости своей армии и не может воспрепятствовать проходу пруссаков, однако в исполнение обязательств своих с императрицею-королевою соберет войско и станет ожидать удобного и безопасного случая, причем желает знать, какое решение примет русский двор, ибо польский король во всем намерен подражать России.

В конференции 8 июля положено было приказать Гроссу отвечать Брюлю, что русские войска собраны в Лифляндии для немедленного подания помощи верным союзникам и особенно для удержания короля прусского, как государя очень предприимчивого и *скоропостижного*, от нечаянного на них нападения, причем области его польского величества включаются в это великодушное намерение. Гросс должен прибавить, что всякий другой государь при таких обстоятельствах оставил бы в покое соседей и был бы рад, что его самого в покое оставили; но не таков король прусский: если он действительно уверился, что императрица-королева хочет сделать на него нападение, то, хотя бы он подлинно знал, что мы ей помогать будем или не будем, в обоих случаях интерес его требует долго в страхе не оставаться, но каким-нибудь сильным и внезапным ударом привести венский двор в расстройство и бессилие. Положение дрезденского двора при таких обстоятельствах чрезвычайно критическое: самая меньшая опасность ему от насильственного прохода прусских войск чрез Саксонию, потом возвращения в случае неудачи, влекущего погоню неприятельских войск, вследствие чего Саксония делается театром войны; и так как Саксония одним своим средством не может препятствовать проходу прусских войск, то от польского короля зависит предупредить разорение своих владений, взявши в Саксонию от 30 до 35000 русского войска, причем он должен довольствоваться их

только квартирами, а провиантом и фуражом наполовину, за остальную же половину получит деньги.

И тут поведение австрийского двора произвело сильное раздражение при петербургском: Эстергази уклонился от переговоров о введении русского войска в Саксонию. Потом Эстергази старался оправдать поведение своего двора тем, что благодаря его умеренности и осторожности Франция приведена в необходимость подать ему помощь по Версальскому договору, а король прусский лишается всякого предлога требовать помощи от кого бы то ни было, будучи неоспоримо зачинщиком смуты. В конференции 28 августа решено было объявить Эстергази: императрица не может вспомнить без сожаления о чрезмерной умеренности относительно прусского короля как такого государя, который сам ее ни в чем не имеет; благодаря этой достойной сожаления умеренности Австрия требовала, чтобы Россия не делала приметного вооружения и движения войск, и посол австрийский отказался от переговоров о введении русского войска в Саксонию. Если бы императрица в том и другом случае не была удержана желанием поступать во всем единодушно с императрицею-королевою, то король прусский не решился бы на такие нестерпимые угрозы, какие он теперь себе позволил. Австрия не опасалась бы его нападения, и по меньшей мере русская многочисленная армия была бы готова следовать за ним по пятам; Саксония не была бы в такой заботе, как теперь, по меньшей мере знала бы, чего держаться, и знали бы оба императорские двора, чего от нее надобно ожидать. Императрица с сожалением видит, что теперь дело уже в том состоит, чтоб опасность, грозящую ее дражайшей союзнице, только уменьшить, потому что король прусский, будучи в совершенной готовности, воспользуется удобным временем, когда наступающая осень воспрепятствует походу русских и французских войск. Для уменьшения этой опасности вновь посланы указы войскам быть готовыми к походу, и, несмотря на позднее годовое время, значительная часть их придвинется к прусским границам и часть флота выйдет в море для наблюдения за прусскими берегами и для содержания с этой стороны прусского короля в некоторой тревоге.

Мнения конференции оправдались. 2 сентября в ней читалось донесение Гросса от 18 августа, что прусский посланник в Дрездене Мальцан, выпросивши аудиенцию у короля Августа, объявил, что его король видит себя вынужденным поступками Марии-Терезии напасть на нее в Богемии, куда войско его направится через Саксонию; для этого велено ему, Мальцану, требовать свободного прохода для прусского войска с таким изъяснением, что будет соблюдена добрая дисциплина и, сколько обстоятельства позволят, Саксония будет пощажена, король и его фамилия могут обещать себе всякую безопасность, причем, однако, не следует удивляться, если его прусское величество, помня события 1744 года, примет свои меры, чтоб они не повторились. Август III отвечал, что на такое неожиданное предложение он не может ничего объявить без совещания. Вслед за этим донесением Гросса пришло другое – от 19 августа, что прусское войско уже в Саксонии, захватывает замки, арсеналы, магазины, обезоруживает городских солдат, платит за все вместо наличных денег одними квитанциями, не позволяет саксонцам вносить подати в казну курфюрста. Король Август удалился к войску; расположенному между Пирною и Кенигштейном, и твердо намерен все претерпеть и только заботиться о сохранении своего войска.

По получении этих известий 13 сентября конференция постановила ободрить короля Августа и отвратить замешательство в Польше, для этого двинуть армию, которая должна подать помощь союзникам, и в то же время поддержать спокойствие в Польше; а между тем Гросс должен уверить саксонский двор в возможно скорой по годовому времени помощи и объявить, что императрица велела выдать королю Августу из своей казны 100000 рублей. Самому Гроссу положено переслать 10000 рублей на чрезвычайные издержки. Находящимся в Польше Веймарну и секретарю посольства Ржичевскому предписать внушать полякам, что они, согласно попечениям императрицы о Польше, должны пресечь все несогласия между фамилиями и не руководиться частными интересами, когда идет дело о благосостоянии отечества, которое подвергается опасности больше, чем когда-либо. Король прусский хотя, по-видимому, в походе своем и удаляется от Польши, но это только для того, чтоб тем надежней нанести ей удар. Государь, который не задумался без всякой причины против всенародных прав, против собственных обещаний отнять Саксонию у природного государя, легко покусится и лишить его короны. Кто знает, не в этом ли бесчеловечном намерении решился он на все варварства, чтоб жизнь короля Августа прекратилась от несносной печали. Политика его этого требует, а поведение его всего опасаться заставляет. Очень легко может быть, что он замышляет завести в Польше конфедерацию, Польшу против Польши поставить и занять Россию ее успокоением: иначе как бы он решился идти в Саксонию, оставляя границы свои открытыми с русской стороны? Если, к общему сожалению, король Август преставится, императрица главным образом будет заботиться о том, чтоб республика не встретила ниоткуда препятствия в свободном выборе нового короля. При этом Веймарн и Ржичевский должны только слегка, и то надежным приятелям, рекомендовать наследного принца саксонского, чтоб рановременно и напрасно не подать повода к представлению многих других кандидатов.

Движение русского войска не могло принести пользы польскому королю. Войско его принуждено было сдаться пруссакам; Дрезден был занят ими, и Август III покинул свое наследственное владение и уехал в Варшаву.

В такой беде наследная принцесса саксонская обратилась к Елисавете с просьбою купить несколько ее бриллиантовых вещей. Императрица, как сказано в ее указе Иностранной коллегии, «так чувствительно это приняла», что приказала доставить принцессе 20000 рублей в знак дружбы и истинного участия в их жалостном положении.

По приезде в Варшаву король объявил Гроссу, что после Бога он всю свою надежду полагает на скорую помощь императрицы. Брюль уверял, что король не сделает ни одного шага без согласия и присоветования императрицы, что будет объявлено чрез его посла, отправляемого в Петербург; на этот пост король избрал стольника литовского графа Понятовского как человека, который, будучи прежде в Петербурге в свите английского посла Уильямса, умел заслужить благоволение императрицы; выбор этот сделан «для того, чтоб доказать возвращение королевского благоволения к князьям Чарторыйским, потому что Понятовский их племянник». В самом деле, доносил Гросс, не только сам король очень милостиво и ласково принимает князей Чарторыйских и друзей их, но и графы Брюль и Мнишек внешним образом обходятся с ними чрезвычайно дружески.

Против посылки Понятовского в Петербург вооружился французский министр в Варшаве Дюран на том основании, что фамилия стольника враждебна Франции и сам Понятовский находится в дружбе с английским послом Уильямсом, что может вредить восстановленному согласию между Россией и Францией. На донесение об этом сопротивлении Дюрана Гросс получил удививший его рескрипт императрицы: «Так как присылка Понятовского и с нашим желанием несходна и допускается единственно потому, что не может быть отвращена с благопристойностью, то Гросс должен показывать себя в этом деле совершенно равнодушным и дать знать Дюрану, что императорский двор также совершенно равнодушен и не отказывается принять Понятовского только потому, что не хочет опечалить короля, тогда как дело, собственно, не имеет никакой важности».

Самым важным вопросом в Польше по отношению к русским интересам был теперь вопрос о свободном проходе русских войск через владения республики. В конце ноября Гросс объявил королю, что императрица ему непременно поможет, и сильно поможет, хотя, быть может, и не так скоро, от него же желает одного, чтоб его величество старался примирить польские партии, принуждая каждого к исполнению своей должности, и чтоб проход русских войск не встретил препятствий. Король отвечал, что очень трудно привести столько голов к единомыслию, впрочем, не видит, чтоб кто-нибудь имел намерение препятствовать проходу русских войск. Гросс заметил, что если сам король серьезно предложит борющимся партиям о примирении, то это произведет сильное действие. Король отвечал, что сделает все возможное.

Графу Брюлю Гросс открыл в высшем секрете настоящий взгляд своего двора на назначение Понятовского послом в Петербург. Брюль отвечал, что король никогда бы его не выбрал, если б не полагал, что он будет приятнее всех других императрице; что теперь, когда уже Понятовский отправил свой багаж, когда уже ему вручены инструкции и кредитив, когда уже он простился с королем, отменить дела нельзя. Впрочем, король прежде всего взял с Понятовского обещание, что он, несмотря на свою прежнюю дружбу с английским послом, будет прямо против него действовать и никакого подозрения на себя не навлечет; если же он своим поведением окажется неугодным императрице, то король немедленно его отзовет. Потом зашла речь о дядюшках Понятовского князьях Чарторыйских. Брюль говорил: «Императрица советует королю содержать всех вельмож равно, не оказывать ни одному предпочтения; король и сам считает это основным правилом своего поведения; но когда я стану говорить об этом равенстве с князьями Чарторыйскими, то они отвечают, что тот, кто хочет иметь всех приятелями, ни одного приятеля не имеет; они хотят властвовать одни, но, этим они, разумеется, уничтожили бы власть королевскую». Гросс писал: «Я не мог возражать Брюлю, потому что недавно на конференции у кастеляна краковского, когда я стал говорить о необходимости равенства в республике, то князья Чарторыйские горячо против этого спорили, утверждая, что равенство подаст только повод к мятежам».

Чтоб понять эти объяснения относительно Понятовского, надобно перенестись к петербургскому двору, который во все это время находился в чрезвычайном волнении. Волнение это происходило не вследствие нападения Фридриха II на союзные с Россией государства Саксонию и Австрию,

требовавшие вспоможения по договорам оборонительного союза; прусской войны давно ожидали и давно желали случая сократить силы опасного соседа, этого *скоропостижного* короля. Случись это нападение Фридриха при прежних отношениях, то канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин не преминул бы в длинной записке напомнить императрице о своей прозорливости, как он с самого начала указывал на прусского короля как на самого опасного врага, как с самого начала требовал против него мер предосторожности. Но теперь канцлер не подавал больше длинных записок, с тех пор как в длинной записке, написанной в самом резком тоне, какого прежде он себе не позволял, он требовал немедленной ратификации субсидного договора с Англиею, направленной против прусского короля. Англия тайком от России заключила союз с этим прусским королем, Австрия, наоборот, сблизилась с Франциею и предлагала России сделать то же самое. Последовательность требовала принять предложение; но чего же стоила Бестужеву эта последовательность? Сколько трудов употребил он на то, чтобы выжить из Петербурга представителей Франции и Пруссии, главным делом которых было ведение интриг против него, канцлера, в союзе с его врагами! Как было хорошо, покойно в последнее время, когда канцлер имел преимущественно дело с представителями дружественных держав, действовавшими с ним заодно, видевшими в нем свою опору, когда канцлер не опасался ничего со стороны министров Англии, Австрии, Саксонии, когда не нужно было более перлюстраций! А теперь опять явится в Петербург французский посол, и тогдашние французские дипломаты имели славу самых искусных интриганов; и этот французский посол явится с враждою к канцлеру, с приязнию к его врагам; Воронцов – старый приятель Франции, Шуваловы сильно стоят за сближение с Франциею, и, что всего хуже, и Воронцов, и Шуваловы вполне последовательны, действуют во имя здравого смысла: если действовать против прусского короля, то надобно считать друзьями его врагов и врагами его друзей. Бестужеву остается одно – внушать, что не надобно спешить разрывом с Англиею, что она может одуматься, раскаяться в союзе с Фридрихом, да и во всяком случае открытая вражда с Англиею вредна для русских интересов; и Петр Великий, враждуя с английским королем, объявлял, что находится в мире с английским народом. Это внушение могло иметь силу; но трудно было убедить в ненужности возобновления сношений с Франциею, когда от сближения с нею зависел успех конвенции против Фридриха, когда главный союзник, венский двор, настаивал на это, и Бестужев, действуя против сближения с Франциею, вооружал против себя австрийского посла, который необходимо становился на сторону его врагов, и канцлер оставался одинок. Но пусть приедет французский посол; еще можно было бы как-нибудь помириться с обстоятельствами и в случае нужды побороться с каким-нибудь новым Шетарди, если бы обстоятельства были прежние; а то предстоит страшный переворот, при котором можно легко погибнуть, а для спасения нужно выдержать сильную борьбу, и в этой борьбе надобно меряться с новым опасным врагом – французским посланником. Еще осенью 1755 года иностранные министры при петербургском дворе стали извещать своих государей о дурном состоянии здоровья императрицы Елисаветы: она харкала кровью, задыхалась, постоянно кашляла, у ней пухли ноги. В 1756 году здоровье Елисаветы нисколько не поправлялось; начали ждать печальной развязки; но что же будет в случае такой развязки?.. Наследник престола есть – великий князь Петр

Федорович; его права бесспорны и по происхождению, и по назначению царствующей императрицы согласно уставу Петра Великого. Но ходили слухи, что императрица очень недовольна своим племянником и что думает переменить назначение: объявить наследником престола малолетнего великого князя Павла Петровича.

Петр Федорович был сын одного из мелких владельцев Германии, герцога голштинского; но по матери он был родной внук Петра Великого, а по бабке – двоюродный внук Карла XII, был поэтому наследником двух престолов – русского и шведского. Столько прав, столько наследства, не материального только, но и духовного, столько славы легло тяжким бременем на существо, слабое физически и духовно, человека, остановившегося рано в своем развитии, оставшегося ребенком, когда детский возраст давно уже минул. К слабости физической и духовной присоединилось раннее сиротство и воспитание самое беспорядочное под руководством человека, совершенно неспособного. Мы видели, как воспитывали Петра в Киле. Если природа не вложила в ребенка охоты к приобретению познаний, то люди сделали все, чтоб внушить ему отвращение к учению. Неспособный учитель внушил маленькому Петру такое отвращение к латинскому языку, что после, когда уже Петр был императором, он запретил библиотекарю помещать хотя одну латинскую книгу в библиотеке, устраиваемой внизу нового Зимнего дворца. Когда при императрице Анне надежда быть русским императором, казалось, совершенно исчезла для Петра, ребенка начали учить шведскому языку и лютеранскому катехизису. Благодаря своему голштинскому воспитанию Петр по приезде в Россию удивил императрицу Елисавету совершенным невежеством, а Елисавета сама не могла экзаменовывать очень взыскательно. Надобно было пополнить пробелы, и пополнить как можно скорее, и эта трудная обязанность была возложена на академика Штелина. Мы не станем упрекать выбиравших нового наставника за неудачный выбор, ибо не имеем для этого упрека никаких оснований. Штелин делал все, что мог, увидавши, с какою природою имеет дело. Все сколько-нибудь отвлеченное, все требовавшее соображения, некоторого напряжения мысли и живого представления связных явлений – все это было недоступно и возбуждало отвращение; доступно было только наглядное, редкое, отдельное, и Штелин употребляет наглядный способ для успеха своего преподавания; он приносил в класс книги с картинками; приносил старинные русские монеты и по ним рассказывал древнюю русскую историю, приносил медали Петра Великого и по ним рассказывал его историю; два раза в неделю Штелин читал Петру газеты и при этом проходил всеобщую историю, *амюзируя* ландкартами и глобусом; потом история соседних государств была *трактована прагматически*, текущие государственные дела изложены по бумагам, сообщенным канцлером. Память у Петра была отличная, он пересчитывал по пальцам всех русских владетелей от Рюрика до Петра Великого; но этим все и ограничивалось: несмотря на наглядность преподавания и *амюзирование*, Петр неохотно занимался историею, моралью, статистикою; охотнее занимался он тем, что было осязательнее, – фортификациею, основаниями артиллерии. Изучение шведского языка заменено изучением русского, лютеранский катехизис заменен православным: и русский язык, и катехизис преподавал 4 раза в неделю иеромонах Теодорский или Тодорский. Но столько же раз в неделю учили и танцам. Вследствие неспособности гофмаршала Брюммера

вести дело воспитания среди пустых забав едва можно было спасти назначенные для занятий часы. Брюммер и в России продолжал обращаться с своим воспитанником как нельзя хуже: презрительно, деспотически, бранил неприличными словами, то выходил из себя, то низко ласкался. Однажды он до того забылся, что подбежал с кулаками к Петру, едва Штелин успел броситься между ними; Петр вскочил на окно и хотел позвать часового на помощь; Штелин удержал его, представив, какие будут следствия. Тогда Петр побежал в спальню, выхватил шпагу и сказал Брюммеру: «Если ты еще раз посмеешь броситься на меня, то я проколю тебя шпагою». Защищаясь против несправедливых и преувеличенных упреков Брюммера, Петр привыкал к спору и к сильным выходкам, от которых худел. Таким образом, дурное воспитание действовало разрушительно на здоровье Петра, и без того слабое. Кроме того, Петр по приезде своем в Россию в продолжение трех лет выдержал три сильные болезни; наконец, Петра женили рано, несмотря на отсоветования медиков, требовавших, чтоб по крайней мере подождали еще год. С женитьбою прекратились учебные занятия, от которых скоро осталось очень мало следов. Петр обнаруживал все признаки остановившегося духовного развития, являлся взрослым ребенком. Детскость высказывалась в страсти к мелочам, к игрушкам, от дела серьезного бралась одна внешняя сторона, сама по себе вовсе не серьезная; дело обширное было не по нем, он стремился дать ему маленькие размеры, низвести до детской игрушки; всякий серьезный вопрос, требование подумать были ему тяжки и неприятны, он подчинялся первому чувственному побуждению, подчинялся первой чужой мысли, но эти увлечения, необдуманности, как обыкновенно бывает в детях, уживались с капризами и упрямством, которое не имело ничего общего с мужескою твердостью; детская говорливость и крикливость были ясными признаками остановившегося развития. От такого человека нельзя было требовать, чтобы он понял свое положение, понял, что наследник русского престола должен быть прежде всего русским человеком, приладиться к народу и стране, где ему суждено царствовать. Чтоб найтись в новой сфере, более широкой, определить свой образ действий согласно с новым положением, более высшим, дорости до этого положения, требовалась большая сила, большая способность к развитию, какой именно и не было у Петра. Он сросся с узенькою обстановкой мелкого немецкого владельца, она пришлась ему по природе, и тяжело, тоскливо было ему в другой, более широкой сфере, куда перенесла его судьба. Здесь дело идет не о любви к родине, к своему, но о косности, мелкости природы, которые не позволяют отрешиться от известных привычек и взглядов. Та же косность и мелкость природы, которые не позволили сыну Петра Великого царевичу Алексею сделаться достойным наследником Российской империи, царевичем новой России, заставляли его упираться против новой деятельности и оставаться русским царевичем XVII века, – та же косность и мелкость природы заставили внука Петра Великого остаться голштинским герцогом на императорском русском престоле, со всеми привычками и взглядами мелкого германского князька, со страстью экзерцировать свою маленькую гвардию и в ее кругу упитываться симпатиями и антипатиями, совершенно чуждыми настоящему его положению.

Очень рано иностранные министры при русском дворе начинают пересылать своим государям печальные известия о характере и поведении великого князя. Дальон писал в марте 1746 года, что Петр делает всем неприятности, не исключая

и жены, у которой разум превосходит лета; он склонен к вину, водится с людьми пустыми, и главная забава его – кукольный театр. В августе 1747 года Финкенштейн доносил своему королю: «Надобно полагать, что великий князь никогда не будет царствовать в России; не говоря уже о слабом здоровье, которое угрожает ему рановременною смертию, он так ненавидим русскими, что должен лишиться короны, если б она и досталась ему по смерти императрицы. И надобно признаться, что поведение его вовсе не способно привлечь сердца народа. Непонятно, как принц его лет может вести себя так ребячески. Некоторые думают, что он притворяется, но в таком случае он был бы мудрее Брута и своей тетки. К несчастью, он действует без всякого притворства. Великая княгиня ведет себя совершенно иначе».

По удалении Брюммера место его при великом князе занял князь Василий Репнин, а после него – Чоглоков; последнему дана была такая инструкция, написанная канцлером Бестужевым: «Определяем, дабы вы вместо нас и именем нашим неотступно при его импер. высочестве были и ему делом и советом во всех случаях (кроме голштинских дел) помогали, особливо следующие пункты исполняли: 1) дабы его импер. высочество Бога и святые Его заповеди всегда в памяти своей имел и предания православной греческой веры крепчайше наблюдал, наружно же оные внутренние мнения оказывал, явной Божией службе в прямое время с усердием и надлежащим благоговением, гнушаясь всякого небрежения, холодности и индифферентности (чем все в церкви находящиеся явно озлоблены бывают), присутствовал, членам Св. Синода и всему духовенству надлежащее почтение отдавал, особливо же своего духовника самого к себе допускал и наставления его в духовных вещах охотно и со вниманием выслушивал. 2) Чтоб его импер. высочество свое дражайшее здравие сохранял, лейб-медиков почасту к себе допускал, о состоянии здоровья своего обстоятельно уведомлял и на вопросы их прямую отповедь давал. 3) Чтоб между их импер. высочествами ни малейшее несогласие не происходило, наименьше же допускать, чтоб какое преогорчение вкоренилось или же бы в присутствии дежурных кавалеров, дам и служителей, кольми меньше же при каких посторонних что-либо запальчивое, грубое или непристойное словом или делом случилось. 4) Нашим именем и представляя ему собственное его благополучие и честь, склонять, дабы наиглавнейше утренние часы до полудня потребными и к персональной его пользе клонящимися упражнениями препровождены были; вам же всемерно препятствовать надлежит чтению романов, игранию на инструментах, егерями и солдатами или какими игрушками и всякие шутки с пажам, лакеями или иными негодными и к наставлению неспособными людьми. Распределение занятий: в понедельник и пятницу с своими голштинскими министрами совет держал и дела своего герцогства управлял; во вторник и четверг надворным советником Штелином новейшее из газет состояние и сопряжение нынешних дел в Европе, трактаты, интересы и государственные правила разных держав себе представлять велел, исканием же в ландкартах географии и знание земель и коммерции народов и все, чему его высочество в физике, политике и математике обучился или же начало учинил, при случаях повторял и далее наукою в том продолжал. Пред полуднем в среду и субботу можно специальное географией и новейшею историей о России чтением жития Петра Великого и генерально точнейшим опознанием империи учреждений и уставов оной упражняться, причем

неминуемо потребно, дабы его импер. высочество ежедневно или хотя токмо в среду и субботу в чтении печатных и разными руками писанных дел на российском языке себя сильнее чинил, к чему российские ведомости, уложение и указы, всякие письменные репорты и челобитные служить могут. При всем же сем его импер. высочество в здравую и приятную погоду иногда поутру в манеж ходить или же на часок верхом выехать может, когда б токмо одеванием целые часы не проходили и, следовательно, таких притом забав сам себя лишить не хотел. Также может его импер. высочество в среду и воскресенье до божией службы, хотя на самое малое время пред полуднем, нашим гражданским и военным служителям и иным знатым персонам аудиенции давать, дабы его высочество тем более знание людей и любовь нации себе приобрести мог. 5) Но яко ни за кем более не присматривают, как за высокими главами, и с наружных их оказательств наибольшая часть людей доброе или худое, почтительное или презрительное мнение себе сочиняют, то его высочество публично всегда серьезным, почтительным и приятным казался б, при веселом же нраве непрестанно с пристойною благоразумностию поступал, не являя ничего смешного, притворного и подлого в словах и минах; всякого по достоинству его принимал, природным (т.е. русским) любовь и милость, а чужим учтивство и приветливость оказывал, более слушал, нежели говорил, более спрашивал, нежели рассказывал, из разговоров каждого по науке или ремеслу пользу получал, и тако с мореплавателем не о рудокопных делах и с рудокопным мастером не о мореплавании разговаривал; уверенность свою предосторожно и не ко всякому употреблял, а молчаливость за нужнейшее искусство великих государей поставлял; за столом разумными разговорами себя увеселял; от шалостей над служащими при столе, а именно от залития платей и лиц и подобных неистовых издевок над бедными служителями, вам его воздерживать надлежит. 6) Для соблюдения должного себе респекта всякой пагубной фамильярности с комнатными и иными подлыми служителями воздерживаться имеет, и мы вам повелеваем их в пристойных пределах содержать, никому из них не позволять с докладами, до службы их не касающимися, и иными внушениями или наущениями к его высочеству подходить и им всякую фамильярность, податливость в непристойных требованиях, притаскивание всяких непристойных вещей, а именно: палаток, ружей, барабанов и мундиров и прочее – накрепко и под опасением наказания запретить, яко же мы едва понять можем, что некоторые из оных продерзость возымели так названный полк в покоях его высочества учредить и себя самих командующими офицерами над государем своим, кому они служат, сделать, особливые мундиры с офицерскими знаками носить и многие иные непристойности делать, чем его высочества чести крайнее предосуждение чинится, военное искусство в шутки превращается, а его высочеству от толь неискусных людей противные и ложные мнения об оном вселяются; по требованию же его высочества всегда для существительной его пользы такое распоряжение учинено быть может, что все военные экзерциции и то, в чем прямая служба состоит, нашими офицерами покажется. 7) Мы не хотим препятствовать, чтоб его высочество пополудни до ужина всеми невинными веселениями и забавами не пользовался, токмо чтоб всякая чрезмерность в забавах и в употреблении людей избегаема была».

Эта инструкция была написана уже тогда, когда до императрицы дошли слухи о продерзостях, какие она едва понять могла. Чоглоков и жена его были и определены к молодому двору для пресечения этих продерзостей. Продерзостные комнатные служители были удалены; из них особенным расположением великого князя и великой княгини пользовались трое братьев Чернышевых (двое родных и один двоюродный); в жалобах на фамилиарность служителей императрица, как видно, намекает на старшего из Чернышевых, Андрея, который великую княгиню называл не иначе как «матушка», а та его называла «сынком». Чернышевы очутились офицерами в очень далеких гарнизонах. Двое, Алексей и Петр, служили в Кизляре и говаривали там: «Были они у его высочества при дворе в великой милости, а великий князь называл их фаворитами и приятелями, а великая княгиня так жаловала, что скрытно их дарила, из ее подарков и до сих пор у них часы и шпага; о их несчастьи она очень плакала. Хотя они, Чернышевы, теперь и малы, а другие велики, но этим великим будут головы отрублены, а они, Чернышевы, будут знатны и высоки. Всех распыряли, кого жаловал его высочество, не одних нас». Начальные люди в Кизляре обходились с Чернышевыми ласково, в чаянии будущего; на жалобы их говорили: «Царь новый, и люди новые; вы тогда будете спесивы и на нас глядеть не станете, как ваше время придет».

«Продерзостные» были удалены от молодого двора; Чоглоковы, муж и жена, старались, чтоб не явилось новых продерзостных; но характер и привычка великого князя от этого несколько не изменились. Чоглоковы не могли исполнить и той статьи наказа, в которой предписывалось наблюдать, чтоб великий князь жил в ладах с своею супругой. Жена представляла совершенную противоположность мужу. Муж остановился в своем развитии, являлся ребенком в зрелом возрасте; жена представляла необыкновенно быстрое развитие, обнаруживала зрелость ума не по летам; предоставленная очень рано самой себе, при крайне трудной обстановке жизни, она развивала свои богатые способности чтением, наблюдением, прислушиванием к речам людей, выдающихся из ряда обыкновенных. В то время как наследник русского престола вел себя немецким принцем и употреблял все, чтоб оттолкнуть от себя будущих подданных; в то время как некоторым даже приходила мысль, не поступает ли Петр так нарочно, не желая возбудить подозрения в тетке, – в это время Екатерина употребила необыкновенную силу воли, чтоб переродиться из немецкой принцессы в русскую великую княгиню и приобрести любовь русских людей. Уильямс так описывал Екатерину своему двору в октябре 1755 года: «Как только она приехала сюда, то начала всеми средствами стараться приобрести любовь русских. Она очень прилежно училась их языку и теперь говорит на нем в совершенстве (как говорят мне сами русские). Она достигла своей цели и пользуется здесь большой любовью и уважением. Ее наружность и обращение очень привлекательны. Она обладает большими познаниями русского государства, которое составляет предмет ее самого ревностного изучения. Канцлер говорил мне, что ни у кого нет столько твердости и решительности». Екатерина признается, что относительно своего самообразования она обязана советам шведского графа Гилленборга, которого она знала еще в детстве в Гамбурге. И тогда он говорил ее матери, что напрасно пренебрегает она воспитанием такого ребенка, который гораздо выше своих лет. Потом Екатерина увидела Гилленборга в Петербурге, куда он приехал с известием

о браке наследного принца шведского с принцессою прусскою. Тут Гилленборг спросил ее, как идет ее философия в том вихре, среди которого она живет. Она ему рассказала свои занятия. Он заметил, что философка в 15 лет не может знать саму себя, что она окружена со всех сторон опасностями, для избежания которых надобно укрепить и возвысить дух, что надобно питать его чтением лучших книг, и указал жизнеописания знаменитых людей: Плутарха, жизнь Цицерона и «Причины величия и падения Римской республики» Монтескье. Екатерина послала сейчас же купить эти книги; ей достали их в Петербурге, хотя с большим трудом. Потом она написала «портрет философа в 15 лет», где изобразила саму себя, и дала это сочинение Гилленборгу; тот возвратил его ей вместе с своими рассуждениями, в которых старался утвердить в ней возвышенность духа, твердость и другие качества ума и сердца: Она перечитывала эти рассуждения, пропитывалась ими и дала себе обещание следовать его советам. «С тех пор как я вышла замуж, – говорит Екатерина, – я только и знала, что читала. Целый год я читала только одни романы, они начали мне надоедать. Случайно я напала на письма Севинье, и это чтение меня заняло. Когда я их проглотила, попались мне под руки сочинения Вольтера. После этого чтения я искала книг уже с большим выбором». Между прочим, она выбрала историю Германии отца Барра, девять томов в четверку, каждый том оканчивала она в 8 дней; потом прочла сочинения Платона.

Природа молодой женщины, богатой силами физическими и нравственными и не находившей в семье никакого занятия и удовольствия, требовала сильного движения, физического и умственного. «Я страстно любила ездить верхом, – говорит Екатерина, – и, чем шибче была езда, тем приятнее мне было; когда лошадь уходила, я бежала за нею и приводила назад. В то же время у меня в кармане была всегда книга, и первую свободную минуту я употребляла на чтение». На русском языке прочтено было все, что только можно было достать, и, между прочим, два громадных тома церковных летописей Барония в русском переводе. В то же время изучена была книга Монтескье «Дух Законов» и прочитаны «Анналы» Тацита, которые произвели сильный переворот в голове Екатерины, по ее признанию; она стала видеть более вещей в черном свете и отыскивать более глубокие причины явлений, проходящих пред ее глазами. Кроме влияния Тацита многое стало казаться Екатерине в черном свете и вследствие горестей, которые она испытывала вследствие поведения мужа, которого она не могла любить и уважать. Но она никак не позволяла себе предаваться печали. «Гордость души моей и ее природа, – говорит она, – делали для меня невыносимую мысль быть несчастною. Я говорила себе: „Счастье и несчастье заключается в сердце и душе каждого; если ты чувствуешь несчастье, поставь себя выше этого несчастья и сделай так, чтобы твое счастье не зависело ни от какого события“».

Характер и поведение племянника сильно огорчали императрицу; она не могла провести с ним четверти часа спокойно, не почувствовав досады, гнева или печали; в обществе близких людей, когда речь заходила об нем, Елисавета с горькими слезами жаловалась на несчастье иметь такого наследника; будучи вспыльчива, она не разбирала слов для выражения своей досады на Петра. Но что заставляло Елисавету раздражаться и плакать, то заставляло других сильно задумываться насчет будущего России. Канцлер Бестужев не видал ничего

хорошего ни для России, ни для себя в этом будущем. Особенно, как видно, оттолкнул его от себя великий князь во время переговоров с Даниею о Голштинии. Постоянно враждебные отношения к Швеции требовали дружбы с Даниею, но этой дружбе мешала Голштиния по давней вражде ее герцогов с Даниею, которая отняла у них Шлезвиг, а герцог голштинский был теперь наследником русского престола. Для устранения этого препятствия датский двор предложил Петру обмен Голштинии на Ольденбург и Дельменгорст. Императрица Елисавета, как мы видели, отказалась от участия в этом деле, и переговоры велись между голштинским министром Петра Пехлином и датским посланником графом Линаром. Бестужев, которому Пехлин был совершенно предан, употреблял все зависевшие от него средства, чтоб помочь Линару устроить обмен, но Петр не согласился расстаться с Голштиниею, а канцлер предвидел, что Петр, ставши императором, не остановится ни пред чем, принесет в жертву русские интересы голштинским. Петр сказал однажды Пехлину: «Я уже буду знать, как приняться за дело, чтоб с помощью шведов возвратить от Дании Шлезвиг». Бестужев не сомневался, что Петр, как скоро сделается императором, возвратит шведам часть завоеваний Петра Великого, чтоб только с их помощью завоевать у Дании Шлезвиг. Кроме этих голштинских привязанностей канцлера сильно беспокоили еще прусские привязанности Петра, благоговение к Фридриху II. Бестужев говорил, что кроме уступок шведам от Петра надобно ожидать, что он будет стараться снискать расположение прусского короля насчет Австрии, следовательно, совершенно изменит политику, которую проводил Бестужев. «Великого князя убедили, – говорил канцлер, – что Фридрих II его любит и отзывается с большим уважением; поэтому он думает, что как скоро он взойдет на престол, то прусский король будет искать его дружбы и будет во всем помогать ему». Когда пришло известие о смерти шведского короля и о восшествии на престол Адольфа-Фридриха, то Петр не удержался и перед русскими в самых оскорбительных для них словах выразил свою грусть о потере шведского престола: «Заташили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного народа».

Тревожимый опасениями за будущее при таких выходках наследника престола, Бестужев после сближения своего с великою княгиней составил план, в котором прежде всего не забыл самого себя. План состоял в том, чтоб по смерти императрицы великий князь был провозглашен императором, но в то же время и Екатерина должна быть провозглашена участницею в правлении; он, Бестужев, получает при этом чин подполковника четырех гвардейских полков и президентство в трех коллегиях – Иностранных дел, Военной и Адмиралтейской. В последнее время канцлер написал уже и проект манифеста в этом смысле и переслал его великой княгине чрез графа Понятовского. Екатерина поручила Понятовскому устно благодарить Бестужева за его доброе расположение к ней и сказать, что она не считает дело легким. Канцлер вследствие этого замечания несколько раз принимался за проект, дополнял, сокращал. Екатерина говорит, что она вовсе не относилась к делу серьезно, но не хотела противоречить старику, упорному в своих планах.

Здесь посредником между канцлером и великою княгиней, человеком вполне доверенным у обоих, является граф Понятовский. Мы видели, что английский

посланник Уильямс, когда был в Польше, находился в большой дружбе с фамилиею Чарторыйских и когда отправлялся в Петербург, то взял туда с собою в качестве секретаря посольства племянника их молодого двадцатитрехлетнего графа Станислава Понятовского, одного из самых привлекательных, самых блестящих людей своего времени. Секретарь английского посольства немедленно появился в высшем петербургском кругу, был замечен великою княгиней, очень понравился и великому князю, потому что беспощадно насмеялся над графом Брюлем и над самим королем Августом, а Петр ненавидел того и другого как врагов Фридриха II. Скоро Понятовский сделался постоянным посетителем молодого двора. Брюль, узнавши о поведении Понятовского в Петербурге, отозвал его оттуда. Но молодой двор не мог обойтись без Понятовского, и великая княгиня настояла, чтоб канцлер внушил Брюлю о необходимости назначить Понятовского польско-саксонским посланником при петербургском дворе. Разумеется, канцлер должен был сделать это внушение тайно, и отсюда-то вышли противоречивые отзывы о Понятовском, полученные в Варшаве из Петербурга.

Уильямс, который называл Понятовского своим сыном, также хлопотал о его возвращении вследствие настаиваний великой княгини. В своем затруднительном положении английский посланник полагал всю надежду на Екатерину, которая, по его убеждению, должна была господствовать в России; это убеждение главным образом он должен был получить от приятеля своего Бестужева. Это господство Екатерины должно было начаться скоро, потому что, по мнению Уильямса, Елисавета не могла прожить более полугода. При таких обстоятельствах Уильямсу захотелось принять на себя роль Шетарди, помочь Екатерине получить власть точно так же, как Шетарди помог Елисавете, и с помощью Екатерины не допустить Россию до сближения с Франциею. Но при этом он мог столкнуться с французским посланником, который мог скоро приехать в Петербург; у англичанина было сознание, что с французским дипломатом ему не справиться, что француз даст сильную помощь своим, т.е. Шуваловым и Воронцову, приверженцам французского союза, которого требовала теперь последовательность. Бестужеву, разумеется, тяжело было сознаться, что последовательность на стороне врагов его, что она даст им силу, и он в разговоре с Уильямсом давал делу такой вид, что сближение с Франциею не есть что-либо разумное, необходимое, но есть случайность, прихоть фаворита, которому нравится все французское и которому потому желательно иметь в Петербурге французского посланника. «Какое несчастье, – говорил канцлер, – что у нас теперь молодой фаворит, который умеет говорить по-французски, любит французов и моды их и будет рад, когда приедет сюда французский посланник с многочисленной свитою». Конечно, ни сам Бестужев, ни собеседник его не верили, что действительно такова была причина сближения России с Франциею; но им было приятно и выгодно представлять дело таким образом; они должны были изо всех сил хлопотать, чтоб французский посланник не приезжал в Петербург.

От 9 июля н. с. Уильямс дал знать своему двору, что имел секретный разговор с великою княгиней. «Она, – пишет Уильямс, – очень недовольна сближением русского двора с Франциею и приездом сюда французского посланника. Она предложила мне сделать все, что я придумаю, для воспрепятствования этому. Я уже напугал ее насчет приезда французского посланника, показал ей, что

присутствие его здесь может быть очень опасно для нее и для великого князя. Она знает, говорил я ей, что ее дружба с канцлером сделала Шуваловых ее тайными врагами; что Шуваловы сами по себе не имеют ни довольно благоразумия, ни храбрости, ни денег, чтоб помешать ее наследству, но что приезд французского посланника может переменить сцену, и когда он увидит, какие политические взгляды у их императорских высочеств, то не пощадит ни трудов, ни денег, чтоб помешать им в достижении власти. Я умолял ее вспомнить интриги Шетарди здесь и их последствия». Предложение англичанина было ясно: французский посланник даст Шуваловым денег, чтоб помочь им в их замыслах; займите денег у меня, как заняла их Елисавета у Шетарди, чтоб ниспровергнуть замыслы Шуваловых и не допустить приезда французского посланника. «Она, – продолжает Уильямс, – усердно меня благодарила и сказала: я вижу опасность и буду побуждать великого князя сделать все возможное для ее удаления; я сделала бы еще более, если б у меня были деньги, потому что без денег здесь ничего сделать нельзя; я должна даже платить императрицыным горничным; мне не к кому обратиться в этом случае, моя собственная фамилия бедна; но если ваш король будет так любезен и великодушен, что даст мне займы известную сумму денег, то я дам расписку и заплачу долг при первой возможности, причем могу дать королю честное слово, что каждая копейка будет употреблена для нашей общей с ним пользы, как я понимаю дело, и я желаю, чтоб вы поручились его величеству за мой образ мыслей и действий». По просьбе Уильямса она назначила сумму – десять тысяч фунтов стерлингов, которые и были даны.

Между тем болезнь Елисаветы заставляла и Шуваловых предложить Екатерине свои услуги. Предложение было сделано сперва чрез старика князя Никиту Юрьевича Трубецкого, потом через племянника его Ивана Ивановича Бецкого, незаконного сына князя Ивана Юрьевича Трубецкого; Бецкий возвратился тогда из-за границы с знаменитым кавалером Эоном, способным играть то мужскую, то женскую роль, смотря по обстоятельствам. Екатерина отвечала, что согласна сблизиться с Шуваловыми, если они вполне будут содействовать ее видам. Уильямс сильно обрадовался этому, все в надежде, что Шуваловы теперь откажутся проводить французский союз. В длинном письме к великой княгине он опять представлял ей всю опасность от приезда французского посла и упрашивал сойтись с Шуваловыми; он представлял, что Шуваловы, боясь восшествия на престол Петра, который будет мстить им за действия против Пруссии, и не любя Екатерины за ее дружбу с Разумовскими и Бестужевым, будут хлопотать с помощью французского и австрийского послов, чтоб наследником был провозглашен великий князь Павел, а родители его удалены из России. Екатерина отвечала, что французского посла допускать не надобно, потому что с его приездом будет интриганом больше; но что все же опасность от его прибытия и шуваловских замыслов преувеличивается: Елисавета при жизни своей не отстранит племянника от престола по своей нерешительности и ввиду династических опасностей; а если захотят что-нибудь сделать в минуту ее смерти, то она, Екатерина, сумеет разрушить замысел. «Или умру, или буду царствовать, а не поступлю, как шведский король», – писала Екатерина; тут же писала она, что склонить Шуваловых к перемене политики невозможно.

Мы видели, что великий князь был назначен членом конференции; Екатерина говорит, что она убедила его сказать Шуваловым о своем желании участвовать в

конференции, и Шуваловы уговорили императрицу исполнить его желание. По этому случаю Екатерина рассказывает: «Он мне говорил несколько раз, что он чувствует, что не рожден для России, что он непригоден русским и русские непригодны ему; и убежден он, что погибнет в России. Я ему отвечала всегда на это, чтоб он выкинул из головы эту пагубную мысль, а старался бы изо всех сил заставить себя полюбить в России и просил бы императрицу дать ему средства познакомиться с делами империи».

Как бы то ни было, Петр в конференции был против сближения с Францией, и когда граф Александр Шувалов принес к нему протокол конференции, где записано было решение призвать французского посла в Россию, то великий князь решительно отказался подписать протокол. Тогда отправился с протоколом генерал Степан Федорович Апраксин, который был другом Бестужева и в то же время хорош с Шуваловыми и пользовался благосклонностью молодого двора. Апраксин стал просить Петра подписать протокол, представляя, что иначе вся вина падет на него, Апраксина, ибо знают, что он хорош с молодым двором. Петр отказал и Апраксину, но до конца не выдержал, согласился подписать протокол. Ив. Ив. Шувалов изъяснялся по этому случаю, что не пустил бы к себе в дом французского агента Дугласа, если б знал, что возобновление сношений с Францией так неприятно великому князю; впрочем, он решительно не понимает, почему это может быть так неприятно, ибо отсюда произойдет только новая слава для императрицы, которая сделается посредницею между Францией и Англиею, чего давно добивался и канцлер; что же касается страха перед французским послом, то он решительно его не понимает. Но канцлер твердил, что пример перед глазами: что сделала Франция в Швеции для унижения королевы? Уильямс был в отчаянии, что великий князь подписал протокол: он говорил, что если б не подписал, то дело было бы остановлено, по крайней мере французской партии нанесен был бы удар и Петр приобрел бы уважение в публике.

Для успокоения Уильямса Екатерина сообщила ему свой план действий в минуту смерти Елисаветы: «Я иду прямо в комнату моего сына, если встречу Алексея Разумовского, то оставлю его подле маленького Павла, если же нет, то возьму ребенка в свою комнату, в ту же минуту посылаю доверенного человека дать знать пяти офицерам гвардии, из которых каждый приведет ко мне 50 солдат, и эти солдаты будут слушаться только великого князя или меня. В то же время я посылаю за Бестужевым, Апраксиным и Ливеном, а сама иду в комнату умирающей, где заставлю присягнуть капитана гвардии и оставлю его при себе. Если замечу малейшее движение, то овладею Шуваловыми». Екатерина имела тайное свидание с гетманом Кириллом Разумовским, который уверял ее в успехе ее дела, уверял, что Измайловский полк, где он был подполковником, последует за ним. Гетман поручился, что его брат в предсмертные минуты Елисаветы возьмет великого князя Павла и сбережет его. Екатерина просила гетмана забыть прежнюю вражду его с Бестужевым, потому что все ее друзья должны действовать заодно. Гетман же должен был склонять в пользу Екатерины Бутурлина, Трубецкого и даже Воронцова, который втайне ненавидел Шуваловых. В одном письме к Уильямсу Екатерина писала: «Иоанн Васильевич (царь) хотел уехать в Англию, но я не намерена просить убежища у английского короля, потому что решила или царствовать, или погибнуть». У нее были верные люди, которые должны были ее уведомить, если Иван Шувалов вздумает что-нибудь писать пред

императрицею. Сенатор Бутурлин обещал говорить в конференциях по ее внушениям. «Хотя, – писала великая княгиня, – это человек слабого характера и склонен к плутовству, однако можно и из него извлечь пользу». Но Уильямс был в сильном раздражении, потому что дело о сближении России с Францией шло беспрепятственно. В своем раздражении он срывал сердце на Бестужева. Тщетно канцлер уверял, что не позволит разорвать с Англией, даже будет благоприятствовать прусскому королю, и что русская армия, переправившись за границу, не пойдет далее; Уильямс не верил и постоянно жаловался на него. Уильямсу хотелось, чтоб вдруг прерваны были сношения с Францией и чтоб Шуваловы из страха пред Екатериною отказались от своей системы. Он требовал, чтобы Екатерина сказала Апраксину: «До сих пор я щадила Шуваловых для вас и для канцлера; но теперь это мне наскучило, потому что не вижу никаких доказательств их благодарности; если они хотят получить что-либо от меня в будущем, то должны заслужить это, повинувшись теперь моей воле». Великая княгиня не сочла полезным так круто повертывать дело, но когда Апраксин стал советовать ей, чтоб была поласковее с Шуваловыми, то она отвечала, что великий князь так раздражен французскою интригою Шуваловых и тем, что Петр Шувалов формирует 30000 войска, что она не может ничего для них сделать, если они не отстранят этого камня преткновения. «Шуваловы, – отвечал Апраксин, – так затянулись в это дело, что не могут высвободиться, и я не могу ничего сделать, будучи принужден ехать через два дня к армии».

Уильямс видел, что нет успеха в его деле, и все больше и больше сердился на Бестужева, смотрел на него как на изменника, писал великой княгине, чтоб она порвала связь с канцлером и перешла на сторону Шуваловых. Екатерина прямо написала к Ив. Ив. Шувалову, предлагая союз с прежним условием: они должны делать все для нее в настоящем, она все для них в будущем. Письмо повез один из приближенных к молодому двору людей, Лев Нарышкин, и, возвратясь, рассказывал, что Шувалов, прочтя письмо, пришел в восторг, бросился на колени пред образом и долго оставался в религиозном экстазе. Во сколько Нарышкин, по своему обычаю, позволил себе преувеличения, чтоб посмеяться над фаворитом, это остается неизвестным. Ив. Ив. Шувалов по своему характеру, по своему стремлению облагородить значение фаворита, приобрести всеобщее расположение, в борьбе партий играть роль примирителя, всюду подкладывать свою мягкую руку под жесткую часто руку родственника своего графа Петра, – Ив. Ив. Шувалов, разумеется, был очень рад предложению Екатерины и готов был сделать для нее все возможное; но вопрос заключался в том, что могли сделать Шуваловы? Конечно, не то, чего хотелось Уильямсу. Бестужев также ничего не мог сделать для Уильямса, но он сделал, что мог, для Екатерины. Когда она спросила его, приедет ли Понятовский, то он отвечал: «Если не приедет, то можете называть меня злодеем, а не Бестужевым». Понятовский приехал и стал удаляться от Уильямса, утверждая, что должен это делать для его же пользы.

Ни Бестужев, ни Шуваловы не могли, если б и хотели, ничего сделать из того, чего желал Уильямс, потому что этого не желала императрица. Все описанные движения происходили в ожидании ее кончины, но сильно обманулись относительно скорости этой кончины. По-видимому, Елисавета сильно страдала, жаловалась на страшный кашель и одышку; это уже не была прежняя красавица, от которой не хотелось отвести глаз; на придворных праздниках не ходила она без

устали из комнаты в комнату не присаживаясь; но при упадке физических сил душевные не падали: Елисавета не переставала твердить, что хочет сама принять начальство над войском. Бестужев рассказал великой княгине, что когда кто-то говорил при Елисавете, что Фридрих II, если русские нападут на него, выдаст манифест в пользу Ивана Антоновича, то она сказала: «Тогда я велю сейчас же отрубить Ивану голову». 22 октября в здоровье Елисаветы произошла решительная перемена к лучшему, и движения, возбужденные ожиданием ее смерти, стали прекращаться, а с ними исчезли и надежды Уильямса помешать сближению России с Франциею.

Мы видели, как в конференции было решено сближение с Франциею при известных условиях; но тайные попытки завязать снова сношения с Россиею сделаны были во Франции еще в 1755 году. По французским известиям, неизвестно когда отправлен был в Россию эmissар Валькруссан, который был схвачен и заключен в Шлюссельбургскую крепость. По русским бесспорным известиям, Валькруссан (Messonier de Valcroissant) был схвачен в Риге в феврале 1756 года; по его словам, комиссия его состояла в том, чтоб разведать, кто наиболее в милости у императрицы и кто больше склонен к французской, чем к какой-нибудь другой, стороне; писем ни к кому не имел, кроме одного – от государственного секретаря Рулье к Ив. Ив. Шувалову, которое сжег с прочими бумагами. Вице-канцлер Воронцов и Петр Ив. Шувалов подали мнение, что Валькруссан «во многом несогласно с вероятностию говорил и удалялся от истины. Когда комиссия его состояла в том только, что он сам объявил, то ни малейшей не имел причины письма свои жечь, а еще и того меньше в Риге и Ревеле приискивать корреспондентов, где он известий таких, каковы его комиссия требовала, получить не мог. Это доказывает, что он приехал шпионом. Когда его окончательно увещевали сказать правду, то он утверждал во всем прежнее, прося только, что, если еще хотя малое сомнение остается, чтоб позволено ему было отправить курьера с письмами к французскому министерству, которые он напишет с апробации графов Воронцова и Шувалова и, ежели угодно, в них внесет, что здешний двор, будучи чрез него уведомлен о добрых намерениях его короля к России и предавая забвению прошедшее (понеже доказательство есть, что Франция поступки бывших своих здесь министров не апробовала), желает прекратить между обоими дворами несогласия. И ежели французский двор получит от здешнего такие обнадеживания, то оный пришлет сюда министра». Воронцов и Шувалов заключили свое мнение так: «Сей француз прямой и небезопасный шпион, потому что он самую подозрительную корреспонденцию под подложными именами производил и в главных приморских городах приискивал себе корреспондентов; того ради отнюдь его отсюда выпустить нельзя, а надлежит содержать в крепком месте, однако ж с определением пропитания без нужды». Валькруссан был освобожден в 1757 году по просьбе французского правительства.

Это приключение с Валькруссаном, случившееся уже тогда, когда приезжал в Россию другой французский агент, Дуглас, показывает, что Валькруссан был отправлен совершенно иными лицами, чем Дуглас, и это именно бывало в царствование Людовика XV, который чрез доверенных лиц вел свои сношения мимо министерства. Дуглас Макензи, шотландский якобит (приверженец Стюартов), живший во Франции, был отправлен в 1755 году в Россию с

инструкцией, написанную принцем Конти, который был тогда доверенным человеком у короля и которому очень хотелось попасть в польские короли или если уже этого нельзя, то хотя в герцоги курляндские; не прочь он был и жениться на императрице Елисавете; во всяком случае, он желал побывать в Петербурге. Дуглас должен был явиться в Россию как дворянин, путешествующий для собственного удовольствия и для поправки здоровья. Он должен был остановиться в Курляндии под предлогом отдыха, а между тем проведать, в каком положении находится это герцогство, что думает курляндское дворянство о ссылке своего герцога Бирона, в каком положении финансы и правосудие в стране, сколько русского войска в Курляндии. В Петербурге Дуглас должен был осведомиться об успехе переговоров Уильямса насчет субсидного трактата о состоянии русского войска, флота, торговли, как расположен народ к настоящему министерству, как велик кредит Бестужева, Воронцова, фаворитов императрицы; о влиянии последних на министров; о судьбе принца Ивана, бывшего царя, и о судьбе отца его; о расположении народа к великому князю Петру, особенно с тех пор, как у него есть сын; нет ли у принца Ивана тайных приверженцев и не поддерживает ли их Англия; о видах России на Польшу касательно настоящего и будущего; о видах ее на Швецию; о причинах, заставивших вызвать из Украины гетмана Разумовского, и что думают о верности малороссиян и как с ними обходятся в Петербурге. Свои наблюдения Дуглас должен был доставить во Францию не прежде, как выехав из России, или через шведское посольство в Петербурге; и тут в своем отчете он должен был употреблять иносказательные выражения, например, если Уильямс имеет успех, то писать: «Черная лисица дорожает»; если кредит Бестужева ослабевает, то писать: «Соболи меха упадают в цене» и т.п.

О первом пребывании Дугласа в России, в 1755 году, мы не имеем известий; только в депеше Уильямса от 7 октября читаем: «Когда приехал сюда какой-то господин Дуглас из Парижа, то одержимый подозрительностью австрийский посланник спросил его: чего он хочет в России? И тот отвечал: я приехал по совету врачей, чтоб пользоваться благодеяниями холодного климата».

Известия, привезенные Дугласом из России, были такого рода, что его вторично туда отправили. Он должен был обратиться прямо к вице-канцлеру Воронцову, с которым вел переговоры и в первую свою поездку.

10 апреля 1756 года в девятом часу вечера Воронцов получает извещение от Дугласа, что он приехал в Петербург и желает видеться с вице-канцлером немедленно. Воронцов согласился на это свидание, и Дуглас подал ему письмо от заведовавшего иностранными делами государственного секретаря Рулье. Письмо начиналось так: «Узнавши о благосклонных обо мне отзывах вашего сиятельства от особы, которой вы поручили отыскать библиотекаря и прислать образцы бургонского вина, я поручаю ей засвидетельствовать вашему сиятельству за это мою благодарность...» «Что это значит? Какой библиотекарь, какое вино?» – спросил Воронцов. «Библиотекарь-это я, – отвечал Дуглас, – а вина – это дела, назначение лиц, которые должны быть посланы с обеих сторон для восстановления сношений». «Кажется, можно было бы и прямо об этом написать, – заметил Воронцов. – Я донесу об этом императрице, – продолжал он, – но так как теперь страстная неделя, то навряд я могу это сделать прежде Пасхи и потому прошу вас сообщить мне на письме все, что поручено вам

предложить здесь от французского двора, чтоб я мог сделать обстоятельнейшее донесение ее импер. величеству». Дуглас согласился и подал следующую записку: «Король, мой государь, отправил меня к вашему сиятельству с извещением, что если ее величество императрица действительно расположена к соединению с Франциею, то его величество с удовольствием увидит установление дружеских сношений, которым для взаимных интересов не следовало бы никогда прерываться. Мне поручено вас уверить, что когда императрица решится назначить своего министра во Францию, то король, как только узнает о происхождении и звании этого министра, немедленно назначит своего министра в Россию одинакого происхождения и звания. Так как взаимное отправление этих министров может повести к прямой торговле французов в России, то его величество назначит консула в Петербург».

Ответ на эту записку был составлен только 7 мая; в нем говорилось: императрица с особенным удовольствием узнала о личных чувствах короля к ней, и так как она ожидала только случая уверить короля в своих чувствах к нему, неизменно ею сохраненных, то ее величество очень рада видеть доброе расположение его величества к восстановлению доброго согласия и тесной дружбы между обоими дворами. Ее величество с удовольствием соглашается на взаимное назначение министров с посольским характером: но императрица находит согласным с достоинством и пользою обоих дворов назначить их одновременно и немедленно и уже назначила в соответствие присылки Дугласа отправить во Францию г. надворного советника Бехтеева, и хотя Дуглас недостаточно авторизован, однако его будут принимать с отличием и выслушивать как человека, действительно присланного его христианнейшим величеством.

Бехтеев был домашним человеком у вице-канцлера Воронцова, пробыл значительное время за границу и считался способным исполнить поручение, *казавшееся деликатным*. Бехтеев должен был внушать французскому министерству, что императрица отвергнет английские субсидии и пренебрежет всеми выгодными предложениями, которые Англия до сих пор не перестает делать только в уважение постоянно подаваемых со стороны императрицы-королевы обнадеживаний, что французский король будет более, чем Англия, готов вступить в виды России и действительно им помогать. Бехтеев должен был стараться внушить французскому двору о необходимости скорого и ближайшего соединения, не говоря ничего о характере этого соединения, и если бы французское министерство его об этом спросило, то он мог прямо отвечать, чтоб обратились за подробностями к австрийскому министру графу Штарембергу, которому Бехтеев должен объявить, что ему запрещено делать что-либо без его согласия и совета; надобно, говорилось в наказе, наблюдать крайнюю осторожность, чтоб не дать венскому двору повода думать, будто бы на его старания не полагаются и мимо его хотят постановить что-то важное с Франциею; часто случалось, что от малого недоразумения великие и знатные дела портились.

Дело могло портиться от трудности примениться совершенно к новой системе, забыть, хотя на время, старые предания и привычки. Так, Франция по-прежнему считала для себя необходимым препятствовать усилению русского влияния в Польше, особенно имея в виду смерть короля Августа и королевские выборы; Франция также считала необходимым не подавать вида, что может пожертвовать турецкими интересами в пользу России. Венский двор, дорожа

более всего французским союзом, поддерживал требования Франции и тем производил неприятное впечатление в Петербурге. Россия, готовясь серьезно к войне, прежде всего стала хлопотать о склонении поляков к пропуску русских войск через владения республики и отправила Веймарна хлопотать об этом. Веймарн доносил из Варшавы: «Не оставил я магнатам и прочему находящемуся здесь шляхетству внушать относительно прохода русских войск, представляя выгоды, которые могут им от этого последовать. От благонамеренной партии никаких затруднений я не находил; противная же и Франции преданная партия рассуждает, что проходом русских войск подается предлог и прусским войскам войти в Польшу, и потому лучше было бы, если б русские войска, идущие на помощь Австрии и королю польскому, вошли прямо в Пруссию. Эти рассуждения происходят вследствие беспрестанных внушений французского министра Дюрана и прусского секретаря посольства Беноа». Секретарь русского посольства Ржичевский с своей стороны доносил: «Французские министры здесь воображают себе, что свободный проход через Польшу русским войскам может быть позволен не иначе как с их согласия; а теперь нечаянно вновь появились французские штуки: вчера примас мне и генералу Веймарну сказывал, что Дюран у него был, и, объявляя ему, что русские войска из своих квартир 17 и 18 сентября уже выступили в поход, старался его, примаса, формально склонить к твердому сопротивлению их проходу через Польшу, представляя, что этот проход может привести в движение и Оттоманскую Порту. Так как об этом разговоре сейчас же распространились слухи по Варшаве, то Дюран поспешил объясниться с примасом, говоря, что он, примас, его не понял; но примас отвечал, что хорошо понял».

Австрийский посланник Эстергази также толковал в Петербурге, что лучше было бы не касаться Польши; с другой стороны, представлял, чтоб в договор об оборонительном союзе между Россией и Францией не вносить пункта об обязательстве Франции помогать России против турок. По этому поводу в конференции 26 сентября было постановлено: «Дугласу не в виде жалобы, но как бы конфиденциально сообщить о происшедшем в Варшаве между Дюраном и примасом и прибавить, что хотя при русском дворе этому и не верят, однако при нынешних обстоятельствах и при начатии важных переговоров о союзе интерес и честь его двора требуют происшедшее в Варшаве поправить таким поступком, который мог бы между поляками уничтожить мнение, будто Дюран действительно склонял примаса противиться пропуску русских войск; необходимо, чтоб он, Дуглас, будучи очевидным свидетелем, как мнения императрицы согласны с мнениями его двора, сделал бы французским министрам в Константинополе, и Варшаве внушения, чтоб они согласовались во всем с русскими там министрами. Австрийскому послу графу Эстергази канцлер должен объявить, что русские войска действительно уже выступают за границу; что же касается исключения Порты из союзного договора между Россией и Францией, то это пункт самый важный в целом трактате, и такое исключение было бы вредно венскому двору, ибо если Порта будет благодарна за это русскому и французскому дворам, то тем более будет раздражена против венского двора, зачем она не исключена в договоре между ним и Россией. Это исключение будет иметь такой вид, что малейшее неудовольствие Порты может колебать самые торжественные трактаты, а это может придать ей только больше гордости; тогда как, сохраняя твердость, можно

было бы Порте прямо объявить, что простой оборонительный союз не может быть никому никогда предосудителен и всякое против него огорчение может показывать только дурные намерения. Что же касается прохода русских войск через Польшу, то нельзя скрыть, что такое усиленное домогательство, чтоб русские войска как можно менее или вовсе не захватывали Польши, возбуждает здесь подозрение, не думают ли, что русские войска направятся на Краков или куда-нибудь в глубь Польши. Мнение императрицы еще в начале лета было предовольно объяснено: ее величество непоколебимо пребывает в этом мнении и до сих пор; король прусский походом своим, правда, предупредил, но нисколько не разрушил предложенных мер, напротив, еще усилил их необходимость. Опасение, чтоб проходом русских войск через Польшу не возбудить там смут, конфедерации или не подать повод королю прусскому самому делать то же, — такое опасение можно сравнить с опасением тех неудобств, какие могут явиться при проходе французских войск через вольные имперские земли на помощь императрице-королеве, но с тою разницей, что король прусский с большим правом мог бы противиться этому проходу и возбуждать против него других князей. Нельзя ручаться, чтоб он по примеру русских войск не вступил в Польшу; но для этого все равно, какую бы часть Польши здешние войска в походе своем ни захватили; если ему только предлог надобен, то к этому и одной мили довольно. Наконец, сами поляки только будут рады проходу русских войск».

Действительно, польские вельможи: каштелян краковский граф Понятовский, гетман коронный граф Браницкий, князья Чарторыйские — канцлер литовский и воевода русский, великий маршал коронный граф Белинский и литовский граф Огинский, воевода мазовецкий Руджинский, воевода люблинский князь Любомирский, бискуп краковский Залуский, бискуп киевский Солтык — на формальное требование Веймарна о пропуске русских войск объявили, что хотя такое дозволение может быть дано не иначе как всею республикою, т.е. на сейме, и потому они с своей стороны ни позволять, ни препятствовать не могут, однако каждый из них, как частный человек, будет очень рад проходу русских войск, особенно при объявленном уверении, что и при этом проходе, как при прежнем, будет соблюдаться строгая дисциплина и уплата за все наличными деньгами; и хотя области республики и находятся в опасности, что при случае такого прохода и прусское войско может в них вступить, как объявил Бенуа, однако они питают твердую надежду, что императрица изволит принять меры, чтоб польские области не подверглись никакому вреду. Паны изъявили при этом глубочайшую благодарность за внимание, которым императрица почтила республику этим формальным требованием дозволения, тогда как этого требования не сделано от венского двора, на помощь которому и будут проходить русские войска; паны заявили свое неудовольствие против венского двора и за то, что в Варшаве нет от него ни министра, ни резидента, ни даже поверенного в делах, но все дипломатические дела отправляются женщиною, вдовою умершего резидента Киннера. Так как венский двор никогда не имел большого попечения о польских делах, то вся готовность, какую они рады показать в случае прохода русских войск через Польшу, будет относиться не к венскому двору, но будет данью признательности к русской императрице за ее милостивые попечения о республике.

Почти в то же время Ржичевский писал, что сближение России с Франциею грозит в Польше падением русской партии, потому что французская партия самая сильная, и все, кто держался русских друзей, приступят к ней, как скоро увидят сближение русских министров в Польше с французскими; правда, что партии при этом сольются и члены их будут одинаково называться французскими и русскими друзьями, но только с таким различием, что они будут делать не то, чего Россия от них может требовать спустя долгое или короткое время, а станут делать то, что им Франция будет предписывать, да и двор, естественно, принужден будет последовать большинству и силе.

Между тем Бехтеев, приехавший во Францию в середине лета, встретил здесь странное явление. Он начал дело с министром иностранных дел Рулье; но принц Конти велел сказать ему, что он примется за его дело и станет докладывать королю, причем наказывал, чтоб Рулье никак об этом не узнал, ибо если проведает, то скажет маркизе Помпадур, с которою у него, принца, вражда, и станут препятствовать делу потому только, что не чрез их руки пойдет. Бехтееву показалось это непорядочно, и он не согласился на предложение Конти. Сколько мог Бехтеев заключить из разговоров с ним и министром Рулье, выходило, что министр не знал о первой поездке Дугласа в Россию, а Конти выставлял себя прямо виновником дела. Конти объявил Бехтееву, что он искренно желает лично повергнуть себя к стопам ее величества; соединение России с Франциею считает нужным и существенным делом для прямой пользы обеих держав; намерение его состоит не в том только, чтобы возобновить дружбу и заключить простой договор – союзный или коммерческий; у него есть план самый полезный и достойный обеих держав. Если бы граф Воронцов отписал ему, что желает осуществления этого плана, то он предложил бы об этом королю и, получа от него приказание, тотчас принялся бы за дело и под этим предлогом поехал бы в Россию. Бехтеев отвечал, что императрице очень приятно было слышать о намерении принца посетить Россию, где он будет принят с достойною честью; но что касается его плана, то граф Воронцов не может ничего объявить заранее, не зная, в чем состоит план. Когда разговор коснулся Польши и Бехтеев сказал, что Россия обязана торжественнейшею гарантиею сохранить в целости ее права и вольности, то принц отвечал: «Этой гарантии не может быть противно, если кто-нибудь по законам республики народною любовью и щедростию доставит себе корону; но опыт научил, что надобно заранее соглашаться с Россиею. Я желаю соединить два двора тесным союзом и составить такой план, чтоб Россия на Севере, а Франция здесь влиянием своим внушали почтение всем другим державам». Принц высказал довольно ясно, что договор с венским двором ему не нравится, он держался Пруссии.

С одной стороны, Конти не желал скорого приезда русского знатного посла во Францию и отъезда французского посла в Россию, стремясь захватить дело о союзе в свои руки и вести его согласно своим планам; с другой стороны, австрийский посол Старемберг хлопотал, чтобы русские дела с Франциею шли через его руки. «Я нимало не оказываю, что о том догадываюсь, – писал Бехтеев, – но при случае здешнему министерству не оставляю давать знать, что наш двор не намерен дела свои чрез третьего, но прямо собою производить». К Воронцову Бехтеев писал: «По моему слабому рассуждению, надобно смирить короля прусского, но досадно то, что мы дела свои все под опекою отправляем».

Когда во Франции узнали о вступлении Фридриха II в Саксонию, то Рулье выразил Бехтееву свое удивление, как прусский король отваживается на такие предприятия, имея против себя три самые сильные державы, которые его раздавят. «Действительно, – отвечал Бехтеев, – прусский король не может устоять против трех держав, если они соединятся. Конечно, он полагается на свое коварство и интриги, надеясь с помощью их выиграть время и уничтожить силы императрицы-королевы, прежде чем Россия и Франция соберутся помочь ей». Тут Бехтеев прочел Рулье экстракт из рескрипта, в котором приказывалось ему поставить французскому министерству на вид, что императрица тогда только отвергнет выгодные английские предложения, когда французский король одинаково или еще более будет действовать в русских видах. Рулье отвечал на это в общих выражениях, что король его рад отвечать дружбе императрицы и ждет с часу на час известий о приступлении России к австро-французскому союзу, и при этом распространился о необходимости исключить Турцию из числа держав, против которых Франция должна помогать России. Бехтеев продолжал выставлять коварные поступки прусского короля и как трем державам надобно спешить усмирением такого опасного государя. Ни одна держава не может оставаться равнодушною при таких наглых и несносных поступках его с королем польским, а Франция более других должна принять здесь участие, ибо оскорблена оказанною ей неверностью и обманом, а потом презрением ее предложений. Граф Штаремберг просил Бехтеева сделать французскому министерству внушение о необходимости отозвать французского посла из Берлина, потому что на внушения с русской стороны обратят больше внимания, чем на внушения австрийские; Бехтеев исполнил просьбу и сказал Рулье, что при таком явном пренебрежении, оказанном прусским королем Франции, удивительно, что французский министр до сих пор не отозван из Берлина; это может производить на публику очень дурное впечатление относительно общего дела и очень полезное для короля прусского; особенно при немецких дворах подумают, что Франция несколько бережет прусский двор. Рулье отвечал, что так как Франция не находится в явной войне с Пруссиею, то приличие не позволяло вдруг отозвать посла; но чрез четыре дня пошлется ему указ выехать из Берлина. Рулье сообщил Бехтееву в секрете, что нынешним годом Франция не может послать войска в Богемию, а сделается диверсия, которая Марии-Терезии еще будет полезнее.

Французский посол был отозван из Берлина. Пруссакам во Франции запрещено являться ко двору; Рулье спрашивал у Бехтеева, скоро ли же Россия приступит к Версальскому договору, но тот должен был ему сообщить известие, что французские министры в Константинополе и Варшаве действуют вовсе несогласно с русскими, в Польше побуждают поляков противиться проходу русских войск, раздают деньги; граф Брольи прямо сказал Гроссу в Варшаве, что его двор прежней своей системы в Польше переменить не может и если русское войско пойдет через Польшу, то он, Брольи, принужден будет пресечь доброе согласие с ним, Гроссом. Это сообщение привело Рулье в большое замешательство; он не знал, что отвечать, давал знать, что послы вдруг не могут переменить речи: «Мы не можем вдруг назвать белым то, что вчера называли черным». Но, донося об этом, Бехтеев давал знать императрице, что французский двор поступает без коварства. Маршал граф Белиль уверял Бехтеева, что французские министры при Порте и в Польше действовали так только по

недоразумению и что к ним уже послали точные указы внушать полякам, чтобы они согласились на пропуск русских войск через Польшу. То же подтвердил потом и Рулье. 31 декабря Елисавета подписала акт приступления России к Версальскому договору между Францией и Австриею с следующим условием: императрица освобождает короля французского от подания ей помощи в случае нападения со стороны Турции или Персии; равномерно французский король не требует помощи императрицы в случае нападения на него в Европе со стороны Англии. Но и тут опять употребили тот же способ, какой был употреблен при заключении субсидного договора с Англиею: подписан был акт, где говорилось, что Франция не помогает России против Турции, но к нему присоединили секретную декларацию, что Россия обязывается помогать Франции против Англии, если последняя нападет на Францию в Европе, а Франция обязывается давать России денежную помощь против Турции. Дуглас сначала не соглашался принять декларацию, но потом принял, когда австрийский посол граф Эстергази стал уверять, что ему по желанию самого французского двора поручено стараться о приискании средства, как бы вознаградить Россию за исключение Порты из договора, и для того именно предлагать денежную помощь.

Итак, Россия обязывалась даже помогать Франции против Англии, если последняя нападет на Францию в Европе. Мы видели, какие закулисные средства употреблял Уильямс, чтоб не допускать Россию до подобных обязательств; теперь взглянем, какие употреблялись им явные средства для этого.

27 апреля Уильямс приехал к канцлеру и в присутствии вице-канцлера представил, что король, его государь, желает только сохранения мира в Европе и в этих единственно видах заключил договор с королем прусским. Теперь, по известиям о военных приготовлениях Франции. Англия имеет право опасаться, что в Европе на нее нападут вдруг в разных местах; есть известие, что Франция предложила Австрии напасть на Силезию в то время, когда она сама нападет на Ганновер и герцогство Клевское, принадлежащее прусскому королю. Английский король, будучи всеми оставлен, полагает всю свою надежду на русскую императрицу, и ему, Уильямсу, поручено просить изъяснения о мнениях ее императ. величества относительно помощи ее на случай нападения на Ганновер и возратить данную ему здесь секретнейшую декларацию как противную ожиданию королевскому. Договаривая эти последние слова, Уильямс положил декларацию на стол, и, сколько канцлер с вице-канцлером ни уговаривали его взять бумагу назад, он не согласился, объявив, что не хочет потерять головы за послушание королевским указам. Тогда Бестужев и Воронцов начали ему толковать, что русская декларация сходна с прямым разумом конвенции, напротив, их поведение относительно прусского короля совершенно с нею несходно и Англия не имеет никакого права требовать русской помощи против Франции, если хочет основывать это требование на конвенции, а не на уповании на дружбу императрицы. Уильямс перебивал почти каждое слово, стараясь об одном: чтоб привести в жалость, выставляя бедственное положение Англии, и наконец сказал почти со слезами, что если Россия не вступится, то Англия совсем пропала.

Так как Уильямс не взял декларации, то ее отправили к русскому в Лондоне посланнику князю Александру Михайловичу Голицыну, сменившему графа Чернышева, чтоб он отдал ее английскому министерству. Голицын от 17 мая донес своему двору, что в Англии чрезвычайное беспокойство по поводу союзного

договора между Францией и Австрией. Герцог Ньюкэстль встретил его вопросом: «Можно ли было ожидать соединения венского двора с французским, нашим открытым неприятелем?» «Не мне судить об этом деле, – отвечал Голицын, – но, кажется, должно было его предвидеть с самого дня заключения вашего договора с прусским королем; союз Австрии с Францией есть прямое следствие союза Англии с Пруссией». «Неужели и ваша императрица, – спросил опять Ньюкэстль, – покинет древнего своего союзника, короля великобританского, в таких критических обстоятельствах? Есть известие, что в Петербурге находится посланная от французского двора особа, которая скоро примет на себя публичный характер». Голицын отвечал, что ничего не знает, но что известие очень вероятно. Посланник воспользовался случаем, чтобы внушить, как императрица оскорблена необыкновенным поступком лондонского двора, который без малейшего предварительного сношения заключил союз с прусским королем. «Императрица надеется, – говорил Голицын, – что ввиду вредных от этого последствий ваш двор постарается заглазить это дело надлежащею между союзниками доверенностью и, кроме русского союза, не будет искать других, быть может обманчивых. Поступок венского двора есть прямое следствие ваших обязательств с прусским королем, на которого никак нельзя полагаться по указанию опыта». Тут Ньюкэстль перебил речь посланника. «Нельзя думать, – сказал он, – чтоб русский двор был такого мнения». «Позвольте уверить вас, – отвечал Голицын, – что мои поступки всегда согласны с принципами моего двора».

После этого Голицын имел разговор с государственным секретарем по иностранным делам Голдернесом, который начал словами, что по заключении австро-французского союза его британскому величеству остается одна надежда на верность и великодушие русской императрицы, которая исполнит обязательства англо-русского союза, а союз этот Австрия с Францией будут стараться теперь разрушать; если русская императрица оставит английский двор, то следствием будет его конечная гибель. В руках русской императрицы средства оживотворить английский двор. Хотя теперь и трудно расстроить австро-французский союз, однако императрица может предупредить его вредные следствия, сохраняя постоянно союзническую дружбу с его британским величеством и притом исполнив все принятые с ним обязательства; тогда Англия не будет бояться соединенных сил Австрии и Франции. Есть известия, что та и другая выставляют целью своего союза поддержание римской веры, которой грозит союз протестантских держав. В таких обстоятельствах союз Пруссии очень бесполезен для Англии, и если венский двор нападет на прусского короля, то с здешней стороны нельзя оставить последнего без помощи. Поэтому очень важно знать, чью сторону примет Россия. Если она примет сторону Австрии и Франции против короля великобританского, то гибель английского двора, конечно, неизбежна, ибо против соединенных австрийских, французских и русских сил никто противиться не в состоянии. С этих пор Англия может считаться в Европе американскою державою; она лишится всякого влияния на твердой земле, будучи принуждена запереться на своих островах. Голицын отвечал, что все это передаст своему двору.

12 августа происходила конференция Уильямса в доме вице-канцлера. Английский посланник объявил указ своего короля предложить русскому двору уплату ста тысяч фунтов стерлингов по силе конвенции и прибавить, что русский

двор по принятии этих денег отнюдь ни к чему обязан не будет, а королю это будет особенно приятно, отказ же в принятии денег он примет за явное отречение от его дружбы, да и парламенту об этом иначе объявить нельзя. Король надеется, что он при нынешних столь сумнительных обстоятельствах оставлен не будет, и потому предлагает о вступлении в новые обязательства, особенно относительно защиты ганноверских его земель.

29 августа по болезни канцлера Уильямс явился опять к вице-канцлеру с письмом от английского министра в Берлине Митчеля. В письме говорилось, что король прусский, не довольствуясь двукратным ответом венского двора, велел министру своему потребовать от императрицы-королевы точного ответа, в мире или войне желает она с ним находиться, и что он, король, намерен дожидаться этого ответа при армии своей в Силезии. В то же время Фридрих II велел Митчелю чрез него, Уильямса, представить в Петербурге, чтоб русская императрица соизволила принять на себя посредничество в примирении Австрии с Пруссией, и для того намерен он, король, прислать в Петербург своего министра, если ее величество изъявит на это свое согласие. Воронцов отвечал, что он не в состоянии дать ответа на это предложение, должен сказать только одно, как непонятны и несогласны друг с другом эти прусские поступки: с одной стороны, Фридрих II оскорбляет и порицает оба императорские двора заявлениями, что они заключили против него наступательный союз и наступление с русской стороны только затем не последовало, что русская армия не снабжена людьми и флот не в состоянии действовать; с другой стороны, венскому двору делает сильные угрозы и в то же время здесь просит посредничества и позволения прислать министра. Его прусское величество мог бы быть удостоверен, что императрица такого порицания от него равнодушно терпеть отнюдь не будет и римскую императрицу без помощи не оставит. Уильямс заметил на это, что он обязан был сообщить предложения как посол государя, находящегося в дружбе и с Россией, и с Пруссией, но как частный человек он не может похвалить поступок короля прусского. В конференции 2 сентября положено было дать такой ответ Уильямсу относительно прусского предложения: «Императрица, будучи сама оскорблена королем прусским и в то же время пребывая в наитеснейшем союзе с императрицею-королевою, находит несогласным с своим великодушием и справедливостью принять посредничество между Австриею и Пруссией. Ее величество оставляет прекращение этих ссор собственному решению обеих держав, сама будет довольствоваться точным исполнением принятых ею с венским двором обязательств».

7 сентября Уильямс был приглашен на конференцию к канцлеру в присутствии вице-канцлера, где был ему сообщен этот ответ; что же касается до его предложения принять субсидные деньги, то ему дано знать, что прием денег отлагается до того времени, пока князь Голицын не пришлет точного ответа английских министров, какого рода будут новые предложенные ими соглашения с Россией. 30 октября Уильямс опять приезжал к канцлеру и сильно хвастался милостивым приемом, который он получил от императрицы третьего дня в доме вице-канцлера; потом распространился о желании прусского короля помириться с Россией. Вскорости после его отъезда приехал к канцлеру голландский посланник Шварц, только что возвратившийся в Петербург; Бестужев спросил у него, верны ли известия, будто прусские войска намерены напасть на Курляндию. Шварц

отвечал, что действительно дорогою слышал от многих прусских офицеров, что еще в нынешнем месяце они вступят в Курляндию, чтоб овладеть Либавою и захватить в ней русские магазины; этот город им нужен и для того, чтоб удобнее препятствовать проходу русских галер; Шварц прибавил, что, по его наблюдениям, курляндцы желают вступления пруссаков в их землю.

Через день, 1 ноября, Уильямс приехал к вице-канцлеру и начал говорить, что так как от войны между королем прусским и римскою императрицею, кроме лютейших бедствий, ничего ожидать нельзя, то для предупреждения этого зла, угрожающего всей Европе, остается одно средство: чтоб императрица Елисавета со стороны Марии-Терезии, а король английский со стороны Фридриха II явились посредниками в примирении воюющих держав; это посредничество он, Уильямс, по указу своего двора и с согласия прусского короля снова предлагает императрице. Это посредничество, продолжал Уильямс, при нынешних трудных обстоятельствах становится тем нужнее, что прусский король, опасаясь сильной диверсии с русской стороны, в отчаянии намерен напасть на русские области, как обстоятельно уведомился он от голландского посланника Шварца. Воронцов ему отвечал, что сам вчера слышал от Шварца о враждебном намерении прусского короля, но в России нисколько этого не боятся; что же касается медиации, то он по болезни своей не может сам доложить императрице, а сообщит канцлеру, причем Воронцов спросил посла: имеет ли он от прусского короля полномочие для предъявления порученной ему комиссии? Уильямс отвечал, что теперь не имеет, но может очень скоро получить, как только увидит склонность русского двора к начатию этого дела.

От Воронцова посол отправился к Бестужеву и объявил, что он сейчас был у вице-канцлера с предложением медиации, принятие которой послужит к славе императрицы, потому что не она начинает дело, а король прусский ищет ее дружбы. Канцлер сказал ему на это, что после недавнего и очень ясного ответа императрицы на такое же его предложение он, канцлер, не может донести ей о повторении предложения. Уильямс отвечал, что и он делает предложение не как министр, ибо не хочет в другой раз получить такого же отказа. Так сообщил о своем разговоре канцлер; но вот какое письмо прислал на другой день Уильямс Воронцову: «Я готов сдержать свое слово во всем, что вам вчера обещал. От вас поехал я к канцлеру, и он меня обнадежил, что предложит императрице о медиации. Перечитав опять вчера вечером разные письма Митчеля, я считаю долгом дать вам знать, что король прусский дерется только для получения мира и для безопасности своих областей; я уверяю вас честным словом и уполномочен объявить, что его прусское величество ничего так не желает, как восстановления доброго согласия и искреннейшей дружбы с вашею августейшею самодержицею. Так как теперь каждая минута важна, так как все находится в движении, то я третьего дня отправил курьера в прусский лагерь; содержание моей депеши не совсем будет приятно прусскому королю, ибо я уведомляю его об отъезде фельдмаршала Апраксина к войску. Итак, если преблагий Бог вдохнет мирные чувства ее величеству, то по тысяче причин было бы полезно, чтоб я был о том как можно скорее уведомлен».

На предложение посредничества императрица велела дать Уильямсу такой ответ: «Когда уже на первое господина посла предложение о медиации сказано, что ее император, величество такого поступка от его превосходительства не

ожидала, то теперь легко ему самому рассудить, что усиленное того ж предложения министерству ее императ. величества вновь учиненное повторение еще удивительнее того ее императ. величеству показалось, ибо ее величество справедливо ожидала большего к оказанной своей единожды воле уважения. Ее императ. величество повелевает потому его превосходительству объявить, что как в прежнем ответе объявленные ее высочайшие намерения непоколебимы, так дальнейшее о медиации упоминание более выслушивано не будет. Употребленные ж его превосходительством угрозы, что король прусский сам войска ее импер. величества атакует, служит токмо к ослаблению его предложений, к утверждению, буде можно, еще больше ее императ. величества в своих намерениях, ко оправданию оных пред целым светом и к обвинению пред оным короля прусского».

После этого Уильямсу не оставалось более ничего, как собираться к отъезду из России: здесь им были недовольны, и английское министерство не могло получить высокого понятия о его способностях, когда он так долго вводил его в заблуждение, утверждая в своих донесениях, что и канцлер, и вице-канцлер за английский союз, что всех можно подкупить, и вообще доставлены неверные известия. Только в конце года он уведомил, что ход дела зависит от одной воли и эта воля непоколебима. В конференции, писал Уильямс, великий князь начал было говорить против сближения с Францией и приступления к Версальскому договору, но императрица сказала ему: «Что сделано, то сделано по моему приказанию, и я не хочу, чтоб об этом рассуждали». Великий князь отвечал: «В таком случае мне остается только молчать и повиноваться».

Перемена отношений России к Англии и Франции, разумеется, должна была сильно отозваться в шведских отношениях.

От 2 февраля Панин сообщил о впечатлении, какое произведено было в Стокгольме известием об англо-прусской конвенции: «Великое изумление, в каком вдруг увидели министерство, возбудило во всей публике крайнее любопытство. Невозможно описать действия этой новости в преданных Франции людях. Они целый день по всем публичным местам проклинали короля прусского». Между тем господствующая на сейме сенатская партия сильно действовала против короля и людей, ему преданных. Один из последних, молодой граф Горн, был отправлен королем в Петербург с известием о кончине матери королевской, герцогини голштинской, которая постоянно получала пенсию от русского двора. Сенатская партия начала повсюду разглашать, что Горн отправлен просить помощи для введения самодержавия. С изъявлением соболезнования о кончине королевской матери отправлен был из Петербурга в Стокгольм граф Ягужинский, по поводу которого канцлер Бестужев писал Панину: «Вы, чаю, и без меня ведаете, что он зять его превосходительству Ив. Ив. Шувалову: я рекомендую и прошу ваше превосходительство показать ему там вашу благосклонность, дружбу и всякие учтивости не только по тому одному, что Иван Иванович мне особый приятель, но наипаче для того, что, когда вы ему о ваших собственных нуждах и прошениях внушите, я по возвращении его сюда в том для вас с лучшим успехом трудиться надеюсь». На это Панин отвечал: «Граф Ягужинский живет в моем доме и своею свитою оный преисполнил; по повелению вашего высоко-графского сиятельства я всевозможнейше стараюсь его угостить, и, правда, он сам по себе видится быть тихий и добрый; но, сколь притом приметить возможно, ему предписана против

меня великая в речах скромность; и при первой почте он мне объявил, что сам ко двору доносить будет о своей комиссии, после чего ни о чем до того касающемся ко мне не отзывался, и всю свою мне неизвестную корреспонденцию производит переводчик Бартеломанов, который пред моими подчиненными часто показывает свое любопытство о моих здесь обращениях, а наипаче о корреспонденции с вашим высокографским сиятельством».

Весть о восстановлении дипломатических сношений России с Франциею произвела в Стокгольме впечатление, какого, по словам Панина, описать было невозможно: «Одни чрезвычайно торжествуют, а другие с такою же неумеренностию упадают, третьи боятся своим делам дальних из того следствий, все же купно ни о чем другом не говорят ни в публице, ни приватно». Панин дал знать Бестужеву, что сенатор Гепкен, ссылаясь на донесения шведского посла в Петербурге Поссе, внушает королю и другим, что не канцлер, а вице-канцлер Воронцов ведет переговоры с Дугласом, отчего в конференции противная Бестужеву партия получила верх; следствием будет выезд Уильямса из Петербурга, обессиление Бестужева и восстановление французского влияния.

От 14 июня Панин сообщил об открытии в Стокгольме страшного заговора, следствием чего были аресты, пытки и сильное волнение народа. Главами заговора оказывались члены придворной партии гофмаршал граф Горн и граф Браге. Король объявил в Сенате, что он не принимал никакого участия в заговоре; несмотря на то что приверженцы противной партии кричали на площадях, что надобно короля свести с престола и возвести наследного принца или по крайней мере выслать из государства королеву. По получении этого известия канцлер Бестужев по приказанию императрицы написал Панину, чтоб он никоим образом не вмешивался в дело; если же король или королева станут жаловаться на свое стесненное положение, то может их уверить, что императрица не оставит их без помощи, лишь бы остались нетронутыми установленная форма правления и вольность чинов государственных. Горн и Браге погибли на эшафоте; так как они в своих показаниях оговорили королеву, то упсальский архиепископ с двумя епископами отправлены были к ней для религиозного увещания. Королева на это увещание дала им письменный ответ: «Мне приятны ваши увещания, на которые, по вашим словам, подвигла вас ревность к Божией славе, ко благу отечества и ко спасению души моей; я постараюсь следовать вашим советам и надеюсь успеть в том с Вышнею помощью, причем объявляю, что сильно осуждаю опасный заговор, недавно составленный и благовременно открытый милостию Божиею». После этого к лежащему в лихорадке королю явилась депутация государственных чинов с сильными выговорами за его и супруги его поведение относительно Сената и за последний заговор, которым узел союза между королем и нациею разорван и может быть восстановлен только подписанием нового акта королевского обещания.

От смут в шведском правительстве посланник должен был обращаться к собственным делам. «Ягужинский, – писал Панин канцлеру, – несумненно под руководством скаредного Бартеломанова наставлен был рассмотреть мои дела, яко единственно пристрастием моей к вам преданности производимые, и досконально разведать о моей с вами и с бароном Корфом корреспонденции (неприятелем которого Бартеломанов себя и поручика Левашова объявляет за то, что он (Корф) их яко российских благородных особ достойно не почитал), причем они оба себе

ожидали скорого определения на мое место. Но как он, граф Ягужинский, последним стережен ни был, чтобы не дал мне своей доверенности, однако же, наконец, ощутительно увидел его черное сердце, мерзкое высокомерие и весьма малый смысл и способность, что ему открыло глаза во многих ему данных предрассуждениях, и теперь по последней мере, что до начал дел вообще и особливо здесь касается, принял со всем столько другого понятия, сколько достанет силы его молодости, еже несумненно ваше высокографское сиятельство приметить изволите из того, как он, возвратясь, отзываться будет. Правда, я в нем со всем истребить не могу предубережения, будто б ваше высокографское сиятельство ему недоброжелательны; он на протекцию вице-канцлера больше, нежели на чью другую, полагается; но притом ныне находится в несказанном удивлении, как его сиятельство с своею прозорливостью столько допустил, по его слову, себя обморочить таким скарредным простяком, каков Бартеломанов, которого будто б он, вице-канцлер, почитает первым в способности изо всех коллежских служителей. Наконец, милостивый государь, он мне в конфиденцию открыл, как вице-канцлер, ему приказав меня обнадежить о непременной его ко мне милости, поручил притом неприметно мне дать выразуметь, будто бы он причину имел сомневаться, что я его не счисляю между моими милостивцами, в чем, может быть, я других допускаю себя проводить, и что он весьма желает мне служить, лишь бы я мои желания ему показал. На такие милостивые диспозиции я учинил взаимное внушение, что я в приватном моем поведении не имели не имею случаев кого-либо против себя раздражить, следовательно, тем меньше могу сомневаться о доброжелании его сиятельства; милостивцев же себе одними мне порученными делами искал и ищу, а ежели в некоторых из них я столько был несчастлив, что его сиятельство апробации не удостоился, то и тут ожидаю от его справедливости, что он вину искать будет в ошибке моей доброй совести, внутреннего удостоверения и чести, откуда все мои начала и сентименты беру и на них до тех пор твердо полагаюся, покамест инако уверен найдуся, а мое в свете бытие столь низко почитаю, что не могу себе представить, кому бы была нужда меня проводить. Впрочем, что мне до услуг касается, мои обстоятельства всем известны, и ежели я чему достоин, то его сиятельство не погрешит пред своею честью и меня того не лишит, я же в себе таких достоинств не нахожу, чтоб самому искать воспользоваться его ко мне милостью».

В начале сентября Панин представил Ягужинского королю на прощальную аудиенцию. Адольф-Фридрих, поручая Ягужинскому передать императрице обычные приветствия, сделал это со слезами на глазах. Панин при этом счел «долгом человечества и благопристойности» уверить короля в теплом участии, какое принимает императрица в его печальном положении. Король послал сказать в Сенат, что намерен пожаловать графу Ягужинскому свой портрет равной цены с теми, какие даются министра второго ранга, притом табакерку с часами. Сенат отвечал, что так как он весь предмет поручения Ягужинского не может почитать государственным делом, то и на подарки не может употреблять коронной казны. Король опять послал сказать Сенату, что у него не было намерения требовать денег из государственной казны, но только желал знать, одобряет ли Сенат такой подарок. Сенат, отвечал, что государство, не принимая участия в деле, по которому прислан Ягужинский, не имеет причины давать тут советы его

величеству. Панин писал императрице, что, по его мнению, надобно оказывать совершенное презрение к таким скаредным ухваткам злонамеренной партии.

Скоро, впрочем, Панин должен был отозваться с удовольствием о шведском министерстве, именно по поводу вступления Фридриха II в Саксонию. «Надлежит, – писал Панин, – здешнему министерству отдать справедливость, что оно внутренне совершенно признает беспорядок и несправедливость короля прусского; сенатор Гепкен говорил мне смеясь: чудный это государь! Он уверен, что и потомки будут с удивлением читать о его разумном, умеренном и щедром поведении в Саксонии. Я, продолжал Гепкен, сердечно желаю поскорее услышать о вступлении наших войск в прусские области; это будет самый действительный способ потушить военный огонь».

Между тем английское министерство по внушению Фридриха II представило князю Голицыну о надобности со стороны России сделать что-нибудь в пользу утесненного Сенатом шведского короля; прусский король желает знать, сделает ли что-нибудь Россия, и если сделает, то и он поступит по ее примеру. В Петербурге посмотрели на это как «на вымысел и покушение» прусского короля, который старается чем бы то ни было занять Россию, чтоб самому быть безопаснее с ее стороны. В то же время Дуглас сообщил, что, если верить слухам, король прусский имел большое участие во всем, что происходит в Швеции, и что при таких обстоятельствах всего лучше решение императрицы подать шведским чинам совет не заводить дела далеко; его король уверен, что императрица не отступит от этого решения в таком чисто домашнем шведском деле. Дугласу отвечали, что если король прусский и не имел прежде участия в шведских событиях, то можно с уверенностью сказать, что он желал совершенно другого окончания этих событий. Императрица желает удержать на шведском престоле короля, возведение которого стоило ей целой Финляндии; но в то же время она желает, чтоб это соседственное и дружественное государство ненарушимо пользовалось всеми своими правами; поэтому императрица, естественно, желает, чтоб тамошнее неприятное дело скоро и благополучно окончилось, и признает полезным, чтоб и французский двор с своей стороны подал шведским чинам такой же совет, именно дела далеко не заводить и, держа королевскую власть в ее законных пределах, не пренебрегать личным уважением к королю. На этом основании Панин получил указ действовать согласно с французским министром, когда искусно выведает от него, что он получил от своего двора указ действовать заодно с русским министром. Но когда Панин начал выведывать об этом у французского посла Давренкура, тот отвечал, что последовавшим заключением сейма дела совершенно окончены, почему он передает на собственное рассуждение Панина, могут ли они с приличием и не имея никакой новой побудительной причины начать говорить о таком предмете, которого уже более нет, тем более что шведские министры заклинали его не вмешиваться в их домашние дела, если не хочет у государственных чинов потерять своего и двора своего кредита; по окончании сейма нет более признаков, чтоб король потерпел какие-нибудь неприятности, разве прусский король что-нибудь затеет.

В конце года Панин имел с Давренкуром другое объяснение. Русский двор принял предложение венского двора склонять Швецию сделать диверсию, нападши на владения прусского короля, и Панину поручено было действовать вместе с австрийским и французским министрами. На спрос Панина, получил ли

он от своего двора инструкцию по этому делу, Давренкур отвечал, что не получал и думает, что едва ли Швеции возможно напасть на прусского короля, не рискуя потерять свою Померанию; что он настаивает теперь на одно – на объявление со стороны Швеции на имперском сейме, что она будет стоять за сохранение Вестфальского договора в пользу обиженных дворов вместе с Франциею, которая поручилась за сохранение Вестфальского договора. «Этим объявлением, – говорил Давренкур, – Швеция будет принуждена принять вместе с союзными державами ближайши́е меры».

Панин подчинялся новому положению дел, происшедшему от сближения с Франциею; иначе поступил русский министр в Копенгагене барон Корф, который, подобно канцлеру Бестужеву, не мог сдружиться с мыслью о французском союзе. От 11 декабря коллегия Иностранных дел получила такой указ: «Из реляций посланника нашего Корфа с немалым удивлением усмотрели мы нескладное его толкование и предъявляемые странные опасения и следствия, кои будто от намеряемой Франциею и по трактатам должной посылки помощи императрице-королеве и другим атакованным имперским чинам произойти, нынешнюю войну всеобщую учинить и европейское равновесие совсем испровергнуть могут. Сие наше удивление тем более становится, что он еще притом выхваляет предосторожность тех дворов, которые французских предложений о вступлении с сею короною в тесные обязательства не приняли, но трактаты свои с древними союзниками исполняют, представляя, притом некстати, наитеснейшее соединение трех северных дворов, дабы тем Францию от мнимого им доставления себе европейского перевеса удержать, но в то же время угрожая, что о сем соединении до прекращения шлезвиг-голштинских распрей и помышлять нельзя. А как ему о восстановленном между нами и Франциею добром согласии, равно как и о назначенных для вящего того утверждения взаимных посольствах, уведомление подано, более же того, учиненные нами противу короля прусского всем светом справедливо выхваляемые декларации известны, следовательно, и о намерениях наших генерально при нынешних обстоятельствах не скрыто, то коллегия Иностранных дел собою найдет, коль нужно, помянутому посланнику нашему Корфу заслуженный его смелостью выговор учинить».

Со стороны северных держав нельзя было ожидать помехи в предстоящей борьбе; опаснее казалась Турция, на которую, как мы видели, Фридрих II обратил прежде всего внимание, ища средств отвлечь русские силы от Пруссии. От 9 марта Обрезков писал: «Неожиданное заключение оборонительного договора между прусским и английским королями французскому послу и его шайке смертельный удар нанесло; для уменьшения горести нашли один способ – отрицание, что этому быть нельзя, а если что и постановлено, то только для невпущения вспомогательного русского войска в Германию; но здешняя публика на этот раз в обман не дастся; турецкое министерство с несказанным удивлением услышало об этом происшествии и поздравляет себя, что не заключило союза с прусским королем; если он так подшутил над Франциею, своей искренней приятельницею, то чего бы не сделал против Порты?»

От 6 июля Обрезков писал, что когда Порта узнала о заключении союзного договора между Австриею и Франциею, то верховный визирь приказал рейс-ефенди принять сообщения об этом от посланников с полным равнодушием,

не показывая ни удивления, ни досады, ни удовольствия. В самом же деле этот союз тревожил Порту, ибо она видела здесь измену со стороны Франции, которая сближалась с постоянным врагом Порты. Рейс-ефенди приказал переводчику Порты спросить у австрийского переводчика: куда девались их ежечасные отзывы, что Франция – вероломная, злая и жаждущая только волнений держава, на которую ни в чем положиться нельзя? Французский посланник, заметив досаду Порты, начал внушать турецким министрам, что дружба с Портою будет всегда у Франции на первом плане, какие бы договоры ни были заключены с другими державами, и договор с венским двором нисколько не касается Порты, а только европейских держав. Несмотря на эти уверения, Порта не смягчилась и решила ласкать английского посла, а если и Россия будет увлечена Австриею во французский союз, то искать дружбы с прусским королем.

При таких натянутых обстоятельствах считали нужным соблюдать большую осторожность в отношении к славянским подданным Порты. В апреле месяце вице-канцлер граф Воронцов получил письмо от черногорского митрополита Василия Петровича, в котором тот уведомлял его, что в 1755 году турки и венециане напали с двух сторон на Черную Гору, и хотя черногорцы одержали над турками победу, много их побили, троих начальников взяли живых и повесили, однако на весну враги снова собираются войною на Черную Гору. «Мы, – писал митрополит, – ниоткуда не чаем помощи, кроме Бога и сильного российского скипетра. Плачет бедная Сербия, Болгария, Македония, рыдает Албания в страхе, чтоб не пала Черная Гора; уже Далмация пала и благочестия лишается, будучи напоена униатством; Герцеговина стонет под ногами турецкими. Если Черная Гора будет освобождена, то все к нам пристанут; если же турки Черною Горю завладеют, то христианство во всех упомянутых землях, конечно, исчезнет». «От таких неприятелей, – отвечал Воронцов, – вашему обществу надобно быть всегда в осторожности, не делая им, однако, никакого озлобления, чтоб они не имели причины на вас жаловаться Порте; что же касается защиты Черной Горы от турецких войск, то при надежном случае не оставим сделать представление в пользу черногорского народа как Порте, так и Венецианской республике». К Обрезкову был отправлен секретнейший рескрипт, в котором говорилось: «Что касается защиты черногорцев при Порте, то хотя в нынешнее время, когда мы заняты на другой стороне, формально и с надлежащею твердостью приступить к ней и нельзя, однако, чтоб не привести черногорцев в отчаяние, надобно вам, хотя стороною, сделать все возможное в их пользу; наперед посоветовавшись с переводчиком Порты как с единоверным, постарайтесь исходатайствовать облегчение этому единоверному и усердному к нам народу и давайте знать им тайно обо всем, что будет делаться относительно их при Порте, чтоб они не были застигнуты врасплох. У венецианского посла настояйте, чтоб он писал своему правительству о прекращении обид черногорцам, а во взаимных жалобах сделан был бы полюбовный разбор, за что Россия будет очень благодарна венецианскому Сенату».

Обрезков начал разговор о черногорцах с переводчиком Порты, но тот отвечал, что ему вмешаться в это дело без явной опасности никак нельзя, потому что вследствие беспрестанных нападений черногорцев на соседние турецкие области Порта твердо решила наказать их и поуспокоить; еще менее может он советовать Обрезкову обратиться к Порте с заступничеством, ибо это

заступничество ускорит гибель не только черногорцев, но и всех православных, находящихся под игом турецким; ничто не может быть для Порты чувствительнее, а для бедных православных опаснее, как если русская императрица явится покровительницею последних. Этим турка, как заснувшего льва, можно разбудить. «Я, – продолжал переводчик, – по христианству и справедливой ненависти к варварам должен объявить, что лучший способ к их ослаблению и искоренению – это не подавать им причины к войне; хотя бы война была для них несчастна, однако военный дух, который служит основанием этой сильной империи, возбудится и придут турки в прежнюю ярость и свирепство; тогда как, живя в настоящей тишине и безопасности, год от году ослабевают, потому что управление у них самое оплошное и слабое, нет ни порядка, ни надлежащего послушания, и если еще несколько лет так будет, то империя эта, бывшая страшилищем всего света, подломится и повалится от своей собственной тягости, как ветхая храмина. О Турции нельзя судить по европейским державам, которые обыкновенно в войне разоряются, а в мире оправляются и усиливаются; у турок диаметрально противоположное: они в войне оживляются, а в мире ослабевают, потому что начало и основание их есть оружие; выпусти его из рук, они не знают, за что ухватиться, и бьются как рыба на земле». Обрезков возражал, что между греками и черногорцами большая разница: греки завоеванные, а черногорцы народ независимый, и потому заступничество за них не может возбудить подозрения. «Вы ошибаетесь, – отвечал переводчик, – турки и черногорцев считают своими подданными на том основании, что они зависели от Сербского королевства, завоеванного турками; многие из них, признавая власть Порты, платят ей дань, остальных же, которые живут в неприступных горах и до которых добраться трудно, турки считают отпадшими, подобно майнотам, с которыми Порта ведет войны, иногда удачные, иногда неудачные, но никто их независимыми не признает. Если бы Россия имела дело с каким-нибудь живущим в ней магометанским народом, а Порта стала бы за него заступаться, то, конечно, русскому двору было бы это неприятно». Описав этот разговор. Обрезков прибавляет: «По такому его, переводчика Порты, предъявлению, в коем я по скудоумному моему рассуждению много основательности и резонабельности нахожу, я прямо отзыватьсь удерживаюсь, под рукою же делаю, сколько возможности моей есть, чтоб им какое-нибудь вспоможение подать, имея, однако ж, притом надлежащую осторожность, чтоб не открылось мое за них заступление». Осенью движение русских войск через Польшу повело к объяснениям с Портою, которая предъявила желание, чтоб этого не было. Обрезков отвечал решительно, что императрица непременно подаст помощь своим союзникам и движение русского войска через Польшу происходит не для завоевания ее или отторжения некоторых ее областей, но единственно для подания помощи союзникам. Избавление польского короля не может быть неприятно Порте, которая, конечно, не останется равнодушною, когда Польша достанется брату прусского короля и Турция получит вероломного соседа, презирающего все самые торжественные договоры. Порта не отвечала на это ничего. Поведение Порты пока не подавало еще повода к серьезным опасениям, и потому считали возможным ограничиться приказанием гетману Разумовскому выехать из Петербурга в Малороссию для наблюдения за безопасностью южных границ. В рескрипте к нему из конференции 12 ноября говорилось: «Малороссия

по причине близкого соседства Оттоманской Порты и подвластных ей татар, особенно же своевольства запорожских козаков, которые всегда вместо укрепления соседственной дружбы и согласия подают повод к неприятным жалобам, заслуживает наибольшего внимания».

Войска двигались не на юг, а на запад, чтоб через польские владения вступить в Пруссию; но кто же будет ими предводительствовать?

5 сентября, в день именин императрицы, пожалованы были обер-егермейстер граф Алексей Разумовский, генерал-прокурор князь Трубецкой и генерал-аншефы Бутурлин и Апраксин в генерал-фельдмаршалы, адмирал князь Михайла Голицын в генерал-адмиралы; Разумовскому и Трубецкому назначено оставаться в прежних должностях, а Бутурлину и Апраксину быть при армии. Но главнокомандующим из них двоих был назначен Степан Федорович Апраксин. Об этом человеке дошли до нас дурные отзывы и от чужих, и от своих. Наружность Апраксина, его чрезмерная тучность, изнеженность не говорили в его пользу; его прямо упрекали в трусости, потому что в ссоре с гетманом Разумовским тот сильно прибил его, и Апраксин не потребовал у него удовлетворения по западному обычаю. Ничтожное участие в турецкой войне, разумеется, не давало ему права быть главнокомандующим в войне против первого полководца времени, каким считался Фридрих II. Мы видим, что венский двор указывал на отсутствие искусных генералов в русском войске, и это указание было справедливо. Причина заключалась в том, что в царствование Анны было забыто правило Петра Великого воспитывать войною своих русских генералов, не давая фельдмаршальских мест иностранцам; вместо Шереметевых, Меншиковых, Голицыных и Долгоруких явились Минихи и Леси. Как ни оправдывался Миних в упреке, что не давал хода русским людям, действительность подтверждает упрек: его военная деятельность оказалась совершенно бесплодною относительно образования русских генералов. В начале царствования Елисаветы в шведской войне пробавились иностранными генералами, оставшимися от царствования Анны, – Леси и Кейтом. Леси умер в 1751 году. Кейт, как мы видели, во время пребывания своего в Швеции возбудил против себя подозрение в не очень сильной поддержке русских интересов; но скоро явилась и другая причина столкновения. В 1746 году Кейт обратился к канцлеру Бестужеву с просьбою исходатайствовать у императрицы позволение брату его жить в России. Но Бестужев вместо ходатайства представил, что этот брат Кейта – главный заводчик шотландского восстания в пользу Стюартов и если он найдет покровительство у императрицы, то это должно повести к холодности между Россией и Англиею, которая чрез это получит право давать убежище русским изменникам. Притом подозрительно, не нарочно ли Кейт подослан французами, чтоб именно произвести охлаждение между Россией и Англиею, ибо странно, зачем ему ехать в Россию, когда он мог жить во Франции или Испании. На этом основании Кейту было отказано в просьбе о брате; он обиделся. Назначен был на помощь союзникам тридцатитысячный корпус, и начальство над ним было поручено князю Репнину. Кейт обиделся, почему не ему, и стал просить увольнения от службы. Тщетно канцлер писал ему, что обижаться нечем. Репнин моложе его, а ему, Кейту, и Леси поручается дело более важное – защищать границы империи; Кейт в 1747 году настоял на своем увольнении, представляя, что он оставляет

русскую службу вовсе не по неудовольствию, а потому, что ему необходимо переселиться в Англию; но вместо того он перешел в службу к прусскому королю.

11 октября в ведомостях, которые были отданы под цензуру конференц-секретаря Волкова, появилось известие, что «приготовления к отправлению многочисленной армии на помощь союзникам ее императорского величества с необыкновенною ревностью продолжаются. Несмотря на то что в Риге находится уже весьма знатная часть артиллерии, отправлено туда еще из здешнего арсенала на мореходных судах великое число осадной. В то же время с крайним поспешением на расставленных нарочно по дороге подводах везут из Москвы тридцать новых гаубиц. Главный командир сей армии его превосходительство генерал-фельдмаршал и кавалер Степан Федорович Апраксин к отъезду своему в Ригу находится совсем в готовности, куда отправленный наперед его полевой экипаж уже прибыл. Пребывание же здесь (в Петербурге) его превосходительства походу армии нимало не препятствует. Она теперь за границу уже действительно выступает; а его превосходительство, будучи здесь, на месте, ближе к получению всевысочайших ее импер. величества резолюций о всем, что к лучшему там многочисленной команды управлению принадлежит, рассылает во всю оную ордера с столь большим поспешением, а сам всегда довольно скоро к оной прибыть может, ибо нарочные подводы по дороге для его превосходительства расставлены. Прошедшего понедельника имел честь сей фельдмаршал представить ее императ. величеству находящихся здесь донныне господ генералов для прощания, кои потом немедленно каждый к своим полкам отправились. То же и всему прочему генералитету и офицерам накрепко подтверждено немедленно при своих местах быть. Ее импер. величество хотя исполняет уже таким образом сугубо принятые с высокими своими союзниками обязательства, однако ж в предусмотрительном рассуждении, дабы в случае надобности как отправляемую в поход армию усилить, так и обширные границы прикрывать, указала ее величество формировать новый запасный корпус регулярного войска до 30000 человек, и сие весьма важное и великое дело вверить и поручить в полную диспозицию и управление его сиятельства генерал-фельдцейгмейстера и кавалера графа Петра Ивановича Шувалова. Потребные о том указы уже во все места даны, и по учиненному к тому действительно началу от ревности его сиятельства и известной благоразумной диспозиции несумненно надеяться можно, что сей новый, из наилучших войск составленный корпус будущю весною готов будет везде употреблен быть, где всевысочайшая ее импер. величества служба того потребует».

В этих известиях любопытно выражение: «Пребывание же здесь его превосходительства походу армии нимало не препятствует». Хотели успокоить общество, прекратить толки о том, что какая же это война, когда главнокомандующий спокойно живет в Петербурге. Апраксину действительно не хотелось ехать к войску во время болезни Елисаветы, ибо, будучи хорош со всеми, он знал, как война неприятна молодому двору и канцлеру. Апраксин даже присылал спрашивать великую княгиню, ехать ли ему к армии или оставаться, и получил в ответ, что если останется, то это будет знаком его преданности к ней. Апраксин жаловался императрице на плохое состояние войска; Елисавета была этим сильно взволнована и, обратясь к Петру Ив. Шувалову, сказала: «Вы преувеличиваете мои силы в моих глазах: Бога вы не боитесь, что так меня

обманываете!» После этого Петр Ив. Шувалов целую неделю не пускал Апраксина говорить с императрицею, и Ив. Ив. Шувалов выговаривал ему, зачем напугал больную Елисавету. Но когда императрица выздоровела, нельзя стало больше медлить.

26 октября Апраксин с *фамилиею* обедал у императрицы, 28 – у великого князя; вечером того же дня имел частную аудиенцию у императрицы для принятия последних ее повелений; 30 числа отправился в Ригу к войску; вслед за ним отправился паж, который вручил ему от императрицы дорогой соболей мех с богатою парчою; потом послан был к нему серебряный сервиз в 18 пудов весом. Чтоб русские люди сочувствовали войне как справедливой, с последних номеров «Петербургских Ведомостей» началось печатание «Писем от партикулярного человека к другу своему о нападении короля прусского на Саксонию», где между прочим говорилось: «Можете ль вы мне изо всей истории хотя один такой пример показать, чтобы самые горшие варвары таких людей до смерти били и землю их разоряли, которые им нимало не противятся? Королю прусскому можно, крайней хитрости слово выискав, такое им разумение с толком дать, какое его величеству самому угодно, только уж состояние дел переменить отнюдь нельзя. Целый свет о делах его не по красным цветам тех слов, которыми он предприятия свои застилает, а по внутреннему качеству и доброте самых действий рассуждать станет; а может статься, что мы еще и такого времени доживем, когда все европейские державы устроятся видеть такого принца, который под ложными видами и закрытыми намеряется вместо праведных законов такие от себя правила ввести, которые, кроме ненасытного желания и зависти или кроме ложного мнения о славе, другого основания себе не имеют. А сия страсть в таком монархе крайне опасна, который свою власть и силу на зло употребляет. Эта пагубная страсть со временем всеконечно к гибели его приведет».

Начинали войну, но очень хорошо знали, что «деньги суть нерв войны». На фейерверке, сожженном 1 января, был представлен храм, у обоих входов которого стояли на страже: с одной стороны – Сила и Богатство, а с другой – Героическое намерение и Постоянство. Два последние стража представляли твердую решительность Елисаветы подать помощь союзникам и сдержать властолюбивые, опасные и для России замыслы прусского короля. Сознавали, что для выполнения этого намерения необходимы были сила и богатство. Сила представлялась войском, которое уже двинулось к границам, и для пополнения его рядов назначен был рекрутский набор. Оставался последний и чрезвычайно важный страж храма – богатство, финансовые средства для ведения войны. Мы видели, какие меры были приняты для увеличения доходов именно на случай войны. Вычислили, что одна из этих мер, касавшаяся винной продажи, круглым числом приносила прибыли 73643 руб. В апреле для предстоящих воинских расходов выдача прибыльных денег с соляной продажи на уменьшение подушной подати была прекращена. В сентябре Сенат приказал: для нынешней в деньгах надобности наложить на соль по 15 копеек на пуд, а на вино – по 35 копеек на ведро и продавать соль везде, кроме Астрахани и Красного Яра, по 50 копеек пуд, а вино – везде, кроме остзейских губерний, Малой России и Слободских полков, в кружки и чарки по 2 р. 33/2 копейки ведро, а ведрами гривною дешевле. Но на другой день приехал в Сенат Петр Ив. Шувалов, и при подписании журнала решено дополнить: у Архангельска продавать промышленникам соль из казны по 35

копеек пуд. Через месяц по предложению генерал-прокурора Сенат приказал: по нынешней надобности в деньгах собрать из всех городов и выслать в Штатс-контору наличную денежную казну, каких бы сборов ни было, кроме подушных, соляных, винных и положенных на Адмиралтейство. Камер-коллегия доносила, что в 1755 году было продано водки меньше против прежнего на 15299 ведр, а простого вина – на 59077 ведр, пива и меду – больше на 139084 рубля, вообще же против 1749 года выручено от продажи крепких напитков больше на 1402569 рублей. С 1747 года подушной доимки оказалось 582441 рубль 48 3/4 копейки; это по присланным из коллегий и канцелярий ведомостям, а по ведомостям комиссариатским – 431764 рубля 86 1/4 копейки. Кабацких, конских и других пошлин в недоборе с 1730 года оказалось 3268297 рублей 51 1/2 копейки.

Когда *по настоящей надобности в деньгах* начали думать, как бы сократить расходы, то, вспомнив предложение Петра Ив. Шувалова насчет бесконечно тянувшихся комиссий, имели рассуждение в Сенате, что по разным делам для следствия во многих местах учреждены комиссии, которые продолжаются чрезвычайно, отчего виноватые остаются без наказания, а казна несет напрасный убыток, и приказали: комиссиям репортовать в Сенат каждый месяц о том, что в них происходит, и если из репортов хотя мало усмотрено будет напрасное продолжение, то члены комиссии подвергнутся штрафу. Вследствие этого приказания комиссия о раскольниках донесла, что она до сих пор продолжается за неполучением резолюций на посланные ею в Синод представления. Сенат постановил требовать, чтоб Св. Синод соблаговолил дать резолюции.

Хлопотали, чтоб не было проволочки дел в комиссиях, а тут генерал-прокурор предлагает Сенату донесение прокурора Вотчинной коллегии, что он почти ежедневно представляет коллегии о безволочитном решении дел по подаванию голосов без замедления, но его представления не имеют никакого действия; вице-президент Камынин не подает голоса; а если голос и придет, то журналов не подписывает, отзываясь болезнью, без его же голоса присутствующие дел не решают. По многим делам явные секретарские к челобитчикам прицепки, а другим поновки, при докладе следующего в пользу челобитчика не доложит, и по представлениям прокурора ответа у секретаря не берется; журналы и определения долгое время не сочиняются; по одному делу журнал был написан и отдан секретарю Цурикову, но тот на вопрос прокурора о журнале отвечал, что и журнал, и дело – все он потерял. Та же Вотчинная коллегия чрез несколько времени донесла, что в ней приказных служителей 107 человек, в том числе престарелых и дряхлых – 24, а за таким малолюдством челобитчикам несносная волокита; служители эти содержатся безвыходно; в 1728 году было их более 400 человек, и потому коллегия требовала прибавить по крайней мере еще 100 человек. Сенат приказал исправляться наличными приказными служителями, ибо их из других мест взять нельзя, чтоб и там в делах остановки не сделать.

Позволили себе сделать одну прибавку: по представлению Медицинской канцелярии Сенат велел определить в Москву по немалой обширности города двух докторов – одного при губернской канцелярии, а другого при магистрате – и при губернской канцелярии еще одного лекаря. Надобно было увеличить число медиков, потому что знахари морили народ в Москве; так, было донесено, что священник от Троицы в Серебряниках был болен лихорадкою, знахарь-крестьянин

дал ему порошок, от которого священник умер; оказалось, что порошок был из мышьяка.

Два известия относительно почты всего лучше покажут нам положение бедного и малолюдного государства. От Москвы до Саратова была учреждена почта, но указы в Саратов приходили очень медленно: один сенатский указ шел без трех дней два месяца, а другой – полтора месяца. Курьеры жаловались, что на почтовых станах лошадей держат очень худых, так что иные и до половины стана не доходят. Императрица приказала привезти из Москвы в Петербург лучших дьяконов в среду или по крайней мере в четверг на Страшной неделе, и барон Черкасов требовал, чтоб на почтовые подводы подорожных никому ни для каких дел не давали до тех пор, пока дьяконы будут привезены в Петербург.

Кроме траты людей и денег война имела еще ту невыгоду для малолюдного государства, что как скоро войска очищали внутренние области для заграничного похода, то немедленно усиливались разбои. В Петровском и Пензенском уездах разбойники шайками от 60 до 150 человек начали разбивать дома, жечь и резать людей; в Шацком уезде, приехав в Моршу в козачьем и драгунском платье, разбойники напали на Дворцовую контору и пограбили до 2000 рублей. На Оке, выше Нижнего, появились в двух лодках разбойники, до 80 человек с шестью пушками; войско правительства схватилось с ними и потеряло 27 человек убитыми, 5 ранеными, а из разбойников убито было 6 человек; кроме этой шайки плавали еще две лодки с 30 разбойниками в согласии с первою партией; все они хотели вместе плыть до Астрахани и дорогою разбойничать. Алатурская провинциальная канцелярия доносила, что в городе солдат 96 человек, из которых большая часть стары, дряхлы и увечны, ружья ни одного, пороху, свинцу, шпаг также не имеется, а в марте месяце ночью разбойники напали на провинциальный магистрат и взяли казны 949 рублей. Такие же вести пришли из Шацкой канцелярии. Осенью многочисленные разбойники разграбили вотчину Петра Ив. Шувалова в Московском уезде деревню Чуваксину, крестьян били и жгли.

Кроме борьбы с разбойниками надобилось войско для исполнения печальной обязанности усмирения монастырских крестьян, которые восставали все чаще и чаще. В Шацком уезде возмутились крестьяне Новоспасского монастыря; поехал к ним драгунский капитан с командою. Когда драгуны расположились у монастырского двора, то подле него стали крестьяне, человек 100, и когда капитан объявил им указ о забрании их под караул, то они сказали: «У вас указ воровской, вы, наемщики, взяли деньги». Раздался крик: «Бей всех дубьем!» Ударили всполох, сбежалось крестьян более 1000 человек, бросились на драгун и начали их бить дубьем; капитан вырвался и с четырьмя драгунами ушел в избу; крестьяне начали к ней приступать, бросать в окно жердями и поленьями; капитан выпалил из ружья; крестьяне закричали: «Пужает! ломай избу и зажигай!» Капитан выпалил вторично в окно и одного крестьянина убил наповал; но, видя, что избу ломают, испугался и вышел вон; крестьяне схватили его, били без милости и приковали к ноге убитого им мужика; остальных драгун сковали и посадили при том же мертвом теле; деревенские бабы подходили к драгунам и били их по щекам, а мужчины кричали: «Хотя бы и два полка были присланы, и тут взять себя не дадим».

Команды надобились и для того, чтоб удерживать раскольников от самосожжения. Обыватели разных деревень Чеуского острога собрались в

деревню Мальцову к сожжению. Для увещания их отправились томский воевода Бушнев и Чеуского острога управитель Копьев с командою; они нашли девять изб и вокруг них сажени в три палисадник с немалым укреплением. На увещания воеводы и управителя раскольники, запершиися в этих избах, отвечали: «Мы за веру Христову и за крест двоеперстного сложения собрались страдать и обратиться не желаем»; сказавши это, зажглись, и сторело мужского и женского пола 172 человека да, сверх того, известные злоучители Семен Шадрин, Федор Немчинов и с ними еще третий, неизвестный злоучитель; только один крестьянин, Кубышев, вылез через забор едва живой, обгорелый.

Надобность в войске заставила обратить особенное внимание на однодворцев, образовавшихся преимущественно из разного названия мелких служилых людей, испомещенных на старых украинских, то есть пограничных с степью, местах. Петр Ив. Шувалов подал в Сенат мнение «О беспорядках, каковы происходят за неимением об однодворцах учреждения». Однодворцы, говорилось в мнении, никому в особливое смотрение не поручены, а находятся в ведомстве у воевод, а каким образом воеводам однодворцев содержать, попечение о них иметь, и от обид защищать, и о распространении их экономии стараться, кроме генеральной воеводской инструкции, ничего не предписано, и сами воеводы надлежащего смотрения за ними, как следует экономам, не имеют, но содержат их, как и прочих уездных жителей, по их поселениям для осмотра и распоряжений не ездят, а некоторые хотя и ездят, но более для своих прихотей, отчего однодворцам от взятия подвод и прочего происходит более разорения, чем пользы. Прошлого 1755 года по просьбам однодворцев о защите их от обид и разорений, причиняемых воеводскими канцеляриями, сыщиковыми командами и вальдмейстерами. Сенат велел определить к ним и к прочим государственным крестьянам особенных управителей по примеру устройства дворцовых волостей; только во все города Воронежской и Белгородской губерний таких управителей на самом деле еще не определено. Потому Шувалов предлагал поручить отправляющемуся в те губернии генералу Ушакову во всех городах по желанию и выбору однодворцев определить управителей из штаб- и обер-офицеров надежных и доброй совести людей, а таких, которые прежде были в губерниях, провинциальных и воеводских канцеляриях и вышли из секретарей и других чинов в штаб- и обер-офицерские ранги, в управители не определять и, кто теперь определен из таких чинов, отрешить, а в помощь городovým управителям в селах и деревнях назначить из отставных унтер-офицеров и капралов или из первостатейных однодворцев людей доброй совести с общего выбора. Сенат согласился.

Малороссия с своим козацким войском также должна была принять участие в войне, хотя ее гетман намеревался играть важную роль в Петербурге не в качестве предводителя козаков, а в качестве гвардейского подполковника. Бессознательно, по личным отношениям Кирилла Разумовский потребовал уничтожения неправильности в отношениях Малороссии к Российской империи: с восстановлением гетманства Малороссия опять подчинена была Иностранной коллегии, подобно калмыкам и киргизам, имевшим своих владельцев. Вражда к президенту Иностранной коллегии великому канцлеру Бестужеву заставила Разумовского просить, чтоб его изъяли из ведомства Иностранной коллегии и перевели в ведомство Сената; императрица исполнила его просьбу. Главную

заботу правительства на южной Украине составляли запорожцы. Привыкнув к степному приволью, не зная границ своим владениям, они начали теперь жаловаться, что их теснят. Сенат по поводу этих жалоб приказал перенести запорожские зимовники, находящиеся по сую сторону речки Самоткани, куда-нибудь в другое место в запорожских же дачах, чтоб никаких ссор, особенно же гайдамацкого воровства, не было, ибо гайдамаки имели здесь пристанище; гетман, потребовавши об этом от кошевого мнения и рассмотря его, представил бы о нем в Сенат с приложением собственного своего мнения. Видя, что вследствие неопределенности границ новые переселенцы придвигаются все ближе и ближе к Сечи, запорожцы просили, чтоб у старосамарских жителей отнято было право владеть местами по реке Самаре и чтоб даны были Запорожскому Войску грамоты на все владеемые им с давних времен земли. Им отвечали, что в Сенате нет точного известия и описания этих земель и что грамоты 1688 года и универсал 1655 года, на которые запорожцы ссылались, не отыскались ни в малороссийских делах в Петербурге, ни в архиве Иностранной коллегии в Москве. Запорожцы писали, что, когда гетман Богдан Хмельницкий поддался под русскую державу, в то время Войско Запорожское владело рекою Днепром от Переволочной и всеми впадающими в Днепр реками, особенно же Самарью и по ней лесами и степями. Это, отвечал Сенат, Войско Запорожское представляет весьма напрасно, потому что, когда гетман Хмельницкий пришел в подданство, в то время все города, села и деревни и Войско Запорожское состояли в одной дирекции гетманской и между Малою Россиею и Войском Запорожским границы не было, но, где были пустые земли, там как запорожским, так и малороссийским козакам не запрещалось держать пасеки, рыбу и зверя ловить, а на Сечи запорожской в то время никаких мест и селений особливых не бывало. Сенат приказал, чтоб гетман, комендант крепости Св. Елисаветы и Запорожское Войско назначили особых людей, которые должны сделать описание всем запорожским землям угодьям, положить на карту и представить в Сенат. В то же время правительство давало чувствовать Запорожью, что полная независимость при выборах должностных лиц не будет им допущена. Гетман донес Сенату, что в Сечи на сходке атаманом определен прежний – Григорий Федоров, а судья, писарь и есаул новые и что эту перемену козаки сделали, не давши знать ему, гетману; он велел кошевому и старшине прислать ответ, на каком основании это сделано. Сенат одобрил распоряжение Разумовского.

На восточной Украине среди магометанского народонаселения сочли нужным сделать такое распоряжение: в Казанской, Воронежской, Нижегородской, Астраханской и Сибирской губерниях, где татары-магометане живут особыми деревнями; если в этих деревнях русских и новокрещен нет, а магометан по нынешней ревизии написано мужеского пола от двух– до трехсот в каждой, позволять в них строить мечети, где нет или были сломаны по указу 1744 года. Если в татарской деревне живут новокрещенные, которых наберется десятая часть, то их всех вывести в другие деревни и поселить вместе с крещеными; если же в деревне будет новокрещен больше десятой части, то их не переводить, а в этой деревне мечети не строить. Попечитель над новокрещеными статский советник Вячеслов писал, что в Казанской губернии во всех иноверческих деревнях новокрещенные живут с некрещеными, и не только в каждой деревне, но и в одних домах и семьях при отцах некрещеных дети новокрещенные, а в иных дворах отцы

новокрещены, а дети иноверцы, отчего происходит немалый соблазн, да и священникам в такие дома для обучения христианскому закону и со всякими требами входить нельзя. Сенат отвечал на это прежним распоряжением: крещеных переселить в другие деревни – христианские, а если крещеных больше десятой части, то вывести некрещеных в деревни магометанские.

Позволение строить мечети при известных условиях было следствием прошлогоднего бунта башкирцев, которые поднялись под религиозным знаменем, выставляя основною причиною неудовольствия притеснения магометанской вере; главным возмутителем был мулла Батырша. В описываемом году Батырша был наконец пойман с одиннадцатью учениками и отправлен в Тайную канцелярию, где написал любопытный рассказ о своих похождениях. «По окончании моей науки жил я около полутора года в Каннской волости в деревне муллы Илша, а потом восвояси возвратился и в деревне Карыш около шести лет жил, робят обучал и поповскую должность отправлял, о законе Божиим толковал. Около здешних мест российские архиереи, попы и другие насильством, нападками, лукавством в христианский закон обращают; за обращенных в христианство магометане должны ясак платить; из казны Господа Бога, из гор и озер, соль брать запретили, из городов покупать принудили. Когда некоторые старшины объявили, что из городов брать соль не желают, то командиры бранили их, по щекам били, за бороду таскали. В город ехать суда просить народ никакой уже надежды не имеет; которое дело можно было в один день кончить, месяц таскали, а которое в месяц можно было кончить, из взяток год продолжали. Некоторые злые старшины с народа взятки брали и, напившись пьяны, людей саблями рубили и много обижали, а когда на них суда просили, то не получали. Во время проезда с делами русских людей битьем, мучением, взятками, воровством неизреченные обиды показаны, излишние подводы требованы, проводников драгуны смертельно бьют. Бедный народ никакой себе надежды не имеет. Народ негодовал, и разнесся слух, что башкирцы Ногайской, Сибирской и Асинской дорог оружие готовят, а зачем – Богу известно. Чтоб проведать о причине, поехал я в Исецкую провинцию в деревню старшины Муслима будто в гости. Жители деревни воздали мне великую честь: из окрестных деревень мулл и других людей призвали, и все, стоя на коленях, поучения мои слушали. Приехали в гости и мещеряки, все напились кумыса допьяна и начали толковать, что соль и звериные ловли им запрещены, неверные русские крестят мусульман в свою веру, от командиров и генералов никакой милости нет и неизреченных тягостей терпеть больше нельзя, хуже что может ли быть, когда из настоящей веры в ложную обращают, ибо каждый человек свою веру любит. Русских, которые насильно из магометанства обращали и мечети разоряли, на весах разума с справедливым золотником надобно судить, так же как и мусульман, которые бы христиан в свою веру привели и церкви разорили, ибо все мы рабы императрицы; когда же государынина милость к рабам неровна будет, то легкомысленные люди рассуждали, что впредь уже ожидать нечего: станем и мы веру их ругать и в свою обращать и имение их грабить. Тайком старшине Муслиму я говорил: „День за день добро ли умножается или зло“. Тот отвечал: „Самому тебе известно, от мучения неверных затылок у меня переломился, чтоб Господь Бог и у них затылок переломил и упование их пресек!“ Выразумев эти происхождения, начал я писать наставительные и разжигательные письма по силе изображения в книгах наших.

Был у мещеряков старшина Яныш, который никогда Богу не маливался, каждый год с своими сотниками не по очереди людей в поход писал, которые должны были откупаться; вора не судил, истца мириться принуждал, где б ни увидел красивую женщину, насильством блуд чинил, бил людей, которые не хотели идти к нему под суд, а требовали суда ахунов и мулл, судящих по книгам; а если кого надобно было отослать к муллам, то приказывал последним решить дело так, как ему хотелось. Я сужу праведным судом, и за то ученые люди и народ хотели меня сделать ахуном над всеми жителями Сибирской дороги; Яныш противился, но не успел. День за день между народом ведомости и слова умножались, что, как лошадей откормят, народ поднимется. Лето наступило, земля просохла, и указ пришел, чтоб Яныш с командою скоро на коней садился, ибо Ногайской дороги башкирцы встали, так шел бы на них. Я пошел к Янышу с представлением несчастного положения народа, который как птицы, испугавшись кречета, отлететь изготавились. «Все знаю, – отвечал Яныш, – нападки день ото дня умножаются; до сих пор даром или за малые деньги можно было доставать деготь, который для выделки кож употребляли; теперь запретили употреблять деготь, велели из городов рыбий жир брать, а вместо двух рублей двадцать издерживаем. Слух носится, что из правоверных держав должно прибыть войско, тогда и сделаем дело; а теперь одним встать нельзя, будем задавлены множеством русских; башкирцам же ничего не будет; тотчас с женами и дочерьми сядут на лошадей и как ветер перелетят». Я говорил: «Если около нас находящиеся степные и по лесам живущие башкирцы за веру восстанут, то мы, одни мещеряки, из жилища нашего выйти способа не сыщем и драться с многолюдными мусульманами не можем, также и кровь их проливать в книгах наших правила не сыщем». «Если мусульмане усилятся, то мы соединимся с ними, а теперь лучше подождать», – отвечал Яныш. Я побранился с ним за это, назвал его лисицею, наполненною коварством: когда собака ее догоняет, то хвостом и направо, и налево вертит. Яныш говорил мне на это: «Слова твои с книгами и разумом сходны; но у старых людей пословица есть, и та с книгами не сходна, я тебе говорю: потерпи, безвременное дело непристойно бывает; ты своих речей народу не разглашай, ибо народ что мухи – в которую сторону ветер подует, туда и летят». Я решился потерпеть и съездить в Оренбург за вестями; пришел за паспортом к писарю Кузьме; тот в старом паспорте выскреб имя и, написав мое имя, отдал мне; потом попотчивал крепким медом и сказал: слух носится о прибытии войск из правоверных держав и что Россия опасность имеет. На дороге в Оренбург встретил я башкирцев Буржанской волости, которая вся бежала; они говорили: «Злой вор заводский командир имение наше покрал и разграбил, земли и воды наши отнял, жен и дочерей наших пред нашими глазами блудили; волость, не стерпев, заводского командира убила и побежала. Неоднократно народ наш на того заводского командира ездил с жалобою к дьяволу мурзе (генералу Тевкелеву), но никакой пользы не получали». По возвращении из Оренбурга Батырша продолжал поджигать своих магометан к бунту; ему дали знать, что русские проведали об этом и хотят его схватить. Батырша бежал с женою, детьми и учениками своими; потом должен был расстаться с семейством и только с одним учеником отправился в Казанский уезд, питаясь милостынею и называясь учеником, муллою его нигде не принимали вследствие запрещения от правительства; целую зиму провел в яме; летом опять пошел за милостынею по

деревням; наконец, должен был разлучиться и с последним товарищем, возвратился один домой и тут был пойман.

Хотя, как мы видели, Неплюев писал, что благодаря произведенной им вражде между киргизами и башкирцами России нечего бояться их связи, не все, однако, башкирцы ушли от киргизов и некоторые разбойничали с ними вместе; правительство положило срок их возвращению и все более и более отдаляло этот срок – знак, что желательное возвращение было медленно. Мы видели жалобы Батырши на притеснения; в широких степях русских украин действительно издавна разнуздывалось своеволие всякого сильного человека еще гораздо больше, чем в центральных областях; но Батырше не следовало бы очень жаловаться на русских, когда он так неосторожно выставил поведение туземного старшины Яныша. Что можно было делать в степях, показывает следующий случай. В Уфимском уезде явился неизвестный человек, который называл себя капитан-поручиком Преображенского полка Александром Петровичем Шуваловым, крестником графа Петра; при нем была татарка, с которою жил как с женою, солдат и денщик; одним разглашал он, будто послан графом Петром Шуваловым для приема земель под медные и железные заводы; другим – будто определен в Уфимский уезд ко всем иноверцам воеводою; иноверцы поверили и приходили к нему с жалобами друг на друга; он их судил и осужденных бил плетьюми как следует.

Средняя киргизская орда казалась опасною для сибирских границ, и потому Сенат распорядился, что для успокоения ее генерал Тевкелев должен повидаться с ее ханом Аблай-салтаном, также с тамошнею знатною старшиною и дать доброжелательным двоим старшинам для приласкания их в подарок из казенных вещей каждому рублей на сто. Впрочем, он должен секретно присматривать, не найдет ли какой возможности с русской стороны эту орду привести в несостояние, сколько для того нужно войска употребить и в какое время удобнее произвести это в действие, чтоб впредь от этой орды для сибирского края могла быть отнята вся опасность.

В Сибири убедились печальным опытом, что хлебопашество, заведенное по Иртышской, Колованской и Кузнецкой линиям, служит только в тягость и разорение тамошним городским козакам, также и крестьянам в убыток. Неплюев был согласен в этом с сибирским губернатором, почему Иностранная коллегия подала мнение, чтоб козаков содержать на жалованье и казенном провианте. Но Сенату жаль было затраченных издержек, и он постановил: хлебопашество вовсе уничтожить не следует, а, чтоб людям дальнейшего отягощения и разорения не было, класть на каждого человека не свыше полуторы десятины и не меньше десятины в каждом поле, а сверх того, кто сколько может.

Не упускали случая поближе познакомиться с Китаем: поручик геодезии Владыкин представил в Сенат от директора китайского каравана Алексея Владыкина и от себя составленную им ландкарту китайских губерний и провинций, также план Пекина; при этом директор Владыкин доносил, что ландкарта и план были получены для срисования из ханской библиотеки, на что издержано серебра 1500 рублей. Сенат велел выдать ему эти 1500 рублей, а карту и план хранить в секретной экспедиции.

Глава вторая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1757 год

Договор России с Австриею 22 января. – Договор Австрии с Франциею 1 мая. – Людовик XV не ратификует секретной русской декларации. – Столкновения России с Франциею по поводу Польши. – Взгляд Бехтеева на отношения союзных дворов. – Назначение М. П. Бестужева-Рюмина послом во Францию; письмо его из Варшавы; приезд его во Францию и первая деятельность. – Маркиз Лопиталь – французский посол в Петербурге. – Начало военных действий. – Прусские шпионы. – Неудовольствия в Петербурге на медленность Апраксина; письмо к нему канцлера Бестужева. – Переход русского войска за границу. – Грос-Егерсдорфская битва. – Отступление Апраксина после победы. – Он сменен Фермором в главном начальстве над армиею. – Сношения с Австриею по поводу гонения на православных в австрийских областях. – Сношения с Англиею, Швециею и Польшею. – Внутренние распоряжения относительно войска и финансов. – Крестьянские волнения. – Состояние дел на окраинах.

Зима мешала движению войск, но не мешала дипломатическим приготовлениям к войне. 22 января был заключен в Петербурге новый договор между Россиею и Австриею. Этим договором подтверждался майский договор 1746 года, причем отдельная и секретная статья майского договора становилась основанием настоящего соглашения. Мария-Терезия обязывалась выставить против Пруссии во все продолжение войны не менее 80000 регулярного войска; Елисавета также – 80000 регулярного войска, кроме того, от 15 до 20 линейных кораблей и по крайней мере 40 галер. Договаривающиеся державы будут сообщать друг другу подробные и точные сведения о состоянии своих войск, перешлются взаимно генералами, которые будут иметь право присутствовать и подавать голоса на военных советах; относительно общего плана военных действий будет взаимное соглашение. Так как прусский король в настоящее время употребляет большую часть своих сил против армии императрицы-королевы, то императрица всероссийская обязывается как можно скорее двинуть свои войска в его владения, причем императрица-королева обязывается занимать прусские войска для содействия операциям русских войск. Обе государыни обязываются не заключать ни мира, ни перемирия с общим неприятелем – королем прусским – без взаимного согласия; они будут вести войну до тех пор, пока императрица-королева не получит в спокойное владение всей Силезии и графства Глац. Спокойствие Европы может быть твердо установлено только тогда, когда у короля прусского отнимутся средства возмущать его: обе императрицы употребят все усилия для оказания человечеству этой услуги, и они будут сноситься об этом со всеми другими державами, которые они увидят к тому расположенными. В отдельных статьях договаривающиеся державы обязывались призывать к союзу других государей, и преимущественно французского короля, потом Швецию и Данию, причем Швеция должна быть вознаграждена соответственно ее участию в войне. Россия и Австрия обязываются употребить все средства не только для

возвращения польскому королю Саксонии, но и доставить ему на счет Пруссии приличное вознаграждение за его потери. В отдельной и секретной статье Австрия обязывалась уплачивать ежегодно России по миллиону рублей. Договор был написан на французском языке; но внесено в условия, чтоб этого обстоятельства не считать примером для будущего. Договор подписали: Алексей, граф Бестужев-Рюмин. Михаил, граф Воронцов. Николай, граф Эстергази.

Чтоб отвлечь великого князя Петра Федоровича от короля прусского, Мария-Терезия сочла нужным заключить с ним особый договор, по которому венский двор выплачивал ему 100000 флоринов. Но Кауниц был недоволен и говорил, что эти деньги императрица бросила за окно, потому что великий князь не переменится в своих чувствах к прусскому королю. Марии-Терезии можно было согласиться на ежегодную уплату России миллиона рублей, потому что в новом договоре, заключенном ею с Францией 1 мая 1757 года, король обязался выплачивать ей по 12 миллионов гульденов. Король обязывался выплачивать императрице-королеве деньги и помогать ей войском, пока вследствие мира с прусским королем она не приобретет Силезии, графства Глац и княжества Кроссен; курфюрст саксонский получает герцогство Магдебургское; Франция получает от Австрии часть ее Нидерландов, а другая часть отдается зятю короля Людовика XV инфанту испанскому Филиппу.

В договоре между Франциею и Австриею было определено, что обе державы должны получить, если принудят прусского короля к миру; но когда Россия в особой декларации хотела заявить, что она желает приобрести провинцию Пруссию, которую променяет Польше на Курляндию, то Мария-Терезия сильно воспротивилась этой декларации. Эстергази представлял Воронцову, что императрица-королева готова доставить России не только Пруссию, но и большие приобретения, причем данное уже ею слово больше силы и действия иметь будет, чем глухое постановление, в общих выражениях заключающееся; если это постановление и секрет выйдут наружу, то Франция станет подозревать оба двора и не доверять им, а прусский король, Польша и другие державы станут по всему свету распространять нарекания. Но дело в том, что венский двор уже дал знать Франции о русских требованиях и из Франции пришел совет – отвечать России, что еще не время делать Франции предложение о русских требованиях; причем французский посол в Вене получил от своего двора внушение, что венский двор ошибается, если благоприятствует увеличению России в соседстве Германии; венский двор, быть может, первый будет в этом раскаиваться. На своем донесении императрице о внушениях Эстергази Воронцов заметил: «По моему слабейшему мнению, для нынешних деликатных и весьма сумнительных обращений дел, кажется, можно безо всякого предосуждения на сие желание венского двора поступить, ибо когда Бог благословит оружие российское и завоевана будет Пруссия и другие области короля прусского, то можно будет при примирении общем по тогдашним обстоятельствам в награждение убытков с нашей стороны Курляндию или город Данциг за собою удержать или какие другие авантажи получить». Дело было отложено до более благоприятных обстоятельств.

Мы видели, что в самом конце 1756 года и Елисавета приступила к первому Версальскому договору, но с особенным условием относительно Турции и Англии. Бехтеев должен был объяснить французскому министерству, что в России медлили с приступлением к Версальскому договору, желая не только восстановить

доброе согласие, но и положить ему непоколебимое основание, и потому заботились именно об этом, а не об одной форме; если бы в договоре исключена была, с одной стороны, Англия, а с другой – Турция, то этот договор был бы просто восстановлением дружбы, ибо Англия относительно Франции, а Турция относительно России суть единственные державы, от которых можно ожидать нарушения мира.

Но Бехтеев дал знать Воронцову, что нельзя описать, как секретнейшая декларация прискорбна французскому двору. Он считает это дело нечестным и подозревает канцлера, что он нарочно его устроил, желая или поссорить Францию с Портою, или произвести холодность между Францией и Россией. Рулье выразил опасение, чтоб Бестужев не приказал нарочно сообщить декларацию Порте. «Вице-канцлер Воронцов, как честный человек, этого бы не сделал», – говорил Рулье. На Дугласа страшно раздражены, всю вину складывают на него. Рулье даже решился сказать Бехтееву, что, таким образом, нельзя иметь никакого дела с русским двором.

Официально Бехтеев доносил 8 февраля 1757 года, что акт приступления был ратификован, но ратификовать декларацию не согласились. Король выразился, что «не может согласиться на этот прекрасный секретный акт, который Дуглас имел глупость подписать». Рулье объявил Бехтееву решительно, что и политические причины, и собственный интерес Франции не позволяют этого: при нынешних обстоятельствах надобно удержать Порту от соединения с Англией и прусским королем, не потерять при ней своего кредита и не уничтожить французской торговли в Леванте. Порта сильно встревожилась, узнавши о Версальском договоре и особенно о приступлении к нему России; успокоить ее можно было одним обнадеживанием, что она в акте этого приступления именно будет исключена, и обнадеживание было дано. После этого было бы противно обычаю и праводушию короля заключать вдруг два акта об одном деле, прямо друг другу противоречащие, и как во Франции ни уверены в сохранении тайны (хотя редко бывает, чтоб самый секретный параграф не выходил наружу), однако такой поступок тайною оправдан не будет; поэтому его величество король надеется на известное праводушие и проницание императрицы: от нее не скроется справедливость причин, не позволяющих ратификовать декларацию, как это ни прискорбно французскому правительству.

«И подлинно, – писал Бехтеев, – французский двор приведен в великую печаль и смущение: с одной стороны, он связан данным Порте обнадеживанием, с другой – чувствует неприятные следствия отказа в ратификации. Министерство сильно досадует на графа Эстергази, на Дугласа и графа Штаремберга; на первого за то, что принудил Дугласа к подписанию декларации; на графа Штаремберга за то, что недовольно точно истолковал мнения французского правительства, которое на него в этом деле положилось; о Дугласе Рулье отзывался с великим неудовольствием. В заключение Рулье просил меня уверить высочайший двор, что, несмотря на это неприятное происшествие, король искренно желает большого утверждения благополучно возобновленной дружбы и обнадеживает, что происшедшая неприятность нисколько не воспрепятствует ему вместе с Россией принять меры для удовлетворения венского и саксонского дворов относительно короля прусского».

Но кроме Турции Польша также представляла сильные поводы к неприятностям, потому что Франция боялась, чтоб русская партия в Польше не усилилась благодаря вступлению русского войска в эту страну; ясный признак усиления русской партии, т.е. партии Чарторыйских, французский двор видел в назначении племянника Чарторыйских и друга Уильямса Станислава Понятовского польским уполномоченным в Петербург; тщетно Август III успокаивал французский двор; тщетно Бехтеев уверял Рулье, что с Понятовского взято честное слово держаться настоящей политической системы, и если в поведении его окажется хотя что-нибудь противное, то король немедленно отзовет его; Рулье повторял одно: что Понятовский был друг Уильямса. Рулье передал Бехтееву записку, в которой говорилось, что французский король признает необходимость похода русских войск через польские земли, но необходимо предупредить могущие произойти из этого вредные следствия. Нет сомнения, что поляки, приверженные к России, замышляют конфедерацию, надеясь на подкрепление ее со стороны русских генералов, которые будут начальствовать войском в Польше, надеясь, что и одно присутствие русской армии, если б она не принимала никакого участия в польских делах, доставит им большую силу; а противники их, которые имеют прибежище к французскому двору, принуждены были бы созвать свою конфедерацию, а может быть, захотели бы и предупредить врагов. Так как поход русских войск чрез Польшу имеет целью подать как можно скорее помощь королю польскому вступлением в области его врага, то французский двор признавал и признает за лучшее, чтоб русское войско шло в Пруссию из Курляндии, захватив малую часть Самогитии; но если оба императорские двора признают необходимым, чтоб русское войско шло другим путем через Польшу, то французский двор для сохранения тишины в Польше и для успокоения турок может согласиться на это с одним условием: чтоб русское войско шло через Польшу со всевозможною поспешностью, с наблюдением наистрожайшей дисциплины и платя за все исправно. Потом французский двор признает необходимым, чтоб прежде вступления русских войск в Польшу русские министры в Варшаве устно и письменно объявили, что войска императрицы при проходе через Польшу не намерены ни под каким видом мешаться во внутренние дела республики и что все будет оставлено как теперь, особенно дело острожской ординации. Россия должна употребить все свое влияние, чтоб удержать своих приверженцев от конфедерации, и не должна ни под каким видом вступаться в частные ссоры польских вельмож. Французский король с своей стороны готов дать такую же декларацию для показания полякам, что они не могут ожидать от него никакой помощи для заведения в республике смуты и для воспрепятствования походу русских войск.

Бехтеев, возвращая записку Рулье и поблагодаря за предварительное ее сообщение, заметил, что излишне требовать обнадеживаний в таком деле, которого императрица сама более всего желает, именно сохранения тишины в Польше. Записка эта служила бы только доказательством, что коварные внушения недоброжелательных людей, старающихся возбудить недоверие между двумя дворами, взяли верх, что французский двор подозревает, будто императрица намерена подкреплять какую-то конфедерацию. Подобная записка была бы неприятна русскому двору, а может быть, подтвердила бы все те известия о недружественных поступках и отзывах французских министров в Варшаве и

Константинополе, чему до сих пор императрица не верила. Не только нет ни малейшей нужды в требуемых формальных декларациях, но французский двор и не имеет никакой законной причины их требовать; несогласно с достоинством обоих дворов поступать так формально по желанию нескольких беспокойных поляков, которых ничем нельзя удовлетворить, и если французский двор будет их слушать, то часто принужден будет требовать подобных деклараций, тогда как очень легко избежать всяких неприятностей и без деклараций: пусть только министры союзных дворов прилагают общее старание содержать поляков при доброй системе, поступая во всем согласно.

«Виновник всему этому делу, – писал Бехтеев, – это французский министр в Варшаве граф Брольи, слывающий здесь знатоком польских дел. Глава французской партии в Польше – гетман коронный, почему и войска республики во власти этой партии, и она сильнее всех, и если она будет знать, что никто за других не вступится, то первая начнет всех других притеснять и тем заведет беспокойство в республике. Граф Брольи – человек очень беспокойный, любит предписывать законы и все переворачивать по своим мыслям; по природной же своей остроте и быстроте разума в состоянии выдумать множество способов для подкрепления своих мнений».

Бехтеев, посланный во Францию для установления дружественных отношений между нею и Россиею, считавшихся естественными и необходимыми вследствие перемены политических обстоятельств, – Бехтеев не позволил себе, однако, увлечься своим положением, глядел трезво и осторожно. Он писал Воронцову: «Вся сила состоит в маркизе Помпадур по чрезмерной милости и доверенности к ней королевской. То бесспорно, что она имеет весьма проницательный и прехитрый разум. Маршал Белиль, невзирая на глубокую старость, имеет свежий разум и память. В речах более сокращен, нежели плодовит, мысли весьма ясны, изображает их столь внятно и связно, что очень легко понять его мнение; одну погрешность ему приписуют – страсть к присовокуплению богатства, притом почитают его за человека, который похлебству и лицемерию наилучше умеет дать вид искренности. Аббат Бернис – человек острый, воображение имеет весьма живо, довольно учен и сведущ в делах, сладкоречив, любит светское житье и веселья; он был знаком маркизе, когда она была мадам Тирольи; он в великой бедности делывал для нее стишки и был соучастником в веселиях. Достигнув благополучия, она произвела его мало-помалу, так сказать, из ничего даже до чина статского министра. Можно сказать, что он ее тайный советник. По иностранным делам сии два министра, будучи в великом кредите у маркизы, наиболее силы имеют, почему и все чужестранные министры к ним адресуются. Господину Рулье иногда сие немило, но не смеет против того явно досадовать, опасаясь потерять первое место. По всему кажется, нельзя больше дворам в дружбе быть, как здешний и венский. Сие и нынешнее особенное здешнего двора усердие о интересах венского должно приписывать двум главным причинам: кредиту маркизы и поманке к приобретению новых областей. Но только одна маркиза и аббат Бернис, поставляя себя творцами сея системы, стараются оную сутенировать; прочие министры тому следуют и, пока оные две особы в силе будут, тому следовать будут. Генерально же весь народ поныне австрийцев не любит. Явным негодованием отзываются, что войска и иждивения тратятся на вспоможение древнему их неприятелю. Венский

двор думает, что много здешний уловил. Кажется, здешнее министерство непрозорливо, но заведенная издревле машина так тверда, что трудно ее испортить. В самом деле, Франция великую пользу в нынешних обстоятельствах находит. Ее вид всегда был обессилить австрийский дом и приобретать мало-помалу Нидерланды; она, может быть, то получает, а за то дает ему Силезию, собственное его имение. Итак, Франция всегда с выигрышем остается. Притом сама неохотно уже видит силы короля прусского, который, будучи протестантской веры, зачинает собою в Германии властвовать и кредит ее (Франции) разделять, а со временем ей столько же или еще больше опасным быть может, как и австрийский дом, которого она по меньшей мере турками воздерживать могла.

По всем обстоятельствам видно, что министерству здешнему внушают, якобы Франции никакой пользы нет в обязательствах с Россиею, а только быть в доброй дружбе. Министерство, по слабости своей, однако ж, боясь и угождая маркизе, которая весьма склонна к венскому двору, оное мнение здесь принимает. Сего ради старался граф Старенберг всю негоциацию окончить до прибытия послов без содействия и всех других дворов, хотя о их интересах тут же трактовано; и так не оставлено им как единое приступление и принятие. Сию политику Россия могла простить венскому двору, и поперечить ему не надобно было. Общее дело требовало каким бы то ни было образом Францию серьезно ввести в игру против короля прусского для приведения сего государя в настоящие границы, в чем главный вид России состоит. Теперь она уже введена, и России надлежит необходимо действовать самой у здешнего двора.

Все ныне воюющие державы против короля прусского по побеждении оного обнадежены о выигрыше, а именно: Австрия, как неправо обиженная сторона, бесспорно, берет обратно Силезию и по праву завоевания, и как отнятое у ней имение. Франция спорить не будет получить за то Нидерланды, что она себе формально трактатом обещала. Швеция берет назад от неприятеля также землю, которая ей принадлежала и на которую она еще претензию имеет. Сверх того, три главные союзника о том предупреждены и не токмо оное ей сами обещали, но и формально трактатом в том обязались. Итак, сии три пункта между союзниками предварительно решены, и при генеральном примирении некому в том спорить. Только будет затруднение одной России в одержании того, что она от нынешней войны себе обещает, а именно сверх обессиления короля прусского приобретение себе Курляндии. Правда, постановлено о том с венским двором, но другие союзники, кои как главные державы при замирении будут, о том не знают. Правильно могут тогда говорить, что они чужим добром распоряжаться права не имеют и не должны, но паче, имея с Польшею обязательства, всячески Россию от того отвращать станут. Может Россия предъявлять, что она Польше уступит за то Пруссию. На то нетрудно ответить, что Россия на Пруссию и на завоевание областей короля прусского права не имеет, потому что она, яко ауксилиарная держава и по обязательствам с австрийским и саксонским домами, войну производила. Все тогда, наскучив войною, получая то, что всякий желал, а венский двор первый, выдадут Россию и не похотят для нее одной замирения остановить; напротив того, ежели бы Россия поупрямилась удержать Пруссию, то оставят ее одну; а по политическому резону надобно думать, что Швеция, которой не должно совсем доверять, явно против того деклароваться может, да и для

принуждения к тому России она в состоянии против ее поднять поляков и турков, внушая им только, что Россия без всякого права хочет завладеть у республики Курляндию, собственно ее землею. Необходимо надобно: первое, чтоб Россия при добрых успехах оружия сама объявила войну королю прусскому, к чему суть законные причины. Второе, снестись с Франциею и с Швециею и формально постановить, что ежели Россия завоюет Пруссию (провинцию), то по замирении обязуется ее отдать Польше, с тем чтоб России награждены были употребленные на войну иждивения и убытки, о чем оставляется России трактовать и соглашаться с республикою».

10 июня приехал в Версаль полномочный русский посол граф Михайла Петрович Бестужев-Рюмин. В 1755 году дряхлый, больной Бестужев был вызван в Петербург из Дрездена, где оставил жену в сильной чахотке. Несмотря на то, он сам вызвался ехать послом во Францию письмом к Воронцову: «Ваше сиятельство достойным инструментом были примирения нашего двора с французским, еже к немалой нашей славе и чести приписуется; да соизволите же быть достойным инструментом и в назначении туда посла. Сия дистинкция во особое удовольствие мне будет, и кредит ваш при французском дворе тем более умножится, когда ваш поверенный друг и слуга туда назначен будет».

Бестужева назначили, и легко понять, как должен был отнестись к этому назначению братец-канцлер. Братья соблюдали наружные приличия, бывали друг у друга: Михаил Петрович однажды обедал у канцлера, но по поводу этого обеда Уильямс острил: «Можно себе представить, как был весел этот обед: если б на столе было молоко, то оно бы свернулось от этих двух физиономий».

Бестужев поехал во Францию через Варшаву и воспользовался случаем написать отсюда императрице о неприятном ему Гроссе: «При прощании моем с здешними вельможами и другими чинами они почти единогласно и прямо мне отзывались, что русский двор много теряет, имея здесь посланником своим Гросса, самого чудного человека, который все полезные дела портит своими странными поступками, особенно неуважением к магнатам, чему в республике быть вовсе некстати, ибо там надобно по наружности со всеми приятельски обходиться и стараться ласкою приклонить всякого к своей стороне. Притом он вовсе не знает здешней системы и держится одних князей Чарторыйских, которые, злясь на графа Брюля, что они теперь не в такой силе, как прежде были, что не от их рекомендации зависит пожалование в чины и награждение староствами, враждебно относятся к своему двору и, по-видимому передавшись тайно прусскому двору, действуют согласно с поверенным прусского короля в Варшаве Бенуа. Гросс, слепо пристав к их стороне, грозит их неприятелям покровительством России, под которым находятся Чарторыйские, вследствие чего великий гетман коронный и другие вельможи пристали одни к французской, а другие к прусской партии. Видя неспособность Гросса и невоздержность в речах, видя, что он не может хранить тайны, никто не имеет к нему ни малейшей доверенности, все им гнушаются и избегают его общества, а какое от этого бесславие России, изобразить нельзя».

Бестужеву было поручено склонять польских панов, чтоб Польша также объявила войну Фридриху II, вступившись за своего короля; но старания его были напрасны, и он писал Воронцову: «Поляков я и сам ныне возненавидел, и дельно, что вы их не любите; я их пикировал славою и честью и собственным их

интересом, чтоб они королю своему помогли: могут при сем случае все пруссы себе достать; представлял им пример короля Яна Собеского, когда он под Вену ходил против турок, какую тогда польская нация славу и честь себе получила. Ничто не успевает, но только злости свои между собою продолжают. И то им представлял, что когда король прусский в намерениях своих успех получит, то им первым достанется, ответ их был: Россия сама до того не допустит. Народ чудной: для своих интересов всякие низости делать готов, ноги обнимать и руки целовать».

На дороге Бестужев съехался с умирающею женою, выгнанною из Саксонии прусским нашествием, и, сам больной, привез ее умирать в Париж. Несмотря на то, Бехтеев так описывал поведение Бестужева на приеме у короля: «Его сиятельство, невзирая на многие попытки от подводителя посольского, во всем по благорассудку своему с достоинством, принадлежащим своему характеру, поступал, не давая себя оглушить многословием здешним. Впрочем, мне казалось, что он шел на аудиенцию и говорил смелее самих тех прочих и с такою осанкою, что нарадоваться довольно не мог то видеть и слышать при том рассуждения французов».

В Версале Бестужеву было легче говорить о польских делах, потому что он имел дело уже не с Рулье, находившимся под влиянием Брольи, а с новым министром, известным уже нам аббатом Берни. Бестужеву удалось убедить Берни, что нельзя верить всем вестям из Польши как по характеру поляков, так и по характеру Брольи и при настоящих отношениях нельзя мешать существенного с несущественным, прусского дела с польским. В Петербурге Дугласу было решительно объявлено, что требуемая его двором декларация нисколько не сходна с достоинством императрицы, что король сам ясно усмотрит, если отвергнет всякие коварные внушения беспокойных людей и положится на добрую веру ее величества.

В соответствие Бестужеву одновременно был отправлен в Петербург послом маркиз Лопиталь. Бехтеев описывал его так: «Он роста видного, чаю, за 50 лет, человек, кажется, предобрый, сам просился в сие посольство и с охотою едет к нам». Но о дворянах посольства Бехтеев отозвался к Воронцову не очень лестно: «Когда мне их представляли, то я не знал, что делать. Не можете поверить, как мало сведущи здесь о нас. Причина тому, что мало или почти никого из дворянства здешнего у нас не было, а только подлые или по меньшей мере самые бедные, не выключая и тех, которые министрами были и которые за собственную досаду или в оправдание своих худых поступков, сколько можно, худые мнения об нас подали, так что, кроме ученых и у дел находящихся (да и то не все), прочие французы, особливо знатные, думают, что французу у нас надобно умереть с голоду и с холоду. Трудно у них из головы вынуть это затверделое мнение при роскошах, в которых дворянство здесь погружено, и при малом понятии, которое оно вообще имеет о других землях».

Между тем как немислимый прежде союз трех великих континентальных держав – России, Австрии и Франции – затягивался в Париже и Петербурге, виновник этого союза общий враг Фридрих II в апреле месяце открыл кампанию вторжением своих войск в Богемию. После кровопролитного сражения у Праги урон в обоих войсках оказался одинаков; в июне в битве при Колине Фридрих потерпел поражение, вследствие чего принужден был очистить Богемию.

Австрийцы исполнили договор: заняли главное прусское войско; надобно было русским исполнить свое обязательство – войти в это самое время в прусские владения. В феврале к фельдмаршалу Апраксину в Ригу приехал австрийский генерал С. Андрэ, назначенный по договору состоять при русском войске с правом голоса на военных советах. Апраксин писал о С. Андрэ: «Что касается до поступков сего приезжего, то оный изрядных сентиментов, немалого военного искусства и постоянный человек быть видится. Он мне изъяснился, что по состоянию, в каком ныне неприятель находится, его всемерно всею силою в способное время атаковать надобно и раздроблять армию отнюдь не надлежит, дабы ему над корпусами к поиску способа не подать, ибо он привык сперва разбитием отдаленных корпусов главную армию в бессилие приводить, присовокупя к тому точно сии слова, что с сим гордым неприятелем игрушки (разумея разделение корпусов) употреблять не надобно, но или силою действовать, или ничего не употреблять». Апраксин тут же узнал, что гордый неприятель употребляет и другие средства кроме разбития отдельных корпусов. При главнокомандующем в Риге для секретных дел находился ассессор Веселицкий, родом черногорец, который разобрал зашифрованные письма подполковника лифляндца Блома. Блом вследствие этого был схвачен и показал: в 1753 году он хотел перейти в прусскую службу и для получения отпуска объявил, что в Пруссии его ждет наследство. Он подал просьбу Фридриху II, но ему отвечали, что принять в службу его нельзя по причине старости, ибо ему уже 73 года. Когда он собирался уехать из Потсдама, пришел к нему известный Манштейн и удержал его; а потом капитан Винтерфельд сделал ему предложение – не покидая русской службы, быть прусским шпионом с жалованьем по 180 червонных. Обязанность его состояла в присылке известий о русских полках, о рекрутских наборах, о разных движениях войск. Письма адресовались в Берлин на имя прокуратора Беренса под видом, что переписка идет по поводу тяжбы о наследстве, а вместо Беренса получал их Манштейн. Когда Блом был в Потсдаме, то фельдмаршал Кейт, генерал Винтерфельд и особенно Манштейн наведывались у него: где находится принц Иван, здоров ли он и не женат ли? Действительно ли принцесса Анна умерла, и не было ли вместо нее выставлено тело какой-нибудь другой женщины? Жив ли и здоров ли Бирон? Жив ли Миних? Блом слышал, как Кейт, Винтерфельд, королевский адъютант Будденброк и полковник Манштейн читали письмо на французском языке, полученное Кейтом из России, где говорилось, что между знатнейшими господами в Петербурге происходят великие несогласия, что кредит канцлера очень упал; прибавлено было также известие о деле полковника Олица с крестьянами. Кейт читал письмо, закрывши подпись рукою. Кейт, по уверению Блома, почти каждую почту получал письма из России с точными известиями о всех происшествиях. Блом в своей переписке употреблял условный язык. 50 овец означало 50000 рекрут, под быками разумелась кавалерия и т.п.

Уже в начале года в Петербурге были недовольны медленностью Апраксина. Канцлера Бестужева очень беспокоило это неудовольствие: значение его, видимо, понизилось, он был окружен сильными и торжествующими врагами; Апраксин оставался у него единственный друг с важным значением; успех Апраксина на войне был чрезвычайно выгоден для Бестужева; неудача Апраксина лишала канцлера последней опоры; притом канцлер мог бояться, что враги припишут его

внушениям медленность фельдмаршала. Все это заставляло Бестужева торопить Апраксина, Апраксин сердился: добрый человек и уже немолодой (54 лет), *мирный* фельдмаршал (хотя и казавшийся более воинственным, чем два другие мирные фельдмаршалы – Разумовский и Трубецкой), любивший со всеми жить дружно и жить покойно, весело и роскошно, Апраксин вовсе не хотел торопиться походом. Он имел основание надеяться, что дело не дойдет до настоящей войны, что все ограничится таким же походом, каковы были походы на запад вспомогательных русских отрядов при императрице Анне и недавно при Елисавете, прогулки для возбуждения страха и ускорения мира. Кроме того, молодой двор был против войны, а идти наперекор наследнику престола и его супруге далеко не входило в планы Апраксина, да и приятель умница-канцлер на стороне молодого двора, и при прощаньи сказал, чтоб в поход не выступать до тех пор, пока все будет к нему приготовлено. Апраксин думал, что далеко еще не все приготовлено, что надобно долго и много готовиться, чтоб успешно биться с первым полководцем времени и с его образцово устроенным войском; хорошо, как австрийцы его задержат; если он обратится с главными силами против русского войска, помогут ли тогда австрийцы? Их медленность известна, и теперь двигаются ли они? С чего же канцлер взял торопить русское войско к выступлению в поход зимою, не дождавсь, что там будет у прусского короля с австрийцами? 17 февраля Апраксин пишет к Бестужеву в сильном волнении, говорит, что откажется от начальства войском, жаловался на австрийцев и оканчивал вопросом, не переменял ли канцлер своих мнений, ибо в Петербурге мнения Бестужева были известны ему, Апраксину, и во всем согласны с его собственными. Это письмо Апраксин отправил с доверенным человеком генерал-квартирмейстером Веймарном, чтоб тот хорошенько разведал у канцлера, в чем дело, зачем его так торопят. Бестужев отвечал с Веймарном, что Апраксин, по его мнению, не имеет никаких причин к неудовольствию. «Поныне еще не отказано ни одно ваше представление. Были, правда, некоторые и отчасти строгие понуждения, но ваше превосходительство приметить изволите, что и то предавалось всегда в ваше рассмотрение и волю; а когда вы противу того представляли какие трудности или невозможности, то тотчас получали на то согласование. Справедливо, не можем мы отсюда все так видеть, как ваше превосходительство, но сообщать свои мнения тем не меньше должны. Истинно не имеет здесь никто такого кредита, чьи бы мнения и представления всегда такую скорую апробацию получали. На союзников также жаловаться нельзя: они просят, как нищие милостыни; да, правду сказать, их состояние и жалостно. О ежели б мы на их месте были и такие ж от них обнадеживания имели, какие еще при вашем превосходительстве им даны, то я смело сказать могу, что мы с ними уже поссорились бы. Но их, напротив того, молчание нам внутренне еще больше выговаривает и толь прискорбнее, что сим молчанием не дают нам поводу ни изъясниться, ни оправдаться. А самим нам вызываться истинно не с чем. На другое ж я не имею иного объявить, как крайнее мое прискорбие, что ваше превосходительство о моих сентиментах сомневаетесь. Они неотменны и прежде моей жизни не отменятся. Поставьте их на пробу. Я самую трудную для соблюдения драгоценной мне вашей дружбы выдержу. А между тем не буду спокоен, пока не уверюсь, что ваше превосходительство уверены о истинном усердии и преданности, с коими я есмь».

Вместе с своим письмом Бестужев послал еще письмо великой княгини, в котором она также просила Апраксина не медлить более. Веймарн должен был сказать фельдмаршалу, что письмо великой княгини подлинное, чтоб он ни в чем не сомневался. Апраксин сильно рассердился: он надеялся, что получит чрез Веймарна внушения от Бестужева, согласные с его собственным желанием тянуть время, и обманулся: письмо Екатерины отнимало последнюю надежду. Но с надеждами расставаться тяжело человеку. «Это все канцлеровы финты (выдумки)», – сказал он в сердцах и вынул из шкатулки другое, прежнее письмо Екатерины, сличил – одна рука! Делать было нечего больше. В ответном письме канцлеру он отстранял недоразумение, происшедшее от употреблявшегося тогда иностранного слова *сентимент*, которое означало и мнение, и чувство; Апраксин в своем прежнем письме под переменою сентиментов канцлера разумел перемену мнений, взглядов, а Бестужев счел это упреком в перемене дружеских чувств.

Только 17 мая Апраксин с главным корпусом перешел литовскую границу из Курляндии под Ямышками и 20 числа был в Шавле. 18 вступил в Литву генерал Василий Абрамович Лопухин. Кавалерия шла под начальством генералов Ливена и графа Румянцева. 4 июня войска вошли в Ковно и здесь оставались до 16 числа, потому что от сильных жаров стало умножаться число больных; кроме того, писал фельдмаршал, по причине трудных и узких дорог многое нужно исправить в обозах и отчасти переменить прежние распоряжения. 19 июня почти уже вся армия была за Неманом, 20 переправился сам фельдмаршал.

Между тем еще прежде, 18 июня, генерал Фермор, шедший из Либавы, где присоединились к нему подвезенные морем полки, переступил прусскую границу, направляясь к Мемелю, и 20 числа начал обстреливать этот город; 24 числа Мемель сдался на условия, чтоб гарнизон был выпущен с оружием.

В Царском Селе 6 июля праздновали взятие Мемеля, отправляли благодарственный молебен «за дарованное от всевышнего благословение в самом начале здешнему оружию»; но это благословение послано было отряду войска, а главная армия с фельдмаршалом Апраксиным не переступала за границы. 15 июля Бестужев опять должен был писать Апраксину: «Беспредельная моя к вашему превосходительству откровенность не позволяет мне от вас скрыть, каким образом здесь генерально весьма сожалеют, что недостаток провианта вашему превосходительству воспрепятствовал в неприятельскую землю и в дело до сих пор вступить, которым обстоятельством господин Левальд (пруссский фельдмаршал), пользуясь, уже ретироваться начал. Сие сожаление умножается еще и тем опасением, чтоб он между тем и совсем из Пруссии не ушел, что был бы такую утрату, которая завоеванием Кенигсберга и целой Пруссии награждена быть не могла б и отчего Бог знает какие толкования произошли б. Совершенное мое к вашему превосходительству усердие побуждает меня и то не утаить, что в день конференции на вечер ее императ. величество, вышед в залу, за отсутствием других ко мне, к князь Никите Юрьевичу (Трубецкому), к Александру Борисовичу (Бутурлину) и к князь Михаилу Михайловичу (Голицыну) с великим неудовольствием отзываться изволила, что ваше превосходительство так долго в Польше мешкает».

18 июля идет новое письмо от канцлера к фельдмаршалу: «Должность истинно преданного друга требует от меня вашему превосходительству, хотя с

крайним сожалением и в такой же конфиденции, не скрывать, что, несмотря на всю строгость изданного в народе в вашу пользу запретительного указа, медлительство вашего марша, следовательно, и военных операций начинает здесь уже по всему городу вашему превосходительству весьма предосудительные рассуждения производить, кои даже до того простираются, что награждение обещают, кто бы российскую пропавшую армию нашел. Правда, подобные превратные толкования чинятся от незнания встречающихся вашему превосходительству в том затруднений. Но как со всем тем они вашему превосходительству всегда вредят и вредить могут, то я советовал бы, несмотря на подаваемые вам иногда с какой другой стороны в том успокоения, преодолевая по возможности случающиеся трудности, вашими маршем и операциями ускорять и тем самым выше изображенные толкования пресечь и всем рот запереть».

Наконец, от 19 июля было получено известие из главной армии, что она с 14 числа находится при Вержболове, в полумиле только от прусских границ, и дожидается остальных войск, которые за теснотою дорог вместе идти не могли. При публикации этого известия приложены были причины, почему армия двигалась так медленно: «Великие препятствия и трудности, кои замедлили поход наш до Ковны, не могут никак в сравнение поставлены быть с теми, кои нам от Ковны до сего места преодолевать надлежало. До того места были у нас с великими изживениями запасенные магазины; и впереди благоразумие и близость прусских войск не дозволили учредить оные. Несносные жары, кои собою поход чинят трудным, лишили нас еще способа получать провиант и фураж водою, ибо оттого реки так обмелели, что суда проходить не могут. Необходимость была свозить к армии провиант на обывательских подводках, что, сколько труда, столько ж и времени требовало».

20 июля главная армия перешла прусские границы, и немедленно начались небольшие стычки с неприятелем, а между тем Фермор из Мемеля занял Тильзит и шел для соединения с фельдмаршалом; всего русского войска, вошедшего в прусские границы, полагалось по спискам до 135000 человек, но в действительности было гораздо менее.

Наконец 28 августа жители Петербурга были разбужены в четыре часа утра пушечною пальбою, насчитали 101 выстрел: накануне в 9 часов вечера в Царское Село, где жила императрица, прискакал с трубящими почтальонами курьер генерал-майор Петр Ив. Панин, привез известие о большой победе, одержанной 19 августа русским войском над прусским фельдмаршалом Левальдом на берегах Прегеля при деревне Грос-Егерсдорф. Апраксин так описывал дело.

17 числа неприятель занял лес не далее мили от русской армии с намерением мешать дальнейшему движению русских и три дня сряду показывал вид, что хочет напасть на них. 19 числа в пятом часу пополудни, когда русские начали выступать в поход и проходили через лес, неприятель также начал выступать из лесу и приближаться к русским полкам в наилучшем порядке при сильной пушечной пальбе; и через полчаса, приблизясь к русскому фронту, напал «с такою фуриею сперва на левое крыло, а потом и на правое, что писать нельзя». Огонь из мелкого ружья беспрерывно с обеих сторон продолжался около трех часов. «Я признаться должен, — писал Апраксин, — что во все то время, невзирая на мужество и храбрость как генералитета, штаб- и обер-офицеров, так и всех солдат и на великое действо новоизобретенных графом Шуваловым секретных гаубиц

(которые толикую пользу приносят, что, конечно, за такой его труд он вашего императ. величества высочайшую милость и награждения заслуживает), о победе ничего решительного предвидеть нельзя было, тем паче что вашего императ. величества славное войско, находясь в марше, за множеством обозов не с такую способностью построено и употреблено быть могло, как того желалось и постановлено было». Несмотря на то, неприятель разбит, рассеян и прогнат легкими войсками через реку Прегель до прежнего его лагеря под Велау. Такой жестокой битвы еще не бывало в Европе, по свидетельству иностранных волонтеров, особенно австрийского фельдмаршала лейтенанта С. Андрэ. С нашей стороны урон еще неизвестен; но считаются между убитыми командовавший левым крылом генерал Василий Лопухин, о котором Апраксин без слез вспомнить не мог, генерал-поручик Зыбин и бригадир Капнист; ранены генерал-лейтенанты Юрий и Матвей Ливены и Матвей Толстой; генерал-майоры – Дебоскет, Вильбуа, Мантейфель, Веймарн и бригадир Племянников; но все неопасно. Неприятель потерял 8 пушек, три гаубицы и 18 полковых пушек, пленных у него взято более 600 человек, в том числе 8 обер-офицеров, дезертиров приведено более 300 человек. О присланном с известием о победе генерал-майоре Панине Апраксин писал, что он был при нем во все время похода дежурным генералом, нес великие труды и много помогал ему, фельдмаршалу, во время сражения: куда сам фельдмаршал поспеть не мог, всюду посылал Панина для уговаривания и ободрения людей, так что тот находился в самом сильном огне. «Да и со временем, – прибавляет Апраксин, – по смелости и храбрости его великим генералом быть может; словом сказать, все вашего императ. величества подданные в вверенной мне армии при сем сражении всякий по своему званию так себя вели, как рабская должность природной их государыни требовала. Волонтеры, а именно князь Репнин и граф Брюс и Апраксин, ревностью и неустрашимостью своею також себя отличали, и потому, повергая весь генералитет (особливо всех молодых генералов, кои истинно весьма храбро поступали и в таком огне были, что под иным лошади по две убито или ранено, а генерал-майор Вильбуа хотя и ранен был в голове, однако до окончания всего дела с лошади не сошел, и обретающегося при мне волонтером голштинской его императ. высочества службы поручика Надастия, который так смели храбр и толикую к службе охоту имеет, что не токмо во всех партиях и при авангарде находился, но и везде отлично и неустрашимо поступал), також штаб– и обер-офицеров и все войско к монаршеским вашего императ. величества стопам, препоручаю всевысочайшей материнской щедрости. Чужестранные волонтеры: вначале римско-императорский генерал-фельдмаршал лейтенант барон С. Андрэ с находящимися при нем штаб– и обер-офицерами весьма себя отличил, французские полковники Фитингоф, особливо же Лопиталь и саксонский полковник Ламсдорф с их офицерами також поступками своими храбрыми немалую похвалу заслужили. Что ж до меня принадлежит, то я так, как пред самим Богом, вашему величеству признаюсь, что я в такой грусти сперва находился, когда с такою фуриею и порядком неприятель нас в марше атаковал, что я за обозами вдруг не с тою пользою везде действовать мог, как расположено было, что я в такой огонь себя отваживал, где около меня гвардии сержант Курсель убит и гренадер два человека ранено, вахмейстер гусарский убит и несколько человек офицеров и гусар ранено ж, також и подо мною лошадь – одним словом, в толикой был опасности, что одна только Божия десница меня

сохранила, ибо я хотел лучше своею кровью верность свою запечатать, чем неудачу какую видеть».

По характеру нашего сочинения мы не можем входить в подробности военных действий, но мы не можем не упомянуть о рассказе очевидца Болотова, где объясняется и пополняется реляция главнокомандующего. Но при этом мы не должны забывать, что имеем дело с рассказом девятнадцатилетнего офицера, написанным под влиянием последующих действий Апраксина. Сам Болотов предостерегает читателей: «Я наперед вам признаюсь, что мне самому в подробности все при том бывшие обстоятельства неизвестны, хотя я действительно сам при том был и все своими глазами видел. Да и можно ли такому маленькому человеку, каков я тогда был, знать все подробности, происходившие в армии, и когда мне, бывшему тогда по случаю ротным командиром, от места и от роты своей ни на шаг отлучиться было никуда не можно. Армию в походе не иначе как с великим и многонародным городом сравнить можно, в котором человеку, находящемуся в одном углу, конечно, всего того в подробности знать не можно, что на другом краю делается».

Несмотря на сознание, что ему, как маленькому человеку, нельзя было всего видеть и знать, Болотов охотно повторяет враждебные толки и слухи об Апраксине, да и вообще смотрит неприязненно почти на всех *командиров*. Особенно в неприятном свете выставляется один из генерал-аншефов, Георгий Ливен: «Ливен войсками не командовал, а находился при свите фельдмаршальской и придан был ему для совета и властно как в дядьки: странный поистине пример! Как бы то ни было, но он имел во всех операциях военных великое соучастие; мы не покрылись бы толиким стыдом пред всем светом, если б не было при нас сей умницы и сего мнимого философа».

Болотов согласно с реляциею рассказывает, что русская армия выступала в дальнейший поход, ибо не было никакой надежды заставить неприятеля вступить в битву; но пруссаки воспользовались движением русских и соединенным с ним беспорядком вследствие обоза и неровности почвы и напали нечаянно, не давши русским времени выстроиться. Неприятель, говорит Болотов, имели несравненно более выгод, нежели наши. Их атака ведена была порядочным образом, лучшими полками и людьми и по сделанной наперед и правильно наблюдаемой диспозиции. Артиллерия их действовала как надобно; а весь тыл у них был открыт и подкреплён второю линиею и резервами, из которых им ничто не мешало весь урон в первой сражающейся линии вознаграждать ту же минуту свежими людьми; такую же возможность имели они снабжать дерущихся нужными припасами и порохом. Что касается наших, то, во-первых, диспозиции наперед никакой не было сделано, да и некогда было делать; во-вторых, людей с нашей стороны было гораздо меньше, чем с неприятельской: у них дралась целая линия, а у нас едва только одиннадцать полков могли вытянуться. К несчастью, и эти немногие люди были связаны по рукам и ногам: во-первых, с нами не было нужной артиллерии, кроме малого числа полковых пушек и шуваловских гаубиц, и что можно было из них сделать, когда большую половину их ящиков и снарядов за лесом провезти было нельзя; во-вторых, прижаты они были к самому лесу так, что позади себя никакого простора не имели; в-третьих, помощи и на место убитых свежих людей получить было неоткуда: большая часть армии была хотя не в действии, но стояла за лесом и в таких местах, откуда до них дойти было нельзя.

Несмотря на все эти невыгоды, русские полки стояли твердо, как стена: целые два часа удерживали они натиск неприятеля. Наконец большая часть их была побита и переранена. Ряды редели: офицеров почти никого не было, не стало и пороху. В такой крайности подвинулись они поближе к лесу, но этим еще больше испортили дело: неприятель подумал, что они отступают, и бросился на них с удвоенным жаром. Генерал-аншеф Василий Абрамович Лопухин, как ни уговаривал солдат к храброй обороне, не мог ничего сделать; израненный, он попал в руки прусских гренадер, но русские гренадеры бросились и выхватили начальника только для того, чтоб он умер среди своих. Тогда русские полки, находившиеся за лесом, наскучивши стоять без дела в то время, когда товарищи их погибали, вздумали пойти *или, может быть, посланы были* продираться кое-как сквозь лес и выручать своих. Густота леса была так велика, что с нуждою и одному человеку продрасть было можно; несмотря на то, полки, покинув затруднявшие их пушки и патронные ящики, бросились на голос погибающих товарищей. Тогда все переменялось: свежие полки, давши залп, с криком бросились в штыки на неприятеля, который дрогнул, хотел было построиться получше, но уже было некогда: русские сели ему на шею, по выражению Болотова, и не дали ни минуты времени; пруссаки, начавшие было сперва отступать правильно, скоро побежали без всякого порядка.

Болотов упрекает Апраксина за то, что фельдмаршал в донесении своем хвалит одних волонтеров да иностранцев и умолчал о человеке, ведшем себя действительно по-геройски, полковнике Языкове, который, несмотря на раны, с полком своим выдержал весь огонь и удержал чрезвычайно важный пост, отбив неприятеля. Мы видели, что Апраксин особенно выставил генерала Петра Ив. Панина; но в рассказе самого Болотова останавливает нас любопытное место, где говорится, как несколько полков продрались сквозь лес на помощь к своим, не могшим более выдерживать неприятельский натиск, и обратили в бегство пруссаков. У Болотова встречаем странные выражения: «Полки вздумали пойти *или, может быть, посланы были*». Неужели нельзя было узнать самого важного дела – кто первый вздумал, кто первый сделал движение? Если автор нехотя сказал: «*Или, может быть, посланы были*», то почему не договорил, что послать их и сам с ними идти должен был их генерал граф Румянцев. Сказать это, как видно, было очень тяжело «маленькому человеку», который очень неосторожно выказывает свое старание отнять у *командиров* всякое участие в успехе дела. «Баталия была столь стесненная и спутанная, – толкует он, – что никому из командиров ничего сделать было не можно». Но один командир погиб, исполняя свою обязанность; а другой, двинув свежие полки из леса, дал победу. Неужели Болотов, осведомляясь о подробностях битвы, не осведомился об одном: где был генерал Румянцев в то время, когда его полки выигрывали Грос-Егерсдорфскую победу?

Любопытно, что Болотов, упрекая пруссаков за неверные описания битвы, хвалит самого короля Фридриха II, который, по его словам, «говорит всех прочих справедливее и описывает баталию почти точно так, как она происходила», кроме уменьшения потерь с прусской стороны и показания числа войска, бывшего у Левальда. Но Фридрих II вот что говорит в своих записках о Грос-Егерсдорфской битве: «Левальд атаковал лес, где находились русские гренадеры; эти гренадеры были разбиты и почти все истреблены; но им на помощь Румянцев двинул 20

батальонов второй русской линии: он ударил во фланг и в тыл прусской пехоты, которая принуждена была отступить».

Апраксин оканчивал свое донесение о победе словами: «Теперь мне более не остается, как неусыпное старание приложить о вящих прогрессах для достижения всевысочайшего намерения». Но в Петербурге все дождалось от него известий о вящих прогрессах.

От 13 сентября коллегия Иностранных дел получила такой указ: «После одержанной в 19 день минувшего месяца над прусскою армиею победы армия наша немедленно далее маршировала, и так, что к Алленбургу приближалась в таком намерении, чтоб вторичную дать баталию, но неприятель, несмотря на свое весьма выгодное и весьма крепкое за рекою Алом положение, не отважился обождать атаки, но паче скоропостижно под пушки Кенигсберга ретировался, оставляя всюду знаки крайнего и беспримерного свирепства над собственными своими подданными и лишая оных последнего пропитания. А как потому нашей победоносной армии в дальнем марше недостаток в провианте и фураже причинен, да оттого и подвоз оного труден стал, то наш генерал-фельдмаршал Апраксин за нужное рассудил вместо того, чтоб дальнейшим в разоренную землю вступлением известному голоду подвергнуть армию, повернуться на время ближе к магазинам, лежащим по реке Неману, дабы, там оставя больных и прочие в походе беспокоивающие тягости, вновь с лучшим успехом продолжать свои операции, как то самым делом вскоре показано будет. Коллегия Иностранных дел имеет сие прямое состояние дел в Пруссии как союзным с нами дворам, так и везде, где надлежит толь паче дать знать, что с прусской стороны, конечно, оставлено не будет тому совсем другое истолкование сделать».

От 25 сентября другой указ: «Мы имели причину надеяться, что генерал-фельдмаршал Апраксин, конечно, не замедлит возобновить свои операции; мы тогда ж накрепчайше подтвердили ему ускорить оными. Но к крайнему нашему сожалению, получили мы новое от него доношение, что армия наша, прибыв к Тильзиту, хотя и снабдила себя двунедельным провиантом, однако ж помянутый наш фельдмаршал тем не меньше принужденным себя видел чрез реку Неман переправиться, дабы от таких мест ближе быть, где армию удобнее б на зимние квартиры расположить можно было. Причины, побудившие к сему новому намерению, так важны, что непризнаваемы быть не могут. Армия наша по претерпении сперва в походе таких великих беспрестанно жаров, каким в здешнем климате примера не бывало, вдруг подвержена была в весьма низкой земле претерпевать с четыре недели и паки непрестанно продолжавшиеся дожди. Легко притом можно рассудить, что в таком случае болезни не могли как весьма умножиться, а число слабых и крайне велико быть. Конница, которая с начала весны ведена была с Украйны и других отдаленных мест и такой марш сделала, которому в других местах, конечно, примера нет, имела уже и тем одним изнурена быть; но к большому несчастью, известным образом в нынешнем году недостаток фуража и в самой Польше почти генеральным был, и по вступлении в Пруссию сей недостаток столь умножился, что часто посыланнами больше как за 20 верст фуражирами не найдено совсем ничего оного. Легко потому рассудить, каково имеет быть состояние помянутой конницы и что дальнейшее ее в истощенной земле пребывание было бы известною ее толь по гибелью без всякой, напротив того, уповаемой пользы. Сверх всего того хотя и нет недостатка в провиантских

магазинах, однако ж по мере удаления от оных армии становится крайне трудным или и весьма невозможным подвоз из оных. При таком состоянии дел справедливо мог наш фельдмаршал рассудить, что не токмо для нас, но и для самих союзников наших несравненно полезнее сохранить к будущей кампании изрядную армию, нежели напрасно подвергать оную таким опасностям, которые ни храбростью, ни мужеством, ни человеческими силами отвращены быть не могут. Мы знаем, что с прусской стороны будет всему тому учинено другое истолкование и, может быть, самым индифферентным не покажется сие обыкновенно, что победоносная армия оставляет побежденному неприятелю завоеванную у него землю; но, ведая, напротив того, что прямая тому причина – недостаток фуража и крайняя трудность в пропитании армии и что не оставляется неприятелю таких мест, откуда б он мог воспрепятствовать и паки в земли его вступить, могли б совершенно спокойны быть, какие бы притом с прусской стороны разглашения ни были, толь паче, что мы уверены, что союзники наши не будут притом сомневаться о непоколебимости наших намерений и непременно желании с ними содействовать. Но великодушие наше и прямое союзническое о интересах их попечение превышают все вышеизображенные уважения, почему мы сколь скоро сие последнее нам неприятное известие получили, что наш фельдмаршал и Неман-реку переходить намерен, то еще повелели ему всевозможное в действо употребить, дабы удержать себя в Пруссии и, буде случай будет, неприятеля атаковать».

Но повеление не было исполнено. 28 сентября в армии держан был военный совет, на котором решено отступить за Неман. Посылая в Петербург журнал военного совета, Апраксин писал от 30 сентября: «Суровость времени и недостаток в здешней земле провианта и фуража, равно как изнуренная совсем кавалерия и изнемогшая пехота, суть важнейшими причинами, кои меня побудили, для соблюдения вверенной мне армии, принять резолюцию чрез реку Неман перебраться и к своим границам приблизиться. Сие самое препятствием было над побежденным неприятелем дальнейшие прогрессы производить. Он, хотя по учиненной с моей стороны при Але-реке стратажеме в левую руку к Аленбургу, не обождав ни перехода с армиею через реку, ниже атаки, из виду и ретировался, однако не совсем побежал, но для того только сию ретираду учинил, чтоб, опасаясь моего прямо к Кенигсбергу чрез Аленбург следования, лучшее и крепчайшее место, каковых у него от реки Алы до Кенигсберга несколько заготовлено, занять и проходу моему тем более препятствовать мог. По такой его ретираде уведомясь заподлинно о положении укрепленных до Кенигсберга мест, взятие которых много людей стоило б, и явившееся оскуднение запасного провианта, паче же недостаток фуража в истощенной неприятелем земле, ибо в Кенигсберге шефель муки по семи талеров продавался, с общего согласия всего генералитета поворот учинен к Тильзиту в таком намерении, чтоб, исправясь тамо, паки вперед продвинуться. Но, нашед в Тильзите многие главнейшие и человеческим разумом непреодолимые препятствия от рановременных по здешнему климату ненастей и морозов и не могучи воли Божией противиться, с наимчувствительнейшим моим и всего генералитета сокрушенном, не в сходство высочайшую вашего величества намерения и в противность нашего искреннейшего желания поступить и сие к границам приближение за лучший к соблюдению армии способ тем паче избрать принужден был, что, удержав

Тильзит и реку Неман, також, расположа армию в сей завоеванной Пруссии, так от недостатка провианта и фуража, как и от разделения по частям армии для сбережения завоеванных мест конечная погибель всему войску нанесена была б. Невзирая на то что в Мемеле провианта довольно, которого доставление к армии невозможно ни гафом, ни сухим путем: гафом, потому что на десяти галерах и прочих мелких судах, кои к тому способными найдены и во всей той стороне собраны быть могли, умалчивая о том затруднении, что чрез Шварцер-орт за мелью всякую галеру, выгрузя, перетаскивать надобно, не более 1500 четвертей уложиться может, а сухим путем за крайнею в здешней земле и Жмуидах в осеннее время по низости ситуации распутицею ничего подвозить нельзя, рекою же Неманом за кривым течением оной и многими мелями, по причине которых от большей части к неприятельскому берегу вверх по реке плыть и приставать должно, весьма опасно. Что же принадлежит до добровольного здешних обывателей подвержения в подданство вашего величества, то принятое ими намерение принужденным почестъ должно, как то действительно и оказалось, ибо многие, только что успели присягу принести и тем себя обнадежить, тотчас против нас и вооружились, да иначе и ожидать нельзя, ибо должность к природному государю натурально их на то влечет, а сверх того, всем обывателям, особливо же в городах живущим, от начальства повелено, себя разорению не подвергая, оружие вашему покориться, истолковав им притом, что чинимая по такой крайности присяга без угрызения совести всегда нарушена быть может».

Сильные вопли французского и австрийского послов против Апраксина, жалобы на него генерала С. Андрэ заставляли посылать к нему грозные указы. Апраксин писал императрице 6 октября: «Высочайший указ, мною вчерась полученный, что больше я читал, толь более умножался во мне трепет и отчаяние. Севодни собранному для держания совета всему генералитету я при объявлении того указа принял дерзновение предложить, ежели они примечают, что я есть настоящим препятствием подачи их свободных в советах мнений или причиною к неисполнению ваших высоких мне повелений, то чтоб они приговорили не только от меня главную команду кому принять, но и шпагу свою их присутствию отдавал; но они во мне никакого к тому преступления не нашли и оттого отреклись».

Между тем генералу Фермору, которому более других доверяли, послано было в Мемель приказание отвечать откровенно по пунктам о положении армии и о действиях фельдмаршала. Фермор отвечал 14 октября: «Как пред Богом вашему импер. величеству по сущей правде на повеленные пункты своеручным письмом рабски доношу: 1) до баталии за 12 дней армию людьми нашел я в добром состоянии, а лошадей под кавалерию и артиллерию и полковыми тягостями уже в слабом состоянии; по наступившим же дождям и великим грязям день от дня в совершенную худобу пришли, а по прибытии к реке Але уже и валиться начали; ныне же от дальнего и трудного похода и ненастливой погоды как люди большею частью в немалой слабости, а лошади в негодности находятся, и затем с желаемым успехом военных операций произвести невозможно. 2) Причины отступления армии к ее магазинам суть следующие: недостаток людям и лошадям субсистенции, и хотя б неприятель вторично разбит и Кенигсберг взят был, то, не имея готовых магазинов, войска пропитать нечем было, а в таком противном случае аще бы под закрытием прусского войска блокада города продолжалась, то б за недостатком принуждены были отступить и тем полученную славу умалить. 3)

Армию на зимние квартиры в неприятельской земле расположить, пока неприятельская армия совсем разбита или прогнана не будет, способов представить не можно, кроме предпринятых по крайнему разумению от всего генералитета».

Но вопли французского и австрийского министров против Апраксина не уменьшались, и, несмотря на объяснения Фермора, решено было сменить фельдмаршала и отдать главное начальство тому же Фермору, который заявлял свое участие и сочувствие распоряжениям Апраксина как сделанным с общего согласия всего генералитета. 16 октября Иностранной коллегии дан был указ для сообщения министрам союзных дворов: «Предпринятая единожды без указа нашим генералом-фельдмаршалом Апраксиным ретирада тем больше неприятные произвела по себе следствия, что мы оной предвидеть и потому и предупредить не могли, наступившее же ныне паче всех лет толь рано суровое и почти самое уже зимнее время делает бесплодными все наши усиления поправить их вскорости. Сверх натурально великого прискорбия видеть такое предприятие замедленным и на время весьма остановленным, которое, казалось, не могло не иметь пожеланного успеха, мы чувствуем оттого еще большее огорчение, что 1) операция нашей армии генерально не соответствовала нашему желанию, ниже тем декларациям и обнадеживаниям, кои мы учинили нашим союзникам, — замедлившееся окончание кампании наградить скоростию и силою воинских действий, что 2), положась на доношение нашего фельдмаршала, свету объявили, что поворот нашей армии к магазинам делается только на время и операции вновь с лучшим успехом начнутся и что, наконец, 3) рескриптом нашим от 25 числа минувшего месяца вновь подали мы союзникам нашим надежду, что армия наша все возможное употребит в Пруссии себя удержать и, если случай будет, неприятеля атаковать. Происшествие показало, что ни то, ни другое сделаться не могло. Как бы ни было, наше намерение тем не менее твердо и непоколебимо от согласенных мер нимало не отступить, и как к сему наиглавнейше принадлежит испытать прямые причины, отчего поход нашей армии сперва медлителен был, а потом она и весьма ретироваться принуждена была, дабы потому толь надежнее потребные меры взять можно было, то мы за нужно рассудили, команду над армиею у фельдмаршала Апраксина взяв, поручить оную генералу Фермору, а его (Апраксина) сюда к ответу позвать».

Это заявление должно было успокоить венский двор; но в конце года было еще неприятное объяснение у Кейзерлинга с Кауницем. В ноябре Кейзерлинг получил рескрипт императрицы, повелевавшей ему сообщить австрийскому правительству жалобы православных сербов на гонения за веру. Кейзерлинг начал свой разговор с Кауницем о том, что хотя русская императрица всегда удаляется от вмешательства во внутренние дела чужих государств, однако она не может не ходатайствовать за своих единоверцев, терпящих нужду и притеснения. Она уверена, что императрица-королева об этом не знает, и потому он, Кейзерлинг, должен сообщить канцлеру: 1) в 1754 году в Кроации и прочих областях опубликовано, чтоб все исповедующие греческий закон оставили его и приняли римско-католическую веру, в противном случае будут осуждены на виселицу и четвертование. 2) Греческий закон и исповедующих его поносят самым бесчестным образом, называют их неверными и отпадшими; но так называют язычников, а не людей, верующих во Христа и Его апостолов. 3) Командующий в

Кроации, Далмации и Трансильвании граф Петацы отнял у греческих прихожан Архангеломихайловский монастырь, отчего воспоследовало, 4) что сербы лишены исповеди и св. причастия и принуждены жить в отчаянии. 5) Неуважение к святейшим вещам простирается так далеко, что некоторые католики во время освящения св. евхаристия в греческих церквях взлезают на алтарь и делают всякие непристойности, а в кадилъницы кладут вовсе не благовонные вещи. 6) Службу Божию часто останавливают, приходят в церкви с заряженными ружьями, стреляют и таким образом заставляют прихожан покидать храмы. 7) Оскверняют храмы, позволяя себе в них такие дела, которые и в законных супружествах не дозволяются. 8) Стараются всякими мерами привлечь православных к принятию унии: те, которые непоколебимы в своем законе, принуждены оставить жен, детей, имение или, подвергнуться смертной казни как государственные преступники.

Кауниц отвечал на это письменно: «Мнение господина посла о том, что жалобы на притеснения людей греческого исповедания не достигли к престолу нашей государыни, совершенно справедливо; но по этой самой причине означенные жалобы подозрительны, потому что с священным между государем и подданными союзом согласнее, чтоб обиженные прежде прибегали к своему природному государю и от него ожидали прекращения своим бедам. Императрица-королева велела разведать о деле, и жалобы оказались совершенно ложными, так что само греческое духовенство пришло в изумление и рассердилось. Безбожные люди утруждают этими жалобами императрицу всероссийскую только для того, чтоб в наследных землях императрицы-королевы возбудить непослушание и беспокойство и, если возможно, расстроить тесный союз между обоими императорскими дворами».

В начале года английское министерство все еще толковало о том, отчего бы России не быть посредницею между Австриею и Пруссиею. Русский посланник князь Александр Голицын сообщил своему двору о разговоре своем с графом Голдернесом. «Я не могу надивиться, – начал Голдернес, – что при вашем дворе так неблагоприятно принимается предложение взять на себя посредничество между венским и берлинским дворами: ведь этот поступок не может означать ничего другого, кроме полного доверия к вашей императрице». «Если ее императ. величество уже раз объявила, – отвечал Голицын, – что она намерена точно и верно выполнить обязательства, заключенные с императрицею-королевою, то возобновление предложения со стороны кавалера Уильямса, без сомнения, должно было показаться при нашем дворе гораздо страннее, чем отвержение медиации должно было показаться при вашем. Ясно, что это предложение происходит не от дружеского доверия прусского короля, но от желания выиграть время и чем-нибудь возбудить недоверие между союзными дворами, причем употреблены и угрозы, что иначе король прусский немедленно нападет на русские войска. Такие неприличные угрозы чрезвычайно удивительны, если принять во внимание, с одной стороны, благополучное состояние Российской империи, а с другой – что эти угрозы получают чрез великобританского посла». Тут Голдернес перебил Голицына. «В этом последнем пункте, – сказал он, – я с вами совершенно согласен и могу прибавить, что Уильямс поступил таким образом не только не по указу отсюда, но в последних депешах своих запирается, что никогда никаких угроз не передавал. Впрочем, каждый двор может судить своих министров только по их собственным доношениям, и так как Уильямс очень слабого здоровья и

петербургский климат ему положительно вреден, то было бы бесчеловечно держать его долее при русском дворе».

Голицыну велено было распространяться при всяком удобном случае о жестокостях, которые прусские войска позволяют себе в Саксонии, и прибавлять, что Фридрих II со временем может в этом раскаяться, ибо он грабительствами своими уже наперед оправдал все то, что может случиться в его владениях от нерегулярных русских войск; впрочем, что бы ни случилось, едва ли козаки и калмыки сравняются в свирепости с прусскими солдатами. По поводу этих повелений Голицын писал в Петербург: «Без сомнения, здесь удивляться не будут, если русские нерегулярные войска сделают в Пруссии что-нибудь несогласное с воинскою дисциплиною; здешняя публика мало заботится о разорении прусских областей, лишь бы только прусский король имел успех против австрийцев, защищал Ганновер и, наконец, мог действовать против Франции, а для прусских военных успехов гораздо важнее содержать войско на счет Саксонии, чем сохранить от разорения некоторые собственные области».

В мае Голицын писал своему двору, что успехи прусского короля усиливают гордость английского народа и ободряют английский двор, который начинает почитать себя счастливым, что вступил с Фридрихом II в такой тесный союз и променял на него своих прежних союзников; надеются, что он, безопасный со стороны Австрии, с таким же успехом будет действовать и против Франции. Благонамеренные и беспристрастные люди жалеют, что слепое счастье заставляет английский двор давать веру таким гаданиям. Несмотря, однако, на это, в Англии считали нужным сохранять с Россиею дружеские отношения. По указу от своего двора кн. Голицын дал знать графу Голдернесу, что хотя императрица никогда не жаловалась на посла Уильямса, однако скрыть не может, что ей приятно было уведомиться о королевском намерении отозвать его; но так как вместо ожидаемого отъезда Уильямс стал показывать вид, что хочет пробыть в Петербурге еще целое лето, то императрице также неуютно скрыть, что дальнейшее пребывание его при высочайшем дворе ни ей удовольствия, ни королевским делам никакого успеха не принесет и разве только к тому послужит, что заключение торгового договора отложится на долгое время вследствие нежелания иметь дело с таким министром, который более старается оказывать некстати свое проворство, чем помогать делу праводушием и твердостью и сохранять доброе согласие между дворами. В заключение Голицын прибавил, что кого бы и с каким бы министерским характером король на место Уильямса ни прислал, императрице каждый одинаково будет приятен. Голдернес отвечал, что при его дворе не сомневались насчет дурного расположения императрицы к Уильямсу, когда узнали, что ведение дела о торговом договоре поручено было вместо него барону Вольфу, поэтому, равно как и по причине его расстроенного здоровья, решено было отозвать его из Петербурга; однако, не имея возможности до сих пор сыскать достойного ему преемника, велели ему отложить свой отъезд из Петербурга, чтоб двор императрицы не остался без английского министра; но если у него, князя Голицына, имеется указ да если бы даже и без указа сделано было простое внушение, что пребывание Уильямса никакого удовольствия императрице не принесет, то из Лондона немедленно пошел бы к нему указ поспешить отъездом из Петербурга. Потом, уведомив Голицына, что уже послан Уильямсу указ о немедленном выезде из Петербурга, Голдернес от имени короля уверял, что его

величество искренно желает сохранения дружбы с императрицею, несмотря на то что обстоятельства заставили оба двора разрозниться в своих действиях. Но в июне Голицын получил от Голдернеса такую декларацию: «Предъявленные всероссийскою императрицею при разных дворах угрозы против короля прусского возбудили в его величестве короле великобританском сильное прискорбие. Императрица не может сомневаться в истинной дружбе короля. Его великобританское величество возобновляет наисильнейшее обнадеживание в этой дружбе и надеется подать новый опыт ее дружественным представлением о следствиях, которые будут иметь неприятельские поступки России против Пруссии. Его величество надеется, что императрица прежде приступления к неприятельским действиям обратит внимание на его обязанность защищать торговлю своих подданных на Балтийском море и выполнить обязательства, заключенные с королем прусским. Эти обязательства состоят в том, что Англия и Пруссия соединяют свои силы для воспрепятствования какой бы то ни было державе ввести свои войска в Германию». В июне Фридрих II потерпел неудачу, и в Англии произошла сильная тревога. Голицын писал, что соединения английских войск с прусскими бояться нечего по той простой причине, что у англичан нет войска, едва ли и английский флот явится в Балтийском море, хотя слухи об этом и ходят. Компания торгующих с Россиею купцов отправила к графу Голдернесу депутацию с представлением, что отправление флота в Балтийское море несогласно с интересом английского народа, потому что может окончательно рассорить его с Россиею к крайнему вреду для английской торговли, которого новые союзники Англии вознаградить не в состоянии. Голдернес отвечал, что он думает совершенно согласно с ними: король сильно желает сохранить дружбу с Россиею и намерен вместо Уильямса отправить в Петербург Кейта, бывшего до сих пор послом в Вене; что же касается слухов об отпадении эскадры в Балтийское море, то король окончательного решения по этому предмету еще не принял.

Между тем декларация, врученная Голдернесом Голицыну об английских обязательствах относительно Пруссии, вызвала такой рескрипт императрицы, посланный 30 июня в Иностранную коллегию: «Декларация, данная нашему посланнику князю Голицыну, удивила нас более формою своею, чем содержанием. Еще очень недавно граф Голдернес заявлял князю Голицыну, что хотя английский двор и будет помогать королю прусскому, только не против России. Причин такой внезапной перемены и нескладной смеси уверений в истинной дружбе и угроз, сносить которые мы меньше всего привыкли, нам нет нужды рассматривать. Если английский двор позволил себе эти угрозы, возгордившись победою, одержанною прусским королем под Прагою, то теперь, быть может, раскаивается, узнавши о перемене дел в Богемии и Вестфалии; если он надеялся этою декларациею хотя не испугать нас, но привести в некоторое размышление, то обманулся. Так как, вероятно, английский двор сообщит о своем поступке прусскому королю, а тот преувеличит его значение и употребит в свою пользу, то повелеваем предписать князю Голицыну дать такой ответ английскому министерству: после недавних уверений в дружбе со стороны английского правительства мы ожидали совершенно других опытов этой дружбы, а не чего-либо вроде помянутой декларации. Если бы британское величество перед началом войны приложил равное нашему старание о ее предотвращении, то теперь, быть может, не было бы

нужды упоминать о тех следствиях, которыми угрожает декларация и которые всегда будут приписаны королю прусскому как зачинщику нынешних замешательств в Германии. Мы исполняем только наши обязательства, и если они теперь распространены, то это заранее оправдано опасностью для всех соседей от предприимчивости короля прусского. Мы приказали войскам нашим действовать сухим путем и морем против войск и областей короля прусского, ибо не оставалось другого средства подать помощь нашим союзникам, подвергшимся несправедливому нападению. Блокировать с моря такие места, которые преднамеренно осадить с сухого пути, так согласно с военными правилами и всюду употребительно, что мы не видим, почему бы его британское величество мог счесть своим долгом защищать мореплавание своих подданных в Балтийском море, когда формально обнадежен с нашей стороны, что мы намерены особенно покровительствовать их торговле. Что же касается обязательства Англии и Пруссии противиться вступлению иностранных войск в Германию, то предъявление его меньше всего может удержать нас от исполнения своих обязательств и оправдать поступок, который мог бы быть сделан против этого с английской стороны. Главная цель договора, заключенного между Англиею и Пруссиею, состояла в сохранении общей тишины в Германии, но это самое ни одною из договаривавшихся сторон не исполнено: король прусский первый начал войну, а Англия не старалась удержать его от нее. А когда этот главный, важнейший пункт пренебрежен, то непонятно, каким образом стараются ввести новое право противиться вступлению иностранных войск в Германию, чтоб дать возможность сильнейшему располагать в ней по произволу и теснить слабых, которые будут лишены всякой помощи. Мы ничего не изменим в наших намерениях и объявляем прямо наши мнения: так как мы до сих пор усердно старались и стараемся отделять английские интересы от прусских, то надеемся, что Англия не пристанет к недобрым желанием прусского короля против нас. В противном же случае, а именно если бы с английской стороны каким бы то ни было образом оказано было хотя наималейшее действие против нашего войска или флота, то мы примем это за нарушение всех донныне между нами и Англиею существующих договоров и за явный разрыв мира со стороны Англии, вследствие чего не оставим принять меры, сходственные с нашею честью и достоинством». Когда эта декларация была передана Голицыным Голдернесу, тот объявил, что так как она служит ответом на английскую декларацию, то отвечать на нее теперь нечего; но король надеется, что императрица останется с ним в такой дружбе, какую он питает к ней.

Англии нельзя было ничего сделать для своего нового союзника и в Швеции, которую Австрия, Франция и Россия увлекали в войну против Пруссии. Панин по указу своего двора объявил сенатору Гепкину, что императрица с особенным удовольствием услышит об успехе переговоров цесарского и французского послов в Стокгольме и что шведский король не может ничем больше усилить дружбу с Россиею и укрепить на прочнейшем основании равновесия нарушенное спокойствие Севера, как согласиен на те меры, которые ему будут предложены от упомянутых дворов. Для того чтоб побудить Швецию согласиться на эти меры, императрица не только позволила вывезти 10000 четвертей хлеба из России в Швецию, но и подарила этот хлеб королю, что было особенно важно, когда некоторые шведские области страдали от голода. Но этот поступок произвел в

Стокгольме совершенно другое впечатление, чем какого ожидали в Петербурге. Сенатор Гепкин объявил королю, что хотя русский подарок сделан его величеству, но Сенат не может скрыть, что 1) такой подарок делает короля должником пред императрицею в тягость Швеции, которая не в состоянии отблагодарить Россию равным образом; 2) при этом случае надобно последовать примеру Португалии, которая возвратила назад денежный подарок, присланный ей от английского двора после землетрясения, и за доставленные тем же двором съестные припасы заплатила деньги; 3) отказ его величества принять подарок Сенат приправит таким комплиментом, что императрица никак не рассердится. Король дал знать об этом Панину чрез одного приятеля, закливши посланника честным словом не проговориться, чтоб не испортить еще более отношений его, короля, к Сенату. Гепкин объявил Панину, не угодно ли ему испросить аудиенции у короля для того, чтоб известить его о подарке. Панин понял, что Сенат хочет сложить всю вину отказа на короля, и потому сказал Гепкину: «Не могу скрыть удивления, слыша, как вы отделяете короля от короны. Мне неприлично касаться внутренних ваших постановлений относительно королевской власти: каждая свободная нация имеет свои уставы, но государи относительно друг друга требуют равных прав и преимуществ. У вас самих предписано, чтоб все публичные дела, а особливо с чужестранными дворами, производимы были от одного королевского имени, а если б было иначе, то сами легко поймете, сколько бы произошло отсюда неприятных затруднений. Англия представляет нам такой же пример: ее правительство так же составное, как и шведское, но еще ни один чужестранный двор, не желая ей досадить, не показал различия между ее королем и короною. Вот почему и моя всемилостивейшая государыня препровождает свой подарок королю как главе нации для раздачи бедным шведам, нисколько не разделяя короля от короны шведской. Что же касается аудиенции, то я не имею никакого права ее требовать, ибо двор мой известил о подарке прямо шведского посланника в Петербурге барона Поссе, о чем мне только сообщено». Гепкин, выслушав все это с пасмурным видом, отвечал: «Все это правда, но припомните, что во многих актах говорится: король и корона шведская, а в настоящем случае записка с сообщением одного знака государевой дружбы в виде помощи соседственному народу не имеет достаточного значения публичного акта». Сказав это, он завел речь о посторонних делах.

Два дня спустя после этого разговора Гепкин представил королю, что Сенат не может обсуждать дела о русском подарке, так как он сделан собственно королю и потому зависит от одной королевской воли принять или не принять его. Тут король дал ему своеручную записку для внесения в Сенат, в которой говорилось, что, принимая во внимание такой великий хлебный недостаток в государстве, король считает своим долгом с признательностью принять подарок; впрочем, передает свое мнение на сенатское рассуждение и сделает так, как решит большинство сенаторских голосов. Известия из областей о голоде и требование помощи у правительства заставили Сенат согласиться на принятие подарка, и король, пригласив Панина в кабинет, сказал ему: «Я подарок ее император. величества принимаю с совершенною благодарностью; я рад, что господин Гепкин не заблагорассудил сюда войти; вероятно, по его мнению, и в этой моей благодарности шведская корона не участвует; вам уже известно, какие приемы употреблялись для того, чтоб при этом, как и при всех других случаях, произвести

холодность между императрицею и мною; старались сложить на меня неприятность отказа; но я прямо сказал сенатору Гепкину, что без формального сенатского решения отказа на себя не перейму, чтоб они почувствовались, поняли, как неприятно может быть императрице, что они благоволение ее к шведскому народу так превращают, проводя различие между мною и государством; этого различия императрица никогда не признает, в чем я уверен, имев самые удостоверительные опыты ее материнского обо мне попечения».

Вслед за тем Гепкин дал ответ Панину на внушение его о принятии Швециею французских и австрийских предложений. «Шведский двор, – говорил Гепкин, – искренно желает успеха общему доброму делу и охотно б ему помог; но теперь принять деятельное участие в войне король и Сенат считают невозможным, не подвергая очевидной опасности своих померанских владений, находящихся, как известно, без обороны, перевезти же за море войска для защиты Померании нет теперь физической возможности, хотя бы на то миллионы были употреблены. Как только Швеция теперь осмелится принять участие в войне и объявит об этом на германском сейме, так прусский король по своему положению и нраву сейчас овладеет Помераниею и подвергнет ее одинакой участи с Саксониею». После этого Гепкин распространился о своем нерасположении к Пруссии. «Я, – говорил он, – никогда пруссаком не был; Фридриха II я считаю самым опасным из всех настоящих и бывших европейских государей. Известный всем его образ мыслей, крайность военных начал, бесчеловечные и ужасные правила внутреннего управления и варварские истолкования международных прав должны возбудить против него всю Европу».

Русским посланникам было легко действовать против Фридриха II; они к этому привыкли; но было очень трудно войти в дружелюбные отношения к французскому двору, которого так давно привыкли не отделять от прусского в их враждебности против России. Панин, подобно Корфу, не думал, чтоб в Петербурге так круто повернулось дело, и, привыкнув сообразоваться со взглядами канцлера, писал, что декларация Франции об обязанности своей сохранить ручательство Вестфальского мира сделает войну всеобщею, а решение дел само собою передастся в руки Франции, которая получит преобладающее положение вследствие ослабления морских держав, не могущих более поддерживать равновесие. В ответ на это Панин получил гневный рескрипт, поправленный рукою Воронцова: «Мы не можем скрыть, что такие самопроизвольные ваши рассуждения нам весьма странными показались, тогда как вы о восстановлении между нами и Франциею доброго согласия уведомлены, так же как и о намерениях наших при нынешних обстоятельствах. Наше высочайшее соизволение и точное вам повеление есть, чтоб вы по всеподданнической должности вашей вперед с большею осторожностью и согласно с намерениями нашими о делах рассуждали и поступали». Канцлер по этому поводу написал Панину: «Я вашему превосходительству уже остерегал, чтоб вы в реляциях ваших рассуждения свои как возможно сокращали и доносили только об исполнении посылаемых к вам рескриптов, ибо при нынешних пременившихся конъюнктурах весьма легко случиться может, что министр рассуждениями своими, кои иногда противными быть покажутся принимаемым здесь мерам, вместо уповаемой апробации заслужит себе великий выговор. Сие недавно и действительно воспоследовало с бароном Корфом: он, распространяясь в своих рассуждениях о

старой системе и выхваля тех, кто оной еще держится, отправлен к нему рескрипт с таким жестоким за то выговором, что жесточее того почти и написать нельзя было. В конференции, в которой я по болезни не был, состоялась резолюция вам такой же выговор учинить, как и барону Корфу; я всевозможнейше старался оный совсем отвратить, но в том предупредить никак нельзя было. Со всем тем, однако ж, до того довел, что оный гораздо легче сочинен. При сих обстоятельствах для избежания подобных выговоров за такие единственно от ревности происходящие рассуждения нет лучшего средства, как только, исполняя точно посылаемые рескрипты, о том доносить, не вступая притом в пространные рассуждения. Правда, таким образом не мог бы ревностный министр и верный сын отечества усерднейшие свои сентименты изъявить и тем совесть свою пред Богом и государем очистить, но есть тому способ самый надежнейший, по моему мнению: когда б по обстоятельствам, какие иногда важные рассуждения в голову вселялись, можно оные, не обвиняя в реляциях своих, описывать со всем, давая им только такой вид, якоб они от третьего происходили. Таким образом, как совесть своя очищена, так и опасность выговоров избежана была б, хотя б донесенные рассуждения и не приобрели здесь апробации». Панин отвечал Бестужеву жалобами на свои горькие и стесненные обстоятельства: «Не знаю, что начать боюсь сойти с ума. Могу ли я сохранять твердость и противиться упадку духа, когда беспрестанно представляются глазам самые горестные последствия, а домашнее разорение уже грозит потерей чести? Все это происходит при таких обстоятельствах, когда я от всей коллегии вижу над собою ковы, и нет сомнения, что они твердо решились искоренить меня. Клянусь совестью, что счел бы себя счастливым, если б представился случай честною смертью избавить себя от их рук».

Панину было снова предписано содействовать австро-французским переговорам с Швециею об отправлении шведского войска в Померанию для действия против пруссаков. Вследствие этого в июле Панин представил Гепкину, как необходимо для Швеции этою же осенью начать военные действия, следствием которых будет приобретение Прусской Померании, ибо Фридрих II занят с австрийцами, а фельдмаршал Левальд не может помочь Померании, не поставив себя между двух огней – между шведским и русским войском. Гепкин отвечал, что для начатия военных действий Швеция ждет только окончательных известий от венского и версальского дворов относительно субсидий, без которых Швеция не может вести войны. В начале августа Панин донес, что соглашение о начатии шведами войны состоялось, сделано распоряжение согласно с операциями фельдмаршала Апраксина и прусский посланник Сольмс выехал из Стокгольма. По этому поводу канцлер Бестужев писал Панину, зачем тот не доносит о мнениях короля и королевы относительно всех этих событий, тогда как в Петербурге очень желают знать об этом, особенно о королеве, как она относится к перемене политики, к войне против ее брата. «Я советовал бы вам, – писал Бестужев, – как возможно о том разведывая, прямо в ваших реляциях доносить, избегая, однако ж, во всем, сколько возможно, иностранных слов, что здесь некоторые критикуют». Панин отвечал: «У шведского короля не осталось теперь ничего королевского, кроме имени, а в публике и имени величества почти ему не остается. Супруга его точно так же поражена, да и надобно признать, что едва ли кем-нибудь счастье играло больше, чем ею. В продолжение нескольких лет эта

государыня выдержала внутреннюю борьбу между интересом своего мужа и наследственными прусскими привязанностями, которые соединились с предубеждением в пользу Франции, внушенным ей графом Тессинем и его приятелями. Но только что она отреклась от Франции и прусских интересов и приняла твердое намерение содействовать восстановлению в Швеции старой системы морских держав, как брат ее кинулся в ту же сторону. Это снова возбудило ее нежность к брату, тем более что Фридрих II стал в холодные отношения к Франции, ненависть к которой дошла в ней до высшей степени, потому что благодаря Франции вражда между шведскими вельможами и двором доведена была до крайности; сила и власть сенаторов в народе подкрепляется теперь Франциею; французский посол – друг вельмож и гонитель двора. Описать нельзя грубость, с какою сенаторы ведут себя относительно королевы; довольно сказать, что со времени сейма они не входят в ее комнаты, с того же времени сенаторши – Тессин и Гепкин – перестали ездить ко двору, а прошлую зимой в Сенате уговаривались, чтоб и все другие сенаторши последовали их примеру, так что ко двору ездят только две знатные дамы – графини Бонде и Цедеркрейц. Правда, королева подала к тому повод холодным приемом некоторых из них или, точнее сказать, переменою своего обращения с ними, когда они и мужья их восстали против нее; но можно ли ее за это винить? Нет тех нелепостей, каких бы о ней в публике не разглашали. Короля считают совершенно неспособным, и имени его в делах, кроме формы, нигде не слышно. Вот истинное изображение здешнего двора. Заразиться пристрастием других и, не объясняя побудительных причин, доносить о словах королевы, или вызванных у нее ее непреклонною гордостью, или явно вымышленных ее врагами, – не будет ли это поступком подлым, непростительным для доброго человека, и не повредит ли это чести верного раба, особенно когда король и королева оказывают особенное уважение к ее императорскому величеству и наши дела с другими не мешают, европейские перемены и усилившееся чрез них значение их личных гонителей приписывают единственно собственному несчастью, ярости короля прусского, тонкости французской политики и нетерпеливому желанию венского двора. Кроме того, собственная моя безопасность требует, чтоб, сколько честь и совесть позволяют, мои донесения были согласны или по крайней мере явно не противоречили известиям, которые легко могут доходить, со стороны французского посланника здесь маркиза Давренкура и австрийского графа Гоеса. От первого я не могу ожидать никакого доброго расположения ко мне: доказательством служит письмо его к Дугласу, которое было ко мне переслано от высочайшего двора; смею уверить, что этим письмом он желал только расставить мне сети, которых я тогда счастливо избежал. О графе же Гоесе пусть кто хочет скажет, есть ли в нем хотя одно качество благородного человека, что он не льстец, не лжец и не трус и вместе с тем не преисполнен гордостью, свойственною имперскому графу скаредного воспитания. Он издавна всеми силами искал благоволения французского посла, а теперь так к нему привязался, что если бы венский двор здесь копииста держал, то и тот не мог бы пред ним более раболепствовать, отчего французский посол теперь со всеми нами обходится нестерпимо гордо, так что испанский министр, бывший всегда ревнителем французской системы, принужден был недавно заметить ему, что его диктаторский голос обижает представителей других держав».

В каких *сентиментах* , по тогдашнему выражению, находился Панин к новой системе, видно из следующего письма его к канцлеру: «Венский двор заразил у нас натуральную нашу общую систему, посадя у нас французского министра; время покажет, сколь долго при нем граф Эстергази фигурировать станет и не будет ли наконец сам у него челобитчиком по делам своего двора. Истинно непонятно венского двора ослепление, как он видеть не может, что упадок Англии под французскою силою ему впредь самому будет тягостнее, нежели потеряние Шлезии. Франция После худого успеха последней попытки разорения германского корпуса устремила всеи образы атаковать ту верховную силу, которою все ее усиления в ничто обращались и без которой ей впредь легче будет раздавить аустрийской дом и присовокупя ему Шлезию, нежели теперь без оной».

Русский министр в Польше находился в таком же затруднительном положении относительно французского министра, тем более что и Гросс, подобно Корфу и Панину, привык к старой антифранцузской политике. Правительство требовало от Гросса чрезвычайно трудного дела: старания о примирении польских вельможеских партий. Французский резидент Дюран поступал проще и легче: он стоял за своих, против Чарторыйских, объявляя, что всякая перемена в острожском деле будет очень неприятна противникам Чарторыйских и что это подаст повод туркам вмешаться в польские дела; князья Чарторыйские с своей стороны никогда не могли примириться с двором, если бы острожское дело не было решено по их желанию. «Из этого можно заключить, – писал Гросс, – в каком затруднении находится король в соглашении этих дел и как могут нравиться мои увещания к уступкам и умеренности».

В это время Гросс был еще потревожен письмами, которые сообщил ему по секрету львовский почтмейстер. Малороссийские эмигранты мазепинцы Нахимовские, Мировичи, Орлики, страдая общею эмигрантскою болезнию, еще мечтали, что для них может когда-нибудь наступить благоприятное время, что Малороссия освободится от ига москалей. Приехав из Крыма в Яссы, Нахимовский писал молодому Орлику, бригадиру французской армии, величая его графом: «Дело нашего отечества начинает поправляться, потому что кошевой с Запорожским Войском тайным образом прислал к крымскому хану нарочного под видом купца, который живет в Крыму уже более двух месяцев, а у нас почти ежедневно бывал в Бакчисарае и клятвенно подтвердил о предприятии Запорожского Войска. Хан уже согласился было на принятие Сечи в Алешки, т.е. в то место, где она и прежде была, но еще окончательного решения не объявил: видно, сообщил об этом деле Порте. Я с паном Мировичем представлял запорожскому посланцу, что русские границы идут до Севска, а не до Ингула и Ингульца. Я внушал ему больше всего, что на Микитином Рогу теперь начали крепостцу починивать на собственной запорожской земле, данной королями польскими, от которых у запорожцев есть жалованные привилегии на вольность и права, которые теперь москаль отнял и самих вас, запорожцев, крепостями окружил и под караулом содержит, построив в Сечи крепость. И многие другие внушения о России мы делали, приводя разные примеры, что она ничьих прав своим вероломством не пощадила». С другой стороны, тревожил прусский резидент в Варшаве Бенуа, который хвастался, что его король имеет верные известия из Петербурга, что русское войско ранее половины июля не начнет своих

действий против Пруссии, а до того времени он, король, может быть, принудит австрийцев к миру. Тот же львовский почтмейстер, получивши от Гросса за свои услуги 300 червонных, открыл ему, что Бенуа прислал ему разные прусские декларации, манифесты и тому подобные пьесы для распространения между шляхтою, но он, почтмейстер, все эти пьесы держит у себя и не распространяет.

В мае Дюран по возвращении от гетмана Браницкого из Белостока имел разговор с Гроссом. «Что это значит, – спрашивал Гросс, – что французские приверженцы в Польше до сих пор продолжают интриги при Порте против пропуска русских войск чрез Польшу, тогда как им хорошо известно, что состояние европейских дел совершенно переменяло вид и русские войска идут единственно для вспоможения их государю и что эти так называемые французские партизаны одинаково подкрепляются как с французской, так и с прусской стороны и Бенуа величает их истинными сынами отечества?» «Все здешние магнаты, – отвечал Дюран, – привыкли к интригам и проискам и теперь скоро от них отвыкнуть не могут, надобно их побуждать к этому мягкими средствами; я нарочно ездил в Белосток, чтоб гетману и окружающим его людям внушить другие мысли, что, надеюсь, будет иметь доброе действие».

В том же мае Гросс сообщал Брюлю о соглашении обоих императорских дворов доставить польскому королю город Магдебург с принадлежащим к нему округом, также Сальский округ, а если будет возможно, то и больше в вознаграждение понесенных убытков в Саксонии. Брюль отвечал, что король не находит слов для изъявления своей благодарности, но просил довести до сведения императрицы просьбу короля, нельзя ли доставить королю кроме Магдебурга и Сальского округа еще ту часть Силезии, которая отделяет Саксонию от Польши, что должно помочь достижению известных видов императрицы.

В июне Варшава была сильно встревожена проездом прусского генерала Ломута, который, пробыв двое суток у Бенуа и ни с кем не выдавшись, отправился в Бреславль. Решили, что генерал проезжал для осмотра дороги из Силезии в Пруссию чрез Польшу; театр войны перенесется в Польшу, где произойдет великое замешательство; королю польскому нельзя будет более оставаться в Варшаве. Гросс вместе с австрийским и французским министрами уговаривали Брюля заранее подумать, куда в таком случае переехать королю; предлагали Гродно, прикрытое русским войском, Львов или Шебус на венгерской границе. Положение короля было тем опаснее, что, по признанию Брюля, двор не знал, кому из знатных поляков можно было довериться, ибо если князя Чарторыйские и друзья их недовольны острожским делом и преобладанием графа Мнишка, то и гетман Браницкий, и советники его считают себя обиженными, потому что не все по их воле делается; иные, как Потоцкий, воевода Бельский, которым терять нечего, рады беде, чтоб в мутной воде рыбу ловить. Повод к большим толкам подало заграничное путешествие молодого Чарторыйского, сына воеводы русского, – путешествие чрез Данциг, Берлин и Голландию в Англию. Гросс представлял воеводе русскому о несвоевременности такого путешествия, но тот отвечал, что слухи, распускаемые его врагами, не заставят его переменить план воспитания своего сына, которого давно уже вознамерился отправить в Англию для излечения от ветрености; притом всем известно, что ни он, ни друзья его Пруссии не преданы. Гросс уверял свой двор, что несогласно с характером и выгодами Чарторыйского как первого богача в Польше поднимать в ней

беспокойство. Брюль внушал Гроссу, что для спасения Польши от предстоящих ей бед фельдмаршал Апраксин должен ускорить свои операции и прогнать из Пруссии Левальда, ибо король прусский писал своей матери, что в шесть недель надеется овладеть Богемиею и австрийскою армиею.

Летом приехал в Варшаву также в качестве полномочного министра генерал-майор князь Михайла Никитич Волконский, родной племянник Бестужевых (сын знаменитой княгини Аграфены Петровны); Гросс остался вместе с ним в прежнем характере. В инструкции Волконскому говорилось, что он отправляется вследствие просьб графа Малаховского, князей Чарторыйских и прочих благонамеренных патриотов не только для лучшего отвращения и предупреждения всякого зла, но и для восстановления старой системы, которую Петр Великий положил в основание тишины в республике и общего интереса для России и Польши. Прежде всего Волконский должен был стараться о примирении противных партий, о соединении всех вельмож с благонамеренными, т.е. с членами русской партии, – дело чрезвычайно трудное, тем более что Франция, по известному ее правилу, не перестанет сильно подкреплять своих приверженцев, а король прусский, особенно при нынешних его великих суетах, естественно, будет стараться во всей Польше и Литве возбуждать всякие замешательства. Волконский должен был стараться приобрести у поляков такой кредит, чтоб они всегда, особенно во время бескоролья, поступали по намерениям ее величества и чтоб держались ее покровительства более, чем других держав, равно как давали лучшее удовлетворение относительно единоверных наших в Польше, дел пограничных и выдачи беглых. Еще в 1755 году канцлер граф Малаховский секретно представил русскому двору свои мнения, что в Польше до сих пор не имеют о России ясного понятия, представляют ее шляхте только как розгу, употребляемую в наказание своевольным людям, чем Франция воспользовалась: увеличила число своих друзей и привела Россию в ненависть; поэтому-то и нужен в Польше такой министр, который бы смело опровергал подобные внушения о России, как о розге; этот посол не должен держаться никакой партии, но должен быть посредником и примирителем: так в 1717 году водворено было спокойствие посредничеством Петра Великого. Гетманам поручено иметь надзор над войском при границах, но теперь гетманы чрезвычайно усилили свою власть, делают что хотят, шляхтичи говорить не смеют, чего поправить нельзя без русского посредничества.

Так как все эти суждения графа Малаховского основательны, то Волконский должен домогаться, чтоб всякие беспорядки и нарушения прав и вольностей в Польше были пресечены, чтоб примасу королевства не делалось никакого препятствия в исправлении его должностей, также канцлерам коронному и литовскому незаконная гетманская власть была сокращена, чтоб на сеймиках, сеймах и главных трибуналах не было никаких нарушений законам и установленным обычаям и порядкам; чтоб дело острожской ординации было как можно скорее успокоено; если же кто станет представлять, что иностранная держава не должна вмешиваться в домашние дела республики, отвечать, что вмешательство было бы тогда, если б Россия принялась за решение дела, настаивала, кому именно имения ординации должны принадлежать; но Россия, предоставляя решение королю и республике, настаивает только на скорейшее и удовлетворительнейшее окончание дела, подающего повод к такой вражде и

смуте. Побуждая королевский двор к прекращению раздоров между фамилиями, Волконский должен честь этого прекращения предоставлять королю, а сам должен только убеждать каждого к податливости и умеренности; должен также во всяком справедливом деле подкреплять старых русских доброхотов. Так как некоторые из этих благонамеренных вельмож, и особенно князя Чарторыйские, вероятно, будут сильно докучать о денежном вспоможении, то хотя без него и нельзя обойтись, но не иначе как в случае бескорольства, а теперь давать его было бы излишне, потому что некоторым магнатам ежегодные пенсии даются, а именно: примасу Комаровскому – по 5000 рублей, коронному канцлеру графу Малаховскому – по 7000, литовскому обер-шталмейстеру князю Радзивилу – по тысяче рублей и литовскому канцлеру князю Чарторыйскому доставлена значительная сумма. Так, когда к послу будут обращаться с просьбами, он может в общих выражениях обнадеживать высочайшею милостию, которою никогда не будут оставлены в важных и необходимых случаях. Относительно главнейшего пункта – королевских выборов – надобно теперь же заблаговременно принимать меры, потому что нынешний король при его старости и крайней печали о потере наследственных земель ненадежен. Так как король желает избрания своего сына и так как ему изъявлено на это согласие ее величества чрез посланника Гросса в крайнейшей конфиденции, то Волконский должен был осторожно, но вместе с тем и ревностно внушать об этом знатнейшим полякам и домогаться от них согласия, ибо русский интерес требует возведения на польский престол саксонского принца. Волконский должен был прилагать крайнее старание, чтоб не возбудилось дела об освобождении Бирона.

Девятым артикулом договора вечного мира у России с Польшею выговорено, чтоб греко-российского закона четырем епископиям – Луцкой, Перемышльской, Львовской и Белорусской, монастырям, архимандриям, игуменствам, братствам и всем живущим в Польше и Литве людям иметь свободное отправление греко-российской веры без всякого утеснения и принуждения к принятию веры римской или унии. Несмотря на то, первые три епархии уже давно привлечены поляками в унию, и теперь осталась одна белорусская и несколько монастырей; но и эта последняя претерпевает беспрестанно жестокие обиды: духовенство берут в гражданский суд, других бьют, церкви запирают и вовсе отнимают, ветхих поправлять и новых строить не позволяют, а представления со стороны императорского двора остаются без всякого успеха. На Волконского возлагалось на все эти обиды, как старые, так и новые, словесно и письменно подать при польском дворе сильнейшие жалобы и домогаться, чтоб все привлеченное к унию было возвращено православию, дозволена была починка старых и строение новых церквей и строжайше запрещено было приневоливать к унию, не принимая никаких отговорок. Границы между Россиею и Польшею до сих пор не определены, а между тем оказывается, что поляки захватили русских земель на 988 квадратных верст; Волконский должен был требовать назначения комиссаров для определения границ.

Князь Волконский мог сначала ласкать себя надеждою, что приехал в Варшаву в благоприятное время – пришло известие о Гросс-Егерсдорфской победе Апраксина, и король на радостях дал Волконскому орден Белого Орла. Но скоро стали приходить известия об отступлении русских войск, а между тем французские отношения представляли сильные затруднения. Поляки французской

партии передавали французскому министру в Варшаве свои жалобы на тягости, сопряженные с проходом русских войск, французский министр в Варшаве передавал жалобы французскому послу в Петербурге маркизу Лопиталю, который и предъявлял их русскому министерству. Такое посредничество сильно оскорбляло петербургский двор. Волконский должен был хлопотать, чтоб оно прекратилось; но этого трудно было достигнуть. Канцлер Малаховский сообщил Волконскому и Гроссу в секрете, что у французского министра в Варшаве сочиняют записку, где должны быть изложены все жалобы поляков на Россию за целые сорок лет. Волконский заметил при этом, что лучшее средство уменьшить французское влияние – это прекратить острожский спор в пользу членов русской партии; но Малаховский отвечал, что при настоящих обстоятельствах по причине отступления русских войск и особенно вследствие зависимости, в которой саксонский двор находится от французского, ожидая главнейшим образом от него освобождения своих наследственных владений, нельзя ожидать такого шага, ибо французский министр истолковал бы его в крайнее предосуждение своему двору.

Вслед за тем Волконский и Гросс обратились прямо к графу Брюлю с внушением, что поведение французских министров Брольи и Дюрана и понаровки им со стороны польского правительства могут произвести недоверие между союзными дворами и уничтожить согласие, восстановленное между Россией и Францией. Брюль признался, что действительно Брольи с нетерпением хватается за всякий случай, чтоб сделать Россию ненавистною; но что же делать? Необходимость велит щадить французских министров в то время, когда русское войско совсем выступило из Пруссии, австрийское же выпустило из рук случай овладеть Бреславлем, и остается одна Франция, которая может выручить саксонские земли от пруссаков. Из уверений управляющего иностранными делами во Франции аббата Берни как будто видно, что французские министры в Варшаве поступают не по приказаниям Людовика XV, а самовольно, и потому недурно было бы, если бы императрица прямо обратилась к французскому королю с требованием лучших наставлений его министрам или даже их отозвания. Когда Волконский заметил о необходимости окончить острожский спор в пользу русских приверженцев, то Брюль отвечал, что теперь для этого время неудобное. Волконский предложил начать примирение Чарторыйских с придворною партией такою сделкою: по кончине коронного маршалка Белинского на его место коронным маршалком сделать графа Мнишка, а на место последнего надворным маршалком – князя Любомирского, зятя воеводы русского князя Чарторыйского; но Брюль и на это подал мало надежды.

Малаховский и Чарторыйский сообщили Волконскому, что французский посол Брольи принудил графа Брюля исходатайствовать у короля чин брацлавского писаря шляхтичу Богатко, который не имел права на этот чин. Волконский при первом свидании упрекнул Брюля за такой беспорядок; тот отвечал, что хотя не без особенного сожаления он видел себя принужденным к такому поступку, но что же делать, когда при отступлении русских войск единственная надежда королю остается на Францию, и потому ей должно во всем угождать. По поводу этого разговора с Брюлем Волконский писал в Петербург: «Для приобретения здесь кредита надобно либо раздавать большие деньги, либо располагать при дворе вакантными чинами и староствами; Франция владеет последним из этих средств, но не перестает пользоваться и первым и тем

чрезвычайно усиливает свою партию. Не будучи и этим довольны, французские министры употребляют и третий, особенно вредный для русских интересов способ, собирая и толкуя превратно все жалобы поляков на Россию, и своим заступничеством делают себя приятными, а нас ненавистными. Так, граф Брөльи в присутствии графов Брюля и Штернберга (австрийского посла), также в присутствии Гросса с крайним негодованием говорил против зимних квартир, занимаемых русскими войсками, предъявляя, что жители Литвы и без того разорены от прохода русского войска, от скупки съестных припасов в русские магазины, задержки судов на Немане, взятия подвод. Граф Брюль заметил, что ваше величество уже приняли намерение назначить комиссаров для рассмотрения и удовлетворения всех этих жалоб. Гросс прибавил, что до сих пор ни ко мне, ни к кому никаких жалоб не доходило, а находившийся при фельдмаршале Апраксине Забелло тому и другому засвидетельствовал, что все обращенные к нему жалобы удовлетворены. Несмотря на то, Брөльи продолжал говорить, что он получил множество жалоб, да и комиссия, обещанная вашим величеством, скоро не соберется, ибо ваши повеления без исполнения остаются. Брөльи распространился о жалобах киевского воеводы Потоцкого и брацлавского воеводы князя Яблоновского. Гросс возражал, что жалобы первого исследованы и ответ на них дан; что же касается до жалобы Яблоновского относительно Чигирина, то тут никакого спору быть не может, потому что границы Чигиринского староства определены договором 1686 года. Гросс прибавил, что нет никакой нужды третьему со стороны мешаться в пограничные поры между Россиею и Польшею, на это есть особенные комиссары с обеих сторон, и не согласной достоинством посторонней державы вступаться во все безделицы, какие могут иногда произойти на границах другого отдаленного государства. Брөльи разгорячился и стал говорить, что, заступаясь за поляков, он поступает по указу своего двора, что неудивительно, если поляки, не получая удовлетворения от России, ищут предстательства союзной державы, что между союзниками договор – во время прохода русских войск через Польшу не причинять жителям никакого убытка, и потому он, Брөльи, имеет полное право вступаться во все жалобы поляков, чтобы вследствие их неудовлетворения не нарушено было спокойствие страны, и что без него и Дюрана давно бы уже произошли смуты». Волконский и Гросс оканчивают это донесение от 19 октября известием, что граф Понятовский отзывается из Петербурга вследствие письма французского короля, а это доказывает, по их мнению, совершенную власть, какую Франция имеет над польским двором.

На это. донесение Волконский и Гросс получили от своего двора неожиданный ответ: «Мы признаем, что польский двор теперь ожидает для Саксонии всего от двора французского; но мог бы польский двор представить французскому, что как ни велика его признательность, однако он надеется, что король французский никогда не потребует, чтоб эта признательность доказывалась нарушением прав королевства Польского и слепым снисхождением на просьбы всех тех, которые, быть может не оказав отечеству никаких заслуг и не содействуя согласию между дворами, имели только искусство угодить лично графу Брөльи или резиденту Дюрану; вы не оставите об этом нашем мнении дать знать королю чрез графа Брюля. Правда, кто при дворе чинами и староствами располагает, тот большую партию себе составит, только не для чего об этом беспокоиться; благодарность поляков известна: как скоро не французский посол, а кто-нибудь

другой будет располагать чинами, то о французском после будет совершенно забыто. Князя Чарторыйские из ничтожества двором выведены и, располагая чинами, первенствовали в Польше, а теперь потеряли значение, потому что чинами не располагают. Все имеет свое время, надобно подождать и, когда наступит наше время, пользоваться им. Что касается раздачи полякам денег, то мы показали, что большей экономии в этом не наблюдаем, только ведь и наскучит слышать частые об этом напоминания от всех наших министров, кто бы туда послан ни был, а никогда не видеть никакой от этого пользы. Известно, что за деньги можно приобрести приятелей, но нельзя же ограничиться только тою пользою, что они наши деньги будут принимать. С Веймарном было отправлено в Польшу 6000 червонных по точному требованию князя Чарторыйского, канцлера литовского; но пользы эти деньги не принесли никакой, и этот богатый магнат принимал их не с должным уважением, а как будто бы их ему навязывали. Если подлинно Франция раздает деньги в Польше, то она может получить от этого пользу, находясь в таком отдалении от нее, не будучи в состоянии ни прямо помогать Польше, ни притеснять ее. Без раздачи денег она могла бы быть совершенно неизвестна в Польше. Но с нами совсем другое дело: нам нужно примечать французские движения, но во всем подражать им излишне».

В конце года Волконский и Гросс донесли, что Брולי и Дюран стали вести себя получше, продолжается только холодность, нежелание вступать в разговор.

Перемена в поведении французских министров произошла оттого, что нельзя было долго смеяться над отступлением Апраксина; после того как отряд австрийцев под начальством генерала Гаддика захватил Берлин и поспешно оставил его, взявши только с жителей 185000 талеров контрибуции, французское войско в октябре потерпело от Фридриха II поражение при Росбахе, австрийское в ноябре – при Леутине; шведское войско, вторгшееся в прусскую Померанию, было отброшено тем самым Левальдом, которому так не посчастливилось при Грос-Егерсдорфе. Фридрих II торжествовал над страшною коалициею. Надобно было готовиться к тяжелой и долгой войне, надобно было готовить войско и деньги.

В марте Сенат приказал из Военной коллегии подать ведомость, сколько теперь следует в отставку солдат для определения к статским делам, потому что из разных мест требуют их для содержания караулов и других служб, так как теперь в тех местах нет армейских солдат и рассыльщики взяты в военную службу. Война грозила стать и морскою, ждали английской эскадры в Балтийское море, а потому флот требовал одинакого внимания с сухопутным войском; постановили: недорослей, являющихся к определению в кадетские корпуса, сухопутный и морской, разделять пополам, чтоб эти корпуса могли наполняться уравнительно. В конце года Военная коллегия подала ведомость о рекрутах; из этой ведомости оказалось, что последнего набору рекрут в сборе 43088, офицерам отдано 41374 человека, от них отправлено 37675, а к полкам действительно приведено 23371 человек. Сенат велел спросить коллегию: куда же делось 19517 человек? Несколько прежде Сенат слушал экстракт из протокола конференции о предложении графа Петра Шувалова производить ежегодный рекрутский набор не со всего государства, а с одной только части, разделив для этого всю Россию на пять частей. Тот же Шувалов указал на вредную в военное время медленность почты: рапорт от командира первого мушкетерского полка, отправленный 26

сентября, получен 14 ноября; по дороге от Смоленска до Петербурга находился месяц и двенадцать дней.

Мы уже упоминали о столкновении Шувалова с генерал-кригскомиссаром князем Яковом Шаховским. Шаховской в своих записках дает нам знать, куда девались 19517 человек рекрут, о которых Сенат спрашивал Военную коллегия. В описываемое время Шаховской находился в Москве при Главном комиссариате. «В одно время в исходе зимы, – говорит Шаховской, – на половине моего пути к госпиталю встретились мне несколько дровней, наполненные лежащими солдатами и рекрутами. Я остановился и спрашивал: куда их везут? Бывший при них унтер-офицер сказал мне, что для излечения от тяжких болезней отправлены оные были в генеральный госпиталь, но что их в оный за опасностью не приняли, и обратно велено ему отвезти их в команду; я, увидя жалкое тех несчастных состояние, в числе коих несколько уже полумертвыми казались, приказал обратно везти за собою в госпиталь, обнадежа, что их там помещу. Но как приехал вместе с теми страдальцами в дом госпитальный, то у большого крыльца увидел еще несколько на дровнях же лежащих больных. И как я только из моей кареты выходить стал, то доктор и комиссар оба вдруг спешно говорили мне, чтоб я далее крыльца не ходил, ибо чрез три дни, как я в последнее у них был, чрезвычайное множество из разных команд солдат и рекрут навезли больных, а по большей части в жестоких лихорадках и прилипчивых горячках, и что уже более 900 человек у них в ведомстве больных, и теми не токмо все покои в нижнем и верхнем этаже, но и сени наполнены, и от тесноты сделалась великая духота, а для холодного времени отворять всегда окна невозможно; итак, не токмо они один от другого заражаются, но и здоровые, призрение и услужение им делающие, оттого впадают в болезни, а от команд почти непрерывно еще присылкой таких умножают, коих обратно в их команды отсылать принуждены, а для того и сих лежащих на дровнях обратно же в команды отправить намерены, чтоб они на счет госпитальный число мертвых не умножали. В то же время присланные с теми больными для отдачи унтер-офицеры просили меня о приеме оных, показывая из числа тех в пути несколько уже мертвых, а других в прежалостном состоянии на стуже дрожащих... Я собирал все свои мысли, как бы сыскать оным страдальцам облегчение, искал моими глазами по всем сторонам, не найду ль способных из близнаходящихся строений к пространнейшему тех помещений; спрашивал у комиссара и доктора, кто в коих живет? Там показывали мне близнаходящиеся строения, в коих жили разные госпитальные служители, из которых я приказал немедленно тех жителей вывести в наемные квартиры, а в их покои поместить больных. Доктор и комиссар мне ответствовали, что они вчерась уже то предпринимали, но способа не нашли, ибо поблизости наемных квартир нет, да и вдали вокруг по разнесшемуся о больных наших слуху ни за какую цену внаем в госпитальное ведомство своих дворов не отдают. В то же время сведал я, что есть неподалеку конюшенного ведомства несколько порожних покоев, и еще уведал неподалеку же от госпиталя, позади Дворцового сада на берегу Яузы-реки, немалое деревянное строение, о коем сказали мне, что то Дворцовой канцелярии ведомства пивоваренный двор и теперь, в отсутствие ее величества, весь пуст и живет в нем только комиссар, у коего оный в смотре. Другие же сказывали, что за неприличностью места и что он уже ветх назначено все оное строение в другое,

далее от сего сада место перенести и о подряде того к сноске и в газетах напечатано».

В этот-то пивоваренный двор Шаховской решился перевести служащих при госпитале, а в их квартиры поместить больных. Это он сделал, не дожидаясь разрешения от Главной дворцовой канцелярии, находившейся в Петербурге, и, зная, что таким самовластным распоряжением может возбудить неудовольствие, написал письмо к фавориту Ив. Ив. Шувалову с просьбою защитить, если недоброжелатели заочно станут что-нибудь разглашать. Ив. Ив. Шувалов, который среди тогдашней знати отличался мягкостью, людскостью обращения, который прежде всего старался сохранить со всеми добрые отношения, особенно же с людьми, выдающимися заслугами и способностями, старался казаться совершенно беспристрастным, свободным от воззрений своих родственников графов Петра и Александра Шуваловых, старался «благородным учтивством» и услугами сделать свой фавор приятным и желанным, – Ив. Ив. Шувалов в ответном письме своем хвалил человеколюбивый поступок Шаховского и обнадеживал своею защитою. Но в то же время Шаховской описал все дело приятелю своему майору гвардии Нащокину, и тот уведомил его, что в знатных домах у недоброжелателей Шаховского слышал выходки против него членов Главной дворцовой канцелярии, которые толкуют о неслыханной дерзости генерал-кригскомиссара, осмелившегося самовольно положить больных с прилипчивыми болезнями в том месте, где во время пребывания двора варят пиво и кислые щи для собственного употребления ее величества. Сенат потребовал от Шаховского объяснения, на каком основании он занял дворцовый пивоваренный двор без позволения Главной дворцовой канцелярии; но генерал-прокурор прислал ему дружеское письмо, в котором поздравлял, что недоброжелатели, «не находя справедливых резонов, коими бы вас повреждать возмogli, склоняются к примирению, как то вчерась в конференции было, что граф Петр Ив. Шувалов, зная, что я вас люблю, приближаясь ко мне, всем вслух говорил, что сожалеет о тех спорах и вздорах, кои он с тобою по своей команде производил, и теперь, довольно познав, что ваши упрямства по большей части дельные, все в том свои жалобы оставляет и предает забвению».

Но Нащокин в письмах своих твердил по-прежнему, чтоб Шаховской остерегался: жалобы Дворцовой канцелярии все увеличиваются. Нащокин был прав. В одно прекрасное утро является к Шаховскому гвардейский офицер, приехавший из Петербурга, и подает бумагу от начальника страшной Тайной канцелярии графа Александра Ив. Шувалова; в бумаге говорилось: «Ее импер. величеству известно учинилось, что вы самовольно заняли в дворцовом поваренном доме те каморы, в коих для собственного ее величества употребления разливают и купорят с напитками бутылки, и поместили в них прачек, кои со всякими нечистотами белье с больных моют; и для того по высочайшему повелению послан к вам из Тайной канцелярии нарочный, гвардии поручик, коему повелено, ежели по освидетельствованию его в тех покоях больные и прачки найдутся, то бы всех тех немедленно перевести в дом ваш для жилья их, не обходя ни единого покоя в ваших палатах, и точно в вашей спальне».

Все это было справедливо: помощник Шаховского по управлению госпиталем генерал-майор Коминг и госпитальный комиссар распорядились помещением больных и прачек в пивоварне без ведома генерал-кригскомиссара; и

потом Шаховской узнал, что комиссар имел сношение с присланным из Петербурга чиновником Дворцовой канцелярии и, как нарочно, перед самым приездом гвардейского офицера ввел больных и прачек в пивоварню. Как бы то ни было, указ был исполнен и Шаховской должен был две недели содержать в своем доме больных и прачек, пока не пришел ответ на объяснительное письмо его к императрице. Ив. Ив. Шувалов написал ему благосклонное письмо с выражениями глубокого сожаления о случившемся и уверял от имени императрицы, что «ее величество, увидя его, Шаховского, оправдание, сожалеет, что так скоро и неосмотрительно с ним учинено». Когда потом Шаховской приехал в Петербург, то доброжелатели рассказали ему, как произошла эта неосмотрительность; по их словам, члены Главной дворцовой канцелярии постарались отомстить Шаховскому с помощью графов Шуваловых, Петра и Александра, сердившихся на него за несогласие удовлетворять их требованиям по войскам, находившимся под их начальством. Вот как передает этот рассказ сам Шаховской: «Граф Петр Ив. Шувалов по обыкновенному искусству чрез свою супругу графиню Мавру Егоровну, которая тогда, в великой у ее величества милости и доверенности находясь, во дворце жила, так как и прочие свои надобности по желанию произвел и хитро домогся от ее императ. величества мне такого решения, употребляя еще к тому своего услужника, тогда бывшего при дворе и в милости у ее величества находящегося обер-мундшенка Бахтеева. Таким образом, роли свои начали они при первом к тому способном случае: будучи во внутренних покоях пред лицом ее величества, отошед к окну, умышленно начали с важными и удивительными видами разговаривать; ее величество, то приметя, подошед к ним, спросила: о чем они так важно разговаривают? Оба они замолчали, дая вид, якобы для опасности своей в такие дела вмешиваться и донести ее величеству не осмеливаются. Она такие их скромности, за нечто важное приняв, повелительным образом требовала, чтоб они о всем том, и коего они, больше ее боясь, скрывают, обстоятельно сказали. Графиня Шувалова ответствовала: „О, боюсь, матушка, что сей удачливый в своих предприятиях человек, которому все по большей части трусят и уступают, меня иными средствами обругает. Ежели б так муж мой сделал, много бы на него вашему величеству доносителей в том было, а на этого смельчака никто не смеет“ – и при том указала на обер-мундшенка Бахтеева: „Вот-де ему об этом должно вашему величеству представить, да и он-де трусит“. Ее величество, то выслушав, уже с большею нетерпеливостью и восхищением гнева спросила: „Что то за дело и кто такой вам паче меня страшен есть?“ Господин Бахтеев (как сказывал мне тот, которому при всем том быть случилось) с робким видом и как возмог увеличил в мое повреждение тот мой поступок о занятии пивоваренного двора, и якобы я в те каморы, где разливают и купорят бутылки для ее величества в употребление, поместил больных с гнусными болезнями и прачек для мытья снимаемого с них белья. И тако сии бессовестно злоковарные добродетельное сердце к решению противу меня приготовили, что в тот же момент ее величество, проговоря: „Вот я вам докажу, чтоб вы не боялись сего смельчака“, призвав графа Александра Ив. Шувалова, который, как бы нарочно, на тот час неподалеку находился, соизволила повелеть ему, нимало не мешкав, нарочного офицера с высочайшим ее ко мне указом в Москву отправить».

Вследствие всей этой истории велено в московском госпитале сделать пристройку; но Шаховской представил, что госпиталь находится вблизи дворца и выше по течению Яузы, поэтому нечистоты по реке и дурной запах может по ветру доходить и до дворца: так не лучше ли построить вновь каменный корпус на берегу Москвы-реки, недалеко от Новоспасского монастыря или близ дома крутицкого архиерея, и здесь помещать не только больных унтер-офицеров и солдат, но и прочих чинов людей военных и статских, находящихся в неизлечимых болезнях и дряхлости, также сирот, оставшихся после убитых на войне, и незаконнорожденных младенцев; и на содержание, если госпитальных доходов доставать не будет, брать из доходов с синодальных вотчин, также остатки от расходов в архиерейских домах и монастырях, ибо относительно построения при монастырях госпиталей и странноприимниц многие указы не исполнены; а хотя в монастыри отставные офицеры и солдаты и посылаются для пропитания, но они там по большей части без надлежащего призрения и довольства содержатся, и от них на монастырские власти, и от властей на них происходят частые жалобы в разных приключениях и ссорах; настоящий же госпиталь может служить казармою для лейб-компаний или для других дворцовых надобностей. Когда это представление было прочтено в Сенате, то генерал-прокурор князь Трубецкой и граф Петр Ив. Шувалов объявили, что на учреждение инвалидов домов на таком же основании, как представляет Шаховской, уже есть высочайшее соизволение; поэтому приказали: принять мнение князя Шаховского, а место для госпиталей и инвалидов домов Сенат признал удобным на берегу Москвы-реки близ Данилова монастыря, и архитектору князю Ухтомскому начертить план и составить смету.

Но на приведение в исполнение таких обширных построек было мало надежды по состоянию финансов во время войны. Граф Петр Шувалов представлял конференции: «Капитала запасного нет; те миллионы, которые казне приобретены, издержаны; по установленному способу надбавка на цену вина, и соли сделана, умноженные доходы истощены, займы пожалованный миллион также. Способ приобрести деньги надежный: определенную для копеечной монеты по 8 рублей из пуда медь, 437500 пудов, переделать в грошовую, копеечную, денежную и полушечную монету по 16 рублей из пуда, и вместо обращающихся в народе медных денег 7397910 рублей будет обращаться по этому моему плану в государстве 12502154 рубля. Подданные ту выгоду иметь будут, что они шестнадцатирублевою в пуде монетою не так в провозе будут отягощены, как теперь; прежняя монета такую низкою ценою установлена с целью пресечь привоз из чужих краев, но теперь эта предосторожность считается излишнею. Укажут, правда, другие способы для собрания большого капитала по примеру иностранных государств, например лотереи или банк; но у нас эти учреждения не годятся, потому что такую большую лотерею, чтоб получить шесть миллионов, не только скоро, но и едва ли вовсе набрать возможно, особенно когда у нас самая идея лотереи неизвестна. Что же банка касается, то от подделывания банковых билетов опасность, и бумажки вместо денег народу не только дико покажутся, но и совсем кредит повредится, потому что при употреблении банковых билетов в торгах всякие помешательства и обманы могут происходить».

В Сенате Шувалов предложил, что по его изобретениям с 1750 года до сих пор казна получила прибыли более пятнадцати миллионов рублей (15671172

рубля 53 копейки); из новых доходов устроен Дворянский банк; но это полезнейшее дело может повести к крайнему разорению дворянских фамилий, ибо для уплаты назначен только трехгодичный срок и многие дворяне не могут в три года выплатить, занять же им негде, особливо находящимся при армии, и, таким образом, принуждены лишаться недвижимых имений: нужно срок уплаты продолжить. Сенат согласился продолжить срок еще на год. Велено в Штатс-контору под видом займа отпустить с Монетного двора 275000 рублей с уплатою таможенными ефимками, которые приказано поскорее в передел употреблять, чтоб на Монетном дворе не последовало в деньгах недостатка; из разных других мест велено выдать в Штатс-контору 39490 рублей. Кроме военных издержек найдено необходимым производить безостановочно работы в Кронштадте: после канала там строили купеческую и среднюю гавани, на что отпущено было 97000 рублей. Смотрели, как бы сократить расходы, и опять напали на бесконечные комиссии. Генерал-прокурор предложил: в Ярославле по корчемным и прочим делам, а в Новгороде о непорядочных поступках верных сборщиков учреждены комиссии, но дела в них продолжают немалое время за спорами и подозрениями на членов, а потому надобно раздать эти дела по соответствующим учреждениям: в Камер-контору, Юстиц-коллегию, и если там не смогут решить, то в Сенат, чтоб приказные понапрасну жалованье не получали и виновные без наказания не оставались. Сенат согласился.

Так как управление финансами сосредоточивалось в Сенате, то в низших учреждениях думали, что о всяком самом мелочном распоряжении в области финансов должно доносить Сенату. Московский магистрат донес, что он наложил пятидесятикопеечный оброк на анбар, построенный купцом Ефимовым для торговли горшками; Сенат велел магистрату прислать ответ, зачем он утрудил Сенат таким неподлежащим делом. Но никто не находил неподлежащим делом, что разрешение открыть герберг или гостиницу зависело от Сената. В Москве был уже герберг, содержимый савояром Берлиром в Немецкой слободе, а теперь позволено было основать другой – в селе Покровском, что в Елохове; позволение было дано петербургскому купцу Цыгинбейну, у которого был герберг и в Петербурге. Сенат позволял также Московскому университету иметь под собственным своим смотрением, обержу или герберг для иностранных профессоров, магистров и учителей. В конце года запрещено было иметь в Петербурге более 2000 извозчиков по причине дороговизны фуража.

Из явлений областной жизни по-прежнему особенное внимание возбуждали крестьянские волнения. Евдоким Демидов опять жаловался, что для усмирения его крестьян в Алексинском и Лихвинском уездах послан был прапорщик с командою; но крестьяне прапорщика не послушались, команде запрещали ходить в село Русаново, грозясь бить до смерти; два священника и крестьяне сказали, что Демидова и детей его слушать не будут. Против взбунтовавшихся крестьян Новоспасского монастыря Шацкого уезда сел Спасского и Введенского отправился подполковник Хатунский; вследствие сопротивления спасских крестьян он принужден был употребить артиллерию и ружья и силою ворвался в село: крестьяне разбежались; потом отыскано было в селе и сами явились 62 человека, а в селе Введенском – только 10 человек; так как бунт произошел вследствие обид от монастырских управителей и слуг, то для исследования дела учреждена смешанная комиссия из членов Сенатской и Синодальной контор.

Малороссийского гетмана успели наконец выпроводить из Петербурга в Глухов; по всей дороге, на каждом почтовом стану велено было выставить по 200 подвод; по примеру приездов гетмана Скоропадского Разумовскому дано было вместо кафтана и запоны 1116 рублей 52 копейки, а чиновникам, бывшим при нем, вместо соболей и камок: генеральному судье – 250 рублей, другим – по 60 рублей. Главную заботу со стороны малороссийской Украины составляли по-прежнему запорожцы. Здесь атаман минского куреня Шкура да ирклеевского куреня атаман Кишенский возмутили козаков разных куреней, взяли насильно котлы и, ударяя в них поленьями, собрали раду; набежало козаков больше 300 человек, подняли крик, ухватили две палицы, кошевого и судейского стола, и первую отнесли Шкуре, а вторую – Кишенскому, и Шкура стал кошевым, а Кишенский – судьей; но потом собрались атаманы и определили быть по-прежнему старому кошевому и войсковой старшине. Гетман послал взять под караул Шкуру, Кишенского и других зачинщиков и привезти в Глухов. Но атаманское определение, как видно, оказалось непрочно: старый кошевой и старшина сочли за нужное отказаться от своих должностей под предлогом старости и выбраны были новые. Гетман, узнавши об этом, писал в Запорожье, что за такое дело Войско Запорожское весьма достойно быть под истязанием и штрафом и чтоб впредь не смели под опасением высочайшего гнева сами собою увольнять кошевого и старшину и выбирать новых. Гайдамаки оговорили кошевого и старшину, что они брали у них в подарок грабленные вещи.

Мы видели, что русский министр в Варшаве Гросс получил извещение о надеждах малороссийских эмигрантов, живших в Крыму. Когда это извещение было переслано в Петербург, то отсюда, разумеется, пошла грамота к гетману, чтоб удвоил внимание. Разумовский испугался, но не эмигрантских происков, могших нарушить спокойствие вверенной ему страны, а того, что в Петербурге испугаются этих замыслов и не позволят ему покидать Малороссию. В отчаянии он писал вице-канцлеру Воронцову: «Вашему сиятельству яко другу моему открываюсь, что сие дело есть совсем несбыточное и неосновательное; я больше почитаю, что вымышленное моими известными приятелями такого свойства, каковы были мнимые шпионы от короля прусского, единственно только для того, чтоб сделать мое присутствие здесь нужным, важным и весьма необходимо полезным, дабы чрез то вложить мнение государыне, какая опасность от сего краю быть может, в наблюдение чего, чтоб меня засадить в сем скучном месте и затворить бы путь к моему возвращению в Петербург, ежели пожелаю».

Но малороссийские эмигранты были существа действительные, а не мнимые, и потому Разумовский придумал средство против людей, которые могли помешать его поездкам в Петербург. «Последний рескрипт, – писал он Воронцову, – заставил меня думать, каким бы образом истребить сей канал, откуда сии вести приходят, которые смущают тех, которым дела сии вверены, а наводят на сей край недоверенность в то время, когда ни одна душа здесь такого безбожного мнения не имеет, но, напротив того, все пребывают в непоколебимой верности к ее импер. величеству, в чем ваше сиятельство твердо уверяю. Для пресечения сего, мне кажется, можно способ употребить, чтоб двух или трех бездельников истребить, которые в Крыму исстари живут и, будучи заражены старинными мыслями, по-старинному пишут и рассуждают, забыв то, что Украина после того времени, можно сказать, что совсем переродилась и совсем не то правление, не такие

правители, не те, почитай, люди и, следовательно, не те уже и мысли в них пребывают. Для успокоения всего, мне кажется, что можно сих плутов оттуда украсть или каким способом истребить, о успехе которого уверить заподлинно вас не могу, только старание удобовозможное употреблено будет. Итак, вас прошу дать мне знать, что вы о сем думаете».

Воронцов ответил, что «хотя весьма желательно бы было, дабы известные два злодея, находящиеся в Крыму, могли каким случаем истреблены или украдены быть, но как сей способ есть весьма ненадежный, к тому ж и может за собою неприятные следствия нанести, я думаю, что лучше бы было совсем в презрении оставить, толь более что никакого опасения от их каверз иметь не можно, и они уже престарелые люди и скоро в гроб пойдут».

Из Новой Сербии Хорват доносил, что население идет быстро: в три месяца, от января до апреля, пришло обоего пола душ 822. Но стали приходить доносы на Хорвата, что он населяет Новую Сербию непозволительными средствами. Гетман Разумовский прислал в Сенат копию с допросов сотника Мовчана да осадчика новой Черноташлыкской слободки Савранского; из допросов оказывалось, будто бы Хорват приказывал Савранскому собрать запорожских козаков-охотников, идти с ними в Польшу, перегнать силою тамошний народ на эту сторону Буга и населить им новозаведенную слободу, почему Савранский с запорожцами в Польше был и из села Вербовец, принадлежащего Мнишку, пригнал 35 семей в свою слободу. Мовчан показал, что Хорват в присутствии поручика Булацела приказывал сотнику новопоселенной слободки Добрянки Табанцу, который жаловался на обиду от поляков, чтоб он взял охотников из запорожских степей и попугал поляков, только тайно, не разглашая, а я, сказал Хорват, в том ответчик, и руку Табанцу дал; Табанец и был в Польше, на ярмарке отбил больше 300 лошадей и зарезал 30 человек. Сенат приказал: гетману велеть поступить с Табанцом и Савранским по их винам за разбой и переход за границу; а показаниям на Хорвата не верить, ибо эти показания сделаны приличившимися в воровстве.

Далее на восток в украинских местах перемещение жителей происходило другим способом. В конце года правительство узнало, что из Тамбовского и Козловского уездов разных помещиков крестьяне, забирая свои пожитки и лошадей, бегут, а другие разглашают, что эти беглые, собравшись в Царицыне и переправясь через Волгу, порыли себе землянки, живут в них и впредь будут принимать к себе всяких прихожих людей; а некоторые крестьяне бегут и явным образом, объявляя, что идут для поселения в Царицын и в Камышенку к шелковому казенному заводу, где для принятия их определен майор Парубуч.

Из оренбургской украины доходили отголоски борьбы между старыми жителями, башкирцами, и русскими насельниками, пришедшими на разработку рудных богатств страны. Заводские конторы жаловались на башкирцев, будто те притесняют заводы, останавливают производство работ на них; мало того, кругом заводов пускают пожары, на заводы и рудники наводят волшебные дымы, отчего происходит смертельный воздух, так что на Овзынопетровском заводе почти все больны, а немалое число и померло; также своею ложью остановили отмежевание земель, купленных у башкирцев с лесом и угожьями, у находящихся при заводах крестьян немало лошадей отогнали. Неплюев по поводу этих жалоб подал мнение: «В Оренбурге, кроме этих известий, не предвидится ничего, что бы могло подать повод к башкирским волнениям; о пожарах и лошадиных отгонах точного

исследования сделать нельзя, потому что никого не поймано, а что касается мнимых волшебных дымов, то ясно, что это от суеверия написано».

Глава третья

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1758 год

Падение канцлера Бестужева. – Отношения великой княгини Екатерины Алексеевны к императрице. – Сношения с Австриею насчет военных действий. – Занятие Восточной Пруссии русскими войсками. – Движение Фермора к Одру. – Бомбардирование Кистрина. – Битва при Цорндорфе. – Движение Фермора в Померанию. – Замечания конференции насчет его распоряжений. – Письмо к нему Воронцова. – Отступление Фермора к Висле. – План кампании будущего года. – Сношения с союзными дворами австрийским и французским. – Сношения с Англиею и Польшею. – Саксонский принц Карл получает герцогство Курляндское. – Дела турецкие. – Распоряжение относительно Черногории. – Поведение черногорцев в Москве. – Внутренняя деятельность правительства. – Финансовые распоряжения. – Торговля. – Волнения монастырских крестьян. – Вопрос об управлении церковными имениями. – Составление Уложения. – Комиссия об однодворцах. – Дела на окраинах.

Начало 1758 года было ознаменовано важным событием, которое подготовлялось уже два года, – свержением великого канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина.

Мы видели, в какое затруднительное положение был поставлен канцлер переменою европейской политики в 1756 году, англопрусским союзом, с одной стороны, и австро-французским – с другой. Самолюбие, нежелание признать свою ошибку, отвердевшая в старине система, по которой Франция вследствие противоположности интересов никогда не могла быть союзницею России, закоренелая ненависть к Франции и боязнь пред ее послом не позволили Бестужеву вдруг переменить своих отношений: отвернуться от Англии и стать ревностным поборником французского союза; он слишком явно защищал Англию, слишком неохотно соглашался на сближение с Франциею и этим стал подозрителен в глазах императрицы; кредит его упал; вице-канцлер Воронцов мимо его производил самые важные сношения, через него последовало сближение с Франциею, и французский посол приехал в Петербург, остереженный от своего двора опасаться более всего канцлера и его интриг. Австрия враждебно относилась к Бестужеву за его сопротивление французскому союзу. Кауниц, который считал этот союз своим делом и ждал от него бесчисленной пользы, – Кауниц выразился пред французским послом в Вене, что не забудет тех затруднений, которые делает ему Бестужев. Таким образом, кроме русских врагов у Бестужева в Петербурге было еще теперь два сильных врага иностранных – Эстергази и Лопиталь, а помощи ниоткуда.

Легко понять, как при таких обстоятельствах должен был осторожно действовать Бестужев. Мы видели, как обеспокоили его толки о медленности

Апраксина и как он старался побудить его идти как можно скорее. Еще более должно было обеспокоить отступление Апраксина после победы, возбудившее бурю в Петербурге. От 13 сентября канцлер писал ему: «Я уже, ваше превосходительство, имел честь чрез Петра Ив. Панина поздравить одержанною над неприятелем победою. А теперь на ваше писание ничего иного ответить не имею, кроме того, что я крайне сожалею, что армия под командою вашего превосходительства, почти во все лето недостаток в провианте имея, наконец хотя и победу одержала, однако ж принуждена, будучи победительницею, ретироваться. Я собственному вашему превосходительству глубокому проницанию предаю, какое от того произойти может бесславие как армии, так и вашему превосходительству, особливо ж когда вы неприятельские земли совсем оставите».

Но Апраксин отступал, и ожесточение против него становилось все сильнее и сильнее. Из французского и австрийского посольства пошли слухи об интриге, и пошли по всей Европе. Бехтеев писал Воронцову из Парижа 26 сентября: «Мы во всю сию неделю были в великом беспокойстве; после 19 августа писем мы из Петербурга не имели, а из Голландии такие получали ведомости на двух почтах, что только об них подумать, так ужас берет. Одним словом, все несчастья по тем ведомостям у нас сделались; по причине оных и армия пошла из Пруссии с великою торопостию, будто уже ретировалась, оставя множество пушек. Весь город наполнен был сим дурным слухом». Основанием дурного слуха послужил припадок, случившийся с императрицею. 8 сентября, в праздник Рождества Богородицы, Елисавета, жившая в Царском Селе, пошла к обедне в приходскую церковь, в начале службы почувствовала себя дурно и одна вышла из церкви, но, не дошедши до дворца, упала на землю и более двух часов лежала без чувств. Этот случай привели в связь с отступлением Апраксина, начали догадываться, толковать, что Бестужев дал знать о нем Апраксину и потребовал возвращения его в Россию с войском, которое было нужно канцлеру для приведения в исполнение его намерений относительно престолонаследия. Разумеется, кто мог внимательно и спокойно вникнуть в дело, тот должен был понять, что догадка не имеет никакого основания, что припадок с императрицею случился 8 сентября, а отступление решено было на военном совете 27 августа; что если бы была возможность остановиться и идти вперед, то как мог Апраксин не сделать этого по получении стольких строгих указов и узнавши, что императрица оправилась? Что Апраксин ничего не делал сам собою, а только исполнял решения военного совета и как было предположить, что из всех генералов и полковников, подававших голоса на совете, не было ни одного честного человека и патриота, что все они требовали отступления, хотя и знали, что войско может идти вперед, не нуждаясь в провианте и фураже? Но много ли было таких, которые могли вникнуть в дело внимательно и, главное, спокойно? Известно, как падка толпа на предположения, что при каждом важном и неприятном событии действовала интригу злой умысел. А тут сколько было побуждений для подобного предположения: иностранные союзники были озлоблены на Апраксина, отступление которого расстраивало их планы, облегчало Фридриха II, поднимало его дух, освобождало от боязни русского нашествия, давало Левальду возможность перевестись с шведами, а русские вторили иностранцам вследствие оскорбленного патриотизма.

Апраксин во дворце и в конференции нашел себе сильного защитника в графе Петре Ив. Шувалове; но сильнее всех напал на него канцлер Бестужев, во-первых, из желания прекратить толки о своем участии в отступлении, во-вторых, из враждебного чувства к Апраксину, которое явилось в нем именно вследствие сильного заступничества Шувалова: канцлеру было ясно, что Апраксин очень близок и дорог Шувалову, следовательно, Шувалов считал его вполне себе преданным. Враги Бестужева толковали, что канцлер замешан в дело об отступлении, а Бестужев толковал, что виноват во всем Шувалов; он так защищает Апраксина перед императрицею, что тот не боится никакой ответственности и делает что хочет.

Шувалов, несмотря на всю свою силу, не мог отстоять Апраксина, который должен был сдать начальство над армиею генералу Фермору. Мы видели, что новый главнокомандующий совершенно оправдывал старого и многие были недовольны этим назначением, говорили, что дурные советы Фермора были виною отступления Апраксина и что гораздо лучше было бы дать главное начальство генералу Броуну. Назначение Фермора объясняли единственно особенною милостью к нему императрицы. Но кроме милости было и другое основание назначению: первые военные успехи – занятие Мемеля и Тильзита – были соединены с именем Фермора.

18 октября 1757 года Апраксин получил указ ехать в Петербург и писал императрице, что указ этот «совершенно отчаянную жизнь вновь ему возвратил». В начале ноября Апраксин приехал в Нарву и получил чрез ординарца лейб-кампании вице-капрала Суворова высочайшее обнадеживание монаршею милостию, причем приказано ему отдать все находящиеся у него письма. Причиною этого отобрания писем были письма к Апраксину великой княгини, о которых проводили таким образом: Бестужев, получая их от Екатерины для пересылки Апраксину, показывал их саксонскому советнику посольства Прассе и приехавшему в Петербург австрийскому генералу Буккову для успокоения их насчет доброго расположения молодого двора к общему делу, потому что в них Екатерина убеждала Апраксина спешить походом. Букков рассказал об этих письмах Эстергази, и теперь, когда захотели повредить Апраксину и Бестужеву вместе, Эстергази сообщил об этой переписке великой княгини с Апраксиным самой императрице, представив это дело очень опасным.

Прошло месяца полтора после отобрания писем; Апраксин все жил в Нарве. 14 декабря он решился написать умиловительное письмо императрице: «Последнейший ваш раб, представя бедность моего состояния, в котором я, бедный, чрез шесть недель здесь пребывая, не только совсем своего лишился здоровья и потерял разум и память, но и едва поднесь мой дух сдержаться во мне мог, и поднесь едва ногою владеть могу, приемлю дерзновение, не принося никаких оправданий, высочайшего и милосерднейшего помилования просить. Как пред Богом вашему величеству доношу, что если мною что погрешено, то всеконечно разве от неведения и недостатка разумения; причем и то могу донести, что во всей армии не было ни одного такого человека, который бы не хотел пролить последней капли своей крови за соблюдение высочайших интересов и во исполнение воли вашего величества, и во все советы, где только важность и обстоятельства требовали, призыван был весь генералитет, который, не исключая никого, все свои старания распространял к пользе, и ничего мною в противность

примечено не было. Правда, что до соединения с генералом Фермором генерал Ливен по испытанному знанию в военном искусстве во всех советах был мне довольным советником; но по соединении с генералом Фермором, с коего времени пошли главные дела, по особенной его ко мне ласке и ежедневному два раза ко мне приезду, паче же по известной мне вашего императорского величества к нему особенной милости и доверенности, я ничего не предпринимал, не поговоря и не посоветовав наперед с ним, еже во многих генералах, как еще и генерал Лопухин жив был, немалую произвело зависть; но я, елико моему смыслу и рассуждения было, столько умеривал, что не допустил ни до чего дальнего и никаких ссор и неудовольствий не токмо не видал, ниже слышал. А в наилучшее доказательство сего осмелюсь еще то донести, что и о возвращении нашем от Аленбурга я первому открыл генералу Фермору и, посоветовав с ними и не открывая никому, с ним одним согласно сие положи, созвав военный совет и приглася полковников, уже сие предложение сделал, почему и согласно от всех положено поворотить к Тильзиту. Я во всем том самим Фермором свидетельствуюсь».

Понятно, что ссылка на Фермора служила Апраксину лучшим оправданием: нельзя было у одного отнять звание главнокомандующего за то самое, за что другого возводили в это звание. У Фермора не нужно было спрашивать, правду ли говорил Апраксин о согласии его на отступление. Запискою 14 октября Фермор решительно признал распоряжения Апраксина необходимыми, и те, которые говорили против назначения Фермора, были последовательны. Но о последовательности не могло быть речи: Апраксин не подвергся опале за отступление, он был жертвою, принесенною для успокоения союзников, для поддержания общего дела; разумеется, Апраксин был бы достаточно вознагражден за эту роль жертвы, если б все дело состояло в отступлении. Но дело состояло теперь в переписке великой княгини с Апраксиным. Письма сами по себе не могли бы быть поставлены в вину ни писавшей, ни получившему их; но зачем сношения, переписка между этими лицами? Не было ли каких-нибудь других внушений со стороны Екатерины? Канцлер, подозрительный канцлер служил посредником!

В январе 1758 года начальник Тайной канцелярии Александр Ив. Шувалов отправился в Нарву поговорить с Апраксиным насчет переписки, как видно, ничего особенного не вышло из этих разговоров: носился слух, что Апраксин дал клятвенное заявление, что он никаких обещаний молодому двору не давал и никаких внушений в пользу короля прусского от него не получал. На этом дело должно было остановиться. Императрица обходилась холодно с великой княгиней, холодно с канцлером. Против Бестужева кроме переписки были и другие причины неудовольствия. Польско-саксонский двор, принимая в соображение неудовольствие императрицы и требования Франции и Австрии, решился отозвать Понятовского из Петербурга, но Бестужев воспротивился этому и настоял на своем; кроме того, Бестужев выхлопотал польский орден Белого Орла для тайного советника Штамке, заведовавшего голштинскими делами при великом князе, и было известно, что Штамке – доверенный человек Бестужева. Рассказывали и о проекте канцлера относительно престолонаследия, говорили, что конференц-секретарь Волков, бывший долго доверенным человеком у Бестужева, открыл теперь о существовании этого проекта врагам канцлера. Но все эти догадки, что Бестужев удержал Понятовского, выхлопотал Штамке Белого Орла,

слух, что у Бестужева есть какой-то план относительно престолонаследия, – все это еще не могло повести к свержению канцлера, все ограничивалось раздражением и неприятными толками. Но Англия, которая подкопала значение Бестужева в 1756 году прусским союзом, – Англия должна была дать повод и к окончательному низвержению главного ее доброжелателя в России. Пришло известие, что Англия не хочет оставить петербургский двор без своего представителя после отъезда Уильямса и назначила Кейта, бывшего послом в Вене. Это известие, разумеется, должно было страшно встревожить французского и австрийского послов в Петербурге, особенно первого; как прежде Уильямс волновался от приезда французского посла, так теперь Лопиталь волновался от приезда Кейта; помешать приезду Кейта не было никакой возможности, потому что Россия не разрывала с Англией, надобно было готовиться к ожесточенной борьбе; борьба не была бы так опасна, если б Кейт не встретил в Петербурге могущественного союзника в главном лице по дипломатическим сношениям – в великом канцлере. Нельзя освободиться от Кейта, да Кейт один и не опасен, – надобно освободиться от Бестужева, возможность есть: он заподозрен, императрица не благоволит к нему более, он окружен могущественными врагами, враги сами нейдут на явную борьбу, потому что не чувствуют в руках хорошего оружия для верного поражения противника; надобно их заставить сковать оружие, надобно их напугать, заставить действовать по инстинкту самосохранения. Нападение было сделано удачно, потому что выбрано для него самого слабое место. Как только узнали в Петербурге, что Кейт уже в Варшаве, то Лопиталь едет к Воронцову и представляет ему необходимость нанести последний удар Бестужеву; а если Воронцов не хочет принять в этом участия, то он, Лопиталь, едет сейчас же к Бестужеву, открывает ему все и соединяется с ним для низвержения Воронцова. Испуганный Воронцов соглашается действовать вместе, поддерживать у императрицы внушения Лопиталья против Бестужева. Так рассказывает Кейт в донесении своему двору. Но есть другое известие, в сущности несколько не противоречащее первому; по этому известию, Лопиталь является к Воронцову и говорит ему: «Граф! Вот депеша, только что полученная мною от моего двора; в ней говорится, что если в пятнадцать дней великий канцлер не будет заменен вами, то я должен обратиться к нему и не иметь более сношения с вами». Это известие вероятнее в своих подробностях: Лопиталь попадал в самое чувствительное место Воронцова, настаивая на деле самом простом и понятном, не выставляя никакого личного отношения, а защищая достоинство своего двора, требуя для себя выхода из странного положения: до сих пор французский посол должен был вести дело с вице-канцлером, а не с канцлером, что было неблагоприятно, казалось чем-то подпольным; временно можно было на это согласиться в ожидании перемены главного министра вследствие перемены политики, но если все останется по-прежнему, то французский посол должен вести дело с канцлером. Что же касается до угрозы открыть все (что все?) канцлеру и соединиться с ним для свержения Воронцова, то эта угроза слишком груба. По второму известию, Воронцов, задетый за живое, отправился к Ивану Шувалову, и вместе представили императрице, что ее слава страдает от кредита Бестужева в Европе, т.е. что канцлеру приписывают более силы и значения, чем самой императрице. Но понятно, что это представление, ловко бившее на самолюбие Елисаветы и подкрепленное указанием на дело

Понятовского, не могло быть одно. Надобно было убедить Елисавету, что против Бестужева существуют важные подозрения; удалить его от дел по одним подозрениям нельзя; но уличить его можно, только арестовав его, захвативши бумагу и доверенных людей. Арест канцлера и следствие над ними были решены. Есть другое известие, показывающее, каким образом Елисавета была еще подготовлена к этому решению, раздражена против Бестужева. Эстергази доносил своему двору, что великий князь обратился к нему с жалобами на канцлера и Эстергази дал ему совет обратиться прямо к императрице. Елисавета была очень тронута, что племянник обратился к ней по-родственному, с полною, по-видимому, откровенностию и доверенностию; никогда она не была так ласкова с ним, и Петр, раскаиваясь в прошедшем своем поведении, складывал всю вину на дурные советы, а дурным советником оказался Бестужев.

В субботу вечером 14 февраля Бестужев был арестован, когда явился в конференцию, и отведен под караулом в собственный дом. Великая княгиня, проснувшись на другой день, получила записку от Понятовского: «Граф Бестужев арестован, лишен всех чинов и должностей; с ним арестованы ваш бриллианщик Бернарди, Елагин и Ададулов». Первая мысль Екатерины по прочтении записки была та, что беда ее не минует. Бернарди, умный, ловкий итальянец, по своему ремеслу был вхож во все дома; почти все были ему что-нибудь должны, почти всем он оказал какую-нибудь маленькую услугу. Так как он постоянно бегал по домам, то ему, давали поручения; записки, посланные с ним, доходили скорее и вернее, чем отправленные с слугою; и великой княгине он служил таким же комиссионером. Елагин был старый адъютант графа Алексея Разумовского, был другом Понятовского и очень привязан к великой княгине, равно как и Ададулов, учивший ее русскому языку. Вечером были две знатные свадьбы. На балу Екатерина подошла к князю Никите Трубецкому и спросила его: «Что это у вас за новости: нашли ли вы больше преступлений, чем преступников, или у вас больше преступников, чем преступлений?» «Мы сделали то, что нам приказано, – отвечал Трубецкой, – преступления еще отыскивают, и до сих пор неудачно». Потом Екатерина подошла к фельдмаршалу Бутурлину, который сказал ей: «Бестужев арестован, а теперь мы ищем причины, за что его арестовали».

На другой день к великой княгине пришел Штамке и объявил, что получил записку от Бестужева, в которой тот приказывал ему сказать Екатерине, чтоб она не боялась, все сожжено: дело шло о проекте относительно престолонаследия. Записку принес музыкант Бестужева, и было условлено на будущее время класть записки в груды кирпичей, находившуюся недалеко от дома бывшего канцлера. По поручению Бестужева Штамке должен был также дать знать Бернарди, чтоб тот при допросах показывал сущую правду и потом дал бы знать Бестужеву, о чем его спрашивали. Но эта переписка арестантов скоро прекратилась: чрез несколько дней рано утром входит к великой княгине Штамке, бледный, изменившийся, и объявляет, что переписка открыта, музыкант схвачен и, по всем вероятностям, последние письма в руках людей, которые стерегут Бестужева.

Штамке не обманулся: письма очутились в следственной комиссии, наряженной по делу Бестужева; она состояла из трех членов: фельдмаршалов князя Трубецкого и Бутурлина и графа Александра Шувалова; секретарем был Волков. Следственное дело о Бестужеве не имеет полноты, некоторых ответов подсудимого нет, нет первого допроса и ответов. Из дела видно, что допросы уже

сделаны были 26 февраля, и ответами бывшего канцлера императрица осталась недовольна, почему на другой день, 27 февраля, Бестужеву было объявлено: «Ее императорское величество твоими накануне того учиненными ответами так недовольна, что повелевает еще, да и в последнее, спросить с таким точным объявлением, что ежели малейшая скрытность и не прямое совести и долга очищение окажется, то тотчас повелит в крепость взять и поступить как с крайним злодеем». 27 числа Бестужеву был предложен вопрос: «Для чего он предпочтительно искал милости у великой княгини, а не так много у великого князя и скрыл от ее императорского величества такую корреспонденцию (переписку Екатерины с Апраксиным), о которой по должности и верности донести надлежало?» Бестужев отвечал: «У великой княгини милости не искал, паче же старался с ведения ее императорского величества открывать ее письма, ибо тогда великая княгиня была предана королю прусскому, Швеции и Франции по тогдашней системе; но как с год тому времени или с полтора переменяла ее высочество совсем свое мнение и возненавидела короля прусского и шведов, кроме токмо что короля, дядю своего, весьма любит, то канцлер старался не только утвердить в том ее высочество, но и побуждал, дабы она и великого князя на такие ж с ее императорским величеством согласные мнения привела, о чем великая княгиня и трудилась, но сколько ему сказывала, что труды ее разрушаются, присовокупляя этому немецкую пословицу „Was ich baue, das reissen die andern nieder“ (что я строю, то другие разрушают) и упоминая, что то делают наипаче полковник Броун, природный пруссак, обер-камергер Брокдорф и другие, около великого князя находящиеся офицеры, о чем он, канцлер, и ее императорскому величеству в то время доносил, но только о том не упомянул, что он все сии обстоятельства от великой княгини ведает». На основании записки, посланной к великой княгине из-под ареста, был сделан вопрос: «Советуешь ты великой княгине поступать смело и бодро с твердостью, присовокупляя, что подозрениями ничего доказать невозможно. Нельзя тебе не признаться, что сии последние слова особенно весьма много значат и великой важности суть, итак чистосердечное оных изъяснение паче всего потребно». Бестужев отвечал: «Великой княгине поступать смело и бодро с твердостью я советовал, но только для того, что письма ее к фельдмаршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержали».

В допросах сильно настаивалось на частых и необычайных конференциях канцлера с Штамке и Понятовским. Бестужев клялся, что таких конференций не бывало. Но его продолжали допрашивать: «Так как Штамбек и Понятовский были в беспрестанных и необычайных конференциях, всемерно надобно, чтоб и больше в том участников и конфиденентов было; и потому имеешь без утайки объявить всех оных, а притом и то не скрыть, что понеже все сие без всякого намерения делано быть не могло, то спрашивается: не было ли соглашаемо и постановлено какого плана как на нынешнее, так и на будущее время?» Так как в бумагах Бестужева не найдено никаких следов проекта о престолонаследии, то хотели принудить его проговориться, настаивая на частые свидания с Штамке и Понятовским. Но Бестужев держался твердо, зная, что улики нет, а подозрениями ничего доказать невозможно. Он отвечал даже прямее, чем был поставлен вопрос: «Ни с Штамбеком, ниже с Понятовским и другими какими конфиденентами, коих у меня и не было, не думывал ни о каком плане ни на нынешнее время, ниже на будущее, да и

возможно ли о том думать, ибо наследство уже присягами всего государства утверждено».

Поставили странный вопрос: «Ее императорскому величеству точно известно, что когда случалось ее величеству разговаривать с послами, то ты всегда великого князя ободрял или научал туда же подходить, дабы таким разговорам мешать или останавливать оные. И потому желает ее императорское величество только о том ведать, какое ты имел в том намерение или побуждение». «Богом свидетельствуюсь, – отвечал Бестужев, – что того никогда не думывал; но статья может, что, однако, не памятую, что как иногда великий князь удалялся, то я ему показывал, что такое удаление неприлично, а особливо что великий князь, вступая иногда тем временем в разговоры с малыми людьми, оными совсем засланивался».

Ответами, разумеется, были недовольны, и 4 марта Бестужеву именем императрицы повторено было требование, чтоб признавался искреннее, повторена была и прежняя угроза. Спрашивалось: «Показал ты, якобы великой княгине поступать смело и бодро с твердостью советовал ты только для того, что письма ее к фельдмаршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержали; но понеже ты к тому присовокупил точные слова, что подозрениями ничего доказать неможно, то из сего ясно, что ты надежду свою только в том полагаешь, якобы прямых доказательств не будет, а впрочем, уже признаешься, что к подозрениям много причин подано; итак, имеешь ты точно объявить, чего подозрениями доказать неможно, також и то, против кого советуешь ты поступать смело и бодро с твердостью. Клятва твоя, якобы ни с Штамбеком ни с Понятовским не имел ты никаких в необыкновенное и ночное время конференций, возбуждает паче всего праведный гнев ее императорского величества, обличает твое упорство и наказания достойную надежду хитростью, коварством и интригами загладить те преступления, в коих ты уже страдаешь. Ее императорское величество так точно и подлинно знает, что Понятовский и Штамбек были у тебя почти ежедневно и во всякое суток время и сиживали очень долго, что о том и не спрашивает, но хочет только, дабы ты, не обинуясь и не ища околичностей, прямо объявил, в чем сии конференции состояли, ибо об них ее императорскому величеству такими записками доносимо не было, как ты доносил всегда о бытности у тебя других министров. Чрез кого ты сведал, что великая княгиня вдруг свои мысли переменила и, возненавидя короля прусского и шведов, любит токмо весьма короля, своего дядю, и что за причина была такой скоропостижной перемены? Каким образом открылась тебе великая княгиня толь много, что именовала тебе всех тех, кои развращают великого князя, когда ты говоришь, что милости ее никогда не искал? Точно известно ее императорскому величеству, что много курьеров отправлено было отсюда тобою к гетману в Украину, и потому точно объявить имеешь, кто были те курьеры, сколько их всех было, с чем и когда посланы. Что кавалерию Белого Орла для Штамбека выпросил ты у короля польского, о том ее императорскому величеству точно известно, итак, спрашивается только, по чьему отсюда прошению ты то делал и для чего. Сверх тех писем, о которых ты уже винулся, что получал от великой княгини чрез Бернардия, известно ее императорскому величеству еще гораздо больше таковых, как от ее высочества к тебе, так и от тебя к ее высочеству чрез того ж Бернардия переносимо было, и потому надлежит тебе показать, в чем точно состояла сия

переписка, где теперь все сии письма, для чего пересылаемы были они не прямым каналом, но толь непозволительным образом и для чего не доносил ты о том никогда ее императорскому величеству, буде сжег, то для чего? Его высочеству великому князю говорил ты, что ежели его высочество не престанет таков быть, каков он есть, то ты другие меры против него возьмешь; имеешь явственно изъяснить, какие ты хотел в великом князе перемены и какие другие меры принять думал».

Бестужев постарался как можно подробнее объяснить свои отношения к польско-саксонскому двору, потому что неискренность в этом отношении *паче всего* возбуждала гнев императрицы. «Будучи графом Брюлем остережен о данной маркизу Лопиталю секретной инструкции стараться здесь о моем низвержении, – отвечал он, – искал я чрез польский двор подать о себе лучшие мнения французскому и венскому дворам и чрез то избавиться от их гонений. Посол граф Эстергази открылся датскому здесь умершему министру Малцану и бывшему здесь шведскому полковнику графу Горну, а они оба ему (Бестужеву): 1) что он, Эстергази, своим кредитом и представлениями то сделал, что соизволила ее импер. величество учредить при дворе своем конференцию, дабы канцлер не имел больше в делах такой силы, как прежде. 2) Что будто ее импер. величество не принимает никакой важной резолюции, не посоветовавшись прежде с ним, послом. 3) Что он представлял ее импер. величеству, дабы при будущих с Франциею негоциациях канцлер совсем исключен был, ибо-де на него полагаться нельзя, паче же опасаться надобно, что он всякие препоны делать будет по своей преданности Англии. Сверх того, датский посланник Остен нашел все то в депешах ко двору своего предцессора Малцана и уведомил о том графа Понятовского, который послу графу Эстергазию и выговаривал, для чего он так канцлера гонит, но Эстергази Понятовскому во всем заперся, а сказывал, напротив того, что будто ее импер. величество ему отзывалася, что хочет канцлера исключить из негоциации с Франциею, а он, Эстергази, будто, напротив того, представлял, что, конечно, надобно, чтоб канцлер был еще при совершении всех тех негоциаций, кои к твердому установлению нынешней системы потребны будут, или-де разве уже лучше его от всех дел отставить».

Хотели подробностей, и Бестужев не поскупился на них; но эти подробности могли быть неприятны только одному Эстергази, которого бывшему канцлеру вовсе не нужно было щадить.

Ответов Бестужева на другие вопросы в деле нет. Мы уже заметили, что следственное дело не имеет полноты; впоследствии, когда по воцарении Екатерины II Бестужев снова находился в приближении, то следственное дело было в его руках, на что указывают оставшиеся на нем заметки его руки. Так, относительно вопроса о пересылке с гетманом Разумовским читаем две заметки: 1) «Для примечания и известия, что о сем секрете никому известно быть не могло, кроме Теплова: он единственно, зляся на Елагина и Бестужева, тайным доносителем был». 2) «Тоже примечания достойно, что о сем, кроме Теплова, никому известно не было; ежели он подобно тому в новом тайном совете (о чем еще примечательно неизвестно) поступать будет и всех перессоривать, то не нахальством, но скромностию, чистою совестью и искусством Ададулов превосходить будет». Но это обстоятельство, что следственное дело было потом в руках Бестужева, не дает нам права предполагать, что некоторые ответы

уничтожены в деле самим Бестужевым; скорее должно думать, что они не внесены секретарем Волковым, как потом именно жаловался Бестужев, что Волков многие ответы его, служившие к оправданию, отрекался записывать и не принимал их. Это должно было именно случиться с теми ответами, которые обличали странность вопросов. Так, что могло быть страннее допытывания: объяви, чего подозрениями доказать невозможно и против кого советовал ты великой княгине поступать смело и бодро с твердостью? Разумеется, Бестужев должен был отвечать победоносно, что все дело затеяно по неосновательным подозрениям, которыми ничего доказать нельзя, и что он советовал великой княгине сохранять бодрость для избежания подозрения, а не против кого-нибудь. Смешон также другой вопрос: через кого Бестужев узнал, что великая княгиня переменяла мысли, каким образом она так много ему открылась? Ответ был ясен: узнал от нее самой, а указала она на людей, которые препятствуют доброму делу, желая заявить, что она этому делу содействует; впрочем, Бестужев мог и отказаться отвечать на подобные вопросы и потребовать, чтоб о внутренних побуждениях Екатерины спрашивали у нее самой, а не у него.

Также не вносились ответы, которые подавали повод к новым вопросам и повторялись в них. 7 марта Бестужев должен был отвечать на новые вопросы: «В ответе твоём в 4 сего месяца ты показал, якобы только один пакет, присланный к тебе из гетманского дома, переслал ты к нему в Украину с почтальоном, и то из Москвы. Но как ее импер. величеству точно известно, что больше от тебя к нему отправлений было, и буде не нарочных почтальонов, то эстафет, и притом ты уже признался, что ведал о прилагаемом великою княгинею старании Апраксина с гетманом примирить, то, конечно, ты объявить должен, сколько всех отправлений от тебя к гетману было, в чем оные состояли, откуда к тебе пакеты для того приношены и чрез кого, также с каким об отправлении их прошением? Весьма разгневана ее импер. величество, что ты продолжаешь заператься и в таких делах, коих признание не подвержено никакому следствию и о коих ее импер. величество наилучше известна. Ты показал, якобы ни тебя никто не просил, ни ты в Варшаве не домогался о присылке кавалерии Белого Орла Штамбкёну. Ее импер. величеству и то известно, что по твоему научению составлен здесь и тот рескрипт, на который ты ссылаешься и который здесь Понятовским о сей кавалерии предъявлен. Итак, из единого милосердия хочет токмо, хотя в одном пункте, видеть чистое твое признание. Повелевает ее импер. величество, дабы ты обстоятельно объявил, каким образом Апраксин вошел в такой кредит у великой княгини и кто его в оный ввел!»

И на эти вопросы ответов не сохранилось. В одном признался Бестужев: на вопрос, для чего он старался удержать в Петербурге Понятовского, он отвечал: «Подлинно, после получения графом Понятовским его отзыва, старался и чрез саксонского советника посольства Прасса остановить его, Понятовского, здесь; но ни к графу Брюлю, ни к князю Волконскому о том не писал, а сие искание происходило только для того, что, видя на себя гонение графа Эстергази и маркиза Лопиталья, желал по меньшей мере одного благоприятного иметь себе министра, а толь больше графа Понятовского, что уведомлял меня обо всем, что услышит от графа Эстергази и Лопиталья».

В деле находится еще вопрос зачеркнутый: «Известно тебе, что 8 сентября минувшего года в Царском Селе имела ее импер. величество некоторый припадок

болезни. А, напротив того, памятно тебе, что Апраксин, стоя под Гильзитом, имел намерение сие место укрепить, так что принятое потом, вдруг 14 и 15 чисел в ночь намерение, все бросая, с поспешением назад идти, справедливую причину подает не только подозревать, но и несомненно верить, что, конечно, он о помянутом припадке уведомлен был. И потому имеешь ты показать, не ты ли его о сем уведомил, или хотя не ведаешь ли ты, что кто-либо другой то сделал». Понятно, что Трубецкой, Бутурлин и Шувалов не позволили Волкову предложить такого вопроса и велели зачеркнуть его в деле, ибо это значило заподозрить, привлечь к суду всех генералов и полковников, участвовавших в военных советах, особенно главнокомандующего Фермора, который прямо заявил о необходимости отступления.

Следователи жаловались императрице на отсутствие искренности в показаниях Бестужева, на то, что он запирается с клятвами и для окончательного подтверждения правды своих показаний приобщился св. таин, после чего дальнейшее следствие бесполезно. Написали вины: 1) клеветал ее импер. величеству на их высочеств, а в то же время старался преогорчить и их высочеств против ее импер. величества. 2) Для прихотей своих не только не исполнял именные ее импер. величества указы, но еще потаенными происками противился исполнению оных. 3) Государственный преступник он потому, что знал или видел, что Апраксин не имеет охоты из Риги выступить и против неприятеля идти и что казна и государство напрасно истощеваются, монаршая слава страдает, не доносил о том ее импер. величеству. Оскорбитель он величества, что вместо должного о том донесения вздумал, что может то лучше исправить собственно собою и вpletением в непозволенную переписку такой персоны, которой в делах никакого участия иметь не надлежало, и чрез то нечувствительно в самодержавное государство вводил соправителей и сам соправителем делался. 4) Будучи в аресте, открыл письменно такие тайны, о которых ему и говорить под смертною казнию запрещено было. За все эти вины комиссия считала Бестужева достойным смертной казни, но предавала все дело монаршему соизволению и милосердию.

Решения долго не было; Бестужев все содержался под арестом в собственном доме. 2 января 1759 года Бестужева вызывали в комиссию, для того чтоб показать ему золотую табакерку с портретом великой княгини и спросить, откуда получил. Бестужев отвечал прямо, что табакерку подарила ему сама великая княгиня во дворце на куртаге за несколько месяцев до его ареста. Это было последнее, что оставалось у следователей; в апреле дело кончилось ссылкой Бестужева в одну из его деревень, именно Горетово Можайского уезда; все недвижимое имущество оставлено за ним, но были взысканы казенные долги. Фельдмаршал Апраксин был переведен из Нарвы поближе к Петербургу, в местность, называемую Четыре Руки, и здесь ему были деланы допросы. Понятно, что в их числе мы не встретим допросов о причинах возвращения к границам после Грос-Егерсдорфской битвы: дело было окончательно решено объяснениями нового главнокомандующего Фермора. Допросы касались переписки Апраксина с Бестужевым и великою княгинею; из ответов обнаруживалось одно: что и канцлер, и великая княгиня побуждали его идти скорее в поход, тогда как прежде в Петербурге оба они были другого мнения. Апраксин оказывался виноват в том, что не имел охоты выступать из Риги и состоял в непозволенной переписке с великою княгинею. Конечно, были рады и этим двум винам, иначе отнятие у него начальства над войском не имело

бы оправдания. Апраксин умер внезапно 6 августа 1758 года. Других причастных к делу – Веймарна и Ададунова – наказали почетною ссылкой: первого определили к сибирской военной команде, второго назначили в Оренбург товарищем губернатора. Штамке был выслан за границу; Бернарди сослан на житье в Казань; Елагин – в казанскую деревню.

Но сильно причастна была к делу великая княгиня Екатерина; недозволенная переписка с нею Апраксина и пересылка писем Бестужевым лежали в основании допросов и бывшему канцлеру, и бывшему главнокомандующему. Хотя Екатерина не могла бояться важных обвинений, потому что подозрениями ничего нельзя было доказать, несмотря, однако, на то, положение ее было тяжело: подозрениями ничего нельзя было доказать, но подозрения могли оставаться в голове императрицы; да и кроме подозрения Екатерина знала, как Елисавету должно было раздражить ее вмешательство в дела и значение, ею приобретенное; главнокомандующий, зная решительные намерения государыни, колеблется, сдерживается в их исполнении противоположными желаниями великой княгини. Гнев императрицы, и сильный гнев, несомненен, и где искать защиты от этого гнева, кто предложит его на милость? Люди преданные пали, судятся как государственные преступники, враги торжествуют, великий князь настроен крайне враждебно, в чем, по свидетельству Екатерины, виноват был приблизившийся к Петру голштинiec Брокдорф: говоря об Екатерине, Брокдорф выражался: «Надобно раздавить змею». Эстергази доносил своему двору, что великая княгиня два раза присылала к нему Штамке за советом и помощью, давая знать, что все беды постигли ее за усердие к интересам Марии-Терезии. «Но так как, – писал Эстергази, – императрица Елисавета горько жаловалась мне на поведение Екатерины и так как иностранный министр не должен вмешиваться в домашние дела государей, то я отклонил от себя это дело, велевши сказать ей, что всего лучше, если она обратится к посредничеству своего супруга, владеющего полною милостью и доверенностью императрицы». Легко понять, как после такого совета, походившего на самую злую насмешку, должна была Екатерина относиться к Эстергази. Будущее очень мрачно; одно средство выйти из тяжелого положения – это обратиться прямо к Елисавете, которая очень добра, которая не переносит вида чужих слез и которая очень хорошо знает и понимает положение Екатерины в семье. Рассказывали, что Ив. Ив. Шувалов уверил великую княгиню, что императрица скоро увидится с нею и если со стороны Екатерины будет оказана маленькая покорность, то все дело кончится очень хорошо: известие очень вероятное, потому что фаворит старался всюду быть примирителем. С другой стороны, ходили слухи, что великую княгиню удалят из России, слухи несбыточные, потому что Елисавета никогда не решится на такой скандал из-за нескольких писем к Апраксину; но тем лучше, можно отнять у врагов эту угрозу и обратить ее против них самих, переменить оборону в наступление: Екатерину беспрестанно оскорбляют, ей жизнь в России стала невыносима, так пусть дадут ей свободу выехать из России. Великая княгиня пишет императрице письмо, в котором, изображая свое печальное положение и расстроившееся вследствие этого здоровье, просит отпустить ее лечиться на воды и потом к матери, потому что ненависть великого князя и немилость императрицы не дают ей более возможности оставаться в России. После этого письма Елисавета обещала

переговорить лично с великою княгиней; посредничество духовника императрицы ускорило свидание.

Свидание происходило за полночь. В комнате императрицы кроме нее и великой княгини находились еще великий князь и граф Александр Шувалов. Увидавши императрицу, Екатерина бросилась перед нею на колена и со слезами стала умолять отправить ее к родным за границу. Императрица хотела ее поднять, но Екатерина не вставала. Если Ив. Ив. Шувалов советовал ей оказать немного покорности, то она употребила сильный прием и тем скорее достигла своей цели. На лице Елисаветы была написана печаль, а не гнев, на глазах блистали слезы. «Как это мне вас отпустить? Вспомните, что у вас дети!» – сказала она Екатерине. Та ловко затронула другую нежную сторону человеческого сердца. «Мои дети, – отвечала она, – на ваших руках, и лучшего для них желать нечего, я надеюсь, что вы их не оставите». «Но что же я скажу другим, за что я вас выслала?» – спросила Елисавета. «Ваше императорское величество, – ответила Екатерина, – изложите причины, почему я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя». «Чем же вы будете жить у своих родных?» – спросила Елисавета. «Чем жила перед тем, как вы меня взяли сюда», – отвечала Екатерина. Елисавета в другой раз велела ей встать, и Екатерина послушалась.

Елисавета отошла от нее в раздумье. Она чувствовала, что потерпела поражение от женщины, которая стояла перед нею на коленях; надобно было собрать силы для нападения. Но это было трудно сделать, и атака поведена была в расстройстве, в беспорядке. Елисавета подошла к великой княгине с упреками: «Бог свидетель, как я плакала, когда по приезде вашем в Россию вы были при смерти больны, а вы потом не хотели мне кланяться как следует, вы считали себя умнее всех, вы вмешивались во многие дела, которые вас не касались, я бы не посмела этого делать при императрице Анне. Как, например, смели вы посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?» «Я! – отвечала Екатерина. – Да мне никогда и в голову не приходило посылать ему приказания». «Как, – возразила императрица, – вы будете заперяться, что не писали к нему? Ваши письма там (она показала их пальцем на туалете). Ведь вам было запрещено писать». «Правда, – отвечала Екатерина, – я нарушила это запрещение и прошу простить меня, но так как мои письма там, то они могут служить доказательством, что никогда я не писала ему приказаний и что в одном письме я извещала его о слухах насчет его поведения». «А зачем вы ему это писали?» – прервала ее императрица. «Затем, – отвечала Екатерина, – что очень его любила и потому просила его исполнять ваши приказания; другое письмо содержит поздравление с рождением сына, третье – поздравление с Новым годом». «Бестужев говорит, что было много других писем», – сказала на это Елисавета. «Если Бестужев это говорит, то он лжет», – отвечала Екатерина. Тут Елисавета употребила нравственную пытку, чтоб вынудить признание. «Хорошо, – сказала она, – если он на вас лжет, то я велю его пытаться». Но Екатерина не испугалась и отвечала: «В вашей воле сделать все то, что признаете нужным; но я писала только эти три письма к Апраксину». Елисавета ничего не сказала на это.

Она, по своему обычаю, ходила по комнате, обращаясь то к великой княгине, то к великому князю, но всего чаще к Шувалову. Весь этот разговор, длившийся полтора часа, производил на нее тяжелое впечатление, но не раздражал ее. Великий князь, напротив, высказал сильное ожесточение против жены. Он

старался раздражить и Елисавету против нее, но не достиг цели, потому что в его словах слишком резко выражалась страсть. Наконец, императрица, подошедши к Екатерине, сказала ей тихонько: «Мне много нужно было бы сказать вам, но я не могу говорить, потому что не хочу еще больше вас поссорить». «Я также, – отвечала Екатерина, – не могу говорить, как ни сильно мое желание открыть вам мое сердце и душу». Елисавета была очень тронута этими словами, слезы навернулись у нее на глазах, и, чтоб другие не заметили, как она растрогана, она отпустила великого князя и великую княгиню, говоря, что уже очень поздно: действительно, было около трех часов утра. Вслед за Екатериною императрица послала Александра Шувалова сказать ей, чтобы не горевала, что она в другой раз будет говорить с нею наедине. В ожидании этого разговора Екатерина заперлась в своей комнате под предлогом нездоровья. Она в это время читала пять первых томов Истории путешествий с картою на столе. Когда она уставала от этого чтения, то перелистывала первые томы французской энциклопедии. Скоро она имела удовольствие убедиться, как удачно поступила она, потребовавши сама отпуска из России: к ней явился вице-канцлер Воронцов и от имени императрицы стал упрашивать отказаться от мысли оставить Россию, ибо это намерение сильно печалит императрицу и всех честных людей, в том числе и его, Воронцова. Он обещал также, что императрица будет иметь с нею вторичное свидание. Обещание было исполнено. Императрица потребовала прежде всего, чтоб Екатерина отвечала ей самую правду на ее вопросы, и первый вопрос был: действительно ли она писала только три известные письма к Апраксину? Екатерина поклялась, что только три.

Окончание дела во дворце между императрицею и великою княгинею, разумеется, имело необходимое влияние и на дело Бестужева с сообщниками, хотя и не спасло их от ссылок, почетных и непочетных. До нас дошла переписка Екатерины с одним из сосланных – Елагиным. Екатерина посылала ему деньги и ласкала себя надеждою скорого освобождения и ссылки. «По теперешней перемене, – писала Екатерина, – иного предмета не имею, как наискорей вас освободить, и покамест к вам посылаю для первого случая 300 чер. Надеюсь получить благополучный успех, но в первом моменте еще об том упомянуть нельзя было. *Homme d'or* (золотой человек) здесь, и хороший ему прием, и мы все не оставим о вас упомянуть; будь здоров и уверен, что невинность и усердие твои век из ума не выдут». В другом письме Екатерина говорит: «*Неподвижного* редко вижу, и канала почти нет, но со всем с тем не пропущу ему напомнить и подвигать ко всему тому, что вам полезно будет».

Среди этих дворцовых событий распоряжение о деятельном продолжении войны не останавливалось. Неудачи, претерпенные Австриею в конце 1757 года, потеря Бреславля заставили венский двор домогаться в Петербурге, чтоб русское войско как можно скорее вступило опять в Пруссию или отправлен был бы тридцатитысячный отряд через Польшу на помощь наследственным землям императрицы-королевы. Эстергази в этом требовании был подкреплён французским послом Лопиталем и королевско-польскими министрами. На конференции положено было отвечать, что вместо одного или другого ее величество исполнит вместе и то и другое желание императрицы-королевы: генералу Фермору уже велено как можно скорее привести в движение войско, и он, несмотря на суровое время года, находится в походе для занятия Пруссии; но

кроме того, велено обсервационный корпус, состоящий из лучших и отборных людей, отправить в поход через Польшу под начальством генерал-аншефа графа Салтыкова, и под ним будут начальствовать генерал-поручики граф Чернышев и князь Долгорукий, из которых первый выбран особенно потому, что императрица-королева удостоила его своим одобрением. Австрийский двор должен как можно скорее дать знать, к какому месту должен идти этот союзный корпус, и принять меры, чтоб он прежде соединения своего с австрийскими войсками не был настигнут и разбит прусским королем. Впрочем, так как прусский король не будет спокойно дожидаться соединения русских войск с австрийскими и первые, как бы ни спешили, не придут в назначенное место до начала кампании, то не лучше ли назначить такое место, где русский корпус сделал бы диверсию прусскому королю чувствительнее, следовательно, для императрицы-королевы полезнее. Это именно может быть сделано в Силезии или ниже, у Франкфурта-на-Одере; тогда, во-первых, поход сильно бы сократился; во-вторых, прусский король до последней минуты не знал бы, куда идет вспомогательный корпус; в-третьих, генерал Фермор, занявши Пруссию, будет распространять свои операции до Померании, чтоб подкрепить операцию шведской армии; генерал Броун, имея уже теперь указ подвинуться до Вислы, может еще прежде проникнуть в самую Бранденбургию, а если бы и третий корпус Салтыкова, устремляясь на Бреславль или Глогау, был с ними в равной линии, то прусский король непременно был бы приведен в смущение. Атаковать короля прусского в этих местах такими тремя корпусами, которые и сами по себе сильны, и находятся в таком друг от друга расстоянии, что могут помогать один другому, кажется единственным или надежнейшим средством разделить силы прусского короля и заставить его вести только оборонительную, а не наступательную войну. Мария-Терезия отказалась от вспомогательного корпуса. Между тем от 3 января получено известие о занятии Фермором города Гильзита, амтов Руса и Кукернезена. Русское войско вступило в Пруссию пятью колоннами под начальством генералов Салтыкова 2-го, Рязанова, графа Румянцева, принца Любомирского, Панина и Леонтьева. 10 числа, когда Фермор был в городе Лабио, приехали к нему депутаты от главного города Пруссии – Кенигсберга с просьбою принять их в покровительство императрицы с сохранением привилегий, и на другой день русское войско вступило в Кенигсберг и встречено было колокольным звоном по всему городу, по башням играли в трубы и литавры, мещане стояли впереди и отдавали честь ружьем. Фермор был назначен генерал-губернатором королевства Прусского. В Вене очень радовались занятию прусских земель русскими войсками, но сейчас же и высказали беспокойство. Эстергази получил приказание требовать, чтоб дальнейшее занятие прусских земель делалось именем императрицы-королевы, «дабы не подать повода другим дворам к размышлению, а притом чтоб можно было различить воюющую сторону от помощной». На это дан был ответ: «Отношения наши к королю прусскому вовсе, кажется, не требуют таких предосторожностей. Декларацию его, против нас изданную, сочтут непрямым объявлением войны только такие люди, которые не захотят прямо ее разуметь. Мы объявили при всех дворах, что для доставления союзникам нашим надлежащей помощи нет другого способа, как прямо действовать против прусского короля, а потому все дворы, кажется, должны быть равнодушны к тому, чьим бы именем прусские земли ни были заняты. Для нас довольно иметь

убеждение, что наши союзники, а императрица-королева особенно, зная наши чувства, отдадут нам справедливость и не подумают, чтоб мы под видом помощи им пеклись только о своей пользе. Что касается присяги, к которой приводятся жители прусских земель, покоренных нашему оружию, то справедливость и надобность ее оказываются при первом взгляде, ибо мы требуем только, чтоб жители ни тайно, ни явно не предпринимали против нас ничего предосудительного».

Наступил май, время приступать к решительным действиям, и венский двор забил тревогу. «Общие неприятели, – писала Мария-Терезия Эстергази, – продолжают обнадеживать, что русская армия и в нынешнюю кампанию ничего существенного не предпримет, потому что она малолюдна и претерпевает такой недостаток в деньгах, что нечего и думать об учреждении магазинов, покупке фуража и доставлении прочих военных потребностей. Таким образом, лучшее время для военных операций минет бесплодно». На сообщение этих опасений Эстергази отвечал: «Если обстоятельства не позволяли нам до сих пор столько в пользу союзников наших сделать, сколько бы мы желали, то можно, однако, сказать правду, что мы сделали все то, что сделать могли. Занятие Пруссии последовало в такое время, с такими издержками и усилиями, что стоит нам не менее целой кампании. Сверх того, здесь готовы были и требуемый корпус в 30000 человек отправить во владения императрицы-королевы; и действительно, он уже находился в походе, когда произошла отмена согласно желанию ее величества. Теперь этот корпус уже близко к остальному войску, с которым должен соединиться, и надобно надеяться, что скоро придет в движение вся армия, которая и без того находится по большей части за Вислою. И вешнее время никак нельзя почитать потерянным, ибо дальнейший поход требует бесчисленных приготовлений; сюда присоединились несчастья: неурожай хлеба и фуража, и теперь вследствие необыкновенно сухой и холодной погоды трава еще из земли не показывается».

В июне Мария-Терезия снова торопила русское войско и писала в рескрипте своем к Эстергази: «Теперь все зависит от того, чтоб русские войска долее в бездействии не оставались, но скорыми своими действиями подкрепили и оживотворили движения союзников. Приятели и неприятели с нетерпением этого ожидают; и если обнадеживания ее величества императрицы исполнятся, то неприятель придет в сильное беспокойство и покинет свои дальновидные замыслы и чрез это умножится бодрость как всех союзников, так и нас самих. Россия имеет в руках возможность общему и ей столько же, как и нам, опасному неприятелю нанести смертельный удар, и сделать это тем легче и надежнее, что прусский король не может собрать достаточной армии для отпора русским силам, хотя бы он и получил успех в Моравии. Все это ты должен представить петербургскому двору в самых сильных выражениях: собственная его честь, слава и благополучие зависят теперь от его совершенных или несовершенных операций, и что теперь упущено будет, то уже потом нельзя будет поправить».

Новый главнокомандующий русскою армиею Фермор знал по печальному опыту предшественника, что при плохом устройстве провиантской части делать быстрые движения нельзя, и знал, что в случае медленности он будет иметь главных врагов в австрийцах, которые будут кричать против него в Петербурге и по всей Европе и складывать на русское войско вину собственных неудач. Вот

почему, приняв начальство над войсками, Фермор заручался в Петербурге милостивцами, которые бы защитили его в случае нужды; так, он писал Воронцову: «Понеже оный главный пост (главнокомандующего) требует великой ассистенции милостивых патронов, того ради беру смелость вашего сиятельства просить меня и врученную мне армию в милостивой протекции содержать и недостатки мои мудрыми вашими наставлениями награждать».

22 мая Фермор извещал, что готов к выступлению из Восточной Пруссии; 20 июня он был у Познани и 1 июля выступил от этого города прямо на запад, к бранденбургской границе, куда, именно к местечку Мезеричу, вся армия пришла 15 числа. Отсюда хотели было прямо идти к Франкфурту-на-Одере, но недостаток провианта и фуража и порча упряжки вследствие продолжительных дождей заставили подумать, продолжать ли поход в этом направлении. На военном совете австрийский генерал барон С. Андрэ, по-прежнему находившийся при русском войске, был такого мнения, что лучше всего австрийской армии держаться около Лузании, а русской оставаться у Франкфурта-на-Одере или у Кроссена и там по возможности стараться перейти Одер для соединения с австрийцами, чтоб неприятель не мог напасть на русских, не подвергая себя опасности подвергнуться с тыла нападению австрийцев. Но главнокомандующий и генерал-поручики Солтыков, князь Голицын и Чернышев возражали, что в указанной местности нет нисколько фуражу, а лошади в таком плохом состоянии, что не могут подвозить провианта. Надобно потому перейти у Ландсберга через реку Варту, потом, остановясь у Кистрина, послать один корпус в окрестности Швета и учредить как можно, скорее главный магазин в Старгарде, давая между тем отдых лошадям, чтоб можно было пройти в окрестности Франкфурта и подать помощь австрийской армии. Если же шведское войско приблизится к городу Швету, то русскому войску спешить к Одере, навести мосты и, соединясь с шведами, идти далее в неприятельские земли, чтоб отвлечь прусского короля от Силезии. С. Андрэ согласился с этим мнением. Поэтому армия приняла направление к северу и 28 июля расположилась у Ландсберга. 4 августа русские подошли к Кистрину и калеными ядрами сожгли город, но крепость не сдалась; она защищалась двумя реками – Вартою и Одером – и каналами; чтоб окружить ее, русским нужно было растянуть свое войско на большом пространстве, на что Фермор не мог решиться вблизи прусского корпуса, командуемого графом Дона.

В ответ на донесение о бомбардировании Кистрина Фермор получил такой рескрипт: «Счастливо произведенное вами в действие предприятие против Кистрина не только приобретает вам совершенную нашу похвалу и одобрение и не только с точностью соответствует нашим предписаниям, нашим надеждам на ваше военное искусство, на ваше усердие и ревность, но отчасти и превосходит наши ожидания. Пусть крепость Кистрин не взята, пусть и не будет принуждена к сдаче переходом вашим через Одер и пресечением ей сообщения с прусским корпусом графа Дона; довольно и предовольно того, что примерною храбростию нашего войска неприятельское войско уstraшено, земские жители потерю своего свезенного в город имения научены полагаться больше на наши обнадеживания и оставаться спокойно в своих домах, чем полагаться на защиту своего войска, а истреблением обширного магазина, содержавшего с лишком 600000 четвертей хлеба, конечно, сделано будет великое препятствие неприятельскому плану, если

пруссаки будут принуждены позволить вам утвердиться в тамошних местах на безопасных зимних квартирах».

От 24 августа послан был Фермору другой рескрипт: «Теперь самое критическое время, в которое нынешняя война, слава и благосостояние государств решиться могут. С одной стороны, фельдмаршал граф Даун теперь уже глубоко в Лузании, если еще не вступил в Бранденбургию. С другой стороны, король прусской употребит все силы предупредить графа Дауна и воспрепятствовать вашему с ним соединению. Нельзя ручаться, не предпримет ли король твердого намерения во что бы то ни стало на вас напасть и так разбить, чтоб после легко ему было противиться одному графу Дауну. Наконец, что менее всего вероятно, не вздумается ли королю по примеру чудного его во всем поведении обратиться в Польшу, чтоб там завести смуту в свою пользу и удалить театр войны от собственных земель? На все эти три случая мы не можем теперь здесь подать вам пространнейшие наставления; надеемся, что вы будете всегда в состоянии сдержать неприятельское стремление и утвердиться в Померании на зимних квартирах – одним словом, совершить славную кампанию. Старайтесь только прилежно проводить о неприятельских движениях, почему одобряем, что вы блезевскому аббату Иосифу Локу дали поручение посылать вновь шпионов».

Надежда не исполнилась. Фридрих II находился в австрийских владениях, когда узнал о вторжении русских в Бранденбург. *Скоропостижный* король немедленно двинулся с войском на защиту своих основных владений. Во Франкфурте-на-Одере услышал он гром русских пушек, обстреливавших Кистрин, и неслышно от Фермора в одну ночь перешел Одер несколько верст ниже Кистрина и отрезал Фермора от Румянцевского корпуса, находившегося вниз по Одера по направлению к Швету. Фермор узнал о приближении короля, когда толпа козаков наткнулась на прусских гусар; 20 козаков было взято в плен, остальные ускакали и привезли в главную квартиру известие, что пруссаки уже по сю сторону Одера. Фермор немедленно снял осаду Кистрина и расположил войско на выгодном месте подле деревни Цорндорф. Русская армия была расположена по-миниховски – большим каре, внутри которого находились обоз и конница.

14 августа в 9 часов утра началось сражение нападением пруссаков на правое крыло русской армии. Здесь стоял новонабранный Шуваловым так называемый наблюдательный корпус, люди отличные, но никогда не бывавшие в огне. Несмотря на то, они не дрогнули от прусской стрельбы и сдержали стремление прусских гренадер, а русская конница расстроила их и заставила податься назад, 26 неприятельских пушек было уже в русских руках. Но движение конницы произвело страшную пыль, которая вместе с дымом относилась ветром на вторую русскую линию, которая ничего не могла различить и стреляла по своей коннице сзади, а спереди явилась прусская конница под предводительством генерала Зейдлица; русская конница была опрокинута на свою пехоту, в пыли и дыму русские перемешались с пруссаками, и началась страшная резня, в которой русские солдаты удивили неприятелей своею стойкостью: расстрелявши все патроны, они стояли как каменные, их можно было перебить, но не обратив в бегство. Но было и другое печальное явление: часть солдат бросилась на маркитантские бочки с вином и начала их опустошать; напившись, в беспамятстве били собственных офицеров, бродили, ничего не понимая, и не слушались никаких приказаний. Полдневное солнце палило прямо в лицо русским, пыль и

дым ослепляли их. Все это повело к окончательному расстройству правого крыла. Во втором часу дня король велел двинуться своим на левое русское крыло; нападение было отбито и пруссаки обращены в бегство. Но тот же Зейдлиц с конницею явился и тут на помощь своим и восстановил равновесие. Битва пошла отчаянная. С обеих сторон пороху недоставало, дрались на шпагах и штыках, и дрались до наступления темноты. Оба войска, выбившись из сил, ночевали на месте битвы; ни то, ни другое не могло приписать себе победы. Но на другой день Фермор отступил первый и тем дал пруссакам повод приписать победу себе. Потеря с русской стороны была страшная: с лишком 20000 выбыло из строя, потеряно более ста пушек, более 30 знамен. Генерал-поручики Салтыков и граф Чернышев, генерал-майор Мантейфель и два бригадира – Тизенгаузен и Сиверс – попались в плен; старик генерал-аншеф Броун получил больше 17 ран по голове. У пруссаков выбыло из строя 12000 человек да потеряно 26 пушек. Король не имел возможности преследовать Фермора и отступил в Кистрин.

25 августа приехал в Петербург полковник Розен с известием о «генеральной и прежестокоей баталии», бывшей 14 числа. «Пополуночи в 9 часу, – доносил Фермор, – началась баталия непрерывною пушечною пальбою и продолжалась полтора часа, а потом загорелся из мелкого ружья огонь, который, пушечною ж пальбою подкрепляемый, продолжался до самой ночи, в которое время неколикократно по переменам одна сторона другую сбивала и места своего не уступала, пока напоследок в 10-м часу прусская армия российской место баталии уступила, где российская чрез ночь собралась и не токмо в виду прусской ночевала, но на другой день имела ростах, собирая своих раненых и пушек, сколько неприятель допускат. Урон раненых из генералитета, штаб– и обер-офицеров весьма знатен, токмо по краткости времени точно показать неможно. Я не в состоянии вашему императ. величеству о поступках генералитета, штаб– и обер-офицеров и солдат довольно описать, и аще бы солдаты во все время своим офицерам послушны были и вина потаенно сверх одной чарки, которую для ободрения выдать велено, не пили, то б можно такую совершенную победу над неприятелем получить, какова желательна, и тако донести должен, что в рассуждении великого урона, слабости людей и за неимением хлеба принужден сегодня (15 августа) до тяжелых наших обозов и хлеба 7 верст до Грос-Камина следовать, а потом до Ландсберга, где надеюсь с третьею дивизиею, при Швете стоящею, соединиться и субсистенцию армий сыскивать по реке Варте. Денежная казна поныне почти вся сохранена, и дела секретной экспедиции купно со всеми цифирными ключами сожжены. Его высочество принц Карл (саксонский) и генерал С. Андрэ, не дождавшись совершенного окончания баталии, знатно заключа худые следствия, ретировались в Швет. Я при сем неудачном случае по моей рабской должности всевозможные меры употреблять не оставлю».

Дополнением к известиям о Цорндорфской битве служит дело, начатое по доносу волонтера русской армии польского шляхтича Казновского на бригадира Стоянова. Казновский показывал: 14 августа после битвы вечером он и Стоянов съехались вместе и Стоянов сказал: «Какой-то лютеранин, командующий генерал, поставил армию под ветер и всю погубил; только бы время пришло удобное, съехался бы с ним и застрелил; а теперь куда нам деваться? Мужики нас прибьют! Лучше сыскать трубача и ехать в Кистрин». Генерал-майор Панин вместе с

Стояновым и многими другими действительно поехали в Кистрин; но Панин одумался и стал говорить Стоянову: «Поедем вместе назад в лагерь». Стоянов отвечал: «Поезжайте куда хотите, а я еду своею дорогою, жаль, что уже ночь наступила». Разговаривая таким образом, все опять поехали лесом; тут же и грузинского полка священник усиленно просил, чтоб в Кистрин не ездили. Из лесу приехали в прежний русский лагерь при Кистрине; тогда один пехотный подполковник опять начал говорить, что выехали уже к Кистрину и потому надобно опасаться прусских гусар; и Панин тотчас повернул налево от Кистрина, вместе с ним поехали и другие; помедлив немного и видя, что никто с ним в Кистрин не едет, поехал за ними же и Стоянов, и ночью приехали все к русским обозам.

Стоянов показал, что не помнит, говорил ли приводимые Казновским слова о Ферморе, только не имел намерения убивать его, иначе не отбивал бы Фермора от неприятеля: когда пруссаки начали нашу армию обходить, то приказано было ему, Стоянову, атаковать их с сербским гусарским полком, что он и сделал и был в самом неприятельском фрунте, но от превосходной силы неприятеля отступил и перешел на правый фланг русской армии. Потом опять с хорватовым полком послан был атаковать неприятельскую артиллерию, что исполнял до того времени, как началась генеральная баталия, во время которой он был на левом фланге. Когда неприятель усилился, фрунт наш сбили и сперва правый фланг пошел на ретираду, а потому и вся армия пошла к лесу, то и он, Стоянов, приехал к лесу; в это самое время увидел он, что Фермора окружили неприятельские гусары и кирасиры, которых он с малым числом своих гусар отогнал и Фермора избавил от смерти или плена. Потом поехал вдоль места битвы, где увидел Панина со многими офицерами. Панин, держась за живот, говорил, что жестоко ранен и бригада его вся пропала, просил, чтоб Стоянов сыскал ему место, где бы перевязать рану. Стоянов отвез его в деревню поблизости от русского правого фланга и, оставя его здесь, намерен был ехать искать Фермора; но Панин говорил ему, что тут остаться нельзя: опасно от неприятеля. Тогда Стоянов, осердясь, сказал ему единственно в шутку: «Куда мне с тобою деваться? Так поедem в Кистрин!», и поехали. Стоянову хотелось отыскать обоз и там оставить Панина для перевязки раны. Между тем наступила ночь; Панин спросил: «Куда же мы едем?» Стоянов опять в шутку отвечал: «В Кистрин». Панин сказал на это: «Теперь в Кистрин ехать поздно, лучше поедem в лес», а Стоянов говорил: «В лесу беда, наедут мужики и нас палками побьют». Панин сказал: «Вот есть трубач!», а Стоянов в шутку отвечал: «Поезжай трубить вперед к Кистрину и скажи, что едут генерал Панин и бригадир Стоянов». Между этими разговорами приехали к обозу.

Стоянов был освобожден от всякого наказания по неосновательности доноса; но и Казновскому выдано 200 червонных за ревность.

На реляцию свою о «неудачном случае» Фермор получил такой рескрипт от императрицы: «Через семь часов сряду храбро сделанное превосходящему в силе неприятелю сопротивление, одержание места баталии и пребывание на оном даже на другие сутки, так что неприятель, и показавшись, и начав уже стрельбою из пушек, не мог, однако же, чрез весь день ничего сделать и ниже прямо атаки предпринять, суть такие великие дела, которые всему свету останутся в вечной памяти к славе нашего оружия, к особенной похвале генералитета и к знаменитой вам яко главному командиру заслуге. Претерпенный великий урон признаваем мы

с должным благоговением соизволением Божиего вся во благое устрояющего провидения. Следствия того состоят также в святой его власти, и мы с равномерным должным благодарением примем и самое от благодеющей его руки наказание, ежели будет его на то воля. Но мы еще всегда на его ж неисчерпаемые щедроты уповаем, что паче помилует, опечалит, возвеселит и, ослабя, укрепит. Имейте вы и в самом, ежели б случилось, несчастии равный с нами дух мужества и твердости, вселяйте его вашим подчиненным и всему воинству, утешьте раненых нашим матерным об них сожалением и теплым желанием о их выздоровлении, не меньше ж и тем, что заслуги всех и каждого будут у нас в незабвенной памяти и без достойного награждения не останутся. Обнародуйте сей наш указ во всей армии, дабы все видели, коль велико наше милосердие к достойным оного, и дабы, видя сию милость, те, кои по малодушию или инако не совсем исполнили свою должность, чувствовали, колико им о поправлении того стараться надобно и коль несравненно благополучнее и завистливее жребий тех, кои с толикою славою и с вечною пред создателем заслугою жизнь свою скончали пред теми, кто оказал бесчестную робость».

16 августа на рассвете в виду неприятеля русская армия выступила с поля битвы и шла семь верст каре; артиллерию, как свою, так и взятую у неприятелей, солдаты везли на себе за неимением достаточной упряжки, раненых козаки везли в тороках на заводных лошадях. Прусское войско не трогалось, и в 9 часу Фермор благополучно прибыл к Грос-Камину, где на несколько дней остановился в крепком лагере. «18 числа, – доносил Фермор, – всевышнему за его милосердное помилование благодарный молебен пет, а по окончании оного пушечная пальба производима была; неприятель також викторию праздновал, пальба оного с четверть часа нашу предварила». После этого Фермор двинулся далее к Ландсбергу и соединился с отрядом графа Румянцева: тут войска у него оказалось 40000, кроме гусар и козаков. В Петербурге были довольны этим движением; довольны и решением военного совета – не помышлять об отступлении, действовать оборонительно, пока окажется удобный случай перейти к наступательному действию. Но в великой и основательной заботе находилась императрица, как говорил ее рескрипт, что не видала в реляциях Фермора никакого объяснения насчет будущего, хотя позднее годовое время требовало принятия мер решительных. «В большей мы заботе оттого, – говорилось далее в рескрипте, – что видим вас самих, несмотря на близость неприятеля, почти в совершенном неведении о его силе и положении и что вы, прежде чем что-либо начать, ожидаете наших указов на отправленные вами после баталии реляции, хотя эти указы по отдаленности должны всегда опаздывать, да и не могут вас удовлетворить, потому что в отправленных вами после баталии реляциях находилось только самое краткое об ней упоминание, причем ни мнения вашего не представлено, ни сделано такого тамошних обстоятельств описания, по которому бы здесь можно было распорядиться надежно и основательно. Хотим, однако, сколько можно, на чрезвычайную краткость ваших реляций подать вам пространное и обстоятельное объяснение наших мнений. Если б корпус графа Дона, слабый до соединения с ним королевского войска, вами был атакован и хотя не совершенно разбит, однако в слабость и расстройство приведен, то, конечно, король прусский не имел бы такой выгоды вас атаковать и должен был бы привести гораздо больше войска, чем облегчил бы австрийского фельдмаршала

графа Дауна и дал бы ему больше возможности с вами соединиться, или должен был бы возвратиться через Силезию в Богемию, дабы отвлечь туда и Дауна. Так и теперь если оставленный против вас корпус будет вами разбит и за реку Одер прогнан, то вы останетесь в полной свободе и безопасности, будете по своему произволу располагать неприятельскими землями по сю сторону Одера. Если же, напротив, корпус графа Дона против вас на этой стороне реки останется, то надобно будет опасаться еще более вредных следствий. Во-первых, занятие зимних квартир будет подвержено большим затруднениям; неприятель нарочно будет долго стоять в лагере, чтоб дурною погодою изнурять нашу армию. Второе и важнейшее: если граф Дона останется на этой стороне Одера, то король опять может прийти к нему и атаковать вас соединенными силами. Нам очень приятно ваше заявление, что главное попечение ваше состоит в занятии зимних квартир в неприятельской земле; но не скроем, что ваши упоминания слегка, как бы мимоходом о таких важных предметах нас очень беспокоят, а теперь еще больше, потому что время позднее. Что касается присланных вами планов последней баталии, то по краткости присоединенного к ним описания нельзя не только сочинить обстоятельной реляции, которой от нас весь свет ожидает, но и никакого ясного для себя представления сделать. План прошлогодней баталии гораздо подробнее был: там видно, который полк и когда дрался и что после чего происходило. Видно и здесь расположение полков, но о действиях их совершенно умолчено, а мы больше всего вам рекомендовали не держать нас в неведении о том, которые полки и кто из генералитета наиболее отличились. Когда же ожидать нам столь нужного сведения, если не при этом великом и редком деле? На одном из планов видим, что авангард прусской армии стоит гораздо ближе к вам, чем к своему войску, и так как вовсе не видно, какие меры принимались вами вследствие такого обстоятельства, то нас беспокоит это слишком недостаточное сведение ваше о состоянии неприятеля, вследствие чего вам надобно всегда опасаться нечаянных от него нападений. Мы всемерно желаем:

1) чтоб зимние или кантонир-квартиры для армии нашей заняты были в бранденбургских землях и, буде можно, по реке Одери.

2) Чтоб Кольберг, как место очень нужное для пропитания нашей армии, взят был как можно скорее. 3) Чтоб корпус графа Дона был не только как можно скорее прогнан за Одер, но и совершенно был разбит. Избегайте таких резолюций, какие во всех держанных в нынешнюю кампанию военных советах были принимаемы, а именно с прибавлением ко всякой резолюции слов: если время, обстоятельства и неприятельские движения допустят. Подобные резолюции показывают только нерешительность. Прямое искусство генерала состоит в принятии таких мер, которым бы ни время, ни обстоятельства, ни движения неприятельские препятствовать не могли».

Кроме этих жестких замечаний, написанных в конференции, Фермор получил от вице-канцлера графа Воронцова перевод со статьи о состоянии русского войска, написанной каким-то иностранцем еще при Апраксине. Воронцов писал при этом, что сочинитель статьи, должно быть, долго при нашей армии был явным шпионом, и предлагал главнокомандующему рассмотреть – между многими лжами не указал ли он и действительного какого-нибудь недостатка в армии, чем можно и воспользоваться. «Я не могу от вашего сиятельства скрыть, – писал Воронцов, – что все почти считают великим недостатком множество обозов в

нашей армии, также и то, что мы иррегулярных своих войск с пользою употреблять не умеем. Правда, трудно на место принятых и долгое время наблюдаемых обыкновений вводить новые; я понимаю, что ваше сиятельство иногда и опасаетесь сами собою вводить новое, но по состоянию нашего государства, с нашим народом, рассуждая, что из него в нынешнем только веке сделано, кажется, что не трудно привести в исполнение все возможное, и скорее, нежели где-нибудь. В древние времена мы одолели турок со всею их превосходною силою; во время шведской войны, не имея почти никакого регулярства и будучи сперва побеждены, успели мы усвоить шведские приемы, научиться у неприятеля военному искусству и собственным, так сказать, оружием победили его. Теперь прусский король имеет для нас такое же значение, какое имели прежде шведы. Нам нечего стыдиться, что мы не знали некоторых полезных военных порядков и приемов, которые введены у неприятеля; но было бы непростительно, если бы мы пренебрегли ими, узнав пользу их на деле. Смело можно народ наш в рассуждении его крепости и узаконенного правительством послушания сравнить с самым добрым веществом, способным к принятию всякой формы, какую ему дать захотят. Я дружески советую вашему сиятельству вместе с господами генералами прилежно исследовать, в чем состоят наши неисправности и какими полезными учреждениями и приемами неприятельской армии надобно воспользоваться без потери времени, а если чего сами собою никак сделать не можете, о том немедленно и серьезно представьте».

В «Письме путешественника из Риги», присланном от Воронцова, говорилось, что «русский пехотный полк, идущий в бой, никогда не имеет более двух долей солдат, потому что никакая армия так не отягощена чрезвычайным багажом, как русская; обозных служителей множество; в каждой роте к провиантским телегам, к возке палаток и больных, к коляскам и амуничным фургонам приставлены солдаты, которые должны кормить лошадей, ибо малая их часть пускается в поля; сверх того, капитан под именем государственных дел к собственным своим услугам употребляет от 10 до 12 человек. Экзерциции очень медленны; первая шеренга остается всегда сидя на коленях; заряды очень плохи, и хотя строение фрунтом и введено, однако пехотный полк на силу в час построится, причем всегда происходят беспорядки. Солдаты маршируют в параде далеко друг от друга, в четыре шеренги, так что между каждым человеком остается места на шаг; у каждого полка везут на особенных телегах множество рогаток для прикрытия ими всего фрунта полка: это делается из предосторожности, чтоб конница не могла ворваться в пехоту.

Главная сила армии состоит в гренадерских полках; и действительно, все гренадеры люди плотные и сильные, но у них нет ни проворства, ни живости; также и гренадерские офицеры люди лучшие, но только на русскую статью. Я видал при гренадерских полках весьма многих разумных людей, которые в службе других государей бывали и которых я спрашивал, для чего они не вводят у себя того, что в других армиях находится хорошего; на это мне капитан Энгельгард отвечал, что он было покусился сделать начало тому в своей роте, но тем только навлек на себя недружбу большей части офицеров своего полка и потому должен был проситься о переводе в другой полк, и стало ему это больше ста рублей, особенно потому, что немцы теперь в малом почтении. Прочая пехота чрезвычайно плоха, обер- и унтер-офицеры имеют ружья оборыш. Я не могу их

пехотных полков ни с какими плохими войсками сравнять, ибо едва ли мещанский полк у нас не порядочнее делает экзерциции, нежели их пехотные полки, приведенные из Замосковья. Но всякий полк снабжен рогатками, на которые они полагают всю свою надежду.

При русской армии везут многочисленную артиллерию под ведомством генерал-лейтенанта Толстова. Мне случалось часто с ним разговаривать, и я заметил, что он искусный артиллерист. При стрельбе в цель из тридцати выстрелов только два не попали. Но этот генерал не был еще ни в одном сражении, только служил при осаде Очакова капитаном под фельдмаршалом Минихом. Толстой особенно жаловался на дурное состояние артиллерийских лошадей. Кирасирских полков всего шесть; пять должны идти в Пруссию, а шестой, называемый конною гвардиєю, оставлен в Петербурге. Первые два могут еще почитаться конными полками; лошади у них посредственные, и по крайней мере немецкие. Укомплектованы они людьми и лошадьми на походе в городах Риге, Ревеле, Нарве, Дерпте, где у всех мещан казенные лошади с платою по 60 рублей за каждую взяты были, не разбирая лет и недостатков, только бы в семь футов приходили и бродить могли; держат лошадь до тех пор, пока с ног свалится. Строеие их эскадронов очень медленно, а атака делается не сильнее, как рысью. Когда командовали: «Стой! оправься!», то в ином месте находилось более 12 шеренг, а в другом такие промежутки, что в них можно было въехать целым взводом. Пальба производилась целыми шеренгами, но в сильном беспорядке; весь полк в кучу съехался, многие лошади споткнулись, и люди с них попадали. Не понимают они точности в экзерциции, и все для них равно, что один рейтар направо, другой налево, а третий вперед смотрит. Что же принадлежит до прочих трех полков, то они теперь только преобразованы из драгунских. Я завел особенную дружбу с полковником одного из них Шваненбургом, который рассказал мне, что лошади у них негодные, все русской породы, чрезвычайно пугливы, необъезжены и бешенее гусарских. Всадник не везет с собою на лошади и епанчи, но все лежит на телегах, и конный полк имеет еще более телег, чем пехотный.

Драгунских полков при армии 12, которые и названия конницы не заслуживают, да и офицеры их очень просты, так что глупые русские офицеры других полков завели у себя поговорку: «Он глуп, как драгунский офицер». Неисправности этих полков та главная причина, что они и в десять лет вместе не сводятся, но постоянно размещены по татарским, турецким и польским границам. Гусары составляют лучшую кавалерию, хотя вообще у них недостает порядка, равенства, живости и ученья; офицеры их очень мало понимают о патрулях, рекогносцировках, засадах, ибо их ничему этому не учат. Калмыки лучше всех из нерегулярных войск. Козаки служат только для того, чтоб неприятеля беспрестанно тревожить, присматривать за ним и держать в страхе. Командующий генерал совсем о том не думает, много или мало этого сброду пойдет в поход. Между козаками донские почитаются лучшими по искусству и храбрости. Всю надежду полагают они на предводителя своего бригадира Краснощекова; они говорят, что он колдун. Генерал-аншеф Лопухин уверял меня в этом, и когда я сказал, что в Германии колдунам не верят, то он отвечал: «Может ли статься, чтоб такому подлинному делу не верить». Я имел случай часто видаться и разговаривать с этим знаменитым Краснощековым: вся его премудрость состоит в

том, что копьем или стрелой попадает в цель на пушечный выстрел, также и в том, что, по его словам, ни от кого пардона не примет. Знатности его больше всего способствовало свойство с Разумовским.

Фельдмаршал Апраксин заботится преимущественно о том, чтоб иметь у себя как можно больший штат и экипаж. В ежедневных и продолжительных моих разговорах с ним я заметил, что он не имеет необходимых для фельдмаршала теоретических познаний, практических же и не может иметь, потому что, кроме Очакова, он нигде не бывал. Вся его забота состоит в том, чтоб заставить людей своих храбро биться; о сохранении людей и лошадей он мало беспокоится. Водит его как на веревочке генерал Веймарн, человек искусный, находившийся постоянно адъютантом при генерале Кейте; он имеет обширные теоретические познания в военных науках, и русские считают его да генерала Ливена оракулами. Генерал-аншеф Лопухин в военном деле малоискусен. Главные его занятия – еда, питье и карты. Генерал-аншефа Ливена нечего считать, потому что тяжкая болезнь мешает ему иметь разумные мысли. По причине долгой его службы русские считают его божком. Он великих дел не совершит, что я приметил из его разговоров с генералом С. Андрэ, который врал ему невероятную дичь, а тот всему верил. Генерал-аншеф Броун слабого духа и нигде не служивал, кроме России. Генерал-поручик князь Голицын никогда не помышлял о воинском деле, он с самых молодых лет находился при дворе и потом был резидентом в Гамбурге. Генерал-поручик Ливен считается очень искусным, но он не в милости у Апраксина, с родственником которого побранился. Генерал-майор князь Долгорукий слывет очень храбрым, но малоискусным. Генерал Вильбоа молодой, но очень способный офицер; впрочем, он сам мне признался, что при нынешних порядках у него пропадает охота. «Черт их возьми, – сказал он мне, – здесь надобно притворяться таким же дураком, как и все, иначе всех сделаешь себе неприятелями». Граф Румянцев тоже молодой человек, употребивший много труда, чтоб сделать себя способным к службе, и действительно имеет обширные теоретические познания, одним словом, это самый искусный русский генерал; главный недостаток его – излишняя горячность. Генерал-майор Панин сам мне говорил: «Зачем меня в генералы произвели? Я их о том не просил; я доволен, когда могу полк обучать». Князь Любомирский пустой хвостун. Фельдмаршал всю свою надежду полагает на полковника Бюлова, перешедшего в русскую службу из саксонской; об нем отзываются, что это вертопрах, но способный стравить между собою всех жителей земного шара».

Фермору писали, чтоб он занимал зимние квартиры в бранденбургских землях и действовал наступательно против Дона; а он еще в августе начал внушать Воронцову, что необходимо пробираться на зимние квартиры – к Польше! «Ныне, – писал он 23 августа из-под Ландсберга, – ныне в армии людей от 35, а с легко ранеными до 40000; но притом в генералах и штаб-офицерах большой недостаток, лучшие выбыли. Полевая артиллерия находится в хорошем состоянии, только зарядом и половинного числа против комплекта не будет; к тому же искусных офицеров, бомбардиров и фузелеров очень недостаточно. На получение впредь провианта никак надеяться нельзя, потому что по переходе прусской армии за Одер как города, так и мужики являются ослушными, выбегают из домов своих и по лесам от козаков отстреливаются, следовательно, тот же точно казус является, который в прошлом году настоял: легкое войско от

разорения земли никоим образом удержать невозможно. Упряжки как под артиллерию, так и под обозом по наступлении осеннего времени вседневно в слабость приходят. А если реку Варту оставить, или и по ней, но на одном месте стоять, то и вовсе лошадей поморить можно, а люди без лошадей какую службу отправлять могут? Артиллерии и амуниции возить не на чем будет. Из этого милостиво заключить можете: не заставит ли меня и весь генералитет крайняя нужда подаваться небольшими маршами вверх по реке Варте или Нетце к магазинам нашим на Вислу и тем сберечь армию и многочисленных раненых не оставить в неприятельских руках».

Но на военном совете, держанном 7 сентября, решено было, что оставаться в бранденбургских землях нельзя, идти прямо к Висле – навлечь гнев императрицы, а потому надобно избрать среднее – идти в Померанию, стать лагерем у Старгарда и послать отряд войска для захвачения Кольберга, приморской крепости, важной для подвоза войска и съестных припасов из России. Решение совета было приведено в исполнение: армия расположилась у Старгарда. Здесь 23 сентября держан был военный совет, в котором Фермор предложил на обсуждение: так как месяц октябрь уже наступает и начинаются жестокие осенние ветры с дождями, в здешних открытых и подобных степи местах лесу нет, дров достать негде, люди, стоя в лагере, терпят немалую нужду и лошади по недостатку полевого корма приходят в изнурение, то нужно ли армию держать непременно в этих местах и как долго? Не лучше ли податься к реке Драге, около которой более надежды к получению полевого корма и дров? Решили: все тяжелые обозы, художонную регулярную и нерегулярную кавалерию, пеших гусар и козаков вместе с больными отправить к Висле, а с армиею держаться на прежних местах, пока время и обстоятельства позволят. На требования из Петербурга, чтоб действовать против графа Дона, Фермор отвечал, что напасть на неприятеля, который держится всегда в неприступных лагерях, имеет превосходную кавалерию и артиллерию, убийственные действия которой еще в свежей памяти, – нельзя, не подвергая войска крайней опасности, да если бы даже и удалось его разбить или одним движением вперед оттеснить за Одер, то все же пришлось бы возвратиться в Померанию, потому что около Одера, от Кистрина до Швета, нельзя найти никакого пропитания. На упрек в несостоятельном описании Цорндорфской битвы Фермор отвечал, что за пылью и дымом нельзя было рассмотреть движения полков и распоряжения их командиров. Относительно краткости донесений отвечал, что нет времени писать подробнее вследствие беспрестанных движений армии, ненастья, рекогносцировок: ни одна бумага не выходит из канцелярии без его просмотра, ни одно входящее дело, кроме него, никем не распечатывается.

В начале октября недостаток в лесе около Старгарда заставил Фермора перейти на берег реки Драги; отсюда армия двинулась далее к Висле на зимние квартиры. В Петербурге должны были помириться с этим, хотя выражали сожаление, что Дона не разбит и, таким образом, кампания кончилась без славы; еще более жалели о том, что Кольберг не был взят: отправленный Фермором генерал Палмбах долго стоял под городом и принужден был возвратиться без успеха. Относительно зимних квартир Фермору предписывалось учредить кордон от Торна до Эльбинга, как было в прошлом году. На это предписание Фермор отвечал, что он не преминет его исполнить, хотя прежде для сохранения славы русского оружия взял было твердое намерение расположиться с армиею кордоном

в Померании и ожидать приближения шведской армии, а так как Померания сильно истощена пребыванием в ней двух армий, то еще вскоре после Цорндорфского сражения заключил он контракт с жидом Барухом на поставку 25000 четвертей хлеба по рекам Нетце и Варте. На это позднее уведомление Фермор получил ответ: «Сожаление наше о том тем больше умножается, что сие ваше намерение весьма поздно нам открыто, и вы доныне всегда представляли, что в Померании остановиться никак невозможно; иначе мы приложили бы все старание всячески облегчить вам это предприятие». Не были довольны и распоряжением Фермора о покупке хлеба у данцигского купца Верника. «Мы, – говорилось в рескрипте, – твердое намерение приняли снабжать нашу заграничную армию всяким хлебом и овсом из нашей империи, ибо, как бы ни была высока ему здесь цена и как бы дорог провоз за границу ни был, употребленные на то деньги в государстве останутся». Несмотря на то 25 ноября, в день восшествия на престол Елисаветы, Фермор получил Андреевскую ленту. Остались, по-видимому, без действия и нареkania иностранцев. После Цорндорфской битвы саксонский принц Карл прислал Воронцову длинное письмо с обвинениями против главнокомандующего: гусары и козаки употребляются не так, как следует; держат их при армии, тогда как надобно рассылать их в разные стороны для наблюдения за неприятелем и для содержания его в постоянной тревоге. Обоз огромный, который требует 30000 подвод и отнимает у армии более 4000 солдат. Рядовые очень трудолюбивы и в работе неустойчивы, но мало обучены военному делу и мало между ними дисциплины. Фермор сделал великую ошибку, потерявши понапрасну много времени под Кистрином. Для сражения выбрал самое дурное место, несмотря на увещания его, принца Карла. После сражения слишком поспешно отступил к Ландсбергу, также несмотря на советы принца Карла и генерала С. Андрэ. Фермор не умеет распоряжаться учреждением магазинов, не имеет твердости и решительности, слишком недоверчив; главное несчастье его в том, что вверил себя молодому человеку – полковнику Ирману, исправляющему должность генерал-квартирмейстера. Генерал С. Андрэ также жаловался на Фермора, что не призывает его на военные советы; шведский майор барон Армфельд так описал Цорндорфское сражение, что неприятель, по словам Фермора, злее выдумать не мог. «Я нижайше прошу, – писал Фермор Воронцову, – от сего злого человека армию избавить, а если бы возможно, и от всех господ волонтеров, которые ничего другого в минувшую кампанию не делали, как только веселились и на охоту ездили; меньше было бы расхода и пустых вестей. Можно бы больше верить тому, кому вся армия поверена и кем справедливый журнал ведется. Мне эти господа своими ветренными затеями и догадками в минувшую кампанию столько беспокойства делали, что я не знал, куда от них деваться и как секретные дела сохранить».

20 декабря был составлен для Фермора план кампании будущего года; он состоял в следующем: действовать наступательно в Померании и Бранденбургии или Неймарке; чем раньше начать кампанию, тем лучше; ускорить занятием Кольберга, так, чтобы весною или первыми летними месяцами был там такой запас провианта и других потребностей, который бы отнимал всякое опасение насчет недостатка; шведов склонить к осаде Штетина и сильно помогать им при этом; по реке Одере действовать так, чтоб только прикрывалась эта осада; если мира заключено не будет, то будущие зимние квартиры расположить по Одере;

занять Берлин, если время и случай позволят; главнейшее дело – скрыть этот план от неприятеля. Так как мы имеем в виду только вспоможение союзникам и ослабление короля прусского, а не завоевание Померании или Неймарка, то, если неприятель соберет на самых границах своих большую армию, с нас будет довольно приблизиться к нему, держать его в страхе и не допускать обратиться в другую сторону. Напасть на него должно только в таком случае, когда он окажется слаб или будет известно, что ждет подкрепления и тогда сам нападет. Начать кампанию нужно рано и быстро, чтоб до прибытия прусских сил занять необходимые места и отвлечь короля прусского и облегчить венский двор, если б Фридриху II удалось в самом начале кампании победить фельдмаршала Дауна. Правда, венский двор или граф Даун поворотом своим минувшего лета в Саксонию вместо обещанного похода к Франкфурту-на-Одер или Берлину не заслуживал бы таких забот о его сохранении; но надобно признаться, что если венский двор будет ослаблен или принужден к невыгодному миру, то дела наши и интересы потерпят столько же, как и его собственные, и все понесенные до сих пор убытки и труды пропадут понапрасну. Занятие Кольберга надобно почитать главным предприятием всей кампании: без него нельзя ни помогать шведам во взятии Штетина, ни армии нашей иметь в Померании надежное пропитание, ни занять там зимних квартир. Это единственный порт, через который можно получать водою все потребное.

Кампания 1758 года кончилась неудачно, и в Петербурге не могли не досадовать на австрийцев, которые не сделали ничего для русского войска ни до Цорндорфской битвы, ни после нее. Русский двор был недоволен венским, а последний складывал вину на Францию. Эстергази сообщил Воронцову рескрипт Марии-Терезии от 19 октября, в котором говорилось: «Бывшие по сие время в воинских делах затруднения и худые успехи преимущественно произошли оттого, что Франция искреннего совета нашего не послушала и вместо того, чтоб послать от 30 до 40000 войска в наши наследные земли и немецкие дворы содержать в спокойствии одною обсервационною армиею на Рейне, опуталась войною с Ганновером и этою ошибкою не только истощила свои финансы, привела в упадок флот свой и претерпела чувствительные уроны в Америке и Германии, но и много потеряла относительно прежнего значения своего внутри и вне Европы, не упоминая о том, что в решениях французского двора оказывается некоторая робость и слабость. При таких обстоятельствах французское министерство думает, что к получению ожидавшихся Франциею выгод мало и даже вовсе никакой надежды не остается, а торговля и флот подвергаются опасности совершенного разорения; думает оно, что, когда для нас, для России и Саксонии война окончится благополучно и каждая из этих трех держав вытащит занозу у себя из ноги, Франция, напротив, останется с своею занозою и не получит никакого вознаграждения за все труды и расходы. Мы со своей стороны находим, что такое опасение французского двора не без основания, а для других союзников наших оно могло бы иметь опасные следствия. С начала нынешнего года Франция многократно представляла, что тягость войны становится для нее несносною и потому надобно думать о мире. Мы отвечали, что вопрос не в том, надобен ли мир, но какой мир. Так как этот ответ не может удовлетворить французское министерство, то наша обязанность прежде всего условиться с нашею верною союзницею российскою императрицею, какими средствами удержать французский

двор от преждевременных помышлений о мире. Прусские силы не так близки к России, как к нам; однако, пока они не уменьшатся, Россия будет находиться в беспрестанной опасности, особенно когда Пруссия воспользуется турецкою войною или уничтожит существующую форму правления в Швеции и заключит с этою державою тесный союз. Опыт уже показал, что многие и великие державы совокупными своими силами ничего против Пруссии сделать не могут; какого же успеха можно надеяться в одиночной борьбе с нею? Сверх того, было бы крайне несправедливо, если б Саксония ничем не была вознаграждена за претерпенные ею неслыханные бедствия. Предосудительный мир лишил бы нас и союзников наших влияния в общей системе политических дел, и все же в мирное время мы были бы принуждены содержать многочисленные войска. Так как российский двор нашему эрцгерцогскому дому естественный союзник, то мы полагаем главную надежду на совет ее величества императрицы и желаем быть уведоменны о намерениях ее относительно будущего замирения». «Правда, Франция сделала большую ошибку, – говорилось в русском ответе, – но Франция же старалась и поправить свою ошибку: она отказалась от занятия Ганновера, тогда как это занятие было бы ей очень выгодно при будущем замирении с Англиею; ее старанием Швеция вступила в войну с Пруссиею; по соглашению с французским же двором и Дания собрала значительное войско в своих германских областях. Притом своею ошибкою Франция еще более затянулась в войну, чем прежде думала. Ее императорское величество всегда полагала и полагает, что Франция склонилась содействовать ослаблению короля прусского, потому что ей были обещаны приобретения в Нидерландах, которые уравнивали для нее усиление австрийского дома. Императрица-королева пожертвовала Нидерландами, чтоб избавиться навсегда от опасного неприятеля – короля прусского; с тою же целью императрица российская согласилась на приращение королевства Шведского. Эта цель так хорошо составлена, что, чем больше Франция имела силы и кредита склонить шведский и датский дворы, тем больше принуждена она неотменно держаться обязательств своих с императрицею-королевою и тем меньше помышлять о скором примирении. Но пусть Франция не примет в рассуждение того, что заключением невыгодного мира она безвозвратно потеряет сделанные ею военные издержки; пусть найдет средство извинить себя пред шведским и датским дворами в том, что вовлекла их в войну; но не может же она не предвидеть, что Англия без короля прусского на мир не согласится, и легко себе представить, каковы будут английские претензии и как силен станет король прусский, когда прежние союзники Франции, видя ее слабость, должны будут перейти на сторону Пруссии, войти в зависимость от нее; из общих отзывов французского двора, что война становится тягостна, несносна, что надобно думать о скорейшем заключении мира, нельзя еще непременно заключать, чтоб Франция имела решительное намерение настаивать на мир. Впрочем, императрица по особенной дружбе своей к императрице-королеве берет на себя представить посильнее французскому двору причины, по которым миром торопиться ненадобно. Мнение императрицы состоит в том, что начатую королем прусским войну надобно продолжать до того времени, пока Всевышнему угодно будет праведное оружие благословить совершенными успехами и, низложив гордость, на одном самолюбии основанную, дозволить всем обиженным достойное воздаяние. Что до военных операций принадлежит, то надобно смотреть, чтоб та сторона,

которой посчастливится, старалась пользоваться своими успехами, не оглядываясь на другую, ибо, как бы ни было одинаково у всех намерение, обстоятельства никогда одинаковы быть не могут, а король прусский тем пользуется, когда видит, что одна армия, одержав над ним победу, дожидается, чтоб и другая то же сделала».

Во Франции Бестужеву в начале года приходилось выслушивать жалобы на отступление Апраксина. Когда он жаловался аббату Берни на поведение Брольи в Варшаве, тот отвечал, что Брольи выедет из Польши и тем камень преткновения отстранится и что теперь надобно думать не о таком пустяке, но каким бы образом остановить успехи короля прусского, ибо австрийцы, потерявши в последнюю кампанию около 45000 лучшего войска, теперь не в состоянии против него действовать, одним словом, Фридрих II пришел в такую силу, что не только союзникам, но и всей Европе стал опасен; он, будучи очень умен, счастлив и предприимчив, может при таких обстоятельствах легко завоевать Богемию и взять верх в Германии, также сделать королем в Польше брата своего и предписывать всем законы по своему произволу, а с шведами управиться ему уже нетрудно будет, только каково-то будет после другим? Поэтому очень и очень жаль, что фельдмаршал Апраксин безо всякой законной причины отступил с поспешностью и дал возможность Левальду пройти в Померанию, чем причинен общему делу такой вред, что и поправить дело скоро нельзя.

Но от обвинений скоро должны были перейти к оправданиям; русская армия опять двинулась и заняла собственную Пруссию, а французская отступила за Везер. Людовик XV счел нужным успокоить Елисавету собственноручным письмом, в котором объяснял этот поступок также недостатком в съестных припасах; король уверял императрицу, что теперь он еще более намерен употребить все силы, чтоб принудить нарушителя всеобщего покоя к уважению имперских уставов и утвердить всеобщую тишину на твердом и справедливом основании, и что он, король, никогда не отступит от союза. В ноябре опять жалобы аббата Берни Бестужеву на неудачные действия русских генералов. «Мне непонятно, – говорил аббат, – каким образом Кольберг не мог быть взят; кроме неискусства и оплошности начальствующих нет ли еще здесь какой тайной причины? Осаждавшие Кольберг войска никогда не имели у себя достаточного числа амуниции, присылалось ее к ним всего дня на три, много на пять. Шведский генерал писал графу Фермору, что он от него находится только в двух маршах расстояния и что он может доставить русскому войску всякое продовольствие; несмотря на то, граф Фермор удалился от него. Мы ясно видим истинное желание императрицы подать помощь своим союзникам, можем полагаться и на храбрость русских солдат, но жаль, что повеления императрицы не всегда должным образом исполняются».

Это было последнее заявление аббата Берни; в конце года он был сменен в управлении иностранными делами герцогом Шуазелем. Первым делом нового министра было открыть Бестужеву, что чрез датский двор сообщено было английскому, не захочет ли он заключить мир с Франциею без короля прусского; но получен был решительный отказ. «В здешней казне, – доносил Бестужев, – приметен немалый недостаток в деньгах; в народе явна бедность; торговля и мануфактуры приходят в упадок, мореплавание стеснено; народ сильно ропщет; несмотря на то, для нужд государственных в публичке кредит всегда есть».

Лопиталь из Петербурга дал знать своему двору о ноте Эстергази относительно желания Франции заключить мир. Шуазель объявил Бестужеву по приказанию короля, что его величество будет свято и ненарушимо соблюдать все обязательства с своими союзниками и заключит мир только с общего их согласия. Австрийский посол граф Штаремберг уверял Бестужева, что на Шуазеля положиться можно, потому что он склонен более к продолжению войны, чем к заключению какого-нибудь невыгодного мира.

Относительно Англии в Петербурге не имели надежды, чтоб она заключила отдельный мир с исключением короля прусского; здесь больше всего заботились о том, чтоб английская эскадра не являлась в Балтийское море на помощь Пруссии против России и Швеции.

В начале года Голицын, донося, что герцог Ньюкестль не очень предан Пруссии, прибавлял, однако, что в настоящее время в Англии трудно благонамеренному министру «идти против быстроты фанатического всей почти нации пристрастия к королю прусскому»; прибавлял также, что основное правило английской политики – кто враг Франции, тот друг Англии – и что намерение английского двора теперь ясно: стараться сделать Пруссию сильнейшею державою в Германии вместо Австрии, союз с которою расторгнут. Англии нет дела до того, какая держава будет сильнейшею в Германии, лишь бы она была в тесном союзе с нею против Франции: сюда должно присоединить и химерический титул защитника протестантской религии, присвояемый Фридриху II. Голицыну велено было потребовать от лондонского двора прямого ответа, не разумеется ли Россия в числе общих неприятелей, против которых английский двор в своей декларации обещает помогать королю прусскому постоянно и сильно; но английское министерство уклонялось от этого ответа под предлогом неполучения обстоятельных сведений о русских отношениях от своего посла в Петербурге Кейта; опасались высылать эскадру, не желая решительным разрывом с Россией повредить своей торговле и притом раздражить Швецию и Данию; с другой стороны, не хотели прямо сказать, что не пошлют эскадры, чтоб поддержать Россию подолее в страхе и тем оказать пользу Фридриху II. Занятие русским войском собственной Пруссии произвело впечатление в Лондоне; здесь начали внушать датскому посланнику, что его двор не должен равнодушно смотреть на такое усиление России.

Внушения, делаемые в этом смысле полякам, имели последствием одни разговоры. 27 января князь Волконский обедал у коронного гетмана графа Браницкого. После обеда хозяин отвел гостя в сторону и начал говорить: «Удивительно, сколько беспорядков произвело стоящее теперь в областях республики русское войско!» «Если и в самом деле произошли какие-нибудь беспорядки, – отвечал Волконский, – то полякам жаловаться не для чего: императрица обещала неоднократно назначить нарочных комиссаров, которые вместе с польскими комиссарами должны исследовать все происшедшее и удовлетворить действительно обиженных». Потом Браницкий распространился в жалобах на свое правительство. «Здесь двор в Польше правительствует самодержавно, – говорил он, – и хотя я сам начинать ничего не намерен, но надобно опасаться, чтоб раздраженное шляхетство не составило конфедерации». «Если действительно так, – отвечал Волконский, – то надобно потребовать у двора перемены поведения, и мы в качестве министров императрицы всероссийской по

гарантии 1717 года всячески будем стараться подкреплять справедливые требования». Этот ответ не понравился гетману, и он сказал: «Отец нынешней императрицы был только посредником, а не порукою, но смертью короля Августа II договор 1717 года потерял силу». «Если так, – возразил Волконский, – то и все ваши права и вольности, утвержденные прежними королями, потеряли силу». Браницкий оставил этот предмет, но с сердцем начал говорить, что Россия вмешивается во внутренние польские дела: русский канцлер прислал письмо к литовскому гетману Радзивилу относительно выборов в будущий трибунал. Волконский отвечал, что польские уставы нисколько не нарушаются, если соседственная и дружественная держава дает добрые советы какому-нибудь благонамеренному магнату.

7 февраля Волконский и Гросс были приглашены на конференцию к коронному маршалу графу Белинскому, у которого нашли канцлера коронного Малаховского, гетмана Браницкого и надворного маршала графа Мнишка. Белинский представил список обид, которым подверглись польские подданные от русских, особенно жители Брацлавского воеводства. Так как обиды были нанесены гайдамаками, то Волконский отвечал: «Вы, господа министры, сами должны признаться, что гайдамацкие шайки состояются из разных беглых, и преимущественно польских подданных, следовательно, сами поляки должны смотреть, как бы их воздерживать от разбоев. Гайдамакам легко разбойничать, потому что польское войско расположено в 20 милях от границы, а если его подвинуть к самым границам, то это будет лучшим средством к прекращению разбоев». Поляки должны были признаться, что гайдамацкие нападения происходят не от одних русских жителей; но жаловались, что русские пограничные комиссары уклоняются от следования дел. Волконский возражал, что, напротив, литовские пограничные суды ни малейшей пользы не приносят, и потому не удивительно, если взаимные жалобы ежедневно умножаются; вся вина лежит на польских комиссарах, которые ни в Литве, ни в Польше в дела не вступают. «Что же делать? – отвечали министры. – Литовские комиссары, не получая жалованья, должностей своих исправлять не могут. Дай Бог, чтоб будущий сейм состоялся; на нем мы употребим все старания к принятию таких мер, которыми однажды навсегда пресекутся все пограничные жалобы».

Несмотря на то что после падения канцлера Бестужева князь Волконский получил удостоверение, что преступление дяди нисколько не изменит милостивого расположения императрицы к племяннику, без его ведома было улажено между русским и польским дворами важное дело избрания королевского сына принца Карла в курляндские герцоги. 17 июля Волконский и Гросс писали, как удивились они, получив из Митавы известие, что секретарь канцлера Малаховского Алое хлопочет там о выборе принца Карла в герцоги. Зная Алое за интригана, оба министра обратились к графу Брюлю с вопросом, сделано ли Алое такое важное поручение. Брюль прямо отвечал, что сделано, и сделано не без ведома и согласия русского двора. Волконский и Гросс писали, что так как они наставлены помогать, чтоб в Курляндии все оставалось без перемены, то просят снабдить их новым во милостивейшим указом. Этот новый искатель герцогства Курляндского был третий сын короля Августа. Мы его видели в русской армии, читали отзыв Фермора о его поведении во время Цорндорфской битвы и отзыв самого Карла о русской армии и ее главнокомандующем. Но прежде отправления

своего в армию принц Карл приезжал в Петербург, с тем чтоб выпросить себе у императрицы герцогство Курляндское. 24 мая он присылал к Воронцову напомнить о своей просьбе, причем объявлял, что «предает себя совсем в матернее призрение ее императ. величества и от высочайшей ее щедроты ожидает основания будущего своего благополучия и всю свою надежду в том полагает и что состоит единственно во власти ее императ. величества пожаловать его Курляндским княжеством и учинить счастливым его самого и все его потомство». Воронцов подал относительно этой просьбы такое мнение: если теперь прямо отказать принцу, то этим усилится печальное состояние короля польского, приведется польско-саксонский двор в большее уныние и уменьшится в нем надежда, какую он всегда питал на сильную помощь и покровительство императрицы. С другой стороны, нельзя предвидеть, как кончится настоящая война: быть может, при общем мире Курляндию понадобится употребить для достижения какой-нибудь другой полезной цели.

Первое соображение взяло верх, тем более что второе не имело достаточной силы: при общем мире хотели приобрести Восточную Пруссию, с тем чтобы променять ее Польше на Курляндию, но при этом принц Карл переместился бы только из Митавы в Кенигсберг. 29 августа Волконский и Гросс сообщили королю, что императрица приказала находящемуся в Митаве советнику канцелярии Симолину действовать заодно с Алое для доставления принцу Карлу герцогства Курляндского. Король с радостным лицом отвечал, что не находит слов для выражения своей благодарности и что сын его обязывается вечною благодарностью императрице. Сильное неудовольствие произвело это событие в Петербурге при молодом дворе. Великий князь по своим прусским привязанностям и без того ненавидел саксонский дом. Теперь он написал Воронцову, что императрице следовало бы прежде позаботиться о принце его, голштинского, дома, чем о принце Карле, что его третий дядя принц Георг-Людвиг имеет больше права на покровительство императрицы, и потому он, великий князь, предлагает его в герцоги курляндские. Воронцов показал письмо императрице, и та велела отвечать отказом. Великая княгиня благодаря внушениям Понятовского также не любила саксонский дом и в отдале Курляндии принцу Карлу видела несправедливость (относительно Бирона), и несправедливость, вредную для России, ибо это усиливало только польского короля насчет польской свободы. Разумеется, такое мнение было высказано Екатериною в беспокойном состоянии духа, ибо трудно было себе представить, как бы умирающий Август III сделался самодержцем потому только, что третий сын его стал герцогом курляндским. Но любопытно, что Прассе в донесениях к своему двору по поводу курляндского дела уже высказывает подозрение, что Понятовский, обнадеженный покровительством будущих правителей России, сам мог иметь в виду курляндский престол, если не более высшее место.

После Цорндорфской битвы оказался сильный недочет в генералах, и князь Волконский получил приказание немедленно отправиться в действующую армию.

Гросс остался один быть свидетелем сейма, который начался 21 сентября. Накануне открытия сейма Гросс писал, что гетман Браницкий чрез своих эмиссаров нашел способ тайно внести в инструкции послам не позволять ни о чем говорить послам прежде выхода последнего русского солдата из областей польских и депутаты воеводств Бржеского и Волынского на публичных

аудиенциях уже представили королю, чтоб он постарался освободить польские области от русских войск и вытребовал вознаграждение за причиненный ими убыток; но коронный канцлер именем королевским отвечал им, что в Польше русского войска нет: для вознаграждения убытков императрица давно уже прислала комиссаров, от прохода русских войск обыватели получили значительные суммы, и действия этих войск служат для безопасности самой же Польши.

На четвертый день сейма волынский депутат Подгорский объявил, что не согласен, чтоб сейм приступал к каким-нибудь решениям, пока владения республики не будут очищены от русского войска, после чего уехал из Варшавы и этим разорвал сейм. Никто не сомневался, что это была проделка гетмана Браницкого. Надобно было как-нибудь помирить его с двором, и наконец в этом успели; с русской стороны было также сильное средство: беспокойному гетману дали орден Андрея Первозванного. По разорвании сейма для решения важных дел оставался сенатус-консилиум. Тут хотели провести курляндское дело; но Чарторыйские объявили, что конституция запрещает сенатус-консилиуму вмешиваться в государственные дела, что они, Чарторыйские, по своей чести и совести и для сохранения своего кредита в нации никак на это позволить не могут, но что король для решения одного курляндского дела может созвать чрезвычайный сейм, успеху которого они всячески будут содействовать. Но двор, опираясь на согласие двух третей присутствующих сенаторов, хотел провести курляндское дело в сенатус-консилиуме. 19 октября собрался этот сенатус-консилиум из 20 сенаторов; 16 из них объявили свое согласие на возведение принца Карла в герцоги курляндские; но каштелян краковский, граф Понятовский, воевода русский князь Чарторыйский, гетман польный князь Мосальский и воевода сендомирский Велепольский предложили о необходимости чрезвычайного сейма; тщетно им говорили, что при обычном срывании сеймов откладывать до них какое-нибудь дело или вовсе его уничтожить – все равно; они настаивали на своем, и каштелян краковский объявил, что и большинством голосов в Сенате курляндское дело все же не получит законного решения. «Теперь еще никому подлинно неизвестно, – писал Гросс, – почему эти сенаторы, на которых мы особенно полагались, сопротивляются королевскому намерению, хотя вообще приписывают этот поступок их зависти; по примирении графа Брюля с гетманом Браницким первый министр посредством брака сына своего с дочерью воеводы киевского соединяется с фамилиею Потоцких». Явилось и другое затруднение: курляндский делегат Шеппинг предложил герцогскую корону принцу Карлу, но курляндские обер-раты прислали в Варшаву протест, что делегат поступил против своей инструкции, предложив кандидата-католика, тогда как в инструкции ему прямо написано, чтоб он требовал в герцоги лютеранина. Двор не хотел принимать этого во внимание, утверждая, что нет никакого устава, который бы определял исповедание курляндского герцога. Наконец, в полном собрании сенатус-консилиума курляндское дело прошло согласно с королевским желанием, не подписались только семь членов.

После этого и Гросс был отозван из Варшавы и определен членом Иностранной коллегии; на его место чрезвычайным посланником и полномочным министром в Польшу назначен генерал-поручик Воейков, бывший рижским вице-губернатором. Но до самого отъезда Гросс имел любопытный разговор с

князем Чарторыйским, канцлером литовским. Чарторыйский спросил Гросса, доносил ли он императрице о причинах, почему они противились решению курляндского дела в сенатус-консилиуме; Гросс отвечал, что доносил, но императрица не считает этих причин достаточными. «Жаль, – сказал Чарторыйский, – со временем императрица отдаст мне справедливость, когда увидит, что по этому примеру польские короли впредь могут пытаться все важные дела вершить в Сенате без сеймов, чем вся польская конституция извратится». 28 декабря принц Карл торжественно получил от отца инвеституру на Курляндское герцогство.

Из Константинополя Обрезков в начале года доносил, что все старания английского посла Портера заставить Порту объявить войну России и особенно Австрии оказываются безуспешными. Вообще Обрезков был очень доволен состоянием дел в Турции, хвалил кротость нового султана, распорядительность великого визиря Раиб-паши, даже благонамеренность хана крымского, за которую советовал киевскому губернатору посылать ему подарки по примеру астраханского губернатора; о французском после Вержене Обрезков писал, что он так усерден к общим высоким интересам, как только можно ожидать от истинного союзника. Но с половины года Обрезков стал доносить об открывшемся вдруг у султана воинском духе и о значительных военных приготовлениях в придунайских областях. При этом посланник успокаивал императрицу. «Опасность не так велика, – писал он, – судя по свойству здешнего правления и войска, можно без всяких чрезвычайных издержек и не ослабляя мер, принятых против короля, прусского, в одну, много в две кампании привести Порту в совершенное раскаяние и посрамление». После того Обрезков доносил, что султан действительно хочет войны с Россиею, но визирь и муфтий, главы мирной партии, противятся войне всеми силами.

Если султан искал предлога к войне, то Россия не должна была подавать ему его, и 18 мая подписан был рескрипт Иностранной коллегии: 1) как митрополиту Василию Петровичу, так и прочим черногорцам вообще объявить, что усердие их народа к нашей империи и желание вступить к нам в подданство заслуживает оному всегдашнее наше благоволение и милость; но что как теперь всякая формалита могла б быть огласкою и весьма бедственною по великой близости окружающих их неприятелей и по толикому нашей империи отдалению, то сие дело оставляется до будущих лучших времен, а теперь они удовольствоваться имеют уверением неперменного нашего благоволения. 2) В удостоверительный знак того отправить с ними ко всему черногорскому народу лист за подписанием нашего вице-канцлера, по примеру тех, каковые напредь сего за подписанием канцлера графа Головкина отправляемы были; в одном листу изобразить, токмо в генеральных терминах, что мы чрез приехавших сюда как митрополита и прочих, так и чрез наших полковника Пучкова и премьер-майора Степана Петровича, с удовольствием уведомляясь о усердии черногорского народа к нашей империи, паче же о твердости к православной вере, захотели о том засвидетельствовать наше благоволение и уверить, что милость наша к нему всегда будет неотъемлема, на знак которой и посылается от нас при том ко всему народу тысяча наших золотых портретов. 3) На знак нашей особливой милости повелеваем дать сердарю Вукотичу да воеводе Пламенацу золотые коронования нашего медали в 50 червонных каждому да воеводы Юрашковича сыну Петру такую же золотую

медаль в 35 червонных. 4) На исправление возвратного пути выдать всем им на раздел две тысячи рублей. 5) Что до митрополита Петровича принадлежит, то ему особливо дать 1000 рублей.

Митрополит просил, что для учреждения между черногорцами доброго порядка и приведения их в единогласие необходимо давать ежегодно до 15000 рублей; сверх того, чтоб кто-нибудь из русских дипломатических агентов отправлен был для пребывания в Черную Гору. На первое императрица согласилась, но на вторую просьбу дан был ответ, что нынешние обстоятельства не дозволяют этого. Даже полковник Пучков, находившийся в Триесте для принятия и препровождения выходивших в русскую службу черногорцев, отозван был в Россию, чтоб не подать подозрения туркам, а черногорцы дорогу уже узнали, могут и сами отправляться в Россию. Митрополит Петрович просил назначить жалованье определенным в Кадетский корпус детям черногорских бояр, чтоб они могли держать при себе людей и на другие издержки. В корпусе оказалось 13 черногорцев, и Сенат приказал выдавать каждому по 15 рублей в год.

Но из этих молодых черногорцев десять человек явились в Сенат, и двое из них, Рафаил и Иван Петровичи, подали челобитную, что с ними вместе в реестре написаны Филипп Петрович да Петр Радонич, которые этими фамилиями назвались напрасно: один из них – Филипп Шарович, а не Петрович, другой – Петр Станишич, а не Радонич. Шарович из турецкого города Подгорицы, а Станишича фамилия не первенствующая, как Петровича, а посредственная; Филипп Шарович имеет на себе портрет Петра Великого ложно, надобно исследовать, как он мог достаться ему, бывшему турецкому рабу и художнику; просили против Петра Станишича дать старшинство и достоинство как Петровичевой, так и Вукотичевой фамилиям. Сенат велел исследовать дело Иностранной коллегии.

Со взрослыми черногорцами было еще больше хлопот. Сначала их отправили на поселение в Оренбургскую губернию, но там им не понравилось, и их надобно было переводить на юго-западную Украину. На дороге к Москве они стали буйнить: однажды собрались 2 капрала да 81 человек рядовых и пришли к квартире поручика Косецкого; один капрал вошел в комнату поручика, скинул с себя платье, бросил его и, вышед на двор, закричал команде; по этому крику все черногорцы хотели броситься в комнату к Косецкому, но были удержаны находившимися у него при денежной казне караульными; потом все, снявши с себя казенные амуничные вещи, побросали и закричали «в великом десператстве»: «Больше служить в России не хотим, пойдем в свою землю!» Сенат приказал: поступить с ними по воинским регулам, потому что им уже неоднократно за прежние их продерзости было спущено по их новости, но они, не чувствуя этого, впадают еще в большие продерзости.

Из поступка черногорцев видно, что они были недовольны амуничными вещами. Воронежская губернская канцелярия приняла сукна у тамошних фабрикантов Горденина, Пустовалова и Тулинова, сукна явились ниже указных образцов и потому расценены дешевле указных цен. Главный комиссариат представил: сукна, которые оценены ниже указных цен от 3 до 10 копеек, отпустить в армейские полки, а которые дешевле от 10 до 27 копеек, те отпустить в гарнизонные полки; деньги же, оставшиеся от понижения цены, раздать полковым служителям, которые будут носить сукна, или сделать сокращение

срока носки мундира. Сенат согласился, но велел сумму, равную той, которая останется по расценке, взыскать с воронежского губернатора, его товарища и секретаря.

Что касается подвозки провианта к заграничной армии из России, то в конце года купец Анисим Абросимов и компания взялись поставить в Кенигсберг и другие пограничные места муку и овес по 2 р. 59 копеек, а крупу по 5 рублей; купец Ямщиков спустил с крупы по 5 копеек. Конференция согласилась дать эту цену. Купцы ставили провиант на своем страхе, на иностранных и русских собственных и наемных мореходных ластовых судах.

Но кроме этого подвозного из России провианта на армию закупали провиант и фураж на месте, следовательно, нужно было отправлять деньги на этот предмет, равно как на жалованье войску. В половине года конференция объявила Сенату, что главнокомандующий генерал Фермор по посланному к нему кредитиву для негоцирования до миллиона ефимков ни в Данциге, ни в Варшаве охотников найти не мог; варшавский банкир Риокур прямо объявил, что такой суммы ссудить не в состоянии, данцигский банкир Верник предложил такие условия, на которые без значительного ущерба казне согласиться нельзя; а голландские банкиры Пельсы в переводе полумиллионной суммы так медлят, что до сих пор не больше 40000 червонных в Данциг к резиденту Мусину-Пушкину перевели. Генерал Фермор опасается, чтоб от недостатков в деньгах не произошло остановки в заготовлении нужных магазинов, а потому конференция рекомендует Прав. Сенату вновь приложить все старания, чтоб деньги были доставлены к армии. Сенат отвечал: 1) на жалованье войску требуемая сумма почти уже вся отправлена, осталось на весь год дослать только 149172 рубля. 2) На провиант и фураж теперь вдруг до окончания года вся сумма доставлена к армии быть не может, а скорейшее выписывание в Данциг червонцев и ефимков по нынешнему упавшему курсу убыточно. Сенат рассуждает: 1) по причине упавшего здесь вексельного курса взять заимообразно из наличного колывано-воскресенского золота и серебра: золота – 30 пуд да серебра – 200 пуд, и для восстановления курса секретно послать в Голландию, за это золото и серебро готовые монеты могут быть высланы в Данциг скоро. 2) Взятые заимообразно в 1757 году из комиссариата 529162 рубля заплатить из контрибуции, наложенной на покорившиеся прусские земли. 3) Нельзя ли из синодального ведомства и новгородского архиерейского дома за оставлением там знатной суммы взять заимообразно 350000 рублей. Оказалось, что можно, и взяли: из Экономической канцелярии – 126000, из Московской синодальной конторы – 34000, из Московской типографской конторы – 20000 рублей, из новгородского архиерейского дома – 170000.

По известному нам предложению графа Петра Шувалова медная монета переделана была в более легкую, и развезено ее по городам на два миллиона рублей. По предложению того же Шувалова учреждены в Москве и Петербурге банковые конторы под именем банковых контор вексельного производства для обращения внутри государства медных денег и содержания в них баланса. Купцам, помещикам, фабрикантам и заводчикам выдавались медные деньги на векселя на годовой срок по 6 процентов, а при приеме платежа четвертую часть принимали медными деньгами и три – серебряною монетою. Капиталисты как в этот новый банк, так и во все другие отдавали деньги для приращения

процентами, причем банк на свои расходы и страх получал один процент, а остальные шли капиталисту. От купцов в банк принимались медные деньги, которые в домах хранить трудно и опасно, объявляемая сумма записывалась на особой странице в главную банковую книгу в приход, вкладчику давалась расписка, и когда случится, что этот купец будет отдавать деньги другому купцу, то оба купца шли в Банковую контору или посылали приказчиков с банковской распискою, данную первому купцу, и контора столько на его странице в расход пишет, сколько он другому купцу должен заплатить, а на остаток дает новую расписку; другой купец, если медную монету принять не желает, берет такую же приходную и расходную страницу в банковской книге; точно так же делалось, когда купец из казенного места не желал принимать медных денег: ему давалась ассигнация на Банковую контору.

При военных издержках требовались другие расходы, на которые не знали, откуда взять денег. Директор Дворянского банка донес, что по указу Сената велено выдать из конторы банка содержателю итальянской комической оперы Локателли на выписку из Италии компании и на содержание ее 7000 рублей; но теперь имеется в Банковой конторе налично только 3000 рублей. Сенат велел остальные 4000 рублей выдать из конторы Купеческого банка. Канцелярия от строений просила на постройку Зимнего дворца 130000 рублей, а Сенат велел отпустить 20000; канцелярия представила, что этих 20000 по множеству мастеровых и рабочих очень недостаточно и если их не удовлетворить, то произойдут просьбы и утруднение ее импер. величества. Приказали: отпустить еще до 40000 руб. Но в следующем месяце фельдмаршал Бутурлин объявил, что императрица соизволила указать Прав. Сенату сыскать сумму на строение ее зимнего дома по 120000 рублей в год. Не отказывались и от мысли вывести из монастырей инвалидов и дать им особое помещение, только не в Москве, как предлагал Шаховской. Сенату был объявлен высочайший указ от 6 января, что вместо отсылки отставных военных в монастыри на пропитание для лучшего их за службы и раны содержания сыскать в Казани и близ нее какое-нибудь каменное здание; а так как известно ее величеству, что есть в Казани старый каменный дворец, то его поправить; если же не годится, то и вновь построить каменный дом и содержать отставных в таком порядке, как в европейских государствах содержат, особенно применяясь, как в Париже; а сколько было положено в монастырях на их содержание денежного и хлебного жалованья, ту сумму отсылать в новый инвалидный дом. Но где было взять денег на постройку этого инвалидного дома? Нужно было потребовать их также от Синода.

Из экономических синодальных доходов взято было 10600 рублей серебряною монетою на достройку начатой в Могилеве каменной церкви, на прибавочное для архиерейского дома жалованье и на учреждение вновь и содержание семинарии; кроме того, могилевскому епископу ежегодно отпускалось жалованья по 500 рублей. Этот епископ, Георгий Кониский, изъявил свою благодарность императрице в таком письме: «Благочестивейшая и христоролюбивейшая императрица, великая Елисавет! Всемилостивейшая государыня! Получивши от в. и. величества высочайшую милость пожалованием денежной суммы на достроение церкви, на содержание семинарии и мне з людьми в добавку годового жалованья, когда дерзаю всеподлейшим писмцем раболепное в. и. величеству донести благодарение, приходят мне в память слова

старец капернаумских, которые Иисуса тошно молили за сотника некоего, глаголя: яко достоин есть, еже аще даси ему, любит бо язык наш и сонмище той созда нам. И были тии сказаннии резони к преклонению Христа не бездействительни, и поиде бо со старца теми и благодетельствова сотнику. О сколько же несравненно болши резони имею к преклонению тогожде Христа Господа, что ваше и. величество не язык человекь, но самого того Спаса и Благодетеля возлюбивши, на совершение Ему храма и не единого, молитвенного бо купно же и мисленного, всемилостивейше оную сумму пожаловали! Всеподданнейший раб и подножие епископ белорусский Георгий».

Несмотря на повторительные требования, Сенат не мог добиться полных и подробных сведений о приходе и расходе. Ревизион-коллегия представила отчет: с 1730 по 1757 год счетов решено 33335; начетов положено взыскать 263459 рублей, в то число взыскано 63086 рублей, осталось к 1757 году невзысканным 200372 рубля; из того числа оказалось к сложению 21911 рублей; счетов неоконченных – 17711; о приходе же и расходе, об остатке и доимке доходов, о всем государстве подробной генеральной табели в коллегии не сочинено за неполучением в нее из многих присутственных мест ведомостей.

В заботах об увеличении доходов разумеется, не могла быть оставлена без внимания торговля. Граф Петр Шувалов подал в Сенат предложение, что для вспоможения коммерции должно: 1) при Сенате учрежденную комиссию о пошлинах отставить, а вместо нее 2) учредить комиссию о коммерции, куда определить людей, знающих дело. 3) Велеть им рассуждать, каким образом русскую коммерцию распространить в чужестранные области, например на каком основании учредить конторы при главных наших портах, особенные для каждого товара, как разделить русских купцов компаниями; как их привлечь к производству действительного торга выпискою чрез конторы на свои имена из других государств товаров; какие взять предосторожности от контор иностранных и от их комиссионеров, чтоб они подрыву в торгах не делали, и как приохотить иностранное купечество, чтоб более торгу с нами производило. 4) Рассмотреть все русское купечество, как иностранных купцов перевести для торгу к Петербургскому порту, как из купеческих детей посылать в чужие края для коммерческих дел и кредиту; рассмотреть фабрики наши, какие нужны для государства, и о заведении новых; как посылать консулов в иностранные государства; как строить купцам корабли и ими пользоваться; казенным товарам оставаться ли в казенном содержании или быть в вольной продаже. Когда коммерция поправлена будет, тогда всю прибыль отдавать каждый год в комиссариат для замены подушного сбора, ибо народ есть главная сила государственная, и потому надобно желать, чтоб народ, положенный в подушный оклад, от сего платежа совсем был свободен. Сенат согласился на учреждение комиссии.

Тверской магистрат прислал в Сенат любопытное донесение, указывающее на положение торгового сословия в городах: все купцы в Твери вообще обедняли вследствие плохой торговли в этом городе, великих пожаров, беспрестанных через Тверь проходов и проездов и всегдашних тягостных постоев. Президент магистрата, два бургомистра и ратман платят одинаковые подати вместе со всеми другими купцами и, находясь в долговременной магистратской службе за несвободною по купечеству отлучкою, несут крайние тягости, отчего торговле их

происходит большой вред. Поэтому магистрат просил, чтоб велено было президента и других членов выбирать через три года и чтоб вновь избранных к присяге приводить в Твери, не высылая в Москву в Главный магистрат. Сенат согласился. Печальное состояние дорог даже между двумя столицами, разумеется, не могло содействовать успехам торговли. Генерал-прокурор объявил в Сенате, что почта из Москвы приходит дней в 12 и 13 от неисправности дороги.

Тверской магистрат жаловался на пожары. Генерал-прокурор прочитал в Сенате письмо ростовского митрополита Арсения (Мацевича) о пожаре, бывшем в Ростове на 29 октября: сгорел дом архиерейский, церкви, других домов – 65, магистрат и лавки. Для утушения пожара от Воеводской канцелярии и от магистрата не было приложено никакого старания, не только не понуждали обывателей с барабанным боем, ни одной трещотки не было. В доме архиерейском за неимением денег исправить сгоревшего строения нечем; на содержание архиерейского дома с церквами положено только 2014 рублей в год, а в канцелярию Синодального экономического правления из дому его епаршеских и вотчинных доходов платится 4395 рублей, и потому нельзя ли оставить эти доходы в его доме на 5 лет? Сенат согласился.

Старый хозяйственный быт монастырей и архиерейских доходов, владение населенными землями очевидно, клонились к падению: сознаваемая необходимость устроить благотворительные учреждения на более прочных и правильных основаниях, с одной стороны, и недовольство, частые восстания монастырских крестьян – с другой, были явными признаками этого падения. С 1748 года тянулось дело о вятских крестьянах, которые, называя себя черносотшными, отписались от архиерейского дома и монастырей в количестве 11582 душ. Следователь решил дело в пользу духовенства, и Сенат с ним согласился. Но Сенат не мог исполнить требование Синода в другом случае – в деле об известном уже нам возмущении крестьян Новоспасского монастыря. Сенат, велел назначить следственную комиссию, в которой должно было заседать и духовное лицо. Синод утверждал, что никакой комиссии не нужно, ибо назначалась комиссия от Синода по жалобам тех же крестьян, но они к следствию не явились и мимо Синода осмелились утруждать императрицу жалобами; нужно их наказать без всякой комиссии. Сенат отвечал, что следственная комиссия необходима, потому что без нее нельзя узнать, кто пушье заводчики; а что крестьяне не пошли в синодальную комиссию, в том их обвинять не следует, ибо комиссия была учреждена в Новоспасском монастыре, а крестьяне жаловались на управителя монастырского. Крутицкий епископ жаловался, что крестьяне белевского Преображенского монастыря своевольничают, оброков не платят, посольского монаха посадили в воду; а Белевская канцелярия норовит им, и белевский воевода из-за взяток освободил 14 человек без наказания.

Естественно, должна была явиться мысль освободить государство от печальной необходимости укрощать крестьянские восстания и монастыри освободить от неприличной им обязанности управлять крестьянами. Финансовые нужды должны были также поддерживать эту мысль. Еще 30 сентября 1757 года императрица приказала Сенату и Синоду подумать о том, чтоб монастырские вотчины отдать в управление офицерам и ввести большую правильность в распределении доходов; в Синод поэтому делу сообщен был экстракт из протокола конференции. Синодальный копиист Иванов дал копию с этого

экстракта конференции синодальному крестьянину Сумотчикову, а тот дал копию крестьянам Троицкого Сергиева монастыря Давыду и Сидору Кононовым, Ивану Дорофееву, Никите Иванову, Конону Петрову. Крестьяне стали разглашать, что все монастырские вотчины отписаны на государыню; их перехватывали как лжеразглашателей, и Юстиц-коллегия произнесла строгий приговор. Но Сенат смягчил его: копииста Иванова бить плетьюми и написать в солдаты, а не ссылать на галеры, как приговорила Юстиц-контора, потому что Иванов копию с экстракта списал не из взяток, но по одному знакомству, простотою и не знал о намерении Сумотчикова отдать ее троицким крестьянам. Крестьян Кононова с товарищами не казнить смертию, потому что они ни в каких вымышленных делах и затеях не оказались, а поступали по данной им копии с экстракта конференции и по словесному объявлению Сумотчикова, чего они, как народ простой и неграмотный, выразуметь не могли; а за то, что они не дали знать о копии своим властям и приводили свою братью в непослушание, наказать их и Сумотчикова плетьюми.

Надзиратель над вышневолоцкими каналами Сердюков жаловался на ямщиков, что они били в набат и три раза приступали к его дому; комиссия нашла, что виноват сам Сердюков, который озлобил ямщиков тем, что самовольно бил их плетьюми, тогда как должен был отсылать их к начальству, и потому он должен был платить штрафу 100 рублей на госпиталь. В Тамбовском, Шацком, Козловском и других уездах продолжались восстания между крестьянами; они поднимались целыми деревнями и семьями и бежали, причем грабили помещиков; дело не обходилось и без кровопролитных схваток; пойманные показывали, что идут на речку Ахтубу и в Астрахань для поселения к казенным виноградным садам и к шелковому заводу, где их принимают поручики Паробич и Циплетев и берут за это с них по два и по три рубля; на Ахтубе поселилось до 3000 человек с женами и детьми да в Астрахани до 2000. Наместник Калмыцкого ханства Дундук-Даши прислал жалобу на поселившихся у Царицына на шелковых заводах, что они строят город и сильно обижают издавна живущих там калмыков, грабят их; Низовая соляная контора донесла, что прием и укрывательство беглых происходит от подьячего Саратовской воеводской канцелярии Щербакова.

Петр Ив. Шувалов думал, что крестьянские восстания можно предупредить соблюдением некоторых предосторожностей. Он говорил в Сенате: «К каким печальным последствиям влечет недоверие поселян относительно посылаемых к ним указов! Два только примера, о которых я здесь намерен упомянуть, заставляют изыскивать средства к сохранению людей от жестоких наказаний и пролития крови, тем более что крестьяне подвергаются этим наказаниям не по злонамеренности своей, а по простоте: первый случай представляет дело о крестьянах Демидова; кровопролитное позорище было следствием недоверия крестьян к указу, находившемуся в руках начальника команды. Второй случай: Починковская поташного правления контора представила в Сенат, что из тамошних крестьян некоторые, считая фальшивыми письменные сенатские указы, приказывали работникам, наряженным на машинные суда, строящиеся для возки соли, требовать печатного указа; а так как его им не объявлено, то из них 333 человека, прибавивши конвойного унтер-офицера, бежали, с тем чтоб убить до смерти судью и земского старосту: первого – за наряд в работу, а другого – за послушание этому наряду – и, прибежавши в Починки, избивали старосту

смертельно, за что по усмирении подверглись жестокому наказанию; но наказание не может на будущее время предотвратить таких вредных приключений, тогда как дело требует немногого, т.е. вместо письменного указа объявлять печатный и соблюдать некоторые другие предосторожности. Сенат согласился.

Составление нового Уложения продолжалось, хотя, по мнению Сената, шло медленно. Сенат требовал от комиссии сочинения Уложения, чтоб остальные части оканчивались как можно скорее и для того члены комиссии присутствовали бы постоянно в указанные часы. Комиссия отвечала, что она определила неоконченные главы III части сочинять немедленно и над приказными людьми иметь надзор и взыскание стат. советнику Юшкову; а четвертой части главы сочинять профессору Штрубе вместе с бургомистром Вихляевым, а до окончания этих глав членам комиссии не для чего собираться ежедневно. Сенат, получив этот ответ, приказал: комиссии прилагать крайнее старание об окончании остальных частей и глав Уложения и членов ее к тому неослабно понуждать.

Продолжалась и другая комиссия об однодворцах. У однодворцев были дворовые люди и крестьяне, и по межевой инструкции велено было их положить в такой же оклад, какой платят и сами однодворцы, и называть их однодворческими половниками. Комиссия представила, что, по ее мнению, надобно этих половников отрешать от провинциальных и воеводских канцелярий и быть им под ведением однодворческих управителей, кроме уголовных дел. Сенат согласился.

На юго-западной Украине, в Малороссии, гетман, который не знал, как вырваться из Глухова в Петербург, упорно, однако, защищался от всякого общеимперского установления, как бы оно полезно ни было. В начале года он прислал в Сенат жалобу, что Главный магистрат определил в малороссийские города для словесного суда между купцами по два человека великороссийских купцов да в Киеве, Нежине, Ромне и Борзне для протеста векселей определен публичный нотариус, тогда как он, гетман, уже просил, чтоб этого не было. Навели справку, и оказалось, что в 1754 году присланы были в Сенат из Киевской губернской канцелярии на рассмотрение сочиненные в ней пункты к пользе общенародной: 1) чтоб малороссийским и великороссийским купцам о долговых деньгах иметь суд по вексельному уставу, а не так, как теперь у них делается, а именно малороссийский купец возьмет деньги и даст по их называемый облик, и если на срок не отдаст, то производят в малороссийских канцеляриях письменные суды, которые затягиваются, и купец, давши деньги, принужден лишиться торгу или отстать от дела. 2) Для словесного суда избрать купцов. Пункты эти отосланы были Сенатом в Иностранную коллегию, в ведомстве которой находилась тогда Малороссия, а коллегия послала их к гетману с просьбою доставить о них свое мнение, и гетман прислал такое мнение, что в Малороссии суду и расправе во всех претензиях надлежит быть по силе малороссийских прав в малороссийских судебных местах, и потому просить об освобождении малороссийских обывателей от нового учреждения. Сенат приказал новое учреждение уничтожить, купцов и нотариуса из Малой России выслать. Но потом Сенату было представлено о необходимости введения словесных судов в Малороссии, и он послал об этом грамоту к гетману. Рассерженный гетман отвечал, что час от часу рождается большая темнота и затруднение в правлении дел малороссийских; виною тому неточное истолкование постановлений о малороссийском народе, на которых гетман Богдан Хмельницкий приступил под Всероссийскую державу, ибо в

статьях Хмельницкого смешиваются пункты, утвержденные царем, с пунктами, которые упоминались только в разговоре между боярами и гетманскими посланцами; отчего происходят противоречия. Сенат в свою очередь рассердился и отвечал: «Какая темнота и затруднение рождаются ему, гетману, в правлений дел малороссийских и какая происходит неточность в истолковании постановлений о малороссийском народе, того Сенат из гетманского листа не усматривает, да и сам он, господин гетман, в том своем листе ни малейшего о том изъяснения не прописывает и не упоминает, кроме одного дела о словесных между купцами судах; но одного этого дела в темноту по всем малороссийским делам вменять и в затруднение в правлении малороссийских дел и в неточное истолкование постановлений о малороссийском народе почитать весьма не надлежит, ибо все подтвержденные от ее импер. величества о малороссийском народе постановления без наималейшей отмены в своей силе по всем делам содержатся быть должны. А помянутое дело к отменности постановлений о малороссийском народе ни малейше не принадлежит, наипаче же к затруднению в правлении малороссийских дел не касается, потому что дело состоит токмо о словесных между одного купечества судах, которому по учреждении по границе таможен и производимой чрез оные не одним малороссийским, но и великороссийскими иностранным купечеством государственной коммерции необходимо быть следует, и когда все вышеупомянутые как разговорные, так и письменные пункты, во-1) при грамоте к гетману Богдану Хмельницкому посланы; 2) те ж разговорные пункты за подписанием Петра Великого еще в 1722 году прописаны и утверждены, равно с того и в 1754 году о индукте в доклад ее импер. величеству внесены и подписанием ее импер. величества руки подтверждены, то затем и Прав. Сенат оных разговорных пунктов недействительными почесть не может, колми паче ему, господину гетману, недействительными оные представлять и о неприеме оных за основание просить не надлежало, а наконец, между разговорными и письменными пунктами противоречия никакого нет».

Гетман получил от Сената и другую неприятную грамоту, потому что предписанное в ней трудно было исполнить. Сенат приказывал, чтоб из Запорожья все беглые великорусские люди были высланы куда следует в самой крайней скорости и впредь не принимались под штрафом, ибо Военная коллегия донесла, что пойманные из бегов три драгуна показали, что они жили в Запорожье и еще таких же беглых полковых служителей там знали.

На восточной украине русские промышленники, не испуганные башкирским бунтом, продолжали разрабатывать естественные богатства. Императрице было доложено, что содержатель медных и железных заводов Иван Твердышев с товарищем своим Иваном Мясниковым первый начал искать руды и строить заводы в пустых, диких, дальних местах внутри самой Башкирии; невзирая на страх от башкирских волнений, доставил государству великую прибыль и превзошел всех прежних заводчиков, особенно выплавкою меди; заплатил в казну пропадавшие деньги за разоренный башкирцами казенный Табынский завод и при заводах своих для безопасности от неприятеля построил крепости, снабдил их оружием и порохом, и все это сделал собственным иждивением, не требуя приписки крестьян, без которых почти ни один из прежних заводчиков обойтись не мог. Сенат за это представил его из податного состояния прямо в коллежские асессоры.

Глава четвертая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1759 год

Вызов Фермора в Петербург. – План кампании. – Выступление Фермора с зимних квартир. – Замечания ему из конференции. – Назначение Солтыкова главнокомандующим. – Битвы при Пальциге и Кунерсдорфе. – Отчаянное положение Фридриха II. – Бездействие союзников. – Замечания Солтыкову из конференции. – Жесткие объяснения между обоими императорскими дворами. – Мирные предложения со стороны Англии и Пруссии. – Объяснения по этому поводу между союзными дворами. – Отношения России к Швеции, Польше и Турции. – Внутренние распоряжения правительства. – Недостаток в людях и следствия его. – Недостаток в деньгах. – Промышленность. – Помещики и города. – Сельское народонаселение. – Украины.

Год начался военными приготовлениями. 12 января отправлен был из конференции рескрипт Фермору, чтоб он на самое короткое время приехал в Петербург, «дабы вы могли, – говорилось в рескрипте, – наши соизволения ближе слышать и ваши объяснения лучше подавать». Генерал-майор Панин (Петр Ив.) просился из армии в Москву для устройства домашних дел. По этому случаю императрица писала Фермору, что она с удивлением узнала о такой просьбе, «когда служба его весьма нужна и когда он ее по должности к нам и по любви к своему отечеству предпочтительно партикулярности показать должен». Фермор должен был объявить Панину отказ именем императрицы и, если вперед кто-нибудь обратится с подобною же просьбою, отказывать с выговором. Недостаток в людях заставил предписать Фермору приглашать прусских подданных к вступлению в русскую армию; Фермор писал, что пруссаки едва ли согласятся идти на такое жалованье, каким довольствуются русские, но получил ответ: «Так как и малейшая в содержании сих принимаемых людей против наших подданных отмена в пользу первых, конечно, с нашею к своим верным подданным монаршею матернею милостию не сходствует, то мы на сие никак поступить не можем». Служба в русской армии действительно не могла быть привлекательна для иностранцев, если обратим внимание на просьбу Фермора: «Находящиеся с начала нынешней войны при заграничной армии генералы, штаб- и обер-офицеры в рассуждении дальних походов, великой дороговизны и потому, что многие в бывшую 14 августа баталию всего, а другие части своих экипажей лишились, теперь в такую скудость пришли, что не только себя по чинам своим вести, – и достаточно пропитаться не в состоянии и крайнюю во всем нужду терпят, особенно субалтерн-офицеры». Фермор просил, чтоб из наличной в Кенигсберге контрибуционной суммы, хотя за одну треть, выдано было генералам и офицерам не в зачет жалованья. Просьба была исполнена.

В Петербурге продолжали сердиться на Фермора за неприсылку ведомостей. В армию отправлен был генерал-поручик Костюрин с требованием от Фермора наискорейшей присылки следующих ведомостей: 1) о действительном состоянии

налицо людей во всех полках и корпусах, «из которых об артиллерийском и инженерном мы, – говорилось в рескрипте, – к особливому нашему удивлению, никогда не имеем рапортов». 2) О числе наличных лошадей, годных к службе, также о подъемных. 3) Об оружии, сколько в последнем сражении потеряно, сколько при полках налично, сколько из России в добавок прислать надобно. 4) О мундире. 5) Самый краткий счет наличным деньгам. 6) Самый краткий комиссариатский счет. 7) Расписание о производстве на упалые места, несколько раз требуемое. 8) Ведомость, сколько людей в отлучках и каких. 9) О всех магазинах и какие при них команды, о которых идут удивительные слухи, что терпят крайнюю нужду, не получая жалованья. 10) О числе всех Прусских пленных и где они находятся «ведомость, ожидаемая с нетерпением», – говорилось в рескрипте.

По возвращении Фермора из Петербурга к армии ему предписывалось в марте месяце иметь главное старание о том, чтоб армию комплектовать и снабжать, причем сделано было любопытное замечание: «До нас дошло, что войска наши, стоя в Пруссии на квартирах, не имеют ни одной из тех выгод, которыми прусские войска обыкновенно в квартирах пользуются. Подлинно рекомендовали мы вам содержать в армии нашей строжайшую дисциплину, а жителей до обид и разорений не допускать, но мы в то ж время не сумневались, что войска наши в завоеванной земле, конечно, имеют те же выгоды, коими прусские пользуются, ибо что единожды в обычай введено, то жителям отнюдь тягостию считаться не может; и для того повелеваем вам всегда, когда наши войска в неприятельской земле на квартирах или в гарнизоне стоять будут, поступать точно таким образом, как прусские войска делают». И опять пошли выговоры за неприсылку точных ведомостей; например, в рескрипте от 11 марта говорилось: «Из поданной вами о числе ружья ведомости усматриваем мы с великим сожалением, что недостает, особливо утраченного, весьма много. Вы не изъясняете притом, по наличным ли людям этот недостаток; и так как мы боимся, что и на наличное число людей ружья не достанет, то повелеваем вам единожды прислать точный и ясный рапорт, на сколько именно ружья и прочих муниционных вещей недостает, чтоб мы могли, смотря по тому, принимать наши меры».

Кенигсбергский губернатор Корф обязан был доставлять отдельным отрядам армии все нужное, особенно провиант, фураж и подводы; но Корф писал в Петербург, что, несмотря на его собственные напоминания, ни один из командующих дивизиями и бригадами генералов не уведомляет его ни о движениях полков, ни о месте их пребывания, так что он наконец не знает, куда что отправлять.

План кампании, сочиненный в присутствии Фермора в Петербурге, состоял в том, чтоб вся русская армия, разумея полки по двухбатальонному числу, была готова к походу еще до исхода апреля месяца старого стиля. Хотя в начале мая трудно надеяться хорошего корму в поле, однако тем не менее армия должна в это время оставить зимние квартиры и двигаться к Познани, где в половине или к 20 числу мая должно находиться уже значительное войско, именно не меньше 60000, а с офицерами, артиллеристами, инженерами и козаками не менее 90000. Эта армия не должна брать с собою ни одного больного или слабого, которые все остаются при реке Висле для охранения магазинов и для собственного их

поправления, так, чтоб к половине лета нечувствительно собрать там армию до 40000 человек. От Познани армия идет прямо к саксонским границам и до самой реки Одера. Где бы ни находилась армия Императрицы-королевы, везде вступление русской армии в Силезию должно быть самым тяжелым ударом для короля прусского. Фермор выступил из зимних квартир и перешел Вислу 20 апреля и только 10 июня достиг Познани; 16 числа получены известия о вступлении прусского войска в польские владения, а 19 Фермор сдал главное начальство над армиею.

И по возвращении его из Петербурга не прерывались неприятные объяснения между ним и конференциею, мнения и требования которой присылались в виде рескриптов императрицы. Конференция не понимала из донесений главнокомандующего, на что он делает такие большие запасы провианта и куда тратит такие огромные суммы денег. «Вы приказали, – говорилось в рескрипте Фермору, – заготовить 70000 четвертей хлеба в Познани; это число превосходит то, которое здесь, в Петербурге, вместе с вами полагалось достаточным на всю кампанию; для чего же делаются еще громадные запасы на Висле, когда хлеб идет морем из России? Мы не видим из вашей ведомости, по какому контракту и за какой провиант надобно доплатить жиду Боруху 56000 рублей. Сколько мы до сих пор видим, вся покупка идет на одних подрядах, но мы не можем себе вообразить, чтоб подрядный хлеб еще свозить надобно было. А когда далее мы стали рассматривать вашу ведомость, то пришли еще в большее удивление: в ней полагается на задатки по контрактам за покупной вновь и приготовленный прежде хлеб и на перевоз из Кенигсберга и Пиллау водою по крайней мере 600000 рублей. Не видим мы, за какой хлеб и за какое его число назначается такая громадная сумма. Выходит, что мы за один провоз нашего хлеба через неприятельскую землю должны заплатить тысяч двести; выходит, что мы Пруссию получили к истощению нашей казны и к обогащению пруссаков! Повелеваем: никаких на реке Висле вновь приготовлений и покупок провианта не делать, а полагаться твердо на привозимый из России и потом сделать распоряжения, чтоб привоз получаемого из России хлеба был прусским жителям неразорителен да и нам не очень тягостен. Из вашей ведомости видно, что 27 января было налицо 1312863 рубля, а теперь и с везущимися из Кенигсберга остается только 276281 рубль. После готового провианта надобно было бы думать, что такое множество денег издержано на покупку лошадей и полкового исправления; однако усматривается, что большая часть денег употреблена в платеж кенигсбергским купцам, да неизвестно кому другому за подрядный провиант, а именно 453305 рублей. Если во время пребывания в неприятельской земле при подвозимом из России хлебе пропитание становится так дорого, а, напротив того, по исчислении целая нынешняя кампания и поход через нейтральные земли должны стать так дешево, то не можем не требовать объяснения как этому, так и тому, куда употреблено в прошлом году без малого 4 миллиона по одному провиантскому правлению, тем более что в 1757 году изошло с небольшим только два миллиона, хотя армия числом была почти вдвое и почти все время находилась в нейтральных землях и главнейшие издержки употреблены были на поход конницы и легких войск из Украйны чрез всю Польшу да на заготовление магазинов, от которых еще теперь видим значительные остатки».

Главнокомандующий оправдывался, что на привозимый из России хлеб не рассчитывал, потому что он придет в Пиллау в июне и июле месяцах и надобно его будет перегружать на суда, которые Фришгафом ходят; в Эльбинге опять надобно перегружать на плоскодонные суда, которые против течения ходят, и потому при всех стараниях магазинов, находящихся при Висле, особенно торнского, скоро наполнить нельзя, ибо прежде шести недель в Торн хлеб не придет. Притом цена хлебу на Висле в апреле месяце так низка, что и с провозом в магазины дешевле петербургского подряда становится, если только в апреле и мае месяце покупка на готовые деньги упущена не будет. Из 4 миллионов рублей большими суммами расходовано в Петербурге и Риге обер-кригс-комиссаром на формирование третьих батальонов и отправление за армию разных припасов.

Но еще до получения этих объяснений 8 мая состоялся Фермору рескрипт: «Заблагорассудя нашего генерала графа Солтыкова (Петра Семеновича) отправить к находящейся за границею ныне под командою вашею нашей армии, вам чрез сие о том дать знать восхотели с тем, что как помянутый граф Солтыков пред вами старшинство имеет, то натурально ему и главную команду над всею армиею принять надлежит, и потому вы имеете оную ему сдать. Но притом мы твердо уверены, что вы тем не меньше службу вашу продолжать, особливо же помянутому генералу графу Солтыкову все нужные объяснения подать, и в прочем во всем ему делом и советом вспомоществовать крайне стараться будете». Фермор отвечал: «Видя вашего императорского величества всемилостивейшее продолжение материнского милосердия и доверенность к последнему рабу своему, не токмо себе сие за обиду не почитаю, но, припадая к стопам вашего императорского величества, рабское мое благодарение приношу». В учрежденной Фермором Провиантской походной канцелярии членами были генерал-майор Диц, бригадир Хомутов и полковник Маслов; теперь Диц и Хомутов были отставлены и управление канцеляриею поручено генерал-поручику князю Александру Меншикову, при котором из прежних членов остался полковник Маслов. Меншикову было наказано, чтоб армия всегда имела с собою продовольствия на месяц; находясь в неприятельской земле, получала бы пропитание с нее выписыванием порций, раций и контрибуции; если б этого оказывалось недостаточно, то покупать в соседней Польше, давая сверх обыкновенной цены по рублю и до двух рублей, только бы продавцы сами доставляли хлеб. Солдаты не должны быть затрудняемы на походе печением хлеба и сушением сухарей: для этого, взявши маршруты и ведомость о лежащих на дороге местечках и деревнях, тотчас наперед послать в те места народных офицеров с прописанием, где к которому числу сколько хлеба должно быть перепечено обывателями, чтоб солдаты не только готовый хлеб получали, но и с собою до другого места готовым брать могли.

Перемена Фермора была неожиданная, не ожидали и такого назначения ему преемника. Фермор почему-то славился искусством военным. Петр Семенович Солтыков ничем не славился. По родственным связям своим с императрицею Анною и правительницею Анною Леопольдовною он не мог быть приятен новому правительству и потому был удален из Петербурга для командования украинскими ландмилицкими полками. Иностранцы и свои отзывались об нем одинаково, что это предобрый, обходительный, ласковый человек, но простой солдат, никогда не командовавший в действующей армии. Вот впечатление, произведенное

Солтыковым в Кенигсберге и записанное очевидцем: «Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких украшений и без всех пышностей, ходил он по улицам и не имел за собою более двух или трех человек. Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому ничего не значащему старичку можно было быть главным командиром толь великой армии и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущю курочкою, и никто и мыслить того не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное». Новый главнокомандующий по прибытии своем к армии в Познань созвал военный совет, на котором положено было искать неприятеля, выжить его из Польши и направиться к Одру. Это решение было исполнено, и легкие русские войска начали уже схватываться с пруссаками. Из Петербурга писали Солтыкову, что очень довольны его мужественным и похвальным намерением. Прусская армия была под начальством генерала Веделя, который должен был помешать соединению русской армии с австрийским корпусом генерала Лаудона. 12 июля русская армия встретилась с прусскою при деревнях Пальциге и Кай, недалеко от Одера, на бранденбургских границах. «Неприятель, – как говорится в донесении Солтыкова, – поворотясь вдруг своим левым крылом, на правое наше устремился, и пушечная пальба наижесточайшим образом началась, которая беспрерывно более часа продолжалась. Неприятель между тем, сблизясь в обыкновенную свою дистанцию, из мелкого ружья пальбу начал и наиотважнейше на правое крыло наступал, но с такой храбростию и мужеством встречен, что по наисильнейшем с обеих сторон огне назад отбит. Однако, имея он с своей стороны во многих местах удобные перелески, переменяясь новыми людьми, вновь наисильнейшие атаки делал и тако по троекратном правого крыла атакowaniu, но всегда с равною ж храбростию и мужеством отбитии старался кавалериею между сибирским, и пермским, весьма много уже претерпевшими, однако ни пяди своего места не уступившими полками ворваться, и, в учинившихся от побитых и раненых интервалах прошед к второй линии, генералом-поручиком Демику с его высочества и киевским кирасирскими полками, которые между линиями в резерве стояли, тотчас прогнан, и тот интервал Низовским пехотным полком заступлен. От которой неприятельской кавалерии отделясь, несколько эскадронов устремились на Первый гренадерский полк, но скоро артиллериею отбиты и прогнаны. Неприятель, не получа по сим троекратным на правом крыле толь злобным атакам никакой удачи, к левому флангу устремился, где такожде двукратно наиотчаяннейшим образом атакował, а часть кавалерии его к деревне Никен маршировала, с тем чтоб сквозь оную в левый фланг армии ворваться; но генерал-майор Тотлебен, который, услыша сильную пушечную пальбу, от обозу к армии уже прибыл и у левого фланга остановился, увидя неприятельское намерение, оную деревню зажег и тем его замысл уничтожил. Таким предупреждением, жесточайшим действием новоинвентованных разного рода орудиев и шуваловских гаубиц, проворством всех артиллерийских, також храбростию солдат оный совсем в бегство приведен; наши легкие войска его преследовали, но наступившая вскоре ночь им в ожидаемом успехе препятствовала. Таким образом, гордый неприятель по пятичасной

наижесточайшей баталии совершенно разбит, прогнан и побежден. Ревность, храбрость и мужество всего генералитета и неустрашимого воинства, особливо послушание оного, довольно описать не могу, одним словом, похвальный и беспримерный поступок солдатства всех чужестранных волонтеров в удивление привел. С нашей стороны убиты генерал-поручик Демику, штаб-офицеров 2, капитанов 2, субалтерн-офицеров 11, нижних чинов 878. Ранено: 1 генерал-поручик, 1 бригадир, 4 полковника, 4 подполковника, 6 майоров, 36 ротмистров и капитанов, субалтерн-офицеров 101, нижних чинов 3744. Неприятельских тел погребено 4228, в полон взято 605 человек, в котором числе один полковник и 15 обер-офицеров, но большая часть оных ранена; дезертиров пришло 1406. Пушек отнято 14, знамен 4, штандартов 3; ружей собрано на месте баталии 2222». «Победа сия, – говорит современник, – произвела многие и разные по себе последствия, из которых некоторые были для нас в особенности выгодны. Из сих наиглавнейшим было то, что все войска наши сим одолением неприятеля ободрились и стали получать более на старичка своего предводителя надежды, который имел счастье с самого уже начала приезда своего солдатам полюбиться; а теперь полюбили они его еще более, да и у всех нас сделался он уже в лучшем уважении».

16 июля Солтыков перешел с армиею под Кроссен и 18-го писал императрице: «В армии все обстоит благополучно, только повозки портятся да подъемные и артиллерийские лошади с места почти нейдут, а князь Меншиков, живучи в Познани, доставлением провианта очень медлит и время в одних только излишних переписках напрасно теряет, не желая подвергнуть себя моей команде; когда б он с провиантским правлением отправился к армии, то, будучи при ней, успешнее бы вел дела по порученной ему комиссии, чем оставаясь в Познани, ибо знал бы все обстоятельства и потому предписывал бы своим подчиненным только об исполнении приказаний, тем более что провиант уже был заготовлен в Познани до его приезда туда».

По прибытии русской армии к Кроссену на другой день, т.е. 18 числа, Солтыков получил письмо от австрийского генерала Лаудона из Ротенбурга от 17 числа (ст. ст.). Лаудон писал, что он отправлен главнокомандующим графом Дауном с 20000 войска к Одере и будет идти вместе с русскою армиею, что выступит из Ротенбурга 19 числа и через четыре марша прибудет к Одере. 21 числа Солтыков выступил с армиею в поход и в деревне Карчен получил письмо от австрийского генерала Гаддика, что прусский король выступил из Сагана и идет очень скоро, на ночь придет в Бобергсберг, лежащий в одной миле расстояния от Кроссена, поэтому Гаддик просил Солтыкова навести понтоны через Одер против Фюрстенберга, чтоб австрийцы могли переправить свою пехоту, а конница благодаря засухе может перейти вброд. Солтыков отвечал, что мосты будут наведены ночью и австрийцы 22 числа могут переправляться. Но когда русская армия пришла в деревню Ауер, то к Солтыкову явился Лаудон с большою свитою и объявил, что Фридрих II со всем войском пошел назад против графа Дауна и генерал Гаддик повернул для соединения с ним же, а он, Лаудон, с 20000 войска остался, потому что соединение его с армиею графа Дауна очень трудно. После этого извещения Лаудон именем Дауна начал требовать у Солтыкова отправления 30000 пехоты на помощь графу Дауну. «Без особенного указа, – отвечал Солтыков, – я не могу исполнить вашего требования, потому что в

постановленном операционном плане ничего об этом не говорится и предписывается обоим императорским армиям соединиться на реке Одере и соединенными силами наступать на неприятеля; сверх того, лошади в таком дурном состоянии, что без отдохновения в поход выступить никак нельзя». Тогда Лаудон спросил, каким образом он будет получать провиант и фураж, и объявил, что граф Даун приказал ему взять с Франкфурта миллион талеров контрибуции и разделить эти деньги пополам с русскою армиею. «У нас провианта и фуража недостаточно, – отвечал на это Солтыков, – и город Франкфурт занят одним русским войском, следовательно, ни тем, ни другим с вами поделиться не могу». Этим разговор и кончился.

23 июля Солтыков приехал во Франкфурт; его встретил занявший этот город генерал Вильбуа с городскими ключами и объявил, что австрийский корпус стоит лагерем в полумиле. Вслед за тем приехал австрийский офицер с просьбою, чтоб его товарищам позволено было бывать в городе для закупки нужных вещей, и вместе требовал на трое суток 90000 рационов. Солтыков отвечал, чтоб он завтра приезжал опять и подал ему рапорт о числе и состоянии австрийского войска, а о прочем, что ему надобно, представил бы письменно. «Я намерен, – писал Солтыков императрице, – послать генерал-поручика графа Румянцева к Берлину для взятия денежной контрибуции, лошадей, быков и провианта, ибо наши лошади и быки от жаров и песчаной дороги пришли в крайнее истощение, большая часть повозок требуют починки, да и по артиллерии после сражения без исправлений обойтись нельзя, провианта при армии очень уменьшилось, а князь Меншиков не присылает. Поэтому я принужден, укрепясь в здешнем выгодном лагере, исправлять свои нужды и дожидаться, какой успех получит над неприятелем граф Даун, дабы потом, исправя недостатки и отдохнув с армиею, надлежащие меры к произведению дальнейших военных операций принять мог; а теперь в дальний поход идти не осмеливаюсь, тем более чтоб армии вашего величества каким неприятным следствиям не подвергнуть и приобретенную победоносным вашего императорского величества оружием славу не помрачить».

В Петербурге коллегии Иностранных дел велено было сделать графу Эстергази следующее сообщение: «Главное содержание операционного плана состоит в том, чтоб решительным действиям быть в Силезии и для того обоим императорским армиям сближаться к реке Одере. Поэтому мы приказали нашему генералу перейти и самую реку Одер, если б наша армия пришла туда ранее и переходом своим чрез реку Одер могла содействовать сближению обеих армий. Мало того, мы предписали и в таком случае, если б граф Даун не в состоянии был ни к Королату, ни к Кроссену приблизиться и король прусский пресекал всякое сообщение, неприятелю делать сильную диверсию и более таких мест держаться, где бы при удобном случае можно было соединиться с графом Дауном. Для доказательства искренности наших намерений эти решения наши были сообщены графу Эстергази запискою от 19 июня, и мы не сомневались, что знание их будет служить графу Дауну побуждением с таким же усердием исполнять условленный план, с каким мы его исполнили. Но к крайнему для общего дела сожалению, произошло совершенно противное. Едва граф Даун узнал, что прусская армия вступила в Польшу, и приближается к Познани, тотчас усумнился, чтоб план был исполнен с нашей стороны, и дал знать, что хотя он был готов идти на короля прусского, но это известие его остановило, тогда как это известие и должно было

его побудить занять внимание прусского короля, чтоб наша армия в Польше имела меньше остановок и могла скорее подойти к реке Одера. Когда наша армия преодолела все препятствия в Польше, выгнав оттуда неприятельскую армию, наконец, разбив ее, пришла в назначенное время к реке Одера и тем сделала то, что король прусский, оставляя графу Дауну свободные руки, со всеми почти силами обратился против нашей армии, то граф Даун, вместо того чтоб сейчас же подкрепить наши операции, по-видимому, рассудил, что настал случай нашей армии исполнить данное ей повеление соединиться с ним, и прислал графа Лаудона с представлением, чтоб наша армия, покинув свои обозы, послала к нему на помощь 30000 пехоты в такое время, когда, по уведомлениям генералов Гаддика и Лаудона, прусский король с крайнею поспешностию идет напасть на нашу армию».

Вместе с копию этой записки отправлен был к Солтыкову рескрипт: «Вы такое хорошее и благоразумное намерение приняли остаться в выгодном при Франкфурте положении, дать войскам нашим отдохновение, поправлять упряжки, с неприятельской земли собирать все нужное для нашей армии, а притом и быть в готовности к храброму принятию неприятеля, что по справедливости ничего лучше придумано быть не может и условленный план больше чем исполнен, ибо от Познани выступили вы в означенное время, несмотря на то что для прогнания вас и оттуда приходила такая армия, о которой при сочинении плана и думано быть не могло; к реке Одера пришли вы на срок, но победа сперва неприятельскую армию и принудя чрез то короля прусского почти все свои силы против вас обратить, а графу Дауну свободные руки оставить. Пожалуй, вы могли бы еще сделать одно – дойти до австрийской армии и с нею вместе победить наголову короля прусского, как в австрийском лагере и была истолкована записка, данная Эстергази в июне; но в этой записке не сказано, чтоб между тем австрийской армии ничего не делать. Впрочем, объясним вам наши мнения: 1) если граф Даун подвинулся к вам ближе или сделал что-нибудь важное и полезное, так что ваше содействие могло бы ускорить решение дела и увеличить уже приобретенные выгоды, причем армия наша никакой излишней и видимой опасности не подвергалась бы, то, конечно, вы не упустите случая сделать еще значительнее услугу нашу пред страждущею от войны Европою и более важными и обязательными дружбу и благодеяния наши пред союзниками, ибо хотя настоящий их поступок обнаруживает в них сильный эгоизм и к нам неискренность, однако мы сами подверглись бы справедливому нареканию, если б, безвременно за это отплачивая, пропустили удобный случай окончить войну. 2) Если же дела графа Дауна с королем прусским остаются нерешенными или король прусский одержал над ним некоторые выгоды, то можете распорядиться так, чтоб наша армия не подверглась опасности. 3) Если б действительно король прусский обратился против графа Дауна, то вам надобно действовать с крайнею осторожностью, помня, что граф Даун искусен выбирать себе неприступные места, а король прусский чрезвычайно проворен быстрые походы делать; вы должны действовать очень осторожно, хотя бы прусский король и не оставлял против вас большого войска в случае перехода за реку Одер вы не должны удаляться от нее более трех переходов, и если бы король прусский оставил против вас небольшой корпус, то очень хорошо было бы вам на него напасть и разбить, но, разбивши, вы должны опять на эту сторону реки возвратиться. 4) А в случае

если б король прусский, обратясь против графа Дауна, оставил против вас значительный корпус, то вам следует прежде всего стараться о сохранении приобретенных выгод, и, как бы граф Даун ни домогался присылки к нему помощи или сильнейшего с вашей стороны действия, вы прямо можете ему отвечать, что когда вам надобно было в точности исполнить план, то в этом никакие трудности вам воспрепятствовать не могли; но теперь, имея против себя знатную армию, вы не можете решиться дать битву, выиграв которую уже поздно ею пользоваться, а проиграв, надобно будет все потерять. Вы не можете себе вообразить, как мы довольны всем тем, что до сих пор вами сделано, особенно вашу твердость в ответе на нескладные запросы с австрийской стороны».

«Король прусский чрезвычайно проворен быстрые походы делать», – говорилось в рескрипте, и Фридрих II спешил оправдать такое мнение об нем петербургской конференции. *Скоропостижный* король решил не допускать неприятельских армий до соединения и для того напасть на русское войско и разбить его. Цорндорфская битва подавала ему надежду исполнить это с полным успехом, он надеялся *уничтожить* русское войско. 1 августа напал он на Солтыкова, расположившего свое войско на возвышенностях подле деревни Кунерсдорфа. Русский главнокомандующий так описывал битву в своих донесениях.

«Русская армия была расположена на возвышенностях, простирая свое правое крыло почти к самой реке Одере, а левое – мимо деревни Кунерсдорф до того места, где возвышения и лес оканчиваются и через небольшой ручей начинаются пашни и луга. Правое крыло составляли первая дивизия под командою генерала Фермора и полки авангардного корпуса под командою генерал-поручика Вильбуа. Вторая дивизия под командою генерал-поручика графа Румянцева составляла центр армии; а на левом крыле поставлен был новоблагодаренный корпус под командою генерал-поручика князя Голицына. Австрийский корпус под командою генерал-поручика графа Лаудона поставлен был позади правого крыла. Пополночи в третьем часу неприятель в марш вступил, и, обходя левое, совсем подавался к правому крылу, и беспрестанным маневрированием показывал вид армию вашего величества со всех сторон атаковать. В 9 часов пред полуднем усмотрено, что он на горе против левого фланга две большие батареи устраивает, под прикрытием которых некоторое число кавалерии и пехоты в имевшуюся у левого крыла лощину ввел. В 10 часу неприятель подошел к лесу, левым, своим пред правым крылом нашей армии в ордер-баталии строиться стал. Я, усмотря, что он правое крыло, которое по положению места такой сильной дифензии, как наше левое, не имело, атаковать намеревается, для воспрепятствования ему в том графу Тотлебену велел имевшийся через болото большой мост зажечь. Неприятель, увидя себе пресеченный таким образом путь и затрудненный переход, вдруг совсем, кроме небольшой части кавалерии, которая исподволь за ним следовала, к нашему левому крылу повернул и так в половине 12 часа при жестокой пушечной пальбе на левое крыло, во фланг устремясь, наступать стал. Стоявшие между тем в начале 1 часа в лощине прусские полки, выходя, под пушки наших батарей подошли и вдруг во фланг на гренадерский формированного корпуса полк атаку колоннами повели, где хотя с нашей стороны сильным образом и встречены, но, по недолгом сопротивлении, умножась, неприятель новыми силами гренадерский

полк с места сбил, в кое время командующий сим корпусом генерал-поручик князь Голицын тотчас мушкатерским того ж корпуса третьему и пятому полкам новую линию против неприятеля сделать велел, а потом четвертому и первому то ж учинить приказано; но подновляемый неприятель свежими полками оных сбил и двумя батареями завладел да и, сделав из всей своей армии колонну, устремился, со всею силою сквозь армию вашего величества до самой реки продраться, оставляя первую линию в левой руке, и, таким образом наступая, со всех его батарей преежестокая пальба бомбами и ядрами из 200 пушек производилась, так что места почти не было, где б пушки не вредили, отчего многие у нас ящики с зарядами подорваны и у пушек лафеты повреждены. Но как скоро только я неприятельский успех и толь сильное устремление усмотрел, то немедленно генерал-поручику Панину приказал новыми полками колеблющиеся подкрепить, и оный, взяв из второй линии второй дивизии при бригадире графе Брюсе второй гренадерский полк, а австрийский генерал-поручик граф Компителли гренадерских германских полков роты, на подкрепление подвели, а потом им же, генералом Паниным, Белозерский и Нижегородский полки, ибо более двух между ретраншементом, куда неприятельское главное устремление шло, установить было невозможно. За сими Санкт-Петербургский и Новгородский подведены ж, которые наижесточайший огонь претерпели и неприятеля в успехах несколько поостановили, а австрийские гренадерские роты подкрепляемы были того же корпуса Лаудонским и Баден-Баденским полками, которые в близости находились. В самое сие время неприятельская кавалерия в ретраншемент вошла, которая нашею под предводительством генерал-поручика графа Румянцева и австрийскою под командою генерал-поручика барона Лаудона опровергнута и прогнана, а вслед за тем генерал-поручик князь Любомирский с Псковским, Апшеронским и Вологодским полками да генерал-майор князь Волконский с первым гренадерским и Азовским привели и пехоту неприятельскую несколько в замешание. Чтоб сие поправить, неприятель попытку сделал провести свою колонну позади нашей второй линии для отрезания подкрепляющих полков; только идущий на сикурсование генерал-майор Берг с бригадиром Дерфельдом, а при них полк первой дивизии второй линии Сибирский и батальон Низовского поставлены против неприятельской колонны, которую они, из единорогов и шуваловских гаубиц, а стоящие на пригорке австрийские полки пушками с батареей встретя, взрознь разбили и рассеяли. Но до пятого часа победа еще весьма сумнительна была; потом подведены генералом-поручиком Вильбуа и генерал-майором князем Долгоруковым из авангарда Воронежский и Нарвский полки; за ними вдруге генерал-майором Бергом второй Московский полк, одна рота Низовского да Казанский полк; с вторым Московским генерал-майор Берг неприятелю во фланг ударил и, соединясь с генералом-поручиком Вильбуа, уже ретироваться начавшего неприятеля из ретраншемента выбили, батареи наши освободили, на которых несколько пушек уже неприятелем заклепаны были, и даже до лощины провожали, где по королевскому повелению подполковник лейб-кирасирского полку фон Бидербе с двумя эскадронами на Московский и Нарвский полки ударил, точию чугуевскими козаками разбит, а подполковник ранен и пленен. Тогда неприятельская армия в совершенное бегство обратилась, и генерал-поручик Лаудон с своею и с нашею кавалериею и бригадир Стоянов с своим полком с левой, а генерал-майор Тотлебен с прочими легкими войсками с

правой стороны неприятеля преследовать стали, и тако сия в пол 12 часов начавшаяся и невступно до 7 часов продолжавшаяся жестокая и кровопролитная баталия совершенным разбитием и прогнанием неприятеля кончилась». Русские потеряли убитыми 2614 человек, раненых было 10863; неприятельских тел похоронено на месте 7627, взято в плен 4542 человека да 2055 дезертиров. Австрийский корпус Лаудона потерял 893 человека убитыми, раненых в нем было 1398. Победители взяли 28 знамен и 172 пушки.

Фридрих II, который намеревался уничтожить русское войско и в минуту успеха на левом крыле уже послал в Берлин гонца с вестью о победе, – Фридрих II едва спасся от смерти или плена и этим спасением был обязан ротмистру Притвицу, который с 40 гусарами успел отвезти его невредимым с поля сражения. Фридрих в таких словах уведомил графа Финкенштейна о положении дел: «Наши потери очень значительны; от армии: в 48000 человек у меня в эту минуту не остается и 3000. Все бежит, и у меня нет больше власти над войском. В Берлине хорошо сделают, если подумают о своей безопасности. Жестокое несчастье; я его не переживу. Последствия битвы будут хуже, чем сама битва: у меня нет больше никаких средств и, сказать правду, считаю все потерянным. Я не переживу гибели моего отечества. Прощай навсегда».

Фридрих *на время своей тяжелой болезни* сдал начальство над войском генералу Финку с инструкцией: так как несчастная армия не в состоянии биться с русскими, то пусть по крайней мере нападет на Лаудона, если тот пойдет на Берлин.

Елисавета, получивши в Петергофе известие о «преславной» победе, одержанной над самим прусским королем, поспешила в Петербург, где в церкви Зимнего дворца отправлен был молебен при пальбе из всех пушек вокруг крепости и Адмиралтейства. Солтыков был произведен в фельдмаршалы; Фермору и Броуну даны земли в Лифляндии; князь Голицын произведен в полные генералы, Волконский – в генерал-поручики; другие генерал-поручики, в том числе и Румянцев, получили орден Александра Невского; Панину и Лаудону даны шпаги, украшенные бриллиантами.

Мария-Терезия прислала Солтыкову бриллиантовый перстень, табакерку, осыпанную бриллиантами, и 5000 червонных; Фермору – перстень и 4000 червонных; графу Румянцеву – 2000; Вильбуа – столько же; Панину – 1500; генерал-квартирмейстеру Штофелю – 1000.

5 августа русская армия перешла Одер по двум мостам, устроенным близ Франкфурта.

11 числа Солтыков ездил в город Губен для свидания с графом Дауном. Австрийский фельдмаршал начал разговор тем, что теперь русской армии надобно отдохнуть, австрийской – работать, поэтому русская армия должна остаться несколько времени подле Франкфурта, а потом вместе с австрийскою идти в Силезию. Солтыков согласился остаться под Франкфуртом недели две или дней с десять, смотря по тому, на сколько времени достанет фуражу. В фураже скоро оказался недостаток, и Солтыков послал сказать Дауну, что принужден двинуться к Мильрозену, а оттуда далее к Губену для получения провианта и фуража из находившегося там австрийского магазина, а между тем не угодно ли будет графу Дауну соединенными силами напасть на разбитого прусского короля. По прибытии к Рогенвальду, не доезжая версты три до Мильрозена, Солтыков послал

опять к Дауну с тем же предложением, прибавив, что если русско-австрийская армия разобьет короля прусского, то получит возможность идти куда захочет – к Берлину, в Саксонию или в Силезию на принца Генриха – и тем ускорит окончание войны; а он, Солтыков, оставя Франкфурт и не находя при Мильрозене фуража, принужден будет идти к Либрозену и этим удалением от реки Одера потерять сообщение с Пруссией, Познанью и рекою Вислою. Солтыков действительно двинулся к Либрозену и расположился при нем лагерем, когда получил известие, что Фридрих II, оправившись духом и собравшись с силами, отошел от Фюрстенвальде и расположился по той стороне реки Шпре, принудив австрийские форпосты перейти на эту сторону реки; с другой стороны, из Губена от австрийского генерала получено было известие, что неприятель в Сорау. Солтыков понял из этого, что неприятель хочет напасть на русскую армию с двух сторон: с одной стороны – сам король, а с другой – принц Генрих, и потому послал спросить Дауна, какие меры он принимает; Солтыков находился в большом беспокойстве насчет того, что Даун, как было видно, не хотел давать сражения принцу Генриху. 20 августа австрийский генерал Гаддик, находившийся при русском войске с своим отрядом, дал знать Солтыкову, что неприятель, маршируя близ его лагеря, перестреливается с его людьми. Солтыков тотчас поехал туда со всем генералитетом и застал неприятеля, идущего под прикрытием конницы; русские и австрийские гусары с чугуевскими козаками беспокоили его до самых сумерек, но до значительного дела не дошло. На другой день в третьем часу утра Даун прислал сказать Солтыкову, что когда прусский король повернет в Саксонию, то русская армия двинулась бы к Либену, чтоб удержать его шесть или семь дней от вступления в Саксонию; он, Даун, в это время пойдет навстречу к принцу Генриху и даст ему битву, а не допустит соединиться с королем. Солтыков отвечал, что за королем к Либену не пойдет, ибо отдалением от Одера не хочет подвергнуть армию опасности быть отрезанною от сообщения с Познанью, откуда ожидается не только провиант, но значительная денежная сумма, несколько полков, лошади и артиллерия; если же прусский король пойдет на Котбус, то русское войско станет препятствовать ему соединиться с принцем Генрихом. 25 числа приехал к Солтыкову от Дауна генерал Буков опять с требованием, чтоб русская армия шла к Пейцу для воспрепятствования королю отправить войско в Саксонию. Солтыков отвечал прежнее, что не пойдет к Пейцу, чтоб не потерять сообщений с Польшею и Пруссией. «Неприятель, – продолжал Солтыков, – уже занял место около Пейца, так разве мне его атаковать и оттуда выгнать; на это я отважиться не хочу, ибо и без того вверенная мне армия довольно сдержала неприятеля и немало претерпела; теперь надобно бы нам покой дать, а вам работать, потому что вы почти все лето пропустили бесплодно». «Да, – отвечал Буков, – благодаря вам у нас три месяца руки были связаны», давая этим знать, что русская армия двигалась очень медленно. «Правда, – возразил Солтыков, – нас можно попрекать за то, что мы неприятеля из Польши выгнали, разбили его и на положенный планом срок пришли к реке Одере. Умалчивая о втором поражении неприятеля, мы этим одним столько сделали, что весь беспристрастный свет нам хвалу приписать должен; однако я об этом долее не распространяюсь и, возвратясь к главной материи, объявляю, что мне долго здесь пробывать нельзя, фуражу нет, буду стоять сколько можно, а потом пойду к Губену и расположусь между реками Пейсом и Бобром, где еще фураж есть».

Между тем 18 августа написан был в конференции указ Солтыкову: 1) графу Дауну представить, чтоб он принца Генриха удалил от центра настоящих операций и привел в бездействие, к чему он имеет множество способов. 2) Отвлекая принца Генриха в Верхнюю Силезию и удерживая его там корпусом генерала Гарша граф Даун сам от Лузации перерезал бы Силезию, завладел бы сперва Лигницом и Глогау, а потом старался бы взять и Швейдниц и тем принца Генриха навсегда отрезать от короля и заключить в Верхней Силезии. 3) Представить ему, что в таком случае он, граф Солтыков, вместе с корпусами генералов Гаддика и Лаудона будет действовать против короля в Бранденбурге, чтоб отрезать его в этой области точно так же, как принц Генрих будет отрезан в Силезии. 4) Если граф Даун все это исполнит, то граф Солтыков, конечно, останется там на зимние квартиры, а именно имея Глогау центром, а Кроссен впереди или на правом фланге и распространяясь между реками Одером и Бобром. 5) Если же граф Даун этого не исполнит, то все полученные от победы выгоды уйдут из рук, и хотя бы мы на будущую кампанию могли собрать вдвое большую армию и быть вдвое больше победителями, то все эти победы послужат только к истреблению рода человеческого и к продолжению войны, потому что наша армия при всех своих победах по отдалению от своих границ и магазинов одна сама собою не может утвердиться в неприятельской земле, и графу Дауну по всей справедливости должно по крайней мере приготовить ей спокойные и безопасные квартиры, и как ни печально было бы графу Солтыкову не воспользоваться такими выгодами и не распространять своих побед далее или остановить операции в такое время, когда оставалось почти только покончить войну и по крайней мере положить тому прочное основание, однако он найдется принужденным отступить к таким местам, где армия могла бы найти необходимое по таких трудах отдохновение.

3 сентября Солтыков отправил к Дауну генерал-поручика графа Румянцева объявить ему, что русская армия терпит крайний недостаток в фураже и потому пойдет от Либроза через Губен на Зоммерфельд, Христианштадт и Фрейштадт, держась поблизости реки Одера и Глогау, в надежде, что в тех краях, где еще значительного войска не бывало, можно найти достаточное количество фуража; но так как в исполнение воли императрицы надобно зимние квартиры занять в Силезии, а не овладев ни одною крепостию, армии в неприятельской земле расположить нельзя, то требовать от австрийского фельдмаршала вспомогательного корпуса от 10 до 12000 человек, осадной артиллерии и обнадеживания, что в провианте и фураже недостатка не будет. Румянец возвратился с обещанием, что все эти требования будут исполнены, и застал Солтыкова уже у Губена. Вспомогательный корпус действительно был прислан; но когда русская армия подошла к Христианштадту, то вместо обещанных 20000 центнеров муки в магазине этого города найдено было только 600 центнеров. В тоже время получено было известие, что Фридрих II идет на соединение с принцем Генрихом, а граф Даун, вместо того чтоб не допускать этого соединения или, допустивши, преследовать прусскую армию, чтоб поставить ее между двумя огнями, принял намерение идти к реке Эльбе в Саксонию. Видя, что чрез это удаление австрийской армии нет никакой возможности получить спокойные зимние квартиры в Силезии, Солтыков решился перейти Одер.

Но оказалось, что Фридрих II с принцем Генрихом не соединился и Даун в Саксонию не пошел, а стал преследовать принца Генриха; несмотря на то, Солтыков доносил, что так как время позднее, да и трудно брать крепость Глогау, и так как в неприятельской армии считается еще до 30000 человек, то он, Солтыков, переправляется через Одер, и если Лаудон перейдет с ним туда же, то останется в Силезии до 4 октября, а если Лаудон от русской армии отойдет, то последняя и скорее станет отступать к реке Висле. Тогда 28 сентября в конференции составлен был такой рескрипт к Солтыкову: «Так как армия ваша и кроме вспомогательного австрийского корпуса сильно превосходит королевскую, то не скроем от вас, что мы не ожидали такого решения, какое вы приняли. Правда, вы имеете важное основание – недостаток хлеба, но мы не можем не заметить, что и это основание становится очень слабым, ибо тотчас после Франкфуртского сражения этот же предлог предьявлялся, чтоб держать нашу армию в бездействии, и, однако ж, она пробыла в тех местах больше месяца. Правда, что Лаудон взял на себя доставлять пропитание нашей армии и не доставил; но по крайней мере следовало вам несколько рассмотреть, было ли к тому время и способы, а не требовать, чтоб завтра же непременно было исполнено то, о чем согласились сегодня, ибо этим легко может возбудиться подозрение, что ищут одних только предлогов, а мы вам не раз объявляли, что искренностью хотим превосходить и убеждать наших союзников, хотя б они пред нами несколько и виноваты были. Подозрение может усилиться, ибо когда Лаудон 60000 имперских гульденов получил и с ними для закупки провианта в Польшу послать хотел, требуя только от вас позволения командировать туда несколько полков, то вы очень лаконически ему в этом отказали и точно так же лаконически отписали к графу Дауну, так что последний, конечно, найдется в большом затруднении, оставлять ли ему при вас генерала Лаудона с корпусом или к себе взять, ибо вы относительно этого ему ничего не написали. Не скроем от вас и того, что мы, к сожалению нашему, примечаем некоторую внутреннюю холодность между вами и графом Дауном, которую, конечно, в самом начале надобно было бы истреблять, а не усиливать. Было от нас вам предписано не подвергать напрасно нашу армию видимой опасности, но это предписание нельзя относить ко всем случаям. Вам даны и другие предписания также общего характера, но более приложимые к настоящим обстоятельствам. Например, вам сказано, что хотя и должно заботиться о сбережении нашей армии, однако худая та бережливость, когда приходится вести войну несколько лет вместо того, чтоб окончить ее в одну кампанию, одним ударом. Потом дано вам точное повеление стараться об уменьшении сил короля прусского и не упускать из рук такого случая, где можно заслугу нашу пред всею Европою сделать знаменитою и совершенною. Таким образом, и теперь мы надеемся, что если вы действительно останетесь в Силезии по 4 октября, а король прусский далеко от брата своего и вблизи вас находиться будет и генерал Лаудон от вас не отделится, следовательно, у вас будет превосходное число людей и артиллерии, то, конечно, вы приложите все старания напасть на короля и разбить его». Рескрипт оканчивался приказанием расположиться на зимние квартиры около Познани и отступать к Висле только в крайнем случае, когда дела Дауна пойдут очень дурно и Лаудон оставит русское войско.

Между тем Солтыков от 29 сентября переслал в Петербург копию с письма Лаудона, из которого было видно, что маневрами Солтыкова король так сдержан в Силезии, что, опасаясь за Бреславль и Верхнюю Силезию, не может отделить от своей армии ни одного отряда на помощь принцу Генриху, а это было очень полезно общему делу, ибо давало графу Дауну возможность действовать. Но Лаудон в письме своем высказал также мнение, что русской армии надобно остаться в Силезии до конца октября по новому стилю. «На это, – писал Солтыков в Петербург, – я никак не могу согласиться. Русская армия слишком много сделала: для союзников, отрицать этого никто не может и никто не может от нее требовать большего в такое позднее годовое время. Конечно, пребывание русской армии в Силезии до конца октября доставило быту пользу, что прусский король не успел бы нынешним годом продрагаться в Богемию и граф Даун утвердился бы в Саксонии; но может ли эта польза пересилить вред, который наносили русской армии долгим изнурительным пребыванием ее в Силезии, где она не имеет магазинов для своего пропитания, где она ежедневно должна вырывать фураж почти из неприятельских рук. После губенского свидания я предлагал графу Дауну соединенными силами напасть на короля и разбить его, потом вытеснить принца Генриха из Силезии и забрать тамошние крепости для обнадежения зимних квартир. Тогда довольно оставалось для этого времени; перезимовав вблизи неприятеля, мы могли бы рано открыть кампанию, отнять у неприятеля Саксонию и преследовать его в Бранденбурге, чем можно было бы добыть скорый мир. А теперь мне больше ничего не остается, как заботиться о сохранении армии и нынешнюю кампанию окончить с неувядаемою славою. До конца октября армии в Силезии продержаться нельзя по недостатку хлеба и фуража, епанеч и обуви; но я готов додержать обещанный срок, т.е. остаться до 15 октября н.ст., и, пожалуй, еще несколько дней сверх срока, а там пойду к Висле на зимние квартиры. Итак, всемилостивейшая государыня, уповаю, что высокие союзники армиею вашего величества и моими поступками довольны быть могут. Позиция короля прусского на сей стороне Одера около Геренштата, расстоянием от нашей армии милях в двух, подает повод к ежедневному сражению между легкими войсками. Если б я и нашел случай напасть на короля, то и победа по нынешним обстоятельствам была бы более в тягость, чем к выгоде, умалчивая о том, что пришлось бы пожертвовать немалым числом храбрых воинов, которые гораздо будут нужнее в будущую кампанию. Сверх того, неприятель всегда в таких крепких и неприступных местах стоит лагерем, что никаким образом к нему приступить нельзя». Оправдывая себя относительно Дауна, Солтыков писал: «Граф Даун объявляет, что принял намерение идти к Саксонии, и двинулся туда 9 (20) сентября, получив от меня известие, что я положил перейти реку Одер; но мог ли граф Даун 9 (20) сентября получить мои письма о переходе через Одер, когда одно было от 15 (26) сентября, а другое от 18 (29)? Не ясно ли, что он гораздо прежде не только получения, но и отправления моих писем решился идти в Саксонию и удалиться от русской армии, что меня и побудило переходить за Одер и направляться к Висле».

Относительно указания из Петербурга на Познань как место, которое должно было выбрать для зимних квартир, Солтыков писал, что Познань место ненадежное и неспособное, окрестность вся вытравлена, сена и стебля нет. Из Петербурга Солтыков известился, что Эстергази по указу императрицы-королевы принес горькие жалобы не только на бездействие русского войска, но еще больше

на то, что от него, Солтыкова, никогда ни о чем нельзя было получить ни решительного, ни удовлетворительного ответа, так что письмо к нему, Солтыкову, графа Кауница от 9 сентября нов. стилия почти целый месяц оставалось без ответа. Поэтому Эстергази требовал, чтоб Солтыков с Лаудоном не только производили сильные операции в Силезии, но и старались остаться там на зимних квартирах; чтоб по крайней мере действия русской армии продолжались до тех пор, пока австрийская армия останется в поле, или бы Солтыков, соединя с Лаудоном русский корпус от 20 до 30000 человек, отправил его в наследственные земли Марии-Терезии.

В рескрипте от 7 октября, извещавшем Солтыкова об этом, говорилось: «Что касается жалоб, то мы старались отклонить их и пресечь пристойным образом по многим и очень важным причинам, особенно чтоб, по пословице, на дележе не поспориться и от такого великого и славного союза, какого почти еще не бывало, вместо ожидаемой пользы и славы не произошли одне досады, нарекания и вредная на будущее время холодность, которой тем более следует избегать, что прусский король не только старается войти в союз с Портою, но и со стороны Порты оказывается к тому большая податливость; двумя вашими победами Порты была приведена в размышление и, почитая погибель короля прусского неизбежною, остановилась входить с ним в обязательства; однако опасение наше не миновалось: бездействие победителя, когда он был усилен новыми и свежими войсками, умалит его победы, а спасение короля прусского, которое должно быть приписано не искусству его, но слепому счастью, составит его славу и, быть может, еще более поднимет его в глазах турок, особенно если при том подастся подозрение, что тесная дружба между нами и венским двором обратилась в холодность. Поэтому прилежнейше рекомендуем вам предать вечному забвению все то, что бы вы ни имели к неудовольствию против австрийского генералитета. Равным образом отклонили мы важными и доказательными резонами, *а не сухими и досадительными отказами* все прочие австрийские требования и объяснили надобность и пользу того, чтоб Лаудон остался зимовать при Познани».

Рескрипт от 13 октября заключал в себе еще большие жесткости.

В нем Солтыков нашел прямой выговор за дурное обращение его с Лаудоном, вследствие чего союзники, пожалуй, никогда больше не будут присылать к нам своих войск на помощь. Предлагалось взять в образец адмирала Мишукова, который так хорошо обходился с шведским флотом, отданным ему в команду, что шведы и на другой год прислали свои корабли в команду адмиралу Полянскому. Поставлялось на вид, что дурное обращение с Лаудоновым корпусом может произвести злобу и в наших единоверцах (славянах), находящихся в этом корпусе. Далее говорилось: «Вы пишете, что ваши движения по реке Одере произвели опасение короля насчет Бреславля и доставили льготу графу Дауну; движения ваши вверх по реке Одере всякой похвалы достойны и приносят много пользы общему делу; если бы вы во время долгого стояния вашего при Мильрозе и Либрозе хотя малыми движениями заставили прусского короля чего-нибудь опасаться, то, и стоя на месте, умножили бы свою победу. Вы думаете, что Лаудонов корпус надобно расположить около Познани и по Варте до Калиша; это очень хорошо и согласно с нашим намерением; но не можем скрыть нашего удивления, каким образом вы прежде представляли, что там фуража и стебля нет, а теперь фураж нашелся, когда явилась надобность доставить там Лаудонов

корпус? Потом в реляции вашей, конечно канцелярскою ошибкою, вкралось неосторожное выражение: упомянуто, что пребыванием Лаудона в означенных местах армия наша прикроется с силезской и бранденбургской стороны; такое своекорыстное и союзникам нашим крайне обидное объяснение очень далеко от *нежности наших сентиментов*, умалчивая о том, что бесчестно для нашей армии, чтоб в поле торжествующую и на квартирах за рекою Вислою от неприятеля весьма удаленную прикрывал слабый в сравнении с нею австрийский корпус. Вы пишете, что если б вы, нападши на короля прусского, и победили его, то победа по нынешнему времени была бы больше в тягость, нежели в пользу. Об этом мы сожалеем по важным причинам: во-первых, так как король прусский уже четыре раза нападал на русскую армию, то честь нашего оружия требовала бы напасть на него хотя однажды, а теперь тем более, что наша армия превосходила прусскую и числом, и бодростию, и толковали мы вам пространно, что всегда выгоднее нападать, чем подвергаться нападению. Во-вторых, король прусский, несмотря на то что побежден, не только не удалился от нашей армии, но в виду ее переходит малыми корпусами через реку Одер; а это происходит, конечно, от уверенности, что на него не нападут; отсюда крайнее зло, что он и разбитый не бежит, а беспокоит победителя; а если бы он хотя однажды подвергнулся нападению и был бы разбит, то вперед с малыми силами всегда отступал бы далее, а наша армия имела бы больше спокойствия и удобнейшее пропитание. Прусский король только потому к вам приближается, что не ожидает на себя нападения, и потому без сомнения надобно полагать, что если б он ожидал нападения, то сейчас же отступил бы за Одер, и если б вы предприняли наступательное движение, то до битвы не дошло бы, а между тем вы могли вы объявлять, как теперь делает граф Даун, что вы рады были бы энергически действовать, но неприятель от вас бегаёт и вам в чужой земле за ним угнаться нельзя».

В Петербурге австрийский двор заявил три требования: 1) чтоб русская армия вместе с Лаудоновым корпусом продолжала военные действия в Силезии и заняла там зимние квартиры, или 2) чтоб по крайней мере русская армия действовала до тех пор, пока австрийская останется, или 3) чтоб корпус русской пехоты от 20 до 30000 человек вместе с Лаудоновым корпусом отправлен был в наследственные земли Марии-Терезии. При этом Эстергази на конференции с Воронцовым позволил себе прибавить: «Публика и разные дворы ставят графу Дауну в вину, зачем он один не преследовал прусского короля, видя, что русская армия победами своими не пользуется; но двор наш, сколько славе своего оружия не усердствует, предпочитает оставить генерала своего в нарекании, чем открывать прямую причину бездействия, заключающуюся в поведении русского генералитета. Впрочем, из находящихся при армиях иностранных офицеров многие начинают порочить поступки русских командиров, приписывая выигрыш последней битвы больше отчаянному неприятельскому нападению, чем их искусству; говорят и то, что причина всему бездействию – полученные графом Солтыковым тайные указы от своего двора и скрытное согласие России с Англиею». 8 октября дан был Эстергази ответ: на первые два требования заметили, что удовлетворять им теперь уже поздно, когда русская армия перешла Одер. Относительно третьего требования дан был пространный ответ: «Неужели при дворе императрицы-королевы думают, что корпус русской пехоты от 20 до 30000 человек может оказать общему делу большую услугу, чем вся русская армия?»

Несчастью только приписывать надобно, что нельзя было пользоваться или не пользовались удобным случаем, когда наибольшая часть прусских сил обращена была против нашей армии и когда потом неприятель был поражен нашею армиею. Очень было бы желательно иметь возможность отправить требуемый корпус в австрийские земли и затем с не меньшею силою действовать против короля прусского; но это дело невозможное. По последним донесениям из нашей армии, она простиралась до 60000 человек всех чинов и всякого войска, кроме находящихся в Пруссии и по реке Висле и кроме 15000 больных, а больше раненых. Но в этих 60000, конечно, немного больше 30000 человек таких пехотных солдат будет, которые действительно быть под ружьем и сражаться могут и каких мы хотели бы отправить на помощь австрийской армии; поэтому надобно бы было отправить все наши пехотные полки. Но этим мы навсегда разорили бы нашу армию, ибо отправленные пехотные полки, не имея возможности рекрутоваться в австрийских владениях, нечувствительно исчезли бы, а мы здесь, какие бы наборы ни делали, не могли бы скоро составить новых полков и привести их в надлежащий вид, умалчивая о том, что оставшееся войско подверглось бы неминуемой гибели, умалчивая и о том, что прибывающие новые солдаты ободряются старыми и скоро получают вид старых и надежных к победе, тогда как совершенно новых людей обучать победе надобно поражениями. Таким образом, отправив 30000 пехоты в австрийские владения и не имея возможности поставить против неприятеля новую и страшную ему армию, мы были бы принуждены перевезти в Россию магазины, больных и артиллерию. Тогда-то все имели бы полное право подумать, что мы наскучили войною, что посылкою тридцатитысячного войска хотели исполнить только союзные обязательства, а в прочем быть нейтральными. Тогда-то имели бы право приписывать нам тайные виды и соглашения с Англиею, но теперь нет никакой причины к такому оскорбительному для нас и недостойному для императрицы-королевы подозрению. Мы никогда не подали повода упрекать нас в двоедушии; мы ничего не обещали, чего бы не постарались исполнить на самом деле, и если бы когда-нибудь своекорыстным поведением наших союзников мы были принуждены отстать от настоящей системы, то прямо предупредили бы об этом наших союзников и возвратили бы наши войска, но не помрачили бы вероломством славы, добытой драгоценной кровью наших подданных. Дальнейшее объяснение мы теперь оставляем, сожалея, что принуждены были и столько сказать, сколько сказано».

Не остались без ответа и жалобы венского двора на Солтыкова; жалобы состояли в том, что фельдмаршал упускает из рук все случаи пользоваться полученными выгодами, не принимает никаких представлений, изъясняется недостаточным и двусмысленным образом, не исполняет данных обещаний и поступает даже прямо вопреки им. «Мы, – говорилось в ответе, – не будем здесь повторять того, что славного и полезного для общего дела совершено нашею армиею, вследствие чего последующее ее бездействие могло бы быть легко терпимо; согласимся сами, что осторожность нашего генералитета после Франкфуртского (Кунерсдорфского) сражения была чересчур велика, что побежденная прусская армия могла бы погибнуть вследствие некоторых движений нашей армии и что при этом не следовало бы бояться и третьей новой битвы. Но когда с совершенным беспристрастием и с не меньшим вниманием разобрать все

происходившее до Франкфуртской битвы и после нее, то, конечно, надобно, с одной стороны, удивляться, каким образом могла наша армия так долго удерживать прусскую, а с другой стороны, надобно крайне сожалеть, что, между прочим, то, может быть, было главною причиною вредного бездействия, что не ожидали таких великих успехов, какие имела наша армия. Так, граф Даун, получив известие о приближении прусской армии к Познани и опасаясь, что наша, быть может, не придет в положенный срок к реке Одере, остановил свои успешно начатые операции и не принимал тех мер, которые, конечно, принял бы, если б не так много сомневался в точном исполнении с нашей стороны всего обещанного. Из этого видно, что уже тогда больше старались о том, чтоб неисполнение плана сложить на наш генералитет, нежели о том, чтоб, исполняя его, с своей стороны сделать исполнение его и для нас удобнейшим. Наш фельдмаршал граф Солтыков едва прибыл в Познань для принятия команды над армиею, как принял такие меры, что неприятель не только принужден был возвратиться, но не успевал и отступать, чему доказательством служит пресечение ему пути к Кроссену и победа над ним при Пальциге. Но фельдмаршал Солтыков во время своего похода получил от графа Дауна одно досадное выражение сомнения, что наша армия могла тронуться от Познани; никакое со стороны графа Дауна предприятие не поощряло в графе Солтыкове ни ревности, ни надежды исполнить свое намерение, так что граф Солтыков, прибывши к Кроссену, даже не знал, где находится армия графа Дауна, и для проведения об ней должен был отправлять нарочные партии.

Действительно, на встречу к нему явился генерал Лаудон, но предложения, с какими он приехал, могли истощить терпение самого большого флегматика: он приехал уведомить, что король прусский с большею частью сил своих обратился против нашей армии и соединился уже с разбитою Веделевою армиею; но, вместо того чтоб для ободрения нашей армии тотчас сообщить, какие граф Даун принимает меры, как хочет воспользоваться слабостью оставшихся против него прусских сил, требовал, чтоб немедленно отпущено было с ним 30000 нашей пехоты на помощь к графу Дауну и чтоб позволено было ему взять с Франкфурта, нашим войском уже занятого, миллион контрибуции и разделить его пополам с нашею армиею.

Граф Солтыков дал такую битву, которая если бы и не совсем была удачна, то ослаблением сил короля прусского была бы полезна нашим союзникам, а в случае благословения Божия для всей войны решительна. Таким образом, критика иностранных офицеров на такую славную битву, которая, конечно, пребудет лучшим *эпоком* их жизни, совсем нескладна; еще меньше можно было ожидать, чтоб наилучшие наши союзники употребляли ее к обвинению нашего генералитета, когда признаться надобно, что остановить приобретенные вначале успехи неприятеля, всю армию в кровопролитном и жестоком бою перестроить и, наконец, одержать совершеннейшую победу там, где для многих других армий поражение казалось бы неизбежным, служит доказательством неустрашимого мужества и присутствия разума. Показан почти новый в войне пример, который, конечно, заставит короля прусского последовать другим правилам и меньше полагаться на свое счастье и ярость нападений.

Легко себе вообразить, с каким сожалением мы теперь видим, что оканчивается почти без всякого плода наилучшая кампания, что обманывается

весь свет в несомненном ожидании и что, наконец, мы находимся в неприятном положении слушать нарекания и входить в самые неприятные объяснения в то время, когда следовало бы соглашаться о будущем благосостоянии Европы! Граф Даун после Франкфуртского сражения действительно присылал с предложением, чтоб заблаговременно подумать о зимних квартирах, что очень справедливо и похвально было, но он избирал для того Верхнюю Силезию и предполагал предварительную осаду Нейса и Брига, столь отдаленных от центра действий и от наших границ, что граф Солтыков, конечно, мог утвердиться во мнении, что стараются сделать из нашей армии помощный для австрийской армии корпус, вместо того чтоб сильным действием против принца Генриха и осадой Глогау и лучшие квартиры очистить, и Саксонию освободить. Вместо этого, ожидая сомнительных происшествий и не приняв достаточных мер к пропитанию, наконец нашлись в необходимости – австрийская армия прикрывать свои магазины, а наша искать пропитания и доставлять его еще Лаудонову корпусу, тогда как генерал Лаудон должен был заботиться о пропитании нашей армии, и так как недостаток продовольствия заставил и барона Лаудона переправиться на его сторону реки Одера вместе с нашею армиею, то не можем понять, каким образом вся наша армия могла там действовать с желаемую ревностью.

У нас нет вовсе намерения ни жаловаться на графа Дауна, ни оправдывать излишнее неудовольствие и неподатливость нашего генерала (хотя, быть может, повод к ним был подан сначала сомнением в его успехах, быть может, доходили до него и слухи, что его критикуют). Стараясь, как можно, исправить испорченное, мы нашему фельдмаршалу графу Солтыкову накрепко предписали все прошедшее предать вечному забвению и стараться всеми средствами, чтоб доверие и согласие между главнокомандующими вполне соответствовали дружбе и доверию между обоими императорскими дворами. Но для этого надобно, чтоб императрица-королева дала такие же повеления и своему генералитету и чтоб заслуженное нашим войском доверие не было уменьшаемо такими сомнениями и гаданиями, которые, быть может, основаны на оскорбительном предубеждении».

Неудовольствия между двумя императорскими дворами были тем опаснее, что ослабевала надежда на продолжительную и сильную помощь другой союзницы – Франции. В начале года беспокойства императорских дворов насчет того, чтоб Франция не заключила отдельного мира, были рассеяны решительным объявлением Людовика XV, что хотя для ведения двойной войны, на сухом пути и на море, не получает он от своих союзников никакой помощи, хотя расходы на войну с Англиею громадны, однако он всегда готов исполнить все, что можно ему сделать в пользу общего дела; он возобновляет российской императрице данные ей на письме обнадеживания о твердом желании своем удалять всякое подозрение, могущее повредить счастливому союзу между Франциею и Россиею; повторяет обещание и обнадеживание, что он без согласия российской императрицы и императрицы-королевы не вступит ни в какие переговоры с общим неприятелем. Король готов подтвердить это новыми договорами, если обе императрицы их пожелают; он усугубит свои обязательства для сохранения столь драгоценного ему русского союза. Хотя король для общей пользы и для собственного интереса крайне желал бы, чтоб государыня российская вступила с ним в особенные обязательства против Англии, главной виновницы настоящих в Европе бедствий, однако если российская государыня думает, что она не может вступить по этому

предмету в соглашение с королем, то он, несмотря на всю тяжесть английской войны, готов употребить все свои силы против короля прусского в пользу своих союзников для показания, что он обеим императрицам и королю польскому так же усердствует, как и самому себе.

Но истощенные финансы Франции заставляли ее желать скорого мира, и герцог Шуазель обратился к русскому послу с упреком, с какой стати Россия таким неслыханным образом доставляет выгоды прусским владениям, занятым ее войском, с какой стати берутся с них такие малые обыкновенные подати и чрезвычайные контрибуции, тогда как прусский король не только Саксонию и Мекленбург, но и всякую землю, какую только захватит или только мимо пройдет, вконец разоряет, следовательно, нечего щадить и королевство Прусское, надобно взыскивать с пруссаков такие большие деньги, которые бы облегчили содержание русского войска, в противном случае королевство Прусское не только не истощается, но еще богатеет деньгами, которые оставляет в нем русское войско. Такой образ действия нисколько не согласен ни с русскими, ни с общими интересами, потому что прусский король, видя свои земли в таком прекрасном положении, не имеет побуждения склониться на скорый мир. Воронцов заметил на этой депеше Бестужева: «По неведению прямого состояния доходов в Пруссии всяк может о собирании контрибуции сравнение полагать с Саксонию и Мекленбургиею, токмо мы ныне искусством удостоверены, что наложенные контрибуции прусские жители не в состоянии заплатить как за неимуществом своим, так и за недостатком ходячей монеты, которая из земли королем прусским вывезена; а употребленные отсюда великие суммы денег на содержание здешней армии почти все в Польше к немалому обогащению поляков издержаны. Впрочем, худому примеру короля прусского последовать не должно».

В августе Бестужев доносил, что во Франции все вообще удивляются, для чего фельдмаршал Даун до сих пор ничего еще не предпринял, сильно ропщут на него за то, что он уже слишком бережет свое войско и рад тому, что другие отдают себя на жертву за Австрию. Герцог Шуазель дал это понять австрийскому послу графу Штарембергу в присутствии Бестужева, расхваливая храбрость русского войска по поводу Кунерсдорфской битвы.

Неудовольствия между обоими императорскими усиливали надежду на мир в Пруссии и Англии. Еще в июне месяце Фридрих II писал Георгу II английскому, что все усилия с их стороны разорвать неприятельский союз остаются тщетными, что надобно кончить тяжкую и кровопролитную войну и, воспользовавшись первыми благоприятными событиями, объявить врагам, что в Лондоне и Берлине склонны к открытию мирного конгресса. В Англии это предложение было принято очень охотно; в Лондоне составили декларацию и ждали только благоприятных обстоятельств, чтоб дать ей ход. Но вместо благоприятных обстоятельств пришло известие о Кунерсдорфской битве. Прусский министр Финкенштейн в отчаянии писал прусскому послу в Лондоне Книппгаузену: «Только чудо может нас спасти; поговорите с Питтом как с другом, а не как с министром, представьте этому великому человеку грозную опасность, которой подвергается вернейший союзник Англии, быть может, он в состоянии устроить мир». Сам Фридрих писал Книппгаузену: «Постарайтесь, как добрый гражданин, нельзя ли завязать мирные переговоры между англичанами и французами. Когда англичане получают добрые вести из Америки, то это будет благоприятная минута.

Многочисленные враги меня сокрушают». Действительно, скоро после того начали приходить вести о блестящих успехах англичан на море и в Америке, и дело о конгрессе пошло снова.

23 октября Кейт на конференции с Воронцовым внушал ему, что короли английский и прусский готовы возобновить с Россией прежнее согласие и что русскому двору можно бы начать об этом дело и без союзников своих. «Со стороны императрицы, – говорил Кейт, – больше сделано, чем сколько обязательства ее простирались, и для России нет никакой пользы быть в союзе с Франциею, которая всегда была завистницею России и теперь имеет свои замыслы относительно преемства польского престола, чему у меня есть ясные доказательства». «Канцлер, – говорит записка о конференции, – удаляясь от вступления в дальнейшие изъяснения о сей материи, довольно понимая, в каком намерении, хотя и в генеральных терминах, сии отзвывы учинены, оказал удивление, что французский двор замышляет о возведении кого-либо на польский престол». Через месяц, 24 ноября, Кейт передал Воронцову копию с декларации, которую положено было сделать в Гаге от имени английского и прусского королей министрам русскому, австрийскому и французскому. В декларации говорилось, что короли английский и прусский готовы выслать своих уполномоченных для переговоров о прочном и общем мире с уполномоченными воюющих сторон в то место, которое сочтется удобным для этого. На оба предложения дан был 1 декабря такой ответ: «Императрица приняла с благодарностью внимание его британского величества, выраженное в предварительном сообщении декларации, которая имела быть сделана в Гаге. Так как эта декларация должна быть сделана не ей одной, то она и не может отвечать на нее с точностью, пока не согласится с своими союзниками. Между тем ее импер. величеству донесено о словесных внушениях г. посланника, сделанных канцлеру 23 октября, и на это императрица в ответ объявить повелела, что, конечно, всегда главным ее старанием было и будет жить со всеми державами в добром согласии, и весь свет знает, что, чем упорнее ведет она настоящую войну, тем неохотнее начала ее, и начала только тогда, когда все ее декларации остались без действия при берлинском дворе и союзники ее подверглись нападению. Императрица сильно страдает от пролития столь многой невинной крови; но желаемый мир еще очень далек, если нет на него другой надежды, как только надежда на миролюбивые склонности ее величества. Императрица непоколебимо намерена свято и точно исполнить свои торжественные заявления – доставить обиженным сторонам достойное и праведное удовлетворение, заключить мир не иначе как на честных, прочных и выгодных условиях и по соглашению с своими верными союзниками и отнюдь не допускать, чтоб мнимую пощадою на время неповинной крови оставить спокойствие Европы в прежней опасности. Но если будут предложены условия, удовлетворительные для обиженных и удобные к принятию, то императрица немедленно согласится на все то, что признано будет за благо ее союзниками».

В то же время дана была записка австрийскому и французскому послам: «Мы надежно уведомились, что король прусский с ведома и согласия Англии при некоторых дворах внушал, будто Франция, не столько соскучась войною, сколько завидуя успехам нашего оружия, склонна к примирению с Пруссиею и даже начала об этом дело. Лондонский двор приметно старался довести это известие до нашего сведения, из чего мы заключили, что таким коварством хотели только

союзников своих в Германской империи ободрить, а между нами и нашими союзниками произвести неприятные объяснения. Мы хотели оставить это в презрительном молчании, тем более что уверены в твердости и праводушии своих союзников, знаем, с каким достоинством его христианнейшее величество отверг мирные предложения, сделанные ганноверским генералитетом. Но так как потом посланник Кейт внушал, что Россия могла бы заключить отдельный мир с королем прусским, в то же время назначенный для размена пленных прусский комиссар генерал-майор Виллих объявил нашему генерал-майору Яковлеву, что граф Финкенштейн уведомил его, будто с Франциею начаты мирные переговоры, а с другой стороны, в Гаге сделана декларация об общем мире, то кажется, что Пруссия и Англия, внушая нам и Франции об отдельном мире, стараются вселить подозрения между союзниками и ослабить великий союз, а как скоро одна держава заключит отдельный мир, то и другие будут стараться о том же; декларациею же, сделанною в Гаге, только стараются показать свету свою готовность к миру, а потом общие переговоры проволочить и сделать бесплодными. Мы, однако, этим не хотим сказать и доказать, что не следует слушать о мире, хотя бы лондонский и берлинский дворы предложили самые выгодные условия; но мы находим: 1) что такой славный величайших в свете держав союз не принесет желаемой пользы и прочным быть не может, если эти державы не достигнут своего намерения и при будущем мире взаимные их интересы неравно соблюдены будут. 2) Что этого нельзя достичь, если союзники не признают единодушно, что следует заключить мир честный, прочный и выгодный. 3) Что такой мир будет заключен не скоро, если у лондонского и берлинского дворов не отнимется всякая надежда произвести между союзниками несогласие и кого-нибудь из них склонить к отдельному миру.

По нашему мнению, надобно отвечать на декларацию, сделанную в Гаге, что союзники не меньше Пруссии и Англии желают скорого, но честного и прочного мира, что не будет затруднения относительно выбора места для переговоров и посылки уполномоченных, когда будет ближе изъяснено, каким образом помышляется достигнуть прочного мира, ибо состояние, в каком находилось дело до нынешней войны, было неудобно к сохранению мира и начатию войны прежние договоры нарушены. В то же время кажется нам необходимым сделать особую декларацию на имперском сейме при датском дворе и в Голландии, что союзники с большою неприятностью услышали о разглашениях неприятеля, будто каждый из них старается об отдельном мире; напротив того, теперь они больше, чем когда-либо, стараются союз свой сделать неразрывным и непоколебимым, и если до сих пор они согласно воевали, то при будущем примирении еще единодушнее будут стоять, чтоб не принимать другого мира, кроме честного, прочного и полезного, и доставить всем обиженным сторонам достойное и праведное удовлетворение. Сильное и прилежное приготовление к будущей кампании при этом всего нужнее. Также крайне нужно, чтоб теперь союзники как можно скорее точно и решительно согласились с нами насчет всех условий будущего мира, ибо, во-1), самые мирные переговоры этим много облегчатся и в случае успехов оружия тотчас могут быть окончены; если же лондонский и берлинский дворы усмотрят при переговорах большое несогласие между союзниками, то увидят в этом возможность протянуть переговоры, а потом совершенно разделить союзников и при заключении мира переговорами

достигнуть того, чего силою оружия получить нельзя было. 2) Предварительного и точного постановления условий требует принятое союзниками обязательство не заключать с общим неприятелем ни отдельного мира, ни перемирия, ибо точное и строгое исполнение этого обязательства затруднило бы мир почти навсегда, а когда союзники насчет будущих условий мира наперед согласны, то каждый может выслушивать предложения и сообщать их другим, если они удобоприемлемы, или тотчас же отвергать, если они так несходны с общими видами. 3) Если, таким образом, между союзниками будет полное соглашение, то не будет никакой нужды заключать вредные перемирия. Что касается места переговоров, то так как герцог Мекленбургский неповинным образом много претерпел в нынешнюю войну, то было бы ему некоторым вознаграждением, если б конгресс был собран в одном из его городов; если же это невозможно, то всего лучше собраться конгрессу в Гамбурге или Любеке; впрочем, мы будем согласны на всякое решение союзников».

Венский двор сильно встревожился декларациею Англии и Пруссии, сделанною в Гаге, он боялся, что Франция, истощенная войною, будет рада этому случаю как можно скорее заключить мир, вследствие чего и другие союзники будут принуждены то же сделать, не получа от войны той пользы, какой ожидали. Мария-Терезия писала Эстергази, что возлагает всю свою надежду на союзническую дружбу и непоколебимость русской императрицы; просила, чтоб при русском дворе отложили всякое недоверие и частный интерес и ничего не скрывали от венского двора для надежного достижения великой цели; выражала желание, чтоб Россия возобновила уже принятые ею обязательства относительно ее и ее дома; с своей стороны обещала свято исполнять свои обязательства и, кроме того, дать королевское слово как силою оружия, так и при мирных переговорах употребить последние свои силы для доставления России всех тех выгод и вознаграждений, какие она сама изберет и найдет возможными; требовала, чтоб не было заключаемо никакого перемирия, но представляла, что должно согласиться на мирный конгресс, на котором стараться выиграть как можно более времени, распознать прямые намерения прочих дворов и, пользуясь ими, ослабить дружбу между Англиею и Пруссиею, стараться, чтоб между Англиею и Франциею был заключен такой мир, при котором бы Австрии и России оставалась свобода продолжать войну против короля прусского.

Императрица на это велела дать такой ответ: «Нет никакого сомнения, что по домогательствам короля прусского Англия склонилась сделать с ним вместе декларацию о мирном конгрессе. Но не меньше верно и то, что Англия не понимала бы своего существенного интереса, если б не пользовалась нынешними обстоятельствами для заключения выгодного мира и спасения союзника своего короля прусского. Ей нельзя не видеть, что, как бы постоянно ни было счастье ее оружия, больших выгод ей получить уже нельзя, когда в Северной Америке ей уже нечего опасаться от Франции и, что еще важнее, флот и торговля Франции долго не могут поправиться, а доходы совсем истощены и, продолжая войну, можно только дожидаться такого случая, что Франция каким-нибудь отважным и удачным предприятием переменит положение дел. Англия, конечно, чувствует, что если король прусский будет совершенно обессилен, то она потеряет всех своих союзников в империи, следовательно, настоящие успехи ее оружия не вознаградят утрату ее значения в европейских делах; уступкою самого выгодного мира

Франции Англия все же оставит ее в настоящем бедственном положении, а спасая этим миром короля прусского, несравненно увеличит свое значение и влияние. Таким образом, по нашему мнению, более желательно, чем надежно, успеть в том, чтоб Англия склонилась заключить с Франциею мир с совершенным исключением короля прусского. Надобно иметь крайнюю осторожность, чтоб приметным различием англо-французской и нашей с Пруссией войны не встревожить Францию и не повредить делу. Мы считаем нужным, чтоб посол наш граф Бестужев-Рюмин и граф Штаремберг согласно и внятно истолковали французскому двору, что нет нашего желания и намерения исключить его христианнейшее величество из войны против короля прусского; напротив, с благодарностью признавая сильное его в ней содействие, усердно желаем, чтоб при мире с этим государем интересы Франции и всех союзников, особенно Саксонии и Швеции, были наблюдаемы наравне с нашими собственными; еще более удалены мы от мысли, чтоб, заключив особый мир с королем прусским, оставить ему свободу подавать каким бы то ни было образом помощь Англии; что мы очень понимаем, для чего теперь Англия и Пруссия так спешат мирными предложениями: Англия давно усмотрела, что мнимое превосходство сил ее на море только тогда станет действительным, когда на твердой земле имеет она сильное подкрепление. Поэтому казалось, что в нынешней войне заботилась она больше об интересах короля прусского, нежели о своих собственных. Поэтому думать можно, что и при заключении мира станет усердствовать больше о прусских же интересах; может быть, и вся ее надежда к миру на том основана, чтоб, жертвуя некоторыми своими выгодами, сохранить в полезной для нее силе короля прусского. Россия и Австрия никогда не потребуют, чтоб Франция хотя чем-нибудь для них пожертвовала; но его христианнейшее величество, конечно, усмотрит, что, какой бы теперь выгодный мир с Англиею заключен ни был, он будет всегда этой державе несравненно полезнее и Франции вреднее, если в то же время не будут сокращены силы короля прусского, ибо Англия сохранит себе такого союзника, который ей всем обязан и с помощью которого она легко может властвовать во всей Германии и на Севере. Конечно, на некоторое время прекратится настоящая тягостная война, но всегда нужно будет готовиться к новой и тем более тягостной, что партия короля прусского несравненно усилится. Англия и король прусский предлагают теперь вместе об общем мире, думая успехами Англии на море наверстать то, что потеряно на твердой земле; а по нашему мнению, усилением войны на сухом пути надобно с избытком наверстать то, что потеряно на море; а способ, кажется, есть и утраченное наверстать, и обязательства исполнить, и нигде ничего не уступить, надобно только последовать такому совету: в ответной французской декларации должно быть сказано, что король готов помириться с Англиею, если только мир будет честный; что же касается войны, начатой королем прусским против Австрии, Саксонии и России, то так как король вступил в нее только в качестве помощника и ручателя Вестфальского договора, то он должен свято исполнять свои обязательства, помогая своим союзникам и стараясь при будущем примирении, чтоб они получили справедливое вознаграждение за все убытки».

Была еще держава, которая вступила в войну с Пруссиею для сохранения Вестфальского договора, — Швеция. Панин присылал печальные известия о причинах неуспеха шведского войска. «Настоящая кампания, — писал он, — стоит

Швеции 20 миллионов талеров; сколько иностранных субсидий на то получено, всевысочайше известно; если взять в рассуждение число шведской армии и что она во все время делала, лежав по июль месяц в Штральзунде и потом перешедши взад и вперед не более пятидесяти миль, почти не видав неприятеля, то нетрудно доказать, что по крайней мере третья часть этих миллионов разошлась по рукам. Как приготовиться к будущей кампании, этот вопрос заключает в себе великие трудности; сенатская комиссия о вооружении уже несколько времени не собирается за неимением денег, не зная, чем удовлетворять подрядчиков и за те многие предметы, которые еще прошлым летом были поставлены в армию. Один сенатор сказал мне под секретом, что они не имеют никакой надежды, чтоб версальский двор выплатил им субсидии на нынешний год; известная здешняя лотерея не имеет желаемого успеха, мало охотников брать билеты, ибо требуют, чтоб банк брал эти билеты под залог, а банк не соглашается».

1 июня Панин писал: из военных распоряжений и приготовлений здесь ничего нового не видно, кроме сбора рекрут до 600 человек из разных провинций; говорят, что их скоро отправят в приморские места для посажения на суда; других отправлений к армии нет, все войска остаются по своим провинциям и гарнизонам; причина всем известна: она состоит в совершенном истощении государственной казны и в том, что недоимка чужестранных субсидий остается невыплаченной, а что уплачивается, то идет на содержание наличной армии в Померании. В августе, говоря о положении дел по смерти вождя господствующей партии графа Гилленборга, Панин писал: «До сих пор Сенату оставалось мало времени думать о своей армии, потому что он должен был управляться с разными домашними партиями, и теперь со смертью Гилленборга внутренние дела придут еще в большее замешательство». В начале сентября Панин уведомил, что Государственный банк дал наконец короне займы 30 бочек золота с объявлением, что он сделал последнее усилие помочь государственному недостатку. Из этих 30 бочек 20 бочек удержала Штатс-контора на выдачу окладного жалованья на этот год статским и военным чинам, ибо это жалованье правительство взяло вперед из обыкновенных государственных доходов и употребило на военные расходы; четыре бочки взяла Военная коллегия на расплату с подрядчиками за поставку вещей прошлого и нынешнего года, и, таким образом, правительству остается только шесть бочек на его новые военные издержки. Панин считал своею обязанностью утверждать, что в 1759 году не будет никакой отправки войска и рекрут в Померанию, а только делаются пустые обнадеживания для успокоения союзников и для поддержания бодрости в народе. В провинциях никто не хочет повиноваться правительственным приказаниям. В будущем году должен собраться сейм, и наверху заняты выбором ландмаршала. Придворная партия вместе с старыми *колпаками* ведет себя тихо и не мешается в это дело; французская партия хочет провести в ландмаршалы барона Шефера, который находится министром при версальском дворе: но сенатор Гепкен со своими приверженцами слышать об этом не хочет и проводит своего друга отставного сенатора Вреде.

Новый министр русский в Варшаве генерал-поручик Федор Воейков должен был заниматься старыми делами. Он начал свои донесения известием, что первый министр граф Брюль, зять его маршал коронный граф Мнишек и при них епископ краковский Солтык делают почти все по своему произволу; враждебная им партия имеет своими вождями князей Чарторыйских и каштеляна краковского графа

Понятовского; от раздоров между этими двумя партиями происходят большие беспорядки и неудовольствия между знатными поляками. К Воейкову приезжал коронный канцлер Малаховский и, обнадеживая в своей преданности русским интересам, высказывал вместе с тем сильное неудовольствие на поступки Брюля и Мнишка, которые вопреки конституции и обыкновениям польским вступаются во все дела, находящиеся в заведовании других сановников, так что он, Малаховский, избегая дальнейших оскорблений, решился на несколько времени уехать в свою деревню, что и действительно исполнил. «Я, – писал Воейков, – о подобных неудовольствиях слышал и от других знатных поляков; только мне кажется, что неудовольствия эти возбуждаются Чарторыйским и Понятовским, имеющими большое значение. Я мог и то заметить, что по большей части из людей, принадлежащих явно к партии придворной, очень немного доброжелательных, другие же только наружно показывают себя приятелями, чтоб получать чины и другие выгоды. На мои поступки и обхождение очень внимательно смотрят, и каждый старается привлечь меня к своей стороне, поэтому я рассудил при учтивом обхождении наблюдать осторожность и скромность, выслушивать жалобы, иногда и неосновательные, и вижу, что чрез это нахожусь у обеих партий в довольном уважении, и надеюсь, что если бы в подобных случаях стал чего-нибудь домогаться, то не встретил бы больших препятствий». После этого Воейков писал: «Приметил я, что воевода русский князь Чарторыйский очень дружески обходится с английским посланником лордом Стормонтом и с прочими находящимися здесь англичанами, которые почти ежедневно бывают у него в доме; граф Понятовский оказывает им также особенную приязнь. Такое поведение подает справедливую причину к наибольшему неудовольствию и подозрению как со стороны короля, так и первого министра. Может быть, они делают это только в досаду противной им придворной партии, не имея никаких худых намерений; однако, по моему мнению, выдумка эта очень непохвальна».

На это донесение Воейков получил рескрипт императрицы: «Недавно приехавший сюда молодой князь Чарторыйский просит нашего заступления у короля за епископа каменецкого Шептицкого, чтобы доставлена ему была папская булла, да за аббата Мосальского, чтоб сделать его виленским коадьютором, чем русская партия получит немалое поощрение. Хотя подлинно князья Чарторыйские и их партия казались нам преданными, за что и получили многие от нас милости, однако время и опыт показали, как мало они этому отвечают и по частной злобе на графа Брюля и его зятя являются враждебными не только нашим, но и собственным королевским интересам. Явный опыт их недоброжелательства показан в том, что они не устыдились прямо сопротивляться королевскому предложению чрез депутацию от республики требовать у короля прусского объяснения насчет враждебности его поведения относительно Польши, и предложение это по их упорному настоянию не принято. Из этого оказывается, чего королю и нам вперед ожидать от князей Чарторыйских и их партии. Однако мы в надежде, что они переменят свое поведение, нисходим на прощение молодого князя Чарторыйского и повелеваем вам нашим именем ходатайствовать за Шептицкого и Мосальского, но прежде хорошенько рассмотреть, чтоб такими рекомендациями не причинить королю какого-нибудь неудовольствия и тем не компрометировать наше достоинство».

И Воейков по примеру всех своих предшественников должен был подавать жалобы на притеснения православных в польских владениях. В рескрипте императрицы к нему от 10 августа говорилось: «По причине происходящих от поляков живущим в Польше и Литве греко-российского закона людям всяких препятствий в возобновлении и починке обветшалых церквей и в постройке новых хотя довольно рекомендовано было предместникам вашим, чтоб у короля исходатайствовать этим людям генеральную привилегию иметь им в этом деле совершенную свободу, однако такой привилегии до сих пор еще не исходатайствовано, а нашего закона людям иметь ее очень нужно, потому что поляки, особенно епископ виленский, не допускают починивать и строить церквей». Воейков обратился к Брюлю и получил обычный ответ, что король сделает все, что может. Воейков писал к епископу виленскому, и тот отвечал, что надобно отложить дело до сейма, потому что он без решения всей республики не может давать позволения строить и починивать церкви чуждого исповедания. «Эти пустые отговорки показывают его недоброжелательство, – писал Воейков, – ибо известно, что все почти польские сеймы разрываются». В то же время поляки требовали немедленного вознаграждения за убытки, причиненные им от прохода русских войск через польские земли; выбрали двоих депутатов, из которых один должен был отправиться в Петербург, а другой – к фельдмаршалу графу Солтыкову домогаться удовлетворения за убытки. Напрасно Воейков старался воспрепятствовать отправлению этих deputаций, напрасно спрашивал: отчего это жалобы происходят только на одно русское войско? Пруссаки ворвались в польские владения и опустошили их, и на это нет ни малейшей жалобы. Граф Брюль отвечал, что хотя такое предприятие польских магнатов королю было очень неприятно, однако он удержать его не мог; Брюль прибавлял от себя, что делать нечего, надобно удовлетворить упрямое и безрассудное польское шляхетство, чтоб удержать его от каких-нибудь предосудительных поступков по причине близости к границам бранденбургским и силезским.

В октябре Воейков получил рескрипт с новыми требованиями исходатайствовать генеральную привилегию православным, потому что епископ виленский рассылает своих миссионеров, которые поступают с простым народом *малослыханным* образом, и по наущению их самому епископу белорусскому Георгию Конискому нанесено в городе Орше такое бесчестие и ругательство, что он опасается, можно ли будет ему и в своем доме спокойно жить, и просит высочайшего заступления за всех единоверных в Польше и Литве. На свои представления Воейков получил прежние ответы и писал: «Духовенство здесь, в Польше, великую имеет силу, отчего надуто такую гордостью, что не только не смотрит на министров, но и королевских повелений мало слушает».

В Польше Фридрих II не имел надежды возбудить какое-нибудь движение, могшее отвлечь русские силы; но он не терял надежды относительно Турции. В начале года Обрезков доносил из Константинополя, что там все тихо; но от 3 апреля дал знать, что явился новый прусский эмиссар и 22 марта великий визирь в одном из загородных султанских дворцов имел тайное свидание с секретарем английского посольства и первым переводчиком. Английский посол получил от своего двора повеление стараться всеми способами устроить союз между Портою и прусским королем и позволение в нужном случае истратить на это хотя до 100000 фунтов стерлингов. Визирь соглашался на простой союз или трактат

дружбы, но король требовал наступательного или по крайней мере оборонительного союза, на что визирь никак не соглашался. «Между тем я и союзные министры, – писал Обрезков, – употребляли все средства, чтоб воспрепятствовать окончанию этого дела, и хотя замечаем, что вообще турки удалены от прусского союза, однако если визирь к нему расположен и их союзники не получают над прусским королем важной выгоды, то ни за что ручаться нельзя».

Действительно, тотчас после получения ложного известия, что пруссаки одержали победу над русским войском при Пальциге, визирь начал дело с прусским эмиссаром и тотчас же прервал его, когда было получено верное известие о русских победах и под Пальцигом, и под Кунерсдорфом. «Прусские эмиссары, – писал Обрезков от 1 октября, – до сих пор здесь, и положение их не улучшилось, ибо Порта постоянно им отвечает, чтоб имели терпение и ждали удобного времени. Однако такое поведение Порты много беспокоит меня и союзных министров: из него видим, с одной стороны, хитрость Порты, которая хочет иметь полную свободу принять или не принять прусские предложения, смотря по обстоятельствам; с другой стороны, прусские эмиссары, живучи здесь тайно, могут потом держаться и явно и дожидаться своего времени. Поэтому я с союзными министрами употребил все усилия, чтоб эти эмиссары были отсюда отпущены, но без успеха, и вперед по склонности и твердости визиря имеем небольшую надежду к успеху, разве помогут новые успехи оружия нашего или наших союзников. Порта постоянно хлопочет о снабжении пограничных городов военными запасами. Султан желает войны, но между знатью находит не много воинственности». По донесениям прусского эмиссара в Константинополе фон Рексина, великий визирь объявлял ему, что Порта готова к союзу с Пруссией, но с условием, чтоб Англия вступила также в этот союз и гарантировала его; три союзные державы должны были заключить мир только по взаимному соглашению. Но английское министерство объявило прусскому посланнику, что Англия заключала с Портою только торговые договоры и никогда не заключала союзов; союз с турками возбудит негодование при католических дворах – испанском и неаполитанском – и в самом английском народе. Статью о заключении мира только по общему соглашению нельзя принять, она будет противна английскому народу. Остается одно – отправить приказание английскому посланнику склонять визиря в пользу Пруссии, не связывая себе рук.

Надобно было позаботиться о сохранении мира на юге, потому что война на западе становилась очень дорога. Для пополнения войска перестали быть разборчивыми. Военная коллегия доносила, что бывшего в ведомстве Берг-коллегии и присланного в Военную коллегия для определения в полки и гарнизоны гинтерфервальтера Кривцова определить нельзя, ибо по решению Военной коллегии 1756 года велено в армии в офицеры производить по верным аттестатам таких людей, которые были бы трудолюбивы, проворны, быстрой находчивости, о всем попечительны, внимательны, знающие совершенно военные правила, собою доброзачны и расторопны; а Кривцов в военной службе не был, а в горной, да и из нее за недостойность прислан, к тому ж и лет немолодых. Но Сенат велел Кривцова определить, куда окажется способен; если же он не произведен в горные офицеры за неспособность, так это потому, что горные офицеры производятся по наукам, надобным для горного искусства; Кривцову

только 49 лет, и потому он может еще службу продолжать, а кроме немолодых лет какие еще его неспособности, которые бы препятствовали ему служить в полках, – этого Военная коллегия не пишет. Медицинская канцелярия переслала в Сенат мнение доктора Полетики, что больные в госпитале большею частью страдают горячкою и поносом; причины: спертый воздух, дальняя и трудная дорога для рекрутов, скудная пища, теснота в квартирах и нечистота, переменная и мокрая зима, усталость от военных упражнений; притом больные посылаются в госпиталь поздно, где и умирают от тесноты и смрада. Необходимо госпиталь распространить и больных в палатах уменьшить по крайней мере наполовину. Сенат велел приискать новые дома для распространения госпиталя. Для пополнения полков послали указы главным сыщикам: из находящейся при них воинской команды для крайней ныне в полках надобности оставить только такое число людей, какое необходимо, без всякого излишества, а прочих отпустить к полкам.

У сыщиков уменьшали команды – и следствие было известно: умножение разбоев. Появились разбойники близ Москвы по Владимирской дороге около зверинца, пристань имели они в лефортовской части у разночинцев. Прежде у генерал-полицмейстера были две роты драгун, а теперь это число уменьшили, и генерал-полицмейстер доносил, что по Московской дороге и в близости от Петербурга производятся явные разбои, разбойники вооружены тесаками и пистолетами. Последовал именной указ опять учредить две драгунские роты. Скоро исполнить указ было трудно, и из Кабинета пришло подтверждение о немедленном командировании для полиции двух драгунских рот, потому что в Петербурге не только оказывались домовые кражи; но на морском рынке, позади мучного и свечного рядов, найдена рогожа, в которой завернут был горшок с мехом и огнем, отчего рогожа уже обгорела. Императрица приказала также выгнать цыган из Петербурга и окрестностей. Пришли известия, что в Новгородском и Старорусском уездах разбойники разорили много домов; разбои здесь увеличивались с такою силою, что в конце года принуждены были для сыску разбойников назначить всех воинских служителей, находившихся при межеванье, в помощь им велели брать отставных офицеров, а где нужно, и обывателей. Любопытный именной указ заслушал Сенат 13 декабря: «Ее величеству известно учинилось, что многие люди к новоявленному чудотворцу Димитрию в Ростов и в Ахтырку к чудотворному образу в проезде чинят обывателям обиды и берут безденежно подводы, отчего ямщики и крестьяне разоряются».

На денежные требования из конференции Сенат в начале года принужден был отвечать решительными отказами; так, конференция требовала, чтоб выдано было 8400 рублей капитану князю Николаю Репнину, отправлявшемуся во Францию, и ротмистру графу Петру Апраксину, ехавшему в шведскую армию; Сенат приказал сообщить в конференции, что отпустить теперь этих денег неоткуда, во всех местах в деньгах крайний недостаток, почему многие приказанные отпуска денег до сих пор не исполнены. Давши такой ответ, на другой же день Сенат решил послать нарочных, не обретающихся у дел штаб- и обер-офицеров с инструкциями в губернские, провинциальные и городские магистраты, чтоб они выслали имеющиеся в магистратах и ратушах от разных сборов деньги, сколько их где есть, все, не оставляя ничего. А тут подносится рапорт главного комиссариата: надобно к заграничной армии дослать в годовой

расход более 600000 рублей, и в то число Прав. Сенат приказал отправить в Кенигсберг медною монетою 400000 рублей; но в наличности имеется денежной казны разных сумм, в том числе и госпитальной, только 289276 рублей.

Таможенный сбор был отдан на откуп обер-инспектору таможен Шемякину и компании; но Шемякин в конце года подал донесение: по малому числу таможен во многих местах от команд происходят послабления, а некоторые командиры делают препятствия в сборах, таможенных служителей немилосердно бьют и держат долгое время под караулом, а тайно проезжающих с товарами людей из-за взяток пропускают за границу, оговорных к следствию не дают, нарочно посланных в разъезд мучительно бьют, а на Колыбельском форпосте и смертное убийство произошло. От соседних с границею жителей никакой помощи нет, напротив, сами они по согласию с поляками и русскими купцами, собравшись человек по сту и больше с ружьями и копьями, беспрерывно провозят товары, а удержать их нельзя по малочисленности команды на форпостах: во многих местах только по одному солдату находится, и всякая команда отговаривается, что увеличивать число людей на форпостах некем. Генерал-майор Альбедиль пишет, что не только эти партии прекратить, но и бегущих из России в Польшу многими семьями отвратить некем и кроме настоящего тракта беглецы проложили несколько других дорог чрез границы.

При безденежье порадовало известие из Сибири: Нерчинская экспедиция представила о публикации в газетах для славы Российской империи о вновь сысканном богатом серебряном руднике, названном Кадаинским, каких прежде никогда не было отыскано. Сенат, однако, приказал удержаться на некоторое время публикациею. В области других промыслов происходили любопытные явления. Конференция переслала в Сенат доношение таможенного обер-инспектора и откупщика Шемякина, который просил позволения вывозить в Россию шелк, золото и серебро беспошлинно для снабжения русских фабрик. Конференция давала знать, что рассмотрение и окончание дела принадлежит подлинно Прав. Сенату, однако в ней определено при посылке этого доношения сообщить, что представления Шемякина основательны и усердие его заслуживает похвалу, и притом прилежно рекомендовать, чтоб по важности этого дела окончанием его было ускорено, для поправления русских мануфактур надобно поскорее воспользоваться настоящими почти по всей Европе замешательствами. Шемякин в своем донесении писал, что хотя число шелковых мануфактур очень умножилось, однако это производство далеко от совершенства и служит надежным путем к разорению. Французский фабрикант заботится только о рисунках и не думает, откуда ему взять шелк и как его окрасить, потому что на то есть купцы и красильщики; у нас же, наоборот, фабрикант должен быть и купцом, и красильщиком, что разоряет, ибо требует вдруг затраты больших капиталов; каждый фабрикант должен иметь по крайней мере на 50000 в запасе шелку, если хочет обеспечить себя, чтоб фабрика его не стала. Запасет фабрикант 40 пудов желтого шелку, и не удастся ему переделать из него в целый год и пуда, а по заказам нужно ему будет переделать в один месяц 30 пудов фиолетового, которого у него и золотника нет, что тут делать? Перекрашивать – краска тратится, и цвет выходит плохой, и материя не имеет чистоты и прочности. Шемякин обязывался содержать в Петербурге и Москве столько шелку и таких сортов и цветов, какие только понадобятся, чтоб никакой остановки не было, для чего просил на 30 лет

привилегии и, кроме того, права вывозить одному за границу белку, мерлушки и бобров. Но обер-директор позументной фабрики Роговиков доносил, что требование Шемякина бесполезно, из одной зависти нарекает он на русских фабрикантов напрасно, ибо многие шелковые фабрики пришли уже в цветущее состояние; он, Роговиков, употребил на свою фабрику более 100000 рублей и довольствует своим товаром с похвалою; а Шемякин никакой фабрики не имеет и хочет всех подорвать. Если угодно, он, Роговиков, возьмет привилегию на тех же условиях, но примет к себе в компанию и прочих фабрикантов; сверх того, обязывается платить ежегодно по 30000 рублей в казну. Сенат приказал: позволить Шемякину беспошлинный ввоз одного шелку, но не золота и серебра; позволить и другим фабрикантам беспошлинный ввоз шелку, но только для своих фабрик, а не на продажу; позволить Шемякину на вымен шелка отпускать за китайскую границу бобров, но с пошлиною; также мерлушки и белку за другие границы с пошлиною, а другим отпуск их запретить. Роговикова неосновательное представление отставить и объявить ему, чтоб впредь таких не подавал.

Генерал-лейтенант гофмаршал барон фон Сиверс подал прошение ни больше ни меньше как об уничтожении бумажной и картной фабрики петербургского купца Ольхина, потому что на его, сиверсовой, красносельской фабрике всяких сортов бумага делается лучшим мастерством и в таком количестве, что не только всю Петербургскую губернию, но и близлежащие провинции может удовольствовать, и для того надобно отвратить видимый им себе от фабрики Ольхина подрыв; в 1754 году сенатским определением Ольхину запрещено распространять свою бесполезную фабрику; притом Ольхин в своем прошении назвал его, Сиверса, подрывателем своей фабрики, и за это он, Сиверс, требует удовлетворения. Сенат приказал Мануфактур-коллегии освидетельствовать фабрику Ольхина и донести так, чтоб можно было видеть, размножена ли эта фабрика против прежнего и какая именно сделана прибавка; что же касается удовлетворения, то пусть Сиверс бьет челом где следует по указам, в низшем месте, а не в Сенате.

Война затягивалась; землевладельцы, находясь при войске за границею, не имели возможности брать отпусков для личного надзора за имениями и выплачивать в банк занятую сумму; Петр Ив. Шувалов предложил отсрочить этот платеж, чтоб дворянство, «этот первый член государственный», не лишилось своих имений, особенно теперь, находясь на войне за границею. Помещик находился при войске, а сосед пользовался его отсутствием, напал на его имение, бил крестьян: орловский помещик Шамардин с своими людьми и крестьянами напал на людей и крестьян майора Шеншина и убил четырех человек, бил и сыскную команду, отправленную против него.

Города нужно было предохранять от пожаров, от произвола Главного магистрата и от воевод, которые в свою очередь жаловались на купечество. Воеводская канцелярия Юрьева-Повольского доносила, что тамошнее купечество не исполняет полицейских должностей, не имеет пожарных инструментов; по ночам происходят многолюдные собрания, озорничество и угрозы побоями воеводе и канцелярским служителям. Ростовский воевода Спиридон сменен был за то, что не имел старания о постройке пожарных инструментов. Главный магистрат донес Сенату, что он выбрал в свои рацгеры признанных им достойными этого чина московских купцов Струговщика и Серебреникова. Сенат

приказал: по силе регламента велеть московскому купечеству выбрать кандидатов и представить их в Главный магистрат, а тот должен представить их Сенату, обозначив в своем представлении, кто, по его мнению, достойнее; Главному магистрату так и должно было поступить, а не представлять по одному своему удостоению, имея перед глазами регламент и именной указ 1757 года с выговором за подобный неосмотрительный поступок, но все это было пренебрежено.

Относительно воевод любопытна просьба Юстиц-коллегии, нельзя ли по делу пензенского воеводы Жукова назначить особую комиссию из посторонних лиц, а ей вести это дело нет возможности за малочисленностью секретарей и приказных людей. Над советником полиции Неплюевым назначена же была особая комиссия, хотя о нем было только 20 дел, а о Жукове 223 дела! Сенат не согласился, а велел для рассмотрения жуковского дела назначить два дня в неделю, в которые никакими другими делами не заниматься.

В селах видим прежнее явление – восстание монастырских крестьян. Синод прислал ведение: архангельского Архангелогородского монастыря архимандрит Иринарх жаловался на непослушание приписных к монастырю крестьян; крестьяне жаловались на отягощение излишними работами и поборами. До окончания дела крестьянам было объявлено с подпискою, чтоб они были послушны монастырю; но крестьяне не послушались, келаря столкнули с крыльца, потом и архимандрита прогнали, толкая под бока кулаками, а губернская канцелярия с этими противниками ничего не сделала; Синод жаловался на понаровку крестьянам губернаторского товарища Черевина и в должности секретаря Иванова. В Шацком уезде новокрещеная мордва в деревне Тумаги отложились от Савина-Сторожевского монастыря и не платила оброка с 1753 года. Крестьяне тверского Колязина монастыря били челом, что архимандрит и монастырские стряпчие их разоряют.

Мы упоминали о страшном деле между Сафоновым и Львовыми, которые напали на его крестьян, убили 11 человек и смертельно ранили 45. Дело это тянулось с 1754 года. В описываемое время Львовы с Сафоновым помирились на том, что положили ему в иск дать денег 4000 рублей да в Калужском уезде недвижимое всех их, Львовых, имение, и дать на то имение в 5000 рублей купчую. Сенат позволил эту сделку.

На южной, степной Украине продолжились наезды запорожских козаков на донских. Донской атаман известный Ефремов в знак особенной милости ее императ. величества за заграничный поход пожалован был в тайные советники. Малороссийский гетман выхлопотал вознаграждение и запорожцам: прибавку жалованья по причине умножения этого войска и потому, что оно стеснено от Новой Сербии и нового слободского полка в рыбной и звериной ловле; кроме того, козаки покинули соляные промыслы и прочую торговлю вследствие увеличения пошлин в пограничных таможах; гетман просил также дать запорожцам артиллерию. Сенат приказал жалованья прибавить 2000 рублей и с прежним производить по 6660 рублей; вместо трех пушек, оказавшихся негодными, отпустить три новые.

Новосербские поселенцы начали попадаться в противозаконных действиях: двое из них пропустили гайдамаков из-за границы в Россию из-за взяток; третий принимал от гайдамаков пограбленные вещи и давал им ружья, порох и пули для разбою; военный суд приговорил их к смертной казни, но Хорват выпросил

помилование, чтоб «не дать эха» выходцам в Новую Сербию и не остановить переселения. Мы упоминали уже о буйствах черногорцев. В начале описываемого года в Сенат прислано было сообщение из Кабинета: ее величеству стало известно о происходящих от черногорцев в Москве великих продерзостях драками и явными грабительствами, и будто побуждаются они к тому бедностью и недостатком в содержании. Сенат приказал отвечать: черногорцы выход в Россию в вечное подданство имели для поселения в отведенных им местах в Оренбургской губернии; они сами осмотрели эти места и выгодами их остались сначала довольны, почему и отправились туда из Киева; но скоро нетолько стали отрезаться от поселения в тех местах, но и, будучи в Самаре, начали делать великие продерзости и обиды обывателям, почему Сенат определил держать их там до указа ввиду формирования из них гусарского полка, когда число их увеличится. Потом некоторые из них изъявили желание служить при армии особым эскадроном и в старых гусарских полках, почему и велено отправить их в Москву для снабжения оружием и мундиром, но в Москве они стали не только производить драки и обиды обывателям, но и непослушание командирам и без воли черногорского митрополита Петровича не хотели присягать. В сентябре 1758 года отправлен был в Москву митрополит Петрович, чтоб привести их в послушание и порядок, и велено ему наказать виновных по обычаю их страны. Но потом опять эти черногорцы оказались в частых продерзостных поступках, дрались, били и грабили обывателей, почему велено поступить с ними по военным законам и немедленно отправить их из Москвы в армию; жалоб на бедность их в Сенат никаких не было; жалованье выдается им, как и прочим в гусарских полках, по третям. Между прочим, баронесса Марья Строганова жаловалась, что уже в 1759 году 7 января черногорцы толпою пришли к ее дому с обнаженными саблями, вломились в ворота, изрубили решетку, попадающихся им людей жестоко били, прибежали и к ее покоям и рубили столбы у крыльца; тогда на колокольнях близких к ее дому церковей стали бить в набат, сбежался народ, и черногорцы должны были возвратиться.

Глава пятая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1760 год

Празднование Нового года. – Приготовления к кампании. – Свидетельствование артиллерии. – План кампании. – Движение Солтыкова. – Переписка его с конференциею. – Отступление Солтыкова и болезнь его. – Он сдает главное начальство над армиею Фермору. – Занятие Берлина русскими и оставление его ими. – Вторая неудача под Кольбергом. – Приезд к армии нового главнокомандующего графа Бутурлина. – Отступление его к Висле на зиму. – Переговоры с Австриею насчет вознаграждения России за войну. – Отношения к Дании. – Смерть Мих. Петр. Бестужева-Рюмина. – Смена Лопиталья в Петербурге Бретейлем. – Сношения с Англиею о вознаграждении России за войну. – Отозвание Панина из Стокгольма. – Назначение на его место графа Остермана. – Сношения с Польшею и Турциею. – Внутренние распоряжения. – Затруднительное положение финансов. – Лотерея. – Состояние городов. –

Знаменитый указ 16 августа. – Пополнение Сената. – Новый генерал-прокурор князь Шаховской. – Его столкновения с графом Петр. Ив. Шуваловым. – Важнейшие судебные решения. – Крестьянские восстания. – Конференция Сената с Синодом об управлении церковными именьями. – События в Тобольске и Иркутске. – Столкновение Сената с конференцией.

Новый год был начат воспоминанием побед прошлого года, побед, каких не было с славных времен Петра Великого, и потому имелось право сопоставить время отца с временем дочери. В Петербурге сожжен был великолепный фейерверк: представлено жестокое сражение при Франкфурте и одержанная россиянами преславная победа. Над местом ужасного сражения видно было раскаленное солнце с именем Великия Елисаветы, а по сторонам два великолепные здания, знаменующие две великие победы. Потом представлена на воздухе Слава, вниз подающая Вечности, сидящей на древнем камне и описывающей дела ее величества, два лавровые венца, означающие две победы – Пальцигскую и Франкфуртскую. Затем представлен был великолепный храм славы Петра Великого как основателя нынешнего России благополучия; сквозь двери во внутренности храма видно было поясное изображение величайшего монарха Петра Великого.

Но преславные победы Петра Великого повели к преславному миру, и главная забота дочери состояла в том, чтобы хотя несколько сравняться с отцом в этом отношении. Честный для России и ее союзников мир мог быть заключен только при совершенном сокрушении сил прусского короля, и Елисавета сказала Эстергази: «Я не скоро решаюсь на что-нибудь, но если я уже раз решилась, то не изменю моего решения. Я буду вместе с союзниками продолжать войну, если бы даже я принуждена была продать половину моих платьев и бриллиантов».

3 января послано было главнокомандующему графу Солтыкову приказание приехать на малое время в Петербург, а войско сдать в команду графу Фермору. Призыв этот последовал вследствие донесения Солтыкова, что он не знает, в какую сторону двинется армия в будущую кампанию, и потому удерживается от посылки отрядов для нанесения вреда неприятелю; если армия двинется вправо, т.е. в Померанию, то можно посылкою отрядов оголодить эту еще не тронутую страну; если же посылать отряды влево, то эта сторона и так уже совсем истощена. Еще до отъезда Солтыкова в Петербург явился в армию артиллерийский генерал-поручик Глебов для того, чтоб в присутствии фельдмаршала, всего генералитета, офицеров и даже солдат, хотя по небольшому числу с роты, сделать обстоятельное сравнение новой артиллерии с старою и тем решить все сомнения. Уведомляя о своих распоряжениях, сделанных для производства этого сравнения, Солтыков писал: «Так как я принял в рассуждение те худые следствия, каковы от пересказов присутствовавшего при том солдатства легко произойти могут, вместо того что их в безмолвном послушании приказываемому содержать, а отнюдь повода и случая к рассуждениям о подобных делах им не подавать, то для сего во всенизжайшем уповании всевысочайшей апробации смелость я принял командирование к свидетельству артиллерии рядовых солдат отменить». Но всевысочайшей апробации не последовало; в ответном рескрипте Солтыков прочел: «Мы сие для того за нужно

почитали, чтоб тем скорее и точно о сильном преимуществе новой артиллерии пред старою рядовых уверить; и ныне в сем намерении, а паче уважая, что, сколь ни верно было помянутое свидетельство и сколь ни доказано тем преимущество новой артиллерии, может быть, не произведет той пользы, какая желательна, дабы вкоренившееся сумнение о новой артиллерии в армии, а особливо в рядовых солдатах уничтожить, если им ясно и навсегда преимущество оной доказываемо и толковано не будет их командирами, вам чрез сие повелеваем всему армейскому генералитету наставление подать, дабы те штаб- и обер-офицерам и офицеры рядовым при всех случаях толковать и внушать старались, для вкоренения в них большей на новую артиллерию надежды, и что она действительно в их собственную пользу и по своему действию, конечно, превосходнее и сильнее неприятельской, под опасением за неисполнение им строгого взыскания».

Свидетельство артиллерии началось в Мариенвердере 28 января и продолжалось 29, 30 и 31 чисел, после чего отправлен был в Петербург подробный журнал, подписанный всеми присутствовавшими генералами, с приложением такого общего вывода: «Хотя новоизобретенная артиллерия пред старою натурально преимуществва имела, когда трехфунтовая пушка с двенадцатифунтовым единорогом, да потому ж и прочия орудия сравниваемы были; но как между тем искусство (опыт) минувших кампаний доказало, что как одна, так и другая артиллерия в своем роде нужна и полезна, следовательно, и впредь с успехом употребляема быть может, то в сем рассуждении, равно как и по долговременной привычке к прежней артиллерии не только артиллерийских нижних служителей, но в случае нужды и солдат, нижеподписавшиеся за полезно находят содержать при армии как прежние пушки и мортиры, так и новоизобретенные. орудия».

Немедленно после свидетельства артиллерии Солтыков отправился в Петербург, где 7 марта подал свое мнение о плане будущей кампании. По этому мнению, слава русского оружия приобретена и утверждена победами над таким неприятелем, который побеждал все другие армии, кроме русской; эту славу надобно сохранять, и потому не должно вступать в генеральную битву с этим отчаянным неприятелем, разве имея на своей стороне гораздо превосходнейшие силы. Русская армия может выступить в кампанию, имея не более 60000 человек пехоты и регулярной кавалерии; а такое войско не очень превосходит силы, которые неприятель может употребить против русской армии, если будет допущен к тому союзниками. Так как неприятель, находясь в собственных землях, имеет более способов скрывать свои движения, а быстрота движений короля прусского всем довольно известна, то необходима большая предосторожность, чтоб он не мог тайком с превосходными силами приблизиться к нашей армии так, что без предосуждения нельзя будет уклониться от генерального сражения. Поэтому считается за полезнейшее до приведения прусской армии союзниками в большее изнеможение не только не переправляться через реку Одер, не только не предпринимать осады лежащих на ней крепостей, но даже и не приближаться к этой реке без великой предосторожности, а, следуя австрийскому примеру, стараться приводить неприятеля в изнеможение более стеснениями, чем победами, от которых собственные силы чувствительно убавляются.

На этом основании план будущей кампании можно было, по мнению Солтыкова, начертать таким образом: 1) овладеть всюю Помераниею до крепостей

по реке Одере и принять меры так в ней утвердиться, чтоб можно было остаться в ней зимовать. 2) Занять в самом начале кампании Данциг как для собственной безопасности, так и для отнятия у неприятеля выгод, ибо он получает из Данцига хлеб, вербует там людей, покупает лошадей и получает хорошую монету для переделки в свою. 3) По занятии Данцига идти внутрь Померании до реки Праги, устроить тут укрепленный лагерь и отправить корпус для осады Кольберга, прикрывая осаду главною армиею. 4) Можно надеяться, что во время осады Кольберга союзники что-нибудь да сделают над неприятелем, что откроет лучший способ в продолжение военных действий; но если даже они ничего значительного не сделают, то, взявши Кольберг, снабдя его небольшим гарнизоном, устроив магазины и оставя позади себя все большие тяжести, двинуться к реке Одере, показывая неприятелю вид, что намерены перейти реку Одер и овладеть Берлином. 5) Этим движением неприятель будет принужден отделить значительные силы для отвращения грозящей ему опасности, чем должны воспользоваться союзники и напасть на него с превосходными силами. 6) Если союзники разобьют неприятеля, то русское войско приступит к осаде какой-нибудь крепости на Одере. 7) Но если бы русскому войску и не удалось овладеть какою-нибудь крепостью на Одере, то занятием всей Померании сохранится слава оружия, сохранится армия и получится более надежды на мир, ибо неприятель потеряет значительную часть своих владений.

Но этот план не был принят. 30 апреля императрица подписала другой план кампании, в предисловии к которому говорилось: «Если б нынешнюю войну с королем прусским производили мы одни, или если бы дело состояло только в том, чтоб удержать за нами Пруссию в тех границах, в каких мы ею теперь владеем, или если бы нам надобно было вести оборонительную войну, то не было бы почти нужды много заботиться о планах операций; достаточно было бы только содержать армию в хорошем состоянии, быть в готовности на всякий случай и предпринимать только то, на что укажут сами обстоятельства. Но так как мы ведем войну вместе с императрицею-королевою и дело идет не о том только, чтоб удерживать в нашем владении Пруссию, но о том, чтоб исполнить наши обязательства, восстановить короля польского в его наследственных владениях, сократить силы короля прусского, исполнить то, что мы многократно обещали торжественными объявлениями, и не показать меньшего усердия тогда, когда война приходит к концу и когда мы должны ожидать плодов войны по мере нашего содействия, когда должны ожидать признательности союзников и всей Европы за доставляемую ей тишину и безопасность сокращением сил короля прусского, то нельзя иначе начертать план военных действий нынешнего года, как с согласия императрицы-королевы, тем более что, какие бы многочисленные силы венский двор ни собрал против короля прусского, все же их не будет достаточно, чтоб положить конец войне по желанию; также надобно признаться, что, как бы ни были славны успехи нашего оружия, нельзя пользоваться его успехами без содействия австрийских сил. Последняя, для нашего оружия и для вашего имени столь славная кампания больше всего доказывает эту истину. Самое решительное Франкфуртское сражение, где король прусский считал все потерянным, конца войне не положило, когда наша армия за отдаленностью мест не могла воспользоваться своим успехом, а граф Даун подкреплять и снабжать ее по

надобности не хотел или не мог, о чем, однако, здесь распространяться не хотим, чтоб не вспоминать всего того, что было в этом деле неприятного.

Поэтому между нами и императрицею-королевою уже составлен план общих действий нынешнего года и состоит в следующем: 1) императрица-королева сверх собранной в Саксонии армии соберет еще другую – в Лузании и будет стараться прогнать оттуда неприятельские войска. 2) Наша армия должна двинуться к реке Одеру между Франкфуртом и Глогау. Конечно, план этот несогласен с вашим; но, кроме того что вам не были известны настоящие намерения венского двора, ваше собственное мнение очень легко может быть соглашено с новым планом, если будут больше объяснены главные основания. Вы рассуждали как искусный генерал, пекущийся о сохранении армии и приобретенной уже славы, и притом имели перед глазами только прошедшие примеры. Мы, напротив того, принуждены брать в уважение, сколько с начала усиления короля прусского истощено наше государство рекрутскими поборами, умножением армии и всегдашним содержанием великих сил на лифляндских границах в готовности к тому, чтоб удерживать короля прусского от вредных его предприятий; сколько раз империя наша находилась в крайней опасности, если бы Оттоманская Порта вознамерилась объявить нам войну и мы были бы принуждены обороняться против нее и в то же время опасаться со стороны Пруссии. Необходимость заставляла нас рано или поздно самим начать эту войну, если бы даже король прусский не начал ее, ибо этот прежде от всех своих соседей зависевший государь захотел наконец все дворы привести в зависимость от себя; он всего от всех требовал, а сам никого ни в чем не хотел удовольствовать и начатием настоящей войны показал, что не позволит, чтоб венский двор сделал малейшее движение в собственных землях своих. Если король прусский в нынешнюю войну ослаблен не будет, то значение его несравненно более увеличится, ибо свет увидит, что он непобедим; а наше и союзников наших влияние много пострадает, ибо мы и тогда ничего сделать не могли, когда само провидение так устраивало все обстоятельства, чтоб дать нам торжество. В таком случае империя наша если б и не подверглась большей, чем венский двор, опасности, однако гораздо более была бы исключена из участия в европейских делах, ибо король прусский, стоя на дороге, пресекал бы навсегда нам сообщение с венским двором и мы оставались бы окружены или неприятелями, или ненадежными соседями. Долговременное содержание в готовности значительных сил на лифляндских границах, конечно, больше стоило нашему государству, нежели самая нынешняя война, а потому дальнейшее продолжение войны станет несравненно дороже, чем окончание ее в одну кампанию, как бы дорого эта кампания ни обошлась.

Мы были всегда того мнения, что не следует отваживаться на безвременное и ненадежное сражение; но прошлогодние примеры научают нас, что теперь тем менее надобно опасаться генеральных сражений, чем кровопролитнее и отчаяннее они тогда были. Тогда король прусский имел совершенно другое понятие о наших войсках. Ему казалось невозможным, чтоб они могли стоять против прусских, потому что или давно в настоящей войне не были, или воевали больше с необученными народами, тем более что австрийские войска, бывшие в постоянной войне и часто победителями, очень редко, однако, стояли против прусских. Поэтому при начале войны он не сомневался, чтоб одной Левальдовой армии не было достаточно для сокрушения всех наших сил. Как скоро

Егерсдорфское сражение ему не удалось, то он принял другие меры: Пруссию покинул; и когда в 1758 году армия наша вступила в Померанию, покорила большую часть ее и обратила в пепел Кюстрин, то та же Левальдова армия под начальством графа Дона уже не смела вблизи показаться. Всегда с огорчением вспоминаемое Цорндорфское сражение внушило ему другую идею о нашей армии. Он основательно по нем заключил, что армия наша допускает на себя напасть, как неприятелю хочется, что есть множество способов причинить ей крайний вред, но трудно или невозможно одержать совершенную победу: так велика храбрость и разбитых солдат; но тут же он мог убедиться, что стоит только поставить против нашей армии небольшой корпус, и она не тронется с места, пока время года не принудит к отступлению. Поэтому-то прошлого года король прусский решился Донову или Веделеву армию выслать к Познани, вовсе не считая ее достаточно сильною, чтоб победить нашу или остановить там, но будучи уверен, что наша армия в виду его не тронется, тем менее нападет на его армию и понапрасну, бесславно простоят всю кампанию около Познани. Так бы и случилось, если б вы не ускорили приездом своим туда и не приняли благоразумного и мужественного намерения идти прямо в неприятельские земли.

Теперь надобно, чтоб король прусский получил о нашей армии совершенно новое понятие. Оставалось ему успокоить себя, что при Пальциге было не генеральное сражение: довольно одной Франкфуртской битвы для уверения его и всего света, что наша армия и тогда еще не побеждена, когда получены над нею все выгоды. Действительно, какая армия не пришла бы в смятение и не обратилась в бегство, когда и во фланг взята, и знатная ее часть сбита, артиллерии много потеряно, а наибольшая часть ее находится в бездействии. При Франкфурте вы доказали, что твердость и здравый рассудок повелевающего и послушание солдатства одерживают совершеннейшие победы и тогда, когда нельзя ожидать ничего, кроме гибели. После Цорндорфа и Франкфурта король прусский убедился, что нападать на нашу армию бесполезно, тем более что она сама никогда не нападет на его армию, следовательно, предупреждать нападение нет надобности: при наступлении осени русская армия возвратится на реку Вислу, какую бы победу ни одержала, зачем же отваживаться на битву с нею? Верьте нам, что неприятельская смелость происходит наиболее оттого, что он никак не ожидает нападения и что он так назойливо и нахально никогда не приблизился бы к нашей армии, если бы хотя однажды какой-нибудь его корпус подвергся нападению. По нашему мнению, теперь меньше, чем когда-либо, надобно ожидать таких сражений, каких нельзя было бы избежать.

Великая еще теперь сравнительно с прежними кампаниями разность состоит в том, что тогда армия наша ходила все по таким местам, которые ей совсем были незнакомы. Теперь для похода нельзя сыскать такого места, о котором бы не было полного сведения. Прошлого лета оставалось некоторое опасение, не произвела ли Цорндорфская битва дурного впечатления на солдат. Но когда один указ наш и ваше прибытие столько подействовало, что солдатство уразумело, как бедственны ему были его слушание и пьянство, то не больше ли несравненно чувствует оно теперь нужду в слепом повиновении, когда уже видело две великие победы, одержанные повиновением и твердостью? Кавалерия теперь гораздо многочисленнее, чем была прежде, и, по собственному вашему объявлению, никогда не была в таком хорошем состоянии. Одним словом, мы уверены, что

теперь вся армия с крайнею нетерпеливостию ожидает вашего прибытия и начатия кампании, чтоб под вашим предводительством показать новому отечеству услуги и приобретенную уже славу увенчать восстановлением желанного мира, и что каждый с нами почти завидовать стал бы, если бы и согласно желанию нашему граф Даун прежде вас или без вашего содействия сделал что-нибудь важное и решительное.

Представленное вами мнение очень основательно, и план расположен по воинским правилам. Мы жалеем, что кампанию 1758 года мы не тем велели начать и граф Фермор не тем окончил и не только нимало не старался уклониться от напрасной и принужденной битвы, но сам еще шел почти ей навстречу. Тогда война почти только что начиналась, а потому надобно было на всякий случай приготовить себе отступление. Но теперь обстоятельства совершенно другие. Пускай сверх нашего желания и ожидания случится, что и еще надобно будет давать одну кампанию, и она будет сделана; пускай надобно принимать к тому свои меры; но ничто на свете нашим интересам и общему делу так не может вредить, как уверенность, что нынешнею кампаниею война еще не кончится, почему и нужно делать приготовление еще на будущую кампанию. Война уже действительно приходит к концу; Англия и Пруссия сделали формальное предложение о конгрессе, и мы, и союзники наши не могли с приличием от него уклониться. Будет ли на конгрессе между союзниками такое же согласие, какое до сих пор было, – предвидеть нельзя; но видно то, что в случае скорого ослабления сил короля прусского энергическими действиями нашего и австрийского войска можно удержать при нашей стороне и прочих союзников, тогда как если мы станем в нынешнюю кампанию действовать не так ревностно, медленно, то нет сомнения, что истощенные уже союзники наши будут один за другим отставать от нас, каждый станет искать отдельного мира, будут входить в обязательство с королем прусским и, что всего хуже, за такую сильную нашу помощь вместо благодарности, может быть, еще станут нас упрекать, что мы, действуя нерешительно или медленно, сами искали отдельного мира и хотели их покинуть. Шведы тем только и крепятся, что королю прусскому об них думать некогда. Французский двор прямо открыл свое изнеможение, и если мы и императрица-королева не сделаем чего-нибудь важного прежде начатия мирных переговоров, то надобно опасаться, что он тотчас согласится на самые невыгодные условия. Императрица-королева, конечно, рада продолжать войну до последнего истощения, чтоб возвратить Силезию; но изнеможение ее уже так велико, что разве только в великих успехах нынешней кампании и в несумненной потому надежде, что следующая кампания будет окончательная, найдет она новые средства. Иначе если мы станем действовать нерешительно, а другие и совсем начнут отставать, то нельзя будет ее упрекать, если она возвращение Силезии отложит до другого времени или и совершенно оставит мысль о нем. Одним словом, теперь одно из двух: или действовать в нынешнюю кампанию со всею силою и ожидать честного мира, или уже лучше и короче, не входя в новые убытки, принять такой мир, какой неприятель дозволит. Но вы знаете, как далеки мы от такого малодушия; мы уже сожалеем, что о том упомянули кстати. Да и никакой нужды нет вообразить, что война будет долговременна. Нет никакого препятствия, сомнения и опасения к походу нашего войска к реке Одере между Франкфуртом и Глогау; а когда армия наша благополучно на реку Одер придет и

две австрийские будут находиться поблизости, имея с вами сообщение, то, чтоб положить войне конец, ничего больше не надобно, кроме согласия командующих, принятия скорых и полезных решений и ревностного старания об их исполнении».

С этим решением Солтыков и отправился назад к армии в Мариенбург, куда приехал только 31 мая. С июня в ведомостях начали появляться известия о незначительных успехах легких войск, бывших под начальством генерал-майора Тотлебена; потом появилось известие о победе австрийского генерала Лаудона в Силезии над прусским генералом Фукэ, причем весь неприятельский корпус частью был истреблен, частью попал в плен. Наконец, прочтено было в ведомостях известие, что 13 июня фельдмаршал Солтыков выступил из Мариенбурга и 24 приехал в Познань. Пятнадцатитысячный отряд войска был отправлен для вторичной осады Кольберга. Сначала Солтыков получал ободрительные рескрипты; но 15 июля пошел к нему такой рескрипт: «Мы хотели было пространно отвечать на ваши реляции (от 27 июня из Познани); но так как содержание этих реляций крайне смешано, одна другую совсем опровергает и нет способа распознать, на которую больше надобно полагаться, ибо, кроме того что все эти разницы от одного числа писаны, в самых последних вы утверждаетесь на таких известиях, которых по большей части или и совершенно миновались; поэтому, чтоб не войти с вами в какое противоречие и чтоб не привести вас в смятение какими-либо точными предписаниями на такие неподлинные и неясные случаи, мы сочли за лучшее сослаться на последний наш рескрипт, в котором вам точно предписано предпринимать и приводить в действие все то, что общему делу полезно и может служить к решительному окончанию нынешней войны, и, напротив того, не вдавать нашу армию в напрасную и видимую опасность. При этом заметим, что нет никакой надобности в большом числе и пространстве ваших реляций; для нашего удовольствия и спокойствия надобно вам стараться о том, чтоб отправлять к нам как можно чаще порядочные реляции, наблюдая в сочинении их такой порядок: 1) коротко показать состояние дел и армии; 2) какие потом произошли перемены; 3) как теперь дела и армия остаются; 4) что вы поэтому намерены предпринимать или куда хотите направить поход. Сожалительно и непонятно нам видеть такое в наличных деньгах оскудение, что офицеры за неполучением жалованья питаются одним провиантом с солдатами, ибо из приложенного рапорта обер-кригскомиссара вы усмотрите, что по 30 мая на жалованье переведено 758000 рублей и еще отправляется; думаем, что и отправленные из коллегии Иностранных дел 350000 рублей к вам уже доведены и скоро и еще значительная сумма отправится. С нетерпением ожидаем от вас приятных доношений, не сомневаясь, что вы будете смотреть не на мелочи, а на главное дело и поревнуете умножить славу свою и нашего оружия, во время последней кампании приобретенную».

В июле в Петербурге сильно встревожились письмом генерала Шпрингера, находившегося с русской стороны при австрийской армии, и 18 числа послан был Солтыкову рескрипт: «К удивлению нашему, мы никакого от вас известия не имеем, а генерал-майор Шпрингер доносит от 6 числа, что король прусский и граф Даун находятся теперь в полном движении в Нижней Лузании, что король прусский старается соединиться с армиею брата своего принца Генриха, а граф Даун прилагает все силы воспрепятствовать этому намерению и сохранить сообщение со всеми своими корпусами. Мы спешим отправить к вам курьера не

потому, чтоб опасались за нашу армию, но чтоб нынешняя кампания не сделалась не только такою же нерешительною, как последняя, но и менее славною для нашего оружия. От настоящего критического обстоятельства зависит теперь и пагубное продолжение войны, и благополучное ее окончание, ибо если прусскому королю удастся соединиться с принцем Генрихом, то надобно опасаться, чтоб он соединенными силами не побил графа Дауна или, если принимать в соображение великую осторожность последнего, не привел бы его в такое же бедствие, в каком находился он до сих пор, и это почти так же вредно, как и потеря сражения, ибо если летом ничего существенного сделано не будет, то в поздние месяцы уже ничем нельзя будет этого вознаградить. Прямое и надежнейшее средство к отвращению зла состоит в том, чтоб генерал Лаудон предпринял что-нибудь важное в Силезии и вы ускорили походом на Бреславль. Опасности тут не видим мы никакой, потому что не только Лаудон у вас впереди и пресекает путь принцу Генриху, но и все австрийские силы приблизились теперь к Силезии; а польза из того неописанная. Король прусский найдет в необходимости себя разделить, а вы, будучи прямою тому причиною, получите право управлять всеми операциями нынешней кампании. Но пусть даже и последует соединение короля с принцем Генрихом, пусть даже граф Даун будет побит; так как вы находились бы у него далеко за спиной и вблизи от Польши, то в таком неожиданном случае по крайней мере отступление ваше не подверглось бы опасности или затруднению».

По отправлении этого рескрипта получена от Солтыкова депеша от 6 июля. «Я, – писал фельдмаршал, – отнюдь такого мнения не есть и не буду, чтоб в рассуждении того, что австрийцы в минувшую кампанию не много сделали, с армиею вашего импер. величества ныне ничего не делать, паче же за рабскую мою должность всегда поставлял, несмотря ни на какую в том разность, всевысочайшее соизволение и повеление точнейше и сколько возможно исполнять, а особливо ныне по дарованному от всевышнего австрийскому оружию в начале кампании толь знатному успеху (истребление корпуса Фукэ), крайнее старание прилагаю походом отсюда ускорить. Впрочем, всенижайше донести долженствую, что уже сюда прибывшие войска находятся, а особливо кавалерия, людьми и лошадьми в наилучшем и, можно смело сказать, в таком состоянии, в каком еще никогда не бывали. Сейчас получил я от цесарского генерала барона Лаудона письмо с росписью корпуса принца Генриха, из которого усмотреть изволите, что он теперь с своим корпусом находится вблизи города Лигница, что к Бреславлю в два или один форсированный марш прийти может и что, наконец, требует, чтоб вперед корпус войск вашего императ. величества к Бреславлю для занятия оною и завладения тамошними магазинами шел. Я ему немедленно ответствовать буду, что и я со всею вверенною мне армиею по прибытии сюда остальной третьей дивизии и коль скоро только некоторыми распоряжениями и пересушением сухарей исправиться можно, чрез несколько дней прямо к Бреславлю в поход вступлю и оным ускорять буду». От 10 июля Солтыков писал: «Хотя я в повеленный поход прямым путем тотчас вступить и оным ускорять не премину (дабы наградить то время, которое, к крайнему моему сожалению, упущено); но притом в необходимости нахожусь представить, что за расходом на заготовление провианта и за отпуском в полки на удовольствие солдатства некоторою малою частию их жалованья, бывших при армии во всех департаментах небольшого числа денег, оных теперь нигде почти уже ничего

налицо нет, да и из ассигнованных сюда ж провиантских, комиссариатских и других сумм ничего еще не привезено, и, где они теперь находятся, рапортов не имею, а, напротив того, от неполучения солдатством заслуженного жалованья сверх их умножающегося негодования начинают они и дезертировать: в минувшую неделю от всей армии около пятидесяти да и вчерашнего числа шесть человек. Я получил прусский от принца Генриха в Польше рассеянный манифест о намеряемом им вступлении в сие королевство; а с другой стороны, известия до меня доходят, якобы подлинно неприятель намерен походом своим прямо на Вислу армии вашего импер. величества диверсию сделать и сообщение с сею рекою пресечь. И хотя никоим образом верить нельзя, чтоб неприятель, не имея магазинов, предприял на Вислу идти, паче же и с имоверностию думать надобно, что он иногда удовольствуется только на здешние места в тыл за армиею вашего величества следовать и тем всякий с Вислы подвоз пресекать, а чрез то самое не токмо в Силезии не допускать, но паче и назад поворотить; однако же все то при моем отсюда с армиею выступлении неминуемо наилучше объясниться имеет. Но между тем, полагая случай, ежели б по вышепомянтому неприятельскому в тыл за нами следованию армии вашего величества назад обращаться надлежало, то, не имея еще заготовляемых в Калише магазинов, а того меньше наличных денег, неминуемо произошли б для армии вашего величества крайние неудобства, столь наипаче, что на кредит здесь в земле ничего получить надежды не остается. А буде б, напротив того, неприятель по прошлогоднему примеру в параллель с нами к Силезии пошел, то я сего желаемого случая отнюдь не пропущу всячески искать его атаковать и разбить, столь наипаче, что нынешним обращением короля прусского в Саксонии много к тому и способствовать может, ибо с разных сторон здесь до меня известия дошли, что он опять к Дрездену поворотился, следовательно, тем, буде сия правда, вместо соединения с принцем Генрихом между двух огней себя заводит».

Этому донесению сильно обрадовались в Царском Селе, и 22 июля отправлен был Солтыкову рескрипт: «Мы с крайним удовольствием и благоволением усмотрели, что мнения ваши в рассуждении короля и принца Генриха с нашими согласно встречаются; что по мере приближения вашего к неприятельским землям и к неприятелю обновляется и возрастает надежда ваша и упование победить неприятеля, умножить лавры ваши новыми и оружие наше увенчать новою славою. Не меньше того приятно нам видеть, что армия наша как людьми, так и лошадьми находится в таком хорошем состоянии, в каком едва ли когда бывала. Мы в том справедливо признаем вначале благословение Господне и должное за то благодарение воздаем, а потом ваши труды и смотрение. Напротив того, весьма прискорбно нам видеть, что недостаток в деньгах не только не пресекался еще ожидаемым нами подвозом разных отсюда отправленных сумм, но и худые следствия иметь начинает. О сих худых следствиях беспокойство наше невелико, потому что и усердие наших верных подданных нам известно, и можем надежно полагаться на благоразумие ваше и прочего генералитета; но соболезнование наше и о том одном уже чрезвычайно велико, что солдатство и офицеры нужду некоторое время претерпевают. Сего ради пишем мы с сим курьером к кенигсбергскому губернатору генералу поручику Корфу, чтоб он все силы приложил, находящиеся еще в пути суммы как наискорее к вам доставить; ускоряем мы теперь новыми оных отсюда к вам отправлениями и уполномочиваем

вас неговорить оные у банкиров Риокура или Цимана или где к тому способ найдете, позволяя вам и на такие кондиции в случае нужды поступить, кои и не весьма для нашей казны выгодны быть могли б, только не далее 300000 рублей, а по крайней мере полумиллиона, ибо благосостояние и безнуждное продовольствование нашей армии предпочитаем мы всему другому».

В том же тоне был отправлен рескрипт и 26 июля: «Мы из реляций ваших с великим удовольствием усмотрели, что армия наша от Познани в дальнейший поход выступать начала, а поход учрежден так хорошо, благоразумно и с военным искусством сходно, что может быть и ускорен, и в фураже опасаться недостатка нельзя, и соединение на случай неприятельского приближения произойдет скоро. Великую также радость доставляет нам намерение ваше атаковать принца Генриха, если б он захотел препятствовать вашему движению». Армия действительно 15 июля выступила из Познани к Бреславию для соединения с австрийским корпусом Лаудона.

Но в августе дела переменились. Солтыков дал знать о своем отступлении, потому что Фридрих II быстро возвратился в Силезию и успел соединиться или по крайней мере восстановить беспрепятственное сообщение с принцем Генрихом и чрез это воспрепятствовать соединению Лаудона с русским войском; фельдмаршал складывал всю вину на австрийского главнокомандующего графа Дауна, который пропустил Фридриха II на эту сторону Одера, вследствие чего он, Солтыков, не надеясь получить никакой помощи от австрийцев, не хочет подвергать свою армию явной опасности. Наконец, Солтыков извещал о своей болезни. Ответный рескрипт на эти донесения, отправленный 22 августа, обнаруживал сильное раздражение: «Все это ведет только к неприятным и бесполезным изъяснениям с венским двором; дело мало этим поправляется, а тратится только драгоценное время. Что и вы начали так рановременно отступать, и все ваши намерения отменились, и это приятно нам быть не может, а еще меньше, что вы, испрашивая новых указов о дальнейших действиях, не только не представили при том с своей стороны никакого рассуждения, но старались единственно только о том, чтоб находить и показывать везде трудности и препятствия. Мы хорошо понимаем, что ваше положение трудно; но согласитесь, что почти на все могущие быть случаи вы имеете уже достаточные наставления. Одним словом, во все время нынешней войны мы еще не были в таких затруднительных обстоятельствах. Несносно уже и то одно, что кампания, так благополучно начатая и обещавшая несомненно желаемый конец войне, становится бесплодною; а тут еще присоединяются другие рассуждения. С венским двором решительно согласились мы насчет ожидаемых от этой войны выгод, и он признал нас прямо воюющею против короля прусского державою. Перестав быть помощниками и избавясь от тягостных и бесполезных нам обязательств, естественно, мы должны были усилить действия нашего оружия для славы нашей и для достижения наших намерений. Надобно еще склонять Францию и другие державы; но при худых успехах французского оружия если не показать версальскому двору и всему свету, что по меньшей мере с нашей стороны чистосердечно все то делано, что было возможно, то всякое предложение о наших выгодах будет не только несвоевременно, но может произвести при французском дворе дурное действие и, умножа отвращение от неудачной войны, понудить к вредному для всего союза миру, так что мы и до сих пор удерживались,

дожидаясь, не подадите ли вы каким-нибудь счастливым событием полезного подкрепления нашей негодии. Датский двор уже грозит соединиться с Англиею и королем прусским, а худой успех нынешней кампании может, еще больше побудить его к соединению с нашими врагами. Для не ведающей всех подробностей публики может показаться, будто наша армия предпринимала поход в Силезию только с тем намерением, чтоб воспользоваться выгодами, которые приготовят австрийцы, а самой ничего не делать, и, как только король прусский получил сообщение с принцем Генрихом, хотя и не соединился, тотчас в нашей армии принято решение отступить к Польше. У нас нет намерения уменьшать проступки австрийского генералитета; а что касается графа Дауна, то мы приказали принести на него почти формальную жалобу. Но отнюдь не довольно того, что происходящие от дурного хода дел нарекания можно свалить на одного графа Дауна; этим дело еще не поправляется, а надобно стараться о действительном его поправлении. Мы уверены, что если до получения этого нашего указа дела в Силезии получат хороший вид, то, конечно, вы и по прежним нашим указам сами собою не оставили этим воспользоваться, особенно же приложили крайнее старание сделать кампанию решительною. Если по получении этого указа дела поправятся и вы усмотрите, что без дальней опасности вы можете их еще улучшить и сделать решительнейшими, то, конечно, надобно вам употребить для этого все усилия. Если же дела между австрийцами и королем прусским останутся в нерешительном положении и если между тем Кольберг будет в наших руках, то вам надобно помышлять о занятии зимних квартир в Померании. Что касается похода туда из Силезии, то это оставляем на ваше распоряжение. Если бы ни король, ни принц Генрих за вами не пошел, оба были бы задержаны австрийскими войсками, в таком случае надлежало бы вам отправить небольшой корпус в подкрепление к осаждающим Кольберг, а самим исподволь туда идти; а всего лучше было бы графа Тотлебена с легкими войсками отправить другою дорогою на Берлин и велеть, чтоб он возвратился к вам в Померанию через Швет. Но если дела не поправятся и армия наша будет находиться в опасности, то не останется ничего более, как заботиться о ее сохранении».

Солтыков продолжал доносить, что болен. 30 августа ему послан был рескрипт: «Содержание ваших реляций нам очень прискорбно. От болезни вашей армия естественно приводится в некоторое бездействие, по меньшей мере решения не могут быть так быстро исполняемы, как надобно. И это делается в такое время, когда должно ожидать решения кампании, когда против нашей армии никакого неприятеля нет, когда ничего не препятствует принимать меры по благоусмотрению, когда малейшие движения нашего войска могли бы много значить, неприятеля в великую заботу приводить, а австрийской армии сильную помощь доставлять. Из перехваченного собственноручного письма короля прусского да и по числу являющихся к вам дезертиров вам открыто, что неприятель находится в крайне дурных обстоятельствах и, однако, из отчаяния замышляет что-то очень важное, именно напасть со всеми силами на графа Дауна. Вы, однако, зная все это подлинно, не только не делаете ничего для отвращения или уменьшения опасности, но даже не уведомили о ней графа Дауна, тогда как мы знаем, что это важное письмо короля прусского безо всякой нужды многим в нашей армии известно. Теперь в точности сбылось то, о чем мы вам твердили, а

именно что король прусский не будет уже искать случая напасть на вас так нахально, как прежде, но будет избегать всякого к тому случая, что для него гораздо важнее устремляться всеми силами против австрийского войска; однако мы не видим, чтоб прежние ваши убеждения совершенно исчезли. Мы слышим стороною, что воинская дисциплина в нашей армии крайне ослабела, будто многие, будучи совершенно здоровы, нарочно сказываются больными. Вы имеете под собою таких генералов, что благодаря их усердию и в случае самого вашего отсутствия исполнение наших намерений не может остановиться или замедлиться. Поэтому повелеваем всем генералам именем нашим объявить, что если что-либо будет упущено, то болезнь ваша не послужит им в оправдание, а, напротив, будет для них обвинением. Для вашей болезни им и всей армии ослабевать не надобно. Преодолейте ваше состояние, отважьтесь исполнить нашу волю и заставить других строго исполнять ее. Мы вам давно уже предписывали, что на хорошее намерение будем больше смотреть, чем на самую удачу, и что заслуги подчиненного вам генералитета будут умножать ваше достоинство пред нами. Уполномочиваем вас, что если случится предпринять что-нибудь важное и полезное, то вы можете употребить того, кто способнее и усерднее, несмотря на старшинство. Вы должны соединить с генералом Лаудоном 25 или хотя 20000 нашего войска для прикрытия осады Глогау, которую крепость вы должны осадить с остальною нашею армиею. Теперь не сбылось ни одно из ваших опасений, король прусский на вас не пошел; так уверьте себя хоть теперь, что нет для нашей армии никакой такой опасности, какую вы себе воображаете». Указание на ослабление дисциплины в войске, встречающееся в этом рескрипте, объясняется докладом конференции императрице: «Ваше императ. величество из последней реляции генерал-фельдмаршала графа Солтыкова усмотреть изволили, что он, получая от одной болезни свободу, не только, однако ж, в крайней слабости и час от часу хуже себя находит, но едва ль не другую еще внутреннюю болезнь чувствовать начинает. К сему неприятному обстоятельству присовокупляется другое еще неприятнейшее, а именно генерал-поручик граф Чернышев к канцлеру пишет, что анархическое правление в армии продолжается, что фельдмаршал в такой гипохондрие, что часто плачет, в дела не вступает и нескрывтно говорит, что намерен просить увольнения от команды, что послабление в армии возрастает и к поправлению почти надежды нет». Конференция тут же представила об отправлении главнокомандующим в армию фельдмаршала графа Александра Борисовича Бутурлина.

От 31 августа Солтыков уведомил, что болезнь его продолжается и что он принужден сдать команду графу Фермору, причем просил позволения отъехать в Познань. Рескриптом от 18 сентября ему дано было это позволение и тут же сообщалось, что главным командиром над армиею назначен фельдмаршал граф Бутурлин. К Фермору тогда же был отправлен рескрипт, в котором говорилось: «Хотя бы вы на один день были главным командиром, то вам надобно так думать, как будто вы всегда команду имели, и потому ничего не откладывать. Прусский генерал Гольц из слабого своего и без того корпуса отправил еще генерал-майора Вернера к Франкфурту. Зная о кольбергской экспедиции, вам нетрудно было догадаться, что это отправление сделано для спасения этой досадной нам крепостцы: но к крайнему сожалению нашему, не только не сделано этому препятствие и не взято в рассуждение, что слабый гольцов корпус оттого стал еще

слабее, но даже не послана легкая партия остеречь наш корпус, находящийся под Кольбергом, так что теперь наилучшие меры разрушены и возобновится оружие нашему бесславию, происшедшее в 1758 году от неудавшейся осады этого гнезда. Так как еще есть время поправить испорченное, то желаем, чтоб генерал Гольц потерпел чувствительное поражение или по крайней мере чтоб генерал Вернер не возвратился из Померании хвастать своим счастьем, но был наказан за свое покушение».

В наказе новому главнокомандующему говорилось: «Порядок и строгая дисциплина есть душа и главная сила армии; но вам известно, что частью от продолжительной болезни графа Солтыкова, частью же от других обстоятельств много произошло здесь упущения и послабления, так что армия наша не получает никакого пропитания от плодородной земли, которая совершенно разорена и жители разогнаны. Кроме того, мы с крайним огорчением слышим, будто армейские обозы умножены невероятным числом лошадей. Лошади эти, правда, взяты в неприятельской земле; но кроме того что у невинных жителей не следовало отнимать лошадей, лошади эти взяты не на армию, не для нашей службы, не для того, чтоб облегчать войско и возить за ним все нужное: оне возят только вещи частных людей в тягость армии, к затруднению ее движений, к лишнему расходу в людях, к их изнурению и, наконец, своим множеством оголаживают ее. Повелеваем, сократив собственный ваш обоз, сколько можно, тотчас всех лошадей в армии переписать, у кого сколько, и, оставя каждому, сколько решительно необходимо, всех остальных взять на нас; из них хорошими лошадьми снабдить казенные повозки и артиллерию, а слабых отослать на кормы в Пруссию, дабы хотя та польза была, чтоб для будущей кампании отсюда лошадей не гонять или в Польше на покупку их великих денег не тратить. Что касается военных действий, то теперь ничего предписывать нельзя, потому что и время коротко, и вы сами на месте все лучше видеть и учреждать можете. Если б король прусский решительно побит был австрийцами, то мы очень желали бы, чтоб зимние квартиры наши заняты были близ реки Одера; почти равно были бы мы довольны, если бы это было сделано в Померании, и иначе, по нужде, надобно возвратиться на реку Вислу, ибо в Польше зимовать крайне убыточно, а на реке Висле магазины уже устроены».

Между тем на военном совете, который держал Фермор, было решено двинуться в Бранденбург и привести в исполнение указ императрицы о занятии легкими войсками Берлина. 12 сентября армия находилась при Королате, по сю сторону Одера, а корпус графа Чернышева и генерал-майор Тотлебен с частью легких войск по ту сторону Одера, при Бейтене. 15 числа армия переправилась за Одер. Тотлебен с легкими войсками шел впереди, за ним в недалеком расстоянии Чернышев. 22 числа главная армия была в Губене; того же самого числа в 10 часов утра Тотлебен явился под Берлином с гусарами и козаками и занял все три дороги от Котбуса, Кепеника и Бранденбургских ворот. Из последних выехали прусские гусары, но почти все были перебиты или взяты в плен. Устроив между Котбусскими и Бранденбургскими воротами батарею, Тотлебен послал требовать сдачи города и, получив отказ, велел с означенной батареи стрелять по королевскому замку и литейному двору; хотя эта стрельба и производила в городе пожары, но они немедленно были потушаемы жителями, и к ночи русские перенесли свои батареи и поставили у Бранденбургских ворот. Дезертиры

говорили, будто в городе только три батальона пехоты и небольшое число конницы, да и то все набрано из русских, саксонских и французских военнопленных, которые готовы сейчас же положить оружие. На основании этих известий Тотлебен решился ночью взять силою Бранденбургские и Котбусские ворота. В 10 часов ночи началось опять бомбардирование, в самую полночь гренадеры пошли на штурм ворот, но были отбиты, а в три часа пополуночи прекратилось и бомбардирование за недостатком зарядов.

После этого к Берлину, подошел на помощь принц Фридрих Виртембергский и генерал Гильзен (Hylsen), а к Тотлебену – русские генералы Чернышев и Панин и австрийский граф Леси. Начались ежечасные сшибки, а 29 сентября Чернышев назначил на рассвете напасть вдруг на весь неприятельский корпус, тогда как Тотлебен должен был сделать приступ к городу. Но Гильзен не дождался нападения и ночью с 28 на 29 число, пользуясь темнотою, вобрался в близлежащий лес и скрылся. Узнавши об этом на рассвете, Чернышев отправил немедленно требовать сдачи города, но его посланный встретился на дороге с офицером, посланным от Тотлебена объявить, что город сдается и он, Тотлебен, занимается составлением условий сдачи. Условия состояли в том, что все военные, находившиеся в Берлине, получили свободный выход со всем имуществом; королевский замок и другие публичные здания остались нетронутыми. Берлин должен был заплатить полтора миллиона талеров контрибуции и 200000 талеров на войско. Два дня (29 и 30 числа) победители занимались сбором контрибуции, забранием королевской казны и очисткою арсеналов и магазинов; чего забрать было нельзя, то все было истреблено; все пороховые мельницы около Берлина, литейные пушечные дворы, потсдамские и близ Шпандау находившиеся ружейные и шпажные заводы были разорены до основания.

Когда известие о занятии Берлина было получено в Петербурге, то 11 октября приехали к канцлеру все иностранные министры, кроме английского, с поздравлениями; они распространялись о том, как славно это событие для царствования Елисаветы, для ее министерства и армии, причем особенно послы австрийский и французский и саксонский советник посольства Прассе предлагали, как необходимо для чести русского оружия и общей пользы, чтоб Берлин был удержан; они говорили, что сверх находящихся уже в городе укреплений можно в скором времени укрепить его еще больше и привести в такое состояние, что будет совершенно безопасно в нем остаться; что, вероятно, там найдены достаточные магазины провианта и фуража, притом окрестности Берлина никакими войсками до сих пор не были посещены, и потому можно надеяться, что в фураже и хлебе недостатка не будет; что русская армия, владея Берлином, может занять зимние квартиры в Бранденбургии и Новой Мархии, имея для помощи себе всю Саксонию, из которой неприятель совсем уже изгнан, а если б, паче чаяния, нельзя было всей армии там остаться, то хотя бы отпущен был русский корпус от 20 до 25000 человек для соединения с австрийскою армиею на содержание императрицы-королевы: что король прусский, сколько до сих пор видно, больше всего думает о сохранении Силезии: а если б покусился предпринять что-нибудь против находящихся в Берлине и Бранденбурге русских войск, то в этом предприятии может найти только свою погибель, ибо, кроме того что все русские корпуса стоят один от другого в близости и могут подать друг

другу помощь, корпус графа Леси, соединившийся с русским войском, может подать немалую помощь; притом граф Даун не оставит следовать по пятам за королем. Итак, если эти представления о сохранении Берлина и перезимовке в Бранденбурге и Новой Мархии или об отпуске в Саксонию от 20 до 25000 человек императрица соизволит принять, то прусский король со всех сторон может быть так стеснен, что должно ожидать совершенного окончания войны. Но эти внушения опоздали; Берлин был занят с финансовою целию: контрибуциею с него облегчить тяжесть военных расходов, и потому, как только добыча была захвачена, с 30 сентября на 1 октября Чернышев и Тотлебен оставили Берлин. Одновременно с известиями о занятии Берлина обнародовано было известие о вторичной неудаче русского войска под Кольбергом: не было утаено, что при вести о приближении генерала Вернера на помощь городу русские офицеры и солдаты бросились спасаться на суда, вследствие чего часть артиллерии была оставлена в добычу неприятелю.

Новый главнокомандующий Бутурлин приехал к армии уже после занятия и оставления Берлина и после вторичной неудачи под Кольбергом. В конце октября Бутурлин донес из Аренсвальда, что с главною армиею он выступает к реке Висле, а в Померании оставляет корпус графа Чернышева (9 полков пехотных и 4 драгунских), который занимает местность от Ригенвальда до Румельсбурга, а легкие войска – от Кеслина до Рацебурга. Причиною тому он выставлял, что когда велено было переписать весь находившийся в Померании хлеб и фураж, то нашлось, что без совершенного опустошения этой области запаса для всей армии не станет и на полмесяца, что в Польше цена на хлеб не чрезмерно высока, но бывшими до сих пор в армию подвозами лошади так изнурены и так их мало, что если теперь не дать им отдохнуть, то на будущее лето нельзя ожидать не только подвоза потребных вещей, но и самой пашни; что магазины наши на реке Висле наполнены достаточно, но так как из них подвозить иначе нельзя, разве на полковых и артиллерийских лошадях, то, кроме того что этот подвоз не был бы достаточен на пропитание всей армии, для нее была бы совершенная невозможность выйти в поле будущей весною. В рескрипте в Иностранную коллегию, назначенном для сообщения иностранным министрам, императрица говорила: «При таком состоянии дел и по великому отсюда до армии расстоянию всякое противное этому распоряжению повеление было бы поздно и неудобно к исполнению. Поэтому мы и утвердили это распоряжение, предписав: 1) чтоб старались всеми мерами корпус графа Чернышева подвигать, хотя помалу, вперед, занимая место его другими полками. 2) Ввести в предместья Данцига столько войска, сколько там поместить можно. 3) Легкие войска так расположить, чтоб неприятель не только не мог ничего получить из Померании, но не был спокоен и в самой Бранденбургии. 4) Готовиться всеми силами к самому раннему начатию будущей кампании и, даже стоя на квартирах, быть во всегдашней исправности к походу.

Мы уверены, – говорилось далее в рескрипте, – что союзники наши, приняв все это в зрелое рассуждение, признают, что на этот раз мы ничего более и иначе сделать не можем. Как скоро нет возможности продовольствовать армию в Померании, то в Бранденбурге или Неймарке, хотя бы было неисчерпаемое изобилие всех плодов, еще меньше можно занять зимние квартиры. Пускай гарнизоны находящихся вблизи знатных крепостей не могут много беспокоить

армию, но они крайне затруднят доставку к ней мундирных и амуниционных вещей, особенно же лошадей. Пускай король прусский занят теперь в Саксонии, но есть достаточный пример, что он и опять малым корпусом при Торгау может надолго удержать за собою Саксонию и реку Эльбу, а тем временем дважды сходить к реке Одере. Пускай не опасаемся мы его приближения и даже сильно желали бы, чтоб дело дошло с ним до решительного сражения; но когда совершенно непонятным для нас образом так везде открыты ему дороги, так везде готово для него пропитание, что он не только мог поспешно войти в истощенную совершенно Саксонию, но еще, прошедши между армиею графа Дауна и имперскою, не усумнился сам себя отрезывать от всех своих областей и заключаться между горами и двумя неприятельскими армиями в такой земле, где никакого для него запаса быть не могло, то нельзя не получить убеждения, что король прусский, будучи в своей земле, найдет все способы, не подавая случая к сражению, так беспокоить нашу армию, что она всегда принуждена была бы стоять в поле и под ружьем.

Самое состояние дел теперь ни так хорошо, чтоб им тотчас можно было пользоваться, ни так худо, чтоб надобно было отчаиваться. Так как вся выгода короля прусского в том состоит, что он действует наступательно и потому все силы свои почти всегда имеет вместе, а граф Даун, действуя оборонительно, принужден силы свои разделять, то, кажется, дело теперь только в том и состоит, чтоб перейти к наступательному движению, а короля прусского заставить действовать оборонительно, а это может быть всего скорее достигнуто следующим образом: нашей армии начать кампанию взятием Кольберга, если ранее этого сделать нельзя будет. Потом мы приложим старание перейти реку Одер, очистить путь шведской армии и двинуться на Берлин, а в то же время попробовать, нельзя ли схватить и Кистрин. Пускай последнее не удастся, по меньшей мере можно быть уверену, что король прусский, оставя все, поспешит туда и решится на главное сражение, которого он после Франкфуртского приметно избегает и к которому иначе принудить его почти нельзя. Каков бы ни был исход этого сражения, оно должно, однако, во всяком случае уменьшить силы короля прусского и доставить австрийским армиям столько времени, что довольно будет и для очищения Саксонии, и для важных завоеваний в Силезии. Коллегия Иностранных дел должна о всем том дать знать послу графу Эстергази для представления двору его.

Что касается короля польского, то теперь надобно только сообщить ему, каким образом располагается наша армия, и обнадежить, что будущею весною наша армия предпримет все то, что может содействовать избавлению Саксонии и восстановлению желанного честного и прочного мира. Но чтоб не оставить его при одном этом обещании и отвратить, сколько от нас зависит, исполнение прусских угроз, то повелеваем английскому находящемуся здесь министру прочесть записку (а если захочет, то и отдать ему ее), что хотя мы, естественно, удалены следовать дурным примерам и уже предали было забвению все суровости, оказанные королем прусским в Саксонии, Мекленбурге и других местах, но так как король прусский, вошедши теперь опять в Саксонию, тотчас объявил угрозы, что за сделанный ему в Берлине убыток должна заплатить Саксония и будет принуждена к тому огнем и мечом, то мы принуждены объявить, что с этих пор не будем равнодушно смотреть ни на какое новое нарушение

военных прав и разорение невинных земель и хотя мы далеки были следовать дурным примерам мщения и бесчеловечия, однако если они не пресекутся, то, видя, что наша умеренность и сожаление о страждущих от войны областях приносит только противные плоды, велим во всех неприятельских землях, куда только достигнет наше оружие, последовать примерам короля прусского и, если можно, превзойти их. Не согласно с нашим достоинством оправдывать наше поведение, человеколюбивое среди самой свирепой войны; однако нельзя не упомянуть вкратце: Саксония прежде начала всякой войны захвачена вероломнейшим образом и была разоряема не как приобретенная оружием, но как жертва свирепого мщения; Пруссия, напротив того, по праву оружия нами занятая, получила подтверждение всех своих прав и узаконений и теперь ненарушимо ими пользуется и обогащается от пребывания наших войск и наличной за все платы. Из Саксонии взято насильно великое число рекрут и множество других жителей вывезено в бранденбургские земли; из Пруссии, напротив, не взят ни один человек, и жителям этого королевства из казны нашей раздаются деньги в вознаграждение за урон, претерпленный от скотского падежа, чтоб они могли продолжать хлебопашество. Король прусский бесчеловечными побоями и голодом принуждает всех пленников вступать к нему в службу; мы, напротив, освобождаем этих невольников и возвращаем законным их государям. Ожесточившее короля прусского взятие Берлина может показывать только наше милосердие и великодушие. Сделанным укреплением и обороною там, где, однако, наконец, сопротивляться нельзя было, этот город заслуживал наказания, однако пощажен, ни в один дом солдаты не поставлены на квартиры; Лейпциг никогда не сопротивлялся, однако такой пощады не получил. Разорены в Берлине арсеналы, оружейный и пушечный заводы, но для этого и предпринята была экспедиция. Взята контрибуция; но этим как бы исполнено было общепринятое обыкновение, а иначе об этой контрибуции и упоминать нечего, после того что с Саксонии и с одного Лейпцига содрано».

Только что было объявлено союзникам, что Чернышева корпус остается в Померании, как Бутурлин прислал донесение, что этого сделать нельзя, ибо отовсюду присылаются известия, что нигде ничего нет. Ему отвечали из Петербурга от 4 декабря, что делать нечего, но по крайней мере корпус Тотлебена, состоящий из легких войск и двух пехотных полков, должен остаться в Померании и распространяться в этой области как можно далее. Кроме того, Бутурлин не должен был скрывать, что кампания начнется осадой и взятием Кольберга; должны быть заняты приморские места: Лебе, Ригенвальд и Столпеминде, гавани их должно прочищать, употребляя для легкой работы солдат, а для трудной – жителей. Адмиралтейской коллегии было подтверждено, чтоб весь флот был в полной готовности к первому вскрытию воды, а Военной коллегии велено приготовить все находящиеся в Петербурге и Ревеле полевые полки к посадению на суда, равно как и гвардейскую бомбардирскую роту. Этим надеялись немедленно же разделить внимание Фридриха II и весною разделить и силы его, чтоб не искать далеко и бесплодно неприятеля, не изнурять войско походами, а привлечь его в Померию и заставить драться.

Но Тотлебен, которого хотели оставить в Померании, просился уволить его от службы, рассерженный высочайшим выговором. Выговор был сделан на то, что Тотлебен выдал на немецком языке известие о занятии Берлина, причем

прославил одного себя и дурно отнесся о других. Бутурлин переслал экземпляр этого известия в Петербург и отсюда получил рескрипт, что Тотлебенова реляция «сочинена крайне продерзостно, ибо он свою заслугу увеличивает на иждивении почти всей армии, особливо же явно поносит генерал-поручика графа Чернышева с его корпусом и австрийского генерала графа Лессия с его корпусом ругает таким образом, как бы ненависть между двух союзных войск и холодность между самими дворами произвести искал, действие же нашей артиллерии хотя и хвалит и преимущество ей пред неприятельскою дает, но тем не меньше порочит ее состояние, объявляя, что портится она сама при сильном действовании; большая же продерзость еще в том состоит, что, не подав главнокомандующему столь обстоятельного рапорта, ниже доставя его сюда, столь противно всем воинским правилам осмелился обнародовать. Но понеже и то подлинно, что мы и заслуги памятовать, и прегрешения милосердием нашим прикрывать обыкли, то заблагорассудили мы, объявляя ему наш праведный гнев и неудовольствие, повелеть, чтоб он тотчас старался проступок свой загладить и паки нашу милость заслужить точным всего того исполнением, что ему от вас приказано и впредь поручаемо будет, разумея, буде он прежде не отрекся или не отречется от сего сочинения, ибо в таком случае сие дело молчанию предано быть имеет. Вам же вследствие того повелеваем приказать ему: 1) чтоб он у графа Чернышева просил прощения в вашем только присутствии или при двух только свидетелях, а по нужде хотя письменно; 2) чтоб все экземпляры, сколько их есть, конечно, собрал и вам представил; 3) чтоб формально и письменно на немецком языке отрекся от сего сочинения, присовокупляя к тому, что оно происходит, конечно, от его неприятеля и таких людей, которые хотят сделать подозрительным его усердие к нашей службе и произвести холодность между двумя высокими союзными дворами; 4) сие отрицание имеет быть напечатано в кенигсбергских газетах. Генерал-поручик граф Чернышев не будет уповательно доволен сею сатисфакциею; но вы ему объявить имеете, что прощением в показанной ему графом Тотлебеном обиде покажет он нам новый опыт своего беспредельного к службе усердия и что это вменится ему от нас в заслугу».

Но когда вследствие этого рескрипта Тотлебен подал в отставку, то к нему был отправлен другой рескрипт: «Мы с сожалением усмотрели из доношений графа Бутурлина, что слабое состояние вашего здоровья и некоторые другие обстоятельства принуждают вас просить увольнения из нашей службы. Мы не обыкли кого-либо насильно удерживать; но как война приходит теперь почти к окончанию, и мы в продолжении службы вашей более, нежели когда-либо, имеем надобность, а притом увольнение ваше ныне воспоследовало бы при таких обстоятельствах, кои подвержены различным истолкованиям, то в уважение чести и знатности вашей службы, в милостивом напоминании всех ваших донине показанных ревностных заслуг и всегда различая оные от временных случаев, не можем мы теперь согласиться на дозволение просимого абшита (отставки); паче же столько уверены пребываем о похвальном вашем желании прямой и существительной славы и о вашем к нам усердии, что повелели не токмо все легкие войска и назначенные им в подкрепление два пехотные полка таким образом в команду вашу отдать, чтоб вы зависели только от генерал-фельдмаршала графа Бутурлина, но и еще сей ваш корпус столько

умножить, сколько потребно будет для тех намерений, о которых от него вам пространнее объявлено будет».

Тотлебен остался на службе и в письме к канцлеру графу Воронцову, «своему отцу и благодетелю», клялся употребить остальные дни жизни для того, чтоб показать себя достойным доверия и милости августейшей монархини.

Думали, что война подходит к концу, думали, что кампания следующего года будет последнею, и потому спешили уговориться насчет мирных условий. Русский двор предложил австрийскому заключить новую конвенцию и «оною постановить те меры и способы, кои к прекращению нынешней тягостной войны наилучше служить и справедливое за понесенные для оной убытки награждение на иждивении неприятеля и возмутителя общего покоя доставить могут. А к требованию и получению сего награждения ее импер. величество всероссийская и ее вел. императрица-королева имеют толь большее право, что, во-первых, похищенные королем прусским области назад отобрать, а притом надлежит положить и достаточные пределы силе такого государя, которого несправедливые замыслы никаких пределов не знают». В конвенции постановлялось, что обе державы во все продолжение войны будут иметь в поле не менее 80000 регулярного войска каждая и продолжать войну соединенными силами до тех пор, пока заключенным с общего согласия мирным трактатом будет утверждена безопасность их областей и достигнуты праведные обеих сторон намерения; обе державы не должны полагать оружия до тех пор, пока императрица-королева не вступит в спокойное владение всею Силезиею и графством Глацким и пока императрица всероссийская не получит во владение королевства Прусского (Восточной Пруссии), ныне ее оружием действительно уже завоеванного. Так как европейский покой никогда твердо установиться не может, пока у прусского короля означенным образом не отнимутся средства смущать его, то их импер. величества употребят все старания оказать эту услугу человеческому роду и для того должны призывать к этой конвенции все державы, особенно же французского короля. Король польский, курфюрст саксонский, не только должен быть восстановлен в своих наследственных владениях, но и получить удовлетворение за обиды и убытки. Французский язык, на котором написана конвенция, не должен служить примером для будущего. Императрица-королева продолжает платить императрице всероссийской по миллиону рублей субсидий в год. На предложение этой конвенции Эстергази отвечал, что теперь дело идет не о заключении каких-нибудь новых конвенций, а о стеснении короля прусского сильными и решительными военными действиями, которые и могут привести его двор в состояние исполнить принятые уже на себя обязательства, состоящие в том, чтоб русский интерес почитать за собственный, перенимая на себя все, что будет возможно императрице-королеве, равно как и удовлетворение русского двора за понесенные убытки. В этом он, Эстергази, обнадежил словом императрицы-королевы и теперь то же самое подтверждает, следовательно, русскому двору нельзя сомневаться в исполнении этих твердых обещаний. Эстергази внушал, что теперь всего важнее удержать Францию от отдельного мира, почему нужно поступать с осторожностью относительно старых и еще продолжающихся предубеждений. Успеть в этом легко, если оба императорские двора будут приводить в действие свои намерения постепенно и своевременно. Как видно, Франция не очень сочувствует тому, чтоб Россия приобрела Пруссию

(Восточную), поэтому была бы вредна всякая такая конвенция, в которой бы упоминалось о присоединении Пруссии к России. Дело не в самом деле, а в способе его делания. Вместо конвенции он, Эстергази, имеет от своего двора наставление дать декларацию, что императрица-королева принимает на себя торжественнейшее обязательство употребить чистосердечно крайние свои силы, чтоб российский двор получил такие выгоды, каких сам захочет.

Ему отвечали, что составлен новый проект конвенции, в котором она сделана гораздо удобнее к принятию, ибо к ней присоединена такая декларация, которая должна отнять не только у Франции, но и у других дворов всякое опасение насчет увеличения русской империи Пруссией. Эту декларацию предоставляется соглашаться о провинции Пруссии с Польскою республикою и принять такие меры, которые бы служили ко взаимному удовольствию обеих сторон. «Здесь, – говорилось далее в ответе, – очень понимают, что французский двор надобно щадить; но поставляемая конвенция не потревожит его ничем новым; особенно, по здешнему мнению, надлежало бы опасаться, что если теперь ничего не постановить или даваемую генеральную декларацию от французского двора скрыть, то этот двор или подумает, что он своим ответом отнял у здешней стороны всю охоту к получению Пруссии, или же станет подозревать, что нет к нему прямой доверенности. Наконец, императрица знает также очень хорошо, что все дело зависит от успеха оружия, ибо если всевышнему не угодно будет благословить его, то не только новая конвенция не доставит здешнему двору королевства Прусского, но и ее величество императрица-королева, невзирая на многие и старые трактаты, не получит Силезии и графства Глацкого, и эта временная конвенция будущим миром, каков бы он ни был, должна рушиться. Напротив того, если провидение определило к блаженству рода человеческого сократить гордую и опасную силу короля прусского и императрица-королева вступит во владение Силезиею и графством Глацким, то почти невозможно, чтоб одно желание обоих императорских дворов и простое согласие французского не были достаточны для доставления здешней империи Пруссии. Король прусский, теряя сохраненную им еще до сих пор Силезию, конечно, не продолжит войну за тем, чтоб сохранить оставленную им самим Пруссию. Надобно быть только согласными в этом и в нынешнюю кампанию так действовать, чтоб успех ее соответствовал ожиданию; поэтому-то так усердно и желается это дело однажды навсегда окончить, чтоб все внимание обратить на одни военные действия». 21 марта конвенция была подписана Эстергази.

За это он получил строгий выговор от Марии-Терезии. Конвенция была немедленно отправлена во Францию, потому что, по Версальскому договору, Австрия не могла заключать никаких договоров без ведома французского двора, и получен ответ, что Людовик XV никогда не может приступить к такой конвенции, ибо в ней говорится только о выгодах императорских дворов, о других же союзниках говорится или в общих выражениях, или вовсе ничего не говорится. «В договоре 1746 года, – писала Мария-Терезия Эстергази, – именно было постановлено, что в случае разрыва мира с прусской стороны Силезия и графство Глацкое отбираются назад Австриею, а России завоеваний никаких не делать, довольствоваться двумя миллионами гульденов; теперь это торжественное постановление уничтожается и делается новое постановление, по которому Россия получает такие же выгоды, как и мы, хотя Пруссия разорвала мир только с

нами да с Саксониею. Силезия – старая наша наследная земля, а Пруссия в русском владении никогда не бывала, и мы относительно возвращения Силезии получили согласие от всех союзников и подвергались до сих пор большим опасностям и убыткам. Несмотря на все это, мы уже давно российскую императрицу обнадежили, что вполне соглашаемся на вознаграждение ее убытков и об ее интересе усердствуем столько же, сколько о своем собственном. Что же касается вообще вопроса, надобно ли с нашей стороны королевство Прусское признать за завоеванное Россиею и в том дать ручательство, то здесь относительно нас сомнения быть не может: только по великодушию и великой проницательности российской императрицы мы твердо можем надеяться, что ее величество отнюдь не соизволит поступить в противность нашему интересу, общему благополучию и собственному намерению, ибо от конвенции вместо ожидаемой пользы может последовать великий вред». Вред, по мнению императрицы-королевы, заключался в том, что Австрия и Россия могли быть оставлены всеми другими союзниками. Впрочем, чтоб не раздражить русский двор, в Вене придумали такую сделку: из конвенции исключили параграф, в котором говорилось о присоединении Пруссии к России, а вместо него составили отдельную секретную статью того же содержания, но с прибавкою, что обещание Австрии относительно присоединения Пруссии к России недействительно, если сверх ожидания Австрия не получит Силезии и графства Глацкого; секретная статья должна быть скрыта от Франции. Елисавета приняла эти изменения.

Россия хотела приобрести Восточную Пруссию для того, чтоб променять ее на Курляндию или другие, более подручные польские области; но венский двор и тут хотел сделать свое изменение. Его сильно беспокоило то, что Дания, не получивши до сих пор от России согласия относительно голштинского дела, возьмет английские субсидии и выставит в пользу Пруссии свое свежее войско в 20000 человек. Эстергази от 27 июля н. с. получил от Марии-Терезии рескрипт, где выражалась сильная тревога и желание прекратить голштинские распри «как всегдашний повод к новому и опаснейшему воспалению военного огня». Мария-Терезия требовала от Эстергази приложить ревностные старания, чтоб датские представления не были совершенно отвергнуты в Петербурге. Соглашение должно было состоять в том, чтоб великий князь Петр Федорович отказался от Голштинии и за это взял бы себе Пруссию, что успокоит совершенно Данию и не возбудит в других державах зависти к приращению русских сил.

Дания действительно сильно беспокоилась остановкою переговоров о Голштинии и намерениями России удержать за собою Восточную Пруссию. Французский посол маркиз Лопиталь сообщил канцлеру письмо датского министра барона Бернсторфа к французскому министру герцогу Шуазелю. В письме говорилось, что если России достанется Пруссия, а наследник Российской империи не отречется от своих претензий и не оставит своей ненависти против короля датского, то последний найдется в самом опасном и бедственном положении. В Дании известно, что великий князь постоянно думает о ее разорении; так как вследствие этого датский король убежден, что рано или поздно ему должно будет воевать с Россиею, то, естественно, должна прийти ему мысль, что не лучше ли начать эту войну теперь, чем в такое время, когда у России никаких других неприятелей не будет. Во втором письме своем к герцогу Шуазелю Бернсторф давал знать, что Дания, не желая нарушить дружбы с

Франциею, войдет в соглашение не с Англиею, а с королем прусским. Шуазель отвечал, что все равно, и соглашение с Пруссииею будет таким же нарушением дружеских отношений к Франции.

Знаменитый дипломат, представлявший в последнее время Россию во Франции, граф Михаил Петр. Бестужев-Рюмин умер 26 февраля. При нем для помощи находился в Париже князь Дмитрий Мих. Голицын, которому и поручено было ведение дел по смерти Бестужева, пока не приехал во Францию новый посол действительный камергер граф Петр Чернышев. Шуазель уверял Голицына, что он снова именем королевским сделал внушения датскому министерству, чтоб Дания молчала в Петербурге о своих требованиях относительно голштинского вопроса, а после найдется удобный случай кончить это дело полюбовно, что Франция вмешательством в такое дело никогда не согласится возбудить неудовольствие русской императрицы.

И в Петербурге также сменился французский посол. Лопиталья послали туда, потому что не было никого лучше. Людовик XV не имел к нему доверия, не вел с ним переписки тайком от министерства; Лопиталь не знал также, что король мимо министерства вел тайную переписку с императрицею Елисаветою. Тайной переписки с королем удостоен был секретарь посольства известный кавалер Эон. Король находил, что Лопиталь становится очень дорог в Петербурге, потом находил, что не умеет вести дела, очень доверчив к русскому канцлеру Воронцову. «Ему велят, – писал король, – уяснить какое-нибудь дело, а он прежде всего открывается Воронцову». Все затруднение состояло в отыскании ему преемника; наконец преемник был отыскан – барон де Бретейль, которого король счел способным к ведению тайной переписки, Эон получил от Людовика XV приказание сообщить новому послу сведения о характере императрицы, ее министров и всех других людей, употребляющихся для ведения иностранных сношений. Самому Бретейлю дан был наказ: «Особенно осведомиться насчет привязанности и видов великого князя и великой княгини и стараться о снискании их благосклонности и доверия. Маркиз Лопиталь пренебрегал молодым двором и особенно вооружил против себя великую княгиню участием своим в отозвании из Петербурга графа Понятовского. Если, что не подлежит сомнению, великая княгиня обратится к барону Бретейлю с жалобами на поведение его предместника, то барон должен воспользоваться этим случаем и ловко внушить, что ему известны чувства короля относительно великого князя и великой княгини, и он может уверить, что его величество будет очень рад содействовать исполнению их желания и если бы им было приятно увидеть опять в Петербурге графа Понятовского, то его величество не только не будет этому противиться, но будет еще содействовать тому, чтобы король польский назначил его снова посланником в Россию». Французский двор действительно начал оказывать в Варшаве свое содействие к возвращению Понятовского в Петербург, но скоро должен был прекратить это содействие, испуганный сильным нежеланием императрицы видеть в третий раз Понятовского при своем дворе.

В Лондоне были недовольны русским ответом на мирные предложения. Герцог Ньюкестль говорил по этому случаю князю Александру Голицыну: «Здесь двор в угождение и из особенной внимательности к императрице сделал вашему двору предварительное сообщение о мире, рассуждая, что императрица немало отягощена продолжением войны, тратя на нее большие

деньги безо всякой надежды получить достойное вознаграждение; наш двор надеялся поэтому, что ответ императрицы будет составлен в таком же миролюбивом смысле; но напротив того, в вашем ответе находятся такие выражения, которые не обещают со стороны императрицы никакой склонности к миру. Основные и естественные интересы требуют, чтоб Россия и Англия находились всегда в добром согласии; так можно было бы и теперь, не пренебрегая русскими интересами, помириться с королем прусским, и независимо от союзников». «Императрица, – отвечал Голицын, – принимая с благодарностью предварительное сообщение его британского величества, не могла дать другого ответа, потому что не может приступить к заключению мира иначе как с согласия всех своих союзников. Постоянное сохранение тесного союза между Англиею и Пруссиею должно служить примером и для других государств. Союз России с Австриею есть самый естественный и необходимый; напротив того, нынешний союз между Англиею и Пруссиею имеет очень слабое и ненадежное основание, ибо основан не на обоюдных пользах дворов, а на одних личных отношениях к королю прусскому; но Фридрих II смертен, следовательно, этот союз кончится с его жизнью. Честь, достоинство и безопасность России требуют, чтоб императрица не жалела издержек на эту справедливую войну, тем более что источники, необходимые для поддержания войны, скорее могут иссякнуть у противников ее величества, хотя бы императрица и не ожидала себе никакого вознаграждения; впрочем, в ее воле получить и вознаграждение, которого по справедливости никто возбранить не может». Тут Ньюкестль прервал Голицына и спросил: «Что вы понимаете под этими словами?» «Это ясно и без моего толкования», – отвечал Голицын.

После этого разговора другой министр, знаменитый Питт, начал выведывать у Голицына, не намерена ли императрица удержать свои завоевания в Пруссии. «Я, – говорил Питт, – всегда приписывал венскому двору властолюбие и стремление распространять свои владения, о вашем же дворе я этого никогда не думал. Ваша государыня приняла участие в войне единственно из великодушия, чтоб защитить польского короля, не имея в виду какой-нибудь выгоды». Голицын отвечал, что намерения императрицы ему неизвестны; впрочем, все беспристрастные люди должны признать право ее величества на достаточное вознаграждение за такие великие военные убытки, утверждающие вольность и безопасность Германии. «Здесь, – писал Голицын, – не только публика, но и двор внутренно чувствуют справедливость и возможность, чтоб ваше величество удержали Восточную Пруссию в вечном владении; здесь этого и ожидают. Питт того же мнения и, твердя мне о взаимных естественных интересах России и Англии, дал мне выразуметь, что скоро может прийти время, когда настоящие союзники России, и особливо венский двор, будут завидовать благополучию и могуществу вашего величества больше, чем Англия».

Но когда в Петербурге Ив. Ив. Шувалов обратился к Кейту, чтоб выведать у него мнение английского двора относительно присоединения Восточной Пруссии к России, то Кейт отвечал, что в таком случае война не скоро кончится, ибо король прусский скорее погребет себя под развалинами последнего своего города, чем согласится на такие унижительные условия; что присоединение Восточной Пруссии к России возбудит всеобщую зависть и будет источником беспокойств в Европе, ибо при первом удобном случае будут стараться выхватить эту область из

рук России. Шувалов отвечал, что не понимает, каким образом присоединение такой маленькой области может возбудить всеобщую зависть, и если уже так, то можно по крайней мере оставить Восточную Пруссию в закладе у России, пока не найдут другого средства удовлетворить последнюю. Кейт сказал на это, что ни то, ни другое невозможно, ибо все государства увидят ясно намерение России захватить в свои руки балтийскую торговлю и чрез это торговлю всего Севера.

Из Стокгольма Панин был отозван и сдал дела советнику посольства Стахиву, который так описывал положение дел в Швеции перед сеймом: «Будучи сим (королевским приглашением чинов на сейм) теперь отворены двери к явному действию различных шведскую нацию разделяющих партий и фракций, предводители оных, несумненно, скоро распустят разнохатные (?) свои знамена и начнут публично работать о умножении числа своих партизанов. Тут главного примечания достойны движения обеих партий – дворовой и сенатской: первая, яко утесненная и бессильная, до сих пор ни малейшего вида не подает действованиа; вторая, яко господствующая и сильнейшая, следовательно, многочисленная, заражена различными расколами и терзается разными факциями, из которых две первостепенные состоят в неутолимом соперничестве двух сенаторов – первого министра барона Гепкина и гофмейстера королевских детей барона Шефера. Каждый из сих двух соперников особливо ищет приобрести себе доброжелательство дворовой партии, чем надеется возвысить каждый свою факцию, но по сей час ни один, ни другой приметно в том еще не успели в рассуждении дворовой неподвижности и удаления от дел. Рассуждая по наружности о движении обеих факций, сенатор барон Гепкин ищет соединить по меньшей мере мечтание шведской независимости с преданностью чужестранным державам; напротив чего его суперник барон Шефер, никакого посредства не допуская, слепо повинуется Франции и боготворит все, что видит или слышит быть французского творения, почему и в земских экономических распоряжениях во всем французским последует; а как здешний дух вольности в таких делах не сносит утеснения и строгости, так и сей сенатор оказанием своего самоуправления и запальчивости столкнулся со многими, и особливо с мещанством, где он ни малейшей доверенности не имеет, чем сенатор Гепкин, напротив того, много пользуется, наипаче сего лета, будучи почти в ежедневном обхождении с мещанством, следовательно, больше надежды имеет на будущем сейме ласкать себя покровительством сего чина, ежели третья факция не схватит у него поверхность. Сия пылко поднимается теперь под предводительством полковника барона Пехлина, который на последнем сейме с знатною отличностью поднят и служил господствующей партии, чем надулся гордостью и, не довольствуясь данным тогда за труды его денежным награждением, взял себе в голову к будущему сейму доставить себе место управителя в господствующей партии, для чего и приезжал сюда в прошлом году; но Сенат, почитая его способным токмо к простому исполнению управительских повелений, обратно прогнал в Померанию к армии, чем он жестоко раздражился противу Сената и теперь собирает собственную факцию, которую можно назвать по древнему римскому примеру ценсорскою факциею, ибо она началом своих действий полагает – укротя на последнем сейме дворовые предприятия, на будущем подстричь крылья из пределов выходящей сенатской власти. Здесь увядающая сенатора графа Тессина седина много ласкательного для себя находит как для представления себя еще

один раз на сеймском театре, так и для уничтожения оказанного на себя презрения с стороны своих учеников, составляющих большую часть Сената, с показанием им своего восчувствования, почему сей дряхлостью облекшийся старик под рукою дал свое благословение новому управителю и обещается в случае успеха к нему присовокупиться и показать шведскому народу, что он еще в состоянии находится принять от него благоуханную жертву и дары». На этой депеше Воронцов написал: «Надлежит Стахиеву предписать, чтоб он весьма себя скромно содержал и ни к которой партии не приставал, отнюдь не мешаясь в сеймовые и домашние шведские дела, держась несколько стороны сенатора Гепкина, который по всем оказательствам к нам благосклонен быть является». Но в рескрипте прибавили еще наставление красноречивому Стахиеву: «Рекомендуется вам о всех тамошних происхождениих и ведомостях, которые заслуживают здесь обстоятельного сведения, не вступая в излишнее описание пороков или природных страстей человеческих, доношения наши сюда присылать, но в оных писать явственно и без всяких метафорических и аллегорических экспрессий, которые не служат больше, как к затмению содержания оных ваших доношений, и, следовательно, причиняют затруднения в снабдении вас потребными резолюциями».

Вместо Панина посланником в Стокгольм был назначен бригадир граф Иван Остерман. Но от 23 июня Стахиев доносил: «Один знатный и в делах обращающийся человек, мой надежный приятель, на сих днях мне в крайней конфиденции сказал, что получаемые здесь депеши из Парижа от шведского посланника наполнены завистливыми внушениями со стороны французского министерства к русскому двору; по словам шведского посланника, французский двор отнюдь не намерен позволить, чтоб Россия оставила за собою завоеванные ею у прусского короля земли». На это Воронцов заметил: «Чиненные внушения Стахиеву от неизвестного здесь приятеля имеют нарочитый вид искусно поспорить нас с французским двором». Далее в депеше Стахиева говорилось: «Австрийский посланник граф Гоес говорил одному из своих приятелей: „Невозможно, чтоб Франция на шведском сейме помогала России: интересы этих обоих дворов в Швеции постоянно сталкиваются; Франция дает Швеции значительные субсидии единственно для удаления ее от русского двора, чтоб в случае нужды выдвигать ее пугалом последнему“; Гоес прибавил, что он не может понять, для чего русский двор так пренебрегает шведскими делами и не старается сам непосредственно ими управлять, а спокойно позволяет Франции окончательно истребить всех русских приверженцев». На это Воронцов заметил: «Чтоб французский двор обратился в пользу здешних интересов в Швеции, о том никогда надеждою себя не ласкали, да и никакого поступка с нашей стороны в содействовании французов чинено не было, и мы в том, конечно, обмануты не будем. Впрочем, никакого пренебрежения по шведским делам с нашей стороны не сделано, но, напротив того, старание прилагали сохранить взаимную дружбу, разве сим пренебрежением разумеется то, что с некоторого времени перестали отсюда для расточения на сеймах пересылать многие тысячи рублей, и ежели б ныне излишние в государстве были деньги, то можно бы на удачу для покушения на перевес и обращение тамошних многих разделенных партий и преклонение в российские виды несколько тысяч рублей переслать; токмо о успехе в том едва ли кто поручится».

Депеша Стахиева оканчивалась так: «Гоес говорил: истребление остатка русских приверженцев, по-видимому, совершится на будущем сейме, если петербургский двор не пришлет сюда познатнее характеров и побогаче собственным капиталом министра, чем Остерман. Панин в каких стесненных обстоятельствах ни находился, однако содержанием хорошего стола приобрел себе любовь не только многих знатных особ, но и вообще большинство здешнего общества, которое сильно об нем жалеет». На это Воронцов заметил: «Рановременное, весьма тщетное и продерзостное рассуждение о графе Остермане учинено».

Из Польши приходили старые вести. Приехав однажды к литовскому канцлеру князю Чарторыйскому, Воейков нашел у него и коронного канцлера Малаховского. Чарторыйский тотчас же стал говорить, что у канцлеров отняты почти все дела, принадлежащие к их должности, все делает по большей части надворный маршал граф Мнишек и с помощью тестя своего первого саксонского министра графа Брюля раздает чины, отчего произошло немало смуты и огорчения между шляхтою, которая видит нарушение своей конституции. В прошлом году Мнишек позвал коронного канцлера Малаховского в Люблин пред тамошний трибунальский суд за то, что канцлер обвинял его по одному делу в асессориальных королевских судах, от которых апелляций никогда не бывало. Пример неслыханный в Польше, и хотя чрез посредство примаса и некоторых других лиц произошло между ними примирение, но с таким условием, что они лично друг против друга никакой злобы не имеют, но для удовлетворения за обиду, нанесенную характеру и должности канцлерской, Мнишек должен письменно объявить, что все происшедшее на трибунальном суде уничтожается; но этого объявления до сих пор нет. Не имея возможности сносить более подобных обид, они положили просить короля, чтоб не позволял никому вступаться в их должности и велел Мнишку дать удовлетворение Малаховскому. Потом оба канцлера начали просить Воейкова как министра гарантирующей польскую конституцию державы помочь им в этом и донести обо всем своему двору. Воейков отвечал, что давно следовало бы прекратить частные распри, что может сделаться благоразумною уступчивостию друг другу. Но так как Чарторыйский и Малаховский настаивали, чтоб Воейков вступился в их дела, то он поехал к Брюлю переговорить о жалобах канцлеров. Тот отвечал, что король только того и желает, чтоб все польские дела имели законное течение, а для этого канцлерам надобно быть прилежными; но князь Чарторыйский около двух лет в Варшаве не бывал, живет в своих деревнях, отчего вследствие переписки в его делах проволочка и остановка; и Малаховский бывает в Варшаве на короткое время; он человек добрый и не охотник до ссор и интриг, был бы и теперь покоен, если б не князь Чарторыйский, человек беспокойный, гордый, горячий, неукротимый, который и подбивает Малаховского; в этом немало помогает и стольник литовский граф Понятовский, которого Чарторыйский употребляет в интригах как человека, чрезвычайно много о себе думающего. Воейков в донесении своем отозвался: «Сколько я мог рассмотреть князя Чарторыйского в кратковременное пребывание его здесь, нахожу, что изображение его, сделанное графом Брюлем, верно, этому господину верить во всем, кажется, нельзя, ибо хотя он человек и разумный, но в высшей степени гордый, запальчивый и неукротимый. По приезде своем сюда, в Варшаву, не замедлил он вместе с братом

своим князем Адамом, воеводою русским и племянником графом Понятовским быть у английского посланника лорда Стомонта, у которого просидели около двух часов».

На это канцлер граф Воронцов отвечал ему в своем письме: «С одной стороны, желательно было бы, и для чести и кредита нашего двора нужно и полезно, чтоб чрез ваше посредство министерство польское восстановлено было в его должном значении; но с другой стороны, ясно усматривается, что граф Брюль и Мнишек, имея беспредельную поверхность у короля и будучи так огорчены господами канцлерами, не могут склониться на увещания нашего двора, имея довольно отговорок, которых посторонним опровергнуть нельзя, и объяснения по этому делу могут завести в неприятные дальности; к тому же не покушение ли это только со стороны господ канцлеров произвести некоторую холодность между нами и польским двором. Итак, по моему мнению, вашему превосходительству надобно поступать в этом деле очень осторожно и между этими матедорами содержать равновесие, дабы при нынешних наипаче критических временах прямой экилибер был, тем более что мы едва ли можем себя ласкать, чтоб через перевес одной или другой партии лучшую силу и пользу в польских делах приобрели, и почти можно по нашей пословице сказать: „кто ни поп, тот батька“».

Приближался сейм, и Воейков узнал, что в инструкциях депутатам внесены жалобы на тягости польскому шляхетству от прохода русских войск. Когда Воейков донес об этом в Петербург, то отсюда получил приказание внушить Брюлю, как это будет чувствительно для России и вредно для общего дела и чтоб он, Брюль, употребил тайно все меры к разорванию сейма в самом начале. Воейков исполнил приказание, и Брюль отвечал ему уверениями, что сейм разорвется непременно, потому что он не допустит до избрания маршала. «Опасно только одно, – заметил Брюль, – что англичане и король прусский стараются всеми мерами довести польское шляхетство до конфедерации и употребляют немалые суммы к возмущению этого корыстолюбивого и безрассудного народа. Недавно прусский секретарь посольства Бенуа получил от своего короля много писем к полякам, между прочим и к князьям Чарторыйским. Эта фамилия с партией своею не перестает недоброхотствовать королю и явно угрожает конфедерациею, приводя на то и коронного гетмана Браницкого». Донося об этом своему двору, Воейков замечал: «Мне кажется, что поляки не вдруг решатся на конфедерацию, видя вблизи русскую армию, а некоторую часть ее и действительно в земле своей».

Сейм был разорван. После этого Воейков потребовал от Брюля другой услуги: чтоб постарался изловить прусских курьеров, которые беспрестанно ездят к прусскому эmissару в Константинополь и оттуда обратно. Обрезков доносил, что дело прусских эmissаров идет дурно в Константинополе: Турция не хочет войны, хотя крымский хан и старается всеми силами поссорить ее с Россиюю, подавая жалобы на грабительства запорожцев. В октябре Обрезков дал знать, что неаполитанский посланник получил известие о появлении человека, который называет себя русским князем Иваном, свергнутым с престола в 1741 году. Самозванцу можно дать 25 лет или больше; он небольшого роста, лицо у него смугловатое, волосы черные, на лице большие рябины, на шее рана из пистолета. Он говорит по-русски, по-французски, по-немецки и несколько понимает датский и шведский языки. Скрывал он себя под частными фамилиями, наблюдая крайнее

молчание и притом учтивость, довольствуясь малым до получения ответов или векселей, которых ожидал он из Копенгагена, Берлина и Брауншвейга; писал три письма к датской королеве и пересылал их по почте; в этих письмах рассказывает он, что убежал из России в 1754 году со стороны Азова, был в разных странах Европы; в 1757 году приезжал инкогнито в Петербург, откуда уехал в Бранденбург, а отсюда – в Копенгаген, где прожил зиму между 1757 и 1758 годами до прибытия в июне месяце 1758 года русского флота, который, по его мнению, назначался для вытребования его от датского двора, почему отправлен он из Копенгагена тайным образом на остров Самсое, откуда после выпровожен из королевства для избежания столкновений с русским двором. Из Дании он отправился в Германию к принцу Фердинанду брауншвейгскому и был свидетелем Бергенского сражения; во Франкфурте его хотели схватить по приказу герцога Брөльи, но он убежал в Швейцарию и оттуда в Италию. Прикрашивает он свой рассказ обстоятельствами, служащими для доказательства его справедливости, и ни в чем себе не противоречит. Из письма датского министра Бернсторфа видно, что он обманщик и был бы арестован в Дании, если б не успел убежать.

Елисавета объявила, что будет упорно продолжать войну, если бы даже принуждена была продать половину своего платья и бриллиантов. Эти слова уже заключают в себе намек на то, как терпели от войны финансы империи. В начале июня месяца генерал-кригскомиссар князь Яков Шаховской представил в конференцию, что Главный комиссариат, если не будет ему возвращено долга, который имеется на разных правлениях и простирается более чем на пять миллионов, и если не будет пополнена доимка, не надеется, чтоб на текущий год могла быть отправлена в армию вся требуемая сумма сполна; представил, что военные чины удовлетворены жалованьем только за январь и февраль месяцы, а за остальные два месяца январьской трети удовлетворить уже не из чего. Конференция препроводила это донесение в Сенат; тот отвечал, что приняты меры к собранию долгов и доимок. Канцелярия от строений донесла, что у нее на Штатс-конторе долгу с 1757 года 103876 рублей; а у Канцелярии от строений были большие издержки на постройку Зимнего дворца. Резная работа в галерее этого дворца по рисунку Растрелли отдана была за 20000 рублей мастерам Жилету, Дункеру и Ролянду, которые обязались содержать на своем иждивении 50 человек иностранных мастеров и 15 человек русских рещиков; гвардейский офицер поехал в Московскую губернию набирать тысячу человек штукатуров; и велено штрафовать Ярославский магистрат за укрывательство штукатуров и каменщиков, также старосту и крестьян вотчины князя Елецкого в Любимском уезде. В конце года Канцелярия от строений требовала на постройку Зимнего дворца 60495 рублей. Сенат велел навести справки, и оказалось, что в 1755 году на строение дворца по смете отпущено 859555 рублей, потом отпущена прибавочная сумма в 372672 рубля да на внутреннее строение по 1759 год велено отпустить 143713 рублей; а с 1759 года до окончания постройки положено отпускать и отпускается по 120000 рублей в год; на этом основании Сенат приказал в отпуске суммы Канцелярии от строений отказать, пусть довольствуется назначенною суммою в 120000 рублей. Посольская свита в Париже не получала жалованья не только за 1760 год, но было недоплачено и за прошлый год. На Иностранную коллегию шло в год 191377 рублей да на чрезвычайные уплаты 29822 рубля и 1300 червонных; на Штатс-конторе числилось долгу 512713 рублей

и 1300 червонных. За таможенным откупщиком Шемякиным явилась доимка в 412562 рубля; Сенат велел накрепко понудить к уплате.

По ведомостям за 1758 год продано было вина 1478643 ведра, денег в сборе было 2731675 рублей против 1749 года, когда вино продавалось разными ценами, продано меньше – 154555 ведр, а денег получено больше – 1465924 рубля. Соли продано было 6272639 пуд, против всех прежних годов меньше. Граф Петр Ив. Шувалов предложил: известно, что целовальникам на содержание в кабаках разных вещей – посуды, дров, свеч, за провоз питей и за прочее ничего не дается, следовательно, они должны на это тратить свое и впадают в вину поневоле, утаивая казенные доходы: видя это, должно предостеречь, чтоб люди под наказание приходить не могли, которого им и миновать нельзя, надобно давать им на содержание в кабаках нужных вещей. Сенат согласился. Четверо воевод было отрешено за слабое смотрение их в кабацком сборе. Тот же Шувалов объявил о приведении им артиллерийского корпуса в желаемое состояние и, чтобы вперед не могло последовать недостатков в деньгах, как прежде, предложил – из вступающих из передела медных пушек в деньги и остающихся за распределением от передела медных денег экономических сумм учредить банк собственный артиллерийского и инженерного корпусов, который бы мог представить знатный капитал на случай недостатка денег на будущие времена. Сенат признал это дело очень нужным и полезным и учреждение банка возложил на самого Шувалова.

Мы видели, что прежде из средств к увеличению государственных доходов, какие употреблялись за границу, лотерея не была признаваема полезною в России. Но теперь хотели испытать и это средство: обер-церемониймейстер барон Лефорт представил конференции проект, как согласить большую государственную лотерею с казенною пользою, чтоб не было опасения, что лотерея не наполнится или что в избежание бесславия и потери кредита надобно будет наполнить ее казенными деньгами. Конференция определила утвердить лотерею и генерал-директором ее назначить барона Лефорта под покровительством Сената; денежную лотерею по рублю за билет решено учредить в Петербурге, Москве, Риге, Ревеле и Кенигсберге.

Несмотря на необходимое по обстоятельствам стремление ко всевозможному ограничению расходов, Сенат признал нужным израсходовать значительную по тому времени сумму для награды сыну за отцовские заслуги. Граф Петр Ив. Шувалов представил: «Чтоб побудить человека употребить все свои силы на службу отечеству – необходимо уверить его в вознаграждении; заслуга является причиною воздаяния, а воздаяние служит полным поощрением к предприятиям, опасным для того, кто на них отваживается, но полезным для его государя и отечества, и, видится, заслуга с воздаянием так сопряжена, как душа с телом. Доверие, которое оказывает нам наша государыня, обязывает нас ходатайствовать за людей, которые отваживались на предприятия, оказавшиеся чрезвычайно полезными для отечества. Семейство Ивана Кириллова находится в крайней бедности и, можно сказать, остается без пропитания, а Кириллов оказал отечеству знатную услугу: доказательством служат те плоды, которые получают от Оренбурга и его губернии. Кириллов, будучи обер-секретарем в Сенате, в 1734 году подал проект о построении на Орь-реке города и отправлен был для приведения его в исполнение. Вследствие построения города завелась торговля,

доходы от этой торговли сначала были невелики: простирались только до 4000 рублей, а теперь до 150000 и больше в год бывает, и, сверх того, имеется там пять медных заводов, на которых выплавляется в год меди до 26000 пудов; четыре железных завода, на которых выделяется железа в год до 180000 пудов, а на виновнике этого богатства Кириллове до сих пор числится долгу 7591 рубль, и этот долг надобно взыскать с сына его обер-аудитора Военной коллегии». Сенат решил подать императрице доклад, просить о пожаловании Кириллову 10000 рублей и в то число зачесть долг.

По предложению того же Шувалова восстановлена была остермановская комиссия о коммерции. Для распространения торговли надобно было защищать купцов; Сенат приказал накрепко исследовать об обидах, причиненных новоторжскому купечеству от рекрут: рекруты ограбили и избили купцов, из которых один, Тетюхин, на другой день от побоев умер. Сенат послал указ Канцелярии от строений: взять ответ от гвардии капитан-поручика Шувалова, отправленного для набора штукатуров к строению Зимнего дворца, для чего он членов Главного магистрата задержал под караулом и притом, не объявля никакого указа, повторял только, что поступает по-солдатски, а Главный магистрат имеет такое же преимущество, как и прочие коллегии, и состоит под апелляциею Сената. Сенат имел право сажать магистратских членов под караул; по жалобе Медицинской канцелярии он приказал в тех городах, где по указу 1737 года именуются лекаря, магистратам накрепчайше подтвердить, чтоб этим лекарям жалованье и квартирные деньги производимы были из магистратов по третям года без малейшего удержания, и не продолжая по прошествии трети больше трех дней, и не принося никаких отговорок; Медицинская канцелярия пишет, что лекаря, не получая жалованья, терпят великую нужду, а магистраты, несмотря на подтвердительные указы, жалованья не платят упрямством, а потому канцеляриям тех городов взыскать это лекарское жалованье с магистратов вдвое, не принимая никакого оправдания, и одну половину отослать на госпиталь, а другую лекарям тотчас выдать и, пока магистраты двойного жалованья не заплатят, держать магистратских судей под караулом в магистратах без выпуска. Оказалось, что в Тамбове лекарю не было выдано жалованья за 5 лет. Не везде, как в Торжке, купцы позволяли себя бить рекрутам; Юстиц-коллегия донесла в Сенат: тихвинского магистрата бургомистр Солодовников, хотя в наряжении тихвинских обывателей для бою офицеров капитана Ив. Шувалова, адъютанта Якова Голенищева-Кутузова, обозного Вас. Огибалова и не признается, и потому надлежало бы тем тихвинцам с ним, Солодовниковым, произвести пристрастные расспросы плетьюми; но он, Солодовников, совершенно изобличен, что он магистратских ходоков для высылки тихвинских посадских и кузнецов для битья тех офицеров посылал, а Тихвинского монастыря служителю Щетинину и кузнецу Кирпичникову в магистратских сенях давал по дубине, чтоб ими проводить офицеров, собравши для драки человек тридцать, – пусть офицеры в Петербурге не хвастаются; и тем, что Голенищева-Кутузова били, не удовольствовался, но еще велел поймать и бить капитана Шувалова, который по его приказу против магистрата на площади и бит. Для отвращения напрасного кровопролития и для прекращения следствия, которое тянется уже без малого четыре года, и чтобы тихвинцы, содержащиеся по этому делу, торгов и промыслов не лишились, Юстиц-контора полагает сделать следующее: 1) Солодовникова за указанную вину

и прочие продерзости, что он во время содержания его в комиссии, собравшись с другими колодниками и вломаясь в судейскую камеру, кричал, что он производимым над ним следствием недоволен и чтоб их повезли в Петербург; за наглое отбывательство от следствия; за двоекратный уход из комиссии из-под караула, за битье караульного солдата и за угрозы – кто его будет брать – бить до смерти; за приход под его предводительством тихвинских обывателей в Тихвинский большой монастырь, и за разломание келейных дверей, и за увод служительского сына Быкова из-под караула, – за все это наказать его кнутом, освободить, но впредь ни к каким делам не определять. Тихвинцев, которые его слушались и били офицеров, наказать плетьюми, хотя Щетинин и показывает, что тихвинцы и кузнецы вступились за кузнеца Шепелева, которого Огибалов бил, и стали его отнимать, отчего и драка произошла; кроме того, с Солодовникова и тихвинцев, которые били офицеров, взыскать деньги за бесчестие последних. Сенат велел наказать Солодовникова вместо кнута плетьюми.

Оказалось, что учрежденные при Петре Великом в городах цехи пришли в расстройство; по этому поводу конференция рассудила: теперь было бы самое удобное время по причине военных замешательств во всей Европе получить в здешнюю империю хороших ремесленников; но всякое о том старание прилагалось бы тщетно, пока ни один цех в надлежащую силу и состояние приведен не будет, но все в нынешнем их расстройстве останутся; например, великое здесь число портных для вредной государству роскоши; но опыт показал, что едва только нужда потребовала построить вскорости на армию мундиры, то в целой Москве нашлось записных так мало, что о том и упоминать нечего; государство изобилует лучшим железом, но когда случились чрезвычайные поделки для армии, то лучшим железом окованные повозки редко доходили до места назначения. Сенат, получивши эти замечания конференции, приказал подтвердить в Главном магистрате, чтоб цехи содержаны были и купцы торги производили по силе указов магистратского регламента; что же касается вызова ремесленников из-за границы, то без употребления знатной суммы денег обойтись при этом нельзя, а конференции известно, что по нынешним обстоятельствам и на самонужнейшие управления в деньгах крайний недостаток, поэтому о вызове ремесленников Сенат теперь определения сделать не может, а, чтоб вызывать ремесленников без казенного убытка, о том должна рассуждать комиссия о коммерции.

Но могла ли комиссия о коммерции дать торговым людям безопасность от грабежей всякого рода? 24 августа Сенат получил именной указ: «Ее императ. величеству, к крайнему гневу и неудовольствию, известно, что воронежский губернатор Пушкин и белгородский Солтыков в этих губерниях делают великие разорения и лихоимства и самые грабительства, и потому повелевает строжайше о том исследовать». Для улучшения участи однодворцев их освободили из-под власти губернаторов и воевод и дали особых управителей; но однодворцы Орловского уезда подали в Сенат просьбу: определенный не по желанию их к ним управитель гвардии прапорщик Глазов вместе с писарем разоряет их, забирает их жен и детей и, сковавши, держит в тюрьме, морит голодною смертью, бьет мучительно плетьюми и батогами, отдает однодворческих дочерей замуж за помещичьих крестьян: посланные от него берут за проезд большие деньги и отнимают платье, хлеб и прочие домовые скарбы, убили до смерти двухлетнего

ребенка на руках у матери; поэтому однодворцы просят Глазову у них не быть, а быть им под ведением Орловской провинциальной канцелярии по-прежнему. Сенат приказал Глазова немедленно отрешить и на его место определить, кого сами однодворцы выберут. Сенат узнал, что обыватели терпят обиды и излишние приметки от вальдмейстеров, которые определены и в таких местах, где нет и лесов, годных для кораблестроения, поэтому приказал всех таких вальдмейстеров немедленно отрешить и потребовать от Адмиралтейской коллегии рапорта, кем они определены, давно ли и для чего. Наконец, Сенат постановил сменять воевод через пять лет, оставляя только таких, которые окажутся исправными и незаподозренными и об оставлении которых будут просить помещики и граждане.

Эти распоряжения Сената, происходившие в августе и сентябре месяцах, были следствием знаменитого указа императрицы от 16 августа: «С каким мы прискорбием по нашей к подданным любви должны видеть, что уставленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою незаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают, и равным образом чувствовать, что вкореняющееся также зло пресечения не имеет. Сенату нашему, яко первому государственному месту, по своей должности и по данной власти давно б надлежало истребить многие по подчиненным ему местам непорядки, без всякого помешательства умножающиеся, к великому вреду государства. Несытая алчба корысти дошла до того, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие предводительством судей, а потворство и упущение ободрением незаконникам. В таком достойном сожаления состоянии находятся многие дела в государстве и бедные, утесненные неправосудием люди, о чем мы чувствительно соболезнуем, как и о том, что наша кротость и умеренность в наказании преступников такое нам от неблагодарности приносят воздаяние. Повелеваем сим нашему Сенату как истинным детям отечества, воображая долг Богу, государству и законам государя императора нашего любезнейшего родителя, которые мы во всем своими почитаем, все свои силы и старания употребить к восстановлению желанного народного благосостояния; хотя нет челобитен и доносов, но по самым обстоятельствам, Сенату известным, зло прекращать и искоренять. Всякий сенатор по своей чистой совести должен представить о происходящем вреде в государстве и о незаконниках, ему известных, без всякого пристрастия, дабы тем злым пощады, а невинным напрасной беды не принести, но как истинному сыну своего отечества, памятуя страх Божий и свою должность, и зная, что людям, возведенным быть судьями другим, надлежит почитать свое отечество родством, а честность дружбою; которые представления уважать, заблуждения в местах исправлять, подозрительных судей сменять и исследовать и паче всего изыскивать причины к достижению правды, а не к продолжению времени. Многие вредные обстоятельства у всех перед глазами: продолжение судов, во многих местах разорения, чрез меру богатящиеся судьи, бесконечные следствия, похищение нашего интереса от тех, кои сохранять определены, воровство в продаже соли, при наборе рекрут и при всяком на народ налоге в необходимых государству нуждах, все оное неоспоримые доказательства, открывающие средства к пресечению вреда общего».

Но Елисавета не хотела ограничиться одними словами, мы видели ее гневный указ насчет губернаторов Солтыкова и Пушкина; кроме того, надобно было и Сенату дать средства к исполнению обязанностей, какого требовала от него императрица. Сенаторов было немного, и часть их заседала в конференции, следовательно, не всегда могла присутствовать в Сенате. Назначены сенаторами: генерал-поручик Костюрин, знаменитый оренбургский генерал-губернатор Неплюев, граф Роман Ларионович Воронцов и генерал-поручик Жеребцов. Таким образом, Сенат составил из следующих лиц: князя Никиты Трубецкого, фельдмаршала Бутурлина, генерал-адмирала князя Мих. Мих. Голицына, канцлера Воронцова (который, впрочем, подобно предшественнику своему Бестужеву, никогда не бывал в Сенате), графов Александра и Петра Шуваловых, князя Щербатого, Костюрина, князя Алексея Дмитр. Голицына, Жеребцова, князя Одоевского, графа Романа Воронцова, Неплюева, Хитрово и князя Мих. Ив. Шаховского. Но дело обновления Сената не могло бы иметь важных результатов, если б остался прежний генерал-прокурор, сильно одряхлевший фельдмаршал князь Никита Юрьевич Трубецкой; он был уволен от этой многотрудной должности, и на его место назначен человек, известный своей деятельностью, правдивостию и неподкупностию, генерал-кригскомиссар князь Яков Петрович Шаховской; вместо его должность генерал-кригскомиссара получил обер-прокурор Сената Глебов, а обер-прокурором назначен граф Иван Григор. Чернышев.

Как видно, назначению Шаховского в генерал-прокуроры всего более содействовал Ив. Ив. Шувалов. По крайней мере он первый открыл Шаховскому о намерении Елисаветы назначить его на это место. Шаховской, по его словам, отвечал Шувалову, что «сие будет к наибольшему его злополучию», и когда Шувалов стал уговаривать его принять назначение, которое показывает такую великую доверенность к нему императрицы, то Шаховской прямо сказал ему, что в новом чине он будет иметь себе двоих главных злодеев: графа Петра Ив. Шувалова, который привык, не разбирая путей, проводить свои планы во что бы то ни стало, и князя Никиту Трубецкого, которого сменят против его желания. Шувалов представлял на это, что Шаховской во всех нужных случаях найдет защиту у самой императрицы, а «что до того моего брата Петра Ивановича принадлежит, я в том вас уверяю, что он вам препятствием в полезных ваших производствах не будет».

Но столкновения между Петром Шуваловым и Шаховским были неминуемы. Шувалов, подобно многим благонамеренным людям, никак не хотел мешать другим благонамеренным людям в их «полезных производствах», никак не думал мешать и новому генерал-прокурору, когда тот будет хлопотать о введении порядка, быстроты и правды в судах, будет соблюдать экономию в государственных расходах, *если только* он не будет касаться ведомств, управляемых им, Шуваловым, не будет на них распространять своего надзора. Новый генерал-прокурор нашел, что из многих присутственных мест не присылают в Сенат ведомостей и рапортов, и обер-секретарь говорит, что от некоторых мест и требовать отчетов нельзя, как, например, из Монетной конторы и из экспедиции передела медных денег, состоящих под управлением графа Петра Ив. Шувалова. Но Шаховской находит, что можно и должно требовать отчетов и из этих мест, и посылает их требовать. Шувалов, оскорбленный, приезжает в

Сенат и говорит: «Я ни от генерал-прокурора, ни от господ сенаторов, как от своих благосклонных товарищей, никогда таких требований не ожидал; если бы по каким-нибудь сомнениям и захотели посмотреть ведомость о наличных деньгах, то можно бы приватно мне сообщить, я бы велел ее вам показать». «Монетная контора, – говорит Шаховской, – наравне со всеми другими коллегиями и канцеляриями находится в послушании Сенату, и потому я по обязанности своей потребовал и от нее отчета». Шувалов переменялся в лице. «Так это вы, сударь, приказали», – сказал он. «Я, сударь», – отвечал Шаховской. Такие же столкновения и в конференции, куда Шаховской также поступил членом. Ив. Ив. Шувалов должен был вступиться. Учтиво, ласково говорил он Шаховскому: «Брат мой Петр Иванович со слезами жалуется, что вы его гоните». Шаховской просит назначить день для объяснений с графом Петром Ив. в присутствии Ивана Ивановича, который должен решить, кто прав, кто виноват. Иван Ив. соглашается, и в назначенный день оба соперника приезжают к нему и садятся друг против друга. Граф Петр Ив., привыкший, по словам Шаховского, брать верх своим красноречием в рассуждениях и доказательствах, первый начал речь, складывая всю вину на Шаховского. Из собственного рассказа последнего выходит, что красноречие Шувалова сильно раздражило его, а может быть, ему представился московский его дом, наполненный больными из госпиталя. Как бы то ни было, вместо того чтобы прямо отвечать на обвинения Шувалова и представлять каждое дело в свою пользу, Шаховской употребил детский прием брани: «А сам-то ты хорош!» – собрал повторяемые врагами Шувалова слухи, объяснения корыстными побуждениями лучших, полезнейших планов Шувалова, и все это вылил вдруг ему на голову. Вся Россия волнуется от недостатка соли вследствие невольной монополии пермских промышленников; Шувалов предлагает самое простое и действительное средство помочь беде – добывать соль из другого источника, из Элтонского Озера, и беда прекращается. Заслуга бесспорная! Как же представляет ему дело Шаховской: «Вы сделали это для умножения собственных ваших доходов, дабы всех государственных крестьян, которые промышляли поставкою на соляные пермские варницы дров, обратить на рудокопные заводы, из которых лучшие вы взяли себе». Шаховской не пропустил, не запятнавши, и полезнейшего дела Шувалова – уничтожения внутренних таможен. «Вы, – говорит он Шувалову, – освободили чрез это и собственное железо от внутренних пошлин, да, говорят, что по вашему приказанию купцы поднесли императрице бриллиантовые вещи и вам самим бриллиантовую Андреевскую звезду». Разумеется, Шувалов не мог унизиться до ответов на такие речи, не мог унизиться до ответа, что нельзя ему было удержаться от предложения благодетельной для страны меры – уничтожения внутренних таможен потому только, что чрез эту меру и его железо освобождалось от пошлин и т.п. Он встал и, учтиво поклонясь Шаховскому, сказал: «Покорно благодарствую за милостивую вашу мне откровенность, а я уже довольно вижу, как ваше сиятельство имеее особливый дар своими доказательствами поверхность брать и слушателей к своим мнениям склонять». Шаховской не понял иронии последних слов и простодушно описал в своих записках это свидание, выдавши себя Шувалову головою перед потомством, перед которым осталось скрыто, как оправдывал Шувалов свои столкновения с Шаховским в Сенате и конференции.

Новый генерал-прокурор начал опять настаивать, чтоб члены присутственных мест приезжали в указные генеральным регламентом часы. Но Канцелярия конфискации донесла, что хотя она и должна штрафовать всех воевод, которые приезжают не в указные часы, однако к наложению штрафов имеет сомнения: 1) по генеральному регламенту велено съезжаться в самые короткие дни в шестом, а в долгие в осьмом часу; только по которое именно время короткие и долгие дни числить, на то точного изъяснения нет. 2) Из разных городов пишут, что воеводы в канцеляриях находились, а в котором часу приходили и выходили, о том за неимением в тех городах часов писать не с чего. 3) В Гремячевской воеводской канцелярии во многих числах присутствия не было за неимением судных и розыскных дел, и за такие неприяствия штраф взыскивать ли? Канцелярии конфискации с этим делом справиться нельзя за малоимением секретарей и приказных, ибо во всем государстве, кроме остзейских, Сибирской и Оренбургской губерний, городов, пригородов и дистриктов 250, из которых каждую треть по такому же числу и репортов вступать должно. Сенат по этому доношению приказал: где часов нет, там держать песочные часы; где присутствия не было за неимением дел, там штрафов не взыскивать; могут приезжать и после означенного в регламенте времени по неисправности часов, но чтоб все приезжали непременно в одно время и оставались в присутствии столько времени, сколько назначено регламентом, а по нужде и сверх определенных часов, чтоб в делах упущения не было.

Заметим важнейшие случаи судебных решений. Мы упоминали о самом крупном деле из ряда помещичьих усобиц и наездов: о деле Львовых с Софоновым, где погибло столько крестьян. Наряжена была особая комиссия по этому делу; но Львовы с Софоновым помирились и просили об уничтожении комиссии. Сенат отвечал: хотя они между собою и помирились и Софонов Львовыми в иску своем удовольствован, однако учиненных ссор, драк и смертных убийств без следствия оставить нельзя и, кто по следствию окажется виноват, с тем поступить по указам. Юстиц-коллегия прислала экстракт из дела: люди драгунского Воронежского полка полковника Тимофеева с пыток показали, что они задавили полковничья человека Полякова по приказанию полковника за связь его с женою последнего, а полковница к тому убийству согласия с ними не имела: убийство они совершили в то время, когда полковница пошла в клеть, где жил Поляков, и, вызвав из клетки жену Полякова, ввела ее в черную избу; они воспользовались этим временем, вскочили в клеть и задавили Полякова; это было в полночь, что и навело подозрение на барыню; кроме того, она приказала вырыть тело Полякова из омшенника и отнести в лес. Полковница говорила, что она вызывала жену Полякова в черную избу для хозяйственных распоряжений и, узнав об убийстве, приказала тело отрыть и похоронить при церкви; не донесла об этом, боясь мужа, но сказала тайно духовнику. Воронежская губернская канцелярия и Юстиц-коллегия присудили полковницу пытать; но Сенат приказал о пытке мнение Юстиц-коллегии отставить, ибо в Уложениях доносам крепостных людей верить не велено, и полковницу Тимофееву, как много лет под караулом содержащуюся, освободить без всякого штрафа, ибо она наказана держанием под караулом за то, что, зная об убийстве, не доносила, да ей и сделать этого не надлежало.

По-прежнему из внутренних дел больше всего беспокоили правительство крестьянские волнения. Усмирены были крестьяне, приписные к шуваловским железным заводам в Казанском уезде. Для охранения крестьян Кадомского уезда как безгласных от обид и разорений, по их собственному прошению Сенат назначил в управители к ним отставного прапорщика Жданова. Галицкой провинции в селе Егорьевском крестьяне перестали слушаться помещика своего Тараканова; послан был к ним комиссар с командою и понятыми и читал печатный указ в церкви; но крестьяне объявили, что указ состоялся по челобитной помещика их и потому они его и слуг его и вперед ни в чем слушаться не будут; собралось в Егорьевском крестьян с дубинами и длинными ножами до 300 человек, комиссара с командою выслали вон и больше об указе говорить ему не велели. В Арзамасском уезде возмутились крестьяне помещика Бессонова.

Но больше было дела с монастырскими крестьянами: в начале года поступили в Сенат четыре жалобы крестьян разных монастырей на незаконные поступки, разорения и мучительство от монастырских властей, управителей и служек; крестьяне писали, что били челом архиереям и в Синод, но управы не получили. Потом из Кабинета пересланы были в Сенат просьбы крестьян Кашинского уезда вотчин Колязина монастыря, Шацкого уезда вотчин Новоспасского монастыря, Белевского уезда вотчин Спасопреображеньева монастыря, Ярославского уезда вотчин Спасоярославского монастыря, Муромского уезда вотчины соборной муромской церкви. От Кабинета было сообщено, что челобитчики, выборные от мира крестьяне, все вместе, должно быть, от нестерпимых обид отважились с великим криком подать свои просьбы самой императрице, и хотя запрещено подавать просьбы самой императрице, однако она их прощает и приказывает немедленно окончить их дела. Кроме того, поданы были жалобы от крестьян Иосифова монастыря Волоцкого и других. Сенат объявил Синоду, что хотя жалобы этих крестьян без исследования прямо и нельзя признать справедливыми, однако если б не было им излишнего отягощения, то не стали бы жаловаться без причины. Крестьяне Иосифова монастыря сами просят, чтоб по их делу была учреждена особая комиссия, и так как уже существует комиссия по делу крестьян Новоспасского монастыря, то решено передать ей же и рассмотрение жалоб остальных монастырских крестьян. В комиссию назначено четыре светских члена, а Синод пусть назначит от себя членов, сколько заблагорассудит.

Крестьяне Саввина Сторожевского монастыря не ограничились подачею просьб: собравшись человек до 300, они пришли под монастырь с дубьем и просились у сторожей, чтоб их пропустили к казначею; ворота, разумеется, заперли; тогда они стали в них ломиться, крича, чтоб выдали им приказного, певчего да конюха, грозясь убить их до смерти. Потом вторично собрались до 2000 человек и расположились около монастыря по всем дорогам, осматривали проезжих, искали троих крестьян, взятых под монастырем посланною от Синодальной конторы военною командою, кричали, что если им не отдадут этих крестьян и требуемых ими приказного, певчего и конюха, то они военную команду не только из монастыря не выпустят, но и перебьют. Послан был против них капитан с сотнею солдат. Синод доносил, что возмущение это произведено двоими бежавшими из монастыря монахами и когда этих монахов поймали, то крестьяне отбили их и осадили монастырь. Капитан не застал крестьян под

монастырем, но уже за монастырскою слободкою; они напали на команду и двоих солдат ранили; команда должна была стрелять пулями, но от ярости нападающих крестьян отступила к монастырю, причем из команды было ранено 30 человек. Сенат приказал отправить еще 200 человек солдат с штаб-офицером и от Синода требовать, чтоб велел священникам уговаривать крестьян смириться.

Волнения монастырских крестьян должны были двигать тяжелый вопрос об изменении управления церковными имуществами и доходами с них. 3 июля Сенат в силу именного повеления императрицы имел рассуждение о монастырских крестьянах и собираемых с них доходах и об учреждении инвалидных домов, причем призван был обер-прокурор Синода князь Козловский и объявил, что Св. Синод имеет намерение на содержание инвалидов отпускать по 200000 рублей в год, а может быть, и больше. Затем 6 октября была у Сената конференция с Синодом. Вошел в Сенат Димитрий (Сеченов), архиепископ новгородский, Сильвестр петербургский, Вениамин, епископ псковский, Порфирий коломенский. Генерал-прокурор князь Шаховской предложил, что 30 сентября 1757 года императрица приказала иметь рассуждение о монастырских и архиерейских доходах, и только 24 июля 1760 года была по этому делу конференция у Сената с Синодом, однако никакого решения не утверждено и не подписано, почему он, генерал-прокурор, видя, что именной указ три года не исполняется, долгом своим считает предложить общему собранию учинить точное исполнение, изыскав ближайшие средства. Синодальные члены объявили, что они утверждают на своем мнении, высказанном 24 июля, а именно: 1) если определить к управлению и сбору доходов в архиерейские и монастырские деревни офицеров, то от них последует наибольшее деревням разорение, и оттого между офицерами и монастырскими властями будут всегдашние беспокойства и затруднения, как то и было, когда деревни ведались в Монастырском приказе, почему в 1720 году Петр Великий обратно отдал их в монастыри. 2) За прошлые годы на учреждение инвалидных домов и содержание отставных взysкать денег нельзя, потому что не было никакого расположения на все монастыри, по скольку где содержать отставных, а всегда и ежегодно присылаемые на пропитание в монастыри отставные принимались и от монастырей были довольствованы и довольствуются, и, сверх того, отсылаются некоторые доходы в экономию на указные расходы, известий же о всех собираемых доходах и сделанных поступках, и всего этого по заочности и отдаленности нельзя, если же производить счет и следствие, то настоящие власти за умерших ответа дать не могут. 3) Содержащиеся при монастырях отставные жалуются на монастырские власти, а власти на отставных в излишних требованиях и неумеренных поступках, и всего этого по заочности и отдаленности епархиальным архиереям усмотреть и отвратить нельзя. В отвращение этого Св. Синод полагает, чтоб отставных при монастырях вовсе не содержать, а вместо того положить всех архиерейских и монастырских крестьян в помещичий оклад, и из этих денег Св. Синод будет отпускать ежегодно по 300000 рублей да, сверх того, в экономию на указные расходы, как-то: на Синод, палестинские дачи, содержание богаделен, госпиталя и проч. до 60000 рублей, наконец, с вечных памятней и из типографских доходов Св. Синод будет дополнять, чтоб означенной суммы на те расходы доставало, а вотчинам быть в управлении архиерейских домов и монастырей по-прежнему с обязанностию содержать архиерейские дома с семинариями и в монастырях поддерживать все

тамошние постройки. Если же всего вышеписаного ее импер. величество в апробацию принять не соизволит и какое высочайшее повеление последует, по тому Св. Синод непременно исполнять имеет.

Но чрез несколько дней после этого заседания как нарочно приходит известие об усобице между монастырями по поводу владения вотчинами. Отставной поручик Карманов, гвардии сержант Сукин и два солдата, находившиеся на пропитании в Новоспасском монастыре, донесли, что они посланы были от этого монастыря для присмотра над монастырскими крестьянами, косившими луг, находящийся в Московском уезде на речке Голедянке; но когда, скося траву, они намерены были ее везти в монастырскую конюшню, то наместник Андроньева монастыря Маркелл, собравшись многолюдством с монастырскими слугами и крестьянами, безо всякой причины напал на служителей и крестьян Новоспасского монастыря, и у некоторых из них поломали руки, и пробали головы, и ограбили; Карманов с товарищами бил челом в Синодальной конторе и Московской консистории, но их прошений не принято.

Дело о притеснениях татар и бухарцев тобольским епархиальным начальством не было розыскано смешанною комиссиею из духовных и светских лиц, потому что члены комиссии перессорились, и Сенат должен был закрыть комиссию, оштрафовавши ее членов, и передать дело на рассмотрение новому сибирскому митрополиту и губернской канцелярии.

Далее на восток, в Иркутске, была также комиссия по делу о расхищении купцами этого города питейных сборов на сумму 150000 рублей. Купцы повинились и прислали челобитную, что половину этих денег заплатят, но другой половины заплатить не могут, ибо, кроме домов и пожитков, у них ничего не останется. Сенат решил не взыскивать другой половины и не подвергать их никакому наказанию. При следствии вице-губернатор генерал-майор Вульф и товарищ его полковник Слободской извинялись незнанием приказных дел. Но скоро нужно было наряжать особую комиссию для исследования поступков председателя этой иркутской комиссии коллежского асессора Крылова. В Сенат дано было знать, что этот Крылов позвал к себе в гости иркутского вице-губернатора Вульфа, затащил его в комиссию, отобрал у него кортик, потом вытолкал оттуда и провозгласил себя управляющим губерниею. Сенат послал курьера привезти Крылова в оковах в Петербург. Между тем Крылов прислал донесение, что был он с Вульфом в гостях у купца Зайцева и он, Крылов, секретаря Иркутской канцелярии Брусенцова за неучтивые слова от себя оттолкнул, а Вульф, вскоча азартно, выдернул из ножен кортик и поколол его, Крылова, в руку. Потом они все вышли из дому, и Крылов потребовал от Вульфа, чтоб тот шел с ним в комиссию, где Крылов спрашивал у Вульфа, для чего он такое злодейство над ним учинил, и Вульф отвечал, что он пруссак; тогда он, Крылов, боясь, чтоб Вульф его до смерти не заколол, потребовал от него кортика, который Вульф и отдал. Сенат не переменял своего решения, и мы услышим еще о других деяниях Крылова.

И в Сибири не обошлось без крестьянского восстания. В Ялуторовском уезде крестьяне подали прошение, что они от казенной пахоты и от снятия хлебов отказываются. Послан был увещевать их прапорщик с командою, и когда зачинщиков начали брать, то крестьяне ударили на команду с дубинами, отбили старосту и прочих зачинщиков, всю команду разбили, прапорщика дубиною по

лицу ранили, причем у крестьян были ружья и штыки; дьякон Курганской слободы по выходе от заутрени всенародно кричал, что зло злом и искоренять надобно, а поп Иосиф пускал крестьян на колокольню, объявляя, что она строена ими. Сенат приказал объявить крестьянам, чтоб были послушны, а губернатору рассмотреть, удобно ли иметь пахоту земель или вместо того оброчный хлеб собирать с крестьян; пуших заводчиков бить плетьюми и сослать в Нерчинск на работу; о попе и дьяконе послать ведение в Синод.

Сибирь становилась все важнее и важнее по своим подземным богатствам, которые возбуждали большие надежды, особенно при тогдашних затруднительных финансовых обстоятельствах вследствие затянувшейся войны. Эти обстоятельства заставили обратить внимание и на противоположную, западную окраину, нельзя ли из остзейских областей и русской Финляндии получить больше, чем сколько теперь получалось. По этому поводу вышло столкновение у Сената с конференциею. В Сенате получен был экстракт из протоколов конференции о сборах с Лифляндии, Эстляндии и Финляндии; спрашивалось: какие эти области несли тягости прежде, под шведским владычеством, и что теперь с них получается? В заключение требовалось, чтоб Сенат, рассмотря все это и положив свое мнение, подал в конференцию. Сенат приказал отвечать: в конференцию сообщить экстракт из протокола, что надобные по этому делу известия и справки собраны, по которым Прав. Сенат рассуждение имел, но решение не состоялось, во-первых, потому, что собрание сенаторов было неполное, а во-вторых, потому, что Прав. Сенат, как первое государственное место, кроме ее импер. величества, не обязан никому свои мнения подавать, к тому ж господа конференц-министры все сами присутствующие в Сенате, следовательно, то дело, как государственное, должно решить всему Сенату в полном собрании. Подписали: Неплюев, кн. Алексей Голицын, кн. Одоевский, Жеребцов, граф Роман Воронцов, Костюрин, кн. Михаил Шаховской.

Глава шестая

Окончание царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1761 год

Желание мира, выраженное в праздновании Нового года. – Денежные расчеты для наступающей кампании. – Французские предложения о мире и переговоры по этому поводу между союзниками. – Неудачные действия Бутурлина. Он отступает, оставив корпус Чернышева действовать вместе с австрийским корпусом Лаудона. – Взятие Швейдница Лаудоном при помощи русских. – Измена Тотлебена. – Разрыв мирных переговоров между Францией и Англиею. – Перемена в английском министерстве, благоприятная для союзников. – Желание мира в Швеции. – Усиление французского влияния в Польше. – Договор между Пруссиею и Турциею. – Выходка датского двора относительно голиштинского дела. – Отчаянное положение Фридриха II. – Взятие Кольберга Румянцевым. – Болезнь и кончина Елисаветы. – Значение ее царствования. – Внутренние правительственные распоряжения в последний год царствования Елисаветы.

Сильное желание кончить тяжкую войну выразилось в праздновании нового, 1761 года: в первом действии фейерверка, сожженного 1 января перед дворцом, изображался Новый год в виде крылатого юноши, который, принося в дар венец лавровый и *ветвь масличную*, стоял на завоеванных неприятельских оружиях и штандартах и знаменах, а перед ним лежали ключи и герб королевского прусского и бранденбургского столичного города Берлина. «Чрез сие показуется, – говорилось в газетах, – что всемилостивейшая наша государыня одержанные преславные ее оружием победы и славу приобретенную единственно только к тому употребляет, дабы чрез оные вожделенный мир и тишину всеместную поспешить и восставить».

Но надобно было употребить еще новые усилия для приобретения желанного мира, И прежде всего надобно было позаботиться о деньгах для войска. За прошлый год не дослано было более 300000 рублей; подтверждено отправить их как можно скорее. Жалованная сумма на 1761 год определена была в комиссариате в 1465728 рублей; Бутурлин требовал два миллиона тридцать одну тысячу; ему отвечали: «Понеже и такого полного комплекта нет, какой вы полагаете, то и сего, конечно, довольно будет, когда токмо вся определенная сумма исправнее прежнего доходить будет, о чем мы крайне стараться станем, тем наипаче что вы в те ж два миллиона положили до 300000 на чрезвычайные расходы, кои из другой суммы взяты быть имеют, дабы комиссариат толь больше оставался при строгом наблюдении своих регул». На провиант для всей армии Бутурлин положил 1122488 рублей; ему отвечали: «От неполного комплекта людей и при упадающей иногда цене надобно быть значительным остаткам; но мы теперь делаем исчисление не на год, а на кампанию. Сколько надобно с выступления армии в поход, то в вислянских магазинах теперь почти столько есть; недостает на содержание назначенных в Померанию полков, неостанет несколько и на Висле, особенно для того, чтоб взять с собою на месяц и оставить еще на месяц там; но это не составит значительной суммы, и мы уверены, что вы исправитесь или забранием под квитанции, или подрядом и покупкою, употребляя 1) переделываемые в Кенигсберге 200000 рублей на прусские деньги; 2) прочие теперь в провиантском правлении находящиеся деньги; 3) взятые недавно из Кенигсберга 60000 и 4) выручаемые за проданный в Данциге берлинский вексель 150000 талеров. Если вы успеете этими деньгами пробиваться до выступления армии с реки Вислы в поход, то никакого сомнения нет, что во время кампании в деньгах недостатка не будет и военные действия не будут подвержены никаким остановкам и промедлениям, потому что известный здешний субсидный миллион рублей доставится вам весь сполна, а первая половина его очень скоро; из нее надобно вам прежде всего отделить достаточную сумму на заготовление впредь по плану операций магазинов, а прочее употреблять на другие провиантские расходы. Потом из данных нами тысячи пуд серебра выйдет прусских денег с лишком миллион рублей. Если положить шесть месяцев кампании и на каждый – 25000 четвертей хлеба и на каждую четверть положить по пяти рублей, то надобно только 900000 рублей; нет тут круп, овса и сена, но никогда хлеб и не становился так дорог и никогда его столько не было надобно; также не считается, что в неприятельской земле как бы то ни было может быть получено. Но пусть и ровно в миллион станет шестимесячная кампания относительно провианта и фуража, то

все же остается у вас еще миллион на прочие расходы. Что касается гусарских порций, на которые вы требуете теперь с лишком 600000 рублей, то казна наша таких расходов никогда вынести не может, да и крайне несправедливо было бы такие суммы понапрасну тратить, и потому надобно всегда содержать их в неприятельской земле или принять такие меры, чтоб они получали содержание свое из магазинов, да и вообще рассмотреть, не следует ли им быть на совершенно другом основании, ибо прежние штаты составлены так, как будто им всегда в Украине стоять или только в турецких степях воевать. Если не будет способа питать их на счет неприятеля, то не останется ничего другого, как возратить их всех на Украину, и вместо их умножить число козаков. На чрезвычайные расходы надобна вам значительная сумма: на это определяем мы все то, что очистится от известного берлинского миллиона талеров, да и все будущие контрибуции, если всевышний благословит наше оружие».

25 января отправлен был Бутурлину *секретнейший* рескрипт: «Теперь миновались или скоро могут миноваться те обстоятельства, для которых мы были принуждены стараться о сохранении Пруссии в хорошем состоянии; наступают такие обстоятельства, при которых надобно заботиться только о том, чтоб армия наша была снабдена всем потребным и королю прусскому была страшна. Поэтому повелеваем вам: 1) собрать с Пруссии все нужное число извозчиков из людей домовитых и с поруками; конечно, в 1759 году сбор их не много принес пользы, нам доносили, что они разбежались; но, кроме того что теперь при хорошем надзоре и порядке этого нельзя опасаться, мы знаем, что и тогда не столько разбежались, сколько были распущены из мерзкой корысти. 2) Если недостающее в полках число людей можно пополнить денщиками, то и на их места надобно взять с Пруссии же из детей таких отцов, которые живут домами, с обнадеживанием как денщикам, так и извозчикам, что по окончании кампании будут отпущены обратно по домам».

Какие же это были новые обстоятельства, которые не позволяли более щадить Восточной Пруссии, т.е. отнимали надежду оставить ее за Россию?

11 января вечером приехал к канцлеру французский посол с депешою от герцога Шуазеля, в которой говорилось, что французский король по состоянию своих владений непременно желает мира; при этом посол представил следующую декларацию с требованием скорого на нее ответа: «Достоверно известно, что силы короля прусского так истощены, что если бы не помогала ему Англия, то он принужден был бы дать все те удовлетворения, которых дает право требовать от него его несправедливое нападение; но и при английской помощи изнеможение этого государя так очевидно, что державам, соединившимся для восстановления тишины и сохранения права, пока союз их пребудет непоколебим, нечего опасаться, чтоб король прусский осмелился после мира возмутить покой и законы имперские новыми нападениями. Король (французский) не предвидит возможности, чтоб будущая кампания могла привести союзников в лучшее пред нынешним состояние. Не должен король скрывать от верных своих союзников, что он принужден уменьшить свое вспомогательное войско и что продолжение войны крайне истощает доходы его государства, так что он не отвечает за возможность точного исполнения принятых с союзниками обязательств. Король надеется, что ее императ. величество принесет в жертву этому великому делу

собственные свои интересы, точно так как и король намерен жертвовать своими интересами».

На другой день, 12 января, Эстергази сообщил канцлеру рескрипт Марии-Терезии от 1 января по поводу французской декларации, что необходимо стараться о заключении мира, если можно, нынешнею зимою. «Будущий мир может быть троякий, – говорилось в рескрипте императрицы-королевы, – 1) *добрый*, когда мы и союзники наши достаточное удовлетворение получим, следовательно, опаснейший наш неприятель будет приведен в надлежащие пределы; 2) *посредственный*, когда только некоторая часть положенного удовлетворения будет получена и неприятельская сила будет уменьшена только до некоторого градуса; 3) *худой*, когда прусский король без потери земель и без значительного убытка выйдет из войны, начатой таким продерзостным образом. Продолжение войны представляет надежнейший способ для доставления тишины и безопасности нам и союзникам нашим, и легко рассудить, что оказываемая теперь податливость к миру нам очень прискорбна. Но делать нечего, надобно обращать внимание и на положение союзников, и мы готовы на мир, если разумеется мир по крайней мере посредственный, а не худой, и потому мы приказали объявить французскому послу, что в рассуждении нынешних обстоятельств мы не настаиваем на приобретении всей Силезии и графства Глац, но будем довольствоваться некоторою частью, если бы чрез это до наступления кампании мог быть заключен мир. Между тем мы для заключения порядочного мира почитаем необходимым учреждение конгресса, на котором не только с неприятелями, но и с приятелями можно гораздо удобнее стовариваться, а притом и много времени будет выиграно».

30 января барон Бретейль сообщил, что с согласия римского императорского посла герцог Шуазель поручил генуезскому министру Собре, отъезжающему в Лондон для поздравления от имени своей республики нового английского короля Георга III с восшествием на престол, сделать слегка английскому министерству некоторые внушения насчет восстановления общего мира; но Бретейль прибавил, что и сам герцог Шуазель не очень надеется на успех по неважности значения Собре, а хочет только разузнать виды и склонности английского двора. Король приказал ему, Бретейлю, представить ее императ. величеству, не соизволит ли приказать князю Голицыну в Лондоне подкрепить сделанные герцогом Шуазелем английскому двору мирные предложения, вследствие чего герцог прямо отнесется письмом к государственному секретарю по иностранным делам Питту, но это письмо вручится прежде князю Голицыну как министру державы, союзной с Франциею и дружественной Англии; а Голицын с своей стороны как можно сильнее подкрепил бы содержание этого письма и постарался бы исходатайствовать скорый ответ, по которому можно было бы начать мирную переговоры.

1 февраля последовал русский ответ. «Конечно, – говорилось в нем, – никто не будет спорить, что если надобно желать скорого мира, то заключить надобно только мир честный, прочный и полезный. Без сомнения, и его величество король французский одного с нами мнения. Если б надобно было говорить об одном прочном и честном мире, то план был бы уже готов: надобно было бы доставить императрице-королеве всю Силезию и графство Глац; Швеции – Померанию, обещанную ей французским королем и Австриею в Стокгольмской конвенции 22

сентября 1757 года; датский двор утвердить в системе союза насчет прусского короля; польского короля не только достойно вознаградить, но и привести в такое состояние, чтоб отовсюду открытые его земли не легко могли найтись в обстоятельствах, подобных нынешним; Англию не только принудить к справедливой сделке в американских делах, но и уступить Франции остров Минорку, да и наши убытки на счет общего неприятеля так вознаградить, как того требует наше достоинство, поданные от прусского короля причины к жалобам, сильное наше содействие в войне и будущая наших союзников польза и безопасность. Но так как надобно рассуждать столько же о возможности и великих трудностях, представляющихся для полного достижения всего вышеозначенного, то по меньшей мере необходимо стараться о том, чтоб король прусский существенно был ослаблен в своих силах и Англия чрез это потеряла сильное свое влияние в делах твердой земли, а союзники хотя бы в том нашли вознаграждение за свои убытки, что могли бы трудиться спокойно и безопасно над восстановлением благосостояния своих государств. Действительно, сила короля прусского теперь уменьшена: нет уже у него тех армий, с которыми он надеялся стоять против всех. Но когда после Пальцигской и Франкфуртской битв, после потери Дрездена, после максенского дела и, наконец, проведя всю зиму в поле под ружьем, нашелся, однако, он в состоянии, потеряв в начале минувшей кампании целый корпус генерала Фукета, не только показаться в поле, но и опять дела свои поправить, и в то время как дела его все же приходят день ото дня в худшее состояние, а, наоборот, войска союзников приходят в лучшее и по меньшей мере дошли до того, что у последнего солдата истребилось неосновательное мнение о непобедимости прусских войск, — когда при всем том встречаются такие трудности в достижении принятых намерений, то легко заключить, что уменьшение сил короля прусского есть только кратковременное и такое, что если им не воспользоваться, то он усилится более прежнего. Когда среди такой свирепой войны, когда при непрерывном упражнении всех его войск, когда почти все его соседи враги ему, находит, однако, он способ ужасные уроны в своих армиях пополнять с невероятною скоростию, то в какое состояние приведет он свое войско в два года мира, если в его руках останутся те же средства? Тогда будет зависеть от его благоусмотрения, с кого начать из имперских князей, принимавших против него участие в нынешней войне, чтоб отомстить за это, показать всю свою силу и научить, чтоб империя не смела больше давать против него своих контингентов. Святость вестфальских договоров не могла воспрепятствовать нынешней войне. Союз великих держав его не устрасил, а впредь еще меньше устрасить может. Вооруженные и одним духом мужества и твердости руководимые державы не положили достаточных пределов ему, приведенному в слабость: могут ли они обуздать государя, жертвующего всем одной славе, когда Франция будет обращать все свое внимание на поправление флота и дел своих в Америке и, может быть, сократит свои сухопутные силы; когда императрица-королева будет принуждена сделать то же самое, иначе мир ничем не различался бы от войны; когда король польский станет только собирать разбежавшихся своих подданных, а мы свою армию расположим на обширных пространствах империи? Мы можем чистосердечно сказать, что крайне трудно становится нам продолжение войны; но если б при нынешнем желаемом мире от поспешности или по другому несчастию не было принято мер против новой

войны, которая действительно вскоре возгорелась бы, то мы чрез несколько лет не будем в состоянии опять такую же армию привести к реке Одере, какая там теперь была, хотя б получили большие миллионы субсидий, ибо не всегда быть может готовая армия в Лифляндии. Когда подробнее рассмотреть вопрос об ослаблении короля прусского, то, к крайнему сожалению, надобно признаться, что самые к нему вопиющие несправедливости и бесчеловечия находят ему приверженцев и защитников, что при всем своем изнеможении и после больших ошибок стал он, однако, выше прежнего во мнении людей, судящих по наружности; стал он велик тем, что так долго мог противиться таким сильным державам, и станет несравненно выше, когда при мире ничего не потеряет. О датском дворе мы ничего упоминать не будем и оставляем его христианнейшему величеству рассудить, в каких обстоятельствах и склонностях надобно быть этому двору, если король прусский останется в нынешнем состоянии сил своих. Полезная благосостоянию Европы политика Оттоманской Порты – не мешаться в дела воюющих между собою христианских держав – ожидает только минуты заключения мира, чтоб или тотчас с презрением отвергнуть предложения короля прусского, приведенного в слабость, или с радостью принять их, если б он сохранил всю свою силу и тем приобрел новое значение. Думать об этих предосторожностях побуждает нас не собственный односторонний интерес: наши границы обширны и окружены многими соседями; однако положение их таково, что может причинять нам только много досад и хлопот, но существенной опасности редко можно ожидать. Совершенно иное положение наших союзников, особенно императрицы-королевы: она может тотчас с двух сторон подвергнуться нападению в самом сердце наследственных владений и не получит ниоткуда скорой помощи. Итак, существенный только интерес наших союзников заставляет нас с такою ревностью говорить об уменьшении сил короля прусского. Но Франция находится совершенно в других обстоятельствах, чем мы. Сколько бы Англия ни жертвовала для сохранения короля прусского, всегда она этим больше приобретает, чем теряет. Как бы американские и в других частях света дела хорошо и решительно окончены ни были, но если Англия сохранит свое влияние на твердой земле Европы и не будет опасаться за свои германские владения и за своих союзников, то она найдет довольно предлогов привести в упадок исправляющийся французский флот, отдаленные колонии и вообще торговлю. Таким образом, прочность будущего мира и безопасность всех союзников зависят от существенного ослабления короля прусского; это должно быть первым и главным основанием мира; но как достигнуть этого ослабления?

Императрица-королева не будет настаивать на приобретении всего того, на что она имеет неоспоримое право; но так как она сделала уже некоторые завоевания в Силезии и можно надеяться, что в будущую кампанию сделает еще больше, то нельзя, чтоб неприятели, если искренно желают мира, не сделали ей здесь уступок; равно как можно смело надеяться, что если б мир остановился за какою-нибудь малостию, то ее величество скорее уступит ее, чем решится на продолжение войны. Король польский, как курфюрст саксонский, подвергся такому несправедливому нападению и земли его так бесчеловечно разорены, что сами неприятели не могут не признать справедливым доставить ему пристойное вознаграждение. Это вознаграждение не может состоять в одних деньгах, тем более что нельзя ручаться, что деньги будут выплачены, особенно если их будет

много, и потому сверх княжества Магдебургского и прусских владений в Лузании надобно доставить польскому королю все, что только можно приобрести ревностным и единокорным старанием всех дворов. Швеция должна приобрести что-нибудь в Померании, получить там лучшее округление границ.

Мы со своей стороны за лучшее приобретение от этой войны почтем то, если силы короля прусского будут существенно уменьшены и мы будем в состоянии положиться, что война не скоро опять вспыхнет, будем покойны несколько лет, не будем принуждены подавать нашим союзникам для нас тягостную, а для них иногда позднюю помощь. Мы уже прежде объявили, что желаем получить провинцию Пруссию, имея на нее полное право: она завоевана нами у такого неприятеля, который сам нам объявил войну, потом она не принадлежит к Римской империи. Мы хотим получить эту провинцию вовсе не для распространения и без того обширных границ нашей империи и не для вознаграждения за убытки, ибо владение Пруссиею было нам в тягость, но единственно для того, чтоб надежнее утвердить мир, а потом, уступив ее Польше, окончить этим многие взаимные претензии, несогласные с истинным нашим желанием ненарушимо сохранять эту республику в тишине и при всех ее правах и вольностях. Такое желание не может быть отвергнуто, тем более что и королю прусскому эта озерами и болотами наполненная провинция большой в силах разницы не сделает. Могут возразить одно, что король прусский по своему упорству скорее решится на все крайности, чем согласится на уступку ее; но на его упорство не обязаны мы отвечать всегдашним снисхождением. Впрочем, если мирное дело пойдет по желанию и главная цель – ослабление короля прусского – будет достигаема, и если при этом оказалось бы, что доставление нам Пруссии крайне затруднительно, и если мы усмотрим, что, жертвуя нашими правами на Пруссию, можем улучшить мирные условия для всех союзников, особенно же для Франции, то мы уступим Пруссию; но тогда верные союзники, разумеется, должны доставить нам равносильное вознаграждение».

Иностранная коллегия должна была сообщить копию с этой декларации и графу Эстергази, присоединив к ней следующую записку: «Императрица-королева по своей справедливости признать изволит, что нынешний поступок мало соответствует нашей искренности. Мы никогда и никакого дела не начинали с Франциею, о котором бы наперед не соглашались с императрицею-королевою и которого бы часто не оставляли совершенно ее руководству и благоизобретению. К нам, напротив того, приходит все не только согласенное уже предварительно с Франциею, но часто в такое время и таким образом, когда иных решений и принимать уже некогда. Способствует тому близкое расстояние дворов, и новость политических и кровных союзов с Франциею обязывает ко многим *менажементам*, в чем мы и не имеем ни малейшей зависти; но дела, столько же и до нас, сколько до Франции, касающиеся, могли бы по меньшей мере в одно время и нам быть объявляемы Довольно, что по расстоянию мест. позже услышим и позже принять можем решение. Пускай отвергнутые предложения прусского полковника Шверина ничего не значат, хотя и те месяцем ранее были сообщены версальскому двору; но что касается действительных предложений о мире, то мы никогда не ожидали б, чтоб не только в свое время от нас это было скрыто; но и теперь, когда дело почти идет к концу, только некоторое неполное и такое сведение нам было подано, которое могло только нас смутить, а не облегчить

принятие прямых и самой императрице-королеве полезных решений. Никакие доказательства не принудят нас поверить, что о главных пунктах без нас уже согласились или думают привести нас к готовому уже мирному трактату; однако если б это сверх нашего ожидания случилось, то мы наперед объявляем, что хотя бы самые лучшие и такие для нас условия там были внесены, каких только можно желать, то мы к такому миру никогда не приступим, откажемся от всяких выгод и найдем случай заключить с прусским королем особый мир; пусть останется нам хотя слава, что, бывши победителями, победами удовольствовались и побежденным мир даровали, а законов не приняли. Империя наша, слава Богу, в таком состоянии, что не может много опасаться отмщения короля прусского, и он, конечно, первый будет искать нашей дружбы. Напротив того, если мирное дело пойдет надлежащим и с достоинством союзников сходственным порядком и с нами будут поступать с такою же искренностью, с какою мы поступаем, то императрица-королева может верно полагаться, что их труды, опасности, утраты, приобретения – все охотно разделять будем».

Получив эти две бумаги, на другой день, 3 февраля, Эстергази явился к канцлеру с изъяснениями на их счет. Он начал изъяснением величайшего удовольствия относительно русского ответа на французское предложение: ответ, по его словам, основан на правилах здравой политики и вполне согласен как с достоинством самой императрицы, так и всех ее союзников. Вслед за этим посланник переменил лицо, сделав его выражение горестным, и объявил, что, как он обрадовался ответу, так точно опечалился запискою, назначенною для его двора, потому что в ней явно упрекается императрица-королева, будто бы с ее стороны к русскому двору показана неполная откровенность и без предуведомления приняты с Франциею тайные постановления; в записке заключается и угроза, что императрица принуждена будет, жертвуя от войны и союза ожидаемыми выгодами, помышлять о других мерах, тогда как он, Эстергази, имеет в руках неопровержимые доказательства искренней дружбы своей государыни к ее императорскому величеству, вследствие которой она никогда не скрывала и скрывать не будет от такой верной союзницы не только поступков, но и видов своих, ибо на сильное содействие всероссийской императрицы государыня его полагает всю надежду будущего мира и благополучия своих подданных. В доказательство, как невинен его двор в приписываемых ему русскою запискою поступках, Эстергази прочел канцлеру две промемории, поданные в Вене французским послом, и копию отправленной по этому поводу инструкции в Париж графу Штарембергу. В первой французской промемории изъяснялось, почему надежнее и выгоднее производить мирные переговоры на двух конгрессах, в Париже и Лондоне, представлялись причины, почему никому из союзных дворов эти важные дела поручить нельзя, а именно: Саксония требует себе через меру больших удовлетворений и при несчастиях своих не в состоянии придать переговорам надлежащую силу. Швеция неспособна по образу своего правления. Россия очень далеко, и, сверх того, дела касаются двойной войны, из которых она участвует только в одной; сверх того, имея в Петербурге английского министра и торговый договор с Англиею, Россия не могла бы взять на себя поддержку интересов Франции против британского двора, не упоминая уже о том, что надобно было бы тратить драгоценное время на объяснение русскому министерству взаимных английских и французских

претензий в обеих Индиях. Австрийский двор, как и Россия, принимает участие в одной немецкой войне, Англия – в одной морской. В рассуждение этих обстоятельств Франция объявляет свою готовность принять на себя переговоры. Первое предложение неприятелям могло бы состоять в том, чтоб оставить дела в настоящем их положении. Шведский народ, как высокомерный, можно ласкать честью, что он исполнил ручательство вестфальских договоров, а Франция для восстановления в стокгольмском банке кредита дозволила бы субсидии; этим и пресеклось бы главное нареkanie на Сенат, происходящее не столько от несчастной войны, сколько от государственного истощения. Россия удержала бы свои завоевания, а, чтоб отнять у нее охоту искать английских субсидий, король французский предложит ей свои субсидии и, кроме того, поручится, что ее не будут беспокоить за нажитые в Польше в нынешнюю войну долги и что будет произведено в действие разграничение со стороны Украины. О короле польском употребить общее старание при мире, выговоря наперед, чтоб Саксония тотчас была очищена от неприятеля, и отдавши ей в вознаграждение герцогство Клевское. С австрийским домом Франция войдет в сделку о вымене гессенских земель и графства Ганау, оставляя силезские дела в том положении, в каком они теперь. Франция будет жертвовать общему делу всем тем, что она уже потеряла.

Императрица была удовлетворена объяснением Эстергази; раздражение утихло, особенно когда во французском проекте мирных условий увидели, что Россия поставлена в выгодное положение. Так как Эстергази просил взять обратно записку, которою без всякой пользы общему делу императрица-королева будет только сильно опечалена, то записку велено у него взять и дать другую, «в которой при сохранении всего прежней (записки) разума отменены только те слова, о коих посол представлял, что могли бы излишне оскорбить императрицу-королеву». В новой записке говорилось: «Считаем необходимым, чтоб наши министры и министры императрицы-королевы пребывали в Париже не только в тесном согласии, но единодушно старались не допускать французский двор ни до чего скоропостижного и всеми средствами утверждать при принятой системе союза. Впрочем, легко предусматривать можно, что это великое дело не кончится без важных перемен в принятых положениях, и так как императрица-королева ближе находится к тому, чтоб знать обо всем касающемся мира и общих дел и по соображению обстоятельств предусматривать, то, конечно, ее величество признает за нужное для своих и наших интересов давать нам знать обо всем заблаговременно; и мы обнадеживаем нашим неперменным словом хранить все эти сообщения в непроницаемой тайне. Мы с своей стороны открываем теперь ее величеству в крайней доверенности, что если б сверх всякого ожидания случилось, чтоб Франция захотела заключить такой мир, к которому союзники могли бы только приступить, то мы к такому миру никогда не приступим, хотя бы внесены были самые полезные и желаемые для нас условия; мы уверены, что императрица-королева будет с нами одинакого мнения, что лучше отречься от всех выгод и, быв победителями, удовлетвориться одними победами, чем принять чужие законы».

Бретейлю дано было согласие, чтоб до главного конгресса начались переговоры между Франциею и Англиею посредством письма герцога Шуазеля к Питту, которое передаст князь Голицын. К Голицыну велено было написать, что императрица почтет за верх его усердия к службе и искусства, если он найдет

способ чрез какое бы то ни было посредство, только неприметно, довести до того, чтоб Англия сама сделала русскому двору податливые предложения к миру и тем отдала ему в руки окончание мирных переговоров, ибо, по-видимому, Франция ищет присвоить одной себе эту славу.

21 февраля барон Бретейль объявил канцлеру, что он получил от своего двора новые наставления домогаться у русского двора непременно, чтоб представленный его двором проект декларации о миролюбии союзников принят был во всех частях, и особенно последний пункт, касающийся определенного или неопределенного, по выбору неприятелей, перемирия. Проект состоял в двух пунктах: первым для общего конгресса назначался город Аугсбург, но притом оставлялось на волю лондонскому и берлинскому дворам, быть ли общему конгрессу или быть двум конгрессам и на последних ли оканчивать мирные переговоры или приготовить на них только прелиминарии, а главное дело предоставить опять общему конгрессу. Вторым пунктом предлагалось перемирие и опять отдавалось на волю Англии и Пруссии – быть ли перемирию или нет и назначить ему срок или нет. Бретейль объяснял Воронцову, что перемирие становится Франции необходимым для спасения остатков ее морской торговли в обеих Индиях и колоний. Бретейлю отвечали, что императрица согласна на избрание Аугсбурга местом конгресса; согласна, чтоб декларация об этом подана была в Лондоне чрез русского посланника князя Голицына, но с условием, чтоб эта декларация составлена была в Париже министрами короля вместе с русским посланником; согласна и на два конгресса, но с тем, чтоб имя конгресса носил только общий и прежде был представлен. Что касается перемирия, то императрица соглашается на него единственно из дружбы к французскому королю для доказательства, что она интересы союзников часто предпочитает собственным; но сама она считает единственным способом к достижению честного и прочного мира раннее начатие кампании и сильное действие; всякое перемирие полезно только неприятелю, который ведет войну в своих собственных землях; всякое перемирие может для всего союза иметь самые вредные последствия, если по его истечении о мире ничего не будет постановлено и снова надобно будет начинать войну. Если позволить, чтоб король прусский во все время перемирия спокойно высасывал из Саксонии последний сок, то, умалчивая уже о том, как он этим укрепитя, трудно было бы найти перед светом оправдание этому перемирию, а если вступать об этом в переговоры, то они были бы так же затруднительны, как и переговоры о самом мире. Король прусский по меньшей мере станет требовать, чтоб наша армия с реки Вислы не трогалась и не приближалась к его землям, чем он столько же выиграет, как и удержанием Саксонии, ибо надобно опасаться, что на Висле в летнее время не достанет нашему войску фуража, следовательно, на зиму большую часть Пруссии надобно было бы покинуть. Число лошадей при нашей армии отнюдь не может быть уменьшено, и содержание их иное, чем в других армиях. Конечно, можно за большие деньги найти фураж в Польше, но польскими лошадьми и дорогами почти ничего привезти нельзя.

Ясно было видно, как разделялись интересы союзников: Франция считала для себя перемирие необходимым по отношению к ее заморским владениям. Россия считала перемирие крайне вредным для союза, потому что считала его чрезвычайно полезным для прусского короля; с нею, естественно, должна была

соглашаться Австрия. Россия настаивала на раннее открытие кампании и энергическое действие; Франция, чтоб охладить воинственный жар России, внушала, что успеха в предстоящей кампании не будет. Австрия не в состоянии энергически действовать. 31 марта барон Бретейль передал канцлеру в секрете известия, присланные французским послом из Вены: граф Кауниц, виновник войны, старается всячески ее продолжить и потому полагает препятствия к миру; но сама Мария-Терезия, напротив, крайне желает мира, потому что не одна казна, но и все средства страшно истощены, земские чины отказываются платить подати и ставить рекрут; за недостатком денег армия может быть доведена только до 110000 человек, и потому фельдмаршал граф Даун при отъезде своем прямо объявил, что никак не в состоянии действовать наступательно против короля прусского; притом генералы и солдаты не смеют или охоты не имеют драться с пруссаками. Он, Бретейль, знает наверное, что граф Кауниц с графом Эстергази в несогласии по случаю уничтожения трактата 1746 года, который заменен новым договором, подписанным Эстергази без полномочия и указа; поэтому теперь графу Эстергази не сообщаются больше секреты венского кабинета, да и сам Кауниц недолго останется министром. 11 апреля Бретейль опять требовал у канцлера, чтоб русский министр в Париже уполномочен был дать согласие на перемирие. Воронцов повторял прежний ответ, что предлагать о перемирии теперь вовсе не своевременно.

Франция уступила. В ее декларации, посланной в Англию, о перемирии не было упомянуто; вследствие этого императрица велела написать русскому министру в Париже, чтоб он изъявил тамошнему двору ее удовольствие за это умолчание. При этом он должен был внушать, что король сделал все от него зависевшее для ускорения мира и теперь должен оказать непобедимую твердость в принятых намерениях заключить с прусским королем только честный и прочный мир и доставить обиженным сторонам достойное вознаграждение. Для этого надобно продолжать нынешнюю кампанию с таким же усердием, как прежние, и ни о каком перемирии не упоминать, тем более что никогда обстоятельства не обещали лучшей кампании.

Русскому министру в Париже было секретно предписано, что в самом крайнем случае, если Франция непременно будет настаивать на перемирии, не спешить соглашаться на него, но, не отказывая прямо и не обещая, продолжать дружеские представления против перемирия, ожидая уведомления графа Кейзерлинга из Вены, а Кейзерлингу предписать уговаривать Кауница, чтоб не соглашался на перемирие; впрочем, императрица-королева лучше может судить, можно ли Францию твердостью удержать или, теряя ее содействие, не подвергнуться никакой опасности.

Желание петербургского Кабинета исполнялось; министрами союзных дворов в Париже было постановлено назначить срок конгресса между 1 и 15 числом июля месяца нового стиля, а военные действия со всех сторон начинать как можно скорее и с большею силою. Вследствие этого Иностранной коллегии было предписано сочинить план и наставление русским министрам в Лондоне, Париже и Вене. В этом наставлении должно быть сказано: «Мы желаем, чтоб конгресс скорее состоялся, но не для того, чтоб и действительный мир тотчас последовал (ибо при таком смешении интересов опасно, чтоб скорый мир не был полезным миром или чтоб война, прекратясь на время, не воспалилась бы с

большую свирепостью), но для того, чтоб скорее видеть прямые склонности и мнения лондонского и берлинского дворов и чтоб с большею точностию принимать нужные меры. В эту кампанию намерены мы действовать с крайнею силою, дабы умножить неприятельскую податливость и не дать возможности полезной ему проволоочки переговоров. Нам кажется, что французскому двору остается одно: покинув на время Азию и Америку, как можно больше воспользоваться настоящими выгодами в Германии и, поправля здесь дела свои и своих союзников, привязать последних к себе и славный союз сделать вечным, ослаблением же короля прусского ослабить и Англию, потому что король прусский, оставаясь в силе, не допускал бы союзников подавать друг другу взаимной помощи, и Англия, имея на твердой земле себе подпору для начатия новой морской войны, не стала бы дожидаться, пока французский флот придет опять в цветущее состояние. Для опровержения этого взгляда можно выставить одно, что главная сила бранденбургского дома заключается в личности нынешнего короля прусского. Правда, для составления вредных соседям своим проектов и к производству их в действие он довольно способен; но известно всему свету, что к нынешней чрезмерной его силе все пути приготовлены его предками; он пользовался только случаями, следуя политическому плану, установленному в этом доме гораздо прежде Фридриха II. Совершенно военное, а не гражданское в областях его заведенное правительство не может быть прилично долговременному миру.

Почти уверены мы, что Франция не замедлит теперь отправить министра своего в Лондон; мы и желали бы, чтоб он успел заключить отдельный мир с Англиею и отделить эту державу от прусского короля, оставляя Франции свободу действовать против него по меньшей мере на основании Версальского союзного договора с императрицею-королевою 1758 года. Англия, заключая свой мир с Франциею, обязалась бы ни прямым, ни косвенным образом не помогать королю прусскому и решение с ним дел оставила бы нам и Австрии. Но так как при многих дворах может произойти опасение, что эта вначале очень ограниченная негоциация распространится чувствительно далее и поведет к миру, похожему на Ахенский, то хотя и нельзя прямо противиться посылке французского министра в Лондон, но можно внушить, что при нынешней перемене в английском министерстве статский секретарь Питт, великий поборник интересов короля прусского и думающий, что надобно поблажать стремлениям своего народа, который возгордился военными успехами, старается забрать переговоры в свои руки и продолжением их и войны продлить свое значение, а это значение упадет, если дела пойдут не по южному, а по северному департаменту, чрез руки нового статского секретаря графа Бюта. Поэтому-то Питт и отозвался, что не думает, чтоб в наших добрых услугах могла быть нужда. Мы на это не досадуем и не хотим навязывать своих добрых услуг и предложили их единственно из дружбы к французскому королю. Не повредило бы нашим и союзников наших интересам внушить искусным образом графу Бюту, что если отдельные переговоры с Франциею распространятся далеко, то всю честь и славу получит один его товарищ – Питт.

С большими предосторожностями должен быть соединен этот поступок; однако когда подобным же образом все победы принца Евгения и герцога Мальборо обращены были в ничто и Франция при дурном состоянии своих дел

получила выгодный мир, то отчего бы не могло и теперь случиться, чтоб английское к королю прусскому усердие вдруг простыло и он увидел бы себя оставленным в то время, когда всего больше надеялся на помощь Англии? Обнаруженное до сего времени нашим посланником князем Голицыным искусство в делах и ревность к нашей службе внушают нам уверенность, что он по меньшей мере сделает все возможное, не компрометируя себя и нас. Францию надобно заставить, чтоб посылаемый ею в Лондон министр получил повеление ничего не скрывать от князя Голицына, был ему подчиненным, по крайней мере во всем действовал с ним заодно».

Так как Россия настаивала на том, что честный мир должен исключительно зависеть от сильных действий союзников против прусского короля, то естественно было ожидать, что ее военные распоряжения будут соответствовать этому. Сначала составлен был такой план кампании: овладеть прежде всего крепостью Кольбергом и учредить там главный магазин, а потом подвинуть армию к Одеру и сделать неприятелю диверсию осадой какой-нибудь важной крепости. Но теперь этот план был изменен: Бутурлину велено было идти в Силезию, соединиться там с австрийскою армиею, находившеюся под начальством фельдцейгмейстера барона Лаудона, и наступить на неприятеля всеми силами. Это *великодушное* намерение возбудило сильную радость в Вене. «У нас и у императрицы всероссийской, – писала Мария-Терезия, – нет недостатка в силах для укрощения опасного неприятеля; дело состоит только в том, чтоб эти силы в надлежащее время и с совершенным согласием употреблять».

«Приняв за неопровержимое правило, – говорилось в рескрипте императрицы фельдмаршалу Бутурлину, – что если в нынешнюю кампанию не действовать со всех сторон с крайнею ревностию, то надобно опасаться самых вредных следствий, и что, напротив того, сильными и поспешными действиями все опасности отвратятся и можно будет ожидать самых полезных плодов от нынешней войны, – мы не находим нужным входить с вами в подробное рассмотрение того, каким образом ускорить вашим походом и как сделать ваши операции важнейшими; мы уверены, что вы ни одного часу напрасно не упустите. Но так как генерал Лаудон при затруднительном его теперь состоянии, конечно, с большим нетерпением ожидает радостного известия о вашем приближении, то не можем не посоветовать вам еще, чтоб вы походом своим к Силезии как можно поспешили и часто его об этом извещали. Приближение ваше ободрит Лаудона, а король прусский увидит, чего ему от вас надобно будет ожидать. Храбрость наших войск он уже испытал, теперь надобно внушить ему уважение к вашей особе».

Перед самым началом кампании Тотлебен опять запросил увольнения из службы; думали, что он недоволен, зачем так долго остается генерал-майором, и 19 апреля отправлен был Бутурлину рескрипт, в котором говорилось: «Доношение генерал-майора графа Тотлебена об увольнении его из нашей службы приятно нам быть не могло, тем более что оно так много раз уже повторено, а теперь повторяется пред самым началом кампании, следовательно, в такое время, когда никому не позволено просить увольнения. Вы хорошо делаете, что отклоняете его от такого намерения, и вы можете его обнадежить, что при первом производстве он обойден не будет; но при этом внушите ему поискуснее, что мы хотим оказывать нашу милость по собственному нашему произволению, а частое напоминание и усиленное домогательство, даже требование увольнения, замедляют

только знаки нашей милости. Вы хорошо сделали, что позволили графу Тотлебену видаться с прусским генерал-поручиком Вернером. Мы почти уверены, что если до свидания дойдет, то Вернер или будет о мире предлагать, или будет стараться заподозрить пред нами наших союзников. Надобно все выслушивать и на первое, не отвечая ничего решительного, нам доносить, а на последнее и тотчас можно отвечать, что мы вполне уверены в твердости и искренности наших союзников; да если б и не так было, то мы согласимся лучше быть обманутыми, чем заподозрить их и не устоять в своих обязательствах; что всякое нечистосердечное покушение послужит только к продолжению разорительной войны, а к достижению мира один способ – прямо предлагать и показать действительную готовность к удовлетворению обиженных сторон».

Вернер предложил Тотлебену не о мире, а только о перемирии на месяц. В то же время Тотлебен прислал Бутурлину письмо своего приятеля из Берлина, где говорилось, что мир между Англиею и Франциею уже заключен. По этому случаю в рескрипте к Бутурлину от 30 апреля было сказано: «Нетрудно заключить, что старались только изведать, велика ли с нашей стороны твердость и усердие, и если б получили согласие на перемирие, то разгласили бы об этом с прикрасами в австрийской и французской армиях, и письмо, полученное Тотлебеном из Берлина, служило только приготовлением к тому, чтоб внушения Вернера произвели свое полное действие. Поэтому уведомьте графа Тотлебена, чтоб он остерегался подобных внушений и не верил им. Желаем мы, чтоб теперь вы не имели никаких препятствий в вашем походе, и о благополучном выступлении в поход будем ожидать вскоре приятного уведомления.

Бутурлин выступил в поход для соединения с Лаудоном, которому дали отдельный корпус по настоянию русского двора. Мария-Терезия против воли уступила этому настоянию, ибо фаворитом ее был фельдмаршал Даун, но Дауна не любили в Петербурге и имели на то право. Фридрих II находился в Силезии с 50000 войска; в Саксонии прусский корпус, находившийся под начальством принца Генриха, сдерживался Дауном; в Померании румянцевский корпус шел осаждать Кольберг. Легко понять, с каким нетерпением ждали в Петербурге известия от Бутурлина, что он соединился с Лаудоном в Силезии, что соединенная австро-русская армия раздавила Фридриха II и тем покончила тяжкую войну, приготовив для дипломатов легкое дело – заключить в Аугсбурге *честный* мир, как разумели его в Петербурге и Вене. И легко понять раздражение, какое было произведено донесениями Бутурлина, жестоко обманывавшими ожидания. В этом раздражении написан был рескрипт императрицы, посланный к главнокомандующему 14 августа: «Как при начале нынешней кампании и при сочинении плана военных действий не вступали мы с вами во все мелкие подробности и довольствовались объяснением главных видов и намерений, оставляя прочее вашей распорядительности и ревности, старались мы только живо изобразить вам те великие и неоспоримые основания, почему желали мы, чтоб нынешняя кампания была решительною, так и во все время кампании напоминали мы вам только те же самые основания, а в прочем с нетерпением ожидали мы приятных от вас известий, каких обещали мы себе от вашей ревности, от засвидетельствованного вами отличного состояния армии, от известной храбрости наших войск и от самых обстоятельств, которые много раз были вам полезны, или ожидали описания принятых вами таких твердых

намерений, по которым бы мы движения ваши сами здесь расчислять могли, следовательно, и в состоянии были бы предписывать вам что-нибудь с подлинностию. Но вы ни однажды не доставили нам такого точного дел и обстоятельств изображения, по которому бы мы верно могли расцесть, в каком состоянии, например, этот указ вас застанет. Донесения ваши хотя довольно часто получаются, но, во-первых, редко или и никогда не изображается в них прямое положение неприятеля и генерала Лаудона, а потом, что касается вас, то или в каждом донесении видим новое намерение, когда не исполнено еще прежнее и всегда прежнему противное, или же, наконец, простое ожидание нескольких дней для принятия еще нового решения.

Все сделанное вами во время минувшей зимы для приведения армии в готовность к походу, во многих случаях благоразумно наблюденная экономия, особенно же своевременное выступление в поход до Познани и прибытие туда всей армии еще в мае месяце, следовательно, ранее чем когда-либо это случалось, приобретали вам совершенное наше одобрение. Этим исполняли вы важный пункт плана и обнадеживали весь свет, что действия ваши будут, конечно, соответствовать тем уверениям, которые поданы нами союзникам нашим. Этим сделали вы, что венский двор так усилил и так уполномочил младшего и иностранного генерала Лаудона и все свое внимание обратил на вас и на него. Вы должны были ясно усматривать, что от скорости похода вашего в Силезию все зависело; что вам больше всего надобно было истребить предубеждения союзников и неприятеля относительно медленного движения нашей армии, предубеждения, по которому союзники не смело полагались на наши обещания, а неприятель смело обращал свои силы в другую сторону. Но вы, конечно, по избытку усердия и желая вместо одного дела сделать два разделяли ваше внимание. По прибытии вашем в Познань вы приняли было решение идти в Померанию, надеясь неприятеля оттуда выгнать, взятие Кольберга ускорить и заблаговременно поспеть в Силезию, и к нам вы доносили о том, как о деле непременно. Но вы не приняли в уважение, что хотя весьма похвально и славно вдруг многие дела обнимать и с одинаким успехом исполнять, всегда, однако, надобно больше смотреть на главное, да не приметили и того, что хотя взятие Кольберга нам на сердце и лежит, но мы никоим образом не связывали его с вашими действиями. От этого с планом операций несогласного намерения естественно произошло некоторое упущение времени, а барону Лаудону сомнение, крайне вредное в начале кампании, особенно когда надобно было еще истреблять прежние предубеждения. Но если б вы тогда остались при этом намерении и быстро стали его исполнять, то, может быть, случилось бы что-нибудь решительное; по меньшей мере генерал Цитен был бы теперь в Померании, не делал бы Лаудону диверсии в Моравию и не разорил бы приготовленных для вас магазинов; король прусский не был бы так силен против Лаудона, а Лаудон знал бы, чего ему от вас ожидать и какие меры свои принимать.

Отменили вы намерение идти в Померанию как несходное с планом; но к сожалению, не вдруг обратились к главному делу, т.е. к походу в Силезию и прямо к Бреславию, но хотели сперва сделать покушение против Глогау. Для этого вы потребовали у Лаудона, чтоб он прислал вам туда осадную артиллерию, продовольствие и несколько войска; но легко было предвидеть, что Лаудон не был в состоянии этого сделать, когда король прусский все свое внимание обратил на

него и пришел в Силезию с немалыми силами, будучи сам прикрыт крепостями и прикрывая их взаимно. Это ваше намерение и требование должны были возобновить в Лаудоне прежние предубеждения, а нам причинили тем сильнейшее сожаление, что мы больше всего твердили еще предместнику вашему, что отнюдь не надобно требовать невозможного, ибо это между союзниками рождает недоверие и несогласие и берет много времени.

Велико было, наконец, наше удовольствие, когда вы, покинув предприятие на Глогау, вознамерились идти прямо на Бреславль чрез Милич, подав о том формальное обнадеживание Лаудону, следовательно, приняв на себя новое обязательство. Когда силы прусского короля были так умеренны, что он мог только с нуждою удерживать барона Лаудона, то легко себе представить, на сколько частей нужно было бы ему разделиться, если бы устремлением вашим на Бреславль чрез Милич вы привели его в необходимость и защищать этот важный город, склад всех воинских потребностей, и караулить, чтоб и вы не перешли реку Одер, и Лаудон в то же время не приблизился бы к этой реке с которой-нибудь стороны. Но едва только генерал Цитен выступил против вас к Костянам, как вы, последуя всегда вашему усердию и желая вдруг сделать два дела, приняли намерение выиграть у него несколько маршей, отрезать его от Силезии и для того вместо Милича идти на Вартемберг, и притом думали, что для главных операций в Силезии довольно еще будет времени. Но теперь, конечно, вы сами жалеете, что и Цитена тотчас не атаковали и тем не вывели прусского короля и союзников его из предубеждения, будто наша армия никогда не атакует, и что походом на Вартемберг привели себя в необходимость искать соединения с Лаудоном только в окрестностях Брига. Вы в письме к барону Лаудону на его жалобы справедливо замечаете, что король прусский и прежде знал о желании вашем соединиться с австрийскою армиею. Мы сами не делали из этого большого секрета; но дело было в том, чтоб неприятель не знал, в котором месте должно было произойти ваше соединение, а это и сделалось бы, если б вы прямо устремились на Бреславль. Пусть поставил бы тогда король генерала Цитена под Бреславлем защищать против вас этот город; принц бевернский в 1757 году под пушками этого же города и стоя в крепких ретраншементах потерял значительную армию; вы могли бы то же сделать и с Цитеном, а если бы даже и не сделали, то, имея превосходные силы, вы могли были, заняв Цитена малым корпусом и маскировав ваше отступление от Бреславля, тотчас перейти Одер, где король всего меньше этого ожидал бы. Тогда Цитен принужден был бы бежать через Бреславль и наше войско могло за ним по пятам войти в этот город; а король, несмотря на всю свою изобретательность, был бы принужден или беспрепятственно допустить соединение ваше с Лаудоном, или напасть на такие войска, которые уверены в победе.

Из реляции вашей от 25 июля мы увидали, что, несмотря на занятие нашими войсками высот около Бреславля, несмотря на незначительность гарнизона и отсутствие других неприятельских сил поблизости, несмотря на то что наши легкие войска свободно входили в предместье до самых ворот и что нельзя было опасаться нечаянного неприятельского приближения, ибо бригадир Краснощеков был на той стороне Одера, — несмотря на все это, вы держали военный совет, перед которым выставили все трудности покушения на Бреславль; военный совет, согласясь с вами относительно трудностей, предоставил все вашему

благоусмотрению, и вы решили немедленно идти прямо на Лейбус и там или где удобнее переходить реку Одер и, если окажется возможность, сделать покушение на Бреславль и стараться о соединении с Лаудоном, если только не задержит на этой стороне ожидаемый из Польши подвоз провианта и денег. Но здесь, где дело требовало мужественного решения, вам не очень надобно было распространяться в совете о трудностях и опасностях, сопряженных с предприятием на Бреславль, и тем ослаблять в нем охоту, да и для членов совета постыдно, что ни один из них не подумал, не хотите ли вы, преувеличивая трудности, выведать, у кого из них достанет мужества преодолеть эти трудности. Впрочем, сказать по правде, здесь вовсе не было надобности в военном совете. Без дальнего рассмотрения мы и отсюда знаем, что формальная осада Бреславля не могла быть предпринята по недостатку осадной артиллерии, да если б и была артиллерия, то и тогда было бы опасно, перешед реку Одер, очутиться взаперти между Бреславлем и всеми силами короля прусского. Надобно было взять город приступом, что требовало не совета, а распоряжения и твердости. Чем обширнее этот город, тем легче было взять его приступом. И посильнее крепости взяты таким образом. Кто, имевши свободные руки под Бреславлем, ничего, однако, не сделал, тот походом своим к Лейбусу не может угрожать Глогау или Лигницу. При первом взгляде на карту Силезии ясно, что походом к Лейбусу вы затрудняете переход свой через Одер, а не облегчаете. Лейбус лежит против самого Лигница; генерал Кноблах, конечно, поспешит стать под этим городом, и если вы по переходе вашем сперва не разобьете Кноблеха, а потом не возьмете Лигница, то вам от того места, где вы перейдете Одер, нельзя будет никуда тронуться, а еще меньше можно будет генералу Лаудону пройти к вам мимо Швейдница. Странно, что никто из генералов не приметил, что самое удобное место к переходу чрез Одер – это ниже впадения в него реки Вейды. Оставляя на этой реке небольшой отряд, вы прикрывали бы свой тыл и сообщение с магазинами в Польше, а переходя Одер гораздо выше Лейбуса, не подвергались бы вышеозначенным препятствиям, но ближе были бы и к предприятию на Бреславль, и к соединению с Лаудоном, и к получению продовольствия из графства Глацкого и Богемии по обещанию венского двора.

Надобность, чтоб оружие наше в нынешнюю кампанию отличилось важным и общему делу существенно полезным подвигом, так теперь возросла, что венский двор в ожидании, как пойдет кампания, не знает, какие дать министрам своим наставления на конгресс; а наши министры, имея указы поступать с твердостью, побуждать к тому же союзников и подкреплять их интересы, нашлись бы в жалком положении, если б оружие наше тому не соответствовало. Франция, с потерю Пондишери потеряв все свои владения в Восточной Индии, а в Германии успевши отбить нападение, принуждена теперь выносить всю гордость и высокомерие английского министерства. Датский двор колеблется между двумя сторонами, и его поведение зависит от окончания кампании. Если в нынешнюю кампанию не будет сделано ничего важного, то на будущую с трудом будем мы в состоянии привести к Одеру армию, подобную настоящей, и найти скоро нужные для этого деньги. Если вспомнить, что третьего года, одержав неслыханные победы, не пользовались наилучшими обстоятельствами, что прошлого лета не искали и случаев к тому, а нынешнее лето армия наша проходит, также не выдав неприятеля, то ясно представляется, что сохраненное до сих пор важное значение

при мирных переговорах умалится, самые неоспоримые наши доказательства потеряют силу и союзники наши, не считая более наше содействие существенным, будут поступать только согласно собственным желанием, а прусский король убедится, что безрассудно давал он сражения нашим войскам, которые сами собою вредить ему не могут, обратит все свои силы против австрийского дома и, сделавшись сильнее прежнего, исключит нас из общего европейского действия, не сомневаясь, что и без его требования Пруссия возвратится к нему скоро сама собою.

Отступление ваше от Бреславля, когда и гарнизону там было мало, и неприятель не находился в близости и когда пришедший к этому городу на помощь генерал Кноблох не мог противиться легким нашим войскам, — отступление ваше при таких условиях необходимо должно произвести такое действие, что король прусский еще меньше склонен будет искать с вами сражения и еще меньше может ожидать или опасаться, чтоб вы напали на него или на какой-нибудь его корпус или взяли какую-нибудь из его посредственных крепостей. Поэтому должно ожидать, что он во многих местах ослабит свои гарнизоны и, усилив, сколько можно, свою армию, устремится с нею против барона Лаудона. Такое неприятельское мнение не очень будет лестно для нашего оружия; но нет худа без добра, и вам представляется случай тем больший получить над королем верх, чем больше он уверен в своих преимуществах над вами. При наступлении такого случая вы должны живо изобразить генералитету и всей армии, как позорно ей неприятельское презрение и как наша и государства нашего слава требует отомстить ему за это презрение поражением.

Переписка ваша с бароном Лаудоном была причиною некоторой, хотя и скоро прекращенной, холодности. Но так как с того времени вы не исполнили ни одного из его требований, не успели какою-либо диверсиею оказать ему никакой помощи, то надобно опасаться, что неудовольствия с его стороны опять возобновятся и даже усилятся, а двор его может заподозрить, что наши указы к вам были не таковы, как ему сообщалось для сведения. В другое время на это можно было бы и не обращать большого внимания, но теперь, когда завязались общие переговоры, Пруссия подружилась с Портою и мы принудили венский двор поручить главные его силы Лаудону и до сих пор не можем сказать по справедливости, чтоб он не исполнил того, чего от него требовано, — теперь больше всего надобно остерегаться, чтоб не было ни малейшей холодности и несогласия, надобно каким-нибудь знатным предприятием доказать, что указы наши действительно были таковы, как сообщены венскому двору».

Неудовольствие на Бутурлина уменьшилось, когда он от 3 августа дал знать, что благополучно перешел Одер со всею армиею, занял Лигниц, виделся с Лаудоном и принял твердое решение подвинуться еще далее вперед. Фридрих II, не будучи в состоянии ни помешать соединению Бутурлина с Лаудоном и тем менее будучи в состоянии напасть на них, устроил себе укрепленный лагерь почти под пушками Швейдница и здесь решился ожидать нападения неприятеля или держать его в бездействии до тех пор, пока недостаток провианта принудит его удалиться. От 21 августа Бутурлин дал знать в Петербург, что 23 числа непременно нападет на неприятеля; но от 22 августа писал, что нападение оставлено, а вместо того принято намерение движением на Швейдниц принудить Фридриха II покинуть выгодное положение между Цейдлицем и Вирбенном, и в тот

же самый день послана другая реляция, что и движение на Швейдниц отсоветовано бароном Лаудоном и потому принято решение оставить при Лаудоне корпус графа Чернышева до окончания кампании, а самому Бутурлину перейти Одер и двинуться к Глогау или *куда-нибудь*. В ответном рескрипте на эти реляции говорилось: «Не скроем от вас, что этими известиями мы были больше опечалены, чем если бы с войском нашим случилось какое-нибудь несчастье. Мы не будем теперь подробно разбирать, как много противоречия в ваших реляциях, как мало согласны с ними многие нам известные обстоятельства и с других сторон доходящие известия, ниже какие о том произойдут рассуждения и толкования как у приятелей, так и у неприятелей; все это сами вы легко себе можете вообразить; однако нельзя оставить без примечания, что когда уже в разных на походе от Познани промедлениях так много было пропущено времени, то необходимо было надобно или за Одер не переходить и искать возможных операций на этой стороне, или, перешед Одер и соединившись с Лаудоном, стараться тотчас пользоваться этим соединением, превосходством сил и больше всего неприятельским смущением, вознаградить потерянное время, а не вновь тратить его на бесплодные и бесконечные советования. Но так как нельзя словами изобразить, какой венец славы висел над вами и как безвозвратно вы его потеряли; как невозможно словами поправить прошедшее или уничтожить всеобщее теперь мнение Европы, что во всю нынешнюю кампанию намеренно думали только об одном, как бы протянуть время и, ничего не сделав, возвратиться домой; а еще меньше что-либо с благопристойностию сказать нашим союзникам, зачем принудили мы венский двор отнять команду у графа Дауна и поручить ее барону Лаудону, зачем принуждали австрийцев делать большие убытки и заводить магазины для нашей армии, зачем приходили на их пропитание, следовательно, уменьшали его для них самих. Короткое могло бы быть на все это объяснение, а именно что вы хотели напасть на неприятеля, да случая и возможности к тому не было. Но мы сами по одному сличению обстоятельств и по собственным вашим донесениям уверены в противном, а союзники наши не только имеют очевидных свидетелей, но и письменное доказательство в ответной промемории вашей барону Лаудону, что не укрепление неприятельского лагеря помешало вам напасть на него. Тогда никаких еще не было укреплений; но вы, перешедши 12 верст, требовали продолжительного отдыха; а потом, как уже неприятель и укрепился, русским и австрийским генералитетом признано было, что напасть можно, для чего не только день, но и час был назначен. Но как все это ни к чему теперь не служит, то мы и приступаем к самому делу.

Повелеваем вам: 1) на крепость Глогау напрасного покушения не делать и времени не тратить; но 2), подвинувшись скорее к Франкфурту, тотчас занять Берлин по примеру прошлого года, с тою только разницею, что взять больше контрибуции с берлинцев за их неблагодарность и воспользоваться всем, чем только можно; 3) если принц Генрих для защиты Берлина вышлет против вас корпус, то непременно напасть на него без разбора и без совета. Этих бесплодных советований в нынешнюю кампанию столько было, что наконец самое слово «совет» омерзит; а чтоб наши войска не были способны к атакам, то это толкование может происходить только от завистников славы нашего оружия, и потому накрепчайше вам повелеваем: если кто дерзнет сказать, что наши войска не способны к атакам, того не только тотчас на месте арестовать, но как злодея в

оковах сюда прислать; 4) надеяться можно, что походом вашим к Франкфурту прусские в Померании войска принуждены будут эту провинцию очистить; вам надобно стараться и этот корпус не упустить, а разбить и всего больше заботиться о занятии зимних квартир в Померании. Что же касается графа Чернышева с его корпусом, то мы опасаемся только того, что принятое и относительно его намерение за какими-нибудь непредвидимыми приключениями отменится и он при австрийской армии оставлен не будет, ибо действительно теперь нет другого способа поправить происшедшее и доказать свету, что, несмотря на худое согласие операции, оба двора пребывают, однако, в теснейшем единодушии».

Дальнейшие движения Бутурлина подверглись также выговорам, тогда как приятная ведомость была получена от графа Чернышева, который извещал о взятии Швейдница австро-русскими войсками. В рескрипте императрицы к Бутурлину по этому случаю говорилось: «Немного было употреблено нашего войска к этому мужественному предприятию, только четыре гренадерские роты; но мы рады, что доказана способность нашего войска нападать. Австрийский генералитет и сам неприятель приписывают им несравненную похвалу: они всходили на стены как львы и, вошедши в город, так скоро построились, как будто для парада туда введены были». Кроме Чернышева Румянцев, отправленный для осады Кольберга, также беспокоил Бутурлина своим значением. Бутурлину предписывалось отдать в команду Румянцева столько войска и так его всем снабдить, как он сам потребует, и отнюдь не затруднять его и не смущать своими ордерами: «Ибо мы службою его и усердием и всем в нынешнюю кампанию распоряжением совершенно довольны». Бутурлин отвечал, что если он отправит большую часть войска, то у него самого останется очень мало, и на это получил рескрипт, где говорилось: «Примечаем мы со многим сожалением, что вы оказываете некоторую *жалузию* к той доверенности, какую удостоили мы графа Румянцева, как то явственнее всего усматривается из вашего короткого и сухого к нему ордера и из вашей реляции, будто бы по усилении его вся армия только в десяти полках состоять будет. Наша милость оказывается только по заслугам и достоинству, а отнюдь не как следствие уменьшения ее к другому. Вы остаетесь главным его командиром, а чин ваш и наша персональная к вам милость не могут вами повода подавать к жалузии против подчиненного».

Надеялись, что Румянцев взятием Кольберга хотя сколько-нибудь поправит дело, испорченное Бутурлиным. Современник (Болотов) говорит, что другого исхода деятельности Бутурлина и не ожидали в армии: «Характер сего престарелого большого боярина был всему государству слишком известен, и все знали, что не способен он был к командованию не только армиею, но и двумя или тремя полками. Единая привычка его часто подгуливать и даже пить иногда в кружку с самыми подлыми людьми наводила на всех и огорчение, и негодование превеликое. А как, сверх того, он был неуч и совершенный во всем невежда, то все отчаивались и не ожидали в будущую кампанию ни малейшего успеха, в чем действительно и не обманулись».

К печальному исходу кампании присоединилась еще измена генерала, которого имя очень часто упоминалось в журнале военных действий русской армии, и упоминалось обыкновенно при успешных действиях, — начальника легких войск Тотлебена. Еще от 21 июня Бутурлин уведомил императрицу о странном происшествии: генерал-майор Тотлебен на походе своем к армии в

Померанию в лагере при Берштейне с общего совета всех полковых командиров подчиненного ему корпуса 19 числа арестован за открытую его вредную службе переписку с неприятелем. Причины, побудившие к аресту, были следующие: 1) подполковник Аш, находившийся при Тотлебене для канцелярских дел, перехватил жида, отправленного Тотлебеном в Кистрин; у этого жида в сапоге нашли точный немецкий перевод с секретного ордера главнокомандующего, также с сообщенного Тотлебену от Бутурлина маршрута армии от Познани в Силезию и с собственноручной записки Тотлебена с шифрами; все эти бумаги были вложены в неподписанный куверт, но за печатью Тотлебена. 2) У жида найден паспорт, данный ему Тотлебеном. 3) Капитан Фафиус получил от Тотлебена собственноручное приказание препроводить жида с козаками в Кистрин. 4) У Тотлебена найдено запечатанное, но еще не отправленное письмо его в Берлин к банкиру Гоцковскому. Жид признался, что перевозил письма от принца Генриха прусского к Тотлебену и обратно; пакет, найденный у него в сапоге, он должен был отдать или коменданту, или принцу Генриху, или самому королю прусскому. По показанию Тотлебена, переписка его с принцем Генрихом состояла в том, что принц просил его не позволять своему корпусу так разорять королевские земли; а он, Тотлебен, отвечал, что если прусские чиновники сами будут выставлять требуемый провиант и фураж, то ни о каких солдатских своевольствах слышно не будет. К этому он прибавил в письме к принцу: «Что касается собственно меня, то принц может быть уверен, что я никаких грабительств не терплю, но по возможности отвращаю; что я не желаю никакого вознаграждения, но чтоб принц, как старый приятель, заступился за меня, чтоб возвратили мне сына моего, который у меня один только и есть и которого, ребенка 11 лет, силою взяли и в солдаты записали, чтоб также возвратили мне деревни мои, которые или вовсе отняты, или секвестрованы». Спустя недели с три явился жид Забадко и подал ему запечатанное письмо от короля; в письме говорилось, что король приказал всем ландратам и начальникам округов ехать к своим местам и ставить припасы на русское войско и потому Тотлебен должен содержать в своем войске добрый порядок и щадить прусские земли, а он, король, когда будет заключен мир, не оставит просьбы его о сыне и деревнях. Тотлебен отправил жида с ответом, что никаких жалоб на разорение от русского войска не будет, причем просил уволить сына для продолжения учения. Через три недели после этого жид возвратился, привез увольнение сына Тотлебена и письмо к отцу: король обнадеживал его всякою милостию, если прекратит опустошения, производимые его отрядом. Далее Тотлебен показывал: «Уже три года думал я о плане, как бы схватить короля при каком-нибудь случае. Придумал я, что лучше всего будет, когда король вполне доверится жиду Забадке: тогда можно было бы уговорить короля к свиданию или разведать, когда и где он будет на рекогносцировке с малым числом людей. Потом приехал жид Забадко в третий раз с двумя запечатанными кувертами: в одном находилась цифирьная азбука, а в другом – письмо от короля. В письме говорилось: принципал радуется, что приятель обнадеживает насчет пощады его земель; желает, чтоб приятель для облегчения подданных принципала служил еще эту кампанию, и просит дать знать, оборонительно или наступательно русская армия будет действовать этот год, будет ли отправлен корпус к Лаудону и завидует ли приятель, что идет новый претендент на кольбергское девство (Румянцев). Я отвечал, что приятель письмо от принципала получил и при первом случае будет

отвечать. Жиду Забадке приказал я сказать королю, что очень желаю с ним видеться. Забадко приезжал еще раз с письмом от короля, исполненным обнадеживаниями милости и с требованием, чтоб написал ответ на прежние вопросы. Чтоб уклониться от ответа, я написал королю о моем новом назначении и сослался на приложения, которые к нему отправил; эти приложения и состояли в ордере и маршруте, полученных от фельдмаршала. Если б я, говорил Тотлебен, затевал что-нибудь опасное и противное долгу верности, то я ордер и маршрут послал бы прежде, а не тогда, когда уже ордер перестал быть секретным, потому что был исполнен. Как скоро я цифры в запечатанном куверте получил, показывал я их подполковнику Ашу, говоря: вот принес мне жид и цифры из королевского кабинета! Аш удивился, где он мог их достать? Я на то ему отвечал, что жид, конечно, сам бывает в королевском кабинете; я с Божиею помощью в нынешнем году короля уже прямо заведу, а цифры эти фельдмаршал иметь будет. Аш, если в нем еще искра честности и христианства есть, правду этого показания сам признать должен, так как я часто публично говаривал, что я в нынешнем году прямой удар нанести надеюсь. Гоцковский, будучи у меня, наведывался, к кому бы в Петербурге адресоваться, чтоб двор склонить в пользу короля; королю война наскучила, и он охотно бы употребил миллион или два. Я отвечал, что с петербургскими совершенно незнаком, но если б прислано было письменное предложение, то я переговорил бы с фельдмаршалом».

Тотлебена отправили в Петербург, после чего перехвачено было еще одно письмо к нему от Фридриха II: король писал, что не может дать ему просимого им имени (гершфта миличевского), но обещает дать другое, равное тому; отказывал ему и в просьбе развести его с женою, живущею в Силезии, объявляя, что для этого она сама должна подать прошение.

Неудачный исход кампании был тяжел русскому правительству особенно потому, что оно сильнее всех отвергало перемирие и настаивало на энергические действия, с помощью которых только и можно было принудить Фридриха II к *честному* миру для союзников. Мы уже видели, как в рескриптах Бутурлину выставлялось затруднительное положение России относительно главной союзницы – Австрии. Русский посол в Вене Кейзерлинг был назначен уполномоченным на Аугсбургский конгресс; на его место в Вену был назначен князь Дмитрий Мих. Голицын; но до его приезда туда был определен поверенным в делах племянник канцлера граф Александр Романович Воронцов. Соответственно этой перемене Эстергази был отозван из Петербурга по причине или под предлогом болезни и на его место назначен граф Мерси д'Аржанто. От 21 июля молодой Воронцов писал дяде из Вены о разговоре своем с Кауницем: «Граф Кауниц со мною долго говорил, не скрываясь, что их немало удивляет медленность фельдмаршала графа Бутурлина; Кауниц рассуждал, что часто, опоздавши только 24 часа, можно лишиться успехов целой кампании». Воронцов писал также к дяде, что слышал стороною, будто Лаудон начинает отчаиваться в успехах кампании, видя такую медленность в движениях русской армии. От 14 августа Воронцов опять писал о неудовольствии Кауница на операции русского войска в Силезии; он рассуждал, что после перехода через Одер много бы уже можно было предпринять, но время упущено. Кауниц опасался, что русская армия, промедля, будет принуждена идти на Вислу к зимним квартирам и кампания останутся бесплодною. По словам Кауница, Лаудон предлагал

Бутурлину, чего он хочет, сам ли напасть на короля или предоставить это нападение австрийцам с уговором, чтоб каждый из своей стороны подкреплял атаку двадцатью тысячами войска; но предложение это не произвело никакого действия. От 25 августа Воронцов писал, что Кауниц сильно беспокоится бездействием войска, тем более что неуспех кампании возбудит против него всех доброжелателей фельдмаршала Дауна, ибо известно, что императрица-королева почти против желания своего уступила требованию Кауница отдать большую часть войска под команду Лаудона. В Вене складывали всю вину на Фермора, который будто бы давно не скрывал своего недоброжелательства к австрийскому дому, оказывая при всяком случае нерасположение офицерам, присылаемым к русской армии из Вены, и жалуясь, что благодаря венскому двору он лишен главного начальства.

Любопытны известия Воронцова о том впечатлении, какое было произведено на Марию-Терезию взятием Швейдница. «Императрица, – писал Воронцов, – сама уменьшает важность этого дела и почитает невозможным удержание Швейдница зимою. Все эти дни ее величество была очень невесела, и причина тому – пристрастие ее к фельдмаршалу Дауну; раздражил ее император, который воспользовался взятием Швейдница, чтоб превознести Лаудона на счет Дауна; императрица с яростию заступилась за своего фаворита и с тех пор сама уменьшает важность действий Лаудона; в собрании при дворе, разговаривая с одним иностранным министром, сама выразилась, что находит великие трудности в расположении зимних квартир в Силезии, и все те, которые имели с нею в этот день дела, говорят, что никогда не видывали ее такою сердитою».

Сильно занимались в Вене осадю Кольберга, боялись, что если этот город не будет взят и русская армия уйдет на зимние квартиры к Висле, то прусское войско двинется из Померании в Саксонию и помешает здесь действиям австрийского войска.

В то время как в Вене толковали о печальном исходе кампании, из Парижа и Лондона русские послы доносили о печальном исходе мирных переговоров между Франциею и Англиею. Преемник Мих. Петр. Бестужева при французском дворе граф Петр Григорьевич Чернышев доносил от 31 августа, что у герцога Шуазеля была конференция со всеми министрами союзных дворов. Рассказав подробно весь ход мирных переговоров между Франциею и Англиею, Шуазель именем королевским просил министров донести своим дворам, что Франция вела переговоры с согласия своих союзников и по общему соглашению, т.е. не смешивая особую свою войну с войною германскою, о прекращении которой предоставлено вести переговоры на Аугсбургском конгрессе, что для достижения с Англиею особого мира с французской стороны оказана была особенная уступчивость – было пожертвовано всем, чем только можно; но Англия неумеренными, нескладно и умышленно спутанными требованиями и ответами обнаружила свое нежелание мира. Король поэтому принял намерение прервать эти бесплодные переговоры и повелел уверить всех своих союзников, что твердо намерен пребывать с ними в союзе, свято соблюдая свои обязательства.

Чернышев доносил, что неудача в Силезии и уход Бутурлина от Лаудона не будут иметь никакого влияния на решения французского двора, хотя извещал, что герцог Шуазель с большим огорчением отзывался об этих событиях, именно выразился, что издержки, употребленные на переход армии, не соответствуют ее

успехам. Чернышев отвечал, что и две французские армии хотя было и соединились, но ничего не сделали неприятелю и, отступя с уроном, принуждены были бесполезно разойтись. Разговор заключился тем, что нынешняя кампания может почестся неудачною для всех сторон и, чтоб поправить дело, надобно принять меры для успеха будущей кампании. На этом донесении канцлер сделал любопытное замечание для императрицы: «На продолжение нынешней войны и приемлемых сильных мер для произведения будущей кампании потребно великие суммы денег в наличии иметь, которых теперь в казне совсем нет. Ежели ваше импер. величество по поданным от конференции и: Сената докладам не соизволите милостивою резолюциею снабдить, я истинно не понимаю, каким образом возможно будет с пользою и начало будущей кампании учинить».

Из Лондона весною князь Александр Мих. Голицын доносил, что английский двор искренне желает прекратить германскую войну как очень убыточную и вовсе не столько старается о своем отдельном мире с Франциею; поэтому в Англии больше всего боятся, чтоб предложение союзников о мире не сделано было только с целью выиграть время. Голицын описывал свой разговор с знаменитым Питтом, который уверял его, что Англия искренно желает мира, но не может покинуть прусского короля. «Он, – писал Голицын, – старался мне доказывать по своему обыкновению чрез свои хитрые и красноречивые изращения необходимость для Англии пребывать нераздельно и усердно с означенным монархом. Я только в кратких словах старался прекословить, утверждая, что, когда сей высокомысленный и дерзновенный государь истощенные свои в настоящей войне силы паки со временем исправит, не преминет восстановленную тишину паки возмутить, разве Англия постановит себя охранительницею против покушений сего монарха. Господин Питт в своем ответе старался дать мне выразуметь, что на такие гарантии нельзя много полагаться и что, по его мнению, достаточною гарантиею может служить превосходство сил, каким обладает Россия. Прусский король не осмелится нарушить ее покой, и, следовательно, императрица, не имея причины опасаться предприятий сего монарха, которого силы истощены войною, не имеет и побуждений желать раздробления его государства». Питт говорил также Голицыну, что в Англии очень благодарны императрице за то, что такое полезное и Богу приятное дело мира начато и основано в Лондоне через русского министра. «Я уверен, – говорил Питт, – что восстановление европейской тишины отчасти или даже совершенно зависит от вашей государыни; по моему мнению, заключение германского мира подвержено великим затруднениям, ибо трудно соглашение столь великих государей, которые должны заключить мир не по принуждению, а единственно из великодушия и миролюбия; напротив того, отдельный мир Англии с Франциею может быть скоро заключен. Франция так истощена, что не может продолжать войну с Англиею, следовательно, Англия должна пользоваться этими благоприятными обстоятельствами и требовать от своего неприятеля очень выгодного мира; а державы, у которых нет ни флота, ни колоний в других частях света, не имеют причины принимать какое-либо участие в этой войне, она до них вовсе не касается». «По моему мнению, – отвечал Голицын, – европейские государи должны обращать на колонии такое же внимание, как и на европейские владения, по примеру Англии, которая хотя никаких владений в Германии не имеет, однако беспрестанно в ее дела

вмешивается». «Франция, – продолжал Питт, – не должна ласкать себя надеждою, чтоб Ганновер служил ей дорогою в Америку или Индию».

Что касается ближайшего интереса России, то в Петербурге хотели воспользоваться переменою в английском министерстве, выходом из него графа Голдернеса и вступлением на его место графа Бюта, любимца нового короля Георга III. Воронцов отправил по этому случаю такое письмо Голицыну: «Понеже определенный на место графа Голдернеса новый статский секретарь натурально желать будет начало министерства своего знаменитым сделать, то вашему сиятельству весьма нужно постараться, менажируя к себе дружбу и уверенность сего в кредите находящегося министра, искусно внушать ему, что союз и дружба между ее императорским величеством и королем, его государем, будучи всегда натуральны, препятствуются токмо соединением их (англичан) с королем прусским, от которого они имели всегда справедливое опасение, а ныне одни бесплодные иждивения или обманчивую помощь; что ее императ. величество, пребывая в исполнении своих обязательств твердо и непоколебимо, весьма удалены вы присоветовать неравномерное английскому двору поведение, но деликатности его британского величества в наблюдении своих обязательств ни малейшего предосуждения быть не может, если более свои собственные интересы в уважение возьмутся и когда в справедливое сравнение постановлены будут твердость и польза прежних союзников и натуральное оных паки сближение противу самокорыстных видов такого союзника, который за сильное ему вспоможение и усердие всей великобританской нации благодарен единственно случаю, и, обнажа пред нею теперь прямые свои склонности, толь большим будет ей неприятелем, что благоволением ее ласкать себя не может. И понеже оказывается, что Франция действительно хотела по поводу своей войны с Англиею захватить всю мирную негоциацию в свои руки, то с большею справедливостию здесь могли бы теперь желать искусным образом до того довести, чтоб Франция могла с Англиею только сноситься о партикулярном своем мире, пока конгресс собирается или продолжается, а Англия между тем трактовала б с здешним двором о мире короля прусского прелиминарно для решительного окончания на будущем конгрессе. Сего ради ваше сиятельство особое старание возымеете внушениями своими нечувствительно до того доводить».

Для начатия дела в Петербурге английскому посланнику Кейту вручена была записка, в которой говорилось, что так как императрица никогда не отменит своего намерения искать для себя и для своих высоких союзников мира прочного, честного и удовлетворительного и так как союзники ее находятся в таких же сентиментах, то теперь от его британского величества зависит содействовать справедливому миру Англии с Франциею и склонить короля прусского к справедливому удовлетворению обиженных сторон. От 20 июля Голицын дал знать своему двору о впечатлении, какое эта записка произвела в Англии: оба министра – граф Бют и герцог Ньюкестль – отозвались единогласно, что им очень нелегко и почти невозможно склонить к тому прусского короля, а потом сообщил инструкцию Фридриха II своим министрам в Лондоне, в которой говорилось, что он принял твердое намерение не уступать неприятелям ни пяди земли и что он согласен помириться на одном условии, чтоб каждый остался при том, чем владел в 1756 году. «Такое упрямство и несправедливость этого государя, – писал

Голицын, – несколько беспокоят здешнее министерство, которое убеждено, что без какого-нибудь справедливого вознаграждения обиженным сторонам покоя в Германии ожидать нельзя. Кампания нынешнего года должна означить намерения и здешнего и прусского двора относительно германского мира». Против этих слов канцлер Воронцов сделал заметку: «К немалому сокрушению, нынешняя кампания ни с которой стороны к благополучному окончанию сей проклятой войны надежды не подает».

От 7 сентября Голицын донес о разрыве мирных переговоров между Франциею и Англиею; от 25 сентября уведомил о выходе Питта из министерства и о разговоре своем с графом Бютом по этому случаю. «Хотя нельзя не жалеть, – говорил Бют, – что этот министр, необыкновенно даровитый и оказавший своему королю и отечеству великие услуги, оставил службу при таких критических обстоятельствах, однако, с другой стороны, это было неминуемо по его крайнему честолюбию и властолюбию, по привычке его в продолжение пяти лет всеми повелевать и приводить в исполнение свои мнения без малейшего прекословия. Я по вступлении своем в министерство всячески старался быть с ним в согласии; но наконец, при последних обстоятельствах я принужден был не только поразниться с ним в мнениях, но и с крайнею твердостью держаться своих мнений. Видя, что остальные министры с ним несогласны, и насчитывая мало друзей в парламенте, Питт заблагорассудил выйти из министерства». Донося об этом разговоре, Голицын писал: «Выход из министерства Питта должно приписывать одному графу Бюту: он с нетерпением и немалою завистию смотрел на властолюбие и блестящие качества Питта, и все враги последнего беспрестанно раздували пламя несогласия между ними. И я в силу высочайшего наставления, данного мне, старался с крайним усердием этому же содействовать, внушая графу Бюту, что пока Питт будет оставаться в министрах, то вся честь и слава за счастливые для Англии события будет принадлежать ему одному в предосуждение другим министрам. Я уже с некоторого времени мог замечать добрый успех моих внушений, однако никогда не мог ожидать, чтоб перемена могла произойти так скоро. Перемена эта важна и полезна для общего дела, потому что, во-1), преемник Питта граф Эгремонт не имеет нисколько достоинств своего предшественника; во-2), известное усердие Питта к интересам короля прусского и непреодолимая ненависть его ко Франции и ко всем тем, кто при настоящих обстоятельствах ей доброхотствует, в графе Эгремонте не замечаются; в-3), надобно ожидать без Питта в парламенте большого сопротивления министерству: требования, денег на войну и на субсидии встретят большие препятствия».

В начале декабря, уведомляя свой двор о предстоящей войне Англии с Испаниею, Голицын изъявлял «раболепную радость», что благодаря этой новой войне Англия уже не будет обращать большого внимания на германскую войну и король прусский не получит от нее сильной помощи.

Но кроме Англии в Петербурге береглись, чтоб ближайшие державы – Швеция, Польша, Турция и Дания – не оказали какой-нибудь помощи королю прусскому. Граф Остерман начал год донесениями о шведском сейме: по этим донесениям выходило, что нельзя было опасаться выхода Швеции из союза, нельзя было опасаться и восстановления в Швеции самодержавия, хотя члены противной Сенату партии толковали, что в прошедший сейм власть королевская была так ослаблена, что Сенат ни о чем больше не думал, как о превращении

монархической формы в аристократическую; но это стремление наносит Швеции страшный вред, и они при нынешнем сейме намерены противиться ему всеми силами и будут стараться ввести Сенат в предписанные ему пределы. Когда французский посол объявил Остерману о мирных предложениях, сделанных Франциею союзникам, в том числе и Швеции, то Остерман обратился к Гепкину с вопросом, не сделано ли при этом намеков и о мирных условиях. Гепкин отвечал, что пока еще не сделано, но потом на словах по секрету сообщил ему, что если Швеция согласится на мир, то посол уполномочен подать другой мемориал, где будет предложено, не заблагорассудит ли Швеция отказаться от прежде обещанного земельного вознаграждения и удовольствоваться уплатою всех военных убытков. Но любопытно, что, по донесению Остермана, в высших стокгольмских кругах указывали именно на те мирные условия, на каких впоследствии действительно заключен был мир всеми воюющими державами, т.е. что прусские владения останутся нетронутыми, как были до начала войны. Как будет принято французское предложение, в какой форме дан будет ответ на него – это, разумеется, зависело от отношений между партиями, которых было четыре: первая – сенатская, преданная Франции; вторая – партия полковника Пехлина, который, отстав от первой партии, соединил около себя всех тех, которые получили от правительства какое-нибудь неудовольствие; Пехлин человек хитрый и, будучи употреблен в прошедший сейм французскою партией для раздачи денег, знает все бывшие тогда интриги, и это знание употребляет он теперь против французской партии; третья – старая русская партия, известная под именем Ночных Колпаков; четвертая – преданная двору. Три последние партии на сейме составляли одну, потому что все одинаково действовали против Сената и в своем соединении представляли большинство, хотя во всем остальном они между собою совершенно несогласны. В шведском ответе на французскую декларацию говорилось, что Швеция очень рада вступить в мирные переговоры; король желает скорого мира, если он может его заключить согласно своему достоинству и верности, с какою постоянно сохраняет свои обязательства к союзникам.

Между тем сенатор Гепкин вследствие сильного неудовольствия против него на сейме должен был отказаться от заведования иностранными делами, что было очень неприятно Остерману, который надеялся через него узнавать многое, тогда как преемник его граф Экеблатт был в полной зависимости от французского посла. Свой двор Остерман опять должен был успокаивать относительно слухов о восстановлении самодержавия в Швеции: эти слухи пришли в Петербург от Корфа из Копенгагена. Остерман писал, что это дело невероятное, и прежде всего потому, что король не пользуется народною любовью, а королева, по ее нраву, – еще менее и всем известно, что король во всем слушается королевы. Слух пущен нарочно французским послом в Стокгольме Давренкуром и датским – Шаком, которые вместе употребляют все средства, чтоб спасти своих друзей, членов сенатской партии, и распространили вести, что придворная партия затевает что-то против шведской вольности.

Когда в Стокгольм был доставлен русский ответ на французскую декларацию о мире, то король поручил своему министру в Петербурге барону Поссе обнадежить русское правительство, что Швеция относительно мира не будет ничего делать без общего согласия и не оставит требовать совета императрицы; но Остерман дал знать своему двору, что в будущую кампанию нельзя ожидать от

Швеции сильных действий по недостатку денег, по неисправности платежа французских субсидий, по явному неудовольствию народа, зачем начата была война, по сильному желанию прекратить убыточную войну, до начала которой армия состояла из 32000 человек, а теперь в Померании и с больными было не более 18000; хотя набор рекрут и был решен и они собраны, но без денег нельзя было их обмундировать и перевезти в Померанию.

В конце июля Остерман сообщил об усилении французской партии, которой еще прежде удалось деньгами склонить Пехлина на свою сторону. Но дворянское собрание выключило Пехлина из своей среды, несмотря на все усилия и денежные раздачи французской партии. Споры о Пехлине едва не повели к драке. Донося об этом, Остерман писал: «Я с своей стороны в таких критических обстоятельствах в разговорах своих, не вступая в их распри, стараюсь им внушать тишину и доброе согласие». На это Воронцов замечает: «Чтоб и впредь в подобных внутренних шведских делах разумную осторожность имел и отнюдь ни в чем не мешался». Несмотря на то, Остерман предложил своему двору пенсией и обещанием защиты привлечь на свою сторону сенатора Гепкина как человека, очень влиятельного по своему уму.

От 21 декабря Остерман уведомил, что Экеблатт объявил ему именем королевским, что война становится для Швеции страшно тяжка и король желает усугубить все способы к возобновлению общих мирных переговоров. К этому Остерман прибавлял, что шведский народ до такой степени наскучил войною, что Россия, по крайней мере письменными декларациями, не должна подавать вида, что хочет принудить Швецию к продолжению войны, ибо в противном случае Франция всю ненависть шведов обратит на Россию.

В Польше русский посланник Воейков по-прежнему старался помешать сношениям Пруссии с Турциею; в январе он писал, что опять домогался у графа Брюля, нельзя ли каким-нибудь тайным образом схватить прусского курьера; Брюль по-прежнему обнадеживал, что употребляются для этого всевозможнейшие способы, а зять его граф Мнишек говорил: «Мы имеем достоверные известия, что прусские курьеры, переодетые то в польское, то в волошское платье, препровождаются стараниями кастеляна краковского графа Понятовского и воеводы русского князя Чарторыйского чрез их имения, которые доходят до самых молдавских границ». Воейков заявил Брюлю, что у него 1000 червонных, назначенных на перехват прусских курьеров; но Брюль отвечал, что деньгами трудно что-нибудь сделать, потому что преданные прусскому королю вельможи посылают провожать курьеров большие отряды войска; не лучше ли для этого употребить русские отряды под предводительством искусного офицера, который бы явился в Польшу под предлогом закупки провианта для армии. Но этот способ с русской стороны признан еще более трудным.

Относительно собственно польских дел Воейков донес о любопытном разговоре своем с епископом краковским Солтыком. Епископ объявил ему, что уезжает из Варшавы и долго не возвратится благодаря французскому послу маркизу де Поми, который мешает во все дела и производит сильную смуту; граф Брюль сначала противился ему, а потом ловкий француз с помощью дочери Брюля графини Мнишек успел совершенно овладеть Брюлем, так что тот начал во всем его слушаться, несмотря на предостережения зятя своего Мнишка и его, бискупа. Это, говорил Солтык, очень вредно для республики на будущее время

ввиду старости короля. Французы хотят усилить свою партию, чтоб доставить корону принцу Ксаверию, второму сыну короля Августа, вполне преданному Франции; граф Брюль поддерживает принца Ксаверия, потому что старший сын короля, наследный принц саксонский, к нему нерасположен. Граф Мнишек в дружеском разговоре с Воейковым также высказал свое неудовольствие против французского посла, который успел обмануть и тестя его графа Брюля. Воейков при этом давал знать своему двору, что французский посол ездил в Пулавы, имение князя Чарторыйского, для свидания с последним; туда же ездил и датский посланник Остен.

Беспокойство русского двора относительно прусских курьеров объясняется известием Обрезкова из Константинополя, что 20 марта заключен дружественный и торговый договор между Пруссией и Портою. Несмотря на характер договора, он произвел в Петербурге очень неприятное впечатление, потому что мог ободрить подданных прусского короля, сделать его требовательнее при мирных переговорах и давал ему возможность держать в Константинополе открыто своего министра. Обрезков советовал своему двору остаться совершенно равнодушным к этому делу, ибо если будут с русской стороны сделаны какие-нибудь представления, то Порта может дать на них суровый ответ, что поведет к нарушению добрых отношений между двумя государствами. Совершенное молчание будет более соответствовать достоинству и могуществу русской империи, чем какие-нибудь представления, из которых Порта заключит, что договор ее с Пруссией имеет важное значение в глазах императрицы, и это умножит только ее азиатскую гордость и величанье. Совет был принят, и последствия показали его пользу.

Угроза войною пришла не с юга, а с севера, и оттуда, откуда менее всего ее ожидали. 11 июля в 9 часов утра приехал к канцлеру датский чрезвычайный посланник граф Гакстгаузен и объявил, что ему велено от короля сделать русскому двору словесное и дружественное внушение, что так как его датское величество с сожалением принужден видеть, как мало великий князь всероссийский и герцог шлезвиг-голштинский оказывает склонности к любовной сделке в своих распрах с короною датскою и продолжает пребывать в прежнем своем недоброжелательстве к Дании, от которого последняя в рассуждении будущего времени не может никогда быть в безопасности, то его величество по необходимости нужде в последний раз требует скорого и категорического на представления свои ответа, поручивши в противном случае посланнику своему объявить формально, что его датское величество будет уже почитать великого князя явным себе неприятелем и потому станет принимать меры свои против как его высочества, так и Российской империи. Канцлер отвечал, что угрозы употреблены совершенно некстати и русский двор их не испугается.

Действительно, коллегия Иностранных дел получила такой рескрипт: «Ошибается датский двор, если от своих угроз ожидает желаемого действия. Ошибается не потому, чтоб мы почитали эти угрозы одними пустыми словами, вовсе нет! мы предполагаем, более того, на что, быть может, сама Дания отважится; мы уже воображаем себе, что она вступила с неприятелями нашими в тесный союз, отважилась наконец испытать свои силы, которыми столько лет парадировала и которыми друзей и соседей своих то манила, то тревожила. Мы не презираем ее сил; но, чем важнее опасность и существеннее, тем больше мы

поставим себе в славу и тем больше найдем способов защищать утесненную невинность и честь и значение нашей империи. Но так как много уже пожертвовано нами для утверждения спокойствия на Севере, то и теперь не хотим удовольствоваться теми стараниями, которые употреблены были нами до сих пор для сохранения дружбы с датским двором, а следовательно, и тишины на Севере. Мы хотим с нашей стороны сделать все, что может или отвратить разрыв с Даниею, или неоспоримо доказать всему свету, что не от нас зависело предупредить бедствия там, где страсть превозмогает над справедливостию и самым здравым рассудком. Поэтому мы присоветовали его высочеству великому князю благополучие земель его предпочесть справедливому негодованию и не только не прерывать переговоров с датским двором, но по возможности и облегчать их. И сами намерены мы, употребляя наше посредничество, прилагать все старание, чтоб согласить толь различные интересы и справедливым удовлетворением обеих сторон недоверки и подозрения превратить в доброе согласие. Поэтому мы ласкаем еще себя надеждою, что дело не дойдет ни до какой печальной крайности. Однако, чтоб не усыпить себя надеждою, повелеваем нашей коллегии Иностранных дел нашему министру в Копенгагене Корфу предписать, чтоб он содержание этого рескрипта сообщил тамошнему двору прочтением как бы экстракта из депеши, прибавив, что хотя выражения рескрипта не очень ласкательны, но в точности изъясняют прямые наши намерения, да притом и сам датский двор употребил невеликую умеренность в выражениях; далее прибавил бы, что если датский двор начнет каким-нибудь образом приводить в действие свои угрозы или нарушит настоящий свой нейтралитет и даст малейшую помощь нашим неприятелям, то он, Корф, имеет в запасе указ тотчас оставить тамошний двор; пусть он немедленно едет в Гамбург и там ожидает дальнейшего нашего указа. Это мы предписываем в том чаянии, что Дания уже приняла свои меры, и потому, с какою бы твердостью ей говорено ни было, ничего этим испортить уже нельзя. Но так как может случиться и противное нашему чаянию, а именно что датский двор жалеет уже о сделанных им угрозах или вследствие какого-нибудь счастливого для союзников события пришел на другие мысли, то на такой случай надлежит Корфу предписать, чтоб он не читал датскому двору этого указа, но объявил бы, что так как с нашей стороны не подано датскому королю ни малейшего повода к жалобам и не видим мы, по какому праву мог бы датский король признавать великого князя явным себе неприятелем, разве потому только, что великий князь неохотно уступил бы такую землю, которая принадлежит ему по всем правам, то и не могли мы увериться, чтоб данные графу Гакстгаузену указы были точно таковы, как он их предъявил, почему и не хотели подробно отвечать на них».

Датский двор изъяснил умеренность и стал только хлопотать о том, чтоб союзники России взяли на свою медиацию полюбовное решение голштинского дела. Но союзники, естественно, стояли за Россию и не хотели усложнять свои отношения голштинским вопросом; сама Англия объявила, что не примет участия в этом вопросе.

Выстрел был сделан понапрасну, потому что Россия не испугалась, а исполнить угрозу – на это датский двор не мог решиться в то время, когда единственный государь, могший поддержать Данию, Фридрих II, находился в отчаянном положении, покидаемый единственною союзницею своею Англиею;

надежды, которые князь Голицын соединял с выходом Питта из министерства, исполнялись: Бют действовал явно против прусских интересов. После Кунерсдорфа Фридрих II уже не мог поправиться. Он должен был переменить наступательную войну на оборонительную, но и для этой недоставало более средств, страна была запустошена, войско потеряло дух, лучшие офицеры были побиты или взяты в плен; Фридрих сам говорил, что войско его уже не то, каким было в начале войны, годится только для того, чтоб пугать им издали неприятеля. Фридрих видел ясно, что враги его хотя медленно, но достигают своей цели, что борьба для него становится невозможной; но как прекратить ее? Миром, какого требуют они, – честным для них и позорным для него, согласиться на раздробление того, что было собрано, сплочено с такими усилиями, потерять Силезию, Померанию, саму Пруссию, ту область, по которой он был королем, из прусского короля стать опять только бранденбургским курфюрстом? – с этою мыслию, разумеется, Фридрих не мог помириться, и другая мысль – о том, чтоб уйти от позора насильственной смертью, все глубже и глубже западала в его голову.

Положение Фридриха становилось тем опаснее, что на будущий год нельзя было рассчитывать на медленность движений русской армии и бестолковость действий последнего главнокомандующего – Бутурлина. Это был четвертый главнокомандующий в пять лет войны, и все четверо отличались одним характером и одинаким способом действий. Все четверо достигли важных военных чинов *по линии*, все четверо не имели способности главнокомандующего; они шли медленно на помочах конференции, двигались в указанном направлении: встретят неприятеля, выдержат его натиск, отобьются, а иногда после сражения увидят, что одержали великую победу, в пух разбили врага; но это нисколько не изменит их взгляда на свои обязанности, нисколько не изменит их способа действий, не даст им способности к почину; они не сделают ни шагу, чтоб воспользоваться победою, окончательно добить неприятеля, по-прежнему ждут указа с подробным планом действий. А тут еще сильное искушение – австрийцы с каким-нибудь Дауном-кунктатором! Мы бились и разбили неприятеля, а что же австрийцы? Пусть теперь они бьются, пусть и добьют неприятеля, мы им не будем завидовать, нам надобно отдохнуть, позаботиться о главном – о сохранении победоносной армии ее император. величества, о сохранении приобретенной ее оружием славы, и как только придет обычное известие, что грозит недостаток провианта и фуража, то и начинается движение назад, к заветным берегам Вислы, к магазинам. Вот почему историк, внимательно изучивший весь ход прусской войны, не станет повторять слуха, пущенного из французского посольства в Петербурге, что Апраксин отступил к границам после победы, потому что получил от Бестужева известие о болезни императрицы; а все преемники его по каким письмам делали то же самое? Тут не было и тени военного искусства, военных способностей и соображений; война производилась первобытным способом: войско входило в неприятельскую землю, дралось с встретившимся неприятелем и осенью уходило назад. В Петербурге в конференции хорошо понимали это и писали: «Прямое искусство генерала состоит в принятии таких мер, которым бы ни время, ни обстоятельства, ни движения неприятельские препятствовать не могли». Но этому искусству ни

Апраксину, ни Фермору, ни Солтыкову, ни Бутурлину нельзя было выучиться из присылаемых к ним рескриптов.

Но в Петербурге еще оставались предания Петра Великого, помнился взгляд его на войну как на живую практическую школу, в которой всего лучше развиваются военные таланты; в Петербурге сравнивали настоящую войну против искуснейшего полководца времени с войною против Карла XII; ждали тех же результатов и не обманулись: из школы начали выходить хорошие ученики. В самом начале войны иностранец, опорочивший всех русских генералов, с уважением остановился пред молодым графом Румянцевым как человеком, употребившим много труда, чтоб сделать себя способным к службе, приобретшим обширные теоретические познания. К этим теоретическим познаниям пятилетняя война прибавила еще практику; Румянцев выдается из ряда генералов, и ему поручают поправить кампанию 1761 года – взять Кольберг, под которым уже два раза русское войско терпело неудачу. Иностранец находил в Румянцеве один недостаток – горячность; но старшие русские генералы отличались до сих пор такою холодностью, что противоположное качество могло быть почтено необходимым противудием. Фридрих II употребил все усилия, чтоб отстоять Кольберг; но 1 декабря Румянцев окончательно отбил герцога Евгения Виртембергского, который старался доставить в Кольберг съестные припасы, после чего крепость принуждена была сдаться.

Посылая в Петербург ключи Кольберга, Румянцев писал императрице: «Благополучие мое тем паче велико, что по времени считаю я сие первое приношение сделать к торжественному дню рождения вашего импер. величества, теплые воссылая молитвы ко Всевышнему о целости неоцененного вашего здоровья, о долголетнем государствовании и ежевременном приращении славы державе вашего импер. величества, толикими победами увенчанной». Это донесение Румянцева о последнем действии русского войска в Семилетнюю войну было обнародовано 25 декабря, в последний день жизни Елисаветы.

В начале года уже встречаем известие о болезненном состоянии императрицы, которая слушала доклады, лежа на постели. Елисавете очень хотелось пожить в новом Зимнем дворце, и 19 июня генерал-прокурор по ее указу предложил Сенату употребить старание, чтоб в новостроящемся Зимнем доме хотя б ту часть, в которой ее импер. величество собственный апартамент имеет, как наискорее отделать; но апартамент не отделялся, и для окончательной отделки всего Зимнего дома Растрелли запросил 380000 рублей и на первый раз – 100000. Между тем пошли большие неприятности. 29 июня огонь истребил по Малой Неве в пяти корпусах 83 амбара с пенькою и льном да на реке много барок; купцы потерпели убытка с лишком на миллион рублей. Императрица велела Сенату придумать поскорее средство, как помочь погоревшим. Обратились к Купеческому банку: в нем было денег только 729539 рублей, и Сенат решил употребить на помощь погорельцам 280000 рублей; распределение ссуды возложено на комиссию о коммерции.

Сильно беспокоило старание Франции о мире и перемирии; когда опасность исчезла с этой стороны, стали приходить известия о печальном ходе кампании, на которую возлагалось столько надежд. Нужно было готовиться к новой кампании при крайне затруднительном положении финансов. Бутурлин оказывался совершенно неспособным к командованию войском; генерал-прокурор князь

Шаховской просился в отставку, выставя, что изнемогает под бременем дел; граф Мих. Ларионов. Воронцов, великий канцлер с конца 1758 года, нашел бестужевское наследство не по силам своим; он постоянно жаловался на болезнь, просился в отставку или требовал к себе в помощники князя Александра Мих. Голицына, бывшего посланником в Лондоне, т.е. требовал сведения искусного дипломата с самого важного поста; граф Петр Ив. Шувалов был почти постоянно и опасно болен.

17 ноября Елисавета почувствовала лихорадочные припадки, но по принятии лекарства совершенно оправилась и занялась делами. 3 декабря вошел в Сенат кабинет-секретарь Олсуфьев и объявил высочайшие повеления: императрица приказала объявить Сенату свой гнев за то, что в делах и в исполнении именных указов происходят излишние споры и в решениях медленность, значит, или не хотят, или не умеют решить дел. Несколько месяцев тому назад последовала конфирмация об отправлении бригадира Суворова для управления нерчинскими заводами, и он до сих пор еще не отправлен. Обер-церемониймейстер барон Лефорт безвыходно находится в Сенате и не слышит решения по своему делу, тогда как приличнее было бы доносчика на него Рубановского арестовать: решить дело немедленно, без всякого отлагательства, чтоб не было стыдно пред иностранцами и государственный кредит не был поврежден. Императрица давно уже приказала определить при Петербургском порте в браковщики пеньки и льну купца Герасимова, но это приказание до сих пор не исполнено. Разные присланные в Сенат из Кабинета челобитные остаются без решения. Ее импер. величеству известно, что из сенаторов в присутствие не все ездят: одни – редко, а другие – почти никогда, отчего в делах остановка; если кто ездить не будет, доносить императрице. О вспоможении погоревшим в последний большой пожар (29 июня) повеление ее импер. величества было, но до сих пор ничего не сделано.

12 декабря Елисавете стало опять дурно: началась жестокая рвота с кровью и кашлем; медики – Моисей, Шилинг и Круз – решили отворить кровь и очень испугались, заметив сильно воспаленное ее состояние. Несмотря на то, через несколько дней императрица, казалось, оправилась. 17 декабря Олсуфьев опять вошел в Сенат и объявил именной указ: содержащихся во всем государстве и приличившихся по корчемству людей освободить, следствия уничтожить, сосланных возвратить, Сенату с прилежанием и немедленно изыскать способ, как бы заменить соляной доход, потому что он собирается с великим разорением народным и определенные к тому люди не поступают прямо по должности своей.

20 декабря Елисавета чувствовала себя особенно хорошо; но на третий день, 22 числа, в 10 часов вечера началась опять жестокая рвота с кровью и кашлем; медики заметили и другие признаки, по которым сочли своим долгом объявить, что здоровье императрицы в опасности. Выслушав это объявление, Елисавета 23 числа исповедовалась и приобщилась, 24 соборовалась. Болезнь так усилилась, что вечером Елисавета заставляла дважды читать отходные молитвы, повторяя сама их за духовником. Агония продолжалась ночью и большую половину следующего дня. Великий князь и великая княгиня находились постоянно при постели умирающей. В четвертом часу пополудни отворились двери из спальни в приемную, где собрались высшие сановники и придворные; все знали, что это значило. Вышел старший сенатор князь Никита Юрьевич Трубецкой и объявил, что императрица Елисавета Петровна скончалась и государствует его величество

император Петр III; ответом были рыдания и стоны на весь дворец. Новый император отправился на свою половину; императрица Екатерина Алексеевна осталась при теле покойной императрицы.

При отсутствии внимательного изучения русской истории XVIII века обыкновенно повторяли, что время, протекшее от смерти Петра Великого до вступления на престол Екатерины II, есть время печальное, недостойное изучения, время, в котором на первом плане видели интриги, дворцовые перевороты, господство иноземцев. Но при успехах исторической науки вообще и при более внимательном изучении русской истории подобные взгляды повторяться более не могут. Мы знаем, что в древней нашей истории не Иоанн III был творцом величия России, но что это величие было приготовлено до него в печальное время княжеских усобиц и борьбы с татарами; мы знаем, что Петр Великий не приводил России из небытия в бытие, что так называемое преобразование было естественным и необходимым явлением народного роста, народного развития, и великое значение Петра состоит в том, что он силою своего гения помог своему народу совершить тяжелый переход, сопряженный со всякого рода опасностями. Наука не позволяет нам также сделать скачок от времени Петра Великого ко времени Екатерины II, она заставляет нас с особенным любопытством углубиться в изучение посредствующей эпохи, посмотреть, как Россия продолжала жить новою жизнью после Петра Великого, как разбиралась она в материале преобразования без помощи гениального императора, как нашлась в своем новом положении, при его светлых и темных сторонах, ибо в жизни человека и в жизни народов нет возраста, в котором бы не было и тех и других сторон.

На Западе, где многие беспокоились при виде новой могущественной державы, внезапно явившейся на востоке Европы, утешали себя тем, что это явление преходящее, что оно обязано своим существованием воле одного сильного человека и кончится вместе с его жизнью. Ожидания не оправдались именно потому, что новая жизнь русского народа не была созданием одного человека. Поворота назад быть не могло, ибо ни отдельный человек, ни целый народ не возвращается из юношеского возраста к детству и из зрелого возраста к юношеству; но могли и должны были быть частные отступления от преобразовательного плана вследствие отсутствия одной сильной воли, вследствие слабости государей и своекорыстных стремлений отдельных сильных лиц. Так, некоторое противодействие петровским началам обнаружилось в усилении личного управления в областях, в надстройке лишнего этажа над Сенатом то под именем Верховного тайного совета, то под именем Кабинета. Но более печальные следствия имело отступление от мысли Петра Великого относительно иностранцев. Самая сильная опасность при переходе русского народа из древней истории в новую, из возраста чувства в возраст мысли и знания, из жизни домашней, замкнутой в жизнь общественную народов, — главная опасность при этом заключалась в отношении к чужим народам, опередившим в деле знания, у которых поэтому надобно было учиться. В этом-то ученическом положении относительно чужих живых народов и заключалась опасность для силы и самостоятельности русского народа, ибо как соединить положение ученика с свободою, самостоятельностью в отношении к учителю, как избежать при этом подчинения, подражания? Примером служили крайности подчинения западных европейских народов своим учителям — грекам и римлянам, когда они в эпоху

Возрождения совершали такой же переход, какой русские совершили в эпоху преобразования, с тем различием, что опасность подчинения уменьшалась для западных народов тем, что они подчинялись народам мертвым, тогда как русский народ должен был учиться у живых учителей. Тут-то Петр и оказал великую помощь своему народу, сокращая сроки учения, заставляя немедленно проходить практическую школу, не оставляя долго русских людей в страдательном положении учеников, употребляя невероятные усилия, чтоб относительно внешних по крайней мере средств не только уравнивать свой народ с образованными соседями, но и дать ему превосходство над ними, что и было сделано устройством войска и флота, блестящими победами и важными приобретениями, ибо это вдруг дало русскому народу почетное место в Европе, подняло его дух, избавило от вредного принижения при виде опередивших в цивилизации народов. Петр держался постоянно правила поручать русским высшие места военного и гражданского управления, и только второстепенные могли быть заняты иностранцами. От этого-то важного правила уклонились по смерти Петра: птенцы его завели усобицы, начали вытеснять друг друга, ряды их разредели, а этим воспользовались иностранцы и пробрались до высших мест; несчастная попытка 1730 года нанесла тяжкий удар русским фамилиям, стоявшим наверху, и царствование Анны является временем бироновщины. Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшать бедствия этого времени, оно навсегда останется самым темным временем в нашей истории XVIII века, ибо дело шло не о частных бедствиях, не о материальных лишениях: народный дух страдал, чувствовалась измена основному, жизненному правилу великого преобразователя, чувствовалась самая темная сторона новой жизни, чувствовалось иго с Запада, более тяжкое, чем прежнее иго с Востока – иго татарское. Полтавский победитель был принижен, рабствовал Бирону, который говорил: «Вы, русские...»

От этого ига избавила Россию дочь Петра Великого. Россия пришла в себя. На высших местах управления снова явились русские люди, и когда на место второстепенное назначали иностранца, то Елисавета спрашивала: разве нет русского? Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного русского. Народная деятельность распеленывается уничтожением внутренних таможен; банки являются на помощь землевладельцу и купцу; на востоке начинается сильная разработка рудных богатств; торговля с Среднею Азиею принимает обширные размеры; южные степи получают население из-за границы, – население, однородное с главным населением, поэтому легко с ним сливающееся, а не чуждое, которое не переваривается в народном теле; учреждается генеральное межевание; вопрос о монастырском землевладении приготовлен к решению в тесной связи с благотворительными учреждениями; народ, пришедший в себя, начинает говорить от себя и про себя, и является литература, является язык, достойный говорящего о себе народа, являются писатели, которые остаются жить в памяти и мысли потомства, является народный театр, журнал, в старой Москве основывается университет. Человек, гибнущий прежде под топором палача, становится полезным работником в стране, которая более, чем какая-либо другая, нуждалась в рабочей силе; пытка заботливо отстраняется при первой возможности, и таким образом на практике готовится ее уничтожение; для будущего времени готовится новое поколение, воспитанное уже в других правилах и привычках, чем те, которые

господствовали в прежние царствования, воспитывается, приготавливается целый ряд деятелей, которые сделают знаменитым царствование Екатерины II.

Но, говоря о значении царствования Елисаветы, мы не должны забывать характер самой Елисаветы. Веселая, беззаботная, страстная к утехам жизни в ранней молодости, Елисавета должна была пройти через тяжкую школу испытаний и прошла ее с пользой. Крайняя осторожность, сдержанность, внимание, умение проходить между толкающими друг друга людьми, не толкая их, – эти качества, приобретенные Елисаветою в царствование Анны, когда безопасность и свобода ее постоянно висели на волоске, эти качества Елисавета принесла и на престол, не потеряв добродушия, снисходительности, так называемых патриархальных привычек, любви к искренности, простоте отношений. Наследовав от отца умение выбирать и сохранять способных людей, она призвала к деятельности новое поколение русских людей, знаменитых при ней и после нее, и умела примирять их деятельность, держать в приближении Петра Шувалова и в то же время возвышать Шаховского. При этом, разумеется, большую службу служила ей осторожность, заставлявшая ее не вдруг решать дела по внушению того или другого лица, но выслушивать и других, соображать их мнения, думать и долго думать. «Я долго думаю, – говорила Елисавета, – но если раз на что-нибудь решилась, то не оставляю дела, не доведши его до конца». Эта-то медленность и явилась главным обвинительным пунктом против Елисаветы. Но спрашивается: кто обвинитель?

Долгое время мы были в самом плачевном положении относительно нашей истории XVIII века. Благодаря обширным историческим трудам, обнимавшим исключительно древнюю русскую историю, мы могли знать подробности о великом князе Изяславе Мстиславиче и остались в совершенном мраке относительно лиц и событий XVIII века. Здесь главными источниками служили, во-первых, анекдоты, постоянно искажавшиеся при переходе из уст в уста и дававшие неправильное представление о лице и действии по отрывочности, односторонности, какой бы стороны ни касались, хорошей или дурной; во-вторых, известия иностранцев, которые читались с жадностью именно за отсутствием своих, и особенно донесения послов. Как не верить такому источнику: посол занимает важный пост, он в сношениях с государями и министрами, он знает все, как было, должен знать, потому что обязан сообщать верные сведения своему двору. Действительно, это источник важный, можно найти в нем чрезвычайно любопытные известия, подробности: но с какою же осторожностью надобно относиться к этим известиям, к этим подробностям! Нет свидетеля, который был бы менее беспристрастен и от которого в большинстве случаев старались бы более скрывать правду, как иностранный посланник. Если он хвалит, то кого он хвалит? Человека, который ему поддается, часто с нарушением интересов родной страны, и, как скоро этот самый человек окажет менее податливости, посол, не помня прежнего, начинает бранить его. Если посол встречает препятствия в проведении какого-нибудь нужного для его двора дела, то препятствия эти, по его словам, не оттого, что дело это, в целом или частях, несогласно с интересами страны, нет, они происходят непременно от интриги неблагонамеренных людей. Мы знаем теперь, откуда происходила медленность Елисаветы в решении важных дел; но иностранные послы, которым нужно было решить дело как можно скорее, в сильном раздражении доносят своим дворам, что медленность происходила от

беспечности Елисаветы, от страсти ее заниматься пустяками, причем важные дела не двигались. Так смотрел на дело и Уильямс, сгоравший от нетерпения как можно скорее покончить дело о субсидном трактате; но мы знаем, какое право имела Елисавета медлить ратификациею этого трактата. Но кроме естественного желания каждого посланника объяснять дурными побуждениями препятствия своему делу, хвалить благоприятелей и порицать противников он был сам вводим в обман рассказами этих благоприятелей своих, их объяснениями причин неудачи; при этом, разумеется, все складывалось на интриги противников и беспечность императрицы, к которой нет доступа с серьезным делом. Бестужев чего ни наговорил Уильямсу в оправдание себя в неудаче. Естественное и необходимое сближение России с Франциею, по его словам, произошло оттого, что Ив. Ив. Шувалов любил читать французские книги. Это совершенно похоже на то, что австро-французский союз произошел вследствие льстивого письма Марии-Терезии к Помпадур, как будто союз не должен был последовать от перемены существенных отношений благодаря Фридриху II и как будто союз Англии с Пруссиею не должен был немедленно вести к союзу Франции с Австриею.

Да и участие России в Семилетней войне объясняли личным раздражением Елисаветы против Фридриха II, который позволил себе насмешки над нею! Но мы не имеем нужды прибегать к таким, только по-видимому легким объяснениям. Мы знаем, как просты были основания тогдашней внешней политики: они состояли в сохранении политического равновесия Европы, особенно если это равновесие нарушалось вблизи своего государства. В начале и середине XVIII века и в начале XIX Европа вела самые кровавые войны для поддержания этого начала политического равновесия: войною за Испанское наследство она сдержала Людовика XIV, Семилетнею войною сдержала Фридриха II точно так, как в начале нынешнего века поборола стремления Наполеона I; в двух последних борьбах Россия принимала самое сильное участие, и с одинаким правом, хотя и во время наполеоновских войн были в России люди, которые толковали: «Зачем нам биться с Франциею? Она так далеко от нас!» Пожар Москвы доказал этим господам, как далеко была Франция от России. Вероятно, и во время Семилетней войны были люди, которые толковали: зачем это Россия вмешалась в такую долгую и разорительную войну из-за Австрии и Саксонии? Но не так думала дочь Петра Великого, для которой скоропостижный прусский король, не разбиравший средств для своего усиления, был самым опасным врагом России. Елисавета относительно Востока не могла успокоиться до тех пор, пока не были сожжены корабли, построенные англичанами на Каспийском море для Персии; точно так же относительно Запада она не могла успокоиться до тех пор, пока не были сокращены силы прусского короля, который нападением своим на Саксонию вполне оправдал взгляд на него русского двора. Силы прусского короля были сокращены благодаря твердости и энергии Елисаветы, и если не были так сокращены, как бы она того желала, то достаточно были сокращены для того, чтоб впоследствии Екатерина II не встретила в них препятствия для достижения своих целей; кроме этого важного значения Семилетней войны для России она была школою, из которой вышли русские полководцы, сделавшие царствование Екатерины II столь блестящим в военном отношении. Таким образом, воздавая

должное Екатерине II, не забудем, как много внутри и вне было приготовлено для нее Елисаветою.

В заключение взглянем на внутренние правительственные распоряжения в последний год царствования Елисаветы.

В самом начале года Сенат так отвечал конференции, которая требовала на разные дачи 16700 рублей да 600 червонных: «В Штатс-конторе из положенных доходов каждый год оказывается недостаток, отчего многие отпуска не исполнены, и состоит на Штатс-конторе великий долг; и теперь в деньгах крайний недостаток, и Сенат не надеется исполнить требования конференции. Штатс-контора не может отпустить даже всей суммы, назначенной на содержание двора; и хотя Сенат имеет попечение о наполнении Штатс-конторы доходами, но до сих пор еще не нашел к тому способов. Штатс-контора задолжала 8147924 рубля». Вслед за тем Штатс-контора прислала доклад: на наступившую генварскую треть надобно внести к их высочествам да на содержание императорского двора и лейб-компаний за сентябрьскую треть прошлого года 144897 рублей, а в Штатс-конторе денег ничего нет. За откупные таможенные сборы не получено за октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года ефимков 221 пуд три фунта; а из Коммерц-коллегии объявлено, что принятые ею от Шемякина за октябрь месяц 43738 рублей хранятся для взноса в комнату императрицы. Сенат приказал: эти деньги, назначенные для комнаты императрицы, отдать в Штатс-контору, остальные же взыскать с Шемякина не позднее недели. Комиссариату Сенат велел подтвердить, чтоб доставил как можно скорее в армию недосланную за 1760 год на жалованье сумму, более 300000 рублей, равно как и на 1761 год – 1465728 рублей. Из Соляной конторы миллион рублей отпускался в комнату императрицы, и уже накопилось доимки 2115043 рубля; кроме того, Соляная контора должна была вносить на военные издержки 1089823 рубля. Контора просила, нельзя ли убавить сумму на военные расходы, чтоб можно было уплатить доимку в комнату императрицы; Сенат отвечал, что нельзя. В августе месяце Штатс-контора доносила, что на самонужнейшие отпуска надобно 2119135 рублей и с долгами на конторе 2686831 рубль; теперь в Штатс-конторе налицо 50162 рубля да за отданные на Монетный двор ефимки следует получить 61394 рубля, в московской рентерии 10087 рублей, итого 121644 рубля, недостает 1997490 рублей, а с долговыми суммами – 2565186 рублей.

Мы видели, что учреждена была лотерея. Доходы от нее должны были идти на содержание отставных и раненых обер- и унтер-офицеров и рядовых. Лотерея состояла из 50000 билетов, между которыми 37500 выигрышей, разделенных на четыре класса. Каждый билет положен был по 11 рублей за все классы. В июне генерал-прокурор объявил, что императрица велела ему предложить Сенату учредить дом, где содержать вдов и сирот, дочерей заслуженных людей, бедных, не имеющих покровительства и пропитания; на это ее величество некоторую сумму пожалует из собственных доходов. Сенат приказал требовать от Синода, чтобы назначил для вдов и сирот московский Ивановский монастырь или другой, подобный ему с довольным числом покоев и каменной оградой, а насчет регламента справиться в библиотеке Академии наук, как такие дома содержатся в иностранных государствах, также Иностранной коллегии собрать сведения от министров, находящихся при иностранных дворах.

Комиссия об Уложении, в которой присутствовали два сенатора – граф Роман Ларионович Воронцов и князь Михаил Ив. Шаховской, окончила две части Уложения – судную и криминальную, и Сенат в марте месяце приказал: «Как оное сочинение Уложения для управления всего государства гражданских дел весьма нужно, следственно, всего общества и труд в советах быть к тому потребен; и потому всякого сына отечества долг есть советом и делом в том помогать и к окончанию с ревностным усердием споспешествовать стараться. В сходство сего Прав. Сенат уповает, что всякий, какова б кто чина и достоинства ни был, когда будет к тому избран, отречься не будет, но, пренебрегая все затруднения и убытки, охотно себя употребить потщится, чая, во-первых, незабвенную в будущие роды о себе оставить память да, сверх того, за излишние труды и награждение получить может. Того ради по требованию комиссии нового Уложения к слушанию того Уложения из городов всякой провинции (кроме новозавоеванных, т.е. остзейских, Сибирской, Астраханской и Киевской губерний) штаб- и обер-офицеров из дворян и знатного дворянства, не выключая из того и вечно отставных от всех дел, токмо к тому делу достойных, по два человека из каждой провинции, за выбором всего тех городов шляхетства; ежели же они кого из обретающихся в Петербурге у статских дел к означенному делу выбрать пожелают, то в том дается им на волю; потому ж и купцов за таким же от купечества выбором по одному человеку и высылать в Петербург к 1 января будущего 1762 года». Относительно Малороссии Сенат приказал: «Малороссийскому гетману, определя особых людей, к тому способных, литовский статут рассмотреть и, какие явятся в нем недостатки, пополнить, а излишки исключить и прислать в Сенат с депутатом, который бы мог дать обо всем подробное изъяснение». Кроме выбора депутатов в комиссию об Уложении дворянство должно было заняться другими выборами: 5 июня Сенат предоставил помещикам выбирать из среды себя воевод, которые бы имели деревни вблизи города и могли содержать себя доходами с них. Кроме того, Сенат полагал увеличить жалованье должностным лицам из дворян, также и воеводам. Президенты и члены коллегий, губернаторы и губернаторские товарищи из русских дворян, по большей части из заслуженных, а не из богатых, получали до сих пор в Петербурге половинное против армейских окладов жалованье, а в других городах – половинное против петербургских окладов; губернатор и вице-губернаторы в остзейских губерниях получали двутретное, а во внутренних губерниях – вполовину против остзейских; и таким малым жалованьем, полагал Сенат, по состоянию нынешних поведений без крайней нужды содержать себя никак не могут, и потому надобно сравнять жалованье гражданских и военных чинов: президенты должны получать по 2400 рублей, обер-прокурор – 3000, генерал-рекетмейстер и герольдмейстер – по 2500, вице-президенты – 1800, советники – 1200, надворные советники – 800, ассессоры – 600; во всех губерниях губернаторы – 2500, вице-губернаторы – 2000, товарищи – 800, провинциальные воеводы – 800, их товарищи – 300, воеводы приписных городов – 400, пригородные – 200; для покрытия этих новых расходов положить на вино, пиво и мед по 2 копейки на ведро, с крепостей – по 25 копеек, при справке за владельцев земель – 3 коп. с четверти, с исков при решении дел – по 3 коп. с рубля.

Известия, приходившие из областей, убеждали, что действительно надобно принимать меры против злоупотреблений областного управления. Так, Сенат

узнал, что около города Царицына с проезжающих по реке Волге разных чинов людей берутся немалые взятки. Генерал-прокурор прочел в Сенате письмо к нему от генерал-майора Лачинова из Тамбова: Лачинов был на казанской ярмарке в Верховоломовском монастыре 8 июля; вблизи города Верхнего Ломова есть степь, называемая Дуровская, на которой около ярмарочного времени собирается всегда много воров и совершаются большие грабительства и убийства; и в 1761 году было то же самое; но приказчик дворянина Семенова, собравши своих крестьян и посторонних людей, сделал над разбойниками поиск, нашел их; атамана и 11 человек положил на месте, а двоих привел живыми в Воеводскую канцелярию, где они рассказали все свои похождения, рассказали, что из их шайки знаменитый разбойник Топкин во время нападения на шайку захватил награбленные деньги и ушел; воевода послал за ним в погоню, и разбойник был пойман; Лачинов, бывши у воеводы, сам видел разбойника, но заметил, что содержали его очень слабо, не как злодея, а как приличившегося в небольшом деле; потом Лачинов услышал, что разбойник уже ходит по ярмарке на связке, и, наконец, услышал, что воевода его выпустил. Сенат приказал Тамбовской провинциальной канцелярии исследовать, действительно ли верхоломовский воевода Бологовский слабо содержал и выпустил разбойника Топкина. Тамбовская канцелярия отвечала, что означенного воеводы Бологовского в Верхнем Ломове не имеется, должность воеводскую правит прапорщик Вышеславцев, а по какому указу и откуда, о том в Тамбовской воеводской канцелярии известия нет. Сенат приказал: Тамбовской воеводской канцелярии следствие о Бологовском окончить как можно скорее; а что касается рапорта ее о незнании, где Бологовский и по какому указу Вышеславцев исправляет воеводскую должность, то это может быть причтено только к ее слабому смотрению, ибо ей об отлучке подчиненного воеводы и о вступлении на его место другого всегда должно быть известно, и впредь ей таких неосновательных представлений в Сенат отнюдь не делать. Наконец исчезнувший воевода был отыскан и подал в Сенат объяснение, что был уволен на два месяца Воронежскою губернскою канцеляриею, о чем дал знать тамбовскому воеводе; относительно Топкина заперся, что никуда его не пускал, а ушел он ночью нечаянно из-за караульного; тамбовского воеводу обговорил в приязни с Лачиновым. Дело перешло в Воронежскую губернскую канцелярию.

Заботы об однодворцах продолжались. Думали облегчить их, изъявши из ведомства воевод и давши им особых выборных управителей; но выборное начало как в древней, так и в новой России не приносило ожидаемой пользы по недостатку в обществе сплоченности и силы, по которым оно могло бы сдерживать своих выборных чиновников. Новые однодворческие управители стали тягостнее воевод. Поэтому теперь Сенат отрешил всех однодворческих управителей, и однодворцы опять отданы в ведомство губернских и воеводских канцелярий; а для лучшего порядка велено быть из них же сотникам, пятидесятникам и десятникам; по делам между ними выбирать им самим поверенных, людей совестных и знающих; губернаторам же и воеводам накрепчайше подтверждено, чтоб имели об однодворцах попечение и охраняли их от обид, ибо Сенат будет зорко смотреть и посылать нарочных для разведывания, с каким прилежанием губернаторы и воеводы заботятся об однодворцах.

Относительно генерального межевания Сенат приказал: оканчивать межевание земель в Московском уезде и в Московской провинции, также в Новгородском, Великоустюжском и Вятском уездах, а в прочих местах Московской и Новгородской губерний на одно нынешнее военное время оставить за недостатком в казне денег.

Из явлений городской жизни заметим доношение Карачевского магистрата о купце Морякине, что по причине непорядочных его поступков тамошнее купечество иметь его среди себя не желает. Купечество города Вязьмы подало челобитную, что в прошлом году оно просило о перемене бывшего тогда в Вяземском магистрате бургомистром Юдичева за непорядочные поступки и о предании его суду; также просило, чтоб быть в Вяземском магистрате по примеру других городов только по три человека членом и с переменою через два года, ибо в Вяземском магистрате имеется 6 членом, 2 бургомистра и 4 ратмана без перемены, отчего купечеству в службах излишнее и напрасное отягощение. Тогда Сенат велел Юдичева отрешить и на его место выбрать купечеству другого, а по сколько быть членом в магистрате и чрез сколько лет им переменяться, о том Главному магистрату представить в Сенат. Но хотя Юдичев и отрешен, однако о непорядочных его поступках рассмотрения не последовало, не сделано также определения об уменьшении числа магистратских членом и о сокращении срока их службы, тогда как Гл. магистрат в Московском губернском, Калужском провинциальном и в прочих магистратах число членом сам собою уменьшил и некоторых переменить дозволил. Сенат приказал Гл. магистрату решить это дело немедленно.

И прежде упоминалось о борьбе между двумя властями в городах – воеводской и полицейской. И теперь коломенская полиция донесла, что коломенский воевода Иван Орлов, приехавши в многолюдстве к полицмейстерской конторе верхом на лошадях, стрелял в контору из пистолетов, которые были у него в обеих руках; в тот же день воевода, едзя с помещиком Крюковым и со псовою его охотою по самым тесным улицам, стрелял из пистолетов.

Относительно жизни сел встречаем известие об убийстве крестьянами помещика капитана Исакова с женою и тремя детьми, четвертый ребенок был пощажен по просьбе няньки. Из Казанской губернии извещали о бунте симбирских крестьян против помещика Тургенева. Но Сенат не мог не заметить, что преимущественно волновались крестьяне монастырские и приписные к фабрикам и заводам. Евдоким Демидов подал просьбу на мастеровых Авзянопетровского его завода, которые все перестали работать по ложному известию, что пришел указ об освобождении их от заводских работ. Крестьяне возмутились также на заводах Никиты Демидова; в Оренбургской губернии на медеплавильном заводе графа Сиверса; в Пензенском уезде на красочной фабрике графа Андрея Шувалова. Сенат, сделав обыкновенное распоряжение сперва увещевать крестьян в покорности, а в случае упорства усмирить военными командами, распорядился, однако, послать нарочных, добрых и надежных людей, разведать, отчего крестьяне бунтуют, нет ли им каких обид и притеснений; кроме того, составить доклад о приписке крестьян к частным заводам, чтоб можно было однажды навсегда сделать основательное определение о всех заводах и приписных к ним крестьянах и тем отстранить все затруднения.

Относительно *сходцев* по восточной Украине, в Оренбургской губернии, Сенат постановил: высылать на прежнее место жительства только тех, которые не завелись еще домами, особенно беглых; тех же, которые обзавелись домами и занимаются хлебопашеством, оставить.

Известное дело асессора Крылова послужило примером, до чего могло доходить чиновничье своеволие на Украине, особенно в далекой Сибири. Кроме других его деяний оказалось еще следующее: на городской башне в Иркутске был двуглавый орел, как обыкновенно, с св. Георгием на груди; вместо последнего изображения Крылов велел вставить жестяную доску с надписью: году 1760 месяца сентября бытности в Иркутску начальника коллежского асессора Крылова; над надписью была выбита дворянская корона, а вокруг надписи лавры. Сенаторы решили, чтоб Крылова судить в особой комиссии; один только сенатор Жеребцов не согласился, говоря, что особой комиссии не нужно, надобно судить Крылова в Юстиц-коллегии, а за поступок с гербом отослать в Тайную канцелярию. По этому поводу был сильный спор; остальные сенаторы обиделись, зачем Жеребцов в своем мнении выставил так много указов, как будто они, сенаторы, указам противники. Но Жеребцов остался при своем мнении. Тогда генерал-прокурор объявил, что он останавливает дело для донесения императрице. Елисавета приказала судить Крылова в особой комиссии, чтоб обиженные им получили как можно скорее удовлетворение, чтоб в комиссию были назначены люди совестливые и беспристрастные и чтоб с таким злодеем было поступлено по повелению ее величества, несмотря ни на какие персоны.

Дополнение

В *«Петербургских ведомостях»* 1761 года, в № 97(4 декабря), напечатано следующее заявление: «Коллежский советник Андрей Володимеров, сын Удодов, из покупного его Нижегородского уезда, села Фроловского, из деревень бежавшим дворовым людям и крестьянам от каких-либо несносных не порядков, а где ныне они живут, неизвестно, чрез сие дает знать свое намерение в пользу их и свою, чтоб они возвращались на прежнее свое жилище или б здесь являлись у него в Санкт-Петербурге; он будет принимать их со всяким к ним вспомоществованием, так как их помещик, и содержаны будут впредь в добром порядке без отягощения, и тем были б несумненно уверены».